

Абрам  
ТЕРЦ  
/Андрей  
СИНЯВСКИЙ/

Собрание сочинений  
в двух томах

Том 2

СП "Старт"  
Москва  
1992

*Оформление художника Н. Пьяных*

ISBN 5-85215-026-6

© М. В. Розанова, 1992 г.

© Н. Пьяных, оформление, 1992 г.

---

В тени

---

Гоголя

---

*«Следовать за мыслями великого человека  
есть наука самая занимательная».*

*А. С. ПУШКИН «Арап Петра Великого».*

## Глава первая

### ЭПИЛОГ

---

Хожу и спрашиваю: — Вы случайно не знаете, как похоронили Гоголя? В смысле — погребли. На какой день, в каком виде? — Никто не знает. Литератор здесь в редкость, книг о Гоголе нет, да и в книгах на эту тему обыкновенно не пишут.

А началось с того, что один старик откуда-то слышал и помнил и поинтересовался у меня в разговоре, правда ли, что Гоголя зарыли живым, преждевременно, и это потом объявилось, чуть ли не в наши дни, когда вскрывали могилу. Говорят, он лежал на боку.

Никогда не слышал. И вдруг меня точно ударило, что всё это так и было, как старик говорит, и я это знал всегда, знал, не имея понятий на этот счет, никаких фактических сведений, но как бы подозревал, допускал, в соответствии с общим выводом из облика и творчества Гоголя. С ним это могло случиться. Уж очень похоже. Уж очень беспокоился Гоголь, что это произойдет, и пытался предостеречь, отворотить. Завещание, которое он предусмотрительно обнарудовал за шесть лет до кончины, поверяя тайные страхи целому свету, гласило — первым же пунктом:

*«Завещаю тела моего не погребать по тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я завещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности».*

Но он был мнителен, капризен, любил преувеличивать, последние же годы, по мнению многих, страдал душевным расстройством, и его словам, естественно, могли не придать значения. Кто же поверит человеку, напечатавшему завещание в книге, как афишу о собственной смерти, который после этого, словно в насмешку, в издевательство над собой, продолжает жить и жить, измышляя поправки, оправдания на свое завещание и новые заветы, капризы?..

Иногда кажется, что Гоголь умирал всю свою жизнь, и это уже всем надоело. Он специализировался на этом занятии, и сравнение с погребенными заживо вырывалось у него так часто, как если бы мысль о них неотступно его точила и мучила. Не просто — о смерти, но именно — о живом мертвце, обреченном на физический ужас насильственного погребения. «Страшную муку, видно, терпел он. — Душно мне! душно!..»

Гоголь носил в груди чувство гроба, и пророческий голос его звучал поэтому с какой-то надтреснутой, подземной глухотой, с неприличным подвизгиванием, подвыванием: «Соотечественники! страшно!..»

*«Несчастный вздрогнул. Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась над ним, а стук бревен, заваливших вход его, казался стуком заступа, когда страшная земля валится на последний признак существования человека» («Кровавый Бандурист», 1832 г.).*

Подобными намеками, прогнозами — иной раз неосознанными, преподанными с комическим вывертом, в другие же моменты звучащими мрачным, прямым предзнаменованием — полон Гоголь. Сейчас приходится лишь удивляться, как, слыша это — не слышали, видя — не уразумели. Впрочем, сам он заранее дал тому объяснение. Последние десять-двенадцать лет его жизни прошли в тумане того невнятного состояния, о котором он предупреждал в завещании и которое, будучи одной из душевных тайн его, в более обширном размере отразилось на умонастроении Гоголя и его литературных трудах. В статье 1846 года «Исторический живописец Иванов» (Письмо к М. Ю. Вьельгорскому), вошедшей в «Выбранные места из переписки с друзьями», он так описал этот переходный, как ему рисовалось, на самом же деле большой, завершающий период своей жизни и деятельности:

*«...Мое душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно. Силясь открыть хотя бы одну часть себя, я видел тут же перед моими глазами, как моими же словами туманил и кружил голову слушавшему меня человеку, и горько раскаивался за одно даже желанье быть откровенным. Клянусь, бываю так трудны положенья, что их можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого — и не может даже пошевелинуть пальцем и подать знака, что он еще жив. Нет, храни Бог в эти минуты*

*переходного состоянья душевного пробовать объяснять себя какому-нибудь человеку: нужно бежать к одному Богу, и ни к кому более. Против меня стали несправедливы многие, даже близкие мне люди, и были в то же время совсем невиноваты; я бы сам сделал то же, находясь на их месте».*

И это писалось в книге, более всех его сочинений претендовавшей на откровенность, на полноту понимания и доверия читательской публики, которую он лишь туманил и кружил своими идеями, воздержаться от которых было свыше его сил, как не может человек, видя, как его погребают, не попытаться растолковать окружающим, что он все-таки жив...

Тоголю задолго до смерти довелось испытать состояние, которое он так боялся пережить в могиле. Притом его летаргия, по-видимому, не только носила форму телесной болезни, но и глубоко затрагивала весь его духовный состав и протекала наяву, нравственно, литературно, публично, сопровождаемая ропотом общества, к которому взывал он, сознавая всю бесполезность и безумие этих усилий, еще глубже отдалявших его от мира живых. Реакция, последовавшая на его книгу, известна:

*«...Над живым телом еще живущего человека производится та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложеньем»* («Авто-рская Исповедь», 1847 г.).

Всё это похоже на описанный в его же «Портрете» дурной сон во сне: пробуждаясь вместе с героем, мы всякий раз утверждаемся, что действительность снова и снова повторяет ход сновидения. Подумал ли Гоголь об этом, когда проснулся в гробу?

Внешне биография Гоголя бедна событиями и до ужаса благополучна. О ней неинтересно рассказывать: служил, писал, лечился — сам не ведая от чего, почему. По сравнению с Пушкиным, Лермонтовым, раздражает какое-то роковое неучастие судьбы в его человеческом жребии, какая-то неодухотворенность, бессмысленность прожитой Гоголем жизни с его вечными геморроями, флюсами. Даже к женщинам он не знал интереса, хоронясь сердечных волнений. Даже за границу ехал он главным образом ради климата и томился там для пользы здоровья, и никакие бури истории, гонения, приключения не посетили его одиночества. И всё ему как-то сходило с рук — не заботами Провидения, на которое сам-то Гоголь по малейшему пустяку возлагал

непомерные требования, а как-то так, беспричинно, словно он не принимался в расчет и, как Башмачкин, не был замечен в своем прошлом существовании.

За «Ревизора», который другому обошелся бы в Нерчинск, он обласкан был царской улыбкой. «Мертвые Души» обеспечили ему ренту. Видно, Гоголя оставляли в покое для иного рода тревог.

Навряд ли найдется у нас еще другой литератор со столь же неровной и грозной душевной биографией, с такой же раздерганной, загнанной в кошмарный комок психологией, наружно облеченной, однако, в довольно тривиальную фабулу, подброшенную как нарочно больному с самым беспокойным характером, который, попади он нечаянно в более крутые условия, был бы растерт в лепешку на первом же перекрестке, или, возможно, вообще не испытал бы тех потрясений и не подарил бы нас Гоголем в полном его развороте. Нет, он был осужден на внутренние терзания, и потому ему выпала мирная, вполне безопасная жизнь. Но во что ее превратил, как ее изувечил Гоголь, не оставив в своей душе живого места, не растравленного миражами, которые он сам же вызвал и раздражил, чтобы потом безобразно тягаться с ними, и падать, и гоношиться под выдуманными ударами!

И всё-то у него не туда, не так, как надо, нестройно, неорганично, настырно, и всё-то он усложнял, выкручивал и напускал на себя — и в горестях и в удачах, подобных некому «чуду», о котором извещал он Жуковского из Парижа (12 ноября 1836 г.):

*«Бог простер здесь надо мною покровительство и сделал чудо: указал мне теплую квартиру, на солнце, с печкой...»*

Экая самонадеянность!

Личность Гоголя — чуть вы приблизитесь к ней — зияет сплошной, незаживающей раной, глумливой насмешкой, прорехой на человечестве. Бестактности, несообразные со званием писателя, нелепые затеи, вопросы, вас задевающие по живому мясу, последние, кричащие всем и каждому о безумии искусства, о безжалостности морали, о несчастье родиться на свет с этим клеймом виновности, от которого самая смерть не спасает, но ставит, в назидание, несмываемое пятно, — торчат из него, как пружины из продавленного матраца. Точно он искушал кого-то, выставляя напоказ свои стигматы — опозоренное достоинство, поддельные добродетели, ложные клятвы, несбывшиеся пророчества, свой долгий нос и птичье имя — Гоголь...



*«Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит».*

И постарался захватить чужую должность и место проповедника, отказавшись от писательской хартии.

*«...Одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла...».*

И поспешил выпустить в свет новое свое сочинение, самое торопливое и несовершенное, окончательно всех исказив и запутав.

*«...Я вижу сам, что теперь всё, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего».*

И после этого не написал ничего, решительно ничего значительного.

*«Завещаю всем моим соотечественникам (основываясь единственно на том, что всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям), завещаю им лучшее из всего, что произвело перо мое,— завещаю им мое сочинение, под названием: Прощальная повесть... Его носил я в своем сердце, как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне Бога. Оно было источником слез, никому не зримых еще со времен детства моего. Его оставляю им в наследство».*

Надо ли пояснять, что лучшее сокровище оказалось очередным надувательством? Троекратное «завещаю» относилось к несуществующей повести, которую Гоголь, конечно, так и не написал.

*«Тебе нужно или какое-нибудь несчастье, или потрясение. Моли Бога о том, чтобы случилось это потрясение, чтобы встретила тебе какая-нибудь невыносимейшая неприятность на службе, чтобы нашелся такой человек, который сильно оскорбил бы тебя и опозорил так в виду всех, что от стыда не знал бы ты, куда сокрыться, и разорвал бы одним разом все чувствительнейшие струны твоего самолюбья. Он будет твой истинный брат и избавитель. О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех, оплеуха!»*

И неприятности пошли косяком, и добрый избавитель сыскался, и рекомендованная приятелю оплеуха раздалась в виду всех, но заработал-то ее Гоголь. Этого он не учел:

*«...Меня теперь нужно беречь и лелеять».*

Некрасиво!.. Бездарно!.. Ну а вид и хрип умирающего очень пристойны? Его вопли о помощи, сборы в дорогу, страхи, жалобы — красивы, логичны? Гоголь был умирающим, о котором уместно напомнить, что умирал он за письменным столом и агония затянулась. Если, не вынеся этого зрелища, его похоронили до срока, то в некотором смысле он умер значительно раньше, за много лет до формальной даты, если вообще не носил в себе смерть от своего рождения, что проявлялось в странной болезненности, ипохондрии, небывалых, похожих на обмороки, приливах творческой мощи, сопряженных с впадением в сомнамбулический транс, онемение, летаргию. Смерть лишь прогрессировала по мере того, как он жил, и когда это вполне обнаружилось, требовать приличий, последовательности, уважения к себе и читателям было по меньшей мере наивно. В «переходном состоянии», как называл его Гоголь (а все его творчество, особенно во второй половине, носило печать переходного, смутного, от жизни к смерти, качания, когда самое выздоровление возвещало ему поминутно, что жизнь, как уверял он всех, висит на волоске), его личность уже не имела строгих очертаний характера, как принято им пользоваться в человеческом обиходе, но сбивалась на какое-то множество, облекаемое по-прежнему Гоголем, но существующее как бы в разных планах бытия и сознания, ежедневно умирающее и воскресающее уже где-то за гробом, и продолжающее в то же время тянуться назад, к жизни, и плакать, и угрожать, и доказывать, и спорить с соотечественниками, часто невпопад, без толку, к собственному стыду и позору, ибо как может один человек сразу сообразить и осмыслить столько разноречивых, несхожих вещей и мнений? При всем том он не сошел с ума и не потерял голову, а, напротив, показал поразительную способность к рассудительности и самоконтролю и, пребывая в ясной памяти и здравом уме, всё старался сообразить и привести в порядок, в систему, всё, что открывалось его взору в этих несовместимых аспектах, видя дальше и больше, чем дано нормальному зрению, так что следует скорее удивиться, как он сумел сохранить себя под этой лавиной мыслей и не рассыпаться в пыль.

Известны признания Гоголя, что материю для своих персонажей он заимствовал почти исключительно из своего

внутреннего мира, преувеличивая пороки, которые в себе находил, что по-настоящему, как писателя, его занимала только собственная душа. Это вылилось свитой разнообразных лиц и характеров, каждый из которых уносил по зернышку из великого множества Гоголя, не будучи никогда, однако, сколько-нибудь целостным зеркалом его склонного к разбеганию во все стороны «я». Не исключено, что рано начавшееся умирание, обеспечивая его сочинения энергией и сырьем, стимулировало этот процесс распада, именуемый психологией творчества, в котором душа, витающая между жизнью и смертью, вступала в раздор с собою и «новый» Гоголь уже не узнавал «старого» и пугался своей же тени, как мы пугаемся привидений.

У индейцев Северной Америки существовало предание, согласно которому мертвые так же боятся живых, как нам, покуда мы живы, страшны и отвратительны мертвые. При виде живого пришельца мертвые в паническом страхе прычутся друг за друга, лишь бы не встретиться с тем, кто всем своим нечеловеческим обликом внушает им омерзение,— такова непроходимая пропасть между живыми и мертвыми.

Гоголь вмещал эту пропасть, эти не терпящие встречи, не желающие знать друг о друге, взаимно оскорбительные точки зрения, и оттого-то он так нещадно, ежечасно себя опровергал, и оттого же нет человека, которому был бы доступен и близок Гоголь в его полном охвате, с его хождением туда и обратно. Он становится вдруг невидим, неузнаваем — гадок, страшен, непохож ни на что то одной, то другой стороной, которые, кажется, вот-вот вскинутся в ужасе — каждая на свое привидение — и обличат: «"Ведьма!" сказал он, вдруг указав на нее пальцем...»

...Но, может быть, мне возразят, что искусство всегда создается перед лицом смерти? Что художник больше других помнит, что он умрет, и в предварение этого часа, о чем бы он ни писал, он пишет прощальную повесть?.. В таком разе Гоголь пошел еще дальше в деле писательства. Его последняя книга являет беспрецедентную в истории литературы попытку осмысленного прощания с жизнью, предпринятую непосредственно на смертном одре, где человек, очевидно, не очень-то церемонится, но и тогда едва ли рискнет заикнуться о том, что Гоголь понаписал, расставив все точки над *i*, и, не дожидаясь развязки, сам, как главный докладчик, вынес на обсуждение остолбеневшей общественности.

Впечатление кошмара, которое она оставляет, несмотря на благочестие автора, проистекло большей частью в результате смешения жанров, законных в разрозненном виде

и стыкнувшихся тут в нечто противоестественное: Библии и поваренной книги, молитвы и газеты, земных и небесных забот. Сам разговор, затеянный с громогласной публичностью на темы, о которых нам подобает тихо вздыхать, был нестерпим по тону, который Гоголь впоследствии, пойдя на попятную, осудил как ему «несвойственный и уж вовсе неприличный еще живущему человеку». Но мертвых его книга — промежуточная, межеумочная — тоже бы не устроила. Угрозы и прозрения, высказанные с широтой отрешенности, соседствуют в ней с мелким намерением высунуть нос из могилы и удружить провожающих еще не одной перепиской; раскаянье в содеянном, самое доскональное, мешается с деловитой претензией всё одним разом исправить и оправдать; отрицание прошлых заслуг спорит с незаслуженной гордостью своим долгом, лежа в гробу, работать на пользу общества. Так не пишутся книги, так мечутся на постели, а Гоголю еще не терпелось, чтобы его читали, обсуждали и других бы понуждали читать:

*«Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного».*

Читаешь и не веришь глазам. Происходит что-то чудовищное. По дороге на кладбище, наверстывая упущенное, Гоголь, громко охая, соскакивает с автобуса и становится в центре арены, чтобы всей России давить на психику своим авторитетом и саном раскаявшегося писателя и здесь же, не отходя от кассы, дирижировать своей панихидой.

*«В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы, как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною; но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу помолиться обо мне этою самой бессильною и черствою их молитвой. Я же у Гроба Господня буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого...»*

Неслыханно, невыносимо... Какую власть, какое величие нужно иметь, чтобы так вот прямо, в печатном издании, распоряжаться читателем, не заботясь о лице, о достоинстве и в этом бесстыдстве обретая какой-то орлиный престиж! Или под занавес утратил он деликатность и хитрую скрытность юности, забыл, чему учили родители и что диктует инстинкт, уча зверей умирать незаметно, забываясь под бревна, под хворост, чтобы никто не углядел унижения послед-

него издыхания? Или достиг он наконец нечувствительного могущества, когда уже всё равно, что подумают, как посмотрят, и единственно высшие замыслы открываются духовным очам? Юродивый? Угодник Божий? Одержимый, впавший в бесовскую прелесть, закативший белки проповедник?..

Когда бы и так! Когда бы и так, то ко всему, надо всем, к его прижизненным и загробным видениям, припутан третий, посредник, от которого и набралась эта ересь смелости вылезть на публику и, разодрав одежды, предстать в задумчивом оголении. Тут пахнет писателем, чья коснеющая рука старательно заносит в тетрадь всю свистопляску мыслей вокруг прощального угощения.

*«В ответ же тем, которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель...»* («Авторская Исповедь», 1847 г.).

*«...Литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грехи — здесь»* (В. А. Жуковскому, 10 января н/с 1848 г.).

Вот так всегда. Заявит во всеуслышание, что никакой он не писатель, что писательство не его призвание, что он попал сюда по ошибке и потерял к нему вкус и способность, а если бы даже вновь почувствовал позывы к перу, то как честный человек, сознавая свое недостойнство, должен был бы еще и еще раз торжественно от него отказаться, а сам под этой маской продолжает писать и писать. Пуская всякое лыко в строку и всякий вздох и стон обращая в литературу. Уже и сил никаких нет, и творческие истоки заглохли, и художественные образы не приходят в голову, а он всё свое химичит — не художественно, а прямо так, по бумаге, канцелярски, пророчески, неисправною жизнью, разверзшейся бездной, суконным языком.

Если желаете знать, что такое писатель в самом голом, отрешенном от должности, от творчества, от таланта, от всего на свете виде, — читайте эти опусы Гоголя. Писатель — это Гоголь, проклявший свое писательство и всё же что-то царапающий, скребущий, как мышь.

Даже пересказывая, переписывая эти его исхищрения, испытываешь стыд, будто следом за ним производишь что-то непристойное. Да заткнись ты, прекрати! Хочется пойти и вымыть руки. Нет, пищешь и пишешь.

А что делать?

Как в древности какой-то запальчивый полководец, истекая кровью, приказал, когда он скончается, зарядить его

трупом катапульту и выстрелить по неприятелю, в расчете хотя этим принести отечеству пользу, так Гоголь выпустил в свет, почував, что жизнь проиграна, свое пришедшее в ветхость, почти бездыханное тело. Так появилась книга — «Выбранные места из переписки с друзьями» (1846 г.).

Два слова играют в ней первостепенную роль: «польза» и «должность». Грозно клянется Гоголь, стуча железной клюкой, что «никогда еще доселе не питал такого сильного желания быть полезным». С детства, выясняется, манило его служебное поприще, и лишь писательство, случайно отвлекшее, помешало ему занять более отвечающий его характеру и дарованию пост государственного чиновника, пока, наконец, эта жажда практического добра, набравшаяся душевного опыта, сознания христианских и гражданских обязанностей, созрев, не прорвалась в эту книгу советов и назиданий, встречающую во всякую щель частной и общественной жизни, с тем чтобы отовсюду извлечь какую-нибудь пользу. Даже наши болезни, несчастья, даже поэзия Пушкина и женскую красоту мобилизует он в не очень-то свойственном им значении пользы и должности и направляет на фронт замысленных широких работ по спасению души человеческой и нравственному переустройству России, и только в одном не видит никакого прока — в своих литературных творениях, искупить которые призвана его жестокая схима.

*«Я писатель, а долг писателя — не одно доставление приятного занятия уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него в поучение людям»<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Документы биографии Гоголя подтверждают, что он действительно с юных лет питал маниакальную склонность к должности и служебной карьере, чтобы потом периодически, помимо литературных занятий, стремиться с официальным лицом взойти на важную кафедру, где вскоре, как правило, с треском проваливался. Замечательно в этом смысле гимназическое послание Гоголя двоюродному дяде П. П. Косяровскому (Нежин, 3 октября 1827 г.), содержащее уже все предпосылки его позднейшего прожектерства:

*«Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принести ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом, — быть в мире и не означить своего существования, — это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остано-*

Сперва мы умненько посмеиваемся, не веря, чтобы это серьезно, чтобы гениальный писатель в расцвете славы вздумал вернуться к детской игре в чиновники, над которыми сам же потешался в своей бессмертной комедии, и пробуем спорить с Гоголем, втолковывая, что его «Ревизор» бесконечно полезнее всех этих душеспасительных выборов (как он это не понял — уму непостижимо!). Потом, при виде, с какою опустошающей страстью вьелась в него эта польза, пожрав все прежние замыслы, и дар, и право на творчество, коль скоро оно не означено рубцами утилитарной морали, вас охватывает отчаяние за Гоголя-художника, принесенного Гоголем в жертву помраченному резонерству. (В детстве еще была из XIX века открытка: Гоголь в припадке безумия сжигает «Мертвые Души», в то время как у него за спиной Муза или, может быть, Гений, отвернувшись, рыдает, не в силах ничем уже помочь своему подопечному.)

Однако по мере знакомства с его убийственной книгой и кругом настроений и мыслей, ее вызвавших из-под земли, к вам закрадывается сомнение, что Гоголь, возможно, был по-своему не так уж неправ в стремлении к нравственным целям, к прямому внесению доброго слова в сердца и далее, в современное общество, в историю, минуя, если понадобится ради такого дела, художественные каналы. Было бы, конечно, желательнее, чтобы ход его рассуждений не вредил его литературным успехам. Так ведь и Гоголю это было желательнее, и он издал «Переписку» как вынужденное и, я бы сказал, пожарное мероприятие, в условиях предсмертной горячки и проигрыша с «Мертвыми Душами», сжигавшимися совсем не потому и не так, как нарисовано в детской открытке... Словом, непредвзято входя в истинное его положение, убеждаешься мало-помалу, что выводы, к которым пришел он, если и не вполне справедливы, то субъективно необходимы,

---

*влялся на одном. На юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеем, здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце...*

*...Что-то непонятное двигало пером моим, какая-то невидимая сила натолкнула меня, предчувствие вошло в грудь мою, что вы не почтете ничтожным мечтателем того, который около трех лет непреложно держится одной цели и которого насмешки, намеки более заставят укрепить в предположенном начертании».*

Это «что-то непонятное», «какая-то невидимая сила» — в тех же буквально выражениях — двигали пером и душою Гоголя до конца его дней.

естественны, порожденные всей внешней и внутренней ситуацией Гоголя, грешащего скорее излишней логичностью, чем каким-либо недомыслием. В итоге проклятая книга вас засасывает и настраивает на свою колею; вы начинаете ей поддавать, поддаваться — нет, не очарованию, ибо вся манера и слог здесь более отвращают и вся душа терзается и протестует, пока вы в нее вчитываетесь, — но обнаруженному в ней здравому смыслу, элементарной понятности, трогающей за живое читателя тем сильнее, прямо сказать, когда он русский по духу.

В самом деле, аргументация Гоголя довольно традиционна для нас, хоть и находится где-то в начале традиции, а мы... Бог весть, к какому времени, классу и состоянию отнесет себя каждый, в ком тоже есть этот комплекс, пусть не гоголевского, а всё ж родного, русского происхождения. Стоит вспомнить такие, не связанные между собою, фигуры, как Писарев, Толстой, Маяковский, не прибегая к более длинному списку литературных имен, чтобы заметить, что Гоголь не так уж одинок в своем иконоборчестве, в священной войне с эстетикой, поднятой под знаменем пользы. Несмотря на разность, а часто и полярность понятий о том, что полезно и во имя каких добродетелей следует пренебречь красотой (отчего нигилисту, допустим, не найти общего языка с православным, и толстовцу — с левовцем), все они неожиданно сходятся на одном — на вопросе, на постановке вопроса в самой острой и угрожающей форме: что важнее — искусство или живое добро, и в чем заключается, следовательно, долгость и польза художника?

Всюду писатель пишет; у нас он непременно сверх того еще что-то значит. И было бы даже странно, если б он просто писал и ничего больше: какой же он писатель? Вот Лев Толстой, сразу видно, — писатель: сам землю пахал.

Как развивает Гоголь эту русскую черту, придавая ей, очевидно, последнюю роль в своем нравственном обращении, —

*«у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живет уже какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее, что он непременно должен быть благороден, что ему многое неприлично, что он не должен и позволить себе того, что прощается другим» («О лиризме наших поэтов»).*

Это-то убеждение в моральном превосходстве писателя и вытекающих отсюда обязанностях и должностях толкает некоторых, наиболее ревностных, авторов в атаки на свое ремесло, ставшее низким и тесным писательскому званию.



Писатель в этом смысле — в крайнем своем выражении — это тот, кто готов оставить перо во исполнение большего. Так что гоголевские сомнения над тем — художник он, или чиновник, или еще кто-нибудь, с постоянным нарушением своих вчерашних ответов, есть типично писательское, до корней волос писательское переживание, хотя оно и граничит с попыткой навсегда расстаться с искусством за его нравственной недостаточностью.

Есть что-то в нашей природе, что при всем несходстве в характерах, в литературных взглядах и вкусах нет-нет, а понуждает спросить: так что же все-таки выше — поэзия или дело, красота или польза, Аполлон Бельведерский или печной горшок, художник или сапожник? — и все эти образы пользы имеют на прицеле не какую-то убогую выгоду, но бескорыстное служение ближнему, который, покуда мы с вами тут Аполлонами упиваемся, может быть, без сапог ходит или где-то в пустыне Гоби от укуса змеи изнывает (по Гоголю — погибает в грехах). Ах, знаю-знаю, вы скажете, что художник то же полезен, что и Аполлон иногда, случается... Ну а если без увиливаний: или — или? На одной стороне какая-то там красота, какое-то «доставление приятного занятия уму и вкусу», а на другой — польза во всем сиянии осязаемого добра, деятельной и благотворящей любви, спасающей и жизнь и, если угодно, душу несчастного брата, точнее же говоря — уже и не польза в ее плоском звучании, но само спасение взывающего к вам неустанно — доколе? и помоги! — человечества, — вот как это называется полным титулом, — так как же, я вас спрашиваю, и считаю до трех!..

То-то же.

Стоит ли высмеивать или оплакивать Гоголя, если в нас самих прослеживается та же потребность. Если с детства, с самых лет еще непонимания, как первый оброк судьбе, закрадывается жажда полезного, причем в той именно должности, которая всех важнее и благодетельнее для человечества, где, как заявлено дяде, «работы будет более всего», будь то должность чиновника или чернорабочего, что зависит уже больше от возраста, эпохи и социальной закладки будущего писателя, который, возможно, и в писатели-то уставился под впечатлением чудной открытки, на которой Гоголь в припадке безумия сжигает «Мертвые Души», впервые загоревшись сознанием: «писатель» (смотрите-ка: пи-са-тель!), как чем-то драгоценным, мучительным, представшим в истинном качестве, в полной должности, в твердом уме, писателем, который не пишет, но сжигает на счастье потомству какие-то мертвые души, вместе с языками огня, темным логовом,

истощенным лицом и сумасшедшей улыбочкой Гоголя говорящие нам, может быть, больше и лучше всего о писательстве как об искусстве чернокнижия чиновника-чернорабочего, таком тяжелом и гибельном, что самые слезы Гёния, рыдающего над его сумасшествием, оказываются как бы наградой за долготерпение Гоголя выстаивать все эти ночи на боевом посту, перед печкой, бессменным кочегаром, шахтером, замурованным для пользы в забое. Попробуйте ему объявить, что открытка не действительна и всё это пустое, детское воображение, что писатель — это просто профессия, в меру полезная, не очень нужная, не слишком опасная, не пыльная, так он, пожалуй, после этого на литературу и глядеть не захочет. Нет, скажет, это нечестно, писатель должен... Но вернемся к Гоголю.

*«Соотечественники! ведь и у меня в жилах тоже русская кровь, как и у вас... Дайте мне почувствовать, что и мое поприще так же честно, как и вы все служите, что не пустой я какой-нибудь скоморох, созданный для потехи пустых людей, но честный чиновник великого Божьего государства...»* («Развязка "Ревизора"», 1846 г.).

Повторяю: пусть не смущает вас устаревшее слово «чиновник». Оно у Гоголя такой же синоним для обозначения общей пользы, как любой «сапожник», «подвижник». «Божье государство» тоже легко заменить любым другим «производством», «светлым царством добра» или еще чем-нибудь хорошим. И всё станет понятно.

Непонятнее другое. Писатель настолько важное в нравственном содержании имя, что назвавшийся им всё время как будто оправдывается в том, что он писатель, словно это что-то сомнительное, недостоверное, и старается доказать на словах и на деле, что он такой же честный и законный человек на земле, как, скажем, врач, инженер, учитель, солдат, чиновник, работник, сеятель, коновод, водовоз — кто угодно, но только не писатель.

Это как в геометрии Лобачевского, где параллельные линии, говорят, пересекаются. Но такое пересечение непересекаемых параллелей позволяет наконец докопаться, чего же, собственно, алчет наша душа, требуя от козла молока, от художника — чиновника, от искусства — пользы. Душа (и это, сдаётся, посерьезнее исконной отзывчивости на чужие несчастья, или — жажды самопожертвования) ни о чем так не страдает, не плачет, как — о красоте.

С ума сойти! Не о пользе? Не о добре? И даже не о спасении человечества посредством полезных рецептов?

Нет. О красоте. О той красоте, которая воскресит мир. Которая совершенна, всесильна и поэтому излучает, как солнце,—истину и добро, всё удостоверяя и убаглотворяя собою. И поэтому заурядная, бездейственная красота, превозносимая эстетиками, от которой ни тепло, ни холодно, которой не накормишь, не сошьешь сапоги, не излечишь от болезни и смерти,—эта неполная, недостаточная красота нам обидна и оскорбительна, заставляя в свой черед обижаться на писателей и художников, неспособных нас осчастливить в том размере, как этого ожидает душа, взыскующая красоты совершенной.

Что до Гоголя, то над ним в разгар морализаторства — может быть, больше, чем когда бы то ни было,—довлеяла вера в прекрасное. Она-то и понуждала его к отказу от литературного прошлого, не оправдавшего чрезмерных надежд. Но Гоголь не заглох, не охладил к писательству,—напротив, был им заворожен, околдован и ждал и жаждал слишком многого на этой шаткой стезе — что никакое искусство, строго говоря, не в силах исполнить. Оттого он и предал былые забавы анафеме — не как монах, но как автор, уверовавший в свое амплуа, в верховную должность художника, от которого на потомство по прямому проводу исходит живой огонь, отчего зависит, если хотите, даже исход истории. В этом плане преувеличенный страх за свой писательский грех свидетельствовал о необоримой гордыне того, чья несправность сулила человечеству бедствия и кто, значит, властен был правильным поворотом пера избавить нас от грозящих напастей и потрясений.

Писательское покаяние Гоголя базировалось на баснословном писательском самомнении — на уравнивании художника в полномочиях с чудотворцем (недаром предсмертные вопли его походили на финал колдуна).

*«Соотечественники! страшно!.. Стонет весь умирающий состав мой, чужа исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеели в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...»*

В этой тираде читали приговор моралиста писателю. Но в ней же обозначились ясно писательские потенции Гоголя, приписывающего своим сочинениям неслыханную влиятельность и склонного всякое слово вменить себе в преступление, доколе не в условие всеобщего благоустройства. И если «Ревизор», предположим, угораздило бы прорасти Робеспьером, а «Миргород» — накликал судьбу Содомы и Гоморры, то «Мертвые Души», по той же логике, согласно

воображению Гоголя, держали на примете сразить повыползшие отовсюду страшилища и силою красоты, равной сотворению суда, положить начало чаемому Воскресению Мертвых.

Когда чудо не сбылось и мертвые — даже в рукописи, в иносказательном смысле — не воскресли, Гоголь почел себя виновником мировой катастрофы. Однако степень падения указывала на высоту, куда он едва не вознесся, гиперболы в оценке виновности гласили о творческой воле, что, оборвав узду, обрушилась на злосчастного автора, который, наподобие беспечного ученика чародея, не нашелся унять вызванные им к жизни стихии. (В том контексте «Переписка с друзьями» служила монастырской обителью, где временно укрылся художник, чтобы спешно замаливать грех прошлого своего колдовства и готовиться к новому опыту, на который уже его не хватало...) Но какое зато развил он неистовство в мыслях! какую бурю проектов внес он в повестку дня!..

Гоголю в идеале мнилась такая книга, прочтя которую, мир просиял бы красотой совершенства и вечное, безрешное племя воцарилось бы на обновленной земле. В ее мыслимом свете всё, что создавалось им прежде, в виде ни к чему не обязывающих художественных упражнений, падало и уничтожалось в цене, казалось несостоятельным, вредным, требуя отмены, запрета. Не написав ее потому только, что никому не дано написать такую великую книгу, Гоголь тем не менее был ею руководим, направляем и проникался, дышал этим максимальным запасом и замыслом своей жизни, заставлявшими его возвышаться над собственными творениями и следовать дальше, желая реальнейшего и прекраснейшего, пока он не подошел к ней вплотную и не начал в смятении жечь главы, не отвечавшие азбуке его ремесла, и наново перемарывать, чтобы снова и снова сжигать не шедшую из головы и не достигшую кондиции книгу, видя, как вместо нее подступает к нему смертная тьма, в то время как всё его творчество уже дымилось в руинах и всё в нем было нечисто, отвергнуто и бесполезно.

С этим сознанием брэнности и непоправимости содеянного, как последний, отчаянный, хватающий за руку и опять-таки неудавшийся жест, — вышла «Переписка с друзьями». Но ответ другой, высокой, периодически сжигавшейся книги, ненаписанной, недостижимой, лежал на ее страницах, и по ним мы можем судить о цели и назначении Гоголя, ради которых, собственно, он и жил и писал.

Не писать — но спасать. Не изображать — ворожить, уповая на Преображение мира. Силою слова живого на-

сквозь перестроить свет. Не когда-нибудь, а немедленно, сейчас, пока не поздно, превозмочь несовершенство природы и пошлость существования властью, данной от Бога, властью художника — явлением красоты всемогущей и чудотворной.

История не знала подобных опытов. Почти не знала: Гоголь нашел себе пример и опору — в «Одиссее» Гомера. Уже самый объем и охват универсальной, единственной книги многое ему обещали и отвечали его устремлениям. (И Чичиков во всю прыть путешествовал уже по России, как некогда хитроумный Улисс...)

*«Появление Одиссеи произведет эпоху. Одиссея есть решительно совершеннейшее произведение всех веков... Илиада перед нею эпизод. ...Трудно даже сказать, чего бы не обняла Одиссея, или что бы в ней было пропущено».*

*«Теперь перевод первейшего поэтического творения производится на языке, полнейшем и богатейшем всех европейских языков.*

*Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приговлением к этому делу».*

*«Одиссея произведет у нас влияние, как вообще на всех, так и отдельно на каждого».*

*«Одиссея есть именно то произведение, в котором заключились все нужные условия, дабы сделать ее чтением всеобщим и народным».*

*«...Одиссея есть вместе с тем самое нравственнейшее произведение...»*

*«Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников, несмотря на ограниченные пределы самой власти, эта девственная стыдливость юношей, эта благость и благодушное безгневие старцев, это радушиное гостеприимство, это уважение и почти благоговение к человеку, как представителю образа Божия, это верование, что ни одна благая мысль не зарождается в голове его без верховной воли высшего нас Существа, и что ничего не может он сделать своими собственными силами, словом — всё, всякая малейшая черта в Одиссее говорит о внутреннем желании поэта всех поэтов оставить древнему человеку живую и полную книгу законодательства в то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядков...»*

*(«Об Одиссее, переводимой Жуковским». Письмо к Н. М. Языкову.)*

Ох, как торопится Гоголь выдать отечеству вексель, действительный на все времена, — в образе произведения, столь от нас удаленного и не похожего ни на что, что при

взгляде на эту рекламу нового Левиафана, как от пения сирен Одиссея, начинается сладко и томно закруживаться голова, и в Гомеровой эпосе, как в прозрачном теле утопленницы, проступает знакомый контур, темное тело ведьмы: Гоголь! обугленный остов той колоссальной поэмы, что строилась в убожество общества, в оправдание затрат, как Жуковскому тоже вся литературная жизнь понадобилась на приготовление к подвигу перевода, который если бы не был написан, Россия лишилась бы векселя, спасения, «Одиссеи», панацеи от бед, этой книги из книг, основанной на гармонии политики и религии, науки и искусства, начальства и народа, Бога и человека, на маниловской мифологии и забытом синкретизме, подобной похождениям Чичикова, сочинениям Тютчевского, занятого целые дни обдумыванием фундаментальной пародии на произведение Гоголя в его полном и неосуществленном объеме («Сочинение это должно было объять всю Россию со всех точек — с гражданской, политической, религиозной, философской, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно ее великую будущность»).

Не знаешь, чему изумляться скорее: писательской ли лояльности Гоголя, словно проглотившего разом все свои резонерства и взявшего в образец наименее менторское и наиболее светское произведение древности? Дерзости ли его в разрешении актуальных задач эпохи с помощью розовощекой архаики, приспособленной к российскому климату по принципу Поприщина, сшившего себе королевскую мантию из нового вицмундира? Широте ли его нравственных взглядов и умению уравновесить яростный аскетизм «Переписки» прохладными облаками Эллады? Или, наконец, несбыточным, в духе Дон-Кихота, расчетам исправить человечество чтивом и добиться «Одиссейей» успехов, не достигнутых тысячелетним проповедыванием Евангелия?

*«Во-вторых, Одиссея подействует на вкус и на развитие эстетического чувства. Она оживит критику...»*

*«...В-четвертых, Одиссея подействует в любознательном отношении, как на занимающихся науками, так и не учившихся никакой науке...»*

*«...Наконец, я даже думаю, что появление Одиссеи произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще. Именно в нынешнее время, когда таинственной волей Провидения стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на всё, что ни есть на свете: на порядок вещей, на время, на самого*

себя; когда всем наконец начинает становиться подозрительным то совершенство, в которое возвели нас наша новейшая гражданственность и просвещение; когда слышна у всякого какая-то безотчетная жажда быть не тем, чем он есть, может быть, происшедшая от прекрасного источника — быть лучше; когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедывания новых, еще темно-услышанных идей, слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоящий закон действий, как в массах, так и отдельно взятых особах; словом, в это именно время Одиссея поразит величавою патриархальностию древнего быта, простою несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленную, младенческою ясностью человека. В Одиссее услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век, и упрекам не будет конца, по мере того, как станет он поболее всматриваться в нее и вчитываться».

«Словом, на страждущих и болеющих от своего европейского совершенства Одиссея подействует. Много напомним она им младенчески-прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себе человечество, как свое законное наследство. Многие над многим призадумаются. А между тем многое из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу русской земли. Благоухающими устами поэзии навевется на души то, чего не внесешь в них никакими законами и никакой властью!»

Все-таки до чего хорошо, чудесно и премудро задумано — «Одиссея» в переводе Жуковского... и следом за «Одиссеей» Россия, а следом за Россией Европа, осознавшая свое недостоинство, переводятся на положение подлинника, возвращаясь во времена золотые, старосветские, младенческие, невидимо, безбоязненно, посредством одной лишь Книги, благоухающими устами поэзии навевающей нам райские сны...

Красота в умозрениях Гоголя обладает тайной воздействия, превышающего установления общества и государственной власти. Не так ее созерцание, как сила красоты, ее активная миссия в мире занимали воображение Гоголя. В его глазах она всегда панночка, обращающая тело и разум наши в орудие собственной воли. К ней подошли бы скорее эпитеты не молитвенные, но батальные, аналогии с Брунгильдой, с валькириями, прободающими души копьем. Описанные им по последней моде, по всем мировым стандартам, красавицы сверх того наделяются смертоносной чертой ударности своего бытия. В них видится «что-то страшно-пронзительное»

(«Вий»), «что-то стремительное, неотразимо-победоносное» («Тарас Бульба») — от усмешки, «прожигавшей душу» («Ночь перед Рождеством»), до искусства подымать-опускать «сокрушительные глаза» («Невский проспект»). Огненное сравнение с «молнией» подтверждает их пробивную способность. Даже в пародийном ключе прекрасное у Гоголя воинственно, агрессивно:

*«...Подбежал дыло вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения» («Шинель»).*

Кто это — панельная дева или Ника Самофракийская?<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Какая, однако ж, разительная противоположность Жуковскому, на чей перевод он надеялся как на собственное творение и кто мог лучше других оценить его стремление сблизить красоту и религию. В письме к Гоголю — «О поэте и современном его значении» (1848 г.) — Жуковский отводит прекрасному область не от мира сего, куда мы в принципе не имеем прямого доступа. (Не думал ли он, будучи в курсе статей и намерений Гоголя, несколько охладить его пыл и уберечь от слишком тесных и опасных контактов с прекрасным?)

*«...Прекрасное существует, но его нет, ибо оно, так сказать, нам является единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы нам сказать, оживить, обновить душу — но его ни удержат, ни разглядеть, ни постигнуть мы не можем; оно не имеет ни имени, ни образа... весьма понятно, почему почти всегда соединяется с ним грусть — но грусть, не приводящая в уныние, а животворная, сладкая, какое-то смутное стремление: это происходит от его скоротечности, от его невыразимости, от его необъятности. Прекрасно только то, чего нет — в эти минуты тревожно-живого чувства стремишься не к тому, чем оно произведено и что перед тобою, но к чему-то лучшему, тайному, далекому, что с ним соединяется и чего в нем нет, но что где-то, и для одной души твоей, существует. И это стремление есть одно из невыразимых доказательств бессмертия: иначе отчего бы в минуту наслаждения не иметь полноты и ясности наслаждения? Нет! эта грусть убедительно говорит нам, что прекрасное здесь не дома, что оно только мимолетающий благовеститель лучшего; оно есть восхитительная тоска по отчизне, темная память о утраченном, искомом и со временем достижимом Эдеме...»*

Гоголь тоже придерживался нездешней природы прекрасного, но этого ему было мало. Элегические вздохи Жуковского по непостижимым зарницам у него перекрыты молнией, сжигающей до тла созерцателя, и содроганием естества, пораженного восторгом и ужасом ее попадания.

*«О, какое небо! какой рай! дай силы, Создатель, перенести эту жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу!» («Невский проспект»).*

Тем самым прекрасное из удаленной субстанции изливается в огнеподобную силу пересоздания жизни, в энергию, свыше ниспосланную для производства исполинских работ.



Поэтому и в рекомендованных им нравственно-воспитательных мерах по исправлению человечества красоте предложена роль, какую мог отвести ей не моралист и не мыслитель, а единственно — художник, уповающий на прекрасное как на бесспорный довод. Знаменательная в этом смысле статья, открывающая «Переписку с друзьями» (следом за Предисловием автора и авторским Завещанием) и служащая первой, преподанной Гоголем, лекцией на тему общественного спасения — «Женщина в свете».

С чего же, интересно, начинается проповедь Гоголь? Всё с той же «Одиссеи» — с аргументов и поучений эстетикой. С того, чем, можно догадываться, желал он усовестить мир в своей несбывшейся Книге.

*«Красота женщины еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определено, чтобы всех равно поражала красота, — даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему неспособны. Если уж один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наизумнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру?»*

Но ожидая от женщины пользы, Гоголь ничего не требует от нее, кроме того, что она уже имеет как женщина, — ни нравучений, ни общественной деятельности. Ее благая задача — быть собою, являя всем в назидание свою красоту, более для нас убедительную, нежели любая воспитательная метода, воспользовавшись которой, она бы всё испортила одной этой привнесенной, не вытекающей из ее облика нотой (как испортил Гоголь второй том «Мертвых Душ»). Гоголь в данном случае, нельзя не заметить, рассуждает как истый художник, проникающийся природой создания и довольствующийся красотой в собственном значении слова, ничего к нему не примешивая; его женщина в свете — то же, что образ идеального произведения, и потому все его советы

---

*«...— Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, — я побегу исполнять ее! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек, — я сделаю, я погублю себя» («Тарас Бульба»).*

Не в этой ли подмене значений «сделать невозможное» — «погубить себя» пружина крушения Гоголя? Не он ли, возжаждавший непосильной работы, в самоистребительной страсти к прекрасному, принял удар на себя? Не мораль и не польза убили его, но молния красоты совершенной, похищенная с неба. Поздний Гоголь — образ нагого дерева, разбитого и спаленного громом.

прекрасной корреспондентке могут быть распространены на советчика, на Гоголя: исполни он сам их — он остался бы на высоте положения (но он не был бы Гоголем, если б он их исполнил).

*«Не убегайте же света, среди которого вам назначено быть, не спорьте с Провиденьем. ...Ваш голос стал всемогущ; вы можете повелевать и быть таким деспотом, как никто из нас. Повелевайте же без слов, одним присутствием вашим; повелевайте самым бессилием своим, на которое вы так негодуете; повелевайте и именно той женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина нынешнего света. ...Вам ли бояться жалких соблазнов света? Входите в него, как в больницу, наполненную страждущими; но не в качестве доктора, приносящего строгие предписанья и горькие лекарства ...Ваше дело только приносить страждущему вашу улыбку да тот голос, в котором слышится человеку прилетевшая с небес его сестра, и ничего больше. ...Храни вас Бог от всякого педантизма и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Внесите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые так говорливо у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое простое слово вашей речи, а душе всякого, кто вас ни слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека. Эти-то именно речи вносите и в свет».*

Не странно ли, что Гоголь при всей фантастичности плана более прост и доступен, чем многие филантропы его рошущего столетия, отвечавшие, как и он, на вопрос, что делать молодой, образованной, красивой, состоятельной, нравственной и всё еще не довольной своей светской бесполезностью женщине. Он не зовет ее ни резать лягушек, ни упразднять корсет, ни даже плодить детей, ни воздерживаться от деторождения. Всё гораздо легче, естественнее. И всё же его директива, предлагавшая скучающей барыне совместить ее природные свойства ангела с натуральным домашним обычаем, показалась несносной утопией, менее прочих приемлемой и интересной для женщин, увлекавшихся тогда (см. романы Тургенева) несравненно более радикальными фантазиями.

Гоголю в истолковании женщины, как и «Одиссеи» Жуковского, помогло высокое чувство такта, вместе со знанием дела проявляемое им всякий раз, когда он соприкасался с прекрасным, выдавая ему, несмотря на зарок, несконча-

емые авансы. Красивая женщина, судя по всему, в соответствии с его пониманием, не нуждается в подтверждениях ни политикой, ни религией, она сама и политика и религия, она довлеет себе, оправданная самим фактом своего существования в мире.

Когда бы все мы имели такие виды на жительство!.. «Ты должен! должен!» — стучит нам молот в мозг в напоминание о деле, о пользе, которыми надлежит расплатиться за грех и удовольствие рождения на земле. Одна прекрасная женщина никому ничего не должна. Она — есть. Она оплачена тем уже, что полностью, как цветок, реализована в своей скорлупе. Она спокойно завтракает, со вкусом одевается и едет в гости, и вот уже все приподняты и улучшены ее присутствием. «Чудный праздник летит из лица ее навстречу всем» («Рим»). Мы не спим, мы устали, изнемогли, но не можем остановиться. Не можем отдохнуть, умереть. Обязанности. Расчеты. Категорический императив, на который нам всё равно не подняться, не утолить, и мы погибнем. Она одна — безо всяких трудов и стараний — заранее спасена!

Не таково ли тоже значение творчества? Не об авторе речь. Автор стинет, спятит с ума, как Гоголь (туда и дорога). Но образ, но красота!.. Как это отрадно, прекрасно — быть женщиной, не человеком — ландшафтом, быть фреской, Джиокондой, Хлестаковым, «Тройкой» Гоголя (звенит колокольчик). Всех смешить, изумлять. О, я верю: искусство спасется. Не художник — искусство. Выйдя сухим из воды. Никому не задолжав. Просто будучи собою, пребывая в собственном свете, допуская в виде милости на себя любоваться.

Если бы он закрепился на этой безупречной позиции спасения человечества силами красоты — чтением «Одиссеи», общением с прекрасными женщинами, слушанием музыки, созерцанием антиков, — никто бы на него не обиделся и не рассердился. Ну, вздохнули бы грустно над милым идеалистом, поздравили бы Россию еще с одним Шиллером, и дело в шляпе. Но Гоголь дело России, дело претворения в плоть слова красоты совершенной, принял к сердцу, буквально, не в мечтательном куреве прежних своих арабесок, где всё удалено, смягчено зыбкой проблематичностью, всемирной географией, немецкой философией, растворенными в море узкоязычающих иносказаний, высокомерной и мало-кровной духовности, а честно, без дураков, с ножом к горлу: вынь да положь! В подмогу искусству он не замедлил привлечь гражданские и церковные ведомства, хозяйственный статус и разум, съевший собаку в вопросах психологии, педагогики, подвергнув души читателей самой интенсивной,

чувствительной разверстке и обработке. То, надо думать, была тотальная мобилизация автором всего своего мирского запаса и аппарата.

И всё же, можно догадываться, то не было изменой поэзии, но — развитием почерпнутых в ней энергий, свершений до ее уничтожения. Красота от полусонных зевков и шамкающих пререканий с действительностью («Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существенностью!») решительно пошла на таран; в жажде повелевать и видя, что дело не клеится, она кинулась уговаривать зрителей стать прекраснее, чище и разом растеряла последнюю убедительность. Ее лицо исказила тоскливая напряженность, натужливость. Искусство в лице Гоголя надорвалось в условии пересоздать действительность по образу Утопии, тем более неподъемной, что автор пожелал в ней стоять на твердой почве. (Его снова и снова подвел его реализм.)

*«Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь вы стоите над бездною...»* (Письмо В. Г. Белинского, 15 июля н/с 1847 г.).

Гоголь-то был спокоен, что под ногами у него прочные рельсы, реальные установления общества, в которое мы посланы жить, ничего не меняя, не сдвигая с места, не дав увлечься себе какой-нибудь вздорной реформой, сомнительной, единовременной гипотезой или теорией, но соблюдая во всем строжайшую осмотрительность. Письмо Белинского поразило его крайним субъективизмом, горячечной односторонностью взгляда. Напротив, его ответ знаменитому критику обескураживает успокоительной логикой, готовностью к примирению, что вызвано не одним лишь тогдашним подавленным состоянием Гоголя, но выросшим еще в «Переписке с друзьями» намерением всё увязать, взяв всякую вещь во внимание, найдя для нее благоразумную середину. Право же, как-то неловко встретить такую терпимость, умеренность, рассудительность в устах такого фанатика, каким он прослыл в эту пору!

*«Не все вопли услышаны, не все страданья взвешены. Мне кажется даже, что не всякий из нас понимает нынешнее время, в котором так явно проявляется дух построенья полнейшего, нежели когда-либо прежде: как бы то ни было, но всё выходит теперь внаружу, всякая вещь просит и ее принять в соображенье; старое и новое выходит на борьбу,*

*и чуть только на одной стороне перельют и попадут в излишество, как в отпор тому переливают и на другой. Наступающий век есть век разумного сознания; не горячася, он взвешивает всё, приемля все стороны к сведению, без чего не узнать разумной середины вещей. Он велит нам оглядывать многосторонним взглядом старца, а не показывать горячую прыткость рыцаря прошедших времен; мы ребенки перед этим веком» (Письмо В. Г. Белинскому, 10 августа 1847 г.).*

Всё правильно: Гоголь искал гармонии. Да век-то, оказалось, менее всего склонялся к золотой середине. В его расстановке Гоголь исходил не из каких-то идей (он вообще не доверял идеям), но из окружающей данности, наличного бытия и разрушительные процессы, потравы надеялся уравновесить чем-то стабильным, солидным, в виде полноценно и долговечно существующих церкви, царя, губернатора, которые ведь были реальны (губернатор реален, а генерал-губернатор куда реальнее!) и находились при деле, на должности, укорененные в бытии, испробованные на опыте (можно проверить, потрогать), и сам не заметил, как попал в ретрограды. В поисках равновесия его заносило назад.

Он не хотел быть ни правым, ни левым, ни западником, ни восточником, но — самым что ни на есть образцовым, благонамеренным гражданином. Середину он полагал на строго консервативной основе. Основа же, по его вычислениям, нуждалась в восстании мертвых — в восторге и перевороте, которые бы, ничего не меняя, раскрыли природу вещей, вернув их на прежнее место, в изначальное положение. Всё призвано было остаться таким, как было, став абсолютно иным, небывалым, неузнаваемым. Отсюда и максимализм, ультимативность предъявленных им обществу счетов, и угодливая осторожность в уяснении перспективы. Он шел не путем реформ, поправок, нововведений, но — восстановления в Боге, пресуществления в Вечность всего, что почиталось законным, а значит, предустановленным, истинным. Будущее ему рисовалось в символах настоящего, стремительно, в жажде прогресса, поворотившего вспять. Он не желал ничего выдумывать, изобретать, добавлять от себя, но брал вещи как есть. Он был практичен. Именно боязнь скороспелых, непроверенных путей и решений, склонность мыслить практически, трезво, наверняка — толкали его тогда к невообразимым химерам. Он был тем более утопистом, чем менее был склонен к утопиям.

Гоголь не был Дон-Кихотом. Он был Дон-Кихотом, смешавшим дон-кихотские выходки с ухватками Санчо Пан-

сы, и досаждал своим здравомыслием хуже сумасшедшего. Это сообщало его алхимии характер мануфактуры. Он был, я бы сказал, мистическим материалистом и свою эсхатологию поверял экономикой. Анахорет, бессребреник, он лез в министры финансов, и планы его обычно были просты и дерзки («— Рыбью шелуху, например, сбрасывали на мой берег шесть лет сряду; ну, куды ее девать? я начал с нее варить клей, да сорок тысяч и взял. Ведь у меня всё так»). Легковерие, беззаботность по части реализации замыслов самых несусветных сочетаются у него с въедливым упрямством, с занудством вникать во всякую дрянь, с тем чтобы заранее всё обсудить, рассмотреть и сесть в лужу обдуманно, всесторонне; слабость к сказкам, к воздушным замкам — с кулацкой прижимкой, с нахрапом старого барыги и ябедника, ужиливающего чужую деньгу; детская наивность, беспомощность в современных предметах — с каким-то крысиным чутьем к историческим трассам и кризисам.

Ведь это Гоголь в качестве палочки-выручалочки поднес России — не Чацкого, не Лаврецкого, не Ивана Сусанина и даже не старца Зосиму, а — Чичикова. Такой не выдаст! Чичиков, единственно Чичиков способен сдвинуть и вывезти воз истории, — предвидел Гоголь в то время, когда не снилось еще никакого развития капитализма в России, и всё было глухо забито обломовыми, скалозубами, и требовалось полвека, пока Щедрин, раскусив орех, выплюнет эпиталаму Чумазову, а Гоголь уже тогда тыхэсенько двинул шашки и вывел в дамки — мерзавца: этот не подведет!..

*«Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак припряжем подлеца!»*

Его пронизательность тем шибче вас озадачивает, что в этом гладком, респектабельном, словно из задницы сделанном лице не видно никакого просвета, как и в пороках его нет никакой сверхъестественности, таинственной исключительности, могущих что-то сулить, — ровно ничего, кроме общего места, денежного оборота, расчета всё одолеть и побить копейкой. Скотобаза! Оттого-то на ней, понял Гоголь, и можно строить, и взял курс на Чичикова. Причем как раз недостача человеческого лица, съеденного напроочь делячеством, одноклеточность всего существа и состава, способных, однако ж, к колоссальному разрастанию всё одного и того же, круглого, воспроизведенного в миллионах нуля, оказывался гарантией, что он и никто другой послужит генератором историческому прогрессу. В тех условиях Чичиков был откровением, был, если хотите, нуждой и надеждой отечества.

*«Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: вперед? кто, зная все силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем<sup>1</sup> мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек. Но веки проходят за веками; полмиллиона сидней, увальней и байбаков дремлют непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово» («Мертвые Души». Том второй. Глава первая).*

*«— Русский человек, вижу по себе, не может без понукателя: так и задремлет, так и закиснет.*

*...Иной раз, право, мне кажется, что будто русский человек — какой-то пропащий человек<sup>2</sup>. Всё думаешь — с завтрашнего дня начнешь новую жизнь...*

*Мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтобы из нас был кто-нибудь благоразумным. Если я вижу, что иной даже и порядочно живет, собирает и копит деньги, не верю я и тому. На старости и его чорт попутает: спустит потом всё вдруг. И все так, право: и просвещенные и непросвещенные» («Мертвые Души». Том второй. Глава четвертая).*

Вся эта веками копившаяся, растущая по ходу поэмы, потребность России в двигателе, в железном дельце подводит неукоснительно к Чичикову, который, поистине, вытянет гоголевскую повозку, застрявшую в мякине где-то на полпути к идеалу. Уж он-то не свернет, не обатится. Но будет ради рубля, безо всякого понукателя, сам всех торопя и толкая, не зная отпуска, ни совести, ни любви, всецело замещенных рефлексом приумножения, тащить и двигать вперед. «— Если уж избрана цель, уж нужно идти напролом». Эта жестоковыйная заповедь заклятого паразита, зовущая в путь, подключенная к «Тройке», заставила выдвинуть Чичикова в герои эпохи. Подлец, почти антихрист, а между тем на нем — на его изобретательной, неиссякающей жадности — свет клином сошелся. В громадном bestiarii Гоголя, посреди тюфяков, пустобрехов, ему отводится место энергетического потенциала страны, незаменимой тягловой силы, причем — не притянутой за уши, не вывезенной из заграницы, но зародившейся в подворотне,

---

<sup>1</sup> Без чародейства он не мог обойтись!

<sup>2</sup> В ранней редакции второго тома Хлобуев в этом месте уточняет: «Нет силы воли, нет отваги на постоянство».

в навозе, что, дайте срок, напечатает тысячи точно таких же оптимистических живчиков. Чичиков!.. Кто, кроме Гоголя, мог так страшно, так далеко глянуть в глаза реальности?..

*«Есть страсти, которых избранье не от человека. Уже родились они с ним в минуту рожденья его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаньями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им: всё равно, в мрачном ли образе, или пронесшись светлым явленьем, возрадующим мир,— одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме».*

Неправда ли, этот не вяжущийся с чичиковским прозаичным обликом заезд в метафизику напоминает обращение Гоголя к женщине в свете, которая тоже недаром наделена красотой, но, может быть, на общую пользу и скорейший прогресс. И там и тут тайна, и там и тут Всеспасаящая рука оборачивает ко благу слепые стихии земли — победительную женскую слабость, хозяйственную распорядительность Чичикова. И тут и там автор, глядясь в душу как в шурф, прокладывает шахту в заочные, подземные закрома, доискиваясь до первопричины вещей, до каких-то фундаментальных подвалов, поставленных в обоснование человеческих страстей и характеров, в своей завязке всегда ведущих к более сущностным, краугольным и жизненным пластам, чем высывающееся на поверхность лицо,— до глубин сатанинских, и глубже — к устрояющей порядок Премудрости...

(Гоголь — психолог? Скорее — геолог, географ. Люди его занимают как странные минералы, редкие ископаемые, музейные экспонаты какой-нибудь флоры или фауны, служащие обнаружению тайн, законов и капризов природы.)

Там, на большой глубине и мощности залегания, у самого ядра бытия, покоятся клады, хранилища заветных энергий, имеющих перековать человечество посредством им же сокрытых, незнаемых массивов, бассейнов. Нужно только разумно, искусно ими воспользоваться, подобрать ключ к замку, найти всему надлежащее, по должности, применение...

(Писатель-исследователь-делатель в его запросах и опытах слагались в одну фигуру, хоть и вступали порой в жестокую междоусобицу.)



«...Что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру?» — ломает голову Гоголь над превратностями красавицы. «Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков! Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!» — хлопчет он вместе с Муразовым, всеобщим опекуном, о преобразовании вражин в Сивку-Бурку. В самом деле — что бы было тогда, если б Чичиков копил и работал не в свою шкатулку, но в осуществление великого поприща, мудрого предначертания? Если б всю тоску и безмерность российских просторов завинтить его оборотливой, не знающей утомления волей?

*«...И вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?..»*

Критику немало смущало, что на гоголевской тройке едет-то все-таки Чичиков! Загвоздка, однако, не в том, что он едет, но в том, что он везет, что без него не обошлась, не прогремела бы вдохновенная тройка, которая ведь не просто бесплатное приложение к «Ниве», сочиненное невпадет сатирическому сюжету поэмы, для того чтобы нам потом было что учить наизусть, но законное колесо и конечное производное Чичикова, и на нем, на окаянном, постылом, всё в ней вертится и несется в неоглядную даль. Иначе зачем бы потребовалось затрачивать столько стараний на то, чтобы «припрячь подлеца», хорошо его обуздав, застрашав (вот где понадобился генерал-губернатор!), наваливаясь кагалом — с автором во главе, с Костанжогло в горле (не выговоришь, и долго он, Гоголь, отхаркивался от застрявшей фамилии, клича свою худобу Скудронжогло и Гбброжогло, не в силах расстаться, однако ж, с разевшей кость червоточиной, с глаголом «жечь!»), отчего хмурое лицо иноземца почернело и запеклось в прожженное кислотою пятно), с Муразовым в коренниках, с этим Мининым и Пожарским зараз, с державинским волшебным Мурзою, стратегом-миллионером (что, ждите, с гостинцами явится и всем — от пуза — по чеку)..

Спрашивается: с таким активом — нуждаться в Чичикове?! Что они — сами не могут? Не могут. Не кони. Призраки. Транспаранты, состряпанные кое-как, на соплях, с одной задачей — учить и перевоспитывать Чичикова, проча в пристяжные России: иначе — не свезешь, не потянешь. «Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!» Костанжогло не вытанцовывается, сколько ни жилься, ни

жги; Муразов — сплошная дыра, протертая в школьном альбомчике с надеждой увековечить портрет гуманного ростовщика, доброго американского дядюшки, подоспевшего с несметным наследством; а Чичиков — кинь ему горстку-другую навозку — смотришь, уже зачирикал, приветствуя каждого: жив. Как же им за живого не ухватиться: действительность!

*«...И мчится вся вдохновенная Богом!...»*

(Да, но впряжен в нее у Гоголя — чорт...)

Верим — не то что верим — видим: Чичиков мчит.

Допускаем — хотя с натяжкой: промышлением начальства, уговорами почитателей, надзирателей, духовных и жандармских чинов — Чичиков завяжет проказничать.

Но потянет ли он, исправившись, лямку с тем же азартом — ради одного удовольствия тянуть ее в поте лица?

На вопросе этом Гоголь запнулся. Уж с какого бока ни подъезжал он к своему подопечному — и грозил ему палашом и Сибирью, и раскидывал глубокую этику и поэзию земледелия (в предварение наблюдений в этой области Пл. Успенского). Задолго до Гладкова, до Горького пропел он дифирамбы труду, из проклятия, наказания — вопреки церковным запретам — обращенному Гоголем в подвиг самодеятельного подражания Богу. (У Костанжогло в запальчивости от этих речей на челе проскакивал уже венец Вседержителя...) Ну а Чичиков?

*«— Так вы полагаете, что хлебопашеством доходчивей заниматься?» — спросил Чичиков.*

*— Законнее, а не то что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего, сказано. Тут нечего мудрить. Это уж опытом веков доказано, что в земледельческом звании человек нравственней, чище, благородней, выше. Не говорю — не занимается другим, но чтобы в основание легло хлебопашество — вот что! Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законные фабрики — того, что нужно здесь, под рукой человеку, на месте, а не эти всякие потребности, расслабившие теперешних людей... Да вот же не заведу у себя, как ты там ни говори в их пользу, никаких этих внушающих высшие потребности производств, ни табака, ни сахара, хоть бы потерял миллион. Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки! Пусть я буду перед Богом прав...*

*— Для меня изумительнее всего, как при благоразумном управлении, из остатков, из обрезков получается, что и всякая дрянь дает доход».*

Что он табаком погнушается при этакой целенаправленности, откажется от сахара, от лезущего в рот миллиона, от прокладыванья железных дорог, также, кстати, не встречающих сочувствия Гоголя, хоть и был тот любителем быстрой езды («какой же русский не любит быстрой езды?..»)? Ему на все эти тонкости, прямо скажем, начхать; из рассказней Костанжогло он гнет свое и не может не гнуть; не был бы он перводвигателем — рассуждай он по-другому, как Гоголь, и Гоголь его видел насквозь и продолжал поучать и улещивать, видя бесполезность затеи, не в силах остановиться, ни выскочить, ни приструнить взятого в упряжку мерзавца...

*« — Да,— сказал Костанжогло отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова,— надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да! ...И не потому, что растут деньги — деньги деньгами,— но потому, что всё это дело рук твоих; потому что видишь, как ты всему причина, ты творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага<sup>1</sup>, сыплется изобилие и добро на всё. Да где вы найдете мне равное наслажденье? — сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего, сиял он весь, и казалось, как бы лучи исходили из его лица. — Да в целом мире не отыщете вы подобного наслажденья! Здесь, именно здесь подражает Богу человек. Бог предоставил себе дело творенья, как высшее всех наслажденье, и требует от человека также, чтобы он был подобным творцом благоденствия вокруг себя».*

Ну а Чичиков тоже — следом за Костанжогло, за Гоголем — потянется в боги, в хлысты, поставит капитал и рабочих на возведение лестницы в небо? Поставит, на что угодно поставит — на сахар, на всякую дрянь. Он лоснится от восторга, он глотает слюну, слушая хозяйские речи, отзванивающие ему полновесным, трудолюбивым рублем. Но прижмите ему аппетит, уберите целковый...

*«...Как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и, чудо, засмеялся! белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волосы на голове колдуна» («Страшная Месть»).*

Гоголю не везло с пристяжными. Да и поездки и полеты его были всё по кривой. Он рвался в будущее и, непостижимым путем, давая косяка, кругался, оказывался в хвосте

---

<sup>1</sup> Нет, положительно, — магия, колдовство не давали покоя Гоголю!

истории. Устремлялся идеалами в прошлое, в патриархальные времена, и выныривал впереди каравана. Как колдун, что, уходя от расплаты, подвигался к ней ближе и ближе, и куда бы ни поворачивал коня, его мчало в противоположную сторону. Как Хома Брут, забивший поленом, как лошадь, прекрасную панночку-ведьму, бежавший в ужасе прочь и неудержимо, кругами, всё возвращавшийся вспять — к своей жертве и смерти. И главное, он заранее знал, что так оно и будет, и чорт его занесет неведомо куда, и ждал, и противился, и, случалось, искал уже сам, как бы дать стрекача, кругалю, и неся вперёд, но его тянуло назад.

И шире — пространство у Гоголя коробится и круглится, не уходя прямоком к горизонту, но выгибаясь в какую-то сфероидную, что ли, форму; прямые, «вытянутые по воздуху», становятся кривыми, словно знают теорию Римана, благодаря чему неудержимая тройка, уносящаяся на наших глазах в безответную даль, заворачивает — вместе с медленным вращением, опрокидыванием всего окоема — и, законно, окажется там, куда мы не гадали захватить, вместе с Гоголем бодрым голосом устремляясь «вперед» и «в дорогу». (Здесь, возможно, срабатывает скрытая пружина и гоголевского «искривленного» стиля и самой природы его и творческой биографии — с массой поворотов, петляний, загогулин и оборачиваний, где всё наоборот, навыворот, не так, как надо, так что, может быть, правильней следить за его развитием, начиная с эпилога, с могилы, пятясь против движения жизни нашего автора, что авось приведет к основанию ее ближе, вернее — в соответствии с безответным ощущением Гоголя как чего-то закругленного, изогнутого, уходящего у нас из-под ног. Ехать не вперед, а назад: назад — к рождению, или, как позволил бы я выразить его миссию в мире: вперед — к истокам!)

Ведь немалый конфуз, приключившийся у него с Чичиковым, с этим «пристяжным подлецом», заранее у него же предсказан в истории с пристяжным же конем по прозвищу чубарый, которого кучер Селифан учит и понукает, в точности как Гоголь — Чичикова («—Ишь куда ползет!.. У, варвар! Бонапарт ты проклятый!» и т. д.). Камнем преткновения в обоих случаях становится бескорыстное, в поте лица постигаемое, служение ближнему, научившись которому, Чичиков объявится в неопознанном качестве спасителя России, чубарый — помчит его бричку на чистом энтузиазме. Едва отправляясь в путь со своими героями, автор как бы знал уже, чем кончится предприятие, и заранее потешался, хотя воспитательная программа, по всей вероятности, еще не

сложилась у него в голове, и он высмеивал себя, так сказать, впрок, наперед, на тот непредвиденный казус, когда сам он, за неимением лучшего, возьмется переучивать Чичикова методом Селифана. Чубарый и в ус не дует уже в третьей главе.

Мало кому случалось так попадать впросак, как это угораздило Гоголя в поздних его сочинениях. Его лицо, выжидательно глядящее с этих страниц, старальчески перекашивается и разъезжается по бумаге в старании скоординировать свои черты в устойчивую физиономию. Следить за его гримасами, не укладывающимися в уме, похожими на адскую пляску раздерганных уголовников, настолько тягостно, что, должно быть, поэтому позднего Гоголя предпочитали демонстрировать выборочно, как ряд не идущих в прямую связь эпизодов — Чичиков (сатирический тип), тройка (вера в Россию), руководство помещикам, как управляться с крестьянами (крепостническая реакция), мысли о Пушкине, о русской песне (образец пронизательности), высказывания о царе и о церкви (верх мракобесия), — тогда как все они суть необходимые пристяжные в умозрительной трапедии Гоголя, хотя и тянущие в разные стороны, с тем чтобы охватить бытие целокупно и всесторонне, найдя всякой вещи законную середину и место. Поиски середины, единства в условиях роковой разобщенности и удаленности сопрягаемых звеньев (полиции и религии, морали и хозяйства, церкви и театра, первобытной идиллии и европейского просвещения), попытки восстановить перемирие с опорой на множество точек разбежавшегося по вселенной сознания, вздыхающего по позабытому со времени Гомера и Библии, глобальному равновесию, сулили перекосы и вывихи, сообщавшие всей экспозиции какую-то шутовскую ходульность. Гоголь не гримасничает, но балансирует, ища увязать то, что уже никем не увязывалось и существовало разъединенно, оторванно, впадая неукоснительно в фарс, в гадость и благоглупость, там, где с давней поры не доставало моста.

Скажем, он предлагает, как родного отца, уважать и любить начальников — в память об отцовстве, лежащем в основании дома и общества. Или с искренней верой в мудрую иерархию мира до небес превозносит чиновников, не затрагивающих ничего уже в охладевшем сердце сограждан, кроме мутной тоски по каким-нибудь казенным харчам. Социальные рекомендации Гоголя развиваются, примерно, по схеме жителей города NN, суетившихся вокруг Чичикова с его покупкой несуществующих душ и мифическим именем где-то в Херсонской губернии («Почтмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность, что он может

сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом...»; «...Полицеймейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращение его существует власть капитана-исправника, что капитан-исправник хоть сам и не ездит, а пошли только на место себя один картуз свой, то один этот картуз...» и т. д.). Теперь он так же кудахтал, высиживая из Чичикова полезного стране Одиссея или, в «Переписке с друзьями», вальяжно рассуждая об отеческой власти помещика, о достоинствах капитана-исправника. Кажется, Гоголь нарочно подстраивает своему перу ситуации, над которыми недавно смеялся, и ставит себя в положение своих потерпевших героев, закономерно превращаясь в объект общих щелчков и насмешек. (Мог ли он в этих условиях не питать неприязнь к прежним произведениям, мешавшим ему двигаться дальше, уличавшим на каждом слове?) Он всерьез подошел к проблемам, от которых прежде отшучивался, и вдруг — в измененной тональности, в новом, рассудительном стиле — заговорил устами почтмейстера, городничего, Хлестакова, Манилова... (Трудно было нелепее закончить свой жизненный путь!)

Однако наша рука, ловящая его постранично на горчайших противоречиях, растерянно повисает, едва мы допускаем, что автор намеренно пошел под огонь своего вчерашнего смеха и принял в лицо оскорбления, розданные им когда-то другим, вымышленным заместителям. Что поздний Гоголь это не какой-то другой, видоизменившийся или пошатнувшийся, автор, но в точности тот же самый, лишь открывшийся со своей оборотной, теневой стороны (либо вышедший наконец-то на свет из темноты своего прошлого творчества). Что оба антипода как нельзя удачнее уравнивают и дополняют друг друга, складываясь в единую фабулу завершенной судьбы человека, расплатившегося при жизни — во второй половине пути — за вину (или благо) первой своей половины. Что если существует возмездие за писательский грех, то Гоголь уже на земле испытал весь ужас писательского же, по специальности, ада и ушел от нас примиренным, очищенным, расквитавшимся, в то время как у других всё еще впереди...

Все эти темные домыслы, странные начертания не пришли бы, наверное, в голову, если б гоголевские поздние строки — со всей их разящей контрастностью и отрицанием прошлых творений — не ощущались всё же как их естественное закругление, как некая стилистическая и логическая необходимость в развитии его мысли и личности. Если бы, уличая писателя в очевидных натяжках и ляпсухах, мы не

заметили вдруг, что они обязательны при такой, как у Гоголя, доскональной постановке вопроса, в подобном охвате и синтезе всех мыслимых измерений. Что автору в колоссальном балансе, не снившемся тогда никакому уже универсалу и верхолазу масштаба, ради увенчания замысла оставался единственный ход, который он не преминул найти, сорвавшись с гармонической вышки в кощунственную карикатуру.

Как, не потеряв равновесия, построить башню до неба? Как, в самом деле, не впадая в комедиантство, достичь высшего синтеза Вечности с сегодняшней суетой, бешено мчащейся тройки с апологией тишины и застоя? Чем пробить средостение между Богом и государством, если не низведем божественных санкций в жилистые руки правительства — царя — губернатора — исправника — и, падая дальше, если уж идти до конца (а Гоголь шел до конца, до буквальной реализации своих метаморфоз и фантазий), — в объятия Держиморды, который ведь тоже недаром мерзнет на законном посту?..

Рискуя прослыть глупцом, если не продажным писакой, Гоголь тянет опасную связь — с земли на небо, с неба — до преисподней. (Что же делать, когда гармония оказалась возможной только в такой вот рискованной и перекошенной форме?..)

*«Мы с вами еще не так давно рассуждали о всех должностях, какие ни есть в нашем государстве. Рассматривая каждую в ее законных пределах, мы находили, что они именно то, что им следует быть, все до единой как бы свыше созданы для нас с тем, чтобы отвечать на все потребности нашего государственного быта...» («О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности». Письмо к гр. А. П. Толстому).*

*«Все наши должности в их первообразе прекрасны и прямы созданы для земли нашей.*

*... Чем больше всматриваешься в организм управления губернией, тем более изумляешься мудрости учредителей: слышно, что Сам Бог строил незримо руками государей» («Занимающему важное место»).*

Было бы преждевременно тот небесный проспект сплошь свести к изъявлению верноподданнического восторга, к гражданскому чревоуещанию и патриотическому великодушию автора, отважно перешивающего святительские ризы и нимбы на должностные спины и лысины.

Естественно, все власти и ранги в Российском государстве, по Гоголю, все службы и уложения спущены прямо с неба, однако не столько с целью обрадовать земных командиров, сколько подать им зеркало исконного правопорядка, напомнить о первообразном чине и назначении и тем возбудить на подвиг высокого домостроительства. Гоголь взывает вернуть общество к первоисточнику блаженного единения с Господом в каждой судебной инстанции и притягивает за волосы, с бюрократической жесткостью, к созерцанию священных проекций: в граните Санкт-Петербурга — горнего Иерусалима, в царе, полицейском, помещике — утраченной ипостаси Отца. («Будьте, как боги!» — он шепчет. И корчит рожи...) Не временное, на текущий день, состояние должностей в государстве, но сокрытая в них и завещанная на последний час Теократия трогает Гоголя. На героев своего «Ревизора» он взирает теперь не иначе, как *sub specie aeternitatis*. Поэтому все лица и роли берутся им в должностной расфасовке — не по лицу, по мундиру, по месту, им уготованному от Бога, от века, что больше, ему представляется, соответствует спасительной истине, разумной композиции мира. Он верит, что человечество спохватится еще, загоревшись стать в совершенстве таким, каким должно было быть по первоначальному Плану. Тогда-то и прозвучат все должности и уложения. В противном случае вся история человечества не стоит свеч.

Его абсолютизм радикален и в поисках абсолюта, по русскому обычаю, граничит с нигилизмом. (Поддай ему небо в алмазах, а нет — хоть трава не расти!) Ведь в славословии трону, в истолковании государственных тайнств Гоголь пришел к отрицанию всякого не означенного Вышней рукою поста, будь то власть и престол самого Императора.

*«Власть государя явленье бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле».*

Цензура, понятно, терзалась при виде такого усердия, не брезгающего креститься на шапку городского и вместе с тем, не задумываясь, послать в отставку царя, коль скоро тот не несет божественного подобия. Апостол самодержавия, каким зарекомендовал себя Гоголь, готовил переворот в пользу иного избранника, какого не бывало, какого и ждать забыли уже на святой Руси. За неимением живых образцов в ход пускались рецепты из библейской истории: цари Давид, Соломон. Государю предлагалось достичь требуемой его должностью святости в два приема:



*«...Исполнив прежде всё<sup>1</sup>, что должен исполнить всякий человек, уподобясь Христу в малейших действиях своей частной жизни, уподобиться сверх того еще Богу-Отцу в верховных действиях, относительно всех людей».*

Задача не по плечу человеку. Не по плечу она никому и из князей человеческих с их земными богатствами, обязанностями, страстями. И тем не менее Гоголь ее взваливал на рамена предполагаемому помазаннику в качестве условия самого существования ничем другим не доказанной, не оправданной власти царя, который и на царя не похож, но больше напоминает монаха, истаявшего в постах, кошмарах, галлюцинациях, какого-нибудь исступленного, пророчествующего Савонароллу, взявшегося разыгрывать фарс пришествия на царство Христа. Здесь зреет костер духоборчества, мученичества и еретичества Гоголя; здесь под новым соусом, на сей раз в императорской мантии, прокрадывается к руло сорвавшаяся в писательстве, сожженная в «Мертвых Душах» фантазия спасти и вознести человечество одним усилием духа, всемирным взрывом мятущегося, истощенного сердца.

*«Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечества, которым заболел почти каждый из нынешних европейских народов... всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, ему груба и не приносит целения. Эти крики усилятся, наконец, до того, что разорвется от жалости и бесчувственное сердце, и сила еще доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, еще доселе небывалой любви. Загорится человек любовью ко всему человечеству, такую, какую никогда еще не загорался. Из нас, людей частных, возымет такую любовь во всей силе никто не возможет; она достанется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже постановлено в непременный закон полюбить всех, как одного человека. Всё полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши всё, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о сражающем народе своем, государь приобретает тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству, и которого прикосновение будет не жестоко его ранам, который один может только внести примиренье во все сословия и обратиться в стройный оркестр государство. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее*

---

<sup>1</sup> Как если бы то позволялось христианским понятием!

*значение свое — быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь» («О лиризме наших поэтов». Письмо к В. А. Жуковскому, 1846 г.).*

Но где же он, этот аскет, день и ночь проводящий в молитве за вверенное ему человечество? Где венценосец, чья власть заключена в отречении, в жертве, ради счастья всех до единого, неподведомственная уже земным измерениям? Нельзя допустить, чтобы он не был предусмотрен в проекте, чтобы на королевстве не достало вдруг короля! («Не может стать, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь находится в неизвестности».) Неужто в отдаленной примете никто не являлся писателю, рассказывающему о странном Монархе так внятно и близко к сердцу, что вот-вот он, мнится, откроется в своем инкогнито!

*«Год 2000 апреля 43 числа.*

*Сегодняшний день — есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. ...Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осенило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. ...Теперь передо мной всё открыто. Теперь я вижу всё как на ладони...» («Записки Сумасшедшего», 1834 г.).*

Знакомый почерк. Гоголю тоже как-то вдруг всё стало ясно. Во всё он вникает, обо всем рассуждает, как власть имеющий. В 1848 г. историк Погодин записал в своем дневнике:

*«Православие и самодержавие у меня в доме: Гоголь служил всенощную, — неужели для восшествия на престол?»*

Мог бы — и на престол. Иного, более близкого, соответственно его мерке наследника — не сыскать. Среди современников Гоголя мы можем указать лишь одну кандидатуру на предложенное им поприще — Гоголя. Как это с ним часто случалось, «Записки Сумасшедшего» служили черновиком для более разработанной поздней фантазмагории. На Поприщине Гоголь примеривал собственную корону: идет!

Нет, дело не в сумасшествии. Царственные замашки писателя, его высокомерие тоже пока не в счет. Существенное другое открытие: «я узнал, — говорит Поприщин, — что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями». Это он писал о себе. Его Испания тоже находилась при нем, под перьями, и вынашивала Монарха на будущие свершения. Разношерстные облики Гоголя — чиновника, от-

шельника, государя, писателя (не считая уже его персонажей) — были выходцами оттуда, из внутренней империи автора. Какое то было громадное и населенное государство! Отсюда же и в писательской мании Гоголь похож на царя, который в свой черед явственно уподобляется Гоголю. Последний в роли писателя также, мы знаем, точил зубы на должность помазанника, верховного миротворца, раскрывшего, молясь и рыдая, объятия всему человечеству, пожертвовавшего собою, писательством, ради возлюбленных чад, поставившего в закон и в немыслимую, титаническую, противную христианским обычаям амбицию — «сделаться христианином во всем смысле этого слова», после чего произвестъ нечто сверхъестественно-мощное...

*«Чище горного снега и светлей неба должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования» (В. А. Жуковскому, 26 июня 1842 г.).*

Так собирается с силами Гоголь-писатель «чище горного снега» — вровень с Самим Творцом! Короче, в идеальном Монархе, как тот ему рисовался, нам рисуется Гоголь во весь исполинский рост, с маниакальной задачей и страстью к неземному владычеству, с жадной святости столь безмерной, что в ней временами мелькает словно что-то испорченное.

Но кто б ни процвел на троне гоголевской всемирной империи, его облик и роль говорят безусловно о передаче прерогатив в государстве светской властью духовному паству. В царское место действует Первосвященник, чье ослепшее в слезном постриге, утопшее в Отчем лоне лицо поднимает со дна морского тень Великого Инквизитора, смутный отзыв Крестовых походов, дозорных и часовых Ватикана. Примечательно, что в исторических экскурсах папство неизменно встречало оправдание и одобрение Гоголя, преданного православным догматам, но влекущегося неодолимо к теократическому правительству, к полномочному и централизованному образу религиозного руководства народами. В сущности, и на российском престоле он затеял не что иное, как замену Самодержца некоторым аналогом Папы.

Нельзя не заметить, однако, что оцерковленное государство соблюдает в устремлении к небу казарменный порядок. Пусть монархия планомерно там проваливалась в монашество; церковь для компенсации давала крен в бюрократию. Слишком тесные контакты политической власти с религией обязывали расплачиваться либо резыванием

принадлежностей Кесаря, от которых ничего не осталось, кроме голого милосердия, либо соскальзыванием Царства Божия в аккуратную канцелярию. Автор попеременно оказывался то восторженным идеалистом, то чересчур уж бытым циником. Цари у него курятся ладаном; попы воняют конским потом; писатель едет в департамент; помещик смотрит изподлобья косолапым Пантократором. (Прекраснее утопию трудно представить, чудовищнее невозможно придумать!) Божество, внедренное Гоголем в плоть и кровь мирского общества, то с одного, то с другого бока кажет рогатую голову. Не нарочно, но иного, очевидно, не добиться там, где небо соединилось и поменялось местами с землей. Святотатство начиналось, едва лишь автор попытался примирить святыню с опытом повседневного существования—с тем чтобы не в одной молитве, а до последней копейки жить и действовать по-христиански: торговать, судить, наказывать, промышлять и богатеть во Христе, всюду, в каждое дело подмешивая, как колесную мазь, Писание<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> По-христиански жить нельзя, по-христиански можно лишь умереть,—этот вздох христианской души может показаться кощунственным, противоестественным парадоксом, нарушающим ясные заповеди христианского жития, и тем не менее он отвечает его внутренней сути и муке, внежизненному, неземному ядру, предполагающему в мирском и природном смысле не жизнь, но прекращение жизни и сознающему сверхприродность и неподвластность человеческим силам того, что возможно одному Богу, давшему эти заповеди, с тем чтобы исполняющий их не принадлежал уже себе, человеку, ни собственной воле, ни жизни, ни личности в их обычном наполнении. Попытки исполнить всё заповеданное, не умерев в житейском значении, таят соблазн обожествления собственной своекорыстной способности, то есть разрыв с христианским сознанием, либо насильственное его приноравливание к доводам разума, практической выгоды, к общественным и естественным стимулам. Всё это в завершённом виде пережил и исполнил Толстой, проделавший путь отчасти схожий с умозрительным развитием Гоголя. Спор Толстого с православием начался как раз с попытки самосильно претворить в дело жизни Нагорную проповедь, когда его дерзания встретили непонятное равнодушие церкви, упрямо, словно по инерции, разделяющей небо и землю, веру и дело, святыню и жизнь.

*«Богословские объяснения о том, что изречения Нагорной проповеди суть указания того совершенства, к которому должен стремиться человек, но что падший человек—весь в грехе и своими силами не может достигнуть этого совершенства, что спасенье человека в вере, молитве и благодати,—объяснения эти не удовлетворяли меня...*

*...Читая эти правила (Нагорной проповеди), на меня находила всегда радостная уверенность, что я могу сейчас, с этого часа,*

Не оттого, что был он нетверд в православном вероучении, но из ревностной религиозности, жаждущей обеспечить веру всем наличным естеством и составом, слово — делом, небо — местом в каждом доме во всякий час, — Гоголь по временам ввергался в неясный и невольный раскол. Помимо сладостных воспоминаний о величии средневековой Европы под началом Святого Отца, в его концепциях просвечивают подобию толстовства, хлыстовства и других сектантских утопий, воодушевленных той же идеей воссоединения Бога с обществом. В православном облачении Гоголь по-своему выразил очень широкую и разветвленную на Руси стихию мистического прожектерства.

В 1804 г. государю неким камергером Еленским направлена была записка — «Известие, на чем скопчество утверждается». Записка содержала ряд параграфов делового свойства. В учреждениях Российской Империи предлагалось отныне ввести государственную должность пророков, своевременно

---

*сделать всё это. И я хотел и пытался делать это; но как только я испытывал борьбу при исполнении, я невольно вспоминал учение церкви о том, что человек слаб и не может сам сделать этого, и ослабевал.*

*Мне говорили: надо верить и молиться...*

*Но и разум и опыт показывали мне, что средство это недействительно. Мне всё казалось, что действительны могут быть только мои усилия исполнять учение Христа» («В чем моя вера?»).*

Не забавно ли: начав с максимальных прав на Евангелие, Толстой закончил, по существу, минимальным его принятием. Нагорную проповедь он переделал на посильный человеку размер и решительно отказался от крайностей и безрассудств христианства, несовместных с его проповедыванием рациональной и естественной этики. Не заносясь так далеко, как Толстой, в перерабатывании Евангелия, Гоголь остался в общепринятых рамках церковности и государственности. Тем кошмарнее натяжки, какими он вынужден пробавляться, фантастичнее и пародийнее выдвинутая им композиция. Но Гоголю, нужно помнить, труднее, чем Толстому, который попросту отбрасывал противоречащие его этике звенья — церковь, религию и государство, тогда как Гоголь считал обязательным привести их в согласование.

С другой стороны, если богоборческий опыт Толстого мог бы служить предостережением Гоголю, то последний в карикатуре ставит под законный вопрос некоторые из идей Достоевского. Тот, известно, в укор и в обход римско-католической церкви, обратившейся в государство, звал к православному обращению самого государства в церковь. Казалось, земная власть, достигшая церковной соборности, утратит звериный образ — в предварение Царства Божия. Гоголь с его жестоким примером оцерковленной государственности заставляет усомниться в благодетельности слияния светской и духовной сторон — независимо, с какой стороны начиналось бы обращение.

возвещающих волю Святого Духа правительству. Себя Еленский по библейской канве, в числе 12-ти пророков, оставял при главном командовании. Особых пророков намечалось поставить на военные корабли, еще не знавшие радиосвязи,— дабы «командиру совет предлагать гласом небесным, как к сражению, так и во всех случаях». Словом, перед нами проект духовного оснащения войска и власти— самый прямой и широкий контакт земной и небесной администрации.

Служи камергер Еленский позднее, он мог бы на пророческий пост предложить правительству— Гоголя. У того вырисовывалось что-то похожее в непосредственном общении с небом, и он пенял своей доброй знакомой губернаторше в Калуге— отчего не позаботилась та найти ему должное применение на подведомственной ей территории:

*«Ведь вы позабыли, что я могу и помолиться, молитва моя может достигнуть и до Бога, Бог может послать уму моему вразумение, а ум, вразумленный Богом, может сделать кое-что получше того ума, который не вразумлен Им» («Что такое губернаторша». Письмо к А. О. Смирновой, 1846 г.).*

Что сравнится с такой пронизательностью? Разве что беспардонность нажима, намекавшая, с кем губернаторша имеет честь переписываться. Интонация так прозрачна, что так и видишь за ласковой фразой воздетый перст, потупленный взор и собранный в розочку ротик. Алло! Гоголь у провода!..

И всё же не ересью страшен он в эти часы, не падким на прорицания и умственное распутство радением. Пошлостью, прущей по всем трубам и проводам, густопсовой, хронической пошлостью травит себя безвозвратно и раздавливает Гоголь. Будто не Гоголь это, а Иудушка Головлев, пристроившись застольным шпионом, перебивает косточки Господу и нашептывает на ушко полученные им свыше инструкции. Но у того хоть одно пустословие на языке, вошедшее в привычку вранье, а этот воистину верует и искренно, от полноты озарения, от чистой, как голубица, души усердствует в своем кровопивстве, и слушать его наставления вдвойне тошнее.

*«Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты, и что такое они. Что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взывает с тебя Бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем*

*месте... И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе деньги на твои удовольствия, и в доказательство тут же сожги пред ними ассигнации...<sup>1</sup>*

*Мужика не бей. Съездить его в рожу еще не большое искусство... Но умей пронять его хорошенько словом...*

*Заведи, чтобы священник обедал с тобою всякой день... А самое главное—бери с собою священника повсюду, где ни бываешь на работах, чтобы сначала он был при тебе в качестве помощника, чтобы он видел самолично всю проделку твою с мужиками» («Русский помещик». Письмо к Б. Н. Б.....му, 1846 г.).*

Ведь это же надо развить змеиную инициативу и сметливость — так прямо, без тени смущения, священника приспособить к проделке, чтобы хорошенько пронять! Тем более, что духовенство, в согласии с православной традицией, прекрасно подхваченной им и развитой на соседних страницах, уже одеждой своей как бы отделено от земли и поставлено вне мира сего, наподобие иконы,—«чтобы слышали беспрестанно, что они—как бы другие и высшие люди». И той же иконой Гоголь размахивается горшки покрывать, проча долгогривого беса барину в комиссары!..

Впрочем, нарушения смысла, нравственного такта, порядочности его уже не тревожили, перекрытые перспективой практического претворения в жизнь замысленной всеобщей гармонии. Ради нее он охотно шел уже на подлог действительности и религии, рубя напрямик, что награда сопутствует всегда добродетели, что богатый, по народной примете, значит неизменно — и честный («И в которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро»), что судопроизводство в России «могло бы исполняться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из всех народов только в одном русском заронила эта верная мысль, что нет человека правого и что прав один только Бог» (то есть — мысль, как раз исключаящая земное правосудие: «где суд — там и неправда», как значитесь в русской пословице). Уж очень ему хотелось, чтобы всё у нас в государстве было в точности как в раю.

А между тем перед ним простиралось поле неподдельного опыта человеческого единения с Богом в самой

---

<sup>1</sup> Ассигнации гжугся единственно с пропагандистскими целями. «Разбогатеешь ты как Крез»,—утешает он тотчас помещика, демонстрирующего свое бескорыстие.

отдаленной инстанции падшего бытия, как и — православной церковности, сходящей в непролазную тьму и там, из ада, сияющей негасимым иконостасом. Только тот опыт и образ лежали не на путях уравниения, но крайнего, напротив, раздела мирского и духовного поприща.

*«Знаете ли, что на днях случилось со мной? — рассказывал Гоголь в конце жизненного пути. — Я поздно шел по глухому переулку, в отдаленной части города: из нижнего этажа одного грязного дома раздавалось духовное пение. Окна были открыты, но завешены легкими кисейными занавесками, какими обыкновенно завешиваются окна в таких домах. Я остановился, заглянул в одно окно и увидел страшное зрелище! Шесть или семь молодых женщин, которых постыдное ремесло сейчас можно было узнать по белилам и румянам, покрывающим их лица, опухлые, изношенные, да еще одна толстая старуха отвратительной наружности, усердно молились Богу перед иконой, поставленной в углу на шатком столике. Маленькая комната, своим убранством напоминающая все комнаты в таких приютах, была сильно освещена несколькими свечами. Священник в облачении служил всенощную, дьякон с причтом пел стихиры. Развратницы усердно клали поклоны. Более четверти часа простоял я у окна... На улице никого не было, и я помолился вместе с ними, дождавшись конца всенощной. Страшно, очень страшно, — продолжал Гоголь, — эта комната в беспорядке, имеющая свой особенный вид, свой особенный воздух, эти раскарашенные развратные куклы, эта толстая старуха, и тут же — образа, священник, евангелие и духовное пение! Не правда ли, что всё это очень страшно?» (Л. И. Арнольди «Мое знакомство с Гоголем»).*

Зачем же сцена, напугавшая Гоголя, отрадна нашим очам? Как будто после долгих скитаний по исправительным заведениям вы попадаете в храм. И городская окраина, и уличные чучела, и отвратительная старуха, и шаткий столик в углу, и сам писатель, потаенно вздыхающий и, несмотря ни на что, молящийся у них под окном, — всё согрето и окутано небом, сошедшим наполнить собою эту пошлую обстановку, которая придает этой церковке еще большую сокровенность и как бы олицетворяет склоненную в последнем достоинстве землю...

Если же посмотреть на нее больше глазами Гоголя, сцена словно сошла с «Невского проспекта», и не потому ли она так задела по нервам писателя, скопированная действительностью, как это случается иногда в истории литературных созданий, как бы в назидание автору, ставшему



жертвой своей же, слишком уж яркой фантазии. Словно это не Гоголь, а робкий художник Пискарев смотрит в окно таинственного притона, в мучительном разладе с существом-грезя о превращении непотребной феи в мадонну. Или это молодость, туманное прошлое автора, сжалившись над ним, пригласили разделить духовную трапезу?..

Но Гоголь был уж не тот. Перешагнув через труп Пискарева, он видел сны наяву иного сорта. Грезы его не устраивали. Он как бы очерствел, закалился в борьбе с существенностью и заворачивал ее к идеалу силами религии, бойко покрикивая, имея рецепт в кармане действенного исправления по лучшему образцу.

Нет, он не мог довольствоваться вздохами из глубины преисподней; его угнетали контрасты пошлой обстановки с церковностью, казалось, не замечавшей, с кем она стоит всеношную; страшил этот низкий уровень соприкосновения с небом; он требовал подтверждения делом и бился над восхождением к Богу жизненным, законным путем; он правил лестницу...<sup>1</sup>

Странно. Там, в загаженной комнате, падшие причастны к мистерии. Пошлость улечивается, выветривается в окно. Священник ни к чему не причастен, занятый богослужением. Писатель, утратив на миг презрительное свое превосходство, как маленький, на равных с блудницами, захвачен святыней и тайной.

Здесь же, в исправительных письмах, кажется, не осталось строки, где бы Гоголь не покропил предварительно церковной водицей во избежание ошибок. Но те же

---

<sup>1</sup> Лестница, проходя через все мирозерцание Гоголя, представлена, в частности, формой должностных ступеней и инстанций, по которым твемой поступью общество устремляется к тождеству с Царствием Небесным. Даже любовь у него передается по служебным ступенькам, составляющим лестницу космической пирамиды.

*«Она (любовь) должна быть передаваема по начальству, и всякий начальник, как только заметит ее устремление к себе, должен в ту же минуту обращать ее к постановленному над ним высшему начальству, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь Самому Богу» («Занимающему важное место»).*

Очередная проделка автора «Переписки с друзьями» режет сердце специальной, замысловатой вульгарностью плана, хохочущей глухотой к гармоническому строю вселенной. Но Гоголь — сама земля в ее закосневшей существенности, в грубой коросте властей, помещичьих имений, губерний — лезет в небо, стеная Гоголем: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!» (его последние слова перед смертью).

богослужебные тексты, иконы и песнопения вылились в вульгарные сделки, в извозчище понукание. Священник причастен к помещику, опошлен в земном ремесле. Писатель не унижается до единения с падшими в ночной, невидной молитве, но занят организацией райских парников по России. Из грешников он вышел в начальники, из мечтателей в практики. Из Пискаревых перерос в Головлевы.

Трудно исчислить ущерб, причиненный «Перепиской с друзьями» нравственной репутации и вероисповеданию автора. Книга надолго вошла в список документов компрометирующего свойства. Ее доказательства в пользу христианского воспитания могли скорее отвадить, нежели наставить читателей. Причем, поскольку автор проявился в ней в новом обличье, в ненаблюдавшемся ранее качестве религиозного моралиста и снял с себя писательский сан, все обвинения падали на церковь и вероучение, вовлекшие его, рисовалось, в нечестное предприятие. За «Переписку с друзьями» расплачиваться приходилось друзьям, дурно повлиявшим на растаявшего писателя. Подтвердились худшие из высказанных в ней опасений по поводу неумелого и поспешного проповедования:

*«Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже, просто, неприготовленные проповедатели Бога, державшие произносить имя Его неосвященными устами» («О том, что такое слово»).*

Мог ли автор, однако, лучше подготовиться к делу, явившему — именно в силу безответственных сближений, кривляний, фатального попадания пальцем в небо, ногами в капкан — единственную в своем роде попытку наново написать «Домострой» и поднести современникам как настольное руководство? Виновны не отдельные неудачные фразы, которые он мог бы исправить, если бы не так торопился, виновен неисправимый, ошеломляющий жанр этой книги, рискнувший объясняться с читателем по всем вопросам подряд, чреватый шаржем. Провал ее, как и скрытая в ней терзающая притягательность, заключались не в религиозной настроенности как таковой, но в общем свODE домашних и сакральных забот, в претензии восстановить и упрочить кодекс Древней Руси на базе распадающегося на части настоящего, откуда и приистекают все ляпсусы, и чем привлекает она в своей натуральной, кричащей безграмотности и несуразности. Вот отчего на пути дальнейшего совершенствования, в ужасе от произведенного на всех впечатления отречьшись от нее, Гоголь тем не менее бессилен был с ней раз-

вязаться, и, отрекаясь, выгораживал, и льстил себя жалкой надеждой, что еще перечтут по нескольку раз и оценят.

*«Не нужно, чтобы эта книга была заброшена. Как она ни исполнена недостатков, но она печаталась не для впечатлений минутных. Ее нужно перечитать несколько раз не только тем, которые ее совсем не поняли, но даже и тем, которые поняли ее лучше других. Там есть несколько душевных тайн, которые не вдруг постигаются» (Письмо к А. О. Россету, 15 апреля 1847 г.).*

*«...Есть также в ней много того, что не скоро может быть доступно всем» («Авторская Исповедь»).*

Загадочное создание сопровождало его как тень и было последним напутствием, с которым сошел он в могилу и оттуда еще продолжал той же книгой дразнить и отпугивать. Помимо надежд и потребностей, связывающих ее появление с творческим бесплодием Гоголя, намеревавшегося «Перепиской с друзьями» поправить свои пошатнувшиеся дела, заткнуть дыру, образованную «Мертвыми Душами», которые не желали писаться и требовали, как выяснилось, больших подсобных работ, а то и, на худой конец, какой-нибудь замены в виде на скорую руку составленного проспекта, который бы предусматривал все нужды и тяжбы, все классы и бразды в государстве,— существовала иная, широкая необходимость, не позволявшая забыть эту книгу, ни зачеркнуть ее в процессе духовного роста, ни просто повременить с ее скандальным изданием, покуда автор доиспытывается и лучше подготовится к проповеди. Сама непригодность Гоголя в написании и выпуске книги являлась следствием крайнего, безвыходного положения, которым она диктовалась и которое, отразившись на строе и образе мыслей, многое в ней проясняет, и если не оправдывает, то несколько смягчает удары, нанесенные ее составителем в сознании конца, в опережение близкой, личной и всечеловеческой, гибели.

«Переписка с друзьями» — книга тотальная, книга окончательная, книга апокалиптическая. И если по материалу и жанру она сходит за «Домострой» (со времени которого еще никто столь авторитетно не рассуждал у нас, как хозяйствовать по-христански, и не связывал так плотно религию с практическим бытом и дрязгом), то это потому, что Россия мнится последним оплотом в космической катастрофе, своего рода блиндажом, где Гоголь еще надеется отсидеться и продержаться до спасительного Пришествия,

приведя домашний очаг в состояние предсмертной готовности. Весь старосветский хлам, которым он второпях баррикадирует окна и двери, вся вопиющая косность и пошлость, брошенные в бой в качестве последних резервов, перемещенных из глубокой провинции на передний край огня, утрачивают в такой ситуации характер самодовольного умствования, расчетливого делячества и свидетельствуют скорее об отчаянности момента и размерах постигшего автора и его нравственное достояние бедствия. Апокалипсис и Домострой — две стороны гоголевской «Переписки с друзьями», причем первая обуславливает и подогревает вторую, создавая в произведении душевный и исторический фон, вне которого эта книга немислима и звучит оскорбительным вызовом даже собственным принципам автора и его добрым резонам.

Местами этот фон прорывается непосредственно в текст. Тогда-то всё объясняется, тогда-то мы постигаем, почему так беспощадно, навязчиво обращался он в проповедника. Вдруг всё, что снилось ему таким фундаментальным, солидным, теряет прочность, устойчивость, и девятнадцатое столетие, исполненное апломба, разражается сценами последнего дня Помпеи. Живые картины потопа, обвала, землетрясения оказываются средой, питающей реляции Гоголя. Сам дьявол, без маски, в открытую, сходит в мир — в образе человеческой гордости своим досужим умом. Тогда-то по-иному прочитывается и делается понятнее нарочитая неказистость, дураковатость сочинения Гоголя, написанного как бы в укор болезненному самолюбию века — «боязни каждого прослыть дураком», чужающегося теорий, идей, учености, цивилизованности, взошедшего откровенно на доморощенном, неотесанном опыте, на вытарашенном в глаза простофильстве. Гоголь как будто нарочно влачится мыслью по кочкам на уровне отсталой Руси, которая хотя и разваливается, но всё же противостоит безмерному развалу Европы и потому подлежит мобилизации по должностям, то есть по устойчивым признакам, которые наиболее внятно сулили бы смятенному миру родительскую стабильность. В условиях разброда, разлада упования возлагались на самые застойные формы; их возрождение к жизни, по Гоголю, знаменовало прогресс; но возбудить их, он видел, возможно лишь под угрозой неотвратимой опасности, лишавшей последних надежд и вместе служившей трамплином в качении авторской веры от ужаса смерти к чуду посмертного воскресения. Гоголь возводит здание прочного миропорядка на самом остром и гибельном переживании кризиса. (И в этом пункте, по-видимому, он

глубже и чище всего следовал голосу христианского благовеста.)

Характер его предчувствий и образ, если можно так выразиться, пережитого им откровения доподлинно воспроизводит стихотворение Пушкина «Странник» (1835 г.), которое Гоголь приписывал значению итоговой исповеди умнейшего, главенствующего поэта России. Зная его всегдашнее расположение к Пушкину, следует тем внимательнее прислушаться к тому, что даже у Пушкина выделил он в особую статью, граничающую уже, очевидно, с высшими достижениями.

*«В последнее время,— оценивал он эволюцию Пушкина,— набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизнь. Отголоски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотвореньи, в котором звуками, почти апокалиптическими, изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния. Много готовилось России добра в этом человеке...»* («В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», 1846 г.).

В контексте там же преподанных уроков русской словесности, обязывающих отныне равняться не пушкинским уже, но всецело евангельским образцам, стоявшему особняком стихотворению Пушкина «Странник» отводится роль, надо думать, связующего звена между литературным наследием и будущим русской культуры. В психологическом развитии Гоголя оно служило мостом, отправною точкой и местом встречи с Пушкиным — на новой уже, обращенной к религиозному руководству основе. В этом смысле стихотворение «Странник», повествующее о том, что сам испытал он тогда как личное потрясение, совпало с переломным моментом в духовной биографии Гоголя. Отсюда, можно считать, вторично открывается Гоголь — другой половины творчества, последнего десятилетия жизни. С того, чем Пушкин закончил, Гоголь намеревался начать<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Другим созвучным ему явлением современной поэзии было, тоже исполненное в апокалиптическом духе, «Землетрясение» Языкова (1844 г.). Гоголь его называл лучшим русским стихотворением. Основываясь на этом примере, он предлагал Языкову свой собственный ключ и курс, закваску «Переписки с друзьями» и планов на «Мертвые Души» (ужас конца, идея спасения души и земли совокуп-

*Однажды странствуя среди долины дикой,  
Незапно был объят я скорбью великой  
И тяжким бременем подавлен и согбен,  
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.  
Потупя голову, в тоске ломая руки,  
Я в воплях изливал души пронзенной муки  
И горько повторял, метаясь, как больной:  
«Что делать буду я? что станется со мной?»*

*И так я, сетуя, в свой дом пришел обратно.  
Уныние мое всем было непонятно.  
При детях и жене сначала я был тих  
И мысли мрачные хотел таить от них;  
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;  
И сердце, наконец, раскрыл я поневоле.*

*«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! —  
Сказал я, — ведайте: моя душа полна  
Тоской и ужасом; мучительное бремя  
Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время:  
Наш город пламени и ветрам обречен;  
Он в угли и золу вдруг будет обращен,  
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре  
Обрести убежище; а где? о горе, горе!»*

Пушкинский «Странник» во многом способен помочь не то чтобы понять, но живее вообразить странное состояние Гоголя, чья скорбь, несмотря на попытки ее обосновать, носит в зародыше столь же безотчетный характер, противореча до-

---

ными силами, поиски прочности за счет подключения к современным условиям домостроевского быта и Библии, наконец установка на мощный, пророческий напор и восторг — в предположении ответного душевного переворота в читателе).

*«Перечитывая строго Библию, набирайся русской старины и, при свете их, приглядывайся к нынешнему времени.*

*...Воззови, в виде лирического сильного воззвания, к прекрасному, но дремлющему человеку... Завопи воплем и выставь ему ведьму старость, к нему идущую, которая вся из железа, перед которой железо есть милосердие, которая ни крохи чувства не отдает назад и обратно. О, если б ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома "Мертвых Душ"!»* («Предметы для лирического поэта в нынешнее время». Два письма к Н. М. Языкову, 1844 г.).

«Странник» Пушкина и «Землетрясение» Языкова, отвечая умонастроению Гоголя, служат виднейшей вехой у него на пути как свидетельство пережитого кризиса и рисуют в эскизе грядущее, как оно мыслилось им в перспективе близкой кончины и космических катаклизмов.

водам опыта, нормального взгляда на вещи, отчего ее тяжесть, не поддающаяся разумению, лишь возрастает, становится неутолимой, бесконечной и грозит подавить в человеке всякое иное, постороннее ей помышление. Кажется, человек не владеет собой, позванный в свидетели недоступной нашим глазам реальности, которая приковывает и забирает его без остатка, обращая в свой приватный сосуд и оракул. Тот, кому приходилось в жизни встречать подобных пророков, мог бы подтвердить наличие в их бессвязных речах силы, удостоверяющей себя с такой непреложностью, что сама действительность — решись она опровергать их — не выдержит и смутится перед зрелищем более веским и убедительным во всех отношениях, чем всё, что ей удастся измыслить и воспроизвести. При всем том веру их в подлинность своих слов вы не спутаете никогда ни с натиском демагога, ни с жаром фанатика, которые исходят из своих убеждений и требований, тогда как пророк, достаточно взглянуть на него, себе не принадлежит, от себя не зависит и даже пугает этим отсутствием личного элемента, собственной заинтересованности в том, о чем он глаголет и что выступает как высшая очевидность. В конце концов, не так уж важно, если события, ему открывшиеся, не произойдут, или произойдут не так, как предсказывалось. Он может ошибаться в подробностях, видя истину сквозь слишком толстое, скажем так, стекло своей несовершенной природы, деформирующее точные контуры, смещающее предметы, может быть, на тысячи миль. Всё это мелочи. Важно, что связь — и притом прямая — с истиной налицо, явленная с постоянством, которое говорит за себя и не нуждается в доказательствах, ни в каких-то второстепенных, сомнительных подтверждениях фактами. В стихотворении Пушкина, и это схватывается нами мгновенно, не требуя уточнений, совершенно не существенно, сгорит ли город до тла на самом деле уже в ближайшие дни, или, может быть, всё это случится через тысячи лет, вместе с гибелью мира, или, что еще вероятнее, речь здесь идет о том, что человек — смертен. При удобном случае, кстати, странник так и разъясняет эту последнюю версию своих стенаний, словно позабывая про город, обреченный огню, — пораженный другой стороною этого же видения.

*Он тихо поднял взор — и спросил меня,  
О чем, бродя один, так горько плачу я?  
И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный:  
Я осужден на смерть и позван в суд загробный —  
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,  
И смерть меня страшит».*

Смерть, увиденная реально, не в форме отвлеченности, которая, нас удручая, не мешает нам, в общем, спокойно существовать, минуя ее сознанием, как бы полузакрывая глаза на ее черты и последствия, откладывая встречу с ней в неопределенную, безопасную даль, снимающую тяжесть удара, подана здесь как открытие истинных размеров потери, лишаящее человека привычки и способности жить, зная об уготованной всему живущему участи, что, с несущественным расхождением в месте и времени, настигнет, подобно казни, каждого на земле и роднится с мировой катастрофой, придвинутая вплотную, преследующая неотступно провидца, к законному негодованию его нормальных собратьев.

*Побег мой произвел в семье моей тревогу,  
И дети и жена кричали мне с порогу,  
Чтоб воротился я скорее. Крики их  
На площадь привлекли приятелей моих;  
Один бранил меня, другой моей супруге  
Советы подавал, иной жалел о друге,  
Кто поносил меня, кто на смех подымал,  
Кто силой воротить соседям предлагал...*

Такие же толки и критики сопровождали «Переписку с друзьями», поставившую под сомнение самый рассудок автора. Равный успех имели бы все наши домогательства задним числом удержать и образумить Гоголя. Ему заказан путь назад, к семейному счастью естественного обладания жизнью в кругу привычных занятий, когда он видит воочию их гибельность, бесполезность, не в состоянии выразить и довести до близких своих дарованное ему ясновидение. И так же, как в стихотворении Пушкина, реальное осознание смерти перерастает у Гоголя в проекцию всеобщей истории. В пространном теле цветущего, смеющегося человечества он различает следы увечья и омертвения. Еще при жизни зрит он себя погребенным в мире, уподобленном громадному кладбищу. Кажется, самый воздух полнился для него трупным смрадом и холодом. *«И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь... Всё глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!»* Ситуация летаргии перекидывается на равнины Европы, Палестины, России, по которым он колесит, окоченевший, забитый в гроб своей изнемогшей, почти бесчувственной плоти, уже подающей признаки начавшегося разложения, в экипаж, где, укутавшись, он притворяется спящим во избежание речи с досужими пассажирами, в тя-



гостное одиночество комнаты, вечным постояльцем и пугалом чужих квартир, городов, семей, пансионов, где в обмороке, пересиливаясь, он пытается еще что-то писать, молясь о чуде, о ниспослании лестницы с неба — лестницы вдохновения — лестницы поэтапного нравственного восхождения — лестницы должностных ступеней, государственной пирамиды — лестницы пасхального звона и воскресения — лестницы обыкновенной, деревянной, веревочной, какую, он молит, спустят в могильную яму, куда его наконец всё же закопают живым. (Господи, как правильно, но как это все-таки страшно, невыносимо страшно, что Гоголя закопали живым!)

— *Лестницу, поскорей, давай лестницу!*

*«Бог весть, может быть... уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней» («Светлое Воскресенье»).*

Мольбой о лестнице заканчивается его книга, заканчивается Гоголь, через шесть лет, умирая, прокричавший те же слова с такой пронзительностью, что отзвук их разнесся далеко и слышался долго, уже из-под земли... Но молился он не за одного себя, вкладывая в небесную лестницу много, слишком много земных надежд, отчего его последняя книга вылилась в собрание писем, «выбранных мест», предусматривающих всевозможные нужды и аспекты человеческого существования, построенные, однако, в аспекте единой и всемирной нужды — в лестнице, в спасении. В отличие от пушкинского странника, Гоголь пожелал совместить акцию спасения души своей со спасением земли и не нашел утешения в какой-нибудь тихой обители, куда обычно приводила дорога подобных ему беглецов. Его молитвы звучат приказом о всеобщей мобилизации, шепот исповеди нарушается залпом воззваний, в хрипе умирающего раздаются ноты набата, властного окрика, патриотического гимна — какофония тотальной войны. Так не пишутся книги — так отстреливаются. Нестерпимое чувство фальши, которое охватывает, когда читаешь иные его бравады, умеряет сознание конца, перед лицом которого они произносятся. Имя Спасителя — с чиновническим мундиром соединяет рука утопающего, которая хватается и за соломинку. Мирским делам и сословиям, даже просто психологии и физиономии людей Гоголь придает боевую, предсмертную стойкость и выправку — духовных чинов и воинских званий. Настал час!

*«На корабле своей должности, службы должен теперь всяк из нас выноситься из омота, глядя на Кормищика Небес-*

*ного. Кто даже и не в службе, тот должен теперь же вступить на службу и ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за доску, без чего не спастись никому. Служить же теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом Небесном государстве, главой которого уже Сам Христос...» («Страхи и ужасы России»).*

Апелляция к национальному чувству и долгу, к традициям воинской доблести, всенародного ополчения, которое в годину бедствий, как во времена Бонапарта или Минина и Пожарского, способно перевернуть одним махом характер нации, возбуждая в нем глубинные, богатырские запасы добра, вводит в нравственно-религиозную проповедь Гоголя героическую струну и ставит его в положение народного вождя и трибуна. Вульгарность иных демаршей, солдатская прямота и короткость распеканий и перепалок, педалирование порой не очень разборчивых, популярных, захватанных штампов, весь, наконец, фамильярно-выспренный, отеческий тон «Переписки» усугублены фактом, который нельзя никак нам упускать из вида, что писатель тут, Гоголь, русский классик, находится на войне, разгоревшейся во всей натуральности перед его мысленным оком. По замыслу автора, чиновники и помещики, литераторы и светские дамы, государственные мужи и духовные лица, а за ними и всё разномастное население России, ознакомившись с этой книгой, должны пережить нечто похожее на то, что испытали запорожцы перед последним сражением, слушая речь атамана Тараса Бульбы. Тогда устами Тараса Гоголь высказал некоторые из заветных своих идей; теперь, пересаженные на пошлую почву XIX столетия, эти пассажи старого козака звучат, быть может, несколько неестественно и сиротливо, обращенные всё же к иному кругу слушателей, и как бы повисают в воздухе, если не наполнить его выстрелами и звоном мечей, то есть не корректировать эти речи авторской ситуацией, гоголевским предсмертным борением, которое позволяет схватить их в настоящем их, слышном самому Гоголю смысле и предотвратить трагедией готовую разразиться пародию. Нами живая связь «Мертвых Душ» и «Переписки с друзьями» с «Тарасом Бульбой» уже почти не улавливается — так далеки эпохи, встающие в них на борьбу за Святую Русь; но для Гоголя таковая преемственность сохраняла значение, служа актуальным задачам, не художественным уже, но пожарным.

Из речи Тараса Бульбы:

*«Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить не то, чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что*

*ни есть в тебе, а... Нет, так любить никто не может!<sup>1</sup> Знаю, подло завелось теперь на земле нашей: думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребках запечатанные меда их. Перенимают, чорт знает, какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим: свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке... Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупница русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать,— так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!..»*

Из речи генерал-губернатора перед чиновниками города (второй том «Мертвых Душ», последние дошедшие до нас листки):

*«Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаньями нельзя искоренить неправды: она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего течения. Но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет всё и жертвует всем,— я должен сделать клич хотя к тем, у которых еще есть в груди русское сердце...»*

Из статьи «Светлое Воскресенье», завершающей книгу «Выбранных мест из переписки с друзьями»:

*«...И если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, всё позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас всё сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас...»*

---

<sup>1</sup> Эту интонацию Гоголя воспроизвел Александр Блок — также в роковую годину истории — в стихотворении «Скифы».

Можно подумать, приказ покончить со всеми несчастьями и в патриотическом взрыве свалить мировое зло отдается человеком, исполненным жизненных сил, безграничной, неукротимой энергии. Ничего похожего. В том-то и норав Гоголя, что войну он объявляет на пороге гроба, на грани издыхания. Смерть становится полем битвы и, подсказывая размеры опасности, толкает на отчаянный шаг спасения души и отечества соединенными средствами. В сущности, речь идет о переустройстве земли, России, в подножие Царства Небесного — в лестницу. Война ведется за жизнь в самом полном и совершенном объеме — за ликвидацию смерти как таковой, за упразднение могилы в масштабе планеты — путем всенародного подвига ополчения и воскресения. Но эти колоссальные планы кипят уже в голове полутрупа, и потому они и зародились, и появились на свет, эти планы, что составитель их уже умирал, продолжительно, бесцеремонно, не испытывая никакого подъема, годами находясь уже в стадии безобразного распада, маразма.

В каком самочувствии Гоголь выпускал свои боевые листки, показывает, например, его письмо к Н. М. Языкову (5 июня н/ст. 1845 г.), представляющее документ неслыханной прямоты — как если бы умирающий себя же анатомировал, приглашая осмотреть препарат своей распластанной личности: что есть Гоголь? Подводя нас к краю пропасти, которая угрожала ему в эти годы несколько раз, письмо это позволяет увидеть и тот бездонный колодезь, откуда он черпал свое удивительное бессилие мыслить так тотально, масштабно, набрасывая грандиозные планы, и воевать до потери сознания в самом логове тления, превратившись на склоне дней словно в немой укор Господу: что же Ты медлишь? — лестницу!

*«Повторяю тебе еще раз, что болезнь моя сурьезна, только одно чудо Божие может спасти. Силы исчерпаны. Их и без того было немного, и я дивлюсь, как, при моем сложении, я дожил и до сих еще дней. Отчасти, может быть, я обязан тому, что берег себя и не вдавался во всякие излишества; отчасти обязан тому, что Бог крепил и воздвигал, несмотря на всё мое недостойнство и непотребство. Знаю, однако же, и то, что повредил себе сильно в одно время тем, что хотел насильно заставить писать себя, тогда как душа моя была не готова и когда следовало бы покорно покориться воле Божьей. Как бы то ни было, но болезни моей ход естественный. Она есть истощение сил. Отец мой был также сложенья слабого и умер рано, угаснувши недостатком собственных сил своих,*

*а не нападением какой-нибудь болезни. Я хуждею теперь и оставляю не по дням, а по часам; руки мои уже не согреваются вовсе и находятся в водянисто-опухлом состоянии... Ни искусство докторов, ни какая бы то ни было помощь, даже со стороны климата и прочего, не могут сделать ничего, и я не жду от них помощи. Но говорю твердо одно только, что велика милость Божия и что, если самое дыхание станет улетать в последний раз из уст моих и будет разлагаться в тленье самое тело мое, одно Его мановенье— и мертвец восстанет вдруг. Вот в чем только возможность спасенья моего. Если същется такой святой, чьи молитвы умолят обо мне, если жизнь моя полезней, точно, моей смерти, если достанет хотя сколько-нибудь чистоты грешной и нечистой души моей на такого рода помилование, тогда жизнь вспыхнет во мне вновь, хотя все ее источники иссохли».*

А ведь Гоголю тогда не было и сорока еще лет, и до физического конца оставалось довольно срока, но всё у него уже было сожжено позади, и с каким-то холодным спокойствием постороннего к теме лица он ставит свой безупречный и как бы уже посмертный диагноз.

Страх смерти? Да, такой страх, перед которым меркнет досада ближайшего расставания с жизнью, теряющей всякий резон, когда не служит она на пользу Богу, как, впрочем, и смерть рассматривается под углом своей потенциальной полезности для общего, для Божьего дела.

Покорность Промыслу? Бесспорно. Но в этой покорности сквозит такая потребность восстать из гроба по знаку Творца, что наш покойник смотрит орлом, молодцом и, мнится, вот-вот опомнится от всех смертей и болезней. Болезнь описана им почти с клинической точностью и вместе с тем носит как будто неуловимый характер, не поддаваясь, мы знаем, стараниям медицины поймать ее корень и рост, ни каким бы то ни было, в принципе, человеческим статьям и лекарствам, поддерживая сознание, что всё это неспроста, не напрасно и даже, по всей вероятности, свыше запроецировано для вящего блага болящего, нуждающегося в радикальном, чудесном пересоздании. Спрашиваешь невольно, браня свое маловерие, гнушаясь своей немощностью возвыситься до предмета исследования: а что эта смерть и болезнь не провокация ль, не искушение ль небу?..

Нет-нет, никакого притворства, ни ропота, ни жалобы: сам кругом виноват, подорвав свой слабый состав несвоевременным, самостийным писательством. (И жил писателем и писательством себя загубил!) Имеются, определенно,

в виду самопожертвенные попытки продолжить работу над «Мертвыми Душами» вопреки иссяканию сил. (И не имеется в виду тогда же предпринятый, новый, обходный маневр прорваться к той же работе путем «Переписки с друзьями», которая его доконает, когда обнаружится, что и этот ход не помог.)

Итак, все средства писать, сотворив над собою насилье — физическое, моральное, мистическое и т. д., исчерпаны; колдун повержен во прах, наказан за самоуправство; Гоголю остается одно — передоверить свой опыт Тому, Кто истинно властен воздвигнуть безгласного мертвеца в чудотворцы, сторицей вернув ему дар для новых свершений. (Просто жить, излечившись телесно, — его не интересовало.)

Смирение его похоже на ультиматум. Объективность в констатации фактов смыкается с непризнанием действительности и передачей всех прав на себя сверхъестественным силам. Гоголь, легко заподозрить, вынуждает Бога на чудо. Не прося ни о чем и не жалуясь, он ведет себя как вымогатель. Не Языкову и не прочим друзьям он демонстрирует труп свой, но небу — деловито и объективно: смотри! Смерть доведена в этом живом мертвеце до степени совершенства, до готовности сменить оболочку и по первому зову внезапно перейти в противоположную крайность, из катастрофы — в апофеоз. Гоголь в своей болезни заходит так далеко с расчетом вышибить клин клином — погибнуть или воскреснуть, как феникс<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> То же построение чуда прилагал он к исторической жизни и старался ухватить литературно в «Мертвых Душах»: отрицательное состояние доводится до последней ступени, как бы до окончательной смерти, которая во мановение ока, как единственно мыслимый выход из безвыходной картины, должна обернуться чудом всеобщего Воскресения Мертвых. Оттого он призвал к ополчению, к религиозному подвигу и нравственному пробуждению нации в момент, когда ничего похожего не намечалось в истории. Доводы Белинского, возражавшего на «Переписку с друзьями» анализом положения в обществе (развращенность высших классов, атеизм простого народа и т. д.), до него не доходили. Вернее сказать, они работали на гоголевскую концепцию чуда. Ибо не подготовкою общества, не наличием положительных сил измерял он эту способность. Но глубиною могилы.

*«Это говорит вся глубина души моей,— писал он С. Т. Аксакову (18/6 августа 1842 г.).— Помните, что в то время, когда мельче всего становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается всё и никто не верит чудесам,— в то время может совершиться чудо, чудеснее всех чудес. Подобно как буря самая сильная настаёт только тогда, когда тише обыкновенного станет морская поверхность».*

Известно мнение, высказанное частными лицами, в том числе врачами, смотревшими его перед смертью, что Гоголь в конце концов намеренно себя заморил, отказавшись от принятия пищи, затем что, утратив писательский дар, считал уже жизнь бесполезной. Если это действительно так, то смерть его была тактическим шагом, последним военным маневром, в продолжение «Переписки с друзьями» и осужденных попыток насильно заставить себя писать,— попыткой, на сей раз всецело отданной на исполнение Богу. Лишь чудо могло спасти его, и Гоголь пошел на смерть, чтобы вызвать чудо. Нет, он не покончил с собой, но как бы предложил Самому Творцу сделать окончательный выбор: либо — либо. (Тогда его закопали живым.)

*«Нередко бывало по всему миру, что земля тряслась от одного конца до другого; то оттого делается, толкуют грамотные люди, что есть где-то, близ моря, гора, из которой выхватывается пламя и текут горящие реки. Но старики, которые живут и в Венгрии, и в Галлической земле, лучше знают это и говорят: что то хочет подняться выросший в земле великий, великий мертвец и трясет землю» («Страшная Месть»).*

— *Лестницу, поскорей, давай лестницу!*

## Глава вторая

### ДВА ПОВОРОТА СЕРЕБРЯНОГО КЛЮЧА В «РЕВИЗОРЕ»

---

Как уместить в голове два факта, диаметрально лежащие, творческой истории Гоголя? Тот, кто больше всего пугал и тиранил нас, тот же всех пуще смешит. Нет у нас автора страшнее и кошмарнее Гоголя. Нет писателя, который бы так еще заставлял Россию смеяться. Притом как-то так получается, в силу обратимости, что ли, его двузначной природы, что смех у Гоголя в какой-то момент возбуждает тоску и ужас, переходит как будто в свое отрицание, в слезы, которые временами, однако, также обладают противоположным свойством смешить. Где тут конец, где начало? И что раньше, первичнее — необузданная веселость, смешливость натуры Гоголя, или не менее близкая спутница его души — меланхолия?

Сам-то он склонен был объяснять эту двойственность тем (правда, в ту пору, когда потерял уже охоту смеяться), что истинным залогом и фоном его души были неизъяснимые мрачность, тоска, для рассеивания которых он в молодости стал прибегать к беззаботному смеху и шуткам, имеющим вторичное, поверхностное происхождение. По этой схеме выходит, что постепенно, с годами, «сквозь видный миру смех» начали проступать «незримые, неведомые ему слезы», пока наконец эта подлинная природа Гоголя, вырвавшись из-под спуда, не возобладала во второй половине его творческого пути.

Но не только по долгу, что дорог нам Гоголь смеющийся, мы не вправе довольствоваться брошенным на него исподлобья взглядом Гоголя плачущего. Смех сопряжен непосредственно с творческой активностью Гоголя, и, расставшись с ним, угасая физически, он и весь свой дар трактовал как что-то внешнее, напускное, не соответствующее его начальной и окончательной задаче. Так что, вверяясь теории о «незримых миру слезах» как единственной первооснове писателя, мы обязаны и писателя вынести куда-то за скобки и остаться в итоге без Гоголя, при одном его слезном безмолвии. И еще неизвестно, что естественнее и надежнее в нем — смех ли, действующий, доколе он творит еще, или слезы, то глушащие, то поддерживающие этот благодетельный смех?

Однако и в позднюю пору его отношение к смеху не исчерпывалось односторонним ответом и повлекло трудоемкое, многострадальное разбирательство, в ходе которого им выносились исключаяющие друг друга оценки, словно он не знал, что с ним делать, словно смех был больше и глубже Гоголя и, как слезы его, в своей сути необъясним. Не вдаваясь покуда во все завитки его мысли, ропщущей, несправедливо обиженной, озирающейся будто в испуге от достигнутого ею эффекта, удовольствуемся признанием, явственно прозвучавшим тогда, что смех зарождается в нем на той же глубине, что и слезы, и может сотрудничать с ними и конкурировать на равных правах. По этой версии смех —

*«который весь излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бьющий родник его»,*

— не позднейшее наслоение тоскующей беспрерывно души, но ее прямое свидетельство и исконное производное. Сквозь брызги смеха, как в радуге после дождя, возможно созерцать, выясняется, самые прекрасные области и премудрые законы вселенной, сообщающей комедиографу свои загадки



и тайны не менее доверительно, чем автору возвышенных книг. В способности смешить и смеяться, мы видим, проявляется признак особенно тонкой и трепетной душевной организации, которая на всё реагирует с преувеличенной чуткостью и достигает, смеясь, чудесных озарений, воскрылий. Гоголь приоткрывает как будто крышку инструмента-поэзии, где струны смеха дрожат совместно со струнами скорби, восторга, любви, благочестия и имеют на глубине общий с ними источник, порой же и близкую им тональность или окраску.

*«Что признавалось пустым, может явиться потом вооруженное строгим значеньем. Во глубине холодного смеха могут отыскаться горячие искры вечной могучей любви. И почему знать — может быть, будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный человек является ничтожным и слабым в несчастии, а слабый возрастает, как исполин, среди бед,— в силу тех же самых законов, кто лвет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете!..» («Театральный разъед после представления новой комедии», 1836 г., 1842 г.).*

Комический — в этой трактовке сближается с понятием — боговдохновенный, пророческий. «Вот что вам говорит человек, смешавший людей», — заключает Гоголь послание к С. Т. Аксакову (18/6 августа 1842 г.). В нем он касался предметов самых непомерных, божественных, и связывал писательский чин свой с прорицанием чуда. «Смешавший», понятно, здесь маска юродливого артиста, который лишь с виду прикидывается таким неказистым. Но в главном смысле «смешавший» значит — вещей, отзывчивый на то, что другие не слышат. Коль скоро о чуде пророчествует смешавший людей человек, то этому можно поверить. На скольких путях к своей должности верховного судьи и провидца Гоголь не только отверг и перерос в себе доброго комика, но на него же в некотором роде уповал, полагался. Для чуда, которым он мыслил закончить «Мертвые Души», была сделана заправка в начале поэмы — всепроницающим смехом.

Действительно, чудо и смех соотносятся глубже, теснее, чем это может представиться первому взгляду на них, — особенно у Гоголя, где всё норовит обернуться и опрокинуться удивительным образом, в чем немалая честь принадлежит стихии комического. И если не в полном значении о чуде вещает смех, то во всяком случае о предрасположении к чуду, о бегстве в сферу эксцентрики, в страну свободы, блаженства, и наполняет нас счастьем внезапных перемен.

превращений. Пока на земле безнаказанно правит зло и всё как будто уснуло в корыстолюбивом застое, смех выходит на сцену и, наслаждаясь уже в душе готовящимся переворотом, в роли конферансье объявляет свой коронный фокус:

*«— Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор».*

«Ревизор» — кульминация смеха в творчестве Гоголя, самое смешное, без остатка смешное его создание. Едва выехав вместе с Чичиковым в рисовавшуюся ему поначалу комфортабельной и веселой дорожку, Гоголь, будто предчувствуя, куда тот его завезет, как перед разлукой, в наитии, кинулся вдруг на грудь к Пушкину (Петербург, 7 октября 1835 г.):

*«Начал писать «Мертвых Душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. ...Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь».*

*Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. ...Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее чорта. Ради Бога».*

Так ему, значит, приспичило рассмеяться во всю ширь, от всей души, в последний, в прощальный раз. Перед долгим ненастьем, перед хмурыми тучами, застлавшими назавтра весь горизонт, пролившийся унылым дождем, который не перестанет до конца уже света, — останний, ярчайший клочок солнца. Впоследствии он говорил, что никогда еще смех не появлялся в нем в такой силе. Когда смешнее чорта (ради Бога!) комедия — меньше, чем в два месяца, — выскочила из-под пера, рядом с ней другие, виднейшие творения отечественной комедиографии — «Недоросль» и «Горе от ума» — смотрели мрачнее трагедии. Так и назвал их Гоголь — трагедиями, сославшись на мнение князя Вяземского, но и сам бесконечно дивясь, до чего ж неуклюжи, бесформенны и насколько не смешны эти основоположники русской комедии по сравнению с «Ревизором».

Дивимся и мы, вспоминая, что у Фонвизина с Грибоедовым, кажется, было больше причин радоваться и улыбаться, нежели Гоголю с беспросветным его «Ревизором», где всё представлено сплошь с отрицательной стороны и нет никакого положительного примера, на котором бы мог, отдохнув, укрепиться глаз испытателя. В развитии русской комедии от «Недоросля» к «Ревизору» (через «Горе от ума»)

наблюдается роковое падение века добродетели и стремительное разрастание зла, достигающее у Гоголя размеров социального бедствия. Уже не одна семья Скотининых-Простаковых, не какое-то московское общество или словесие Фамусовых, но целый город повержен в бездну порока. Сгущение этой тенденции уже у Грибоедова повеяло со сцены отчаянием. У Гоголя же в «Ревизоре» дало обратный эффект. И сам городничий подлец, и все его подчиненные, и их жены и дети, и высшие и низшие классы порочны, и даже ревизор, посланный всё исправить, совсем не ревизор, а мошенник, и нет ни малейшего выхода, как если бы в целой России не нашлось ничего достойного, ни одной светлой точки. А нам море по колено, мы катаемся от хохота, веселимся, как на своих именинах, и не испытываем, признаться, никаких в душе угрызений. Боже мой, это же смешно! Животики надорвете! Ни до, ни после «Ревизора» так у нас не смеялись.

Между тем в проекции, в схеме, эта комедия восходит к той же традиционной, из восемнадцатого века, канве (с которой Гоголь был прочно связан), откуда повелись и Фонвизин, и Грибоедов со своим ревизором Чацким, и множество других ревизоров, прокуроров, резонеров, приезжающих в собрание плутов и дураков, с тем чтобы всех распекать, выводя на чистую воду, к большому удовольствию зрителей. Замените в «Недоросле» Правдина — Вральманом, у Грибоедова вместо Чацкого поставьте Загорецкого, и вы получите почти готовый гоголевский «Ревизор». Гоголь произвел эту простую замену и вместо ревизора привез в город вралю, болтуна, словоохотливого «резонера» в кавычках, от которого вся комедия зажглась, заиграла красками, забродила кровью нового, не верящего в добродетели века и в этом смысле стала менее «Ревизором», чем «Недоросль» Фонвизина и «Горе от ума» Грибоедова. От восемнадцатого века остался разве что макет добротного музыкального ящика — с заводом пружины, однако, в другую, противоположную сторону, где положительный герой-резонер выступает в обратном, минусовом значении, благодаря чему эта пьеса преисполняется бесконечной игривостью, приткостью, мелодичным, серебряным смехом. Перевертыш, лже-ревизор Хлестаков оказался ключом, от завода которым (в обратную сторону) «Ревизор» играет, наподобие чудесной шарманки, исполняющей административный мотив с бурностью польки-мазурки, или, вернее, в более гибком, изысканном, хотя, может быть, и чуточку старомодном, упоительно капризном, порхающем ритме менуэта. Потому что, если прислушаться к самому имени «Ревизор», то оно звенит, и вот этот звон

мысленно перекладывая на образы комедии Гоголя, вы услышите музыку, какую когда-то услаждали гостей, домочадцев, предлагая их вниманию часы с репетиром, шкатулку с музыкой, которая заводилась поворотом ключа-ревизора, с кукольными фигурками, оживавшими вдруг под чиликанье чудной пружины и танцевавшими, как заправдошние, на серебряных гвоздиках построенный контр-данс, быстрее и быстрее, изящно передвигаясь, так что условность поз едва бросается и всё летит, почти как в жизни, только грациознее, тверже, на цырлах, на шпильках, под искристый и переливчатый звон репетира-ревизора, и всё отточено и убыстрено по сравнению с родными, нескладными бригадирами, недорослями, всё уложено в ловкий размер, в один день, безумный как «Женитьба Фигаро».

Подброшенный Пушкиным сюжет в оригинальном истолковании Гоголя сохранял, казалось, печать руки, благословившей его напоследок на этот быстрый, по-пушкински ловко и споро разыгранный водевиль, в котором русский, кондовый, зверообразный быт вдруг перенял невозможную, чуждую нам французскую грацию, превратившись в немислимый, единственный образец классической русской комедии. Без насилия над собой, с каким-то даже артистическим шиком, она соблюдает законы и правила драмы — непостижимые три единства (по которым никто в России, кроме гоголевского «Ревизора», не сумел еще, кажется, сдать экзамен) и закрученную на одном обороте ключа интригу, которая всё обнимает и вертит с быстротою танцора, с ловкостью клоуна, отчего окончание пьесы совпадает секунда в секунду с заведенным на ту же мелодию часовым механизмом.

Когда действие останавливается, начатое ревизором и законченное Ревизором же, пройдя дистанцию, а вместе с тем как бы вернувшись к исходной точке, откуда, если хотите, можно сызнова его завести и проиграть сначала, дословно, ту же музыку (стоит допустить на минуту, что приезжий высокий чиновник, остановившийся в той же гостинице, вновь окажется чьей-то изящной мистификацией), — завод кончается, и фигурки, танцевавшие до упаду, образуют немую группу, застывая внезапно, как вкопанные, каждая в надлежащем, узаконенном повороте, — чтобы сцена ошеломления, в увенчание пантомимы, вновь укрепила нас в ощущении музыкального ящика с только что сыгранной пьесой, который грубую жизнь воспроизводит с очаровательной легкостью и элегантностью танца. Скорее, чем с «Недорослем», чем с «Горем от ума», напрашивается сравнение с плутнями Бомарше, с эскападами Лопе де Вега, с каким-нибудь хоро-

шо темперированным, как поединок на шпагах, «Днем чудесных обманов», в котором герои, фехтуя, обмениваются ошибками и попадают впросак, как нарочно, с тем чтобы обеспечить решительное и пружинистое продвижение действия — подобно тому, как Бобчинский, вышибая дверь, обещивает себе скорейший выход на сцену. Недаром Гоголь, с раздражением относившийся к легковесной французской традиции, вынужден был, заручась «Ревизором», поставить ее всё же в пример нашим доморощенным комикам, хоть те по духу и облику были ему милее залетных гастролеров.

*Обе комедии («Недоросль» и «Горе от ума»).— А. Т.) исполняют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Содержание, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих» («В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», 1846 г.).*

Последнее соображение наводит попутно на мысль о природе русской растрепанности, бесфабульности, бесформенности, чему и Гоголь был не чужд и отдал должное в прозе. Но его «Ревизор», вопреки природе, завязан и развязан по форме и так плотно взят в интригу, что мог бы поспорить в стройности с любой парижской субреткою. Это тем более удивительно, что в нем вы не найдете типично комедийной пружины с острой любовной прожидью, которая так ловко вертела всей европейской сценой, сообщая ей бездну энергии, динамики и изящества. Гоголь и без любви добился всех тех отличий, которые за граница добывала любовной наживкой.

У Гоголя, по русским обычаям, сюжет заполнен всецело общественным интересом, не оставляющим места иного рода страстям. Кстати, в том он усматривал национальную нашу черту — привязанность не к личным причинам, но к устремлениям общества. И вправду, административный восторг принимает в «Ревизоре» гривуазную даже форму. В изгибах Городничего, в готовности Бобчинского бежать «петушком» за дрожками, в податливом словце «лабарданс» есть что-то от любовной истомы. С другой стороны, падкость дочери и жены Городничего на заезжее инкогнито имеет в своей основе общественный интерес, как и его, Хлестакова, амурные заходы, авансы. Тому эротика дарит лишний шанс порисоваться в занимаемой должности. Под юбки он залезает не ловеласом, но ревизором.

«Ревизор» — комедия четкого служебного профиля, от начала и до конца социальная. Страх перед начальством и влечение к высшему чину поглощают в ней, представляется, всё личное в человеке. Человек выступает здесь точно по Аристотелю — как животное общественное. Отказавшись от любовной интриги, делавшей на театре погоду, Гоголь предложил ей взамен куда более сильное, как он выразился, электричество, заключенное уже изначально в самой новости — «ревизор!» Стоило произнести это слово, как всё в его комедии побежало и закипело. «Ре - ви - зор» звучит по-русски, как «же ву зем» по-французски, как «хенде хох» по-немецки. Достаточно сказать «ревизор», чтобы сразу всё началось. Сюжет, подсказанный Пушкиным, как и просил Гоголь, оказался чисто русской, принципиально русской заковской. Она-то и позволила тексту улечься, точно по мерке, в ложе классической драмы, в стройную идею и форму «ревизора», хоть и вывернутого наизнанку, но полностью, от первой до последней строки, без остатка и без подвеса, запущенного на едином винте, на вывернутом мундире. Запасшись ключом «ревизора», превращающим сонный город в растревоженный муравейник, праздных зевак и бурбонов в услужливых плясунов, Гоголь в «Театральном разъезде» мог позволить себе намекнуть на открытие универсального двигателя, магического жезла или корня, от прикосновения которым всё само собой завязывается и развязывается, произведя революцию в театральном искусстве:

*«...Ищут частной завязки и не хотят видеть общей. ...Нет, комедия должна вязаться сама собою, всей своей массой, в один большой, общий узел. Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два,— коснуться того, что волнует более или менее всех действующих. Тут всякий герой; течение и ход пьесы производит потрясение всей машины: ни одно колесо не должно оставаться как ржавое и не входящее в дело».*

Другая находка, не менее ценная для сцены, поднятой Гоголем на небывалую у нас высоту, заключалась в том, что в ревизоры попадает совершенно случайный и даже не подозревающий об этой подмене проезжий голодранец, благодаря чему фигура, наводящая ужас и обеспечивающая действие в пьесе, сама по себе представляет очевидную фикцию. Тем самым Гоголь застолбил своей комедией наиболее перспективный в сценическом смысле конфликт — противоречие между речью и положением говорящих, чем и славится и держится драма как особый род словесности, находящей на сцене место и время вести речь невпопад. С появлением мнимого ревизора в пьесу входит не просто важный началь-

ник и ловкий пройдоха, но само олицетворение театра — невольный и обоюдный обман. «Ревизором» русская драма празднует праздник театральности в ее наиболее чистом, беспримесном виде.

С первых же реплик пришествие «ревизора», как волшебное любовное зелье, разлилось по жилам комедии, захватив в свою орбиту всю действительность, всю массу исполнителей и статистов, закружило и помчало всю сценическую машину. Все кинулись прятаться. Когда же — как в прятках кричат «обознатушки!», возвещая возобновление кона, — до зрителей докатилась волна, что с ревизором обознались, и все, с перепугу, попав в обман, перестали понимать, кто тут чей и где облага, — тогда интрига, подпрыгнув, разразилась взрывом игры, истинным апофеозом комедийного слова и дела. «Скорее, скорее, скорее, скорее!» — под этот крик городничихи падает занавес в первом акте, и под этот же припев всё живет в «Ревизоре», запутываясь, перебивая друг друга, сшибаясь лбами, хлопаясь об пол, требуя лошадей и курьеров, закладывая, не разбирая дороги, за два соленые огурца, принимая одно за другое, маменьку за дочку, картонную коробку за шляпу, давай-давай, анфиладою сцен срывая двери с петель, ни на миг не теряя темпа, отплясывая, забалтываясь под ликующий звон бубенцов, под шелканье метронома. Никаких интермедий, антрактов, единое дыхание-действие в четырех стенах чиновнических забот и расчетов, — и эту чернильную душу исчерпать серебряным смехом? Без отдыха, без любовных утех, на одной общественной страсти, на страхе. Остановитесь! «Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!» Всё равно смеемся: смешно. Смеемся и как бы испаряемся, кружимся, исчезаем, летим, как на тройке. «Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земле...» И каким-то восторгом, свободой, упоением, сладкой мечтою отдается эхом в душе этот переливчатый смех...

— Стоп! Попробуем, однако ж, прослушать ту же шка-тулку более научно, вразумительно, что ли, с тем чтобы уловить механизм, наполняющий весельем, раздольем, — если всё в этой вещи, напротив, должно возбуждать в нас, казалось бы, неизбежное отвращение, гнев. Если никто до Гоголя не собирал одним разом столько зла, не погружал целый город во мрак, из которого не высвободиться никакими ревизорами... Итак:

Первый поворот серебряного ключа в «Ревизоре». (Звонит репетир-менуэт.) Куклы танцуют, с первой

минуты производя впечатление живости, естественности и, осмелюсь заметить, человеческого простосердечия. В чиновничьей прозодежде, в мундирах, со всеми своими пороками и недостатками, эти казнокрады и взяточники внушают нам, говоря по правде, симпатию. Дети, ну просто дети! Милые, смешные... Нравственное негодование, которое якобы мы призваны испытывать при виде «Ревизора», возможно только как чувство головное и отвлеченное, появляющееся в процессе наших собственных рассуждений на тему, что вот-де целым светом заправляет шайка безбожников. Непосредственно от соприкосновения с пьесой — читательски, зрительно — это чувство не возникает.

Во-первых, здесь нет никого, кто бы подлинно потерпел от властей и общественных не порядков. Здесь нет добродетели, здесь все в меру порочно, и поэтому, собственно, нам не за что беспокоиться. Купцы-аршинники? Да это ж первые воры и, оципаннные Городничим, без промедления обрастают. Слесарша и унтер-офицерша, представляющие, так сказать, пострадавшее население? Но обе они, мы видим, своего не упустят и в жадности, глупости, ругани не уступают начальству. Что ж такого — что выскли: «Мне от своего счастья неча отказываться...» (Ср. соболезнование, какое мы испытываем к бедным жертвам в «Недоросле».) Жаль, по-человечески жаль лишь виновников беззакония, попадающих к исходу комедии в крайне неприятный расклад. И более всех жаль, конечно, Городничего: его падение всех ужаснее, хотя, понятно, и всех смешнее.

Во-вторых, в восприятии пьесы (ради близкого сопереживания) необходимо отрешиться от позднейших на нее наслоений, в виде ли критики, возмущавшейся положением дел в России, в форме ли авторских уловок оправдаться задним числом, повернув безответственный смех на законную дорогу. Особенно тяжело уберечься от чувствительного воздействия, какое оказывают на прочтение пьесы «Мертвые Души» под маркой последующего и главенствующего сочинения Гоголя, словно созданного в прямое продолжение «Ревизору». Комедия произвольно подверстывается к чуждому ей по существу, громадному образованию и в его соседстве тускнеет, застывает, загромождается вещами, шкафами, как в усадьбе Собакевича, среди которых не рассмотреть уже человеческого лица.

Весьма наглядно эта тенденция проявила себя в постановке Мейерхольда, оформившего «Ревизор» в сгущенную вещественность и духоту «Мертвых Душ». Режиссерская указка Мейерхольда (не говоря о множестве прочих, менее талантливых трактовок и постановок) была нацелена на всемерное уплотнение материи, выжимавшей душу и воздух



из светящегося тела комедии. «Ревизор» был поставлен под пресс чудовищных натюрмортов Гоголя. Уроки Мейерхольда гласили (20 октября 1925 г.):

*«Нужно всю эту компанию людей, которые будут играть, поставить на площадку, примерно в пять квадратных аршин,— больше нельзя».*

*«...Из всех щелей, опять между шкафом и печкой, комодом, выползают люди. Как тараканы из щелей. Знаете, вот потушили свет— и они из всех щелей вылезли, усами пошевелили и облепили сцену».*

*«Стоит диван, еще больше, чем в первом действии, и на фоне четырех колонн везде люди, люди, лица — насажены, как сельди в бочку».*

Как бы ни были сами по себе интересны и правомерны подобного рода вариации «Ревизора», они свидетельствуют не столько о свободе по-новому истолковывать прославленный текст, сколько о многопудовой инерции поэтики «Мертвых Душ», довлеющей над комедией Гоголя. В такой обстановке, понятно, персонажи «Ревизора» утрачивают свое обаяние, обращаются в манекены, в сатирические маски и хари. Сбывается кошмар Городничего:

*«Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего...»*

Это он произносит под шоком от разносного письма Хлестакова. По Хлестакову, действительно, городом распоряжаются не люди—скоты. Тянуть «Ревизор» в сатиру, в замену лица свинообразной личиной—значит поддаться невзначай на блесну хлестаковских стереотипов, столь фраппировавших Городничего, что тот за письмом, во тьме катастрофы, ничего уже не помнит, кроме невразумительных рыл. «Надзиратель за богоугодным заведением»,—увсряет Хлестаков,—«совершенная свинья в ермолке». «Смотритель училищ протухнул насквозь луком». «Городничий—глуп, как сивый мерин». И тому подобные плоскости, от которых за версту разит недалеким и нелюбопытным пером беспардонного репортера. Но как они расходятся с Гоголем! Нет, Городничий отнюдь не глуп, и во избежание кривотолков Гоголь предупреждает актеров в предваряющих «Ревизор» замечаниях:

*«Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек... Черты лица его грубы и жестки, как у всякого начавшего тяжёлую службу с низших чинов» («Характеры и костюмы. Замечания для господ актеров»).*

В тех же авторских рекомендациях почти для каждого персонажа найдено если не в полном объеме доброе, то всё же дружелюбное слово. Так, в графе Почтмейстера значится ни больше ни меньше: «простодушный до наивности человек», а напротив враля Хлестакова поставлена дальновидная галочка:

*«Чем больше исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет».*

Заботы Гоголя сводились к тому, чтобы не допустить поглощения человека сатирической маской, и он не уставал повторять в назидание театральным интерпретаторам:

*«Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру» («Предупреждение для тех, которые пожелали бы сыграть, как следует, "Ревизора"», 1846 г.).*

Или так уже Гоголь всегда был чужд карикатурам? Причина, очевидно, в другом. Отринув предвзятость «свиных рыл» и имея дело непосредственно с текстом, как свободной от сторонних аналогий поэтической данностью, нетрудно убедиться, что персонажи комедии Гоголя, будучи до конца отрицательными, тем не менее остаются людьми и в этом качестве возбуждают сочувствие. Больше того, смех и посрамление отрицательного лица в значительной мере зиждутся на любовном вхождении в круг человеческих его интересов и снисходительном отношении автора к его слабостям и грехам. Именно поэтому Щепкин признавался в любви к Держиморде, к Добчинскому и Бобчинскому, к Гордничему:

*«Я их люблю, люблю со всеми слабостями, как и вообще всех людей» (письмо Гоголю, 22 мая 1847 г.).*

Здесь не просто любовь к сочному образу. Здесь любовь к человеку. Гоголевский Плюшкин, допустим, или Чичиков неспособны возбудить в душе подобных эмоций при всех своих литературных достоинствах. Там «Мертвые Души» уже наложили на чувства свою железную руку. Не то в «Ревизоре», где мы вольны любить, сострадать, где персонаж приглашает вас войти в его положение на правах сотоварища, который оттого и смеется, что проникается состоянием ближнего, и, смеясь, постигает комическую его и симпатичную природу, равно доступную всем и вызывающую по-родственному: войди! пойми!

*«Посуди сам, любезный, как же? ведь мне нужно есть. Этак могу я совсем отоцать. Мне очень есть хочется; я не шутя это говорю... Как же они едят, а я не ем? Отчего же я, черт возьми, не могу также? Разве они не такие же проезжающие, как и я?»*

Как в доме Собакевича каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!», так в «Ревизоре» каждый персонаж мысленно или вслух произносит: «И я — человек!» После «ревизора» «человек» здесь самое веское и многомерное слово (только, может быть, пьеса Горького «На дне» превосходит, да и то формально, комедию Гоголя по числу антраша с «человеком»). Оно колеблется в значениях, падает и возвышается, следуя, по обычаям того времени, оборотам державинской оды:

*Я телом в прахе истлеваю,  
Умом громам повелеваю,  
Я царь,— я раб,— я червь,— я Бог!..<sup>1</sup>*

— от униженно-смирненного признания нашей общечеловеческой слабости:

*«Нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов...»*

— до восторженного удивления перед силой его и величием:

*«Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек!»*

— и еще выше, еще фантастичнее — по шкале ценностей — к сверхчеловеческой мечте человека:

*«Да объяви всем, чтоб знали: что вот, дескать, какую честь Бог послал городничему, что выдает дочь свою — не то, чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что может всё сделать, всё, всё, всё!»*

Главное, конечно, не то, о чем рассуждают герои Гоголя, не такие уж они, прямо скажем, философы, но что они несут в себе и демонстрируют нам и друг другу повсеместно, непреднамеренно, открывая свое сердце с заключенной в нем наивной претензией на звание и лицо человека. В самом ничтожном из них, можно заметить, сидит человек, которого Гоголь выводит в непрезентабельном порой одеянии, предлагая, однако, нам посмотреть дальше и глубже этой внешней поверхности и дойти до сокровенного в подлой оболочке зерна. Все страсти и надежды, которыми движимы эти людишки, направлены, в общем, к тому, чтобы проявить себя в человеческом образе и достоинстве, как это понимается ими, взойти, так сказать, в человеческую степень. И если на высшем уровне их потенции

---

<sup>1</sup> Недаром Хлестакову для стишка Марье Антоновне в альбом первыми в голову приходят строки: «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек!..»

в лице Хлестакова, а следом за тем Городничего и Городничихи, достигают полноты человеческого самосознания («Я царь! я Бог!»), то на нижнем уже («Я раб! я червь!») речь заходит об удостоверении абсолютной ценности своего «я», сколь бы ни было оно мизерно, о стремлении засвидетельствовать свое личное присутствие в мире как требующий всеобщего внимания и удивления факт. В этом отношении Гоголь в «Ревизоре» выступает провозвестником персонализма в России.

*«Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский... Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский».*

За жалким притязанием совершенно, казалось бы, неразличимого Бобчинского слышится тот же вопль души, тот же внутренний голос, что в «Шинели» Гоголя произнес за безгласного Акакия Акакиевича Башмачкина: «Я брат твой» и приравнял эту букашку к каждому из нас, к лицу, достойному внимания и всеобщего интереса. Ведь для того и написана «Шинель», чтобы восполнить пробел («И Перербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было...») и объявить во всеуслышание, что нет, дескать, ошибаетесь, господа, жил в Петербурге этаким Акакий Акакиевич —

*«существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимание и естество-наблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп, существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого всё ж таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастье, как обрушивалось на царей и повелителей мира...»*

Такова же, по сути, нижайшая просьба Бобчинского о придании гласности самому факту его существования в городе, хотя Гоголь не развернул его здесь в сколько-нибудь широких подробностях и всё свелось к простому установлению имени. Но этого хватает, чтобы в реплике Петра Ивановича прозвучало: «И я — человек!» Да и не сводятся ли все

наши честолюбивые всечеловеческие претензии, будь мы семи пядей во лбу, к этой простейшей формуле, к потребности выражения и удостоверения своей личности в мире, и все великие цари, полководцы, писатели и артисты разве не рыдали о том же — только о том, что-де живет на свете Петр Иванович Бобчинский?!

Бобчинский у Гоголя представлен как бы в первичной стадии, с минимальным развитием признаков самоценной человеческой особи, которая тем не менее закономерно претендует на естественное место под солнцем и дает нам знать о себе с необыкновенной детской доверчивостью. Это даже и лучше для постижения душевной прогрессии человека, когда он выступает на минимуме человеческих определений, когда весь багаж у него состоит в злосчастной шинели, либо в пошлейшем наименовании «Бобчинский», которое он вопреки всему желает увековечить. Мелочь, пустяк — но тем сильнее хлещет эта мелочь. Для уловления лица в «Ревизоре» нам достаточно одной запятой, будь то зуб со свистом или карман с прорехой (и нужно же было Гоголю так влезть в человека, чтобы углядеть этот зуб во рту, эту неведомую никому прореху с правой стороны в кармане у бедного сплетника!), либо какой-нибудь еще казус, достающий до сердца штришок, завиток, поскольку все эти ничтожные черты самобытности обнаруживаются в комедии Гоголя путем сострадательного, заинтересованного вхождения в глубь постигаемого субъекта, заявляющего о себе незабываемой репликой или хотя бы мимикой, по примеру учителя, о котором поминал Городничий, что не может этот чудака «обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу».

*«Да, таков уже неизъяснимый закон судеб: умный человек — или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси...»*

Вот таких, состроенных мимолетно рож, от которых тянет играть, резвиться (а не застывших намертво «свиных рыл»), полно в «Ревизоре», и они-то выделяют человека, ими персонаж отмечается в списке бесчисленных имен и налегке приобретает смешное и живое лицо. Словно Гоголь знал, что человек должен быть несколько нелеп, и только это еще нас выручает, позволяя, не претендуя на многое, запечатлеть свою душу и облик в скорописи житейских невзгод. Одно дело — кто-то берет взятки, как берут их все, выступая в безличном, собирательном значении «взяточника», и совсем иное дело, принципиально иное, как справедливо утверждает

Аммос Федорович, судья Ляпкин-Тяпкин,— когда кто-то берет их борзыми щенками. Это уже не просто порок, но зов души и поэма сердца — не маска, но состроенная из-под общечеловеческой маски живая рожа — лицо.

В свое время Белинский немало удивлялся забавному тому обстоятельству, что в повести о старосветских помещиках, не отмеченных, кажется, ни одной чертою духовности и влачащих пошлое, животное существование, Гоголь нас заставляет любить своих старичков, Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну, и любоваться ими сквозь смех, к нашему общему удивлению. Или — отчего мы с неослабеваемым интересом читаем про то, как Иван Иванович, поссорившийся с Иваном Никифоровичем, ест дыни, соблюдая строгий обряд — все оставшиеся семена собирает в особую бумажку и, приказав принести чернильницу, надписывает своею рукой, какого числа и с участием какого гостя была съедена сия дыня? Вероятно, весь фокус в странной способности автора смеяться, то есть вдохновляться этим мелочным бытом и, сосредоточившись на его завитках, как если бы то были события всемирно-исторической важности, преподносить их в заманчивом, уводящем вглубь изложении, которое по характеру написания напоминает эту «особую бумажку» с завернутыми в нее памятными семенами, представляющую комическую и трогательную деталь, исполненную скрытой значительности и восхищения перед ее особенной ролью в человеческой истории. Когда Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна обмениваются повседневными репликами, типа: «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» — «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я», — мы испытываем в сердце толчок открытия какой-то двери в тайное тайных отношений наших героев и на мгновение застываем перед чудом своего участливого присутствия в доме, совершенно чужом и вот уже совершенно родном для нашего возбужденного взора. Смех становится средством выявления и оборачивания ничтожной пылинки, которая вдруг оказывается по-своему громадной и притягательной в этом дружественном внимании автора к ее скромной особе, заставляя переживать в этот миг преображения что-то похожее на любовь к ней, такой большой и такой ничтожной, что-то похожее на трепет, на вибрацию души, в которой уже любовь и смех сливаются в одно изумление перед фактом ее таинственной, мерцающей жизни, которая и та и не та вместе, знакома и незнакома, правдива и фантастична, повсеместна и уникальна. Мы как бы мечемся и разрываемся в нашем сознании между возникающими в нас противопо-

ложными чувствами, мы захлебываемся в изобилии льющегося на нас отовсюду смысла и, приводя себя в равновесие, смеемся, смеемся...

Смех Гоголя в этом аспекте близок колдовскому искусству — он и преображает действительность, и завораживает зрителя, навязывая нам родство с теми, о ком мы и не думали никогда и с кем не хотим иметь ничего общего, и вот уже, подпав под гипноз, влечемся, входим в их положение и, не переставая смеяться над ними и уже над собой, над своей жалкой участью заколдованного и в чем-то тождественного с навязанным нам в знакомцы лицом, научаемся любить и лелеять, кого только что презирали. Искусство обнаруживать в пошлой жизни «особенное» (особые взятки — щенками, особый способ есть дыню, особенный голос у поющих дверей в доме старосветских помещиков, одна из которых, та, что в сенях, в своем умении имитировать действительность доходит до того, что ясно-таки выговаривает: «батюшки, я зябну!»), особая привычка, всходя на кафедру, строить рожу) становится способом изъясления любви и благорасположения к миру, более внятными и действенными, чем все проповеди добра, взятые вместе. С жизни в один миг срывается темный покров, и она в излучении смеха преисполняется кишасими в ней серебристыми запятыми, пылинками, забавными рожицами, которые, струясь в световом столбе, выказывают свои мизерные организмы, поют, играют, гримасничают как гномы и исповедуют нам свои прекрасные тайны:

*«Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками».*

Для того чтобы различать подобного рода гримасы сверкающей и дышащей жизни, Гоголь-комик пользовался микроскопом. Смех служил ему увеличительным стеклом, сквозь которое постигаются в конечном счете те же законы и красоты, что управляют течением звезд и созерцаются в телескоп какой-нибудь высокой трагедии. Ибо «равно чудны», — сказано, — «стекла, озирающие солнца и передающие движенья незамеченных насекомых». Первое тому подтверждение опять же «Шинель», где автор исполнил задачу естествонаблюдателя и, исследовав досконально никому ненужную муху, взяв ее крупным планом, обнаружил в ее составе те же радости и терзания, под которыми воздвигались и рушились великие цари и герои. (Как ползла умирающая муха по краю стола, с вывалившимися внутренностями, а он оплакивал ее безутешно, созерцающая истерзанное тело словно в каком-то сверхнатуральном, гиперболическом свете, — рассказывал, помнится,

старец Силуан, кому святая любовь послужила как будто проникающим завесы стеклом, позволяющим в пустяшном создании распознать великую боль,— вот где сходятся смех и слезы к струнам единой любви и Гоголь-христианин, не затуманенный еще летаргией и ригоризмом («Переписки с друзьями», протягивает руку Гоголю-комику...) Не зря, вероятно, «Ревизор» он впоследствии пробовал разъяснять как свой и каждого душевный опыт-город, в котором герои-чиновники как бы изображают наши общие греховные страсти,— сворачивая напрасно комедию в нравоучение, но, может быть, в подобной трактовке правильно опираясь на разлитую по ее тексту сочувствующую душу, допускающую каждый пустяк, рассматривая через призму комического, представить в восторженном, преувеличенно-особенном виде.

Любая мелочь, страстишка могут быть в «Ревизоре» развернуты крупно, масштабно — в переводе чуть ли не на язык возвышенно-героической драмы, лежащей, однако, по-прежнему всецело в комическом русле, повинуюсь звучащему в нас без умолку смеху, который и обеспечивает эту возможность узреть в мелком и пошлом нечто сверхординарное, захватывающее, чрезвычайное,— он снисходит к своей жертве и дает ей спастись, воспарить, этот странный двойковыпуклый смех... Если, например, «гримасу» Почтмейстера — его склонность совать нос в чужие письма — преподать укрупненно, пространно и со смехом на ней задержаться, то его невинное любопытство обратится немедля в поэзию, в движущую человечеством бескорыстную страсть к познанию («смерть люблю узнать, что есть нового на свете»), которая в своей кульминации достигает шекспировской силы. Вот она, муха под микроскопом,— переживания Почтмейстера над интригующим письмом Хлестакова, которое он распечатывает словно великий тайник, испытывая в душе такое же сотрясение, как если бы на его месте какой-нибудь ученый мечтатель срывал покрывало Изиды (как эти гиперболические восторги и скорби по пустякам вняты душе Гоголя!..).

*«Сам не знаю, неестественная сила побудила. Призвал было уже курьера, с тем чтобы отправить его с эштафетой,— но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу! слышу, что не могу! тянет, так вот и тянет! В одном ухе так вот и слышу: «Эй, не распечатывай! пропадешь, как курица»; а в другом словно бес какой шепчет: «Распечатай, распечатай, распечатай!» И как придавил сургуч — по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей-Богу мороз. И руки дрожат, и всё помутилось».*



Можно ли не любить его в эту роковую минуту? Можно ли не сострадать поверженному Сквознику-Дмухановскому, когда он, словно Король Лир, обесчещенный своими детьми, открытый всем ветрам, обращается в скомороха и грозит себе кулаком, проклиная свое ослепление? Человеческое тогда в Городничем представлено настолько широко и свободно, что таяет в степь, под рев бури и блеск молний, которые больше подошли бы ему в этом гибельном исступлении, чем тесная, сдавленная шкафами площадка.

«Ревизор» достоин быть поставленным с замашками большой философической драмы или, лучше скажем, трагедии, если пользоваться этим понятием не в значении тональности, но в масштабном, постранственном смысле царящего здесь человеческого одушевления. Мнится, сценический ящик с маленькими фигурками раздвигается до размеров вселенной, которая смотрит в изумлении на поруганного отца и владыку и находит в его жребии некий всеобщий аспект. Внезапное обращение ко всему человечеству как мыслимому зрителю предлагаемой сцены («Вот смотрите, смотрите, весь мир, всё христианство, все смотрите, как одурачен городничий!») вводит в комедию Гоголя всеисторический даже охват и разрешается сознанием, что в этом спектакле, как в зеркале, мы, сотрясаясь от хохота, видим свое лицо, и весь свет уже обращается в смех над самим собою. (Сравнение с Шекспиром, который в беглом прочтении был усвоен Гоголем, не покажется странной натяжкой, когда мы вспомним, что уже в истории своей, в переходе от Пушкина к Гоголю, «Ревизор» отделился от «Бориса Годунова», взошедшего непосредственно на шекспировских парах, чтобы в новом обеспечении прозвучать комической репликой дальнему автору «Макбета» и «Короля Лира».)

Да и как могло быть иначе, если самый высокий комик творил здесь в полную мощь в зените смеха? В своем творческом переполнении «Ревизор» превосходит Гоголя, который, его накатав в небывало короткие сроки, потом на долгие годы остался к нему прикованным и всё прикидывал объяснения и примечания к «Ревизору», целый лес подпорок, контрфорсов, набрав их на новый том — театральных разъездов, развязок, поправок к своей неумной комедии. Сочиненные им долговременные комментарии, порой не лезущие ни в какие ворота, также указывают на невыносимость задачи — понять, что же все-таки писалось в итоге его скоропалительной пьесы. Была бы она хоть темна по своему смыслу, сложна по построению! Но проще простого, яснее ясного, а вот выскальзывает, не умещается в уме и нарушает

законные рамки, которые автор ей намечал, предлагая и так и эдак понимать свое вздорное детище, но в глубине души не зная, как с ним быть и куда его деть. Как бы Гоголь ни напрягался в позднейших осмыслениях, он не мог дать ему ход, объяснить, уважить, он был оскорблен и, если угодно, оболган своим творением. Точно оно существовало вопреки всему, что он в нем написал, и не давалось в руки, сколько он ни ставил рогов. (Не радуйтесь: оно изменит и вам. Оно всем изменит. И уйдет, изменяясь, на века и века жить по собственной легкомысленной воле...)

Положа руку на сердце, я не знаю, кто раньше пришел — «Ревизор» или Гоголь. Сдается — пришел «Ревизор» и выдумал в подсобники Гоголя... Смех в «Ревизоре» взят в каком-то всеобъемлющем качестве, в сиянии своей славы. Весьма популярная и актуальная пьеска. А присмотреться — в ней как будто проскакивает что-то от древней мистерии, от какого-то ритуала, где сакральная жертва смыкается с безграничной стихией комического. Голубая кровь (неба) и само исчадие смеха...

В искусстве с древнейших времен, замечено, сюжетообразующими, структурными формами становятся роли и положения, пришедшие в странное противоречие с испытанным укладом жизни, но не самый этот уклад. То есть искусство подбирает у жизни не общие правила, а нарушения правил и начинается с выведения быта из состояния равновесия, тяготея к сфере запретного, непривычного, незаконного. Искусство начинается с чуда, а за отсутствием такового оно начинается с обмана, подлога, измены, потери и преступления. Оттого-то эстетический факт (в поисках им потрясенной гармонии) сопровождается слезами и смехом и у самого его основания располагаются по сторонам сестры — трагедия и комедия. Искусство всегда смешно или горько, но, поскольку главную горечь собрала и впитала жизнь, искусство по сравнению с жизнью в изначальном смысле смешно. Его бескровные и прекрасные формы не могут соперничать с действительностью по части слез, которые всё же льются в нем не так горячо, но зато оно смеется много искреннее и заразительнее, чем способна смеяться жизнь. В общем, оно пробавляется смехом.

Смех в широком значении есть верный симптом или импульс искусства, его исходное определение. В этом качестве он проникает и обмывает собой любое поэтическое создание, будучи как бы первопричиной и вечным сопровождением творчества. Втайне всякий художник — смеется, всякий образ его — смешон. В смехе истаявает душа, прежде чем

вылиться в звуки и краски, которые перед суровым лицом жизни вновь раздражаются смехом, невзирая на то, что, быть может, в этот момент мы тоскуем и плачем, завлеченные веселой игрой в горестные тревожнения сцены. В самом качании искусства на грани подобия или тождества уже содержится что-то комичное, пародийное, шутливое. Художнику не дано быть до конца совершенно серьезным.

В Гоголе особенно полно «художник» и «комик» слились воедино. Смех и во внешних своих проявлениях служил у него индикатором чувства, жизненной и поэтической силы, совпадал непосредственно с делом сочинительства и формо-творчества. Все его душевные струны, будь они мрачными или лирическими, соединяются с комическим нервом, который неизменно подмешивается в его творческие вздохи и слезы. В этом смысле смех у Гоголя глубиннее и многомернее слез, пускай последние составляют иногда потаенный подвал для смеющегося фасада, — под подвалом, на глубине, Гоголь всё равно смеется. Смех у него и сверху и снизу, на виду и в недрах земли. И если «сквозь видный миру смех» он различал «незримые слезы», то сквозь слезы его доносится еще более дальний, бездонный и неведомый миру смех — чуть ли не с сотворения света.

К творчеству Гоголя, как к никакому другому художнику, приложимо эзотерическое учение о сотворении мира всевышним и жиджительным смехом богов. Обрывки подобного рода мифов сохранились на папирусах от начала нашей эры в гностических, по преимуществу, списках.

*«Семь раз рассмеялся Бог, и родились семеро охватывающих мир богов. В седьмой раз рассмеялся Он смехом радости, и родилась психе...»*

*«Бог засмеялся, и родились семь богов, которые управляют смертью... Когда Он засмеялся, появился свет... Он засмеялся во второй раз, всё стало водой. С третьим раскатом смеха появился Гермес...»*

(Не слышатся ли отзвуки всеильного смеха в шестидневном ветхозаветном рефрене: «И увидел Бог, что это хорошо»?..)

Художественная космогония Гоголя всегда означена приливами смеха как жизнетворческой энергии или, иначе сказать, нисхождением смеющегося духа в материю, оживающую под действием нежных прикосновений: «засмейся!» Начав литературную деятельность в скромной роли сельского клоуна или рыжего у ковра (Рудый Панько), Гоголь очень

скоро открыл в природе мира и человека столько поводов для смешного, что оно у него пробудилось в силу живительную, космогоническую и, разлившись повсюду, наполнило землю бесчисленными вещами и тварями, возникающими из смеха и вступающими в поток широкого баснословного действия, которое, пользуясь обломками быта как строительным материалом, дворяет порядок всеобщего и взаимного пересмеивания.

*«Чудно устроено на нашем свете! Всё, что ни живет в нем, всё силится перенимать и передразнивать один другого» («Ночь перед Рождеством»).*

Юмор универсален как стихия существования и, подобно свету, несет означенность и проявленность формы. Контурь космоса, физиономика жизни обнаруживаются у Гоголя словно в трепете и мимике смеющегося свыше лица, подобно солнцу распространяющего лучи смешного по мирозданию, которое благодаря им и вырастает и образует собой комическую гармонию. Склоненный над рукописью автор, как верховное божество творимого из-под его пера микромира, вступает в таинственную игру с оживающими фигурами, сплошь состоящую из шутивного подбадривания или подтрунивания и воспроизводящую на бумаге священное лицедейство создателя, его мимическую активность, отраженную в зеркале текста. Авторские переживания в этом процессе миротворения напоминают часы переписывания у Акакия Акакиевича. Представим на минуту, что буквы, которые тот вдохновенно выводит, суть герои и события сцены,— и мы получим подобие Гоголя, подобие Бога, создающего свет раскатами благодатного смеха.

*«Мало сказать: он служил ревностно, нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его».*

Гоголь засмеялся, и двери у старосветских помещиков запели на разные голоса, и каждая обрела свою повадку, характер. Гоголь засмеялся, и в городе под аккомпанемент ревизора началось столпотворение (комическое сотворение мира)... Есть что-то волшебное, чудодейственное в его способности извлекать с помощью смеха дивные звуки и забавные гримасы из инертного вещества, которое, стоит подмигнуть ему, высовывает ответно язык, кажет нос, одушевляется

и принимается за дело на правах независимой личности. Общее место обращается в живописную панораму, и какая-нибудь образина, струящаяся живыми утрями, в извилистых и колеблющихся, как от сдавленного смеха, приметах, глядит оттуда, где только что всё было ровно и голо. Всё не стоит на месте. Всё кривляется. Всё дрожит и смеется. Сотрясения смеха, подобно геологическим переворотам, кладут начало новой картине мира.

Соответственно в облике Гоголя-комика проступают черты колдуна. На ум приходит сравнение — колдун в «Страшной Мести», вороживший над темным горшком с волшебными смесями-специями, корча рожу, как Акакий Акакиевич над листом канцелярской бумаги, пока на позывные гримасы не подавало весть о себе чье-то лицо...

*«И мне приходит в голову мысль: нет ли связи юмора с колдовством? Ведь почему-то Гоголь, показав самое смешное, изобразил и колдовство» (Алексей Ремизов «Огонь вешей»).*

Несомненно, такая связь, и притом обоюдная, существует. Комик — добрый колдун. Колдун — злой комик. Смех и колдовство не только тесно соседствуют, но переходят одно в другое. Гоголь любил и стремился изображать колдовство, потому что в природе Гоголя было что-то от колдуна. Гоголь, пугающий страшными сказками, вызывающий нечисть и невидаль, — прямое следствие той необыкновенной смешливости, что служила ему энергией в процессе чародейства — художества.

В конце концов, каким он будет, этот новоявленный свет, — смешным или страшным, — на первых порах не так уж важно. Но, чтобы появился, необходимо рассмеяться вначале и, рассмеявшись, вызволить образ из мертвого моря материи, расшевелить и взбудоражить ее немую поверхность, на наших глазах покрывающуюся рябью чудесных ужимок, подмигиваний, пертурбаций. Лишь в ходе метаморфозы дается осознание формы. Образ приходит как знак свершившегося преобразования. В отличие от божества, творящего из ничего, художник имеет дело с кое-каким достоинием, нуждающимся в перевороте для большего правдоподобия и конструктивной прочности предположенного проекта. Смех исполняет работу по переворачиванию вешей ради воссоздания образа. Метаморфичность смешного оказывается ферментом писательского пера. Художник, смехач и колдун суть разные заголовки единого руководства по сотворению мира.

Известно, что простейший комический трюк заключается в том, что кто-то внезапно становится вверх тормашками. С этого трюка, можно считать, и начинается Гоголь, взявший смех в абсолютном, вселенском его содержании и перевернувший вверх дном нашу грешную землю. Тогда она объявилась его великолепным творением — блаженной, обетованной землею искусства. В «Сорочинской ярмарке», едва его первый писательский «воз с знакомыми нам пассажирами» въехал на мост и «река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними», читаем:

*«Небо, зеленые и синие леса, люди, возы с горшками, мельницы — всё опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну».*

Таков юмор Гоголя — любовь в нем вторит смеху и опрокинутая действительность кажется небом, в котором всё, стоя на голове, настраивает на возвышенный лад, смешит и восхищает, запечатленное в странном ракурсе и мигот перешедшее в образ оформленного уже совершенства. Но не таков ли в принципе и всякий образ искусства, всегда опрокинутый, перевернутый по сравнению с жизнью и поэтому сияющий в нашем сознании как зримый, реальный сюжет полноценного существования, который одновременно возвышает природу до неба и углубляет до дна ада, струясь голубою кровью в подводном сумраке света, как тот свет существ и вещей, во всем подобный нашему и вместе с тем совсем иной, непохожий, тот и вместе не тот, как смех, исторгающий образ из тьмы небытия, сообщающий ему душу и тело путем перевернутой, мгновенно явленной формы?.. Только у Гоголя этот иероглиф искусства написан яснее, размашистее и стал производственной маркой гоголевских изделий, которой он метит натуру где надо и где не требуется, вводя перевертни и оборотней куда попало, в открытую, с азартом, с наслаждением, не думая о последствиях и алча новых чудес. Гоголь переворачивает мир уже просто для того, чтобы его лучше увидеть и схватить с интенсивностью светового пучка, населяющего пустыню в мановение ока сонмом невесть откуда понабежавших созданий.

*«Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очертяных крыш, дерев и развешанного на дворе платья, всё только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет».*

Это сказано походя, между делом, безо всякой причинной связи с ссорой Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Просто Гоголь, идучи по объявленному адресу, не мог не воспользоваться моментом и не перетряхнуть в затемненной комнате свой короб, чтобы лишний раз учинить всеобщий переворот. Для этого у него придуман на скорую руку даже особый оптический прибор с точным указателем, в какое отверстие, откуда и зачем вставляются диапозитивы. Помимо основного эффекта — перевернуть, чтобы всё собрать в кучу и ярко увидеть, юмористический этот прибор создает массу удобств, обращая скучные будни в радужный праздник красок и в то же время набрасывая на всё не идущий к обстановке, но приятный автору колер — чудный полусвет. (А еще говорят, будто он немилосердно скучал в этой пошлой истории!..)

В «Принцессе Бромбилле» Гофман излагает теорию, очень близкую комической практике Гоголя. А именно, в действие этой повести он вводит озеро Урдар, чудесным образом разлившееся из таинственной призмы доброго мага Гермоды. То озеро, поясняет Гофман, есть не что иное, как юмор, «по шальным трюкам которого мы узнаем свои собственные и — да будет мне разрешено воспользоваться столь дерзким словом — шальные трюки всего сущего на земле».

Король Офиох и королева Лирис просыпаются от зачарованного сна и спешат к новорожденному источнику.

*«Они первыми заглянули в воду. И когда увидели в его бездонной глубине опрокинутое отражение сияющего голубого неба, кустов, деревьев, всю природу и самих себя, им показалось, что с их глаз спала темная пелена и им открылся новый дивный мир, полный жизни и радости: с познанием этого мира в душе их зажегся такой восторг, какого они никогда еще не изведывали. Они долго всматривались в это озеро, затем поднялись, поглядели друг на друга и... засмеялись, если можно назвать смехом физическое выражение сердечной полноты так же, как торжество победы душевных сил. ...И, засмеявшись столь необычно, оба они в один голос воскликнули:*

*— О, мы были на чужбине, пустынной, негостеприимной, во власти тяжелых снов и проснулись на родине. Теперь мы узнаем себя, мы больше уже не осиротелые дети!*

*И они упали друг другу в объятия в порыве самой горячей, искренней любви».*

Вот куда приводит комическое перекувыркивание! Смысл этой истории весьма прозрачен и довольно поучителен. Переворачивающий смех восстанавливает картину

природы в обновленном и целостном образе искусства, неся человеку примирение с жизнью и душевное просветление. Типично гоголевский комплекс, ищущий в юморе место встречи многих и разнообразных чудес (вплоть до того, что восторг и любовь объявляются наследниками смеха), в сказке Гофмана налицо. Призма мага Гермода подводит ученый итог устремлениям Гоголя-комика, завершившихся «Ревизором». Максимальная программа комического в этой пьесе была достигнута, сопровождаемая примерно такими же, возвышающими душу эмоциями. Колдовские чары искусства дошли до края действительного и произвели ревизию по всей России...

Но здесь же у писателя начинаются неприятности. Переворачивающие свойства комического без компромиссов требуют, чтобы всё, что наверху, опрокидывалось вниз головой, отчего возникает невольное покушение на государственные инстанции. Пока дело касалось земли вообще и природы всего живого, ему сходило с рук. Но невинные трюки с переворачиванием вещей попадают опасным скандалом, едва очередь переворота доходит до городничего.

*«За такую бы комедию тебя бы в Нерчинск!..» («Театральный разъезд»).*

«Ревизором» Гоголь, в сущности, не хотел никого обижать. Но от удовольствия опрокидывать и переворачивать действительность он, как художник, тоже не мог отказаться. Причем по закону комизма в смешное положение обязан попадать не какой-нибудь мелкий грешник, какому и падать некуда, настолько он низко стоит, но власти и лица достаточно высокого ранга. В шуты должен выйти Король Лир. Чем выше и шире чины забирает юмор, тем лучше и для искусства, и для примирения и просветления, какое сулит оно зрителю. Уж если собрать всё великое на земле и разом над всем посмеяться, то, ждать надо, настанут блаженные времена. Замахивающееся на князей человеческих, комическое искусство стоит у врат рая... Так Гоголь, не думая ни о чем плохом, произвел подкоп «Ревизором» и сам же попал «Ревизору» в капкан — в подрыватели чинов и устоев.

Впоследствии он долго выпутывался, доказывая, во-первых, что светлый смех его комедии возвышает и примиряет, внушая любовь даже к носителям зла<sup>1</sup>, во-вторых, что

---

<sup>1</sup> В «Театральном разъезде» (1836 г., 1842 г.):

*«Нет, несправедливы те, которые говорят, будто возмущает смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Многое бы*



этот смех общественно полезен, возбуждая ужас, негодование и поднимая на борьбу со злодеями<sup>1</sup>. Концы с концами, мы видим, не сходятся. Во втором пункте исчезает уже широкая и добрая трактовка смеха и появляется несвойственный комедии Гоголя, но приобретенный им позднее сатирический урок. Такой жесточести у него в пору создания «Ревизора» не наблюдалось (и поэтому первый пункт оправдания, представляется, ближе к истине).

Но сколь бы ни был светел и примирителен (или, напротив, полон терний и гнева) этот смех, всё равно он расходится с жизнью в более обширном размере и отсюда необходимо подвергается подозрению со стороны властей держащих и всякого практического, здравомыслящего человека. Смех как таковой не может ужиться с действительностью в ее привычках, обычаях, в ее солидной и серьезной размеренности. Как это переворачивать, к чему бы опрокидывать, если всё в этой жизни стоит на своих двоих! Куда ни крути комедию Гоголя — в сторону ли просветленных восторгов или, пользуясь запоздалой рекомендацией автора, на путь искоренения зла, в последнем счете всё кончится той же возмутительной репликой, что и в далекой от общественных страстей и государственных интересов повести «Нос»:

*«Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы».*

Потому что смех, тем более достигший таких степеней, как это произошло в «Ревизоре», есть нарушение всяких порядков, выработанных жизнью в глухой и упорной борьбе, всякой стабильности в мире, и, не покушаясь ни на какие подковы, сам по себе заключает уже что-то социально-опасное. Всё в нем не то и не так. Уже потому, что он смеется, когда мы плачем, художник проклят, с ним жить нельзя, с ним можно лишь изредка развлекаться, отводя ему место шута, либо прихочивая к какой-нибудь полезной работе. Но и на этих ролях он будет делать всё невпопад, чтобы вышло не по-нашему, а как смешнее, и плакать на свадьбе,

---

*возмутило человека, быв представлено в наготе своей; но, озаренное силою смеха, несет оно уже примиренье в душу. И тот, кто бы понес мщение противу злобного человека, уже почти мирится с ним, видя осмеянными низкие движенья души его».*

<sup>1</sup> В «Развязке "Ревизора"» (вторая редакция, 1847 года):

*«Его дело изобразить это темное так сильно, чтобы почувствовали все, что с ним надобно сражаться, чтобы кинуло в трепет зрителя и ужас от беспорядков пронял бы его насквозь всего»*

и смеяться на похоронах, и сотрясать воздух переворачивающимися раскатами. Искусство уже в семени, в сотворении образа, конфликтно с образом человеческой жизни, хоть смех его не со зла, но от полноты сознания, что всё в этом мире прекрасно и необычайно. Искусство преступно по природе своей, жаждающей не уклада, не быта, но исключений и нарушений. Без них ему, видите ли, не сидится и не пишется, и, сколько ни пытаются авторы соблюсти приличия, уже по числу страниц, отведенных в искусстве убийству и смуте, обманам, подлогам и всяческим непорядкам, понятно, куда оно клонится...

Но что там должностные лица и государственные устои, потрясенные комедией Гоголя! «Ревизор» перевернул душу своего создателя, вырвав с корнем его из писательского гнезда, из самой купели смеха, в которой он так окопался, что, казалось, был застрахован от опасностей своей же стихии, и вот был ею сметен, перевернут и выброшен, как рыба на берег, на всеобщее посмеяние. После «Ревизора» Гоголь не мог смеяться. Точнее, он делал это уже остатками прошлых своих сотрясений. Смех «Ревизора» его парализовал. Начало паралича ощутимо уже в немой сцене, увенчивающей комедию. Едва Городничий произнес: «Чему смеетесь? — Над собой смеетесь!..», в развитии комического как бы наступил пароксизм, и, когда, вволю насмеявшись и отхлопав ладоши, мы вновь взглянули на сцену, то с ужасом обнаружили среди застывших фигур автора всемирной комедии. Он больше не смеялся, но словно замер с искаженным от окаменевшего смеха лицом в какой-то неестественной позе. Наконец, сясь побороть нашедшее на него с «Ревизором» оцепенение, Гоголь выставил перед всеми свою «внутреннюю клеть» с приглашением убедиться в его честных намерениях. Когда откинули крышку, там на корточках, как собака, тоскливо озираясь по сторонам, испражняется на тротуар, скрючившись, сидел Городничий (ситуация эта отчасти предвосхищена в «Коляске»).

*«...Когда выставишься перед лицо незнакомых людей, перд лицо всего света, и разберут по нитке всякое твое действие, всякий поступок...»*

Это он в «Авторской Исповеди» репетирует монолог Городничего. Словно чары его прежнего смеха не исчезли, но обратились против него, бывшего своего управителя, увлекая на дно позора, на роль клоуна понсволе. Напрасно взывал, упреждал он, препоручая даже Чичикову выяснение отношений: «— Ваше превосходство, ведь смех этот выдума-

ли слезы...» Слезам его не было веры, но всюду свирепствовал смех, выпущенный им из темницы на волю в его комедии.

*«...Он вдруг показался перед всеми Бог знает в каком виде...»*

Ситуация «Ревизора» странным образом претворялась в судьбе Гоголя. За нею еще громаднее и непостижимее зияла судьба колдуна из «Страшной Мести», которому всё казалось, что над ним смеются, пока этот вызванный, может быть, его же чарами хохот не вошел в него и не вывернул наизнанку, сойдясь с образом смерти.

*«Как гром, рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши всё, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотом по сердцу, по жилам... так страшно отдался в нем этот смех!»*

Смех всегда носится где-то между светом и смертью, и оба его полюса представлены в образе Гоголя. Самый веселый писатель кончил приступом хохота, от которого недалеко уже было до предсмертных конвульсий. Многолетний стон и агония позднего Гоголя это какой-то перевернутый смех...

«Ревизор» переехал Гоголя, ревизовал его и перерезал пополам. В немой сцене, так ненатурально затянутой по авторскому замыслу, что ни один театр в мире не смог поставить ее в надлежащей протяженности, впервые закрадывается подозрение, что в этой комедии автор надорвался и машина остановилась. То есть она остановилась естественно, потому что пьеса кончилась и страх, сковавший ее обитателей, со вторым пришествием ревизора достиг апогея. Но сверх того она остановилась еще потому, что в самом творчестве Гоголя лопнул завод на этой высшей его ноте. Отныне всё смешное в себе и в окружающем мире он примется разрабатывать всерьез, повторяя в покаянных слезах: «Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!..» Не пора ли, однако, прослушать игру «Ревизора» по второму туру?..

Второй поворот серебряного ключа в «Ревизоре».

«Чрезвычайное происшествие!», «Неожиданное известие!» — с этим восклицанием, как мы знаем, врываются Бобчинский с Добчинским, чтобы, поддав жару, настроить действие еще больше на фантастический лад, с первых же слов обрисовывающее экстраординарный абрис событий,

которые произойдут не по закону привычной инерции, как это в жизни бывает, но сплошь по чудесной канве невероятного и неожиданного. Уже две крысы во сне Гордничего, как три ведьмы в предьстории Макбета, — «две необыкновенные крысы», «неестественной величины!» — вводят оттенок исключительности и чуть ли не сверхъестественности случившегося, который затем стунится и пройдет каким-то течением через всю пьесу: «Да, обстоятельство такое необыкновенно, просто необыкновенно», «таков уж неизъяснимый закон судеб», «непредвиденное дело», «ход дела чрезвычайный», «необыкновенное счастье», «беспримерная конфузия» и т. д. По размерам удивительного «Ревизор» не уступит сказочным произведениям Гоголя, даром что история, в нем представленная, не отвлекается от действительной почвы и обыденной среды городка, каких тысячи в России. Но такова опрокидывающая сила смеха, такова, конкретно, магическая роль «ревизора» в комедии Гоголя, что она, сохраняя земные черты, откалывает номера, граничащие с миром фантастики.

Однако, присмотревшись внимательнее к ее составу, можно заметить далее, что воцаряющиеся на сцене с первым известием о ревизоре невероятная суэта и хаос имеют на примете не только удивить и насмешить зрителя, но также возвести перед ним стройный город-космос, предложить законченный проект мироздания, в котором, хоть всё и нелепо, всё вместе с тем гармонично, осмысленно и строго поставлено на свое место. Как в музыкальном ящике кукольные фигурки не просто оживают под веселую мелодию, но исполняют подобие танца, движущегося парада и, даже во всем напоминая людей, остаются куклами со своим расписанием, со своей организованной механикой и дистанцией, так в «Ревизоре» самый беспорядок есть порядок навыворот и переворачивающая стихия комического служит созидательной силой, позволяющей говорить о строительстве города в условиях разброда и паники его обитателей. Не зря судья Ляпкин-Тяпкин в согласии с именем своим (тяп да ляп) любит порассуждать о столпотворении, а также о сотворении мира. Обе эти идеи сходятся в создании города. Там господствует смешение языков, сумбурные проекты и поспешные решения навести порядок, которые, хотя и не увенчиваются успехом, вводят нас в состояние лихорадочного градостроительства, ясно обрисовывая контуры территории с ее уездным ансамблем. Пускай от всей Вавилонской башни сохраняется одна соломенная вежа, какую предполагают поставить на месте несбывшегося сооружения — «чтобы было

похоже на планировку». Она в перевернутом виде даст понятие о размахе работ, заполняющих пустое пространство и непостроенной церковью у богадельни, и исконною будкой, где продают пироги, тюрмой, трактиром, неметеными улицами с беспробудно спящим на них полицейским чином, и — в увенчание картины — истинным символом столпотворения, колоссальной горою мусора возле памятного забора.

Перебирая мысленно шедевры мировой драматургии, я не могу подобрать другого, подобного «Ревизору», творения, где бы столь же широко и подробно был освещен какой-нибудь город, притом не с помощью декораций, но исключительно атмосферой произносимого в комедии текста, не на улице, но в обстановке закрытого помещения, — в маленьких комнатах «Ревизора» больше городского воздуха, чем в любой постановке на площади. В виде прецедента, пожалуй, стоит упомянуть лишь грибоедовскую Москву, представленную, однако, всецело человеческой коллекцией, а не городом в собственном смысле с его улицами и постройками. Всё же «Горе от ума» для Гоголя могло послужить удобной зацепкой в изображении знакомой среды при посредничестве заезжего гостя, перед которым аборигены выстраиваются в экспозицию, требующую авторского внимания и широкого представительства<sup>1</sup>. Именно приезд «ревизора» оказался поворотом ключа, которым Гоголь без проволочек отмыкает запоры города, с тем чтобы тот наполнил сцену своими формами и пропорциями, как бы выказывая себя отчужденным очам иноземца, а вместе с ним и всей изумленной публике. Посмотрите, как следом за прибывшим Хлестакова начинают в интерьерах играть окна и двери с незримым, но явственно ощутимым за ними пространством уездных пустырей и улиц с убегающими по ним и приближающимися фигурами, с делегациями сословий, петиций, с городской пылью и, кажется даже, с прилегающими полями, по которым травлено столько зайцев. Словом, в присутствии «ревизора» город обращается в мир, подлежащий обозрению, со своим колоритом и ареалом.

Соответственно персонажи комедии обращаются в локальные символы не только общества, здесь проживающего, но собственно города и принимают в его построении живое

---

<sup>1</sup> Отзвуки «Горя от ума» могли ненароком сказаться и в ряде других примет «Ревизора»: так, Держиморда, возможно, произошел от Скалозуба, «горе от ума» сменилось «счастьем от безумья», а объявленный сумасшедшим Чацкий в роли Хлестакова сам явился причиной всеобщего сумасбродства.

участие. К ним применимо распоряжение, сделанное впопыхах Городничим в восполнение архитектурных пробелов: «Квартальный Пуговицын... он высокого роста, так пусть стоит, для благоустройства, на мосту». Все они созданы, помимо человеческих определений, как бы для благоустройства города. Они и люди, и в некотором роде воплощенные заведения, олицетворенные дома и участки, образующие в целом планировку уездного города — Почта, Суд, Больница, Училище... Недаром за ними так часто просматриваются отведенные под них помещения с подобающими коридорами, жилыми запахами, вещами. Арапник, висящий в судебном присутствии, обличает в Ляпкине-Тяпкине завязатого охотника и собачника, но тот же арапник уместен в суде как знак государственной охраны и кары (заменяет меч правосудия).

Персонажи «Ревизора» крепко привязаны к исполняемой должности и, соответственно, к месту в городе. Место красит человека, и тот выступает по преимуществу в своем локальном определении, проникаясь специфически местными приметами и интересами. Попечитель больницы Земляника является в сопровождении лекаря, Почтмейстер занят чужими письмами (он и взятку готов подsunуть испытанным почтовым способом: «вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие») — в своем психо-физическом статусе они устойчивы, конструктивны, представляя что-то среднее между характером и пародией на занимаемый в городе пост. Им не чуждо ничто человеческое, но человеческое в них проявляется в топографическом начертании, при всей причудливости и затейливости отвечая строго на тему, где кому надлежит стоять на карте уездного мироустройства. Куда бы ни уводила их страсть и фантазия, они верны своим орбитам. Кому как не судьбе, прикиньте, возглавлять охоту на зайцев? Его хобби восполняет его служебные привилегии.

«— А Держиморда где?

— Держиморда поехал на пожарной трубе».

Это сказано с такой окончательной, припечатывающей основательностью, что сама гармония фразы мнится точной копией места, отведенного Держиморде под солнцем (где ему быть еще, на чем ему ездить, если не на пожарной трубе?..)

Локальный принцип распространяется на всех туземцев, отчего вырастающий из города космос обретает завидную прочность. Даже о лицах, нам не показанных, лишь случайно упомянутых, мы составляем предельно четкое и законченное

представление — опять-таки в неизменной системе городских координат. У Авдотьи, как полагается слабому полу ее хозяек, — «в голове чепуха, всё женихи сидят» (пусть неизвестной Авдотье хоть пятнадцать, хоть семьдесят лет — прилагая характеристика рекомендует рикошетом Анну Андреевну и Марью Антоновну). Устойчивый (местный) признак лица многократно повторяется либо варьируется близким ему и окружающим персоналом. Так, жена трактирщика Власа, по трезвому рассуждению Бобчинского, «три недели назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир». В результате трактир с трактирщиком с места не сдвинешь — двойным скреплением дети, подпирая родителей, стабилизируют композицию. Завоеванное место на дрожжах Добчинский удостоверяет в потомстве — дети в «Ревизоре» растут верной сменой своих отцов:

*«Мальчишка-то этакой... большие надежды подает... и, если где попадется ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник-с...»*

В целом образный строй комедии себя же бесцельно воспроизводит...

Исключение из правил составляет Хлестаков, ни к чему не привязанный в мире, беспочвенный, вздорный и порхающий с места на место, с темы на тему, словно какой-то мотылек. Его подвижность, контрастирующая с постоянством местной системы, которую он вызвал к жизни и утвердил своим появлением (ибо вся она открывается и реализуется в его близости), позволяет экспонировать город в разнобразии поворотов, разбивающих живописные группы вокруг бессменного корифея. Но и Хлестаков, при всей непредсказуемости своего поведения, входит непреднамеренно в поджидавшую его роль ревизора и с поразительным постоянством ее ведет и выдерживает. Его натура и сопутствующие обстоятельства случайного пребывания в городе служат предпосылкой к тому, чтобы он вознесся в искомое инкогнито, не желая этого и не подозревая о том, какое место ему уготовано. В этом отношении Хлестаков столь же вечен и неизменен в должности, какую суждено занять ему в пьесе, войдя, таким образом, в миропорядок, к которому он как будто сначала не имел никакого касательства. Но еще до того, как кто-то заподозрил в нем ревизора, Хлестаков ведет себя по видимости как ревизор, с голодным интересом заглядывая в чужие тарелки или в никчемных распросах заискивая перед трактирным слугой («Ну что, как у вас в гостинице? хорошо ли всё идет?..») и т. д.). Будто какой-то

рок или чорт подстраивает так, чтобы Хлестакова приняли за ревизора, а в искусстве франтить и надувать щеки он и сам горазд. Ведь сразу по приезде в город он, «как нарочно, задал тону и перемигнулся с одной купеческой дочкой», то есть в эмбрионе разыграл последующие сцены комедии. Он заранее созрел для того, чтобы дураком сойти за высокого гостя, вертя в голове идею прикатить в деревню «этаким чортом» и все переполошить, что и исполнилось вскоре в переполошенном его прибытием городе. Словом, Хлестаков, как и прочие персонажи, многократно воспроизводит себя, почему его вхождение в роль протекает без сучка и задоринки. Ему не приходится ни хитрить, ни обманывать. Ему достаточно быть собою.

*«...Он почувствовал простор и вдруг развернулся неожиданно для самого себя... Он даже весьма долго не в силах догадаться, отчего к нему такое внимание, уважение. Он почувствовал только приятность и удовольствие, видя, что его слушают, угождают, исполняют всё, что он хочет, ловят с жадностью всё, что ни произносит он... Темы для разговоров ему дают выведывающие. Они сами как бы кладут ему всё в рот и создают разговор» («Предупреждение для тех, которые пожелали бы сыграть, как следует, "Ревизора"»).*

Итак, город сам сотворяет себе «ревизора» в лице Хлестакова, пользуясь его пустомыслием, в то время как «ревизор» Хлестаков сотворяет город, приводя его в состояние растерянности и мобилизационной готовности. Они взаимодействуют, «ревизор» и «город», и не могли бы обойтись один без другого, будучи совместно творцом и творением друг друга. Стоило Хлестакову разоблачиться в прощальном письме, как город рассыпается, предаваясь самобичеванию и взаимным обидам, попрекам, пока появление нового, подлинного ревизора не останавливает распад, вновь создавая ансамбль — Вавилонскую кучу мусора. Кстати, в немой сцене город в последний раз демонстрирует себя как архитектурный проект, иерархическое построение, где все персонажи служат сочленениями единого тела с центральным столпом композиции в виде Городничего и расположенными попарно колоннами и косяками его оближайших сподвижников. В этой оглушенной и застывшей фреске до конца доводится принцип стабильности и конструктивной завершенности, который дает себя чувствовать на протяжении всей комедии с ее бесчисленными рекогносцировками. Персонажи только и знают, что перестраиваются, отчего здесь царит дух парада



и демонстрации, сообщающий сцене образ мироустройства с подобающими случаю моделями и маневрами. Оттого-то в комедии Гоголя не покидает нас ощущение какого-то странного танца, во время которого персонажи не просто приходят и уходят, но соблюдают ритуал, этикет, отдавая бездушно внимания, кому за кем идти и с какой стороны находиться, совершая не столько поступки, сколько телодвижения, всевозможные повороты и пируэты.

*«...Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут... Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу!.. А вы — стоять на крыльце и ни с места!.. Не нашли другого места упасть!.. Прошу садиться... Отчего ж вы отодвигаете свой стул? Для чего ж близко? всё равно и далеко. Отчего ж далеко? всё равно и близко... Имею честь представиться... Имею честь поздравить!.. Анна Андреевна! (Подходит к ручке Анны Андреевны). Марья Антоновна! (Подходит к ручке Марьи Антоновны)...»*

Какой-то кордебалет, а не пьеса — непрерывная манифестация места и строя. Причем повторяющиеся жесты и фразы, будь то единообразная манера чиновников аттестовать себя или шаблонный способ Хлестакова занимать деньги и объясняться в любви, усугубляют чувство ритмического единства, благодаря которому движущиеся группы сохраняют устойчивость в самых нелепых и рискованных положениях.

*«Маменька, папенька сказал, чтобы вы... Ах, какой пассаж!»*

Не пассаж — а очередная фигура, танцевальное па...

По мере того, как цена «ревизора» стараниями города неуклонно возрастает, город в свою очередь приобретает всё большую стройность и закругленность в очертаниях и всё увереннее воспроизводит себя. Именно «ревизор» Хлестаков вколачивает последний гвоздь в созданный порядок вещей, раздаривая направо-налево благосклонное словцо «хорошо» в роли творца и хозяина новообретенного космоса.

*«— ...Как их зовут?»*

*— Николай, Иван, Елизавета, Мария и Перепетуйа.*

*— Это хорошо».*

*«— Что, как ваш нос?»*

*— Слава Богу! не извольте беспокоиться: присох, теперь совсем присох.*

*— Хорошо, что присох. Я рад...»*

«— ...законным моим сыном-с и назывался бы так, как я.  
Добчинский-с.

— Хорошо, пусть называется, это можно».

«— ...живет Петр Иванович Бобчинский.

— Очень хорошо».

Милостивым признанием Хлестаков узаконивает город и возводит его на вершину мыслимого успеха и славы. Но, вверяясь ему и словно оживая в лучах восходящего всё выше светила, город подготавливает свой бесславный конец и накликает на свою голову нового ревизора. Комедия Гоголя, как многоступенчатая ракета, выделяет и отбрасывает одного ревизора за другим, причем каждая ступень, исчерпав себя, порождает следующие и сообщает движение всей постройке. Ревизор ожидаемый (в письме Чмыхова) служит ступенью для введения в действие мнимого ревизора Хлестакова, чье длительное пребывание на сцене дает толчок к появлению сразу двух ревизоров — приехавшего в конце правительственного чиновника и обещанной комедии Гоголя «Ревизор», предвестие и черновой очерк которой содержится в письме Тряпичкину, сводя с ума Городничего перспективой всемирного суда и позора. Вдобавок, прибывшее из Петербурга по именному повелению лицо несет на себе отсвет грядущей комедии Гоголя, и оба «ревизора» — объявленный жандармом и обещанный бумагомараккой — объединяются в нашем сознании в фигуру неизбежной расплаты. «Ревизор» ничего не производит, кроме «Ревизора».

Между прочим, приезд правительственного чиновника в конце комедии как свыше ниспосланные кара и справедливость потому и не воспринимается натяжкой, придуманной автором в финале для исправления содеянного зла, но вписывается органически в пьесу и вытекает из нее с неуклонностью рока. Здесь столько «ревизоров», что один из них должен же быть настоящим. Здесь так много и долго хлопочут вокруг его приезда, так старательно воссоздают его облик из ничего, что он наконец прибывает собственной персоной, материализуясь из самого воздуха комедии. Рука правительства, пославшая его, чтобы унять достигшее Геркулесовых столпов беззаконие, лишь внешняя и далеко не главная его мотивировка. Он неизбежен по внутренним причинам, обусловленный движением гоголевского текста. Речь идет прежде всего о фатальном развитии самого слова «ревизор». Столько раз перевернувшее всё и поставившее вверх тормашками, произведя этим всё, что мы находим на сцене, оно в итоге имеет только одну вакансию — последнего пере-

ворота, возвращающего к действительности, к нормальному, на двух ногах, положению, и поэтому кладет предел искусству и ставит точку в развитии пьесы. Но если торжество справедливости в мире как вмешательство высшей силы есть чудо, то и чудо здесь обеспечено — смехом. Deus ex machina? Возможно. Но машиной послужила вся длительная цепь превращений, образующая тело комедии...

Два ревизора. Два письма. Две крысы. Две дамы — Анна Андреевна и Марья Антоновна. Они меняются местами, вынуждая Хлестакова два раза вставать на колени. Две бабы — унтер-офицерша и слесарша. Два Петра Ивановича, Бобчинский и Добчинский (как два клоуна Бим и Бом), — перебивая друг друга, селятся дважды произнести одно и то же слово. (С этих двойняшек-коротконожек и начинается повальное безумие-раздвоение, они-то первыми и выпускают «ревизора» в город...) А если приглядеться, то и больше и дальше — одни близнецы, двойники: Осип дублирует Хлестакова, у Городничего с Хлестаковым тоже внезапно проскальзывает необыкновенное сходство... Местами удваивание придает локальную плотность образу рисунку, он как будто тверже устанавливается на земле, помноженный на два, но вскоре от тех помножений рябит в глазах и кружится голова... Удваивание вносит в события сомнительное, двусмысленное. Герои не живут, а передразнивают и отражают друг друга, размножаются, расподобляются, исчезают. Контуры тел расплываются, дрожат, речи и лица в ходе повторений кажутся эфемерными, зыбкими, всё подозрительно, непостоянно, и мы погружаемся в море мнимых чисел, иррациональных величин.

С двойниками обман и мираж отворяют двери на сцену. Здесь нет ничего надежного. Ложь принимают за правду, а когда говорят правду, то подозревают обман. Боятся друг друга, когда нет оснований бояться, и друг на друга уповают, когда не на что уповать. В тумане уже не разберешься, кто на чем стоит и чему соответствует, все они друг другу соответствуют, два сапога пара, и смех усиливается, уже ничего не созидая, не строя никаких городов, но в означенном иллюзорности и города, и ревизора. Всё всегда способно обернуться не тем. Кто такой Хлестаков, Городничий? Не знаем. Это мнимости, призраки, водящие друг друга за нос. В их реальное существование трудно поверить. И когда они говорят: «я сам, матушка, порядочный человек», мы смеемся — не потому, что это произносит подлец, а потому, что всё он выдумал, а на самом деле вообще ничего нет и неоткуда взяться тут чему-то порядочному. Они ходят как бы по краю небытия, и, когда окаменевают под конец в немой сцене, это

для них нормально, их не было и не будет, они только снились себе.

Городничий? Полно шутить. Какой же это Городничий? «Так всё и припрятываешь в лавке, когда завидишь». Да и кто он таков, не известно, если зовется Антоном, а именины справляет и на Антона и на Онуфрия. Может, его и нет совсем. И фамилия у него подозрительная для материального тела. Сквозник-Дмухановский. Поляк, что ли? Муха. Сквозит. Вот и у дочери его, по рекомендации матери, «вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове». У всех у них ветер. Дырки — а не люди. Лабардан, вздор какой-то. Как излюбленное словцо Хлестакова — «вздор». «Не прикажете ли отдохнуть?» «Вздор — отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть». Экий сквозняк. Вот и унтер-офицерская вдова, говорят, сама себя высекла. Бывает. Потому что вдова. Некому сечь. Впрочем, это слесарша, Пошлепкина. И муж у нее, оказалось, вор, хоть пока и не украл ничего, но всё равно украдет. Всё может быть. Зачем ей муж? Вот у Добчинского за душой только и есть, что дети, а дети, выходит, совсем и не его, а судьи Ляпкина-Тяпкина. «Все, даже девочка маленькая, как вылитый судья». Опять двойняшки?!

Между тем смех, не оставляющий камня на камне от всех этих построений, как-то высветляется, делается легче, свободнее. По мере того, как зло обнаруживает свое отсутствие, свою мнимую природу, нам становится легче на сердце и душа окрыляется сознанием добра и красоты, которые составляют истинную полноту бытия, ничем не омраченного, ничего не теряющего от происшедших здесь отступлений и нарушений, ибо все они недействительны, что дает нам ясно почувствовать оперирующий чистыми мнимостями и видимостями «Ревизор». Зла — нет. Это только кажется, что оно есть. На самом деле зло это только негативное оправдание добра, разоблачающее поминутно свою обманчивую сущность, нет, шкуру, ибо собственной сущности у него-то и нет, — стоит лишь засмеяться, и все поймут, что зло не имеет под собой решительно никакой почвы.

Гоголь был прав, когда убеждал, что на протяжении всей комедии действует одно честное и благородное лицо — смех. Можно добавить, что это единственно реальное лицо в его комедии, где прочие лица — фантомы, и потому он светел, и легок, и добр, этот смех, знаменующий полноту бытия и всяческое отсутствие зла. Он ни с кем не борется, никого не воспитывает, ничего не искореняет, серебряный смех «Ревизора». Если бы он искоренял, он бы относился к этому злу серьезно, был бы отягчен сознанием его реальности, мрачным

допущением, что зло действительно существует и, значит, требует неимоверных усилий для борьбы с ним, грозной решимости, злобной настойчивости. Он был бы совсем не тем, не таким, да и вообще не известно, был бы он смехом, если б кого-то всерьез искоренял. Всё это чушь собачья! Морок темных умов. Внушение самого чорта, что он есть в истинном смысле, чтобы мы, приняв обман за истину, взялись энергично кого-то искоренять и что-то перевоспитывать, а там, глядишь, и сами бы стали чернее чорта. Не поддадимся искушению и посмотрим на мир сквозь волшебное стекло «Ревизора», обнаруживающее, что зло имеет место только затем, чтобы, рассыпавшись смехом, продемонстрировать всему свету свою комичную призрачность. Увидев такое чудо, засмеемся, от всей души засмеемся, без задних мыслей, без оглядок на начальство, на нравственные задачи и политические прогнозы, и тогда зло исчезнет, вот увидите, оно исчезнет!

Если возможен на земле, влачащей в достаточной мере мнимое, злое существование, смех, исполненный святости и благодарности к Богу за дарованное счастье, смеясь, к Нему воспарять, то я осмелюсь сослаться прежде всего на смех «Ревизора». Этот смех, как молитва, воодушевлен добром и любовью уже не только к жалким козявкам, копошащимся где-то на сцене, но к чему-то более истинному, чем Городничий, Добчинский, Бобчинский... Разве это действительность? Мимо, мимо!..

Как-то так получилось, что смех в религиозном значении потерялся и не звучит уже в мире. Может быть, человечество настолько погрязло в грехах и несчастьях, что ему остается в молитве только оплакивать себя. Или ему открылся более верный, хоть и узкий, проход покаяния и отрешения от земных страстей, путь войны и разрыва с миром, смеяться над которым было бы слишком жестоко да и грешно для тех, кто надеется выскользнуть из его западни? Может быть, мы очерствели в жажде собственного спасения? Мертвы? Окаменели? Боимся испакостить ризы прикосновением к слишком на нас влиятельному праху? Или в самом деле Дьявол сошел на землю и взял в свои руки смех, и запасники ада пусты, оттого что всё воинство ходит между нами и покатывается от хохота?..

Так или иначе, но смех несет сейчас всё больше признаки низкого, чувственного удовольствия, отождествляется с пороком, развратом, и пользоваться им в священные часы было бы напрасным соблазном. Только искусство, обязанное смеху самим фактом существования, достигает в общении с ним иногда таких состояний, таких незнакомых обычному уху регистров и переливов, что доносит до нас словно голос

иных, забытых представлений о земле и о небе. Туманно и неясно всплывают времена, когда смехом оплодотворяли пашни, вызывали дождь, провожали покойников в наилучший мир. Смехом, случалось, распознавали и расколдовывали злого колдуна-людоеда, который никогда не смеялся, для того чтобы не показывать зубы с застрявшим там человеческим мясом. (Не потому ли злые надуты и не любят смеяться — смех раскрыл бы карты, обнажил бы живое лицо и, коль скоро оно поддельное, заставил бы согнуться, рассыпаться?..) Известны случаи, когда смехом рассыпали крепости и постройки, словно карточный домик, которые буквально разваливались вследствие чудесной вибрации, изобличая эфемерность земного владычества (эхом такого смеха смеется Пьер в плену у французов в «Воине и мире» Л. Толстого). Известен, наконец, особого рода священный «смех сквозь слезы», возносящий на небо душу избранной жертвы. Нашлась тетрадь с записью древних песен майя:

*«Смягчи свою душу, прекрасный муж, ты отправляешься на небо, чтобы увидеть лицо твоего отца. Тебе не надо возвращаться сюда, на землю, под опереньем маленького колибри или под шкурой прекрасного оленя, ягуара или маленького фазана. Обрати душу и мысль исключительно к своему отцу. Не бойся, нет ничего плохого в том, что тебя ожидает. Прекрасные девушки сопровождали тебя в твоём шествии от селения к селению...»*

*Смейся, смягчи хорошенько свою душу, потому что ты будешь тем, кто принесет голос твоих земляков нашему прекрасному владыке, находящемуся там, на небе...»* («Песни из Ц'итбальче»).

Современному уму трудно отрешиться от ужасного обряда, в котором с этой песней обращались к человеческой жертве, привязав ее к столбу и медленно расстреливая из луков, чтобы продлить страдания. Нам бы хотелось отправлять гонцов на небо менее кровавым путем. Но, исходя из психологии всех участников этой церемонии, следует признать, что жертва, осыпанная цветами и окрашенная в лазурь, добровольно отдающая себя в руки бога Солнца, расстававшаяся с жизнью смеясь и в смехе воспаряла и отождествлялась с богом, чей образ она на себе уже несла, будучи одновременно благодарным посланцем своего народа. В эпохи, когда к человеческой личности и к жизни в ее земной оболочке относились без предрассудков, когда бессмертие на земле почиталось величайшим несчастьем, ибо закрывало доступ в высший мир, подобные сцены воспринимались всеми как

нечто вполне естественное и благочестивое. Впрочем, нам нет нужды оправдывать дикие культы, об истинном смысле которых мы имеем смутное и искаженное понятие. Достаточно перевести эту песню, обращенную к жертве, в иносказательный план и принять, ну, хотя бы за притчу, чтобы от нее самой собой протянулись нити к искусству, притом в самом возвышенном и нравственном его понимании.

Ведь художнику, слава Богу, в наши дни не требуется привязывать себя к столбу и истекать кровью под чьи-то подбадривающие крики. Всё это он проделывает иносказательно, сидя в кресле, в удобном кабинете, и, принося себя в жертву, не теряет надежды, что он долго еще и увлекательно проживет в этом мире, и только благодарное потомство поймет и оценит его творческие страдания как величайший акт священного самопожертвования. И вот тогда оно, потомство, может быть с некоторым запозданием, но непременно споет:

*«Смейся, смягчи хорошенько свою душу, потому что ты будешь тем, кто принесет голос твоих земляков нашему прекрасному владыке, находящемуся там, на небе...»*

Как это похоже на Гоголя!.. Смех приоткрывается в нем в каком-то высшем, священном и жертвенном назначении. Причем самые слезы и страдания автора служат смеху подножием, чтобы глубже зачерпнуть тоскующую душу и, дойдя до дна, вознестись на крыльях ликующей музыки, подобной пению жаворонка в лазури. Исторгнутый из сокровенных глубин и достигающий в своих окончаниях как бы нездешних уже селений, смех теряет вес, истончается, перенимает вибрацию света, всепроницающего эфирного трепета, рождающегося на источниках жизни,— он становится свободным от обязанностей смеяться по какому-то внешнему поводу, заряжаясь грубым чувственным шумом, и парит высоко в небе в экстатическом славословии, готовый в любое мгновение перейти в торжественную литургию, в пророческие или скробные возгласы, или, описав круг, вернуться на нижние свои этажи, к простосердечной шутке, к человеческому несовершенству. Моменты переключения смеха на иную волну и тональность нетрудно засечь в тексте, но вместе с тем нельзя быть уверенным до конца, что в эту или другую минуту он вновь не объявится,— настолько всё здесь озвучено и высвечено смехом, настолько тот подвижен и гибок, способен перенимать далекие оттенки и облики, смыкаясь с иными чувствами и в них растворяясь, теряясь, с тем чтобы через мгновение опять вострепетать. Будучи душою и плотью самой поэзии Гоголя, смех обеспечивает подачу прочим

эмоциям, он выносит их на гребне, вводит в строй и выводит, резко меняя окраску речи, но оставляя за собою значенные движущей и направляющей тяги. Лирический восторг, пророческий пафос, свойственные Гоголю, непроизвольно подчас вытекают из комических его устремлений как их новая форма и нота и, оттесняя смех, сохраняют с ним дальнюю связь производного и духовно родственного слова.

*«Но зачем же среди недумующих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя: еще и смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо...»*

Подобная смена освещения и настроения обусловлена, в частности, тем, что смех у Гоголя не только полярен и контрастен по отношению к чувству возвышенного, но к нему же подводит и тянется, открывая доступ иного рода восторгам...

Возвышенный аспект смеха, сохраняющий притом за собою комическую чистоту и силу, которая лишь увеличивается, не порождая противоположных эмоций, не ломая ритма и стиля, представлен в «Ревизоре». Всё в этой пьесе, казалось бы, исключает лиризм и восторг, всё теснится в низине, отягощенное ложью и пошлостью, не давая воспарить и возвыситься, и тем не менее смех в «Ревизоре» каким-то непостижимым путем исхитряется подняться над долом, по образу взлетающего к небу фонтана, соприкасаясь с поэзией вечного и запредельного. Этот фонтан совпадает с самой эмоциональной, кульминационной точкой комедии — сценой вдохновенного бахвальства Хлестакова. Последний воздеиствует своим пением на присутствующих, как искусительная сирена, — с того момента все не только удостоверяются в чрезвычайных его полномочиях, но сами вступают на путь неумеренного прожектерства.

О чем мечтают Горюничий и его семейство, породнившись с Хлестаковым и уподобившись ему в такой степени, что становятся на время его двойниками в построении воздушных замков? Можно было бы ждать, исходя из этих первобытных характеров, что в открывшейся перспективе больше всего их потянет власть и богатство. Ничего подобного. Они стремятся взлететь по стопам Хлестакова — к небу, их волнуют прежде всего запахи и краски, эстетика и поэзия высокого общественного поста, сказочная красота и окрыляющая свобода нового образа жизни. В таком же сказочном свете рисует Марье Антоновне ее будущее Добчинский:



*«Вы будете в большом, большом счастье, в золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать, очень забавно будете проводить время».*

Не удовлетворение похотей, не потворство страстям, но взыскание царства прекрасного останавливает наше внимание, утонченность и одухотворенность мечтаний, облаченных, понятно, в комические покровы и приведенных в согласие с психологией этих людей, мыслящих свой идеал не отвлеченными символами, но знакомыми приметам служебной карьеры. На всем, однако, лежит печать возвышенного интереса, детски-наивной фантазии, созерцательно-бескорыстного взгляда на вещи. Не практическая, а живописная и поэтическая сторона генеральского чина занимает наших мечтателей.

*«Городничий. ...Как ты думаешь, Анна Андреевна: можно влезть в генералы?»*

*Анна Андреевна. Еще бы! конечно, можно.*

*Городничий. А, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна, красную или голубую?»*

*Анна Андреевна. Уж конечно голубую лучше.*

*Городничий. Э? видишь чего захотела! хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом? — потому что, случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскочут везде вперед: „лошадей!“ И там на станциях никому не дадут, всё дожидается, все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там стой городничий! Хе, хе, хе! (заливается и помирает со смеху). Вот что, канальство, заманчиво!*

.....  
*Анна Андреевна. ...Я не иначе хочу, чтоб наш дом был первый в столице, и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти, и нужно бы только так зажмурить глаза. (Зажмуривает глаза и нюхает). Ах, как хорошо!»*

Это же возвращенный Эдем, вековечная мечта человечества, высказанная на дураковатом, провинциальном языке, — благоухание райского сада и жажда полета, восторга, движения, возвышения над толпой, над собой! Даже голубая кавалерия через плечо, не побоюсь сказать, имеет здесь небесный оттенок. (Я далеко не уверен, что в «Ревизоре», где всё бесконечно смешно, есть еще где-то «незримые слезы», но

если они есть, то их нужно искать не в ужасах коррупции и пошлости всей обстановки, но в такого вот рода душевных порывах к недостижимой высоте, в обманчивых и прекрасных фантазиях человека...) Желание Сквозника-Дмухановского «влезть в генераль», для того чтобы быстрее лететь, обгоняя всех городничих, несколько напоминает тирады Поприщина в «Записках Сумасшедшего», кому генерал понадобился тоже не сам по себе, но для высокого расчета с обидчиками и духовного, по существу, торжества над косностью своего неизменного, титулярного состояния. Генерал — это птица в небе, быстролетная тройка, мечта, столь же, в принципе, романтическая, как какое-нибудь стремление влезть в поэты, в вершители дум человечества...

*«Чорт побері! Желал бы я сам сделаться генералом, не для того, чтобы получить руку и прочее. Нет; хотел бы я быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут увиваться и делать все эти разные придворные штуки и экивоки, и потом сказать им, что я плюю на вас обоих...*

*...Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Может быть, я сам не знаю, кто я таков».*

Эти-то потенции человеческой души, никогда не знающей, кто же она такая на самом деле, желающей безмерного, не уместяющейся в рамках собственного тела и локального положения в обществе, и пытается воплотить Городничий. (Может быть, он оттого и нарекался Сквозником-Дмухановским, что внутри у него сидит Хлестаков и кричит: «лошадей!»?)

Через мечты уездного семейства яснее выступает облик их соблазнителя. Ведь это Хлестаков своими пламенными речами ввел толстокожих рабов, прикованных к месту и должности, в состояние невесомости, транса, в котором всё возможно и душа замирает от открывшихся просторов и страхов — так что, резюмирует Городничий, «не знаешь, что и делается в голове; просто, как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить». Ведь это от хлестаковских курьеров, мчащих во весь опор по петербургским проспектам в количестве тридцати пяти тысяч, и от хлестаковской же тройки с заливающим по всей дороге, по всему свету, колокольчиком Голос ямщика за сценой: «Эй, вы, залетные!») поскакали в голове Городничего фельдъегеря с адъютантами. «Словом, это фантазмагорическое лицо, которое, как лживый олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкою, Бог весть куда», — подытоживал роль Хлестакова Гоголь.

Известно, что характеру Хлестакова Гоголь придавал особое значение и особенно тщательно его обсуждал в авторских комментариях. Притом наибольшее внимание он уделял загадочному тому обстоятельству, той, можно сказать, заковыке в душе Хлестакова, что этот олицетворенный обман при ближайшем рассмотрении вводит в соблазн бессознательно и ни в коем разе не должен трактоваться заурядным лжецом и обманщиком. Пустомыслие Хлестакова служит ему алиби и позволяет преподать его вранье как самое искреннее и чистосердечное излияние. «Не имея никакого желания надуть, он позабывает сам, что лжет»,— настаивал Гоголь.

*«Он развернулся, он в духе...»*

*Это вообще лучшая и самая поэтическая минута в его жизни — почти род вдохновения» («Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления „Ревизора“ к одному литератору»,— как впоследствии объявил Гоголь, из письма к Пушкину, 25 мая 1836 г.).*

Хлестаков — ничтожество, никто. Но поэтому к нему больше, чем к кому бы то ни было, применима поприщинская догадка: «Может быть, я сам не знаю, кто я таков», и поэтому он так свободно и легко конструирует свою личность, повинуюсь прихоти воображения, сам же мгновенно уверяясь в достигнутых его духом успехах. Когда я прочитал в цитированном выше письме к Пушкину, что «он в духе», у меня мурашки пробежали по коже, — настолько явственно проступила вторая сторона понятия — в духе, то есть вне тела, в состоянии экстаза, священного безумия и озарения, что подтверждается каждой фразой гениального его монолога, построенного как непрерывная цепь восхождения и воспарения. Даже когда Хлестаков проговаривается, мелькая реалиями своего низкопородного быта — «как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж — скажешь только кухарке: „На, Маврушка, шинель“, — он описывает кривую полета. У него всё летит.

*«И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою: „Позвольте, Иван Александрович, я вам“, говорит, „сапоги почищу“...»*

В этой жажде подняться ввысь и там, на высоте, выкинуть какой-нибудь головокружительный финт Хлестаков проявляет себя как истинный артист, как и вся натура его ближе всего стоит к типу артиста, поэта. «В нем всё сюрприз и нечаянность»,— комментировал Гоголь этот талант Хлестакова безо всякой видимой причины возгораться и перевоплощаться. Самый монолог его льется по нормам

поэтической речи, управляющей мыслями автора и себя же порождающей в порыве вдохновенного творчества. Не Хлестаков держит речь, а речь ведет Хлестакова. Он цепляется за первые попавшиеся слова, и они его несут, Бог знает куда. В Хлестакове нам явлен образчик творческого процесса. Но еще достовернее указывает в нем на поэта факт, что в модели служебного своего положения Хлестаков руководствуется не столько соображениями карьеры, сколько поэтикой высоких и звучных имен, страстью к прекрасному и изящному. В переводе на лакейский жаргон, Хлестакова к столице влечет «галантерейное обхождение». Вместе с тем в идеальном мире он мнит себя великим эксцентриком, кому важнее не почет и престиж, но эффект изумления, чудесного превращения. Ему бы всё пускать фейерверки, выводить из равновесия, устраивать карусели курьеров, снова и снова проходя в «ревизоры» на уровне департамента, министров, главнокомандующего. Высший свет в его описании, в отличие от локально-земной планировки уездного города, это сплошное витание в сферах, воздушные трюки и фокусы, вечный бал и карнавал, где князья и графы уподобляются жужжащим шмелям и пар из парижской кастрюльки, «которому подобного нет в природе», сулит нам ароматы амброзии.

В согласии с «самой поэтической минутой в его жизни» (и, конечно же, самой поэтической точкой комедии) на первый план его столичного быта выдвигаются артистические интересы и связи, и Санкт-Петербург оборачивается к зрителю своей литературно-художественной средой, представленной в невероятных подробностях, а сам Иван Александрович нарекается сочинителем всех известных тогда творений, объединяя в своем лице весь цветник российской и отчасти всемирной словесности. Так и быть должно! С заоблачных высот Санкт-Петербурга, из страны цветущего Юмора, где царит Пушкин, где на каждом шагу «кеястры, собаки тебе танцуют, и всё, что хочешь», спускается на уездную землю не кто иной, как Поэт, Орфей. Волшебной игрой он зачаровывает сползшихся к нему двуногих тварей, передавая им свое электричество и увлекая за собою в полет, в мир фантазмагорий. В этом и состоит, вероятно, самое главное «чрезвычайное происшествие» «Ревизора» — поэзия побеждает существенность, ввергая ее в поток сногшибательных пертурбаций.

Разумеется, весь этот крутой поворот «Ревизора» в литературно-поэтический строй преподносится в пародийном ключе, как и подобает комедии. Но сам объем сообщений и ассоциаций такого рода, резкость крена в поэзию, в эстетику, говорят, что это существенно для понимания пьесы,

в которой поворотную и руководящую роль играет момент высочайшего поэтического вдохновения. Если в творчестве Гоголя смех и восторг часто идут рука об руку, то в кульминационном монологе Хлестакова мы имеем какой-то восторг смеха, смеха в чистом виде, слыша который душа ищет возвышенного.

*«Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить, хочешь наконец пищи для души. Вижу: точно, нужно чем-нибудь высоким заняться».*

Боже, уж не Хлестаков ли в самом деле подвигнул Гоголя на его «Ревизора»?!. Обман обманом и мираж миражем, но когда звенит колокольчик и из-за сцены доносится голос Хлестакова:

*«Прощайте, ангел души моей, Марья Антоновна!*

.....  
*Прощайте, Антон Антонович!*

.....  
*Прощайте, маменька!»*

— сердце невольно сжимается, что в исполнение обещанного не унес он невесту, и всю родину, и весь город на своей тройке. Пусть бы они там, в его царстве, в золотом платье ходили и разные бы деликатные супы кушали.

Перед мысленным оком Гоголя проносятся три фантазмагорических тройки.

Хлестакова (с увязавшимся за нею семейством Городничего) — движущаяся на чистом комизме, на олицетворенном обмане и вместе с тем на поэтическом вознесении ввысь.

Поприщина — на безумии, на пределе тоски и отчаяния расстающейся с этим светом души, которая мчится домой, на свою небесную родину, смыкая родную Италию и Россию:

*«Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых как вихорь коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеса, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синее вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына!..»*

И третья тройка-Русь в «Мертвых Душах», несущаяся в будущее и доносящая до нас последний всплеск лирической

музыки Гоголя с последним отсветом его смеха в наступающей тьме... (Когда дрогнула дорога и вскрикнул в испуге остановившийся пешеход, я понял, что это отлетела душа Гоголя,— он умер в конце первого тома «Мертвых Душ»...)

Они о разном — эти тройки. Но и об одном тоже. О том, что душа ищет дали, простора, высоты, чуда и в смехе ли, в смерти ли, в быстрой ли рыси находит счастье полета. Тройка — это прочь, дальше, выше, мимо... Тройка — это отряхание праха...

*«И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чорт поberi всё!» его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чуждое? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит...»*

Слышите музыку «Ревизора»? Слышите сотрясение смеха в этом описании быстрой езды? И всё летит, и сам летишь... Смех у Гоголя — такое же восторженно-чуждое состояние, не дающее жизни застыть, душе остановиться, опрокидывающее законы всемирного тяготения, сулящее простор и свободу. Смех — это исчезновение материи. Смеясь, мы не просто трясемся, но и, бывает, летим, уносимся, выскакиваем из тела, испаряемся и, может быть даже, на время расстаемся с душой. «...Что-то страшное заключено в сем быстром мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет...» Но и блаженное также. Смех у Гоголя это духовное опьянение, которого так жаждет русская земля.

*«У нас у всех много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях, и, что всего изумительней, часто там, где видимо страждет душа и не расположена вовсе к веселости. Глубина этой самобытной иронии еще перед нами не разоблачилась, потому что, воспитываясь всеми европейскими воспитаньями, мы и тут отделились от родного корня. Наклонность к иронии, однако ж, удержалась, хотя и не в той форме. Трудно найти русского человека, в котором бы не соединялось, вместе с умением пред чем-нибудь истинно возблагодарить, свойство — над чем-нибудь истинно посмеяться. Все наши поэты заключали в себе это свойство».*

*«Всё смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговеещее только пред одним нестареющим и вечным».*

Всё это он утверждал в «Выбранных местах из переписки с друзьями», докапываясь до корня, до сути — «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»

(1846 г.). Уже ничто не влекло его в эту пору назад, к комическому искусству, и смех давно остыл в его душе. Гоголь был мертв. И все-таки не мог он, разбираясь в вещах окончательно, не попытаться выявить смех в максимальном его значении, подведя к самому дальнему берегу и барьеру «вечного и нестареющего» и привязав к самому глубокому и драгоценному корню — родного народа, русской земли. Тот народ и земля, напомним, для Гоголя тогда составляли последнюю и единственную крепость дела Божьего на земле, служили прообразом небесной отчизны. И вот в недрах этой крепости, в глубине богоизбранного племени, он углядел смех и не побоялся сказать об этом в полный голос. Значит, смех означает для Гоголя и для всей России действительно что-то огромное, если не самое главное. Значит, смех — это сердце наше?.. Да, он поставил предел смеху и уравнивал его столь же исконным нашим свойством — «уменьем пред чем-нибудь истинно возблагодарить». Пред чем? Пред вечным и нестареющим? Но что здесь вечно и что не стареет на земле?..

Говоря по правде, с благоговением дело темное. Это еще надо доказать, подождать. Это еще неизвестно... Дай-то Бог!.. Будем надеяться... Но от смеха-то нам во всяком случае уже не отвертеться, когда Гоголь в такую пору так о нем пропечатал. Монахом, аскетом, ткнул нас лицом — в смех. Душа замирает...

И всё же предел, положенный смеху, был выбран им не по соображениям только законности, осторожности и надежды, что Россия еще себя покажет. Небо — естественная граница смеха. Не потому, что над небом смеяться нельзя, запрещено (над чем не посмеется русский человек? и где у него границы дозволенного?). А потому, что там, где нет материи, нечего отряхать и нечему исчезать. Если небо — сама полнота, сама высота, сама свобода (и, может быть, сам смех), что там делать нашему смеху? Только — устремляться туда. В смехе мы срываемся с места — к небу.

В этом смысле смех сродни русскому устремлению к чуду, к Богу, к вечному, к максимальному. Всё, что не абсолютно, — смешно. Туда, где мера и вес, где грех и кровь, непременно придет ревизор и скажет: этого нет! это обман! пойдемте за мною! слышите?.. (Голос ямщика за сценой: «Эй, вы, залетные!»)

В подмогу гоголевской мысли о смехе вступает песня, вновь возвращающая нас к тройке, к быстрой езде, к необъятным пространствам России, что разлетелась на полсвета, будто в подтверждение своей душе, своей песне и смеху. В той же статье из «Переписки с друзьями» сказано, что в русских песнях —

*«мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унести куда-то вместе с звуками».*

Тот же разгул, вспоминаем, служит пружиной в нашей природной склонности к быстрой езде, когда хочется послать к чорту всё и оттолкнуться от действительности, к которой мы так мало привязаны, приведя ее в летящий и мелькающий мимо образ...

*«Еще доселе загадка — этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несетя куда-то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемый желаньем лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания своего человек».*

Песня — смех — движение — тройка — Россия — небо — образуют у Гоголя одну вытянутую линию, летящую по воздуху. Где-то на этом пути может мелькнуть и будущее, как лучшая отчизна, по которой скучает душа, и этот образ тогда оформится в историческую тройку-Россию, перед которой сторонятся другие народы и государства в конце первого тома «Мертвых Душ». Но этот материальный образ лишь одна из возможных вариаций разгульной русской души, тоскующей души Гоголя, которая, примеряя разнообразные облики, стряхивает их и летит дальше, прочь, мимо, мимо, чтобы кому-то передать голос своей родины, голос своих земляков в смеющейся и ликующей песне.

*«Смейся, смягчи хорошенько свою душу...»*

— поет древний индеец.

*«И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух...»*

## Глава третья

### МЕРТВЫЕ ДУШАТ. РЕЛЬЕФ ПОРТРЕТА

---

После «Ревизора» Гоголь впал в ипохондрию. Разочарование, постигшее его на театральной сцене, где комедия не нашла, по его мнению, ни достойного приема, ни подходящего исполнения, лишь оформило и снабдило внешней мотивировкой немотивированный приступ тоски, сменивший приступ смешливости. То была, надо думать, реакция на испытанный подъем и восторг, на неслыханный порыв



жизни в «Ревизоре», за которыми естественно воспоследовала депрессия. Поспешный, напоминающий бегство, отъезд за границу положил рубеж для очерчивания нового писательского демарша (1836—1841 гг.), означенного напряженной работой над первым томом «Мертвых Душ», уже запущенных в действие, но только теперь составивших главную, всепоглощающую задачу. Новый период отмечен чертующим надломом. С одной стороны, Гоголь с «Ревизором» вступает в пору литературной зрелости и достигает «Мертвыми Душами» видимой вершины успеха. С «Ревизора» же, точнее следом за «Ревизором», впервые о себе возвещают процессы упадка, душевного иссякания, в ходе которых автор по существу исчерпывается, с трудом закончив первый том поэмы, с тем чтобы не найти уже сил на последнее десятилетие. Это последнее, с выходом тома в 42-ом году, уподобляется прижизненной смерти, когда создатель «Мертвых Душ» у всех на виду деградирует, обращаясь как бы в собственную противоположность. Однако та деградация начиналась раньше, вобрав всё предшествующее пятилетие творчества, столь успешное внешне и насыщенное жизнью — в действительности сыгравшее роль роковой развязки в сюжете, кульминационным пунктом которого остался позади «Ревизор».

В таком повороте душевной биографии Гоголя, насколько она доступна читательскому взгляду, «Мертвые Души» ложатся полем истощения гения и творческого его иссякания, хотя оно и становится местом построения великого литературного памятника. На этом отрезке пути надобно задержаться — не только по причине всяческих преград и ловушек, способных навсегда остаться загадкой духовной личности Гоголя. Сама эта личность яснее проступает в рельефе начинающегося распада, как, бывает, старческие иссыхающие черты лучше дают почувствовать истинное лицо человека. В работе над «Мертвыми Душами» Гоголь как никогда раскрывается в максимальных своих писательских устремлениях. Здесь, можно заметить, он задыхается на пределе творческих возможностей — оставив на память потомству свой ярчайший портрет...

Первые вести, которые доходят от Гоголя с его отбытием из России, говорят о внутреннем кризисе, который он переживает затем, чтобы, расставшись с прошлым, возвыситься над ним и перейти в какое-то новое качество и состояние. Судя по письмам, он бежит за границу, исполненный отвращения к прежней деятельности и честолюбивых намерений, беспредельной веры в собственные силы, равных которым он еще не знал за собой. Только

позже, в «Выбранных местах из переписки с друзьями», он усвоит публично этот авторитарный тон собеседования с современниками, это право вещать о своей сверхчеловеческой роли — при одновременном зачеркивании всего, что было им создано до этого поворотного часа. Гоголь — пророк и проповедник, сжигающий за собой мосты и претендующий на неземное владычество, неожиданно всплывает в писательских мечтаниях Гоголя по поводу «Мертвых Душ», до которых он дорывается, отбрасывая, как балласт, всё, что осталось в опостылевшей мигом России.

М. П. Погодину (15 мая 1836 г. Санкт-Петербург):

*«Еду развеять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои будущие творения и возвращусь к тебе, верно, освеженный и обновленный. Всё, что ни делалось со мною, всё было спасительно для меня. Все оскорбления, все неприятности посылались мне высоким Провидением на мое воспитание. И ныне я чувствую, что не земная воля направляет путь мой».*

В. А. Жуковскому (28 июня н. ст. 1836 г. Гамбург):

*«Каких высоких, каких торжественных ощущений, невидимых для света, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст.*

*...И нынешнее мое удаление из отчества, оно послано свыше, тем же великим Провидением, ниспославшим всё на воспитание мое. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни».*

М. П. Погодину (28 ноября н. ст. 1836 г. Париж):

*«Жребий мой кинут. Бросивши отечество, я бросил вместе с ним все современные желания. Неперескочимая стена стала между им и мною. Гордость, которую знают только поэты, которая росла со мною в колыбели, наконец не вынесла. ...Никакие толки, ни добрая, ни худая молва не занимает меня. Я мертв для текущего. Не води речи о театре: кроме мерзостей, ничего другого не соединяется с ним... Я вижу только грозное и правдивое потомство, преследующее меня неотразимым вопросом: „Где же то дело, по которому бы можно было судить о тебе?“ И чтобы приготовить ответ ему, я готов осудить себя на всё, на нищенскую и скитающуюся жизнь, на глубокое, непрерывное уединение, которое отныне я ношу с собою везде: было бы это в Париже или в африканской степи».*

Н. Я. Прокоповичу (25 января 1837 г. Париж):

*«Мне страшно вспомнить обо всех моих маранях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры „Ревизора“, а с ними „Арабески“, „Вечера“ и всю прочую чепуху, и обо мне, в течение долгого времени, ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова,—я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы! не сделал я, до сих пор, ничего) знакома душе неподдельного поэта».*

Не верьте Гоголю—придет срок, и он точно так же скажет о «Мертвых Душах»—маранье, и точно так же перечеркнет всё свое литературное прошлое. Верьте Гоголю—весь его путь это бегство от себя за границу только что отпочковавшейся в книгу личности, это вечный разрыв и раздор с собою ради клятвы, что с этого часа он начнется по-настоящему и достигнет себя в исполнении достойного его имени поприща. Кажется—при невероятной, граничащей с болезнью гордыне—он не любил свои творенья. Все они, мнилось ему, недостаточно велики по сравнению с величием того, что он намеревался создать. Он весь в потенции, в обещании, в неосуществленном проекте какого-то грандиозного, беспрецедентного предприятия. Права была матушка Марья Ивановна, по прочтении черновиков ко второму тому «Мертвых Душ» усмотревшая в этом самом жалком создании недостижимую вершину покойного своего Ангела Сына:

*«Какое бы это сокровище было для живущих на земле, мне кажется, это было бы верх совершенства, но так как смертным не суждено достигать его, то и не было допущения к тому...» (Письмо О. С. Аксаковой, 24 августа 1855 г.).*

Мы привыкли думать, что Гоголя погубила религия, по вине которой он отрекся от литературы, впал в мистицизм и т. д. Но вот перед нами Гоголь 36-го года, Гоголь первого, едва тронувшегося тома «Мертвых Душ», далекий от религиозных в собственном смысле запросов, а призрак «Переписки с друзьями», призрак отречения и гордого духовного подвига, перед которым всё должно смириться и затихнуть, как перед голосом Бога, уже склонился над ним. И жажда превозмочь естественные границы дарованного человеку таланта, и коварное правило все неудачи обращать на потребу себе в виде высшего, промыслительного указания и воспитанья, и огнедышащее презрение ко всему, что лежит позади. Отступим немного назад, к 35-му году,—и вновь

самонадеянный вывод из профессорских его злоколючений, внушающих потерпевшему позу, какая больше пошла бы непризнанному пророку, нежели провалившемуся, как мальчишка, бесталанному преподавателю:

*«Я расплевался с университетом... Неузванный я взошел на кафедру и неузванный схожу с нее. Но в эти полтора года — годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся,— в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли, волновали меня...» (М. П. Погодину, 6 декабря 1835 г.).*

Еще отступим — и вновь, накануне 34-года, перед Гоголем носится морок какого-то великого дела, и он загодя, завышая ставки, вооружается исполнить завет со своим гением:

*«Я совершу... Я совершу. Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле Божество! Я совершу..!» («1834»).*

Так, передвигаясь по шкале биографии Гоголя, мы периодически наталкиваемся на клятвенные обещания свершить что-то такое огромное и невозможное, что превзойдет его имя и вознесет над толпой, разрешив навсегда загадку существования. Точкой приложения сил могут оказаться и литературные планы, и государственная служба, и религия, и ученая карьера, и журналистика, соприкоснувшись с которой, Гоголь потом объявит, что в пушкинском «Современнике» не Пушкину, собственно, а Гоголю предложена была первая скрипка. Его распирает энергия. Ему как будто мало своей прямой роли, и он всё время прицеливается захватить чужие посты, подмяв под себя все области человеческой жизнедеятельности, и, хотя вскоре убеждается, что общее мнение было справедливым и он опять взялся не за свое ремесло, это его не смущает, поскольку очередная ошибка, руководимая свыше, усваивается на пользу душе, кладется в сокровищницу, суля в недалеком будущем отозваться в новом немислимом начинании. Подобные порывы кипели в нем с детства и ранней юности, когда, ничего не умея, не зная, кем он станет и что произведет, и порываясь для разгона уехать, например, в Америку, он в письме к матери уже грозилась — «переделать себя, переродиться, оживиться новой жизнью, расцвести силою души в вечном труде и деятельности»

(24 июля 1829 г.). К концу пути эти благие намерения развились и сложились в обдуманную программу полезного религиозного дела, но в том или ином варианте они сопровождали Гоголя всю его жизнь, сообщая литературным занятиям оттенок чего-то большего, чем он в данный момент занимался, оттенок какой-то таинственной, многообещающей мысли и миссии. Идя по жизни, Гоголь отбрасывал тень впереди себя, из которой еще должно родиться что-то значительное. Когда из тени вышла «Переписка с друзьями» и обещающая гора родила мышь, многие очевидцы и исследователи решили, что здесь-то и заключалась причина его гибели, в то время как это было лишь неизбежным следствием исконных свойств и потребностей его могучей натуры, всегда искавшей выйти за собственные рамки и осуществлявшей литературные замыслы под ту же побудку: «Я совершу... Я совершу...» В обстановке творческой немоты и возросших с годами претензий на наставнический голос в обществе та побудка, понятно, прозвучала в полную громкость, как господствующая мелодия, создавая впечатление, что Гоголь себе изменил. Художник превратился в дотошного проповедника, но в том, что он в него превратился, был повинен не проповедник, а художник. Конец Гоголя обусловлен не сторонними, но имманентными его творчеству мотивами. Другое дело, что они обнаружили перед всеми и вошли в силу тогда, когда он созрел как писатель и, взявшись за что-то действительно крупное, вполне проникся сознанием своего власть имеющего, гипертрофированного лица. Но в молодости, в неопределенной форме, он уже испытывал в душе похожие восторги («дотоле нерешительный... я вспыхиваю огнем гордого самосознания...»), которым всегда недоставало только повода, чтобы разгорелся пожар. Короче, мы опять упираемся в «Мертвые Души». Они самым фактом своего написания побудили Гоголя выйти под знаменем нового духовного подвига. Они подсказали — пора!

С. Т. Аксакову (28 декабря н. ст. 1840 г. Рим):

*«Я теперь przygotowляю к совершенной очистке первый том „Мертвых Душ“. Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе... Между тем дальнейшее продолжение выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначущий сюжет, которого первые, невинные и скромные главы вы уже знаете».*

С. Т. Аксакову (5 марта ст. ст. 1841 г. Рим):

*«Да, друг мой! я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля Бога: подобное внушение не происходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета!»*

С. Т. Аксакову (13 марта ст. ст. 1941 г. Рим):

*«Нет, клянусь, грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня! Только одному неверующему словам моим и недоступному мыслям высоким позволительно это сделать. Труд мой велик, мой подвиг спасителен. Я умер теперь для всего мелочного...»*

А. С. Данилевскому (7 августа н. ст. 1841 г. Рим):

*«О, верь словам моим! Властью высшею облечено отныне мое слово. Всё может разочаровать, обмануть, изменить тебе, но не изменит мое слово...»*

*Ничего не пишу к тебе о римских происшествиях, о которых ты меня спрашиваешь. Я уже ничего не вижу перед собою, и во взоре моем нет животрепецующей внимательности новичка. Всё, что мне нужно было, я забрал и заключил в себе в глубину души моей. Там Рим, как святыня, как свидетель чудных явлений, совершавшихся надо мною, пребывает вечен».*

Н. М. Языкову (27 сентября н. ст. 1841 г. Дрезден):

*«О, верь словам моим!.. Ничего не в силах я тебе более сказать, как только: верь словам моим. Я сам не смею не верить словам моим. Есть чудное и непостижимое... но рыдания и слезы глубоко взволнованной благородной души помешали бы мне вечно досказать... и онемели бы уста мои...»*

*...И если при расставании нашем, при пожатии рук наших не отделилась от моей руки искра крепости душевной в душу тебе, то значит ты не любишь меня. И если когда-нибудь одолеет тебя скука и ты, вспомнивши обо мне, не в силах одолеть ее, то значит ты не любишь меня, и если мгновенный недуг отяжелит тебя и низу поклонится дух твой, то значит ты не любишь меня...»*

Под такие угрозы и посулы завершалась работа над первым томом «Мертвых Душ», положившая конец литературному дарованию Гоголя. Но она же вселяла сознание

невероятной полноты и могущества, к которым он стремился давно, чуть ли не с колыбели, и вот достиг наконец, осененный благодатью свыше, в ожидании новых даров. Поэтическая экзальтация переходит в религиозную, которая в свой черед поддерживает в уверенности великих творческих рубежей и свершений. Таинственные намеки всей его жизни, казалось, сбылись. Гоголь себя ощущает драгоценным сосудом, вместилищем божественной силы, готовой излиться на дальние расстояния, провидеть и чудотворить. Ему ли не выйти теперь, если дело с литературой застопорится, с голым словом проповеди? Как могут не поверить ему, если сам он себе внушает трепет? Риторические фигуры писем Гоголя в это время присваивают образ Писания; автор решается уподобить себя Тому, Кто пришел как залог человеческого единения с Богом. Похоже, от чела его исходят мощные токи. Гоголь, как провод, насыщен гипнотическим электричеством, которое он воспринял в дивные минуты раздумий над исполнским своим сочинением, грозящим развиться во что-то еще более сверхъестественное, не имеющее на земле сравнений и аналогий. Перед нами пример глубокого самовнушения, в котором бедный меднум идентифицирует себя с самим Спасителем, бессильный оторваться от власти соблазна. Когда бы даже не существовало иных причин исчахнуть ему в ту пору, опоенному благодатью «Мертвых Душ», высказанных им упований на собственную святость достаточно, чтобы с этого времени Гоголь не смог ничего написать... Впрочем, кто мы такие, чтобы судить Гоголя!

(Не движим ли всякий автор, берущий перо с ответственностью, молчаливым допущением, что кто-то твердый и знающий толкнул его свыше на этот курс? Не блещет ли вся литература красочными иносказаниями, приравнивающими поэта к пророку, жрецу, чудотворцу, любимцу или избраннику богов и т. д.? Для Гоголя, положившего писательскую работу законом жизни, до истребления в себе иных страстей, и сосредоточившегося на ней в такой степени, что события внутреннего круга стали ему слышнее смутного шума толпы, сделалось необходимостью творческие восторги и муки в итоге перевести на язык религиозного подвига. В своем искреннем буквализме — с опорой на авторитетные имена религии и государственности — Гоголь реализовал иносказательный образ Поэта в его первородном значении...)

Друзья и знакомые заметили с удивлением, что с конца 40-го года, в ходе окончания работы над первым томом поэмы, тон писем Гоголя разительно переменялся в сторону необыкновенной торжественности и мистического одушевле-

ния. Цитированное выше письмо к С. Т. Аксакову от 28 декабря 1840 г., по заключению последнего, явилось первой ласточкой свершившегося переворота, через несколько лет приведшего Гоголя к переоценке всей своей деятельности, а затем и к физической гибели. Другой свидетель и биограф, П. В. Анненков, которого вместе с Аксаковым необходимо признать наиболее компетентным поверенным и исследователем личности Гоголя, устанавливает прямое сообщение между работой над томом и вытекавшими из нее переменами в духовном облике автора. «Мертвые Души» вливали в Гоголя как бы новую кровь.

*«С приближением к концу своего заветного труда Гоголь начинает уже смотреть на себя как на человека, в жизни которого слышатся шаги неведомого, таинственного Предопределения. Взгляд этот на самого себя всё более и более укрепляется по мере развития работы и, наконец, переходит в убеждение, которое нераздельно срастается со всем его существованием. При проверке его писем всеми известными обстоятельствами его жизни, мы видим, как по мере окончания какой-либо части романа, свежих, живых отпрысков, данных им, или обогащения его каким-либо новым представлением, Гоголь проникается каждым из этих явлений, настраивает душу на высокий лад и возвещает друзьям событие торжественными, пророческими намеками, приводившими их в такое недоумение сначала. Он смотрит на самого себя при таких случаях со стороны (объективно) и говорит о себе прямо с благоговением, какое следует питать ко всякому, хотя бы и непонятному, орудию Предопределения. Его вдохновенные, лирические возгласы, частое провозвестие близкого и великого будущего до того совпадают с годами и эпохами окончания разных частей романа, с намерениями автора в отношении их, что могут служить несомненными свидетельствами хода его работ и предприятий» (П. В. Анненков «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года»)*

Понятно, когда писатель исторгает свой внутренний образ в литературном создании, которое становится слепком его духовного мира. Законен, однако, хотя и менее вынужден, иной, обратный процесс ответного воздействия художественного создания на своего создателя, вплоть до внесенных текстом разительных изменений в его внутренность и судьбу. В данном случае автор является эманацией сотворенных им образов; вдохнув в них душу и жизнь, он подпадает влиянию призраков и непроизвольно становится их орудием и промышленником, влача существование тени своего литературного



подлинника, с биографией, обращенной как бы в фабулу романа, который отныне пишется и вершится над ним, над его подневольной личностью, в человеческом исполнении, но словно бы по законам художественной архитектоники. История литературы знает немало казусов и метамофоз подобного рода, носящих в глазах стороннего наблюдателя характер какого-то фатума или проклятия, тяготеющего над теми, кто вынужден расплачиваться по правилам игры, попадаясь на удочку спровоцированной ими интриги. Тогда говорят, что художник вживается в образ настолько, что начинает им руководствоваться в своем физическом облике, следовать ему, подражать, стилизуя жизненный путь под сочиненные им притчи и мифы. Но доколе события, не зависящие от человеческой воли, сами воспроизводят в натуре то, что передавалось бумаге, только, может быть, более грубо и карикатурно по сравнению с литературным рисунком и при всем том в странном согласии и как бы по договоренности с ним, доколе сама действительность неумеренно и неумело подделяется под выдумку и мстит художнику тем, что принимается передразнивать его сюжеты и схемы применительно к его же судьбе, тогда нам остается гадать о единстве искусства и жизни в границах авторской личности, если не о каком-то вмешательстве невидимых и таинственных сил. Не потому ли иные писатели испытывают чувство вражды и гадливости к отделившимся от них воплощениям, в котором временами проскальзывает неназванная боязнь за себя перед этими плодами фантазии и служливого искусства, от которых они с таким трудом вязались, не избавившись, однако, от страха, что те вернутся когда-нибудь к старым своим хозяевам и переложат на них бремя воображаемой жизни. Это еще полбеды, если произведение вытягивает нервы и жилы из своего поставщика и на всякой странице заставляет спотыкаться и падать в каком-то ожесточенном и страстном изнеможении. Хуже, когда оно, будто по волшебству, внезапно начинает развиваться и складываться без видимого участия со стороны ошарашивленного приливом вдохновения автора. С такой же ласковой легкостью оно расквітается с ним. За второй, счастливой ступенью писательского труда, на которой произведение строится словно по собственной воле и обретает черты самостоятельного и самодельного субъекта, случается, наступает третья, наивысшая и наихудшая стадия, меняющая местами создание с его составителем. Последний теряет власть не только над своими трудами, но над собственным обликом и жизненной перспективой, переходя на права опоздавшего

захудалого персонажа, подлой копии, наглого пасквиля на державный оригинал, который, пожрав автора, выплевывает его как ошметок, обращая в свою бездарную и послушную креатуру. Всё идет как по маслу, однако не по плану и разному отставленному от кормила творца, а по сюжету, навязанному его самородным творением, не знающему усталости и озабоченному единственно тем, чтобы участь писателя с неуклонностью вытекала из рукописи. Дело не в сходстве характера автора с его сочинением и не в их разногласиях. Речь идет о буквальном, магическом воздействии текста на своего архитектора...

В отличие от прежних гоголевских творений, «Мертвые Души» писались долго и тяжело и сопровождались припадками непонятной тоски и болезни, чередовавшимися с моментами таких просветлений, что автору мнилась протягивающаяся к нему Всеспасающая рука, подвигающая труд его жизни к заветной цели. Одно из чудесных внушений, как сделалось известным из достаточно откровенных признаний Гоголя, состояло в том, что он должен наделять персонажей собственными пороками и освобождаться от них по мере литературной работы. Этим убивались сразу два зайца: писатель оснащал и уваживал произведение хорошо ему знакомым, взятым из души материалом, и сам постепенно становился лучше и чище, справляясь со своими грехами. Творческий процесс, таким образом, непосредственно смыкался с усилиями по переделке собственной личности, которая всё яснее осознавала себя в ходе внутреннего допроса и духовного созидания. Рационалист-аналитик протягивал руку художнику, и вместе они заключали союз с человеком, поставившим дело исправления и спасения души во главу угла. На эту тему в «Переписку с друзьями» включена статья, представлявшая наиболее полное свидетельство автора о своем сочинении, — «Четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ"». В этих письмах, датированных 43-им и 46-ым годами, т. е. временем, когда первый том поэмы уже вышел в свет, а второй подвергся сожжению и писался с великим трудом, Гоголь подводит итог своей многолетней работе и исповедует миру две тайны своего творчества. Во-первых, «отчего герои моих последних произведений, и в особенности "Мертвых Душ", будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства совсем непривлекательного, неизвествоно почему, близки душе, точно, как бы в сочинении их участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное?» Во-вторых, «почему не выставял я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей?»

По первому пункту Гоголь разъясняет, что необыкновенным душевным вмешательством был наведен на то, чтобы передавать героям свои недостатки.

*«Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званьи и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем, чем ни попало. ... Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее от с у т с т в и е с в е т а».*

В результате «Мертвые Души» обращаются в поле битвы между автором и его низменными свойствами, вынесенными вовне, в художественную плоть поэмы, которая вместе с тем сохраняет связь с его нутром и несет на себе следы душевного порождения.

*«Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности».*

*«...Герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения — история моей собственной души».*

*«Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной».*

*«Выдумывать кошмаров — я также не выдумывал, кошмары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло».*

В таком повороте творчество закономерно обретает черты нравственного подвига и религиозного делания. Сама задача возведения литературного здания требует этого крена в сторону исследования и оздоровления души. Тем же высшим внушением, что побудило его «наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моей собственной дрянью», Гоголю начали открываться его изъяны и недостатки. Строгий самоанализ и упорное морализаторство становятся неотъемлемым условием работы.

*«Не думай, однако же, после этой исповеди, чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог».*

Ответ на второй вопрос — по поводу добродетельных лиц, не выведенных в поэме, естественно вытекает из первого:

*«Их в голове не выдумает. Пока не станешь сам, хотя сколько-нибудь, на них походить; пока не добудешь медным лбом и не завоеешь силою в душу несколько добрых качеств,— мертвечина будет всё, что ни напишет перо твоё, и, как земля от неба, будет далеко от правды».*

Итак, вторая часть программы — усвоение в душу автора необходимых положительных качеств — выступало как требование литературно полноценного текста. Странно вымолвить, но на путь христианского самосознания Гоголь был подвигнут в первую очередь творчеством. Он принялся добывать добродетели силою и медным лбом, с тем чтобы довести до кондиции художественную постройку. Гоголь нуждался в святости как реальном материале и достоверном сюжете для продолжения поэмы. Ему мало было подать пример положительного лица в привлеченных извне портретах. Всё должно было следовать одно из другого, вязаться внутренне, отвечая душевной правде его создания, побуждавшегося к высокой нравственной цели высокими творческими нормативами. Этим объяснялась его длительная война со вторым томом поэмы, периодически предававшимся огню. Подвиги самосожжения совершал отнюдь не религиозный фанатик, как по наивности полагала толпа, но Гоголь-художник, взыскательный мастер, недовольный выходящий из-под его пера мертвечиной. Но для того, чтобы получилось в итоге живое и совершенное во всех отношениях литературное произведение, он сам был призван пройти суровый путь поста и духовного воспитания. Гоголь авторским опытом прорубал дорогу своим героям. Дело спасения души — дело каждого человека — оказывалось необходимым этапом художественного процесса. Ради последнего он вынужден был, в конце концов, временно отказаться от творчества: так оно лучше могло обеспечить себе должную прочность.

*«Создал меня Бог и не скрыл от меня назначения моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое — душа и прочное дело жизни. А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться, пусть их торопятся другие!»<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Неверно было бы этот ход в сторону простого и близкого каждому дела — души — понимать как отречение Гоголя от писате-

В рассуждениях Гоголя поражает железная необходимость сцеплений, приведшая его с широкой и просторной дороги «Мертвых Душ» в тупик «Переписки с друзьями». Моралист и проповедник, подчинивший себя дисциплине религиозных и утилитарных задач, с завидной последовательностью выводится из художника с его максимальным запросом и развитием всех слагаемых его литературной работы до логического конца. Всё вытекало одно из другого со стройностью единого плана, и литературное дело действительно, как рисовал его Гоголь, требовало в первую очередь позаботиться о душе, о прочном фундаменте здания. Но эта забота о прочности, эта рассчитанность всего механизма, заручившись которым, душа освобождается от недостатков по мере наполнения первого тома поэмы и обзаводится достоинствами, готовясь наполнить второй и привести таким способом в действие колеса всей грандиозной художественной постройки, как-то настораживают слишком уж хорошо обеспеченной системой всех передач, слишком уж обеспеченной и упорядоченной программой. Гоголь мыслит процесс написания «Мертвых Душ» как-то слишком стройно и логически неоспоримо, приводя в согласование то, что обычно существует в более хаотическом и поэтому непосредственном и живом состоянии: творчество, общество, польза, душа, мораль, психология... Его проект не надежен оттого, что чересчур доказателен. Логика его пути настолько

---

льства вообще и полное переключение на практическую позицию. Писательские претензии Гоголя с годами не уменьшались, но возрастали. Нежелание производить эпоху в области литературной (которую Гоголь уже к тому времени произвел, в чем нисколько не сомневался) скрывало надежду литературными средствами произвести эпоху в истории — «устремить всё общество и даже всё поколение к прекрасному», как писал он в той же статье. Душа и дело души, в понимании Гоголя, — та самая точка опоры, с которой возможно перевернуть горы: «...В ней ключ всего. Душу и душу нужно знать теперь, а без этого не сделать ничего. А узнавать душу может один только тот, кто начал уже работать над собственной душой своей...»

В этом смысле «Переписка с друзьями» была лишь новым, дополнительным усилием, добравшись вплотную до дела души, выйти окольным путем ко второму тому поэмы. Он писал А. С. Данилевскому, имея в виду кривотолки, вызванные «Перепиской с друзьями» (Неаполь, 18 марта 1847 г.):

*«Ты никак не смущайся обо мне по поводу моей книги и не думай, что я избрал другую дорогу писаний. Дело у меня то же, какое и было всегда и о котором замышлял еще в юности... Нынешняя книга моя есть только свидетельство того, какую возню нужно было мне поднимать для того, чтобы «Мертвые Души» мои вышли тем, чем им следует быть.»*

безукоризненна, что заставляет подозревать ее в непроизвольном подвохе и находить в ней чуть ли не причину пережитого автором краха. Ведь привела-то она к одним развалинам, причем все слагаемые плана выступили тогда в каком-то разорванном и вымороченном виде. Второй том «Мертвых Душ», несмотря на благоприобретенную пользу душе и знание ясных, как день, путей и дорог к прекрасному, всё равно не желал писаться и простирался впереди необо-римым пепелищем. Душа, набравшись добра и избавившись от природных пороков, предстала в отвратительном образе всеобщего понукателя, проказливого тирана и жалкого старика, метящего в Святители на радость хвостатому брату. Прочное дело жизни зияло открытой могилой. И даже изданный первый том поэмы, не получая баланса в обещанном продолжении, казался, если смотреть на него в свете логики Гоголя, собранием миазмов, от которых автор избавился, спасая душу, с тем чтобы заразить ими доверчивых соотечественников. Он и сам уже вопил апокалипсическою трубой о подымавшихся отовсюду страшилищах, чьи семена он рассеял по всей России. То «Мертвые Души» первого тома давали знать о себе, начиненные до отказа его греховными нечистотами — Чичиковым, Ноздревым, Коробочкой, Собакевичем... Преследуемые злобой, насмешкой и всем, чем ни попало, но не отделившиеся вполне от души своего создателя, не получившие в жизни настоящей самостоятельности, они сопровождали его и оказывали обратное губительное влияние, образуя как бы фон его личности и судьбы — пугающее отсутствие света. Нет, он не был похож на своих уродов, он жаждал добра и сгорал по идеалу. Но души, умерщвленные им и не воскрешенные вопреки обещанию, отлученные и продолжавшие сохранять с ним тайный контакт, отравляли Гоголя трупным ядом...

Странно, однако же, что он решился назвать самую колоссальную, многообещающую и самую внутреннюю, из души произведенную вещь — «Мертвыми Душами». Причем именно с ними, с мертвыми душами своей поэмы, он устанавливает душевную близость и на этом творческом опыте осознает и основывает прочное дело души. Строго говоря, среди гоголевских героев персонажи «Мертвых Душ» менее прочих несут видимый отпечаток какого-то душевного обстоятельства автора и менее всего обнаруживают какое-то родственное тяготение к нему. Правы читатели Гоголя, смеющиеся над ними без понимания, что смеются над автором. Никто, читая «Мертвые Души», этой тайной связи непосредственно не ощущает. Один Гоголь, по-видимому, ее чувство-

вал и понимал. Многие персонажи других его сочинений гораздо более душевны и близки ему внутренне, если судить объективно, исходя из ткани его созданий. В чем же дело, зачем неодушевленные твари его последней поэмы оказались, по его словам, ему особенно близкими, так что именно их и никого другого он поставил в пример своей душевной истории?

Может быть, эта странность отчасти объясняется тем, что только в работе над первым томом поэмы начался у Гоголя процесс рационального осознания, что и как производит он своим пером. До этого он творил неосознанно. Осознание пришло результатом распада. Оттого, что, работая над «Мертвыми Душами», Гоголь уже разлагался, все рычаги и колеса его механизма, работающего на износ, открылись и представились ему с необыкновенной ясностью. Он и раньше выделял миазмы и добрые душевные качества, оказывая сильную помощь своим героям, своей душе и читателям. Он и раньше бывал практичен, деятелен, благо-разумен, религиозен, честолюбив и сгорал по идеалу, только всё это протекало в нем в нормальном, беспорядочном образе живого творческого процесса, не ведающего о своем устройстве и не озабоченного по этому поводу. Теперь, в работе над томом, у Гоголя открылись глаза на себя — он понял, из чего он состоит, что куда подключает и выделяет из своих богатейших бассейнов, он разложился на художника, контролера, христианина, человека, деятеля и, обнаружив эти составные души, начал из них прочно строить и строил до тех пор, пока всё это окончательно в нем не разъехалось. Потому-то весь внутренний состав Гоголя, анатомию его личности, удобнее всего изучать на этом заключительном периоде его творчества, когда процесс разложения и осознания позволяет увидеть его устройство еще в живом и работающем, но в достаточно уже расчлененном виде.

Нет надобности забираться в выставленные им напоказ душевные тайники и рассуждать, имел ли он на самом деле видения, или то были какие-то болезненные галлюцинации. Не исключено, что свыше открывшиеся ему дары и перспективы являлись достижением расширившегося безмерно сознания, увидевшего как бы сверху весь план души, всю композицию жизни автора, рискнувшего сперва отдельным друзьям, а затем всему свету поведать, для чего он создан и в каком порядке надлежит ему осуществлять свои программы и замыслы. Это высшее знание о себе, вместе с приливом энергии, рождало ощущение неестественной власти и заставляло Гоголя без обмана, даже многое утаивая от читателей,

рисовать великолепные планы и контуры сооружений, которые сложатся, как скоро он наладит свою рассчитанную машину и приведет в искомую стройность все наличные сочленения. И эта же полная и счастливая осмысленность действий предвещала катастрофу. Гоголь — как та сороконожка, которая разучилась ходить, едва взялась рассуждать и обдумывать, с какой ноги полагается ей начинать и в каком порядке следовать.

«Пора уже мне творить с бóльшим размышлением», — извещал Гоголь Погодина перед отъездом за границу (18 мая 1836 г.), и с этого времени «Мертвые Души» постепенно в его уме начинают рисоваться как труд, обдуманый во всех отношениях, как «первая порядочная вещь», подлежащая расчету, контролю, планированию и устройению. Если Гоголь когда и сходил с ума, то выражалось это в рассудочности всех его выводов и доводов, в мании логически мыслить и всё в своем творчестве производить обдуманно, «основываясь на разуменье самого себя, на устройстве головы своей», как заявлял он с гордостью С. П. Шевыреву (28 февраля 1843 года). Словно ясное знание собственного устройства служило ему гарантией успеха во всех предприятиях.

Прежние сочинения не удовлетворяли его потому уже, что создавались вне плана и порядка, безотчетно и бесцельно. Раньше, по его словам, он писал «как попало, куда ни поведет перо мое», «вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому из этого выйдет какая польза». Так же, по сути, был написан и «Ревизор». Но ему в подмогу новым числом был предпринят «Театральный разъезд» (первые наброски — 1836 г., завершен в 1842 г.) — удивительная попытка рационального доказательства собственной пьесы, надающая как раз на период напряженного обдумывания будущего пути и состоящая в последовательном, со всех сторон, обсуждении и осмыслении комедии — с народной, государственной, нравственной, художественной точек зрения. В «Театральном разъезде» ясно выступает процесс препарирования и расчленения души, знаменательный для автора писавшихся тогда «Мертвых Душ». По царящему здесь рассудительному подходу к вещам и намерению всё увязать и обосновать, эта защитная композиция стоит уже ближе к «Переписке с друзьями», чем к предмету своего исследования — «Ревизору». Ведь это же надо было автору пойти на такую уловку, как спрятаться в театральные сени после представления комедии, с тем чтобы, подслушав все толки и мнения публики на свой счет, собрать их в виде отдельного здравомыслящего ответа! Только Гоголь, притом уже эпохи распада, мог при-



думать подобное спасательное мероприятие с целью уяснить в голове свое творение и согласовать голоса, которые в нем самом уже боролись и спорили, возвещая повсеместный разезд в его личности и судьбе...

Замышленные и начатые заблаговременно, до появления «Ревизора», «Мертвые Души» еще несли на себе инерцию свободного, непреднамеренного движения. На новом этапе, однако, по мере осознания беспрецедентной важности шага, наталкивающего автора на выпренные мысли о собственном призвании и необходимости творить обдуманно и фундаментально, подсказанный опять-таки Пушкиным анекдотический чисто сюжет «Мертвых Душ» становится им тесен. Поэма перерастает себя, и пушкинский снисходительный взгляд на искусство, которое само себе может служить оправданием, отбрасывается Гоголем в поисках более разумной и целесообразной основательности.

*«Пушкин находил, что сюжет „Мертвых Душ“ хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров. Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самой охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемежать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер? что должно выразить собою такое-то явление? Спрашивается: что нужно делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять их? Я пробовал, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности в том и другом герое, я не мог почувствовать и любви к делу изобразить его. Напротив, я чувствовал что-то вроде отвращения: всё у меня выходило натянуто, насильно и даже то, над чем я смеялся, выходило печально.*

*Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана, вполне определенного и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего, его существенную полезность и необходимость...» («Авторская Исповедь», 1847 г.).*

Многолетние труды и усилия сведены здесь в несколько фраз и представлены в обобщенном, суммированном виде. В живой истории всё происходило, вероятно, куда более

сложно и длительно, и две стихии, столкнувшиеся в «Мертвых Душах» — идущая от прежнего, легкомысленного сочинительства и от нового, осознанного и рассчитанного, способность работы, — переплетались и спорили в Гоголе до завершения первого тома, когда планы произведения в целом и вспомогательных путей к нему окончательно прояснились, а писатель остался без сил претворить их в жизнь. Неотразимые вопросы, возникшие в процессе сочинения «Мертвых Душ», повлекли оттяжки, затруднения и, в конце концов, остановку работы. Последняя совпала с творческим оскудением, хотя сам Гоголь склонен был принимать ее за предусмотренный свыше, необходимый трамплин, приведший осознанно к Богу, к прочному делу души и жизни, откуда его творчество, набравшись разума и добра, поднимется на недоступную обычной литературе вершину. Косвенно, однако, в его трезвом самоанализе проскальзывает признание, что именно проснувшийся в нем и как бы отделившийся, возвысившийся над ходом поэмы рассудок положил предел искусству и, как показало будущее, стал свидетельством и необратимой причиной приближавшегося конца. «Мертвые Души», породив вопросы о цели и плане их написания, совершили самоубийственный акт. Отныне наибольшее, что мог делать Гоголь для своей поэмы, состояло в том, чтобы жечь без сожаления ее новые, обесценившиеся главы. Писательская машина перешла на режим безнадежного буксования.

*«Как полететь воображеньем, если б оно и было, если рассудок на всяком шагу задает вопрос: зачем?» («Авторская Исповедь»).*

Через три десятилетия после исповеди Гоголя появилась «Исповедь» Л. Толстого, в которой рассказывается о подобном же кризисе и остановке жизненного процесса по вине тех же самых, преследующих человека, вопросов. В разное время, при разных обстоятельствах, два необычайных писателя России пережили, оказалось, дословно совпадающую внутреннюю драму, оба притом в пору зрелости и наибольшего творческого успеха, только у Гоголя, может быть, она протекала еще тяжелее, поскольку вся его жизнь исчерпывалась тогда исполнением многолетней литературной задачи, которое заклинило далеко до окончания замысла. Но в том и другом эпизоде речь шла о смерти, являющейся к человеку в разгар его деятельности с навязчивым вопросом: зачем?

*«...Пять лет назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала*

недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и всё в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну а потом?

...Я понял, что это — не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются всё те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю — зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешил и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и что ж!..»

И я ничего и ничего не мог ответить.

...Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать, и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; по жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным...

Истина была то, что жизнь есть бессмыслица» (Л. Толстой «Исповедь», 1879 г.).

Как известно, и Толстого, и Гоголя эта истина постановкой смертоносных вопросов привела ко второму рождению, к пересмотру всей своей жизни и радикальному отказу от прошлого, к душевному делу и христианской вере — ради выработки на новых основах разумного плана всеобщего и личного существования. Вопрос «зачем?» вообще, если не ведет человека к самоуничтожению, предполагает подключение к какой-то высшей, спасительной осмысленности бытия и перемену в ее свете всех оценок

и привычек жизни. Нельзя не заметить, однако, что вместе с этим процессы органические, природные, не имеющие цели, такие, например, как жить, для того чтобы просто жить, и писать, потому что пишется, теряют всякий смысл и вкус и требуют либо отмены, либо оправдания в иной, лежащей за их пределами, системе координат. Доколе путь веры и спасения души не становится при этом единственной радостной целью, попросту снимающей начисто все прочие, естественные, интересы человека, начинается их подгонка под разумные основания веры и душевного дела, неизбежно влекущая жесточайшую планировку и перекройку живой природы, подчас по схемам полезности и логического механизма. Случайно ли и Толстой, и Гоголь в вопросах жизни, искусства и даже религии показали себя проповедниками рационалистической выучки?..

Следует помнить, что христианство у позднего Гоголя носило во многом рациональный характер как вычисленная им истина, отвечающая лучше всего требованиям рассудка и практическому взгляду на вещи. Его духовный переворот заключался не в безотчетном обращении к Богу, но как бы в научном открытии, что с этой точки всё объясняется и увязывается в разумной и организованной форме. Не так эмоции, как трезвый расчет руководил его верой. Гоголь подпал не столько влиянию церкви и традиции, сколько голосу логики, здравого смысла, доказательной аргументации, позволяющим загадки души разрешать позитивным путем.

*«Проверкой разума поверил я то, что другие понимают ясной верой и чему я верил дотоле как-то темно и неясно. К этому привел меня и анализ над моею собственной душой: я увидел тоже математически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движениях человека нельзя по воображенью: нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупницу этого, словом — нужно сделаться лучшим»* («Авторыская Исповедь»).

О том же писал он Шевыреву (11 февраля н. ст. 1847 г.) — еще более прямолинейно:

*«...Скажу тебе, что я пришел ко Христу скорее протестантским, чем католическим путем. Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я встретился со Христом, изучаясь в Нем прежде мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанию души, а потом уже поклонясь Божеству Его. Экзальтацию у меня нет, скорей арифметический*

*расчет: складываю просто, не горячась и не торопясь, цифры, и выходят сами собою суммы».*

Протестантство, по всей вероятности, упомянуто для отмазки — чтобы рассеять подозрение собеседника в имевших место католических пристрастиях Гоголя. Но путь рассудка и подсчета знаменателен для автора, чьи христианские воззрения принято покрывать понятием болезненной мистики. Скорее логика и арифметика придают религии Гоголя неприятный и часто болезненный привкус, как будто дело души раскладывается по статистическим таблицам и схемам (то скрипят и лязгают части распадающегося состава) — слышится какая-то сухость и жесткость, безблагодатная нравовучительность, механичность, элементарность.

*«Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе; признаю Христа Богочеловеком только потому, что так велит мне ум мой, а не вера...»*

— казился и каялся Гоголь накануне паломничества ко Гробу Господню (письмо М. А. Константиновскому, 12 января н. ст. 1848 г. Неаполь). Покаяние и смирение были следствием, однако, пережитого провала «Переписки с друзьями», когда Гоголь приутих в своем учительском рвении, стал скромнее и осмотрительнее. До этого момента, в расцвете духовного делания, он был невыносим. Практикуемое в духе христианской аскетики, с а м о в о с п и т а н и е обставлялось у него настолько отгалкивающими подробностями, что, право, было бы нравственнее не пытаться ему делаться лучше. Здесь сказывался опять-таки рациональный подход к заданию: духовные суммы складывались, как капитал в кубышку. Письма Гоголя к родным и знакомым полны сознания, что он становится лучше, выше, светлее (а то ли еще ждет впереди!), отчего тон его становился жестче, высокопарнее и высокомернее. Если же, как подобает доброму христианину, он сокрушался о своих недостатках, из сокрушенного состояния помогал ему выйти математически точный подсчет:

*«...Вижу много в себе пороков, но они уже не те, которые были в прошлом году...»*

Поэтому и незадачи с писательством в его глазах имели преходящий характер. Накопление добродетелей предполагало творческий рост; прочное дело души возводилось в обеспечение таланта; меду тем и другим устанавливалась связь, какую имеют в природе сообщающиеся сосуды; метод рассудочного анализа позволял довольно долго смотреть

оптимистически в будущее и совершенствоваться с расчетом, что потери себя окупят.

*«В писателе всё соединено с совершенствованием его таланта, и обратно: совершенствование таланта соединено с совершенствованием душевным» (А. М. Вельегорской, 14 мая н. ст. 1846 г. Генуя).*

По этой логике следовало, что развитие таланта в «Мертвых Душах» привело к осознанию порядка и плана нравственного развития автора, отчего должна воспоследовать новая цепная реакция — от душевного совершенства на пользу «Мертвым Душам». Всё это сообщало практике христианского воспитания оттенок налаженного хозяйства, выгодной промышленности. В отношении души Гоголь вел себя наторелым помещиком, уверенным в годовом доходе. Подобная аналогия, кстати, не показалась бы оскорбительной Гоголю, у которого задачи хозяйствования и управления, помещичий и административный инстинкт выдвинулись на первое место в то время, когда он давно уже покинул Россию и физически был разбит, а душевно находился как бы в уединенном затворничестве. Хозяйственная проблематика «Мертвых Душ», в особенности второго тома, потрафляла практической хватке пробудившегося рассудка, для которого дело души служило отмычкой и прототипом всякого дела — литературного, государственного, экономического и т. д. Оно позволяло всякую вещь поставить в надлежащее место, дать ей разумный ход, достойное употребление. Сидя в Риме, Гоголь слал рескрипты во все концы Российской Империи, нити которой незримо сходились к его душе, производившей над собою образцово-показательный опыт. Пребывание в Вечном городе, как нарочно ему отведенном для свершения духовного подвига, укрепляло его в сознании центрального положения в мире. Его письма из-за границы, задолго до написания книги «Выбранных мест из переписки с друзьями», походили на послания наставнического характера, подавали ближним пример истинного жизнеустройства, — книга выкристаллизовалась из длительных упражнений в роли всеобщего пастыря, осененного мирообъемлющим куполом храма Святого Петра. Гоголь оказывался единственным, незаменимым на всю Россию, добрым хлопотуном и советчиком, ибо в собственной душе первым клал краеугольный камень.

*«Один, может быть, человек нашелся на всей Руси, который более всех подумал о самом существенном...»*

— сетовал он на недостаточно преданное и доверчивое, как ему слышалось, отношение друзей (письмо П. А. Плетневу, 20 июля н. ст. 1846 г.). Как ему было унять распорядительскую жилку, если, согласно его разумению, прочная обработка души содержала разрешение всех вопросов и давала ему мандат на духовное руководство. По этому проекту писатель, подвергавший себя неустанному христианскому воспитанию, становился и наилучшим гражданином своей земли, проникался пониманием прочих видов и степеней человеческой жизнедеятельности, проявляя незаурядные качества мастера на все руки. Подобно тому, как несколько раньше из Гоголя выделился рационалист-аналитик в доскональное изучение плана своей деятельности и души, из него же на склоне жизни выделился практик-хозяйственник, взявшийся всех обучать самым разнообразным занятиям. (Видать, вся система души его шла уже на слом, под откос...)

*«Несмотря на то, что я считаюсь в глазах многих человеком беспутным и то, что называется поэтом, живущим в каком-то тридевятом государстве, я родился быть хозяином и даже всегда чувствовал любовь к хозяйству, и даже, невидимо от всех, приобретал весьма многие качества хозяйственные... Мне следовало до времени, бросивши всю житейскую заботу, поработать внутренно над тем хозяйством, которое прежде всего должен устроить человек и без которого не пойдет никакие житейские заботы. Но теперь, слава Богу, самое трудное устроится; теперь могу приняться и за житейские заботы и, может быть, с таким успехом займусь ими, что даже изумишься, откуда взялся во мне такой положительный и обстоятельный человек» (П. А. Плетневу, 12 декабря н. ст. 1846 г. Неаполь).*

Документами биографии Гоголя можно без труда подтвердить, что он не слишком преувеличивал и положительный человек, преуспевающий на хозяйственном фронте, был заложен в нем едва ли не с детства. Однако он выявился и сложился в какую-то самостоятельную фигуру (наряду с человеком, чье призвание заключалось в государственной службе, наряду с развившимся даром и опытом духовника и другими, неизвестными ранее, областями и должностями, к которым Гоголь тянул свою высохшую руку) лишь в период разложения его единого душевного строя, который, подвергаясь анализу, подлежал и рациональной увязке. Гоголь-хозяйственник образовался из распадающегося таланта художника, скрывавшего в собственных недрах немало подобных неосуществленных сторон и возможностей. Но извне

разрушение личности одевалось в схему последовательного и логического развития. «Дело души» обращалось в фундамент всестороннего прожектерства.

Христианское «дело души» стало для Гоголя ключевым звеном в цепи всемирных явлений, потянув за которое, можно вытащить всю остальную цепь. В истории русской мысли найдется довольно примеров столь же прямого расчета на какое-то одно спасительное звено, будь то «разумный эгоизм», «непротivление злу насилieм» или «развитие капитализма в России». В широком смысле то были поиски какого-то универсального двигателя, магического корня, петушьего слова, обладатель которого заручался правами творить чудеса в мировом масштабе. Всякий раз, понятно, очередное открытие решающего звена облекалось в подобающие эпохе и умонастроению автора идеологические покровы и формы. Начинались наши обычные разногласия на тему, в какой книге можно всё это прочитать и изучить, с тем чтобы, опережая события, стать ее прямым носителем в жизни. Гоголь много не читал, но, чтобы не блуждать понапрасну, первым из русских мыслителей XIX века перечитал Евангелие. В этом его великая историческая заслуга. Но вычитал он оттуда по преимуществу план вытягивания всего бытия посредством единого «корня» и практически приложимую, вплоть до способов хозяйствовать, схему разумного мироустройства, где всё само собою, будто по волшебству, вяжется в крепкую цепь логических посылок и следствий. Логика и рассудок (как в иной системе идей, допустим, «научность» конструкции) обеспечивали бесперебойный процесс воздействия волшебного звена на все остальные звенья и служили, таким образом, формой изложения магических по существу операций, производившихся под видом разумного и нравственного труда. Логика и рассудок придавали душевному делу необходимый автоматизм и добивались того, что всё по мановению ока начинало сообщаться и вытекать одно из другого. Вместе с тем рассудок и логика служили как бы объективным, благопристойным коррективом чудесного в своей потенции действия и гарантировали его своевременность, связь с прогрессом и просвещением. Христианское вероучение, с другой стороны, сообщало ему святость, подкрепляло своим тысячелетним авторитетом и поддерживало в уверенности, что автор, не мудрствуя лукаво, исполняет волю пославшего его Провидения. Упорство, с каким Гоголь, до одури, вытягивал «дело души» в твердом расчете, что за этим само собою воспоследует всё остальное, свидетельствует, что все его аргументы, все внутренние ресурсы и стимулы



сошлись в этой точке. Ему даже не приходило в голову, что кто-то может отвергнуть его проект, приведя достаточно веские и разумные возражения.

Н. Г. Чернышевский причину несчастий Гоголя видел в его дурной образованности и недостаточном развитии «стройного образа мыслей, нужного для каждого человека с энергическим умом» («Сочинения и письма Н. В. Гоголя», 1857 г.). В чем-чем, но уж в стройном-то образе мыслей Гоголю нельзя отказать, и речь, очевидно, могла идти лишь о том, что он их вычитывал не из тех книг, которые читал Чернышевский. Точно в том же — в недостатке образования и в отсутствии стройности мыслей — упрекнул бы его Гоголь, столкнусь он с Чернышевским, как столкнулся в свое время с Белинским. В ответ последнему на знаменитое письмо из Зальцбрунна — Гоголем был написан черновой набросок письма, которое он не отослал, не желая, должно быть, впасть в противный христианину обличительный тон разговора и вступать в серьезную полемику с человеком, чьи взгляды так расходились с его собственными взглядами, что казались ему просто плодом неразумия и самонадеянного невежества.

*«...Какое невежество блещет на всякой странице!.. Нельзя, получа легкое журнальное образование, судить о таких предметах... Нужно сызнова прочитать с размышленьем всю историю человечества в источниках, а не в нынешних легких брошюрках, написанных Бог весть кем... Начните сызнова ученье... Вспомните, что вы учились кое-как, не кончили даже университетского курса...»*

Как это в духе умственных дискуссий XIX века — корить друг друга недостатком знаний и советами образовываться, читать книги, учиться и учиться!.. Нам нелегко понять, кто был более учен, образован, и кто в этом споре показал себя большим рационалистом — Чернышевский с Белинским или Гоголь?..

Крутой уклон позднего Гоголя в сторону рационалистически истолкованной христианской морали и практики, вплоть до демонстративного отказа именоваться писателем, позволили сложиться обоснованной и глубоко проникающей в его психологию версии, согласно которой Гоголь вообще по типу своему, по складу своей натуры, был не поэтом, а деятелем, либо странным образом совмещал в себе эти две несовместные природы. Религиозная вера его, с этой точки зрения, также входит в состав его рациональных расчетов и практических побуждений, нашедших в душевном деле ключ к устроению общества во всех его формах и сферах.

*«Никогда не поймет Гоголя тот, кто захочет видеть в нем поэта. Он не был поэтом и не хотел им быть. Неразгаданная тайна его творчества заключается в том, что, обладая великим художественным талантом, он не был свободно и радостно увлекаем своим гением, а был изнутри подвигнут запречься в ярмо, как угрюмый раб, как вол. Крылатый вол — так можно сказать о нем, потому что в нем соединились пламенная мечтательность и самая трезвая практичность. Он жил утончей, „как бы сгорая желанием лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания человек“, — и весь погрузился в изыскание самых прозаических средств, которыми можно было бы сделать земную юдоль похожей на эту небесную отчизну. Он не хотел быть поэтом; он страстно хотел сделаться специалистом по части обществоведения и обществоустройства, совершенно деловым, до конца практичным, знающим не только законы построения зданий, но и до мелочей всю технику кладки кирпича и разведения извести» (М. Гершензон «Исторические записки»).*

Известные сентенции Гоголя на тему, что Бог не скрыл от него природного его назначения, что он от юности влекся послужить отечеству делом, наконец проявившиеся в нем на закате дней хозяйственные и другие неожиданные задатки непосредственно ложатся подтверждением этой версии. С другой стороны, однако, мы знаем, что не меньше, чем разделение этих частей или направлений души — поэзии и практической деятельности, ему свойственны были попытки их объединить, и в том, что он не сумел привести их к должному синтезу, а привел только к схематическому, логически аргументированному, но не претворенному в жизнь, в целостную книгу, единству, заключалась его сердечная рана, оказавшаяся смертельной. У нас нет причин не верить Гоголю, когда он, снова и снова продумывая свой жизненный путь, исповедует, что к «делу души» подвели его «Мертвые Души», что он не мог иначе писать, как доискавшись до плана и цели своего произведения с вытекавшими отсюда обязанностями прежде самому воспитаться, а затем уже вдохновенным пером направлять к тому же читателей. Практическая деятельность и сопряженная с ней религиозная проповедь Гоголя не были просто переходом в какую-то иную, по сравнению с творчеством, плоскость его бытия, по какому-то наитию вдруг открывшуюся ему, но — неизбежным в ту пору следствием его писательского труда. Другое дело, что эта сторона обнажилась как некая мель на пути в то время, как воды творчества отхлынули от него и он

остался на отмели, бессильный двинуться дальше, всем объясняя, что так и надо, что этого он всегда добивался. Добивался-то он в сущности — как сам же повторял многократно — не отказа от творчества во имя христианского долга и действия, но их естественного слияния в едином лице — писателя. Исчезновение способности творить, поначалу воспринятое как необходимый подготовительный разбег для нового взлета, освободившее место затем, чтобы проповедник и практик возымели здесь временный перевес, чем далее, тем острее переживалось как бедствие, как тяжкий крест, который он нес, до конца дней не теряя надежды на воскресение. Пристально вглядываясь в мотивы, побудившие его публично отречься от звания писателя, Гоголь признается:

*«Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказать от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я всё прочее оставил, все лучшие приманки жизни и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем, чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего...*

*Не знаю, достало ли бы у меня честности это сделать, если бы не отнялась у меня способность писать; потому что,— скажу откровенно,— жизнь потеряла бы для меня тогда вдруг всю цену, и не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить» («Авторская Исповедь»).*

И жизнь потеряла цену. Нетворческое состояние стало для него равносильно смерти, и если он жил еще, то только оттого, что боролся всеми способами — включая самый отказ от творчества — за то, чтобы оно вернулось к нему. Можно ли поверить, что Гоголь не хотел быть писателем, если все его отклонения, хитрости, маневры, молитвы были направлены на одно — на возрождение писательского дара, и за практику душевного дела он в значительной степени схватился поневоле (а не только по трезвому расчету и здравому рассуждению) — как за меру спасти и упрочить погибавшего в нем художника. Страшны и соблазнительны его молитвы о возобновлении творчества, хотя, слыша их, понимаешь, что он не мог по-другому и, может быть, произвольно, сам не сознавая того, самое важное в жизненном долге и деле христианина — спасение души — ценил меньше и ставил ниже — подножием — в достижении утраченной им высшей благодати — писать. Об этом молился он у Гроба Господня:

*«О! да поможет нам Бог, и тебе и мне, собрать все силы наши на произведение творений, нами лелеемых*

во глубине души наших...» (В. А. Жуковскому, 28/16 февраля 1848 г. Иерусалим).

С этим обращался к друзьям и знакомым, а затем и ко всей молящейся России, сочетая крайнюю дерзость писательских своих упований с крайней степенью писательского и человеческого уничижения.

*«...Молитесь обо мне, друг, молитесь крепко, просите молиться и всех тех, которые лучше нас и умеют лучше молиться, чтобы молились о том, дабы вся душа моя обратилась в одни согласнастроенные струны и бряцал бы в них сам Дух Божий» (А. О. Смирновой, 4 марта/20 февраля 1846 г. Рим).*

*«Ради самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, просите молитв обо мне. Путь мой труден; дело мое такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо, и силы мои не только ничтожны, но их нет без освеженья свыше. Говорю вам об этом неложно. Ради Христа обо мне молитесь» (Иеромонаху Оптиной пустыни Филарету, 19 июня 1850 г. Село Долбино).*

И этот человек, говорят нам, не хотел быть поэтом!.. За всеми помыслами и вздохами Гоголя о душе и о пользе, о морали и о хозяйстве незримо или явно присутствуют «Мертвые Души». Это для них он старался и громоздил Пелион на Оссу с задней мыслью — писать. Следует удивляться, как при всех ударах судьбы, при всех поворотах ума и раздорах смятенного духа он верен писательской миссии...

При всем том практическое и религиозное дело не было для Гоголя чуждым, привнесенным или вынужденным только рецептом. Он чувствовал к нему душевное влечение. Не в одних логических выкладках — по самоощущению, в соответствии с природой своей, разыскал он в себе все эти задатки и склонности к какому-то иному призванию. В нем всегда билась какая-то поприщинская жилка, дававшая выбросы в педагога, в чиновника, в отшельника и заставлявшая ломать голову, кто же на самом деле Гоголь. Он всегда был больше себя самого и словно таил в неизвестности, кем бы он мог еще быть. И в своем литературном развитии он не так развивался, как открывался новыми сторонами души, не столько наследуя себе, сколько переходя от одной книги к другой, от одного своего облика к другому. Переход на

проповедь с утилитарным профилем был бы выпуском в жизнь очередного дебютанта из расквартированного в душе у поэта собрания, попеременно о себе заявлявшего с большим или с меньшим успехом, случись эта выходка в более благоприятную пору. Но поэт в то время бездействовал, и его бледное порождение — деятель — пошло за нового Гоголя, за вторую половину его жизни и личности. Отщепеншуюся частицу писателя приняли за его заместителя, следствие — за причину. Деятеля уравнивали в правах с поэтом.

Между тем деятель (как и другие возможные облики Гоголя — исследователя, например, каким он себя показал в статьях «Арабесок», в отрывке «Рим») жил в нем не на правах самостоятельного лица и даже не на правах незавидного совместителя с главным лицом — писателя. Вместе с прочими сторонами и обликами он входил в состав единой и неделимой поэтической личности Гоголя и не показывался наружу, доколе она не упала и не разучилась творить. Тогда он развернулся в виде компенсации за утраченную способность (продолжая в то же время подыгрывать надеждам и расчетам писателя на восстановление в нем потерянного единства и дара). С а м п о с е б е деятель в Гоголе не существовал.

Гоголю вообще не свойственно раздвоение на поэта и деятеля (или кого-то еще), и упорнее, чем кто-либо, он стремился к их стройной гармонии в укрупненной и целостной личности п о э т а, которая, не изменяя своей природе, соединяет черты, встречающиеся в жизни обычно в разрозненном состоянии — деятеля, поэта, ученого, моралиста и т. д. Душевный разброд, наблюдавшийся в Гоголе и доходивший уже до какого-то развала, вызван неслыханной жадной синтеза, какого еще не знали и какой он пытался собою реализовать. Традиционное разделение на поэта и деятеля (поэта и гражданина, поэта и христианина, поэта и человека) к нему не применимо, поскольку он нес в себе залог поэта совершенно особого сорта. Поэт в нем не противоположен деятелю. Скорее — сверхдеятель (сверххристианин, сверхчеловек, сверхчиновник). Поэт — по Гоголю — всё может. Он черпает средства на самые разнообразные, превышающие обычные человеческие размеры, дела не откуда-то со стороны, но в собственном устройстве. Оттого-то братья не за свое дело, считая его своим, было в натуре Гоголя — так он осуществлял свой идеал поэта.

*«Скажу тебе еще об одном душевном открытии, которое подтверждается более и более, чем более живешь на*

*свете, хотя вначале оно было просто предположение или, справедливее, предслышание. Это то, что в душе у поэта сил бездна. Ежели простой человек борется с неслыханными несчастиями и побеждает их, то поэт непременно должен побеждать бóльшие и сильнейшие. Рассматривая глубоко и в существе те орудия, которыми простые люди побеждали несчастия, видим с трепетом, что таких орудий целый арсенал вложил Бог в душу поэта. Но их большею частью и не знает поэт и не прибегает к узнанию. Разбросанных сил никто не знает и не видит и никогда не может сказать наверно, в каком они количестве. Когда они собраны вместе, тогда только их узнаешь. А собрать силы может одна молитва» (Н. М. Языкову, 4 ноября и. ст. 1843 г. Дюссельдорф).*

И это пишет поэт, потерявший способность творить, другому поэту, сраженному телесным недугом! Один калека учит другого средствам исцеления. Следует практический совет — выбросить за окошко все мази и притирания и перейти, по примеру святых, к духовной медицине с помощью молитвы. Молитва, в определении Гоголя, есть восторг, совпадающий с нашим внутренним распорядком. Овладеть последним вменяется в обязанность поэту путем изучения своей души с ее бесчисленными орудиями, приведя себя «в беспрестанное восторгновение, могущее всё победить в мире». В том же письме излагается другой полезный способ — как соединенными средствами молитвы и исследования собственной души приводить себя в состояние столь высокой творческой активности, что «к концу какой-нибудь другой недели увидишь, что уже всё составилось, что нужно», «стоит только взять в руки перо, да и писать». Словом, перед нами обычная для его рассуждений умозрительная схема, в которой, по слову Гоголя, «всё стройно и причинно» и мистическая сила получает рациональное и даже естественнонаучное объяснение, благодаря чему «тысячи колес» толкают одно другое и все устраивается наилучшим образом.

В данный момент, однако, нас интересует не логика Гоголя, о которой довольно сказано, а само его отношение к поэту как к чрезвычайно сложному и мощному духовному агрегату, способному, пользуясь помощью Божией, направлять ее на любое практическое задание, до исцеления болезней включительно. Речь идет, очевидно, о каком-то взаимодействии высших духовных энергий, на скрещении которых выходит поэт. Примечательно, кстати, что в изложении Гоголя молитва подобна творческому вдохновению, которое также есть ниспосланный Богом восторг, и восторгом же достигаются прочие,

сверхъестественные в том числе, результаты. Поэт как бы возделывает свою душу для чуда, которое над ним совершается и которое, по примеру святых, он может затем сам уже совершать на иных путях человеческой жизнедеятельности...

Кто возьмет на себя смелость решать, насколько всё это соответствует истине? Но допустимо представить соответствие субъективной правде, внутренним стимулам автора, излагавшего свое открытие так уверенно, как если бы он давно уже превзошел эту науку. По-видимому, в собственном творческом опыте Гоголь различал какие-то деятельные пружины и токи, по-видимому, сама структура его поэтической личности, по его самочувствию, располагала запалом творить добро в разнообразном и вполне конкретном, вещественном выражении. Чудовищное самомнение, какое он проявлял в решении любого жизненного вопроса, навязчивость, с какою он имел обычай служить ко всякой бочке затычкой,— что так раздражает в Гоголе и кажется каким-то кошмаром рационально разъятой и утилитарно направленной фантазии — опирались, по всей вероятности, на внутреннее свидетельство автора, имевшего право считать себя поэтом в полном значении. Доколе поэт, то и всё, что хотите. Стоит ему приложить старания, и поэт, помолясь, становится универсалом в широчайшей сфере деяния, познания, нравственности.

К поэту в его единстве с деятелем (который в гоголевском исполнении всего лишь alter ego поэта, ничуть не меняющее его собственной, поэтической природы) применимо учение Гёте о «продуктивной силе». Оно позволяет лучше понять тот психологический трюк, который постоянно наблюдается у Гоголя,—его способность, будучи писателем, рассматривать себя прирожденным профессионалом в какой-то иной области, причем последняя становится непосредственным продолжением поля его писательской деятельности. Ему как будто всё равно писать книги или, допустим, заниматься хозяйством, поскольку в хозяйстве он также осуществляет свой изначальный дар. С точки зрения Гёте, все виды «продуктивной деятельности», в том числе искусство, как бы взаимозаменяемы, и «человек высшего порядка, творя одно, творит всё, или, говоря менее парадоксально, в этом одном, в совершенстве выполненном, он видит символ всего того, что выполняется в совершенстве» («Годы странствования Вильгельма Мейстера»).

*«Свои труды и произведения,— говорил Гёте,— я всегда рассматривал лишь как символы, и поэтому мне в сущности было довольно безразлично, делать ли горшки или блюда».*

*«... Что же такое гений, как не продуктивная сила, которая создает деяния, достойные Бога и природы и именно поэтому оставляющие след и имеющие долговечность? Не может быть гения без длительно действующей продуктивной силы; и далее, при этом не имеет значения, какому именно делу, исусству или ремеслу посвятил себя человек,— всё это безразлично. Обнаружит ли человек свою гениальность в науке, как Окен и Гумбольдт, или в войне и государственном управлении, как Фридрих, Петр Великий и Наполеон, или же в песнях, как Беранже,— это всё равно, и вопрос лишь в том, являются ли данные мысли, взгляды или дела живыми и способными длительно жить» (Йоган Петр Эккерман «Разговоры с Гете»).*

Гоголю чужд этот барственно-созерцательный взгляд на вещи, исполненный спокойной и самодовольной умудренности, для которого всё великое в этом мире суть равноправные символы творческого величия Бога и природы. Гоголь ревнивее, агрессивнее и честнее относится к принимаемым им облициям. В каждый данный момент он верит, что именно так и только так может быть решена загадка его назначения. Тем не менее в его характере и судьбе особенно заметно, что «продуктивная сила», которой он движим в своих литературных созданиях, способна принять и какую-то иную, нелитературную форму и в иных обстоятельствах могла бы проявиться в чем-то другом столь же колоссально и гибельно. Может быть, он был бы христианским подвижником? Строителем? Военачальником? Но участь его была родиться поэтом, притом особой закладки, кому мало поэзии в собственном смысле слова и подавай для творческой акции все мироздание. Во всяком случае по складу дарования он далек от поэта в том чисто-поэтическом понимании, как утвердил его Пушкин (и какое, можно добавить, вполне отвечает символической концепции Гете, представленной вершинами сосредоточенных в своем одиноком совершенстве творцов), поэта как замкнутой, самоценной монады, которая несет в себе всё и исчерпывается собою. Гоголь своей продуктивной силе ищет разлиться вширь и приобщить к своему совершенству все мыслимые пространства человеческого бытия и сознания. Гоголь — как Ноздрев, который, показывая границу, где оканчивается его земля, говорит: «всё, что видишь по эту сторону,— всё это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синее, и всё, что за лесом,— всё моё». Пушкинское противопоставление поэта обществу, государству, морали («...Какое дело поэту до добродетели



и порока? разве их одна поэтическая сторона») Гоголю заказано — не потому, что он ставит поэта ниже, чем Пушкин, а потому, что слышит за ним право на любые должности в обществе, государстве, морали и повсюду готов устанавливать свой приоритет. Пушкинские формулы, осаживающие толпу притязателей на уединенную недоступность поэта, Гоголь охотно использовал, с тем чтобы, вооружась ими, узурпировать чужие посты. В гордом одиночестве Гоголь замыкался обычно после очередного провала или кризиса, и тогда он любил цитировать пушкинские строки: «Ты царь; живи один» и т. д. Но пройдет время, схлынет позор, и, смотришь, он опять вылезает из уединенной норы на публику, жалуясь, что его почему-то считают плохим гражданином. В этом видели обскурантизм Гоголя, его идейную отсталость, боязнь вольномыслия и заискивание перед правительством. Однако корни его гражданственности, как и общественной активности вообще, лежат глубже, в самой его поэтической природе.

Вспомним, как заразительно смеялся Пушкин над строчкой Рылеева: «Я не поэт, а гражданин», весело ее комментируя, по свидетельству Вяземского, «что если кто пишет стихи, то прежде всего должен быть поэтом: если же хочешь просто гражданствовать, то пиши прозою». Между тем Гоголь без запинки бы повторил (и практически — повторил) рылеевский тезис, придав ему более глубокий аспект: кому как не поэту гражданствовать! Поэт, на его резон, и гражданином должен быть первостатейным, и человеком лучше некуда, поскольку уже звание поэта предполагает социальную и нравственную значимость, имеющую тенденцию к беспредельному разрастанию. Поэт здесь осуществляет экспансию в такие отдаленные области, которые могут его заставить на время забыть, что он поэт, и гордиться открывшейся ему перспективой на ниве общественного и личного совершенствования (гордость своим будущим — постоянный аккомпанемент биографии Гоголя). Например, он способен гордиться «счастливым открытием», «что можно быть далеко лучше того, чем есть человек». Но все эти попечения и перспективы морального и гражданского свойства вытекают из его исходной точки — поэт, к которой он периодически возвращается, затем чтобы черпать здесь силы для дальних завоеваний.

В строгом смысле «гражданин» применительно к Гоголю — это, как говорил он, писатель, «почувствовавший святость своего звания». Оно накладывает на него громадные обязанности, но и дает сознание реальной силы

прилагаемого труда, который, оставаясь писательством, присваивает черты и титулы «государственной службы», «общепользозного дела», «христианского воспитания» и т. д. Без тени смущения, с каким-то даже гордым вызовом иногда, Гоголь в применении к творчеству пользуется наименованиями «чиновник», «должность», «служба», отчего оно в его глазах как бы повышается в чине, притом и в значении внутренней, собственно творческой мощности. Поэт в данном случае не ограничивает, а умножает свои владения, распираемый жаждой служить и вмешиваться в любые проблемы. Стоит присмотреться ко всей этой казенной фразеологии Гоголя, как станет вяжен одушевляющий ее пафос захватчика и оккупанта чужих территорий, спешащего враспишу в завоеванные имена. На «государственной службе» его поэтический престиж возрастает. «Служить» для Гоголя значит, помимо прочего, работать еще более интенсивно и вдохновенно, выступая во всей полноте и святости писательского звания.

*«Я хотя и не имею никакой службы, собственно говоря о формальной службе, но тем не менее должен служить в несколько раз ревностнее всякого другого» (А. С. Данилевскому, 20 ноября и. ст. 1847 г. Неаполь).*

Но «служба» не сводилась к авторским амбициям. Гоголю занимали реальные результаты труда. Среди русских писателей, склонных вообще рассматривать литературную деятельность как род общественного служения, Гоголь выделялся чрезвычайно конкретным, практическим вниканием в дела государства и общества, которым намеревался служить. Поэтому он придавал и несоразмерное значение общественным откликам на его счет, резонансу, какого ждал он от своего дельного слова. Белинский знал, что делал, нанося Гоголю чувствительный удар извещением, что «Переписка с друзьями» не вызывает интереса в русской публике, не оказывает влияния и лишь подрывает его писательский авторитет. Никто так не прислушивался к общественному мнению, не тратил столько энергии на собиранье и осмысление всех пересудов по поводу своих сочинений, хотя в то же время крайне низко оценивал умственный и нравственный уровень общества, с которым имел дело. Всё это не только «человеческие слабости» Гоголя. Каждому своему шагу придавал он общественный вес, что не мешало ему оставаться для общества фигурой чуждой и непостижимой.

Одна из загадок Гоголя как раз и заключалась в этом совмещении несоединимых сторон. Самый загадочный ав-

тор, любивший, кстати, и сам умалчивать о своих намерениях, напускать туман, мистифицировать и водить за нос читателей, лез в объяснения с публикой и навязывал ей контакты, какие вообще неприняты и неприличны в отношениях между писателем и читателями. Чего стоят его письменные и печатные уговоры молиться о нем и всем народом поддержать его молитву о том, чтобы он хорошо писал. Такого не случилось у нас, как не случилось, чтобы писатель, опять-таки печатно, обязывал всякого читателя присылать ему критические отзывы и рассказы из собственной жизни, чтобы автор должным образом мог исправить «Мертвые Души» и продолжить заколотившую работу. Россия должна была сделаться каким-то непрерывным ходатаем и поставщиком своего писателя — Гоголя. Всё это вызывало на его голову насмешки общества, справедливые и язвительные подковырки, которые он проглатывал и продолжал уговаривать, входя во все несурзные детали пролагаемого им от писателя к читателям и обратно канала.

Курьзные и болезненные отношения Гоголя с обществом косвенным образом свидетельствуют о том, что он по натуре своей не был ни практиком, ни общественным деятелем, ни даже, что называется, писателем-общественником, который чутко улавливает жизненный тонус среды и умеет найти с ней общий язык, пускай расходясь по каким-то принципиальным вопросам. У Гоголя какая-то иная, односторонняя связь с обществом. Оно для него вотчина, которой он распоряжается, как вздумает, хотя его власть выражается подчас в самых униженных просьбах. Сравнение с пришельцем, с завоевателем-иноземцем снова напрашивается. Тому на чужой территории всё кажется, что его понимают, уважают, горят желанием ему помочь, как сам он горит всем оказать услугу, тогда как на самом деле никто его особенно не слушает, не понимает его исковерканного языка, а если и чтит, то совсем не за то, что он о себе воображает. Деятельность, общество, гражданская служба, мораль — для поэта Гоголя чужая земля. Он простирает к ней мысли из своего поэтического далека, но по сути не владеет даже элементарными правилами человеческого общежития. И при всем том деятельные намерения кипят в нем, жажда быть лучшим и полезным не утихает, он невероятно назойлив, активен, практичен, морален, но, поскольку всё это лишь тень продуктивной силы поэта, всё идет вхолостую и невпопад...

Деятельное начало, не дававшее покоя художнику и вместе с тем подвигавшее на колоссальные мысли и образы,

получало у Гоголя в разное время различную мотивировку и форму, усвоенную из доступных ему жизненных и литературных традиций. До того, как оно нашло свой окончательный отклик в христианском по облику и рационалистическом по существу выражении, ему служила одеждами романтическая эстетика, изъяснявшаяся на заведомо смутном, метафорическом языке самоценной поэзии и чистого искусства. Однако эти последние в употреблении Гоголя словно сияют себя превзойти в неистовых порывах души, жаждущей излиться из тела и в экстатическом действе пересоздать природу ветхого человека, «вызвавши Бога из своего беспредельного ложа». За романтиками сохраняется право выражаться темно и возвышенно, но их страстные уверения обычно не принимают всерьез. Между тем в темноте и нарочитой веле-речивости «Арабесок» уже сверкают зарницы будущего самозаклания автора на ниве духовного подвига и прикладного добра. Зная, чем разрешились эти порывы у Гоголя и насколько они были психологически для него достоверны, нельзя относиться к ним как к стилистической, и только, раскраске, заимствованной из знакомых историкам литературы источников. Развитие стиля, так же как движение идей, способно облекать побуждения настолько глубокие и долговременные по действию, что их источник, может статься, лежит далеко за пределами тех идей или стилей, какие они избирают в качестве своего одеяния, для того чтобы осуществиться в виде исторической личности с ее ограниченным кругом унаследованных воззрений и вкусов. Во всяком случае в «романтизме» Гоголя, как и в позднейшем его «христианском прагматизме», улавливаются стойкие стимулы его деятельной поэзии, которые в этих идеях обретают видимый контур, но ими не исчерпываются и не объясняются до конца уже потому хотя бы, что, меняя покровы, сохраняют значение на протяжении всей его жизни.

К идеологическим и просто житейским традициям, на которые Гоголь внутренне опирался в стремлении послужить отечеству делом, следует отнести также строй понятий и чувств, восходящий к предшествующему столетию. В этом отношении Гоголь был большим стародумом, чем Пушкин, что отражалось не только на писательском его облике, но уже на уважительном тоне, идущем от неизжитого провинциального консерватизма, с каким произносились им веские, облеченные властью слова «служба» и «должность» — с тем же звоном кимвала, с той же торжественной дрожью в голосе, как умел произносить их один восемнадцатый век. Недаром таким ореолом окружена в его сочинениях, не без влия-

ния державинских од, память великой императрицы Екатерины. Благоговейное отношение Гоголя к общественному устройству и государственному порядку во многом шло от этой эпохи. Предпринятая им в конце пути попытка привить литературе учительную жилку была в известной степени возрождением забытой традиции, каким-то запоздалым взрывом ушедшего века, с ужасом взиравшего на смуту и пошлость текущего дня.

Литературные экскурсии Гоголя говорят, что он с бережностью относился к заслугам отставленных за старомодностью авторов и развитие литературы в России мыслил как непрерывную цепь, в которой современности предлагалось непосредственно следовать путем, намеченным в прошлом столетии. Поэтому так чувствительно реагировал он на знаки ослабления единой традиции и негодовал на критику, что слишком редко она возвращается к именам Ломоносова, Державина, Фонзвизина, Богдановича, Батюшкова.

*«Никогда они не брались в сравнении с нынешнею эпохой, так что наша эпоха кажется как будто отрублена от своего корня, как будто у нас вовсе нет начала, как будто история прошедшего для нас не существует» («О движении журнальной литературы в 1834—1835 году», 1835 г.).*

Для Гоголя современный литературный процесс начался с эпохи Петра, определившей с первых же опытов российской словесности ее стать и пафос. Словесность — живое следствие общественного подъема, испытанного в небывалых масштабах в ту пору, когда «Россия вдруг облеклась в государственное величие, заговорила громами и блеснула отблеском европейских наук».

*«Всё в молодом государстве пришло в восторг... Восторг этот отразился в нашей поэзии, или лучше — он создал ее» («В чем же, наконец, существо русской поэзии...»).*

Гоголь и сам как писатель нес искру того далекого, с петровских времен, восторга и волевого заряда, сообщенного российским пространствам державным преобразователем; литература в его ощущении сращена с телом государства и общества и двинута по тому же, предуказанному свыше, пути к великой исторической цели; отсюда проистекали сознание своей гражданской ответственности и потребность совместить образ поэта с честным лицом чиновника; отсюда же христианские заповеди облекались в плоть и кровь позитивного просветительства и свет Евангелия мешался с светом разума, зажженным в России Петром.

В своей ретроградной программе Гоголь выступал поборником просвещения сразу в двух значениях — светском и церковном, от восемнадцатого столетия и со времен апостольских. Они сливались в одно — божественное значение родины, которое ему слышалось и в ходе петровской реформы, и в хоре ее певцов. В нем не умирал поэт одического лада, и через голову Пушкина он протягивал руку Державину.

При глубине анализа и даре истолкования оригинальных созданий и роли отдельных авторов в литературном процессе, гоголевский обзор поэтического развития в целом — по солдатски прямолинейен:

*«Это — продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольным ратником света».*

Гений Петра, осенявший Гоголя в его размышлениях о судьбах отечества, о русской словесности и собственной писательской должности, заставляет вспомнить суждения Пушкина на ту же тему. Оба поэта творили как бы в виду этого исторического идола России и соотносили с ним свои внутренние ресурсы. Но если Пушкину Петр открывался прежде всего незамутненной предубеждением широтой взгляда на мир и разносторонностью живых интересов, и преемственная связь с ним поэта рисовалась в свободном и опосредствованном удалении, переведенная на язык поэтической универсальности Пушкина, то у Гоголя наблюдается более тесный — из рук в руки — контакт художественного процесса с историческим перво двигателем. Петровская воля в наследии Гоголя оборачивается неожиданным в писателе государственным размахом и хозяйственным задором, материальным жаром добра и пользы, вплоть до пародийной манеры самолично тачать корабли, стричь бороды и рвать зубы. Европеизм сходит на нет в провиденциальной мечте о России как прообразе небесной отчизны. Пушкинская широта взгляда уступает место величю дела, для которого также потребен разносторонний, петровской закваски, универсальный талант писателя, объединившего в собственном облике несколько полезных специальностей. Бродя по улочкам Рима, где еще мелькал ему милый «призрак восемнадцатого века», Гоголь воодушевлялся мыслимой картиной минувшего, которую он лелеял в душе как идеал или символ своего необъятного поприща:

*«...Цельный ряд великих людей, столкнувшихся в одно и то же время; лира, циркуль, меч и палитра...» («Рим»).*

Подобные эмблемы пришлись бы впору его гербу. Лира, циркуль, меч и палитра попеременно оспаривали Гоголя у его жизненного призвания, и каково оно в истинном смысле и чему в нем отдать предпочтение,—он не всегда мог ответить с полной определенностью.

...У Гоголя гротескное, с глубоким рельефом, лицо. По нему вы не прочтете характер, не узнаете души человека, ушедшего в лицо, как в пещеру со множеством рукавов, коридоров, которые сойдутся ли где-то, приведут ли куда-нибудь — кто скажет? Лишь угадывается скрытая громадность общего замысла, расплывающаяся лабиринтом характера настолько извилистого, что, кажется, не должно ему принадлежать одному человеку, но нескольким старомодным и враждующим между собою натурам. Дошедшие до нас описания наружности Гоголя, как и его портреты разного времени, поражают также отсутствием единства в этом лице, представленном сперва, в молодом расцвете, каким-то подобием Чичикова или Добчинского (портрет работы А. Венецианова 1834 г.), облизанном, невыразительном, подернутом еще для невнятности юношеским, малороссийским жирком и украшенном на манер петушка затейливым хохолком или коком,—сквозь эту голую внешность ординарного фата не просвечивает писатель, талант, тем более — знакомый нам по позднейшим изображениям Гоголь, из которых, напротив, смотрит разом на нас слишком уж много всего. На известных его портретах, относящихся к позднему возрасту (прическа, по тогдашним понятиям, *à la moçjik*, небольшие усы, эспаньолка), лучший из которых, по свидетельству современников, принадлежал карандашу А. Иванова, облик Гоголя странно двоится в просветленной и вместе нечистой, зачумленной отъединенности. Острые, лисьи черты лица, сближающие нос с подбородком, пронзительные и прекрасные, рыцарские черты Гоголя внезапно размазываются в пьяной, блудливой улыбке мягкого, одутловатого рта; в них сверкает что-то косое, недоброе, ускользающее, вороватое, хитрое; острота и рельефность формы странным образом становятся признаком затаенности и недосказанности, а в прячущихся, убегающих вглубь, по секретному делу, изгибах есть податливость и назойливость видавшей виды бесстыдницы.

По рассказам очевидцев, своей внешностью и манерами Гоголь производил большей частью крайне невыгодное для себя впечатление. «Вообще в нем было что-то отталкивающее»,—признавался обожавший его, добродушный С. Т. Аксаков. «Какое ты умное, и странное, и большое существо!»—подытожил встречу с Гоголем И. С. Тургенев.

Мемуаристы согласно отмечают невысокий рост, кривые ноги, нехорошие зубы, искривленный нос, неестественное поведение и дурное воспитание Гоголя, смешные привычки гарантить ногами и дергать лицом, нелепые заботы о собственной малосимпатичной наружности, выражавшиеся смесью неряшества и безобразного шегольства, вздорные замашки и дикие выходки.

*«Походка его была оригинальная, мелкая, неверная, как будто одна нога старалась заскочить постоянно вперед, отчего один шаг выходил как бы шире другого. Во всей фигуре было что-то несвободное, сжатое, скомканное в кулак. Никакого размаху, ничего открытого нигде, ни в одном движении, ни в одном взгляде. Напротив, взгляды, бросаемые им то туда, то сюда, были почти что взглядами исподлобья, наискось, мельком, как бы лукаво, не прямо другому в глаза, стоя перед ним лицом к лицу» (Н. В. Берг «Воспоминания о Н. В. Гоголе» — здесь описан Гоголь конца 1848 года).*

И этот облик, по-видимому, соответствовал его душевному складу с массой несообразностей, слабостей, странностей, парадоксов и глупых причуд, составляющих добрую половину воспоминаний о Гоголе. Он и сам допускал, что даже в физическом смысле устроен как-то иначе, чем остальные люди, говорил о сцеплении в нем исключаящих друг друга наклонностей, о внутреннем разладе, хаосе и конфликте полярных начал. Делались попытки в извилистой психике Гоголя отыскать какой-то патологический вывих, потаенный порок либо недуг, объясняющий фантастическую ветвистость его личности, непроницаемую темноту его духовной и телесной завесы. В другой раз дело сводилось к мелким человеческим слабостям и недостаткам большого артиста, который поведал свету, что питает ими в избытке своих мерзостных персонажей, и тогда это сходство в несущественных чертах и подробностях, установленное биографами, обращалось в маловажный человеческий придаток к огромной творческой особи Гоголя. Кто-то помнил, допустим, что Гоголь в молодости имел страстишку к приобретению ненужных вещей — всевозможных чернильниц, вазочек, пресс-папье: в дальнейшем она отделилась и развилась в накопительство Чичикова, изъятая навсегда из домашнего достояния автора. Или, скажем, за Гоголем замечалась охота к покупке излишних сапог — эта невинная страсть воссоздана в «Мертвых Душах» в загадочном ночном поведении поручика из Рязани, в конце седьмой главы беспрестанно примеряющего пятую пару сапог. Короче, в странностях гения



обвиняли человека, которому извинением служила его гениальность.

Но Гоголь сложен и темен, запутан и неприятен не за счет посторонних к его писательской личности качеств, не тем, что носил в душе что-то от Хлестакова, от Чичикова, или как человек был замешан в чем-то недобром. Подобные раскопки мало что открывают в главном — в его творческой природе, которая сама по себе уже способна поставить в тупик. Корень всех зол со множеством его разветвлений следует, очевидно, разыскивать там, где действительно пролегало русло его жизни и личности, — в писательстве, в натуре художника, чьи несообразность, нелепость, отвратность могли служить выражением подземного плана и замысла, нечеловеческого порядка, вмененного в закон, в абсолюте, в главную задачу характера и биографии Гоголя.

Несоответствие его портретов или его психологии его гению — в значительной мере мнимое. Мало кто был настолько целен внешне и внутренне, человечески и творчески, как Гоголь. Притом необходимо учесть, что по натуре своей, по характеру дарования и конкретным заданиям, которые он себе предписал, Гоголь был и неизмеримо обширнее прочих своих современников и влекся к соединению в своем гении всех многосторонних способностей, обязанностей и полномочий. Всё это в нем боролось, спорило, выпирало наружу, но всё это и вязалось узлом, подчиненное мании творчества, носившей редкую в писательской практике форму религиозной аскезы и воинской дисциплины. В этом маленьком, болезненном и несимпатичном на взгляд человеку жил Тарас Бульба, эпический богатырь, средневековый рыцарь, несокрушимый духовно и, быть может, поэтому принявший уродливый образ. Не то, чтобы всё ушло в дух, а для тела ничего не осталось; Гоголь и телесно, житейски на одно нацелен — на подвиг, для свершения которого столько, однако, потребовалось ему в себе переделать, разъять, соединить и укрыть, что это не могло не прорезаться в его лице и составе. Гладкий молодой человек с победоносным коком, завитым по моде у столичного куафера, еще только вышел на бой, а уже преуспел и доволен, смотрит добрячком, петушком, франтоватым «ратником света». Но тот испанский гранд, стареющий конквистадор, что помалкивает загадочно на позднейших портретах, прошедший огонь и воду, изведавший поражение, страх смерти, стыд бессилия, знает, как много нужно обдумать, превзойти, утаить, чтобы из великого подвига вышло что-нибудь путное.

«Подвиги» — этим высокопарным словом Гоголь определял свой образ деятельности на протяжении всего

жизненного пути. Едва оперившись, он уже сообщал матери из Петербурга (19 декабря 1830 г.):

*«...Я, посвятивший себя всего пользе, обрабатывающий себя в тишине для благородных подвигов...»*

С той поры любое занятие пойдет у него под таким, тайным или явным, девизом: сочинительство, научные изыскания, преподавание в университете, нравственная обработка себя. Даже редактирование старых своих творений для нового издания Гоголь называл не иначе, как подвигами, и обижался, что никто из друзей почему-то их не заметил. Провал «Переписки в друзьями» также внезапно присваивает громкое наименование подвига («Нелегко было также решиться и на подвиг выставить себя на всеобщий позор и осмеяние...») — В. Г. Белинскому, 20 июня н. ст. 1847 г. Франкфурт). Подвиг позора, подвиг сожжения неудавшихся рукописей, подвиг скитания по европейским курортам... Это было, конечно, нелепо, комично, но в том-то и суть, что всё, что ни писал и ни делал Гоголь, являлось, согласно его внутреннему голосу, либо подвигом, либо приготовлением к таковому. Как для Пушкина всякая поэтическая работа — безделица, так для Гоголя — подвиг.

По-видимому, сама художническая природа его была к тому расположена, чтобы слово обращать в дело, а дело в подвиг. Словесность уподоблялась героизму, оттого что за нее брался писатель, повседневный труд свой и быт обставлявший как рыцарское служение с вытекавшими отсюда последствиями — прежде всего с необычайно развитым сознанием цели в своем поведении и судьбе. Позднейшее выдвижение на первое место в искусстве нравственных и утилитарных задач довело до конца черту, вообще присущую Гоголю с его целеустремленным характером и подчинением всех слагаемых своей жизни этому единому делу. Не без чувства внутреннего сродства, вероятно, рисовал он в своих лекциях по всеобщей истории, как образовалось «рыцарство, обнявшее всю Европу; как возникли орденские общества, осудившие себя на безбрачную, одинокую жизнь, чтобы быть верными одной цели, и произошел самый сильнорелигиозный христианский век...» («О преподавании всеобщей истории», 1833 г.). Гоголь принадлежал к подобному, пускай не существовавшему уже, ордену, причем высшим знаком этой принадлежности была целенаправленность, проявленная им с небывалой силой в писательстве. Она-то, ежечасно напоминавшая ему, зачем он живет, и не дававшая отпуска, звавшая непрестанно к перу, а затем, через перо, потребова-

вшая внесения цели во всеобщее бытие, назначившая уделом Гоголя, его специфическим даром, сражаться с пошлостью, именно потому, что пошлость в его изложении есть в первую очередь бесцельная жизнь, неподвижность существвателей, она-то и заставляла рассматривать писательский труд свой как рыцарский долг и подвиг и видеть в собственной личности создание исключительное даже по сравнению с провлаленными именами писателей.

*«Из всех писателей, которых мне ни случалось читать биографии, я еще не встретил ни одного, кто бы так упрямо преследовал раз избранный предмет. Эту твердость мою я чту знаком Божьей милости к себе» (П. А. Плетневу, 9 мая н. ст. 1847 г. Неаполь).*

Гоголь был прав: все прочие писатели, помимо своих сочинений, худо ли, бедно, но еще и жили вдобавок, Гоголь — только писал. Жизнь имела для него значение и интерес только в той мере, в какой она служила его работе, и только в такой мере была нужна ему жизнь. В своей преданности единственной цели Гоголь разорвал привычные узы, связывающие его с человечеством, и, пожалуй, именно это наложило на него такой страшный, нечеловеческий отпечаток — маниака, обреченного какой-то одной страсти, погруженного в одну, недоступную думу.

Процесс его писательского отъединения и отщепенства обострился с момента возобновления работы над «Мертвыми Душами» в 1836 году, когда отъезд за границу даже и физически выделил его из общего круга, из среды живущих, и поставил в крайнюю, отрешенную от мира позицию добровольного изгнанника и скитающегося затворника. Это было как бы вторым посвящением и пострижением себя в монашеский сан и рыцарский орден писательства. Отныне Гоголь живет замурованным в собственном теле, как в крепости, всё глубже и глубже уходя в себя. Отныне понятие цели приобретает для него провиденциальный характер — применительно и к собственной личности, и ко всему человечеству, ко всему безбрежному морю пошлых существвателей.

«Мертвые Души» посвящены совсем не типам русских помещиков и не премудрым похождениям Чичикова, но подземной и всеобъемлющей мысли Гоголя о цели и бесцельности жизни. Потому они и были написаны, что сам он тогда, в работе над ними, сделался сопричастным этой идее в каком-то очень кровном и личном смысле. Притом она развивалась и решалась им в плане всеобщего бытия, мирового существования в целом, представленная ужасом жизни,

жизни как таковой, в ее нормальном, повседневном течении, которое никуда не ведет, не волнуется снедающим автора вопросом «зачем?» и поэтому не имеет цены, тождественное смерти. Из своего удаления, из своей прекрасной Италии, обращенной на время в цитадель поэзии и собственной, Гоголя, столь наполненной смыслом, целеустремленной работы, Гоголь обвел Россию и весь мир взглядом василиска, и всё живое померкло и умерло в его запечатлении. «Мертвые Души» — это поэма о том, что сама природа и душа мира мертвы, доколе они, как Гоголь, не проникнуты сознанием высшего назначения. Весь ужас и вся беспросветная мгла его поэмы в том и состоит, что в мертвецы зачисляется всякий человек, какой только ни встретится нам на дороге, любого класса и звания, притом не отягощенный сверх меры какими-либо пороками, но просто заурядный, обыкновенный человек, взятый в разнообразии даже не недостатков, но темпераментов, свойств и портретов рода людского. Единственное уязвимое место, сводящее человека на нет, — пошлость, то есть бессельность и бессмысленность существования. Гоголь особо подчеркивал, что «Мертвые Души» поразили и испугали читателей не уродствами и болезнями России, выставленными на обозрение, но всеобщей, непроходимой пошлостью человеческой, в изображении которой, считал он, заключались преимущественная сила и направление его художественного таланта. Пошлость в «Мертвых Душах» принимает устрашающий образ универсальной стихии жизни, которая равнозначна смерти и покрывает собою равномерно и равнодушно всё живущее на земле.

В заметках 1846 г., касающихся первого тома «Мертвых Душ», обдумывая переиздание, Гоголь очертил скрытую символику поэмы, носившую, как мы убеждаемся, глобальное содержание с центральной идеей бессмысленности и бессельности бытия. Губернский город NN служил прообразом всего человечества, земного существования в целом, представленного разнообразными видами бессельности (или бездельности), смыкавшими мировую жизнь с процессом омертвления мира.

*«Идея города. Возникшая до высшей степени Пустота. Пустословие. Сплетни, перешедшие пределы, как всё это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени. Как люди неглупые доходят до делания совершенных глупостей.*

*...Как пустота и бессильная праздность жизни сменяют-ся мутною, ничего не говорящею смертью. Как это страшное*

*событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир.— Еще сильнее между тем должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни.*

*Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокая скрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление? Жизнь бунтующая, праздная— не страшно ли великое она явление...*

*...Весь город со всем вихрем сплетней— преобразование (очевидно— преобразование.— А. Т.) бездельности жизни всего человечества в массе...*

*Как низвести все мира безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до преобразования безделья мира?*

*Для <этого> включить все сходства и внести постепенный ход».*

Строки эти яснее прорисовывают контуры поэмы и непосредственно ложатся на текст ее последних глав, посвященных городским сплетням и слухам о Чичикове, городскому безделью разного рода. Всё это увенчивается смертью и похоронами прокурора. Последний, напомним, человек безобидный и тихий, представлен как эталон человеческой жизни вообще, не оставляющей после себя никакого следа, ни к чему не ведущей и ничем не оправданной. Густые брови прокурора, служащие его единственной приметой и как бы призываем в жизни, позволяют автору самый облик покойного обратить в недоуменный вопрос о цели существования всего человеческого рода.

*«А между тем появление смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников с своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна всё еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал: зачем он умер, или зачем жил,— об этом один Бог ведает».*

Авторским размышлениям вторит сентенция Чичикова при виде похоронной процессии:

*«Вот, прокурор! жил-жил, а потом и умер! И вот напечатано в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот;*

*с ведь если разобрать хорошенько дело, так, на поверку, у тебя всего только и было, что густые брови.*

Столь жестокий приговор, вынесенный не одному прокурору, но всему человечеству, прожившему бесцельную жизнь, мог произнести лишь писатель, для которого проблема целесообразного бытия сделалась первостепенной и вполне конкретной задачей повседневного поведения, который и свою писательскую стезю обратил в неуклонное ее исполнение, и искал такого же ясного и спасительного исхода для всех. В этом свете виднее становится, и почему, например, Гоголь отдал предпочтение Чичикову, проявлявшему, при всей своей нравственной недостаточности, идеальную твердость в преследовании и достижении избранного однажды предмета, и откуда, в нарушение безрадостной картины действительности, взялась целеустремленная тройка-Русь в последних строфах поэмы. Автор безотрадной картины, сотворяя ее, вдохновлялся присутствием означенной цели в собственном творческом опыте, в ходе работы над книгой, всё больше принимавшей черты какой-то универсальной шарады, от решения которой зависела судьба человечества.

«Мертвые Души» писались совсем не так, как пишутся обычные книги. Они осуществлялись как подвиг гордого отречения от всех человеческих похотей во имя одной всепопирающей мысли. Автору, «воспитанному суровой внутренней жизнью и живительной трезвостью уединения» (как рекомендовал он себя в заключение первого тома), его книга раскрылась как искус и курс прохождения жизни по истинному пути. По мере написания одной главы за другой Гоголь возрастал в собственном целесообразном сознании и тем беспощаднее преследовал и казнил «пошлость пошлого человека», вступая с целым светом в жестокое единоборство. Он так уничтожающе трактовал и оценивал эту мертвую бесчувственность жизни, оттого что в каждодневном посте и подвиге создания был живым указателем упорного приближения к цели и с высоты положения смотрел на мировое ничтожество. Всеобщую пошлость в «Мертвых Душах» Гоголь не срисовывал с натуры, он проецировал ее из сознания собственного превосходства над жизнью в ее массовой, кругосветной, природной (в том числе и своей изменно-греховной) материи. У действительности он заимствовал лишь рабочий материал, возводя постройку на базе своей, отрывающей прах и рвущейся в грядущее личности. Его поэма в значительной части своей написана о том, как она пишется — в богатых усилках, в строгой сосредоточенности,

в нацеленном на неуклонное восхождение бдений. Автор самого себя обратил в строительную площадку, чтобы из мрака и падали вознести к небесам новый монумент человека. Лирические возгласы, диссонирующие с объективной картиной мира, здесь же представленного в страшной неприглядности, расходятся с буквой, но отнюдь не с духом поэмы. Дух этот — целеустремленная воля творческой энергии автора, созидающая колоссальное здание и вопиющая о смерти живых, для того чтобы в скором будущем те восстали из праха вместе с завершением книги, с достижением цели...

Но здесь же «Мертвые Души» ему подстраивали ловушку. Гоголь слишком много вложил в них, слишком далеко зашел, следуя за ними, чтобы отступить от цели, когда она отдалилась на неопределенное расстояние вместе с окончанием второго тома, за которым еще простирался нехоженным полем третий том. Более двух третей своей творческой жизни, говоря округленно, Гоголь прошел рука об руку с «Мертвыми Душами». Шесть с лишним лет — больше, чем все прежние его сочинения, взятые вместе, и неизмеримо больше сил — съел у него первый том, чтобы после этого еще десять лет, не подвигаясь ни на шаг, бился он над вторым. Это не было вопросом чести или какой-то художественной идеи, ждущей своего воплощения. Вопрос шел о жизни о смерти писателя, отдавшего себя без остатка этой книге, вдруг покинувшей его посреди дороги, одинокого, истощенного, окруженного «мертвыми душами», которые он вызвал из мглы, готовя всемирное чудо. Повернуть назад, сойти с трассы Гоголь уже не мог. Ко времени, когда был окончен первый том, от него уже ничего не осталось, кроме голой, единонаправленной воли дописать эту выпившую его душу и жизнь, недостижимую книгу. Он уперся в продолжение поэмы, как в стену. Камень строителя, поставленный во главу угла, стал для него камнем преткновения.

*«Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего; больше ни часу мне не нужно» (С. Т. Аксакову, 5 марта ст. ст. 1841 г. Рим).*

Процесс истощения творческой личности Гоголя, начавшийся в ходе создания первого тома и отозвавшийся внешне во множестве помех и преград, тормозивших работу, обрацавших ее подчас в наказание и насилие над собой, лишь способствовал закалке его целенаправленной воли, на которую теперь, да на Бога, возлагал он все надежды. Гоголь как-то сжимается, утверждается и затвердевает в заскорузлом своем упорстве, в фанатизме, который впоследствии

приписали религиозной его настроенности, хотя за несколько лет до появления таковой он стал уже настоящим фанатиком в необычном, обращенном к писательской его миссии, смысле. Повседневный труд его действительно принимает черты подвижнического служения, иссушающего поста, испытания, в котором все человеческие потребности сведены до минимума, всё лишнее, не относящееся непосредственно к его делу, подавлено и отброшено, либо удивительным образом повернуто этому делу в подмогу. Въедливый умелец-всезнайка, готовый всякую дрянь взять на учет и подыскать ей надлежащее, полезное употребление, распоясавшийся позднее в его морализаторской и хозяйственной программе, вырабатывался здесь, в творческой лаборатории Гоголя, в психологии художника, причувшегося на скудном пайке к строжайшей регламентации. Здесь, изгрызая перо, валясь с ног от усталости, набирался он полезных советов: молодой хозяйке — экономить добро, распределяя всю сумму на равные кучки, больному — использовать с толком свои недуги, приятелю — все неприятности, сыплющиеся на человека. Именно тогда, в работе над «Мертвыми Душами», в школе целесообразного самовоспитания, окончательно сформировался и развернулся этот странный характер, ставивший в тупик друзей и исследователей, обнаруживающий разом наклонности деспота и смиреннейшего из смертных, хищного скряги и щедрого благотворителя, скрытного схимника и любителя публичных признаний, характер, озадачивающий попеременно своей изворотливостью, прямою, змеиной мудростью, детской доверчивостью, криводушием и бесстрашием, — тихий вруша, режущий правду в глаза, мелкий капризник, стойчески претерпевающий душевные и телесные пытки, самовлюбленный эгоцентрист, жертвующий непрерывно собою... Друзья кидались из благоговейного трепета в дрожь оторопи и отвращения, какое возбуждал он взрывами своей придиричливой неуживчивости; посмертные оценки его нравственной личности также колеблются между полюсами, на которые равно даст он повод, — то ли праведник и святой, всю жизнь боровшийся с чортом, то ли сам чорт в человеческом образе.

*«...Гоголь для меня не человек... Я признаю Гоголя святым...»*

*(С. Т. Аксаков)*

*«Никогда более страшного человека... по добоя человеческого... не приходило на нашу землю».*

*(В. В. Розанов)*



Не святой он, не человек и не чорт, одно слово — Гоголь (нужно же было имя такое придумать — Гоголь!) — художник, всецело отдавший себя самоубийственному своему назначению, подключающий в роли мотора то одну, то другую усовершенствованную модель поведения, по существу не менявшую природу его — не характера уже, не таланта, но забывшей счет поражениям, сосредоточенной одержимости. Разноречивость оценок, которые вызывает на свою голову Гоголь, объясняется не столько изменчивостью его нрава (достаточно постоянного) или совмещением противоположных свойств в одном лице (сжавшихся в точку напора), сколько гибкостью психологической и житейской его тактики, тщательно разработанной и учитывающей всегда степень полезности, целесообразности в данный момент того или иного поступка. Ему ли заботиться, как отнесутся к очередной его выходке люди, в какую сторону истолкуют огорашивающие слова и обличия, если самый остаток жизни надлежит прожить только затем, чтобы что-то написать, если всё теперь идет у него по самому крупному счету — смерти и книги... Гоголь не разбрасывается, не проявляет широты природы и не меняется; он целен, сдержан и замкнут в своем внутреннем «я», он даже однообразен в характере своих ежедневных переживаний. Но разнообразны и виртуозны его выдумки и ухищрения, долженствующие оказать ему услугу и подтолкнуть к перу, донельзя зыбок мир внешних и внутренних обстоятельств, от которых он творчески зависим, которые в любую минуту могут его вознести или погубить. Что-то заранее здесь рассчитать невозможно, вчерашний день просветления сегодня способен разразиться болезнью, болезнь — послужить тоннелем к новому свету. Но, прилагая титанические усилия привести непредсказуемый процесс разрушения в строгую колею созидательного труда, Гоголь всё что-то рассчитывает, мастерит, изобретает; образ его жизни походит на погоню за призраком, принимая наружно безумный и фантастический рисунок. Версия сумасшествия Гоголя, представляется мне, родилась в результате стороннего, извне, наблюдения над действиями его, глубоко осмысленными и мотивированными, направленными, однако, не наружу — что подумают об этом люди, но внутрь, к тому недоступному «я», как торжественно нарекал его Гоголь — «который есть я во глубине души моей».

*«Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо*

сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спенсер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордочек. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы очевидно ему помешали. Он долго, не зря, с м о т р е л на нас, по выражению Жуковского, но костюмом своим нисколько не стеснялся...» (С. Т. Аксаков «История моего знакомства с Гоголем»).

Сцена, датированная 1839 годом,—подстать «Запискам Сумасшедшего». Но кто знает—как для вечно коченевших конечностей его служили шерстяные чулки, так, может быть, тот кокошник или подобие короны понадобились для прилива вдохновенной энергии к голове? Такого рода устройствам и техническим приспособлениям, споспешествующим работе, Гоголь тогда придавал исключительное значение. 16 мая 1838 г. он из Рима в Париж пишет своему приятелю Данилевскому соболезнующее письмо по поводу внезапной кончины матери последнего, которую Гоголь нежно любил. Это не помешало ему в том же письме навязываться с очередной рационализацией своего творческого процесса:

*«Кстати, вещи, о которых я просил тебя, ты теперь можешь прислать через Ravé, он мне их привезет в самый Рим. Помоги ему, если можешь, выбрать или заказать для меня парик. Хочу сбрить волоса—на этот раз не для того, чтобы росли волоса, но собственно для головы, не поможет ли это испарениям, а вместе с ними вдохновенно испаряться сильнее. Тупеет мое вдохновение, голова часто покрыта тяжелым облаком, который я должен беспрестанно стараться рассеивать, а между тем мне так много еще нужно сделать.—Есть парики нового изобретения, которые приходятся на всякую голову, деланные не с железными пружинами, а с гумиластическими».*

Подобные причуды и выдумки, не считающиеся с существованием ближнего, повинующиеся странным инстинктам, порою оскорбительным во внешнем своем проявлении, игнорирующим жизнь своим отсутствующим видом, сообщают облику Гоголя сходство с каким-то насекомым, не допускающим нас до контакта с собою и подчиненным заказанной нам, жуткой целесообразности. Словно, прости Господи, какой-нибудь тарантул, Гоголь живет внеположенными нашему разуму и морали соображениями, озабоченный своими личинками, своей глубокой норой, распространив вокруг атмосферу удушливой отчужденности. Мало

кто так умел, подчас не желая того, обижать людей, в отношениях с которыми у него примешивалось неизменно что-то тяжелое, неловкое. Гоголь знал за собою эту черту и, случалось, горько жаловался и осуждал себя, иной раз печально, как в предисловии к «Переписке с друзьями»:

*«Знаю, что мне случалось многим наносить неприятности, иным, быть может, и умысленные. Вообще в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего».*

Растолковать этот казус до конца он так и не смог. Чаще всего, касаясь щекотливой темы причиненных им оскорблений, Гоголь начинал причитать о каком-то роковом неумении ясно выражать свои мысли, отчего происходили натянутость, игра в молчанку и различного рода конфликты взаимного непонимания, широко затрагивающие не только его личные отношения, но и писательскую его репутацию. Объясняться задним числом, доказывая, что он совсем не то имел в виду сказать, как ему приписывают на основании неудачно сказанных слов, вошло у него в обычай и повлекло появление специального, разъяснительного жанра, начиная от «Театрального разезда» и кончая «Авторской Исповедью». Как будто быть непонятым, криво истолкованным было уделом Гоголя, и никто из писателей не брал столько раз назад свои слова, не запутывал так и не заметал следы. При всем том не раз давал он понять друзьям, что многие недоразумения просто необходимы ему и имеют тот же, что его творения, корень, что странность его составляет удел гения.

*«Когда-нибудь в обоюдной встрече, может быть, на меня найдет такое расположение, что слова мои потекут, и я с чистой откровенностью ребенка поведаю состояние души моей, причинившей многое вольное и невольное. О! ты должен знать, что тот, кто создан сколько-нибудь творить во глубине души, жить и дышать своими твореньями, тот должен быть странен во многом! Боже! другому человеку, чтобы оправдать себя, достаточно двух слов, а ему нужны целые страницы. Как это тягостно иногда!» (М. П. Погодину, 28 декабря н. ст. 1840 г. Рим).*

Принимая довод его за рабочую гипотезу, соблазнительно представить, что Гоголь явил собою в крайней форме некое общее свойство, присущее поэту и гению,— невыразимость того, что им владеет, с проистекающими отсюда странными повадками, неумением вести себя и нанесением

ближним своим непоправимых обид и увечий. Может быть, именно с этим сопряжены и назойливые попытки его объясниться по всем статьям с предельной откровенностью, что так странно звучало в контексте его замкнутого образа жизни, и сама обидная стилистика этих судорожных объяснений, представлявшая нелепую смесь нарочитой высокопарности, многозначительной темноты и наянливой рассудительности. Нужно же было ему как-то высказать клубившуюся в нем невыразимую силу, о существовании которой не умел он дать правдоподобный отчет и всё подыскивал ей разумные основания. Гоголь уверял, что Бог от него хочет то-то и то-то, и получалось настолько плоско или фальшиво, что всем становилось неловко за Гоголя, от которого не мог потребовать Бог ничего похожего. Короче, он сам не знал толком, что ему надо, понимая, что что-то всё же в нем есть...

Гений вообще многого не знает о себе, подозревая лишь общую сумму распирающего его сознание дара, и не умеет рассказать об этом сколько-нибудь доступно. Чем доступнее и понятнее принимается он себя изъяснять, тем дальше он от правды и тем для других опаснее. Другие видят: — гений! и идут за словами его в огонь, на плаху, на подлость. А он, окажется после, просто не сумел выразиться с точностью, и все его слова нужно понимать совсем не в том смысле... Не здесь ли берет исток демоническая версия гения? Не то, чтобы им на самом деле непременно владел какой-то злой демон, но — в обозначение его невыразимости и непричастности к жизни. «А он, мятежный, просит бури...» Не бури он просит — домой. Он ходит по свету и всех задевает и обижает, живя как-то мимо действительности. Всю жизнь он, взятый за горло переполняющей его страстью, готовится к одному — к встрече со смертью. Что ему наши суды, нарекания! У него своя компания, а у нас своя. Не будучи злодеем, негодяем, для чего потребовались бы от него лежащие в общей жизни усилия, он в то же время редко дарит нам образ благонамеренного и добропорядочного человека. В нем явственно проступают черты басурманина, чужака («демон» Лермонтова, «колдун» Гоголя). Не характер, а какой-то провал, туман, отсебятина. Для начала еще старается вести себя, как все. Знакомится по порядку с Пушкиным, с Жуковским (те тоже себе на уме), чинно пьет чай, острит, ищет друзей, женщин, чтобы зажечь об них, прикурить, поразведать. За ним — как на пути полководца — развалины: разбитые очаги, беспризорные дети, испорченные соприкосновением с ним друзья и подруги. Потом они всю жизнь пишут записки о «необъяснимых странностях его духа»

(С. Т. Аксаков). Кого он осчастливил? к кому отнесся все-рвез? Если собственный жребий, как правило, ему не удастся освоить, и он весь век добивается собраться с умом и ответить: зачем я здесь? кто я такой?..

Но делая скидку на «гения», на «творческую натуру», следует признать, что Гоголь своими странностями превосходил остальных, известных в этом роде поэтов. «Нечеловеческое» в нем проявлялось чуть ли не на всяком шагу, причем в каком-то греховном, омерзительном и темном растворе, как если бы сама сердцевина души была у него «не наша». Все-таки странно: Пушкин, распутный, скандальный, почти животный,—внутри светел; Гоголь — постный, богомольный, целомудренный, добродетельный — внутри темен — не то, что темен,—черен, чернее его трудно сыскать человека. Уже в лице его проступает эта идущая снизу, сгущающаяся в глубину, к недрам души, темнота. Пока он еще писал, смеялся, чертыхался, это не было так разительно, но едва он заглох и притих, перейдя на душевную пользу и законное благочестие, нутряная тьма так и поперла из него, словно добро и молитва, творимые им, вменялись ему в грех и шли во вред душе, почерневшей, как иссохший колодец. Измерять тот колодец на всю глубину нет ни средств, ни способностей. Гоголь, я уверен, как пани Катерина в «Страшной Мести», не знал и десятой доли того, что знала его душа. Но это огромное, подспудное знание давило его и подавало весть о себе. Оттуда слышались его вопли, его муки и ужасы. Как будто давным-давно, может быть еще до рождения, он совершил тяжелейший грех на земле и потом уже целую жизнь не мог его замолить. Не об этом ли гласит «Завещание»?

*«Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!»*

Мнится при всем том, что если и был он на дне своем каким-то «великим грешником», то неотделимо от своего же «великого подвига», провалившегося черной дырой, что и там, на девяти десятых неосмысленного пространства души, курсировал в нем и строил козни художник, чей грех он стремился покрыть художественным же расчетом, и оттого, что сорвалось это дело, та душевная чернота его снадала... Может быть, после, в конце изучения, нам удастся сказать об этом предмете что-то более определенное. А покамест продолжим обзор поверхности рельефа. Гоголь — как горная дорога, по которой можно петлять и, проделав несчетное

число поворотов, очутиться всего на несколько метров ниже или выше пройденного уровня и уже насытиться видами и riskом скатиться в расщелину с извилистого пути. Гоголь выматывает. Зато какие ландшафты! Зато любой виток в нем невероятен, загодочен, всякий выступ и перевал интересен, — имея дело с Гоголем, никогда не знаешь заранее, чем он еще удивит, с ним не соскучишься, в нем хорошо... (Нужно ли добавлять, что и густейшие тени, какие он бросает повсюду, служат верным убежищем, в них способно скрываться, копить силы, отсиживаться, лелеять безумные замыслы — ни зги не видно!..)

Он и сам ценил в себе эту непроницаемость тайны, играл в нее и заманивал мимоидущих читателей. «Он любил показать себя в некоторой таинственной перспективе» (П. В. Анненков), чему помогали его врожденные странности, которые он в себе культивировал. «Таинственным Карлой» прозвали его в детстве товарищи, чтобы юношей Гоголь не без кокетства сказал:

*«...Я почитаюсь загадкой для всех, никто не разгадал меня совершенно» (М. И. Гоголь, 1 марта 1828 г. Нежин).*

Скрытность природы, сложность характера, как и сама чернота души, здесь всего не объясняют. Нужно иметь еще вкус и влечение к таинственному, фантастическому, чтобы, пользуясь той чернотой, ее приоткрывать, как занавес в театре, и разыгрывать маскарад собственной непостижимой персоны. У Гоголя всё тайны. И почему Чичиков избран в герои, и что собою обозначают эти «странные» (что в них странного?) персонажи, с которыми автор почему-то (секрет!) должен долго брести по жизни, прежде чем в недоступной дали продолжения «Мертвых Душ» доберется до главной загадки? Причем тут «души»? Для чего роман поименован «поэмой»? и о чем она, эта «поэма»? и зачем он ее сочинил? Ну — тайна, так и молчал бы! Нет, его тянет покрасоваться, пофлиртовать, поставить акцент на рассыпанных кругом недомолвках, в чем-то признаться, что-то припрятать, помазать по губам, ускользнуть...

Кстати, с той же страстью связана его фантазия выставить напоказ свои интимные фотографии, с тем, однако, чтобы никто не распознал физиономию автора в беглом поручике из Рязани, примеряющем ночной порою непочатую пару сапог. Тем же часом, как читатели потешаются над поручиком, автор в «театре для себя» потешается над читателями и состраивает фигу с самым невозмутимым лицом. Избавляться от недостатков? изливать на людях душу? чер-

пять из души материю, чтобы дело шевелилось живее? — всё это так, но помимо сказанных творческих и сердечных потребностей еще существовала сладость скрытого проникновения в жизнь, расквартированную на сцене, сладость тайной театризации текста по примеру фигляров и фокусников — в роли ловкого инкогнито под любым предлогом и соусом. Это так приятно — спрятаться посреди чужого базара, если угодно — на самом виду, чтобы не смогли догадаться, и в то время, как все с напряжением следят за развитием действия, наслаждаться собственным обществом в самой непринужденной позе. Никто не знает, не замечает, как ты мысленно тут пируешь: — А я тут сажу! Под крылышком. Под лопухом. Ку-ку!

Он настолько востер, этот Гоголь, что, начитавшись его сочинений, невольно приходишь к выводу, что он тут всюду присутствует — не только в обличии автора, что было бы логично, или под псевдонимом специально, по служебному делу, прикомандированного лица, а так, кем придется, под видом какой-нибудь невозмутимой мышки, мухи какой-нибудь (Говорю мухе: — Уйди! — А она не слушается...), участвующей как бы нечаянно в разыгранной им пантомиме и имеющей свои независимые виды на жительство. Стоит, допустим, мелькнуть слишком уж затрапезной фигуре в карнавальной картине казни Остапа в «Тарасе Бульбе»:

*«Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали престранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики...»*

— как хочется крикнуть на всю Варшаву: — Знаем, знаем! Не спрячешься! Это — Гоголь! Вон он, вон высовывается то в одно, то в другое слуховое окно...

А что ж такого — он жил тогда за границей...

Не зря он так осерчал на бедного Погодина и третировал после всю жизнь за опубликованный свой портрет работы Александра Иванова, не вязавшийся, как ему рисовалось, с его общественно-известным лицом влиятельного писателя, выставлявший, считал он, его каким-то забуддыгой, неряхой, в халате, с взъерошенными усами... Портрет, по общему уверению, вышел очень похожий. Но перед публикою Гоголю требовалось соблюсти реноме, скроить авторитетную мину, избрать респектабельную маску, — с тем чтобы тихомолком, в собственных произведениях, прокрадываться неглиже, в неприбранном и расхристанном виде, наслаждаясь эффектом неузнанного своего появления перед очами почтительных и восхищенных читателей. Уж здесь-то он отводил душу...

Чтобы не быть голословным, сошлюсь на неоспоримые две улики его нелегального пребывания там, где всё, казалось бы, чинно и мирно и нет причины ему паясничать. Первая улика — выставление странного имени своего под именем птицы гоголь, о которой он помнил, конечно, обладая даже некоторым внешним ее подобием.

«...И гордый гоголь быстро несется...» — сказано в «Тарасе Бульбе».

«Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет», — брошено как бы мимоходом в «Портрете».

Всё это ничего не значит, как только то, что Гоголю пришла охота мелькнуть в собственном имени посреди невинно раскинувшихся фраз, поставив черное слово как знак незримого своего присутствия в речи. Другой пример столь же дерзкого вторжения собственного лица в текст сочинений Гоголя связан со словом нос, получившим небывалое распространение и развитие у автора, чей нос, известно, был общим вниманием. Гоголь, допустимо заметить, высовывает свой нос где можно и где нельзя, посвящает носу целые произведения и многие страницы, так разнообразно акцентируя и обыгрывая этот предмет, что некоторые исследователи, поразмыслив, решили, что это у него и не нос вовсе, а чорт знает что такое. Но приапический нос этот, представляется, не столько заключал отклоненную физиологию Гоголя, сколько служил своего рода косметической принадлежностью завязанного фантаста и комика и выдавал его странное и загадочное происхождение. Недаром сказочники и фантасты, колдуны и фигляры разных стран и эпох (вспомним Гофмана) сходятся в этой необычайно развитой части лица, знаменующей смешное и страшное, уродливое и чудесное. Нос их, возможно, какой-то след таинственного сродства человека с подземным царством, телесно выраженный, стилистический вывих в сторону артистизма, игры, чародейства и вероломства. Еще ребенком, «Таинственным Карлой», Гоголь часами упражнялся перед зеркалом, добываясь, чтобы нос его сходился с подбородком, в чем и преуспел. Сталкиваясь с этим эпизодом в мемуарах друзей его детства, невозможно не вспомнить опять же чудовищного его колдуна, чье вхождение в собственный образ и начинается с того, что нос вырастает и, искривляясь, спускается к подбородку, — Гоголь по личному опыту знал, как это бывает.

«— Я, именно, комик, и вся моя фигура карикатурна», — сказал как-то Гоголь в ответ на упреки, что со своими странностями он сам уже становится комическим лицом. С этим легко согласиться. Но карикатурность Гоголя —



внешняя и внутренняя — шире его комизма. Она охватывает всю его личность со всеми ее сторонами. Гоголь рисуется великолепной карикатурой на образ писателя вообще, притом в большом и многосложном содержании, какое он вкладывал в писательское звание. На писателя — значит, и на гражданина, и на деятеля, и на святого отшельника, и на все прочие облики, соединенные в нем в карикатурную фигуру писателя.

Уместно сказать, однако, что карикатура по Гоголю не есть лишь искажение или отступление от нормы, но этой же нормы перевернутый образ, некий негатив идеала. «В уроде вы сколько-нибудь почувствуете идеал того же, чего карикатурой стал урод», — утверждал Гоголь (А. О. Смирновой, 6 июля н. ст. 1846 г.). Достаточно широко и последовательно он пользовался этим открытием как общественным творческим методом в создании карикатур. Его уроды в «Мертвых Душах» суть карикатуры именно в этом смысле — идеалы на выворот. К ним применимо гоголевское же определение карикатурных героев Фонвизина:

*«Это те неотразимо-страшные идеалы огрубения, до которых может достигнуть только один человек русской земли, а не другого народа» («В чем же, наконец, существо русской поэзии...»).*

Идеалы!.. Можно предполагать, что, согласно замыслу Гоголя, искомое воскресение мертвых в «Мертвых Душах» должно было состояться как обращение этих страшных идеалов в истинные и прекрасные, как опрокидывание карикатуры в тот позитив, карикатурой чего она стала. Не за счет каких-то сторонних, дополнительных добродетелей его уроды должны были превратиться в благородных людей (таких смягчающих оттенков нет в них, они целиком и полностью уроды), но за счет собственных отвратительных свойств, поставленных, однако, в законное положение и не пугающих больше, но возбуждающих восторг и любовь. Это похоже на выворачивание перчатки с изнанки на лицевую сторону. В самой перчатке ничего не меняется, но всё становится на свое место. Карикатуры в «Мертвых Душах» содержат уже в схеме своей свой идеал, образец, ждущий осуществления, и, создавая их, Гоголь надеялся перевернуть со временем эти жуткие образы, подобрав надлежащий ключ к душе каждого персонажа, и восстановить добро и истину в их первооснове. Что подобного рода расчеты имели место в «Мертвых Душах», свидетельствует Чичиков, чье преображение мыслилось не в нарушение его

гнушной природы стяжательства, но путем ее перевернутого, правильного использования. Она-то, исконная страсть его, лежащая в основании карикатурного образа, и заставила автора остановить свой выбор на Чичикове как на человеке, в котором нуждалась Россия. Другие герои поэмы также по существу выступают как идеальные состояния в карикатурной форме. В набросках к «Мертвым Душам» содержится намек на то, что в дальнейшем своем прохождении эти уродливые фигуры могли быть вывернуты на лицевую сторону. В таком перевороте заключалась, надо думать, главная задача и тайна продолжения «Мертвых Душ».

*«Он (Чичиков) даже и не задал себе вопроса, зачем эти люди попали ему на глаза, как вообще все мы никогда не спрашиваем себя: «зачем нас окружили такие-то обстоятельства, а не другие?» «зачем вокруг нас стали такие-то люди, а не другие?» — тогда как ни малейшее событие в жизни не произошло даром, и всё вокруг в наше наученье и вразумленье... Он даже и не задумался над тем, отчего это так, что Манилов, по природе добрый, даже благородный, бесплодно прожил в деревне, ни на грош никому не доставил пользы, опошел, сделался приторным своею добротою, а плут Собакевич, уж вовсе не благородный по духу и чувствам, однако ж, не разорил мужиков, не допустил их быть ни пьяницами, ни праздношатайками? и отчего коллежская регистраторша Коробочка, не читавшая и книг никаких, кроме часослова, да и то еще с грехом пополам, не выучась никаким изящным искусствам, кроме разве гадания на картах, умела, однако ж, наполнить рублевиками сундучки и коробочки и сделать это так, что порядок, какой он там себе ни был, на деревне все-таки уцелел: души в ломбард не заложены, а церковь, хоть и небогатая, была поддержана, и правила и заутрени и обедни исправно...»*

В стремлении к добру не где-то на стороне, но во зле и уродстве жизни распознавая ее идеал, имея дело с тем, что дано, ни на шаг не отступая, не гнушаясь низким предметом, но вглядываясь в него, разрабатывая дальше и глубже, пока не забрезжит свет из его сердцевины,— состоялся р е а л и з м Гоголя. Не в значении литературной манеры или художественного способа изображать характеры употребляется здесь это слово, но более в метафизическом смысле, сближающем р е а л и з м с исследованием загадок природы, с упорным постижением истины, которую ищет художник путем внедрения в темную материю жизни, полагаясь на свою интуицию и находя в то же время поддержку в своем разуме испыта-

теля и в религии — водительнице на всех путях человеческих. В гоголевском реализме крайний консерватизм в принятии мира, как он есть, смыкается с крайним радикализмом в решимости перевернуть эту наличную картину — из карикатуры в идеал. Подобный же реализм проявлял он в своих общественно-исторических выкладках, рассчитывая, как на рычаг Архимеда, на православную русскую церковь,—

*«которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставит у нас всякое сословие, звание и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласно стройности того же самого организма, которым она доселе пугала...» («Несколько слов о нашей церкви и духовенстве»).*

Того же самого... Идеалом того же самого, чего карикатурой стал урод... Судьба Гоголя неотделима от той же идеи, последовательно им проведенной, что и его искусство карикатуры, что и его понимание жизни, общества, истории, его реализм. Вмешательством сверхъестественной силы он должен был, ничего не меняя, изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым доселе пугал. Доколе этого не случилось, Гоголь остался карикатурой — но карикатурой на тот идеал, который нес он в себе и который просвечивает сквозь его карикатурный портрет — идеального писателя, каких еще не бывало на свете.

Карикатурный Гоголь — это писатель, не пишущий, но пляшущий, как царь Давид, в ожидании, когда же Дух Святой низойдет бряцать на его душевных струнах. Это Гоголь, сделавший всё, что можно, что в силах человеческих, и много больше, чтобы творить с этой минуты в лучшем и высшем виде, и ничего не сотворивший. Это Гоголь, превысивший полномочия царей, полководцев, пророков и учителей человечества и не сумевший одолеть безделицы, ради которой огород городился,— своей ненаписанной книги. Сколько труда он потратил, сколько подвигов совершил, какие муки принял — и всё ни за грош!

*«И душе, и телу моему следовало выстрадаться. Без этого не будут «Мертвые Души» тем, чем им быть должно...» (А. О. Смирновой, 4 марта н. ст. 1846 г. Рим).*

Читаешь всё это, слышишь, и закрадывается в сердце мечта, что этого быть не может, чтобы «Мертвые Души»,

как он их замыслил, не были бы написаны и доведены до конца. Они должны были, непременно должны осуществиться! Они хранятся где-нибудь в сейфе, до времени, до последнего дня Суда. Только никто об этом не знает... Иначе — всё напрасно. Иначе — ужас, плач и скрежет зубовой. И весь мир — только злая, безумная карикатура. Не Гоголю — нам с вами.

Когда я называю Гоголя карикатурной фигурой, я называю его так не в хулу, но в честь и славу. Ибо Гоголь со своей карикатурной внешностью, карикатурной психикой, карикатурной судьбой воспроизвел образец, который всегда и бесконечно будет манить человечество. Образец гармонической личности человека, заключающей собою единство всевозможных совершенств и достоинств. Не так, что с одной стороны писатель, а с другой христианин, с одной стороны умник, а с другой патриот, а так, чтобы все эти умы и таланты сливались в одно целое, взаимно помогая друг другу, перетекая и образуя стройный оркестр богоподобного Гоголя. Что может быть полнее, стройнее и прекраснее, если, допустим, писатель (воссоздаю идеальный образ его по карикатурному, гоголевскому рисунку) уже в процессе сочинения не просто корпит над рукописью, но творит боговдохновенную молитву одним уже текстом своим, очищается от грехов, спасает душу и вместе с тем служит залогом всеобщего примирения и спасения; если, допустим, в роли художника он становится заодно рыцарем без страха и упрека и в то же время самым полезным членом общества, в котором живет, затыкая за пояс всех чиновников и ученых; если, наконец, в той же роли он способен управлять помещьем, руководить государством, давать разумные советы, отвечать на все вопросы и, вырастая до святых степеней, совершать чудеса?!... Разве это так уже дико и смешно, когда писатель или всякий иной человек достигает со своими собратьями столь полного понимания, что в случае крайней нужды обращается за помощью ко всему народу, а когда отправляется от себя и от земли своей на поклонение высочайшей Святыне, вся страна с ним страждет, и ждет, будет ли он услышан, и молится за него в оставленной им молитве?

*«Исправи молитву и дай ему силу помолиться у Гроба Святого о кровных его, о всех людях земли нашей, о ея мирном времени, о примирении всего в ней враждующего и негодующего, о водворении в ней любви и воцарении в ней Твоего царствия, Боже! — И сподоби его, Боже, восстать от Святого Гроба с обновленными силами, бодростью и рвением,*

*возвратиться к делу и труду своему, на добро земле своей и на устремление сердец к прославлению святого имени Твоего!» (Молитва, сочиненная Гоголем и разосланная друзьям перед поездкой в Иерусалим).*

Самой гармонической личностью в русской литературе был, безусловно, Пушкин, но Пушкину то единство, на какое покусился Гоголь, и не снилось. Пушкинская внутренняя гармония достигается за счет отсечения необязательных для поэта претензий в области гражданской, религиозной, нравственной. Гоголевский развал ничего не достигает, но всей своей дисгармонической, карикатурной дырой вопиет к небу — кем должен быть на земле поэт. (За поэтом же — эхом — каждому в уши — кем должен быть на земле человек...)

*«Всё теперь расплылось и расшуровалось. Дрянь и тряпка стал всяк человек; обратил себя в подлое подножие всего и в раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет теперь нигде свободы в истинном ее смысле».*

*«Это резко, но это правда,— комментировал приведенные строки из гоголевской «Переписки с друзьями» молодой Ап. Григорьев, один из немногих защитников опальной книги,— и величайшая заслуга книги Гоголя, т. е. настоящего момента его духовного развития, это — навести многих на мысль о сосредоточении, о собрании себя всего в самого себя,— эта мысль пронизывает, так сказать, всю книгу Гоголя, оправдывает многие чисто личные его убеждения, которые вовсе не смешны с этой точки зрения... Положим, что, действительно, довольно странны совет Гоголя, хоть, например, одной даме, разделить все доходы на семь кучек и т. д., но в совете этом странна только форма, а самое начало сосредоточения сил проведено вполне, даже с какою-то стоическою жестокостью» (Аполлон Григорьев «Гоголь и его „Переписка с друзьями“», 1847 г.).*

Защита «Переписки с друзьями», юношески страстная, хватающая за сердце чистотою тона, но слабо аргументированная, сбивчивая, Ап. Григорьеву не удалась. Сам он вскоре писал о своей статье: «Шевырев был прав, назвавши ее стремлением сочувствовать Гоголю». Но в том и соль, что духовный облик позднего Гоголя, как он, в частности, рисуется в этой книге, внушая ужас и смех, вместе с тем неодолимо притягивает к себе, зовет поклониться ему и возбуждает горький упрек, обращенный к нам же самим, ко всякому современному мыслящему человеку. В этом жалком создании, съеденном вчистую своей писательской неудачей и подключающем к этой гибельной

страсти всю мыслимую аппаратуру человеческой жизнедеятельности, так что и страсть его уже обращается в дело спасения души и вызволения мертвых, — поражает невиданная, давно уже утерянная людьми, целостность лица и сознания. Он за всё отвечает, за всё — за религию, за государство, за Россию, за мужиков, за Пушкина и за Гоголя. Умирая и разваливаясь на глазах, он осуществляет свой величайший подвиг — собрания и сосредоточения «себя всего в самого себя». Это ему удастся сделать не прямым путем демонстрации в собственном лице идеала, который он желал воплотить, а только лишь кривым и перевернутым образом, на которые когда-то он был мастак, — живой карикатуры.

...Следы иссыхания творческих источников Гоголя ни в чем, пожалуй, так наглядно не обнаруживаются, как в исчезновении дара смеяться. В то время, как сам он становится карикатурным лицом, превосходя в этом качестве вымышленных своих персонажей, стихия комического его покидает, для того чтобы фигура его высилась над грудой отреченных книг, как обугленный остов некогда великолепного здания, выгоревшего до тла и пугающего прохожих прочерневшим своим скелетом. В этом видели иногда внушенный религиозными и политическими мотивами переход великого сатирика на чуждую ему (либо вообще невозможную в условиях отсталой России) позицию утверждения той действительности, которую он так отменно критиковал в прежних сочинениях, а теперь, убоявшись, кинулся реабилитировать в вымученных, идеализованных, лишенных жизни картинах. Дело обстояло, однако, куда сложнее и безысходнее. Пафос критики и разоблачения в Гоголе по мере иссыхания поэтического дара и смеха не убывает, но заметно увеличивается. Стремление воспроизвести идеал в живом и непосредственном виде не мешает ему более резко и гневно, чем делал он это прежде, выступать с обличениями, и самое имя «сатирика», от которого он раньше отнекивался, предпочитая более широкое и поэтическое наименование «комика», всё чаще звучит теперь на его устах. Это связано, понятно, с возрастающими его социальными и морализаторскими запросами, что так разительно сказалось на дошедших до нас главах второго тома «Мертвых Душ».

*«Вторая часть „Мертвых Душ“, — по справедливому отзыву современника, — чуть ли не превосходит первую в откровенности негодования на житейское зло, по силе упрека безобразным явлениям нашего быта и в этом смысле, конечно, превосходит всё написанное Гоголем прежде поэмы» (П. В. Анненков «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года»).*

С другой стороны, современники, слышавшие эти главы в чтении Гоголя, нередко восторгались большей их правдивостью и близостью к жизни по сравнению с первым томом:

*«— Удивительно, бесподобно! — воскликнул я. — В этих главах вы гораздо ближе к действительности, чем в первом томе; тут везде слышится жизнь, как она есть, без всяких преувеличений...» (Л. И. Арнольди «Мое знакомство с Гоголем»).*

С этим отзывом тоже можно согласиться. Второй том, как он вырисовывается в написанных главах, а также в соображениях, которыми Гоголь делился, относительно его перспектив, предстает как произведение реалистическое в общепотребительном смысле этого слова, имеющее целью запечатлеть действительность «как она есть», в уравновешенной и объективной картине. Этот переход к реализму как упорядоченной литературной манере, позволяющей копировать жизнь в ее правдоподобных пропорциях, представляется, вместе с падением смеха, вторым наглядным свидетельством творческого оскудения Гоголя. Разучиваясь смеяться, он теряет и охоту утрировать, фантазировать, проецировать мир из внутреннего своего «я» силою преувеличенного, неумеренного воображения, и, как школьник, принимается прилежно списывать с натуры. Это немедленно отражается на качестве его сочинения, которое, желая стать верной копией жизни, теряет яркость, интерес, напряженность и по литературному уровню кажется конспектом средней руки беллетриста. Восхищение слушателей по поводу того, что в новых главах Гоголь становится ближе к действительности, объясняется тем, что он перестает быть Гоголем и начинает писать в обычной, пресной манере, «как все», «как полагается», и даже хуже. Ему нечем писать — он умер внутренне. То, что мы имеем от второго тома, несет печать не столько творческого, сколько механического процесса, как если бы вместо художника поставлен был автомат с заложенной в него нравоописательной программой. «Реализм» в данном случае знаменует отсутствие стиля и внутреннего стимула и заменяет искусство попытками, Гоголю несвойственными и в значительной мере насильственными, выйти сухим из воды за счет «объективной действительности», преподнесенной вместо себя как результат «писательства».

С окончанием первого тома, который невероятным напряжением сил был кое-как завершен, Гоголь начинает обращаться к близким своим, а потом и ко всей России, за помощью, в которой ранее не нуждался, имея в самом себе

источник знаний и образов. Теперь, как о милостыне, просит он присылать ему списки с действительности, желательно в готовом уже, расфасованном виде набросков с каких-то социальных картин и характеров (в сущности, он просит читателей заместить его на писательском месте, прислав ему в конверте недостающие «Мертвые Души»). Попутно вооружается он статистикой и журналистикой в поисках верных сведений и фактов и предпринимает самолично попытки «проездиться по России», чтобы набраться необходимой для нового тома начинки. Эти паллиативы, заставляющие иных почитателей умиляться над его «реализмом» и вопиющие о страшной его писательской нищете, сопровождались различного рода логическими обоснованиями, на которые был он специалист, умея кого угодно, даже себя самого, угворить, что подобное побирушничество и есть для него единственный, практикуемый издавна, способ существования.

*«Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства,— уверяет он в «Авторской Исповеди», жалуясь, что никто почему-то не шлет ему просимых посылок.— У меня только то и выходило хорошо, что взято было мною из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не писал портрета в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображенья, а не воображенья. Чем более вещей принимал я в соображенья, тем у меня верней выходило создание.*

*...Это полное воплощенье в плоть, это полное округленье характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный дряг жизни, когда, содрержа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его всё тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, словом — когда соображу всё от мала до велика, ничего не пропустивши».*

Звучит убедительно, как законченная формула его творческого подхода вообще, и, кажется, вполне отвечает его старой, добротной манере округлять характеры с помощью мельчайших, обступающих человека деталей. Заготавливая впрок такое вкусное определение, Гоголь безусловно опирался на свой прошлый опыт и лишь слегка подтасовал понятия — воображение и соображение. Его доводы можно было бы принять за чистую монету, если бы не сделанное здесь же мимоходом признание, что воображение от него отлетело под



давлением соображения (то есть рассудок убил искусство), если бы не другие, того же времени, признания, что в прежние годы он творил легко и свободно, повинаясь беспредельной фантазии, а теперь, доколе способность воображать им утрачена, он призван писать чистую правду и брать с бою всякую, подсмотренную в натуре черту. Для того и понадобилось ему сталкивать лбами «воображенье» с «соображеньем»: первое у Гоголя уже не работало, и он от него отстал; второе в нынешней его писательской практике означало не что иное, как рассудочную реконструкцию образов из наличного материала действительности. В то время, как собственную рассыпающуюся личность он силился «сообразить» и привести к единству, в его работе «воображенье» также уступило место «соображенью» — рациональному монтажу. Гоголь пробует выдать его за какой-то новый, подсказанный Богом этап, тогда как на деле то была капитуляция.

*«Бог недаром отнял у меня на время силу и способность производить произведенья искусства, чтобы я не стал произвольно выдумывать от себя, не отвлекался бы в идеальность, а держался бы самой существенной правды» (А. О. Смирновой, 20 апреля н. ст. 1847 г. Неаполь).*

Тут важно принять во внимание, что способность производить произведенья у него отнята, и это-то отнятие кладется в основу утешительных построений и новых усилий писать, на сей раз — чистую правду. Когда художнику нечего сказать в свое оправдание, он ссылается на правду. Потеряв возможность творить, Гоголь начинает ориентироваться на действительность, доказывая, что отныне он должен служить не карикатурой, а верным зеркалом жизни, избегая преувеличений и отвлечений в идеальность. Это справедливо в том отношении, что менее всего он теперь способен и склонен к идеализации, будь то идиллия, героика или сатира, и, если он всё же поддается «неправде», в виде ли шаржированных характеристик, в форме ли высокопарных тирад о добродетелях помещика, это не следствие сознательного отвлечения в идеальность, утраченную им навсегда вместе с воображением, с искусством карикатуры, но просто итог неумения работать ни в прежней, ни в новой, предписанной себе выше, манере. Желал-то он создавать характеры не идеальные, но «живые», уравновешенные в добре и зле, многосторонние и соображенные со всех сторон. Если они ему не вполне удаются, то оттого, что он творчески беспомощен во всем — даже в благом намерении следовать правде и описывать всё, «как есть». Придерживаясь ради верности жизни бесцветного

тона, среднего слога, он делает ляпсусы, как начинающий и старательный ученик.

*«Ореховая дверь резного шкафа отворилась сама собою. На обратной половине растворенной двери, ухватясь чудесной ручкой за ручку двери, явилась живая фигурка».*

*«Хлобуев взял в руки картуз. Гости надели на головы картузы, и все отправились пешком осматривать деревню».*

Нет, это не та поэтическая безграмотность прозы, не лихое нерящество слога, за которые всю жизнь его попрекала критика. Гоголь настолько не знает, как это делается — писать, что списывает с ошибками, расставляя слова с аккуратностью немца; оплошности проистекают из правильности языка и единственного его стиля — бесстилия. Между прочим, как раз в это время, в переходе ко второму тому, Гоголь, как никогда, отдается изучению литературного мастерства. Утрачивая способность творить, он хочет ей научиться. Литературная учеба, самообразование входили в его воспитательную программу наряду с уроками нравственности. Подобно тому, как в создании характеров он пробавлялся скрупулезным изучением действительности, стараясь изобразить человека методом соображения всех его частей и сторон, параллельно, в области формы, им были приложены неимоверные старания по части овладения секретами писательской техники. На первых порах это сказалось эффективно на доделке и подчистке его старых произведений, но для нового этапа работы практически ничего не дало. Положительным итогом изучения художественной формы и мастерства явилась лишь серия статей на литературные темы, вошедшая в «Переписку с друзьями». Притом особые хлопоты доставлял ему язык, не приученный к порядку и правильности в прежних его сочинениях. В этом направлении Гоголь выказывает поразительную по утрированному пуризму решительность:

*«Мне доставалось трудно всё то, что достается легко природному писателю. Я до сих пор, как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой, первые необходимые орудия всякого писателя: они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мной имеет право посмеяться едва начинающий школьник. Всё мною написанное замечательно только в психологическом значении, но оно никак не может быть образцом словесности, и тот наставник поступит неосторожно, кто посоветует своим ученикам учиться у меня искусству писать или подобно*

*мне живописать природу: он заставит их производить карикатуры» («О Современнике», 1846 г.).*

Это — новая установка его: забота о языке. Когда литература мертвеет, она начинает во всю печься о чистоте и правильности языка, видя в бледной немочи его признак своей естественности. Отказ производить карикатуры предполагал запрет на поэтические излишества и повелевал изъясняться нарочито доступно и правильно, с «безыскусственной простотой». На деле это сводилось к опреснению речи, которая, становясь нейтральной, порождала иллюзию большего правдоподобия. Апелляция к общим местам правдивости и простоты, по точному наблюдению Вас. Гиппиуса («Гоголь», глава XIII), обращала Гоголя в эпигона того течения, которому некогда он помог появиться на свет под названием «натуральной школь», во главе с хилиастом реализма Белинским. Но помимо общих доводов, говоривших скорее о падении гения, нежели о каком-то его творческом повороте, душою Гоголя владела еще одна идея, лично им выполненная и чрезвычайно для него существенная, подстрекавшая отказаться от своего прежнего стиля. «Соображение» и «правильность» в понимании Гоголя сулили гармонию, которой он добивался во всем — в обществе и в своих умозрениях, ищущих «построенья полнейшего», в собственной душе — приведа ее в должную стройность, в художественном тексте — найдя «середину в словах». «Середина» в употреблении Гоголя — никоим образом не середина посредственности, но высокое примирение всех начал и сторон в гармоническом ладе души, государства, народа, произведения, языка. К подобному примирению стремился он в «Переписке с друзьями» и был удивлен и встревожен вызванным ею раздором. Подобную же гармонию видел он в «Одиссее», переведенной Жуковским, чей язык, казалось ему, превосходя самого Пушкина, достиг идеального согласия и равновесия.

*«Все переходы и встречи противоположностей совершаются в таком благозвучии, всё так и сливается в одно, улетающая тяжёлый громозд всего целого, что, кажется, как бы пропал вовсе всякий слог и склад речи...»*

В карикатурном зеркале второго тома «Мертвых Душ» эта иносказательная пропажа слога и склада речи реализовалась буквально. Но стимулом ее был всё тот же немислимый синтез, который в эти годы влек Гоголя по российскому бездорожью и собственной расшатанности к единству лица человеческого и дальше — к устроению Царства Божия на

земле. Уделом его было, хотел он — не хотел, производить карикатуры. Даже отказавшись от них, он оставался им верен невольно на почве рассудка и порядка, простоты и жизненной правды. Практически «середина в словах» обернулась карикатурой штампа, посредственности, вырождения. Но в идеале за безликими главами незавершенного тома ему слышался рокот гомеровых волн, спокойствие и гармония вечности...

*«Временами мне кажется, что II-й том „Мертвых Душ“ мог бы послужить для русских читателей некоторою ступенью к чтению Гомера» (В. А. Жуковскому, 14 декабря 1849 г. Москва).*

Почему-то не обращают внимания на то, что так непосредственно чувствуют дети, сталкиваясь впервые с «Мертвыми Душами», — на то, что «Мертвые Души» — скучные, причем уже в пределах превосходного первого тома и не сюжетом только, не жизнью, в них описанной, но как-то внутренне скучные. Гениальное творение скрывает от нас, что создатель его, работая над ним, умирал, и признаки одряхления, душевного и телесного, сказываются уже здесь в какой-то вялости тона. Будто Гоголю скучно рассказывать обо всех этих людях, растянувшихся глупой кишкой по дороге (Погодин метко сравнивал «Мертвые Души» с длинным коридором, по которому автор ведет читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате монстра), односложной галереей портретов, переходящей затем, со второй половины тома, всё более на скороговорку, на конспективное изложение походов героя и нравов губернского города, словно автору надоела эта серая материя и он сам хотел бы поскорее от нее отделаться<sup>1</sup>. Правда, со второй половины первого тома Гоголь

---

<sup>1</sup> Впоследствии, уже заручась секретами своего ремесла и надеждами на дальнейшее, правдивое продолжение, Гоголь пенял критике, что мало она бранила его и не заметила главных недостатков первого тома:

*«Дивлюсь только тому, что мало было сделано упреков в отношении к искусству и творческой науке. Этому помешало как гневное расположение моих критиков, так и привычка всматриваться в постройку сочинения. Следовало показать, какие части чудовищно длинны в отношении к другим, где писатель изменил самому себе, выдержав своего собственного, уже раз принятого тона. Никто не заметил даже, что последняя половина книги отработана меньше первой, что в ней великие пропуски, что главные и важные обстоятельства сжаты и сокращены, неважные и побочные распространены, что не столько выступает внутренний дух всего сочинения,*

всё чаще прибегает к пафосному, лирическому слогу в своих отступлениях, как бы желая выйти и улететь за пределы ненавистного текста, но это настойчивое обращение за помощью к «восторгу» понадобилось для разрядки и ради компенсации тускнеющего на глазах сочинения и было сопряжено с одновременным падением смеха и интереса в самом повествовании. В общем, первый том нес на себе следы душевного упадка, проявившегося откровенно впоследствии, когда творчество остановилось и на бескрасочном фоне второго тома Гоголь предстал банкротом, работающим впустую с тем же железным упорством и вместе по какой-то инерции растрченного вконец механизма. Его внутреннее состояние передают строки, обращенные к Жуковскому (3 апреля 1849 г. Москва) и проходящие рефреном через его переписку последних лет жизни:

*«Не могу понять, отчего не пишется и отчего не хочется говорить ни о чем. Может быть, оттого, что не стало наконец ничего любопытного на свете».*

Но ведь подобные настроения, за десять лет до приведенных слов, определяли уже во многом тональность «Мертвых Душ», найдя поэтическое выражение в знаменитом зачине шестой главы, посвященной старости Плюшкина и начинавшейся с авторских ламентаций по сходному поводу. Привожу этот известный отрывок в сокращении и с отчеркиванием некоторых существенных акцентов.

*«Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было в е с е л о подъезжать в первый раз к незнакомому месту: всё равно была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слобода,— любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, всё, что носило только на*

---

*сколько мечется в глаза пестрота частей и лоскутиность его. Словом — можно было сделать много нападений несравненно дельнейших, избрать меня гораздо больше, нежели теперь бранят, и избрать за дело» («Четыре письма к разным лицам по поводу „Мертвых Душ“»).*

По всему видно, что это писал Гоголь, обвороченный уже гармонией второго тома, в свете которой пестрота и нестройность первого резала ему глаза. Однако он лучше других знал свои недостатки и верно фиксировал их — в частности, качественную неоднородность поэмы, принимавшей к концу — очевидно, по вине разставших с годами отяжек и неполадок — беглый и клочковатый, задыхающийся как бы набросок. По тексту поэмы заметно, что ее вывозили с трудом, на какой-то последней степени напряжения.

себе напечатление какой-нибудь заметной особенности, всё останавливало меня и поражало. ...Ничто не ускользало от свежего, тонкого внимания... Уездный чиновник проиди мимо — я уже и задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату, или прямо к себе домой... (следует картина семейного вечера. — А. Т.). Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел... За манчиво мелькали мне издали, сквозь древесную зелень, красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады и он покажется весь, с своею, тогда увы! вовсе не пошлою наружностью, и по нем старался угадать: кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него, или целых шестеро дочерей, с звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшую сестрицею, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам, или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь, да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу.

Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой знакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприятно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О, моя юность! о, моя свежесть!»

Любопытство, живой интерес, вызнание и выявление особенного в мире, воображение, вхождение в круг чужих, особенных затей и привычек, удивление, смех и любовь — так рекомендует себя молодое и творческое состояние души Гоголя. Равнодушием, скольжением мимо, исчислением однообразно пошлых примет, холодным безучастием к миру, исчезновением смеха, любви, движения — измеряется старость, нынешнее безблагодатное, нетворческое состояние Гоголя. О, разумеется, он еще не таков, он жив еще и продолжает творить, вглядываясь, входя в раздвигающиеся окна садов, квартир, семей и характеров, — исчезни всякое удивление и исполнись его душа окончательного безучастия, не было бы этого, тоскующего о прошлом отрывка. Но всё скучнее и неприятнее ему, всё неподвижнее он смотрит вокруг, приближаясь к тому роковому порогу, когда не станет для него «ничего любопытного на свете». «Мертвые Души» передают нам это, воплощенное непосредственно в тканях словесных, омертвление души художника, еще влащащего-

ся за Чичиковым, еще способного и на внезапные лирические взрывы и всплески, но как бы через силу, как бы в последний раз, в счастливые минуты прозрения, рядом с которыми равнодушные его постоянно охлажденного взора кажется еще безотраднее и безнадежнее. Бесспорно, самый взгляд этот заключает немало достоинств и художественных красот для сотворенного его холодом неподвижного пространства поэмы. Для этого нужно быть гением, быть Гоголем, чтобы собственную смерть обращать, пока хватает сил, в великое произведение, которое само по себе на этой смерти выигрывает и вместе с тем уже полнится ею, несет ее, иссушается и сходит на нет, возвещая величие автора заодно с его погребением.

Нет, причина не в том, что Гоголь в «Мертвых Душах» показал одно плохое. Ужаснее его равнодушный, оптовый взгляд на человеческую породу, хотя на нем, повторяю, зиждется вся колоссальность гоголевского создания, не перестающего оперировать общими величинами, круглыми суммами, описывающего известными словами всем известные вещи («Покой был известного рода, ибо гостиница тоже была известного рода...»), не примечая ничего любопытного, особенного в этом скопище однородно пошлых существ, тождественных друг другу в равномерном отсутствии души и жизни. Ужас состоит не в том, что здесь нет светлого,— здесь нет и темного, нет ни худшего, ни лучшего, все одинаковы, равнозначны, не возбуждая ни сострадания, ни ненависти — лишь одинаково ровное и холодное равнодушие. Нужно было уехать в Италию и вычеркнуть себя из списков живых, нужно было запереться в себе и извергнуть всё человеческое, чтобы посмотреть на жизнь так, как посмотрел на нее Гоголь. Кто там плачет о его преждевременной смерти? Не умри он — не было бы его великолепной поэмы.

Все персонажи «Мертвых Душ» в сущности мертвы и бездушны и как персонажи, которым полагается жить, живут по преимуществу за счет вещей, их обступающих, замещающих и демонстрирующих полнее и лучше, нежели они сами на то способны. С первой же страницы намечается это уравнивание в правах человека с вещами, это чудовищное удвоение человека вещью, которое затем так блистательно развернется и пройдет через весь текст, где вещи действуют вразумительнее своих владельцев, существующих в значительной мере благодаря вещам, оживающим под дьявольским взглядом, чтобы составить единообразный парад кадавров и муляжей — овестившихся лиц и очеловечившихся предметов.

*«...В окне помещался сбитеничик, с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль бородою».*

Поэме Гоголя свойственен сплошной подход к человеку, который сам по себе вовсе не интересен, не нужен и занимает автора только в той степени, в какой составляет известный сорт или товар на всемирном рынке, и на этом условии кроется сплошной краской, одноименным набором вещей, из быта перешедших в портрет и внутренний состав человека. Не знаю, сознавал ли Гоголь, что он в отношении своих бездушных героев ведет себя так же, как Чичиков в обращении со своими мертвцами, которых тот, конечно же, не принимает всерьез за подлинные души, но покупает, подсчитывает и в случае чего, спуская с аукциона, распишет мнимые лица, пожалуй, живее, чем Гоголь своего Собакевича, Коробочку, Манилова... (Не пытался ли Гоголь, когда изнемог производить из воздуха, из себя, этот груз, заполучить по дешевке у знакомых своих и читателей «мертвые души» в поголовной описи, чтобы пустить затем за живых по всей России, по пустыне своего истощившегося творения?..) Чем дальше по ходу пьесы, тем небрежнее и торопливее он в вынесении приговоров, в составлении смертных реестров, тем пространнее и отчужденнее взгляд его, скользкий по долам и весям в поисках годного для заполнения тома товара.

*«Все были такого рода, которым жены в разговорах, происходящих в уединении, давали названия: кубышки, толстунчика, пузанчика, чернушки, кики, жужу и проч. Но вообще они были народ добрый, полны гостеприимства...»*

Каким презрением (живого — к мертвым, мертвого — к живым) надлежало ему запастись, чтобы так, на фунты, на кубышки, разменивать человека! А впрочем, народ добрый — добавил бы Хлестаков, обозвав гостеприимных хозяев скотами и дураками, да и запродавал бы оптом какому-нибудь Тряпичкину. Но Гоголь-то, мы помним, в «Ревизоре» — не чета Хлестакову — различал любопытное и особенное в людях, сочувствовал им, проникался, и, хотя его персонажами там, строго говоря, были не менее пошлые и куда более развращенные твари, он проводил их всех без исключения по живому и по человеческому курсу. О героях «Ревизора» сказано с ясностью, и это соответствует наличной картине:



*«...Никто из приведенных лиц не утратил своего человеческого образа: человеческое слышится везде» («Театральный разъезд»).*

Где, в какой микроскоп, разыщется след человеческий в «Мертвых Душах»? Да и души ли все эти кубышки, коробочки, толстунчики, жужу и кики, человек ли Собакевич и Плюшкин?.. Но вообще они были народ гостеприимный...

Здесь есть закономерность — смеха. Пока мы смеемся, мы живы. В «Ревизоре» единственный признак лица (какой-нибудь зуб со свистом) смешит и изумляет; в «Мертвых Душах» тот же признак (густые брови прокурора) ставится как клеймо недозволенности почитаться лицом. В «Ревизоре» герои живут, страждут, мыслят, возвышаются, падают и только в немой сцене конца застывают в пойманной позе, чтобы такими столбами и тумбами въехать в «Мертвые Души» и там уже остаться навеки — в оцепеневшем паноптикуме. В «Ревизоре» даже пороки резвятся и играют, возбуждая смех удивления перед затейливостью души человеческой (взятки борзыми щенками); в «Мертвых Душах» самые невинные привычки и даже достоинства наши вменяются в грех и позор, подверстываются в общие клочки, в поголовный набор предметов, обеспечивающих безличие личности. Они фигурируют здесь не в виде отдельного свойства, присущего отдельному лицу, но в ведомствах и картотеках статистики, переведенные на цифры, на толпы. Словно какой-то далекий бог, смотрит Гоголь на землю и видит с высоты лишь массовые расходы — разряды, классы и типы, стада и категории пошлости. Не он ли, не Гоголь ли, и до и после поэмы, восхищался всегда патриархальностью русских обычаев, находя в ней едва ли не базу спасения России? В «Мертвых Душах» и эта приятная наша черта заносится в проскрипционные списки, как, впрочем, всё здесь идет лишь в ущерб и в поношение — супружеские нежности, литературные вкусы героев, чадолюбие и простодушие.

*«Впрочем, если сказать правду, они все были народ добрый, жили между собою в ладу, обращались совершенно по-приятельски, и беседы их носили печать какого-то особенного простодушия и короткости: „Любезный друг, Илья Ильич!“... „Послушай, брат, Антипатор Захарьевич!“... „Ты заврался, мамочка, Иван Григорьевич“. К почтмейстеру, которого звали Иван Андреевич, всегда прибавляли: „Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч?“ Словом, всё было очень семейственно. Многие были не без образования: председатель палаты знал наизусть „Людмилу“ Жуковского, которая еще была тогда*

*непростывшюю новостью, и мастерски читал многие места, особенно: „Бор заснул, долина спит“ и слово: „чу!“ так, что в самом деле виделось, как будто долина спит; для большего сходства, он даже в это время зажмуривал глаза. Почтмейстер вдавался более в философию и читал весьма прилежно, даже по ночам, Юнговы „Ночи“ и „Ключ к таинствам природы“ Эккартсгаузена, из которых делал весьма длинные выписки; но какого рода они были, это не было известно. Впрочем, он был остряк, цветист в словах и любил, как сам выражался, „уснастить“ речь. А уснащивал он речь множеством разных частиц, как-то: „сударь ты мой, этаким какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе представить, относительно так сказать, некоторым образом“, и прочими, которые сыпал он мешками; уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что всё придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намекам. Прочие тоже были, более или менее, люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто „Московские Ведомости“, кто даже и совсем ничего не читал. Кто был то, что называют тюрюк, то есть человек, которого нужно было подымать пинком на что-нибудь; кто был просто байбак, которого даже напрасно было подымать: не встанет ни в каком случае».*

Как отогреваешься сердцем, вспоминая «Ревизора» с добрым его почтмейстером, который и чужие-то письма читал с неподдельным интересом, возбуждая наш к нему ответный интерес, где у всякой рожи была своя, неповторимая, гримаса — не то что эти групповые застывшие ужимки. Да полно, почтмейстер ли уснащает несмешные слова автоматической мимикой? — не Гоголь ли это всюю работает и подмигивает нам, чтобы рассмешить, с весьма едким и сатирическим видом? Во всем сквозит уже скука, раздражение и напряженность. Как бы дал он им пинка — всем этим байбакам, тюрюкам!.. От этих глав уже веет холодом безлюдной «Переписки с друзьями»...

В «Ревизоре» мы смеемся и любим. Нет, неточно: в «Ревизоре» мы смеемся и поэтому любим. В «Мертвых Душах», по ходу первого тома, мы всё меньше и меньше смеемся и никого уже не любим. Смеемся же и удивляемся пуще всего — вещам, каким-нибудь шкафам Собакевича, подменившим человеческий образ. Люди в «Мертвых Душах» изначально убиты подходом к вещи, ожившей там, где человек пошел за вещь. Далее, во втором томе, не над чем уже и смеяться — не то, что любить. Здесь надо всем уже властву-

ет авторское безучастие, местами переходящее в бессильную и откровенную злость. Здесь даже добрый Костанжогло разлился и почернел от собственной желчи.

*«Но заметна, однако же, была примесь чего-то желчного и озлобленного»,— комментировал Гоголь его высокопарные декламации.*

*«...Желчь в нем пробудилась...»*

*«Суровая тень темной ипохондрии омрачила его живое лицо. Вдоль лба и поперек его собрались морщины, обличители гневного движенья взволнованной желчи».*

Потом он эти ремарки подчистил и вычеркнул — слишком явно проступала в них авторская чернота. А что поделаешь! Гоголь к тому времени сам стал ревизором, с наморщенным челом и указующим перстом, распекающим направо — налево нерадивых своих сограждан, стал «сатириком», разучившимся смеяться и не желавшим более производить карикатуры...

Иссякание смеха в творчестве Гоголя следует параллельно, а в чем-то однозначно, тождественно иссяканию любви. Исчезновением того и другого отмечено его бесплодие. Любовь он как-то проглядел или растерял незаметно, работая над «Мертвыми Душами», гоня из себя пороки и недостатки, преследуя их чем попало, возвышаясь над ними и вместе над человечеством, опошлевшим в тех же грехах, вырастая нравственно, показывая чудеса воздержания, терпения, трудоспособности, — словом, всё превзойдя и не обнаружив в итоге любви в своем сердце. Крест черствости душевной, крест неумения любить — в этом и заключался, наверное, самый глубокий изъян в его душе, от которого развилась по всему его делу и тексту неизлечимая болезнь, и не было в нем, возможно, никакого иного порока, кроме этого вопиющего о себе безлюбия. И чтобы что-то поправить, Гоголь, не любя и презирая людей, начал совать им взамен черствую корку пользы, сопроводив ее доброй порцией нравственных назиданий. Быть писателем до мозга костей и не мочь писать — куда как мучительно. Но еще, вероятно, мучительнее быть христианином в полном значении слова и не мочь любить. Не это ли имел он в виду, говоря (письмо М. А. Константиновскому, 21 апреля 1848 г.): «мне трудней спастись, чем кому другому»?..

Нет ничего страшнее в человеческих документах, чем письма Гоголя к обожавшим его домашним, к матери и сестрам, падающие, примерно, на время максимального его подъема, на 1842-47 годы, когда, закончив «Мертвые Души» первого тома, он исчерпался как человек и писатель, но, еще не ведая этого, превозносился в своем уме и намерениях до

Бог знает каких степеней. Становясь всё выше и чище, Гоголь в роли духовника и наставника ждал христианских подвигов и от своей семьи и третировал ее и тиранил, как хотел,— мимо этого гнойника в его жизни невозможно пройти, если вы хотите понять, чего ему стоила любовь к ближнему.

*«Умеешь ли ты,—обращался Гоголь к сестре,—во всем обвинить себя, а не других, потому что обвинение других есть уже не христианское чувство, хотя бы даже другие и точно были виноваты... У тебя, я знаю, часто в голове бродит мысль, что я тебя меньше люблю, чем других. Знай же, я говорю тебе совершенную истину в эту минуту,—я никого из вас еще до сих пор не люблю так, как бы я хотел любить. Я ту из вас могу только любить, которая будет великодушнее всех других, которая будет уметь облобызать и броситься на шею к тому, кто оскорбит ее чем-нибудь, которая позабудет совершенно о себе и будет думать только о других сестрах, которая позабудет о своем счастье и будет думать только о счастье других. Та только будет сестра души моей, а до сих пор такой нет между вами, и сердце мое равно закрыто ко всем вам. Вот что я должен сказать вам, чтобы объяснить, почему я зол и почему сердце мое не в состоянии никого из вас любить так, как бы я хотел любить» (М. В. Гоголь, август-сентябрь 1842 г. Гастейн).*

И в такой казуистике он путался без конца: уча великодушию, преподавал урок злости; веля прощать обидчикам, здесь же не прощал сестре, что та не доросла до его совершенства. Проповеди Гоголя родным, которых он заставлял перечитывать его письма ежедневно, как Св. Писание, соединяют безграничную заботу об их нравственном воспитании с фатальным отсутствием естественного слова участия, доброты, которое бы звучало по-родственному или хоть пожитейски душевно. Многолетние, скучнейшие, бессердечнейшие нотации. Когда же ему надоело прорабатывать и прищучивать их, умевших лишь попросту, по-человечески любить его, молиться и плакать, Гоголь придумывал что-нибудь послаще,—например, чтобы наказать мать и сестер за то, что они «так мало христианки», он извещал из торжественно, что в продолжении года воздержится им писать:

*«Потому что у меня есть дело, которым следует позаняться и которое важнее нашей переписки. А потому советую вам почаще перечитывать мои прежние письма во всё продолжение года так, как бы новые» (М. И. Гоголь, 16 февраля н. ст. 1847 г. Неаполь).*

В том же году, не прошло и месяца, постиг его тяжелейший удар со стороны осрамившей его на всю Россию «Переписки с друзьями», заставивший Гоголя как-то опомниться и, критически взглянув на себя, лучше почувствовать свой душевный дефект, ставший неразрешимой проблемой, ибо, как нельзя принудить себя творить, так же нельзя научиться любить ближнего. Но как бы то ни было, проблема нравственной своей недостаточности, выросшей в преграду и на его литературном пути, сделалась для Гоголя первостепенной.

Собственно человеческое свойство — такое, как сердечная черствость, — не всегда, понятно, отражается на писательской деятельности, и можно, в принципе, быть очень любящим в своих сочинениях, не будучи в жизни добрым и хорошим человеком. Но для Гоголя эти стороны тесно связаны — не только в том отношении, что он, как никто, стремился к целостному образу жизни и желал быть в полном смысле христианским писателем. Между творчеством и любовью у него наблюдается чрезвычайно сложная, тонкая и многосторонняя зависимость, отражавшаяся и на его нравственном облике, и на художественных созданиях. Причем творческая активность не только сопровождается у Гоголя сердечным участием к человеку, или таковое производит, или таковым порождается, но в некотором отношении его же исключает, сдерживает, ограничивает и в этом качестве, может быть, само же роет себе могилу, иссушая писателя, занятого без остатка трудом, для которого любовь к ближним своим, в общем, дело второстепенное.

*«Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависти. Но любить кого-либо особенно, предпочтительно я мог только из интереса. Если кто-нибудь доставил мне существенную пользу и через него обогатилась моя голова, если он натолкнул меня на новые наблюдения или над ним самим, над его собственной душой, или над другими людьми, словом, если чрез него как-нибудь раздвинулись мои познания, я уже того человека люблю, хоть будь он и меньше достоин любви, чем другой, хоть он и меньше меня любит. Что ж делать? вы видите, какое творенье человек, у него прежде всего свой собственный интерес» (С. Т. Аксакову, 18 декабря и. ст. 1847 г. Неаполь).*

В этом признании важно принять во внимание не так эгоизм или корысть, как поразительную целенаправленность натуры Гоголя и свойственный ему рациональный подход к вещам даже такого рода, как сердечное влечение и ду-

шевная близость. Это вызвано безусловно его полной подчиненностью творчеству, которое позволяет любить лишь полезных ему гостей и беспощадно отбрасывает всё, что этой работе непосредственно не нужно, хотя в число забракованных может ненароком попасть вся жизнь человеческая и писательская в придачу. С другой стороны, художественная способность (или то, что от нее остается), как открывается Гоголь в том же письме Аксакову, заключает в себе и такую нравственную опасность, что позволяет воображаемое принимать за действительное, замыкаясь в своем уме, и, доколе у автора пропадает активность к фантазиям на бумаге, фантазировать в собственном сердце и в отношениях в ближних.

*«Что же делать, если я не полюбил вас так, как следовало полюбить вас! Кто же из нас властен над собою? и кто умеет принудить себя к чему бы то ни было? Мне кажется, что я теперь всё-таки люблю вас больше, нежели прежде, но это потому только, что любовь моя ко всем вообще увеличилась: она должна была увеличиться, потому что это любовь во Христе. Так я уверен. А на самом деле, может быть, и это ложь, и я ничуть не умею любить лучше, чем прежде. Поэты лгут иногда невинным образом, обманывая сами себя. Рожденные понимать многое, постигать мыслию красоту чувств и высокие явления в душе человеческой, они часто думают, что уже вместили в самих себе то, что могут только несколько оценить и с некоторой живостью выставить на глаза другим, и величаются чужим, как своим собственным добром».*

На все эти «может быть» нельзя, разумеется, дать сколько-нибудь четкий, однозначный ответ, как невозможно составить рецепт любви и творчества с полной дозировкой всех слагаемых душевной жизни. Возможно, однако, заметить, что подобные вопросы всё больше выдвигаются в сознании Гоголя на передний план, составляя главный предмет его раздумий и мучений, поскольку именно от них зависит всецело его судьба писателя и человека, и то с сомнением, то с надеждой, то с ужасом прислушивается он к своему сердцу, ломая голову на тему — «любит — не любит». Но если в благорасположенном, рабочем настроении он колебался, подходя трезво, ответить с точностью, что же он собой представляет в нравственном содержании и насколько в нем художник мешает или способствует душевной пользе, как и та способствует ли, препятствует ли писать, то отлив вдохновения и творческая депрессия

говорят ему со всей окончательностью, что со смертью художника исчезают в нем и задатки христианской нравственности, так тщательно им насаждаемые в течение многих лет самоотверженного служения Богу, душе и людям. Придирчивый деспот и капризник немедленно просыпается в Гоголе, едва он утрачивает свое верховное качество писателя; отрешенный от творческой должности, «колдун» принимается садистически мучить ближнего — по всем рядам и правилам, вероятно, христианской морали, от которой, с потерей любви, остается лишь скорлупа, изощренная вьедливость жестокосердного ментора.

*«Сначала работа шла хорошо, часть зимы провелась отлично, потом опять отупела голова, не стало благодатного настроения и высокого размягчения душевного, во время которого вдохновенно совершается работа. И всё во мне вдруг ожесточилось, сердце очерствело. Я впал в досаду, в хандру, чуть не в злость. Не было близких моему сердцу людей, которых бы в это время я не обидел и не оскорбил в припадке какой-то холодной бесчувственности сердца. Я действовал таким образом, как может только действовать в состоянии безумия человек, и воображая в то же время, что действую умно. Но Бог милосерд. Он меня наказал нервическим сильным расстройством... Внезапно растопившаяся моя душа заныла от страшной жестокости моего сердца. С ужасом вижу я, что в нем лежит один эгоизм, что, несмотря на умение ценить высокие чувства, я их не вмещаю в себе вовсе, становлюсь хуже, характер мой портится, и всякий поступок уже есть кому-нибудь оскорбление. Мне страшно теперь за себя так, как никогда доселе» (С. М. Соллогуб, 24 мая 1849 г. Москва).*

Если учесть, что благодатное состояние посещало его всё реже, да и то, по-видимому, судя по результатам, оказывалось зачастую иллюзией, не подвигавшей его реально ни на шаг, можно представить, в какого урода обратился бы Гоголь под старость, подступившую к нему феноменально рано, когда ему не исполнилось и тридцати еще лет, если бы не та же узда религии и морали. Разговоры о ведьме-старости, «которая вся из железа, перед которой железо есть милосердь», отраженные в «Мертвых Душах» в отвратительном виде Плюшкина и других закостеневших в своей коросте уродов, имели для Гоголя личный и страшный смысл вполне конкретной и возрастающей с годами угрозы. Накануне тридцатилетнего своего юбилея призывая старого товарища А. С. Данилевского всячески поддерживать и стимулировать между

ними прежние, приятельские отношения, Гоголь трактует их как профилактические меры по спасению собственной личности, которую удушает застывающая ее оболочка. Страшный обряд погребения живого человека, так разнообразно представленный в судьбе Гоголя, ясно означен и в этом иносказании — о душе человеческой под слоем своих отложений.

*«Мы приближаемся с тобою (высшие силы! какая это тоска!) к тем летам, когда уходят на дно глубже наши живые впечатления и когда наши ослабевающие, деревянные силы, увя, часто не в силах вызвать их наружу так же легко, как они прежде всплывали сами, почти без зазыву. Мы ежеминутно должны бояться, чтобы кора, нас облегающая, не окрепла и не обратилась, наконец, в такую толщу, сквозь которую им в самом деле никак нельзя будет пробиться. Употребим же, по крайней мере, всё, чтобы спасти их хотя бедный остаток» (5 февраля н. ст. 1839 г. Рим).*

Нам часто кажется, что Гоголь напрасно так много молился и каялся, мучая себя и других проблемами совершенствования. Между тем ему было виднее, как ему еще удерживаться на поверхности и бороться с параличами старческого своего столбняка, и не будь в нем веры в спасительность креста и страдания, в неотразимость любви и святости, в чудо и всемогущество Божие, весь этот процесс омертвления, занявший едва ли не половину его сознательной жизни, возможно, проявился бы в нем куда более резко. В реальных условиях его внутренней биографии, как бы ни перемудрил он и сколько бы ни напортил своим подлинным и мнимым христианством, оно при всех издержках всё же сулило надежду пробить в утолщавшейся душевной коре его — брешь. Путь христианина, противопоставленный на какое-то время его писательскому пути, был для Гоголя многолетней попыткой вернуть себе человеческий образ, угасавший за недостатком любви, за отвердением всех интересов, внутренних тканей и связей, и выйти опять, с другого конца, в писатели. Но ведьма-старость не знает милосердия и сами достоинства наши и старания возродиться обращает в жестокую корку, сквозь которую всё трудней и трудней подать нам весть о себе. Благие побуждения самого возвышенного и человеколюбивого свойства застывали подчас у Гоголя в карикатурные наросты и опухоли, в скорлупу на его сердце. То же происходило с его творчеством — оно застывало на ходу, по мере замедления работы и отлива вдохновенной энергии, — в жуткую маску смеха под названием «Мертвые Души», возбуждавшую не смех уже, но тоску и ужас. Как мог он, по окончании



первого тома, вновь заставить себя производить карикатуры (не говоря о том, что что-то по-настоящему производить он уже и не мог), если все они, отделившись от него не вполне в недавнем его создании, казали ему же преувеличенный образ — образ души, погребенной под корой вещества. Он считал своим долгом теперь пробить эту корку, а не наращивать ее дальше в непробудных карикатурах, представлявших, помимо прочего, в оплотненных контурах образ всечеловеческой смерти и персонально его, Гоголя, плачевный итог.

*«Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но все не там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что всё что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности».*

Речь идет о Собакевиче. Но ведь и о Гоголе тоже. Не в том смысле, что Собакевич это замаскированный Гоголь или какой-то олицетворенный и безобразно раздутый его порок, от которого он хочет избавиться, спихнув на своего персонажа. От того, что запечатлел здесь Гоголь, вольно или невольно затронув и свою участь, и свою личность писателя, ушедшего в себя, как в могилу, очерстневшего в холодном презрении, живущего как будто под спудом своих странных образований, под слоем этой тягучей и намертво застывающей магмы, которую он здесь громоздит горами вещей, собором монстров, уже схваченный сам за горло рукою безжалостной старости, — так просто не избавишься. Корка «Мертвых Душ», похожая на земную коросту, столь неподобная по художественной своей плотности и мощи для нашего стороннего, читательского взгляда, заставляющая нас восхищаться, рассуждая о новом космосе, созданном Гоголем, о «географии прозы», ему-то изнутри, из глубины, была тяжела и давила. Как пить просит (из записной книжки 1841—42 гг.):

*«Боже, дай полюбить еще больше людей! Дай обрать в памяти своей всё лучшее в них, припомнить ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви, быть в силах изобразить! О, пусть же сама любовь будет мне вдохновеньем!»*

Не будет! Не дадут! Быть может, потому не дадут, что о любви не просят ради того, чтобы ею вдохновляться и быть в силах изобразить, — ишь нашелся охотник, любви ему захотелось — для книги... Только чтобы дописать «Мертвые души», разыскать засыпанную кошем бессмертным душу Собакевича (кто засыпал? — ты и засыпал!) и до своей, очерстневшей

в необъятном труде, закостеневшей души докопаться — перевернуть карикатуру, кору земную — к небу, фениксом, гоголем!.. И откуда не придут к нему любовь с вдохновением (а они не придут), он бессмертным кощею оковывает душу еще более твердым, негибашым панцирем — нравственных назиданий и героических усилий любить, истязая себя и ближнего...

Когда нам Гоголь годами читает мораль или поет над собой заупокойную службу, кажется, этот лед, этот камень растопить и пробить способен только прежний его, искрометный, всепобеждающий смех. Отчего, в самом деле, не исполнил он свой же завет, адресованный в «Мертвых Душах» жестоковыйному повытчику, «который был образ какой-то каменной бесчувственности и непотрясаемости»? Это бы помогло Гоголю.

*«...Хоть бы раз показал он в чем-нибудь участие; хоть бы напился пьян и в пьянстве рассмеялся бы; хоть бы даже предался дикому веселью, какому предается разбойник в пьяную минуту...»*

Он и рассмеялся.

*«Но что за рожка вышла из этой усмешки! И подобья не было на усмешку, а точно как бы человек, доставши себе в нос пасморк и силась чихнуть, не чихнул, но так и остался в положении человека, собирающегося чихнуть».*

Так представлен смех лакея Петрушки в начале второго тома «Мертвых Душ». Мы с ужасом убеждаемся, что уже и смех у Гоголя покрывается покоробленной коркой и застывает в неживую гримасу, не способную возбудить ни сочувствия, ни движения, от которой и самый смех отлетел уже навсегда, оставив свою пустую, овеществленную оболочку. Так завершилась эволюция комического у Гоголя.

При виде этого символа самой стилистики иссыхания, как она выразилась в «Мертвых Душах», на ум приходит фантазия, что и мертвый Гоголь как бы силится смеяться, что не только всеобщая жизнь, но и смерть, во всяком случае поверхность смерти — череп, тронута карикатурой улыбки. В каждом из нас запрятана в середину тела такая карикатура — скелет человеческий и череп. Обратная программа — души. Мы живем на карикатурной основе. И в середину земли закопан череп Адамов, он скалится в ожидании, когда же наконец воскреснут Мертвые Души...

Всем памятна сцена: Гамлет с черепом в руках, в воспоминаниях о милом друге, о комике.— Бедный Йорик!.. Вся музыка этой фразы в мгновенном переключении с черепа на

живое лицо, на смеющиеся уста человека, которого так любил принц Гамлет и который оставил ему эту последнюю грустную шутку — череп, соединив оба полюса смеха, альфу и омегу земного пути, в этом двойном, меняющемся к смерти мгновенно, и назад, к смеющейся жизни, портрете. Зловещая маска Гоголя, карикатурный портрет смерти, которые он нам показал в своем лице так откровенно и страшно в последние годы, столь же многозначительны и, глядя о конце писателя, позволяют принять как дар его гения этот отгадывающий и совсем, казалось бы, напрасный образ...

## *Глава четвертая*

### ГЕОГРАФИЯ ПРОЗЫ

---

Гоголь оставил нам образ прозы, как Пушкин — образ поэзии. С Гоголя русская словесность вкусила соль прозы, обрела прозу как почву и загорелась прозой в значении генерального поприща, изобильной и великой земли с независимым именем — проза. До Гоголя прозы не было. То есть, существуя физически, она не входила в сознание как вполне осуществившийся факт, как художественная реальность со своим специфическим климатом и рельефом, не менее многосложным и красочным, чем мир и язык поэзии. Проза не была еще в полном смысле языком искусства, прозябая на задних ролях, пробавляясь неопределенными признаками — «ни то ни се». Вне Гоголя с его прозой мы находились и до сих пор еще находимся в приятной уверенности господина Журдена, осведомленного под старость, что он всю жизнь, оказалось, говорил не иначе, как прозой, и, значит, берясь за прозаическое перо, мы пишем, как говорим, лишь более изящно и складно. В эпоху Гоголя принцип непринужденного говорения, спокойного и живого рассказывания был доведен до совершенства повестями Пушкина и Лермонтова, которыми Гоголь от души восхищался, и если не следовал той же манере, то прежде всего по неумению так просто и складно рассказывать. Для этого в первую очередь он был слишком провинциален, обремененный к тому же иноязычной, малороссийской стихией, и, приобщившись к изящной словесности, не переставал на себе ощущать груз первородной безграмотности и фатального неумения облекать свои мысли в легкую и безыскусную форму. По речевой культуре

Гоголь с детских ногтей риторичен и вместе вульгарен (что так отчетливо проявилось в его переписке); он ощущает словесность немного по-старомодному, как выделенную, писменную речь, требующую особого почерка, стилистического нажима в ту или иную сторону, всевозможных украшений, экивоков и порою заведомых нарушений общепринятых правил (когда пишущий желает загнуть что-то сногшибательное, прекрасно сознавая притом, что здесь, как подобает в письменной речи, он опять-таки перебарщивает, уснащая тугую цидулу каким-нибудь отборным словом). Это речь, беспрестанно памятующая о своем оформлении, преисполненная сознания собственного слога. Но оно-то, это сознание, это отставание и невладение опытом в ту пору достаточно гладкого литературного языка, помогло ему следовать собственным курсом и создать прозу как особого рода художественный жаргон, как язык, заведомо отклоняющийся от средней нормы, принятой в образованном обществе, притом сразу в двух направлениях — высокой поэзии и грубейшего просторечия. Гоголь преодолевал языковой барьер, прибегнув не к речи, какою мы говорим, но скорее — к неумению говорить обычно, чем и является проза в ее полномочном значении. Сам не заметив того, он открыл, что проза, как всякое искусство, предполагает переход на незнакомый язык и в этом экзотическом качестве равноправна поэзии.

Говоря о прозе, в особенности о прозе Гоголя, нужно помнить, что в начале художественного слова была не проза, а поэзия, которая потом уже перешла на прозу. Проза — разновидность поэзии и представляет собою опускание поэзии на иные пласты сознания и языка, и в этом смысле, действительно, существует где-то между обыденной и поэтической речью. В этом смысле, действительно, поэты либо пишут стихами, либо изъясняются попросту, прозою (поздравляю вас, г-н Журден!), с тем, однако, существенным прибавлением, что эта нестихотворная речь помнит о своем высоком происхождении, пускай ее родство выражается в резком обособлении от собственно поэтических форм с помощью разговорных источников. Будучи поэзией (в душе), проза хочет быть нарочито приземленной, естественной, побуждая профанов говорить и писать односложным языком, хотя ее простоватые манеры сплошь и рядом на поверку оказываются лишь уловкой поэзии, по разнообразным причинам имитирующей беспомощность. Будучи поэзией, проза намеренно тяготеет к непоэтической речи, ибо знает, что только так, не подавая виду, может она соперничать с прекрасной матерью.

Проза прикидывается прозою, Золушкою, падчерицей, понимая, что в этом униженном и независимом образе, в скромном опускании глаз долу, ей способнее добиться равных с поэзией прав и вернуться в родной дом с черного хода. Но задень ее, оскорби, или, как Гоголю, поставь ей рогатки в виде косноязычия, и она проявит неутихающую в ней ревность и прыть и покажет профанам, какая она проза!..

Пушкину было хорошо. Пушкин чуть ли не с колыбели лепетал стихами. Он обрел в них самую свободную и широкую форму слововыражения, так что, кажется, поэзия была его природным языком, более естественным, нежели разговорная речь, одолевающим любые барьеры своей рифмованной скороговоркой и без труда находящим ловкий ответ на все запросы души и жизни.

*О чем, прозаик, ты хлопочешь?  
Давай мне мысль, какую хочешь:  
Ее с конца я заострю,  
Летучей рифмой оперю...*

Но прозаик знает, что делает, когда тянет, и мямлит, и разводит турысы на колесах, прежде чем доберется до предмета, о котором намеревался поведать. Ему нужно войти в речь, заведомо беспомощную, затрудненную и замедленную, и хлопочет он в первую голову об этом — о том, чтобы создать представление о языке, на котором он собирается что-то рассказывать. Прозаик не владеет языком от начала, как поэт с его божественным лепетом, ниспосланным свыше, от рождения, и берущим, если нужно, быка за рога. Прозаику надобно осмотреться, откашляться, разговориться, то есть сотворить язык, прежде чем жить. Для этого, между прочим, он в помощь себе подключает нередко второго рассказчика, желательно старика, знающего о чем рассказать и осмеливающегося это делать замедленно, не спеша, с неуместными уснащениями и отклонениями от сути рассказа. Сам Пушкин, перейдя на прозу, был вынужден подчас прибегать к содействию подставного лица, с тем чтобы привить своей речи ощущение прозы. Так же поступал Лермонтов. Хотя, повторяю, им было легче писать безыскусно и просто, имея в резерве поэзию со всеми ее красотами, по контрасту с которой их нестихотворная речь рождалась как бы в процессе сознательного ограничения речи. Им было от чего отступать и отталкиваться, по отношению к чему определяться в новом, прозаическом качестве, не боясь раствориться в обыденном говорении, как это сплошь получает-

ся у бесхитростных беллетристов. Будучи от природы стихотворцами, они в прозе переходили, в сущности, на чуждый им язык, который сразу осознавал себя необыденно резко и выделенно. «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы... Стихи другое дело...» — мог позволить себе отмежеваться от собственной роскоши и поэтического многословия Пушкин. На фоне его стихов, не знавших узды, живущих на вольном воздухе, проза отстаивала свою независимость путем обуздания, дисциплины, стоического отказа от накопленных за ее спиною богатств. Ей достаточно было сделаться краткой и точной, чтобы почувствовать себя прозой. Легко, имея в запасе божественный глагол, позволить себе в виде исключения временно побыть человеком. Проза здесь процветала уже за счет намерения писать не стихами, а просто и голо, питаясь негативными признаками, скрадывая форму, звуча почти неслышно, как бы и не существуя физически, сливаясь с ходом событий, о которых рассказывалось почти обыденным тоном. По поводу «Капитанской дочки» Гоголь с завистью говорил, что перед ее безыскусственностью сама действительность кажется искусственной и карикатурной. Но мог ли он сам пойти на такое исчезновение речи?..

Гоголю было труднее. Гоголю, чтобы что-то построить на пустом месте, скрыв в то же время природное свое заикание, понадобилось означить свой путь куда более резкими акцентами и смещениями в языке, сотворив необыкновенную, утрированную прозу. Провинциальный повествователь (старик), едва мелькнувший в сереньком обличи Белкина, в неказистом виде Максима Максимыча, вылез у Гоголя на авансцену в шутовском наряде и гриме старого дурака-пасечника, напялившего для начала речевую маску рассказчика, не умеющего рассказывать. Уж если вы хотите, чтобы в художественной прозе обо всем говорилось, как в жизни, то вот, извольте, послушайте, как не умеют говорить по-литературному, да и просто по-русски, на хуторе близ Диканьки, как не могут связать двух слов, не помянув чорта, свата и брата или не увязнув в пришедших на ум, невообразимых путрях и пундиках. Речь Гоголя откровенно безграмотна, глумлива и юродлива. Она с ходу дает понятие о прозе, пережимая простоту в непристойную для тогдашнего уха грубость, мало что мужицкой, еще какой-то диалектной, хохляцкой заправки, прозаическую постепенность и ровность повествования — в неспособность сдвинуться с места, непринужденную живость рассказа — в словесную клоунаду. Но это только один полус гоголевской прозы,

которая, размявшись и освоившись в родном навозе, следом за несуразно-сниженной присказкой спешит ошарашить читателя несуразно-высокопарной тирадой:

*«Знаете ли вы украинскую ночь?.. о вы не знаете украинской ночи!..»*

Знаете, на кого он намекает, с кем состязается? — с самым Пушкиным, написавшим бессмертные строки: «Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут...» Едва оттанцевав гопака, отпыхтевшись и отсморкавшись, проза Гоголя смеет покуситься на роль и язык поэзии, забыв стыд и скромность, забросив краткость и точность, не боясь, что ее обвинят в вычурности и ходульности, в отсутствии вкуса и слуха, так же как в непобедимом влечении ко всему грязному и вульгарному...

На характер и осуществление гоголевской прозы чрезвычайное влияние имело то обстоятельство, что создатель ее ощущал себя не прозаиком, а поэтом. Это сказалось не только на щедрых вкраплениях в его речь элементов поэтической формы, но, что неизмеримо важнее, на собственном формировании прозы, прозы как таковой, осознавшей свое достоинство, свои владения, свою поступь и стать, как доселе она этого не решалась делать. Гоголь оставался поэтом в самых прозаических особенностях своей прозы. Чтобы соперничать с царями, нужно чувствовать себя прирожденным венценосцем. Чтобы возвести прозу в степень поэзии, на уровень высокого искусства, громадной и суверенной державы, как это совершил Гоголь, открыв эпоху прозы в российской словесности, требовалось быть поэтом. Другие, вышедшие из его «Шинели», могли считать себя кем угодно, хоть «натуральной школой». У Гоголя, родоначальника, не было иного исхода, как в деле сочинения прозаических повестей и рассказов причислить себя к лику поэтов.

Существенно, какое место в его мыслях занимал Пушкин, притом Пушкин-поэт, у которого Гоголь заимствовал строчки и сюжеты, которого боготворил, чью благословляющую руку сам же на себя возлагал, несколько преувеличивая размеры своей близости с Пушкиным. Но ему нужно было с Пушкиным быть на дружеской ноге, чтобы от него, от величайшего из поэтов России, вести свой счет, свою генеалогию — прозы. Иные мыслимые параллели — с Гомером, Данте, Шекспиром, Ариосто, Жуковским — также утврждали Гоголя в этом избранном звании. Вероятно, и в пророки он попал под конец не без того, что где-то в самом начале уже был поэтом.

*«Что нам до того, производят ли влияние слова наши, слушают ли нас! — писал он Жуковскому за несколько лет до кончины, в состоянии уже полной творческой беспомощности.— Дело в том, остались ли мы сами верны прекрасному до конца дней наших, умели ли возлюбить его так, чтобы не смутиться ничем, вокруг нас происходящим, и чтобы петь ему безудержно песнь даже и в ту минуту, когда бы валился мир и всё земное разрушалось. Умереть с пением на устах — едва ли не таков же неотразимый долг для поэта, как для воина умереть с оружием в руках» (15 июня 1848 г. Полтава).*

В поэтическом самосознании Гоголя-прозаика немало-важное значение имел, вероятно, и тот факт, что начинал он свою пиательскую карьеру как неудавшийся поэт В. Алов стихотворной «идиллией в картинах» — «Ганц Кюхельгартен». Об этом злополучном создании, достойном всяческого осмеяния, можно было бы не поминать, если бы в нем уже не присутствовали в намеке некоторые тенденции его позднейшего стиля, соединявшего возвышенные образы и мысли с откровенным просторечием. Что так поражает и восхищает нас в прозе Гоголя, в его стихе представлено, как в кривом зеркале, в чем повинны, по-видимому, не только дурные стихи, но сама невозможность соединить в пределах поэтической речи те контрасты и стилевые смещения, которые в иной пропорции и дислокации прекрасно размещаются в его прозаических текстах. Как в конце творческого пути Гоголя гладкая проза второго тома «Мертвых Душ» оказалась катализатором его неумения писать складно и грамотно, так и в гладком стихе «Ганца Кюхельгартена», которым молодой автор к тому же плохо владеет, всякая шероховатость слога, всякий лексический сдвиг глядит грубейшей ошибкой, заставляя подозревать дебютанта в незнании языка и грамматики. Между тем перед нами наброски будущих великолепных картин (например, в «Страшной Мести»), сделанные стихотворным языком и поэтому звучащие комически:

*Подымается протяжно  
В белом саване мертвец.  
Кости пыльные он важно  
Оттирает, молодец.  
С чела давнего хлад веет,  
В глазе палевый огонь,  
И под ним великий конь,  
Необъятный, весь белеет*



*И всё более растёт,  
Скоро небо обоймет;  
И покойники с покою  
Страшной тянутся толпою.  
Земля колеблется и — бух  
Тени разом в бездну... Уф!*

Если поэзию Гоголя можно назвать карикатурой на его будущую прозу, то проза уже своей неправильностью и громоздкостью выравнивала огрехи и оказывалась по существу более поэтической речью, нежели его школьные попытки свести нестройные звуки в гармоническую строфу.

*А сам дрожишь, в веселье млеешь,  
Ни дум, ни слов найти не смеешь;  
В восторге, в куче сладких мук,  
Сольешься в стройный, светлый звук!*

Перефразируя эти строки, можно заметить, что грубую «кучу», сколько ни сился, не вместишь в «стройный, светлый звук» стиха, тогда как в прозаической «куче» и самый звук этот находит законное место. Иначе говоря, гоголевская проза, во всем отличная по своей структуре от поэзии, послужила прибежищем и жившим в нем от начала поэтическим устремлениям.

Проблемы соотношения поэзии и прозы, занимавшие Гоголя всю жизнь, нашли любопытное истолкование в начертанном им на склоне лет проспекте — «Учебная книга словесности для русского юношества». Придерживаясь, как подобает в такого рода изданиях, традиционной версии, Гоголь тем не менее обнаруживает присущий его субъективным вкусам и интересам подход к вопросу, состоящий, с одной стороны, в резком обособлении поэзии и прозы, с другой — в установлении возможной близости этих крайних полюсов. Последнее, однако, важно отметить, осуществляется не путем стирания стабильных границ между прозой и поэзией, но как бы в их чрезвычайное нарушение, продолжающее подчеркивать полярное расположение исходных начал. Перелагая эту логику на творческий опыт Гоголя, возможно сделать вывод, что его собственная проза, возвышаясь до поэзии, не переставала быть прозой и выступала сразу в двух исключаящих друг друга значениях — поэзии и прозы.

*«Есть два языка словесности, две одежды слова,  
два слишком отличных рода выражений: один слишком*

*возвышенный, весь гармонический, который не только живым, картинным представлением всякой мысли, самыми чудными сочетаниями звуков усиливает силу выражений и тем живой выдает жизнь всего выражаемого,— род, доступный весьма немногим и сим даже немногим доступный только в минуты глубоко растроганного состояния душевного и гармонического настроения чувств, называемый поэтическим, высшим языком человеческим, или, как называли все народы, языком богов;—и другой, простой, не ищущий слишком живых образов, картинности выражения, ни согласных сочетаний в звуках, предающийся естественному ходу мыслей своих в самом покойном расположении духа, в каком способен находиться всякий,— род прозаический. Он всем доступный, хотя между тем может неприметно возвыситься до поэтического состояния и гармонии, по мере, как доведется к такому растроганному настроению душевному, до которого также может достигнуть всякий человек в душевные, истинные минуты. Само собою разумеется, что как в том роде, так и в этом есть тысячи оттенков и ступеней высших и низших, из которых одни даются в удел только необыкновенным гениям, другие—счастливым талантам и наконец третьи—почти всем сколько-нибудь способным людям. Само собою также разумеется, что иногда тот и другой род врываются в пределы друг друга, и то, что иногда поэзия может снисходить почти до простоты прозаической и проза возвышаться до величья поэтического. Но тем не менее они составляют два отдельные рода человеческой речи. Отдел этот слишком явствен и резок. Слова поэзия и проза произносятся в таком же противоречащем друг другу значении, как слова день и ночь».*

В объективной и беспристрастной картине, нарисованной Гоголем, явственно всё же сквозит предпочтение, отдаваемое поэзии, «языку богов», рядом с которым проза выносятся даже за грань художественной речи и отдается в бесконтрольное пользование всякому человеку. Очевидно, курс словесного искусства во всей полноте и силе совпадал для Гоголя всё еще с развитием поэзии, хотя он сам выводил его на прозаическую дорогу. Поэзия служит у него синонимом изящной словесности и исчерпывает эстетическое ее содержание, а проза в этот высший класс допускается в виде исключений, к которым он причислял и себя, выдвигая в том же труде промежуточное понятие «меньших родов эпопеи», «составляющих как бы середину между романом и эпопеей»,

куда Гоголь мысленно заносил безусловно и свою поэму «Мертвые Души», которые, «хотя писаны и в прозе, но тем не менее могут быть причислены к созданиям поэтическим».

В своей теории Гоголь заметно отстает от современного ему литературного этапа, но такое отставание весьма знаменательно и благотворно для собственного его пути, для развития его прозы, измерявшей свое величие каноническими мерками поэзии. В верности этим критериям прозаик Гоголь, положивший начало русской литературе послепушкинской поры, выказывает себя много консервативнее Пушкина, тяготея к системе ценностей прошедшего столетия, когда литературный процесс в России определялся поэзией с ее вершинным выражением в оде.

*«Ода есть высочайшее, величественнейшее, полнейшее и стройнейшее из всех поэтических созданий. Ее предметом может послужить только одно высокое... Посему и предмет од или сам источник всего — Бог, или то, что слишком близко высотой чувств своих к Божественному. Нужно слишком быть проникнуто святыней предмета, нужно долго носить в себе самом высокий предмет, сродниться с ним, облагодаться им самому,— дабы быть в силах произвести оду».*

Стоит сопоставить этот пассаж из «Учебной книги словесности» Гоголя с возражением, какое за двадцать лет до того, по сходному поводу «оды» и «восторга», высказал Пушкин Кюхельбекеру, чтобы убедиться, как далеко позади Пушкина отстоят источники гоголевского «восторга», который, как и для Кюхельбекера, покрывал у него понятие вдохновения и постоянно звучал на устах условием и непосредственным проявлением творческого гения.

*«Нет; решительно нет: восторг исключает спок о й с т в и е, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающей частей в их отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следовательно не в силе произвести истинное великое совершенство (без которого нет лирической поэзии). Го мер неизмеримо выше Пиндара; ода, не говоря уже об элегии, стоит на низших степенях поэм, трагедия, комедия, сатира все более ее требуют творчества (fantaisie) воображения — гениального знания природы».*

*Но плана нет в оде и не может быть; единый план «Ада» есть уже плод высокого гения. Какой план в Олимпийских одах Пиндара, какой план в «Водопаде», лучшем произведении Державина?*

*Ода исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого» (Заметки Пушкина по поводу статьи Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии», 1823—1826 гг).*

Устаревшая для Пушкина ода жива и нова для «архаиста» Гоголя. Недаром в качестве учебных примеров оды он называл, наряду с Ломоносовым и Державиным, и любимые им величественные стихи не одического собственно жанра — «Пророк», «Наполеон», «Пастырь», «Клеветникам России» Пушкина, «Пророк» Лермонтова, «Землетрясение» Языкова и т. д. Кажется, он и сам со всем своим прозаическим скарбом не прочь пройти по разряду оды.

Невинные, на взгляд, вкусовые различия имели далеко идущие последствия и свидетельствовали в конечном счете о пропасти, отделявшей Гоголя от Пушкина. Образ Пушкина обладал для него первостепенной значимостью, но более в символическом, нежели непосредственно творческом, наследовании. Пушкинская поэзия, проникнутая духом стройности и легкости, при всей универсальной вместительности, не вмещала те стилистические перегрузки и крайности, те взрывы и переполнения речи, которые привлекали Гоголя более всего. Неслучайно внутреннее спокойствие, бывшее у Пушкина условием прекрасного и связанное с понятием плана, уравновешенной композиции, с точки зрения Гоголя составляет незавидный удел всякого человека, записывающего свои мысли обычным языком «в самом покойном расположении духа», тогда как в спутники гения, творческого горения, он избирает чуждые Пушкину «восторг» и «оду». Пушкинская стихотворная речь, строго говоря, для Гоголя была слишком плавной, ровной, легкой, спокойной, классичной. Он восхищался пушкинскими стихами, но лично ориентировался на другой, более архаический художественный пласт и поэтому вровень с Пушкиным, а порою и выше его, ценил совершенно иные поэтические образцы.

*«Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, всё исполненное силы и блеска, потрясало его до глубины сердца. Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но также точно с выражением страсти в глазах и голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова. ...Также он заставлял и других читать и сам зачитывался в то время Державиным» (П. В. Анненков «Гоголь в Риме летом 1841 года»).*

*«...Он заметил, что без всякого сомнения первый поэт после Пушкина — Языков, и что он не только не уступает*

самому Пушкину, но даже превосходит его иногда по силе, громкости и звучности стиха» (И. И. Панаев «Литературные воспоминания»).

Присутствие Языкова в ряду симпатий Гоголя проливает дополнительный свет не только на вкусы его, но и на литературную традицию, к которой он внутренне тяготел и продолжателем которой выступал, по его мнению, в современной поэзии Языков. Более того, Гоголь-художник подпадает определению, какое он сам же высказал по адресу Языкова:

*«И уже скорее от Державина, нежели от Пушкина, должен был он засветить светильник свой» («В чем же, наконец, существо русской поэзии...»).*

Фигура Державина оказалась на практике для Гоголя более перспективной, чем Пушкин, от которого он отступал назад, в «архаисты», с тем чтобы, перепрыгнув, выйти вперед — в создатели и родоначальники прозы. Пренебрежительно трактуемая Пушкиным и к тому времени давно уже вышедшая в тираж, державинская ода содержала непреходящие уроки языка и стиля, воспринятые Гоголем-прозаиком, который с благодарностью и глубоким вниканием всматривался в опыт великого гиперболиста.

*«У него есть что-то еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства, которое, в виде какого-то темного пророчества, носится до сих пор над нашей землею, преобразуя что-то высшее, нас ожидающее, или же это навелось на него отдаленным татарским его происхождением, степями, где бродят бедные останки орд, распалющиеся свое воображение рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на свете,— что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно».*

*«Иногда Бог весть как издалека забирает он слова и выраженья затем именно, чтобы стать ближе к своему предмету. Дико, громадно всё; но где только помогла ему сила вдохновенья, там весь этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячью глазами глядит он. Стоит пробежать его Водопад, где, кажется, как бы целая эпопея слилась в одну стремящуюся оду».*

*«...Его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величия».*

*«Всё у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина» (Там же).*

Гоголевские наблюдения над стилем Державина столь плотно ложатся на образ прозы Гоголя, что, мнится, сама она строилась по выкройкам державинской оды. В особенности принципиальный характер носило произведенное Державиным отважное сцепление самых высоких слов с самыми низкими и простыми, открывавшее простор гоголевским словесным заданиям. В поисках колоссальности, в громозде крупного слога, забиравшего слова отовсюду, из удаленных друг от друга источников, находили удовлетворение его творческие позывы поэта, имеющего дело с прозаической речью в масштабах, еще не известных отечественной словесности. Это был в идеале тот охват языка, который выявлял скрытые в нем запасы энергии, языка, привлекавшего Гоголя в первую очередь крайностями заключенных в нем самородных пластов, подлежащих соединению в художественном слове.

*«...Необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая с одной стороны высокие слова из языка церковнобиблейского, а с другой стороны выбирая на выбор меткие названия из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, — язык, который сам по себе уже поэт...» (Там же).*

Державинская ода, надо думать, служила Гоголю не так образцом для подражания, как, ближе сравнить, — камертоном. Она помогла ему пробудиться к музыке, ждавшей его в языке, настроиться на сопряжение слов и наречий, живущих затаенно в раздельности и дающих в соединении поразительные эффекты самостоятельности языка. Самый язык с их участием обращался в поэта, еще не опробованного в прозе и оттого еще более пылкого и дерзкого в нововведениях. Пользуясь ею, Гоголь достиг свободы обо всем рассказывать так, как в жизни не говорят, но как, казалось, говорит сама

жизнь. Читая Гоголя, мы не расстаемся с ощущением какой-то первозданной стихии языка, которая на нас обваливается, нас потопляет и оглушает, найдя в окружающем мире не темы повествования, не объекты изображения, но полные аналогии — с горами и реками. Гоголь избирает натуру скорее в подруги своему языку, нежели в предмет, подлежащий описанию. Его гиперболы находят соответствие в безмерной мощи природы, а не в относительной точности словесного попадания. Ибо стиль, по Гоголю, в первую очередь есть признак силы.

В таком повороте самые недостатки языка, неправильности грамматики служат на пользу и проходят за достоинства прозы. Она преисполняется свежести еще невозделанной речи. Неуклюжий период, ошибочный падеж, ляпсус, простекающий из прямого незнания, что так нельзя говорить, неожиданно вносят в слово образ живого кристалла и сообщают целому замашистость и шероховатость, какими располагают лишь подлинники. С Гоголем мы узнаем, что гений не тот, кто пишет хорошо, но тот, кто смеет писать плохо. Мы постигаем истинность слов Гогена о Сезанне: «Нет ничего, что так походило бы на мазню, как шедевр».

Прижизненная критика без конца сопровождала Гоголя припевом о неладах в языке и формально была права. Даже Пушкин, полный доброжелательства к молодому автору, отмечал извиняемые другими достоинствами «неровность и неправильность слога» (отзыв на «Вечера» в «Современнике», 1836 г., № 1). Более придирчивые рецензенты на всяком шагу находили «печальное неустройство фразы и неумение владеть языком», «беспрестанные промахи и ошибки против этимологии и синтаксиса», называли его сочинения «собранием ошибок против логики и грамматики». «Редкая запятая на месте», — удивлялся на «Мертвые Души» Н. Полевой. Наилучшее возражение на эти речи содержала статья о «Мертвых Душах» П. А. Плетнева, за подписью С. Ш. напечатанная в «Современнике» в 1842 г., настолько понравившаяся Гоголю, что он собственноручно ее переписал для себя. Как «образец красноречивого языка и картинного представления предметов» у Гоголя — Плетнев широко цитировал известное описание сада Плюшкина, подчеркнув последнюю фразу, имевшую обобщающий смысл:

*«...Словом, всё было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединяются вместе; когда по нагроможденному, часто*

*без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создано в хладе размеренной чистоты и опрятности". Последнюю мысль отметил я с тем намерением, чтобы вы, остановившись на ней, вошли в дух писателя, который мимоходом, но с изумительной отчетливостью, изложил в этих кратких словах всю свою теорию изящного — и тем сам приготовил ответ критикам на все замечания о его вкусе, роде сочинения, слоге, украшениях и даже, как выражаются они, неотделке языка. Его книга точно этот сад. Кому не понравится зрелище, здесь им представленное, это волшебное вместилище свежести, зелени, благоухания, прохлады, дикости и безмолвия, тот, конечно, не поймет ни меня, ни автора».*

Пример взят как нельзя более удачно. Стиль Гоголя ищет прямых уподоблений в ландшафте, чтобы удостоверить себя в материально-осязаемом образе. Поэтому сад Плюшкина не столько сад Плюшкина, сколько сад языка Гоголя или образ его прозы. Понятно, всякий абзац у всякого писателя может стать таковым ознаменованием собственного слога. Но у Гоголя оно как бы вынесено над текстом в вещественное свидетельство речи, в некую шапку его образительно-картинной манеры, так же как присущей автору наклонности объективировать свой внутренний мир в зримом виде природы, человеческих лиц и вещей. Ландшафт, менее других компонентов повествования непосредственно связанный с развитием действия, предоставлял ему широкие возможности чистой демонстрации языка и обращался подчас в застывший, объективированный символ его стиля.

Есть закономерность в том, что старые романисты, знавшие толк в устройении повествовательного пространства, начинали свои творения каким-нибудь второстепенным пейзажем, либо описанием погоды и обстановки. Помимо значения фона, на котором развернутся события, тут действовала потребность создания речевого ландшафта, который предстоит обживать, к которому нужно привыкнуть. Автор таким описанием произвольно входил в словесную географию текста. Пейзаж, ни к чему не обязывая, позволял разгуляться и взять необходимый разбег для продолжительного пути. Не сообщая ничего интересного и существенного (кто



же принимает всерьез подобные предисловия?), пейзаж в то же время служил хорошо обеспеченным въездом в обширное речевое пространство новонайденного материка, который ведь и в жизни осваивается, начиная с ландшафта и климата, а потом уже заселяется человеческими пришельцами.

У Гоголя этот метод приобретает еще более резкие черты самохарактеристики стиля. Его пейзажи, как правило, несут на себе печать художественной декларации. Автор в них рассказывает не так о действительной жизни, с которой он намерен познакомить читателей, как о собственном к ней подходе и способе изображения. Ландшафт из картины природы обращается в карту стиля, где, как на всякой карте, знаки определения местности проставлены яснее и гуще естественного рельефа и живописность манеры граничит с чистотой очертания, какую вносит географ в означенные им контуры. В гоголевских ландшафтах чувствуется рука, не только их написавшая, но протягивающая, как паспорт, на владение теми землями, что раскинулись необозримо за предьявленными образцами. Ландшафт — это мандат на принятый к исполнению стиль.

*«— Если бы я был художник, я бы изобрел особенного рода пейзаж,— говорил Гоголь Анненкову.— ...Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожидает его, вот какие пейзажи надо писать!»*

В своем словесном творчестве он без конца создавал подобного рода новоизобретенные пейзажи, где сцепленные деревья в том же саду Плюшкина служили наглядным примером причудливо перепутанных слов в его прозаической речи. Но последней было мало самой себя, и она искала всё новых и новых аналогий в природе, в искусстве, заставляя Гоголя жалеть, что он не живописец и не зодчий, способный тот же образ бурно сплетенных деревьев воссоздать в краске и в камне.

Особенный интерес в этой связи представляют суждения Гоголя об архитектуре, которая опять-таки становится материальным выражением его литературного стиля, давая нам лучше почувствовать и осознать, что же это за стиль, владевший душою Гоголя. В статье, вошедшей в состав «Арабесок», — «Об архитектуре нынешнего времени» (1833—1834 гг.) Гоголь пространно излагает свои взгляды на историю зодчества, а также проекты гипотетических сооружений, способные вывести архитектуру из настоящего тупика и упадка, отмеченных потерей чувства величественного и монументального, отсутствием фантазии, дерзкой игры

контрастами и диссонансами, как и излишней, по его мнению, соразмерностью городских ансамблей, чинностью, правильностью и нарочитой приниженностью современных строений. В прошлом его вдохновляют более всего готика и древневосточные формы, в особенности Индия,— эти экзотические и исполинские стили Гоголь мечтает возродить в нынешний мелочный век, опираясь в их толковании на собственные домыслы вперемешку с эстетикой Шеллинга, чье влияние в этой статье сказывается весьма ощутительно. К Шеллингу, в частности, восходят — «темное воспоминание о стволе, ветвях и листьях древесных», «отпечаток, хотя неясный, тесно сплетенного леса, мрачного, величественного, где топор не звучал от века», уловленные Гоголем в готической архитектуре, как и его намерение совместить в современных постройках готику с индийскими формами. Последние, согласно теории Шеллинга, положили начало европейской готике<sup>1</sup>, а оба эти стиля, готический и древнеиндийский, особенно полно и точно воспроизводят схему искусства архитектуры. Кстати, заглавием своих «Арабесок» Гоголь, вероятно, обязан также эстетике Шеллинга, называвшего арабской индийский архитектурный стиль.

Но интереснее фактических и теоретических сведений Гоголя в области зодчества образный рисунок тех грандиозных построек, которыми он желал бы украсить современные улицы: через них отчетливо проступает лицо его литературного стиля, воссоздающего себя в смелой архитектурной проекции. Гоголя привлекают памятники, «ужасные своею огромностью, перед которыми мысль немеет от изумления», созданные «одним только воображением», поражающие совмещением резких противоположностей. Диспропорция, контраст, пестрота, теснота, расточительность, расчлененность, неровность вводятся как условия истинно колоссального здания, напоминающего излюбленные его картины с перепутанными деревьями.

*«Но если,— фантазирует Гоголь,— целые этажи повиснут, если перекинутся смелые арки, если целые массы вместо тяжелых колонн осядут на сквозных чугунных подпорах, если дом обвесится снизу доверху балконами с узорными чугунными перилами, и от них висящие чугунные украшения,*

---

<sup>1</sup> «Ответ на вопрос, каким же образом этот исконный индийский стиль распространился впоследствии по Европе, я должен предоставить историкам» (Фридрих Вильгельм Шеллинг «Философия искусства»).

*в тысячах разнообразных видов, облекут его своею легкою сетью, и он будет глядеть сквозь них, как сквозь прозрачный вуаль, когда эти чужунные сквозные украшения, обвитые около круглой, прекрасной башни, полетят вместе с нею в небо,— какую легкость, какую эстетическую воздушность приобретут тогда дома наши!»*

Таков один из архитектурных проектов Гоголя, одно из выражений его конструктивного принципа, который всегда осуществляется через несоразмерность и переполнение стиля. Но не такова ли, в принципе, также его фраза, похожая на дикорастущий тропический лес, на водопад Державина («Алмазна сыплется гора...»), на вулканическое извержение стиля (так приглянувшееся ему в «Последнем дне Помпеи» Брюлло-ва), фраза, униженная балконами и перилами придаточных и вводных отрезков, удаляющихся то и дело от основного ствола, дробящаяся, глядящая на нас сквозь решетку неисследимых своих ручейков, завитков, подвесок, фиоритур, громоздкая и одухотворенная разом, непропорционально разросшаяся, сверкающая изломами и поворотами слога, держащая на воздухе, на вытянутых руках, весь свет и рушащаяся тут же с размаху умопомрачающим обвалом, каскадом, светопреставлением речи, разбрасывая по сторонам свои вездесущие усики, свои диковинные, бесчисленные бутоны и бутады?..

Сколь бы ни были фантастичны архитектурные гиперболы Гоголя, сквозь них отлично просматривается преобладающий в его эстетических умозрениях и в творческой практике стиль — б а р о к к о. Оно не названо, понятно, оно затемнено выдумками индийских, невиданных пагод, модными вздохами по готическим шпилям, и всё же оно достаточно точно угадывается в стилистических устремлениях Гоголя, направленных прежде всего на то, чтобы взорвать и расчлнить ровную поверхность стены или речи, придать архитектуре и языку резко означенный рельеф, нарушить классическую симметрию путем внезапных ракурсов, используя новоизобретенные формы с максимальным нажимом на всякого рода объемы, изгибы и повороты, на перебивку перспективы и плана — «сколько прямая линия может ломаться и изменять направление, сколько кривая выгибаться». Барочные вкусы Гоголя буквально кричат о себе в его строительных рекомендациях и сетованиях на современную стену:

*«Напрасно ищет взгляд, чтобы одна из этих непрерывных стен, в каком-нибудь месте, вдруг возросла и выбросилась на воздух смелым переломленным сводом или изверглась какою-нибудь башней-гигантом».*

*«Неужели найдется такой смельчак или, лучше сказать, несмельчак, который бы ровное место в природе осмелился сравнить с видом утесов, обрывов, холмов, выходящих один из-за другого».*

*«Нужно толпе домов придать игру, чтобы она, если можно так выразиться, заиграла резкостями, чтобы она вдруг врезалась в память и преследовала бы воображение».*

*«...Где положение земли гладко совершенно, где природа спит, там должно работать искусство во всей силе. Оно должно пропестрить, если можно сказать, изрыть, скрыть равнину, оживить мертвенность гладкой пустыни».*

Обладай я достаточными познаниями и систематическим умом ученого историка или теоретика искусства, мне бы не составило большого труда, заручась такими уликами, вывести Гоголя целиком из понятия барокко, куда он укладывается полнее, нежели в несравненно более жесткую и менее внятную схему «реализма» или «романтизма». Я бы показал тогда, что прославленная живописность Гоголя, столь разительная рядом с острым, линейным рисунком Пушкина, есть производное этого экспансивного, неуравновешенного и несколько нелепого стиля, искавшего в период своего господства в Европе стереть границы между искусствами и выплеснуть их в синтезе поэзии и живописи, музыки и архитектуры, заложив мимоходом здание европейской оперы и балета, столь в свою очередь близких гоголевским творениям, что последние нередко сами просятся на оперную сцену и содержат готовые к такому переходу театральные декорации, арии, позы, хореографические группы и костюмы. Я бы проследил всё великолепие резца и кисти, пленявшее Гоголя в Риме, все его чувственные восторги, выходящие над бурными кровлями города, по уютным его и завинченными переулкам, у заманчивых колоннад, у отягощенных лепниной и блестящих золотом плафонов (держишься за кисть!), вокруг купола, возносящего в небо властную свою круглоту, мешая идею небесного универсуума в абстракцию женских прелестей, воспетую в метафизическом сокрушении духа, эту дуру, улитку, раковину, оживленную в мечтательном мраморе альбанки Аннунциаты, чтобы найти в итоге путешествия по Италии родину барокко, которую Гоголь единственно и воспринял в этой чудной стране, и угадал сердцем, и откликнулся ответно в многофигурных руладах. Если ехать дальше, то уже в Малороссии, вероятно, можно было бы разыскать те пышнотелые, барочные формы, что усыновили и воспитали Гоголя, занесенные, возможно, давно, из яс-

новельможной Польши, с ее гордой мишурой, с деревянными выкрутасами сладострастных ее алтарей, сообщавшими перенятым с Запада модам общеславянскую нашу воздушную одутловатость и изящную тяжеловесность в дальнейшее подтверждение стиля, несколько приторного, расплывшегося, но исполненного горячего пафоса и ученого красноречия, который обошел Европу и через ту же Украину и Польшу вторгся на Русь за полтора века до Гоголя, с фокусами Симеона Полоцкого, Феофана Прокоповича, чтобы затем разрастись крупными виноградными гроздьями, под неточным и собирательным именем «классицизма», по Северной Пальмире, найдя утешение в престарелой воркотне Державина и дав запоздалый отпрыск в подвиге захватившего на имперский Север хохла. Во всяком случае, доколе классицизм в истинном смысле (а иные честолюбцы полагают, что и сам Ренессанс) нашел достойного воспреемника на российской почве только в Пушкине, почему бы Гоголю тоже не отвесить Европе запоздавший за нашей татарской отсталостью поклон в виде позднего, густорусского барокко? Все черты и слагаемые этого капризного стиля, процветавшего на европейской выставке в XVI и XVII столетиях, у Гоголя налицо — обратимся ли мы к его излюбленным глубинным композициям, вносящим беспокойство и порох в самые застойные формы, затягивающим зрителя в свои разверстые пасти и низвергающим ответно чудовищные водопады вещей; примем ли мы во внимание исконные для барокко и свойственные Гоголю сочетания нарочитой темноты, затрудненности языка с логическими конструкциями и риторическим рационализмом, чувственности, впадающей в грубость, с умозрительной отвлеченностью в поисках общих формул и тяжеловесных систем, уясняющих методами неосхоластики все загадки и тайны новонайденного мироздания; коснемся ли мы, наконец, барочной склонности к удивительному и неожиданному в жизни, колоссальному и микроскопическому, к дерзким смещениям высокого с низким и смешного с минорным, или в роли социологов попробуем рассмотреть в барокко героическую оборону уже захваченных разумом и просвещением староотеческих рубежей, сошлемся на контрреформацию, контрреволюцию, — Гоголь опять тут как тут со своей неуклюжей фрондой прогрессу и атеизму...

Однако ни в чем, пожалуй, приверженность Гоголя к барокко так плодотворно не проявлялась, как в тенденции использовать прозу в качестве пространственной формы. Его речь состязается с природным ландшафтом и архитектурным

ансамблем по части физической протяженности и располагает к колоссальной застройке и перегрузке. Образ пространства у Гоголя совпадает с образом прозы, несущей, как земля на своих плечах, народы и государства и сопрягающей столь удаленные планы и точки существования, что сама вселенная, мнится, вместилась в ее берега, то приближенные к зрителю пористой подошвой вещей, то разломанные во все стороны и теряющиеся в безмерности. Стремление Гоголя во что бы то ни стало взрыть равнину речи, путем ли обнаружения какой-то новой подробности, подчас случайной и совершенно необязательной, посредством ли собственно интонационной диверсии, разобщающей фразу на внеочередные отсеки, продиктовано заботами объема, количественной вместительности, достигаемой благодаря сверхординарной пересеченности и складчатости его языка. Ему мало больших и сложных периодов. Он ищет еще изнутри расширить базу речи, и роет подкопы, и устраивает заторы, увеличивает тесноту и извилистость словесного скопления, отчего образуются трещины, вздутия, наросты, фраза пучится, дыбится и уходит в себя, вгрызаясь глубже в собственное тело, ради получения дополнительного плацкарта, необходимого для перевозки багажа, который сам по себе не так важен автору, как приготовленная его изобретательными руками повозка и упаковка. Фраза для Гоголя это тара, и он соревнуется с собою на предмет ее грузоподъемности, предлагая нашему вниманию разнообразные способы увязки и укладки, поражающие размерами непредусмотренного заранее и открывающегося внезапно, по ходу их демонстрации, внутриречевого пространства.

В этом назначении особенно ему подошли раздвижные композиции, заключающие громадный запас неучтенной и годной к заселению площади. В них, чаще всего под предлогом движения путешественника, фронтальный обзор периодически нарушается, приоткрывая кулисы заднего плана, также постоянно меняющегося и распаивающего новые окна в новые резервуары ландшафта. Декорация представляет собою как бы множество поочередно выдвигающихся ящичков, набитых жизненным сором и снабженных в свой черед всевозможными перегородками, полочками и тайничками. С подобного рода композицией, весьма распространенной у Гоголя, мы встречаемся, в частности, в описании плюшкинского сада, причем барочная форма ее усугубляется почерпнутыми, очевидно, в Италии живописными кадрами в стиле архитектуры барокко. Природа у Гоголя вообще по временам выступает в роли архитектора, чья фантазия вно-

сит в ландшафт черты нарочитой декоративности. Важнее, однако, внешних эффектов в виде купола или колонны взяты в расчет сам состав этого барочного сада, построенного из раздвижных декораций со множеством, подчас недоступных глазу, но специально придуманных автором, просветов и углублений, обращающих сад в секретер с массой запасных отделений и придающих описанию утрированную рельефность. Речь Гоголя дублиста, как упомянутая здесь ива, и оттого она, эта речь, не только живописна, но, как говорили в старину, уписиста, то есть вместительна.

*«Из-за хлебных кладей и ветхих крыш возносились и мелькали на чистом воздухе то справа, то слева, по мере того, как бричка делала повороты, две сельские церкви, одна возле другой — опустевшая деревянная и каменная, с желтенькими стенами, испятнанная, истрескавшаяся. Частями стал выказываться господский дом и, наконец, глянул весь в том месте, где цепь изб прервалась, и на место их остался пузырем огород или капутник, обнесенный низкою, местами изломанною городьбою...»*

*Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходящий за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными, трепетolistными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурей или грозой, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная, сверкающая колонна; косою, остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал, наконец, вверх и обвивал до половины сломенную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие, цепкие крючья, легко колеблемые воздухом<sup>1</sup>. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между ними углубление, зиявшее как темная пасть; оно было всё окинуто тенью,*

---

<sup>1</sup> Как похож этот рисунок на предложенный Гоголем проект фантастического здания, увитого снизу доверху чугунными гирляндами.

*и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник, густой щетиной вытыкавший из-за ивы иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листья, под один из которых забравшись, Бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в густой темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень другим, осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины...*

По-видимому, и сам автор придавал своему саду не совсем обыденный смысл очередного описания природы, но проникал в нем некий символический аспект, касающийся его художественного подхода и слога, а возможно, и всей разворачивающейся в его уме мирообъемлющей панорамы «Мертвых Душ»<sup>1</sup>. По свидетельству Анненкова, Гоголь читал описание сада с особенным подъемом, наподобие, можно догадываться, гордого пророчества о собственных творческих замыслах, обозначенных в предварительном очерке, как в архитектурном проекте:

*«Никогда еще пафос диктовки, помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художническую естественность, как в этом месте. Гоголь даже встал с кресел (видно было, что природа, им описываемая, носится в эту минуту перед глазами его) и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом» («Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года»).*

<sup>1</sup> Не исключено, что на картину запущенного сада Плюшкина натолкнуло Гоголя чтение Матюрена, у которого мелькает идея, чрезвычайно близкая концепции и символике поэмы Гоголя, имевшего и некоторые другие точки соприкосновения с автором «Мельмота Скитальца». Во всяком случае, Матюрен декларировал в открытую то, что Гоголь представил скрытно-картинным образом:

*«Перед глазами Мельмота, облокотившегося на полуразвалившееся окно, потрясемое каждым порывом ветра, расстилалась самая печальная картина: — сад скупого. Развалившиеся стены, заросшая травой аллея, переломанные и иссохшие деревья, крапива и репейник, заменившие цветы, всё это, казалось, было зеленью кладбища или садом мертвецов» (Матюрен «Мельмот Скиталец», СПб., 1833, ч. 1).*

Гоголевский сад, однако, будучи садом мертвецов, неизмеримо богаче значениями и оттенками и в согласии с духом поэмы самую смерть обращает в царство жизненного избытка. Поэтому, вероятно, ему отводится столь почетное место и какая-то державная роль в композиции «Мертвых Душ».



«Мертвые Души» проникнуты сознанием колоссальности сооружения, которое только-только еще начинает вводиться в написанных главах поэмы, но уже властно заявляет о себе и приковывает авторскую мысль, то намеренно затененное непрезентабельной обстановкой, которая покамест, до срока, подлжет обзору, то внезапно, словно из-за какого-то поворота, взмывающее ввысь перед изумленными очами наблюдателя, чтобы тотчас снова исчезнуть за громоздом житейского мусора, городимого как бы нарочно, в предвестие и в удаление всей монументальной постройки, которая полностью откроется где-то впереди. Авторские обещания на эту тему, рассеянные по тексту, возбуждали недоумение читателей и критики явной непропорциональностью заявок по сравнению с наличным материалом, за которым, неизвестно каким образом, вдруг последует что-то великое и головокружительное. У Белинского, например, подобные забегающие вперед порождали настолько серьезные сомнения в авторской состоятельности, что он советовал читателям попросту пропускать эти лирические пассажи, не меняющие, как ему казалось, по существу ничего в содержании поэмы<sup>1</sup>.

Стремление Гоголя придать поэме абрис чего-то неизмеримо большего, чем она сама по себе, на сегодняшний день, содержит, питалось надеждой, что в последующем продолжении, во втором и третьем томах, автор оправдает достой-

---

<sup>1</sup> *«К счастью, число таких лирических мест незначительно в отношении ко всему роману, и их можно пропускать при чтении, ничего не теряя от наслаждения, доставляемого самим романом» («Современник», 1847, № 1).*

У Белинского, надо заметить, при крайне восторженной оценке «Мертвых Душ», которые безмерно выше всего, что создал Гоголь, и составляют эпоху в русской литературе, не было твердости и постоянства в их истолковании. Считая величайшей заслугой поэмы Гоголя осязаемо проступающую повсюду «субъективность», отчего и название «поэма» имеет нешуточный, далеко идущий, хотя и не вполне еще ясный, смысл («Отечественные записки», 1842, № 7), Белинский вскоре присоединился к распространенному мнению, что такое название, как и всё содержание поэмы, носит юмористический характер («Отечественные записки», 1842, № 11). По мере прояснения идеалов Гоголя и его славянофильского круга, гоголевская «субъективность» начинает раздражать и тяготить Белинского, и он отдает предпочтение объективной картине действительности, склоняясь, в общем, к трактовке, от которой вначале так решительно отмежевывался:

*«Нельзя ошибочнее смотреть на «Мертвые Души» и грубее понимать их, как видя в них сатиру» («Отечественные записки», 1842, № 7).*

ным образом свои таинственные обещания. Но в том, как он, не дожидаясь часа, предупредомял об этом и вводил, вопреки очевидности, как бы другое дыхание в рассказ о похождениях Чичикова, резко меняя тональность речи и словно маня присутствием монументального плана, который едва выкалывает себя, но полон уже самонадеянной веры в свое ближайшее осуществление, заключался и определенный расчет, позволивший «Мертвым Душам» взять разгон на «поэму» и, заручившись ее величием, вылиться в тот апофеоз прозы, каким они прозвучали в своей незавершенной и в то же время уже достаточно ошутимой по мощности заезда проекции.

По мысли Гоголя, первый том это всего лишь вступление в поэму, но оттого, что впереди ему маячит поэма во всей ее силе и шири, само вступление перенимает черты своего грядущего облика и одновременно, по своему вступительному недостоинству, по контрасту с тем, во что она собирается вырасти, обретает смелость реализовать наличный материал во всем его непрезентабельном образе и объеме. Итак, «поэма» кладет печать не только на «поэтичность» или «лиризм» «Мертвых Душ», но на весь их образный строй, допуская им, будучи выше себя, быть самими собою и осуществиться в заведомо сниженном, прозаическом виде. Рекомендации Белинского попросту игнорировать напыщенные тирады автора, не вяжущиеся с объективной картиной, лишали «Мертвые Души» крыльев и прав и на самую эту картину. Лишь располагая потенцией на что-то грандиозное в дальнейшем своем построении, они набирались решимости так долго и нудно влачиться по жизненной пыли, подготавливая эффект торжественного въезда в поэму.

Уяснить эту композицию должна помочь аналогия, опять-таки архитектурного рода, к которой прибегает Гоголь в одиннадцатой главе:

*«С нашей стороны, если, точно, падет обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем только, что никогда вначале не видно всего широкого течения и объема дела. Въезд в какой бы то ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен; сначала всё серо и однообразно: тянутся бесконечные заводы да фабрики, закопченные дымом, а потом уже выглянут углы шестизэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, башнях, с городским блеском, шумом и громом, и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел; как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи герою, как*

*придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двинутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся дальше ее горизонт, и вся она примет величавое лирическое течение, то увидит потом».*

Необоснованные расчеты!.. Но как выигрывает на них книга, уже впустившая в себя, не считаясь с фактами, и те рычаги, и величавое течение, раздавшаяся вширь и ввысь! Концы с концами не сходятся и повисают в воздухе, как бы теряясь в бескрайности означенной автором, неисполнимой задачи. Мы еще не въехали в многообещающий город, мы еще тянемся по бесконечному предместью, а он уже посылает высокую весть о себе мелькнувшей из-за угла колокольней, возносящейся под облака башней, хотя до них далеко, хотя до них мы никогда не доедем и, значит, имеем время внимательно и замедленно рассматривать в ожидании города его загаженные окраины. Ощущение грандиозности, какое оставляет создание Гоголя в целом, немало обязано несбыточным авторским обещаниям и незавершенности первого тома. Тот, кажется, слишком велик, чтобы мы смогли охватить его глазом, а площадка, предоставленная нам как место обзора, слишком тесна и так завалена всяким хламом, что нельзя не испытывать головокружения, когда, стоя на ней, пытаешься обнять громаду, придвинутую вплотную и не имеющую ни конца, ни границы. Здесь действует эффект несоразмерности, которому Гоголь всегда был предан, а здесь использовал более поневоле, чем сознательно того добивался, — не кончив «Мертвые Души», но раскинув их в ошибочной, самонадеянной перспективе дальнейшего беспредельного и колоссального разрастания. Повинуясь ей, они и растут в наших глазах. Происходит как будто то, о чем Гоголь уведомлял в ранней своей статье, критикуя современную архитектуру:

*«Самое вредное направление архитектуре внушила мысль о соразмерности,— не о той соразмерности, которая должна быть в строении в отношении к нему самому, но просто о соразмерности в отношении к окружающим его зданиям. Это всё равно, если бы гений стал удерживаться от оригинального и необыкновенного, потому только, что перед ним будут слишком уж низки и ничтожны обыкновенные люди. Эта соразмерность состояла еще в том, чтобы строение, как бы велико ни было в своем объеме, но непременно чтобы казалось малым. Его стали уединять и помещать на той огромной и обширной площади, что оно казалось еще более ничтожным. Как будто бы старались нарочно внушить*

*мысль, что великое совсем не велико; как будто бы насильно старались истребить в душе благоговение и сделать человека равнодушным ко всему...*

*Нет, не таков закон великого: строение должно неизмеримо возвышаться почти над головою зрителя, чтобы он стал, пораженный внезапным удивлением, едва будучи в состоянии окинуть глазами его вершину. И потому строение всегда лучше, если стоит на тесной площади. К нему может идти улица, показывающая его в перспективе, издали, но оно должно иметь поражающее величие вблизи. Чтобы дорога проходила мимо его! Чтобы кареты гремели у самого его подножия! Чтобы люди лепились под ним и своею малостью увеличивали его величие!»*

Следуя благому решению, Гоголь в «Мертвых Душах» не стал приравнивать размеры сочинения к Чичикову и Коробочке, посреди которых оно возвышалось, но, не расчищая площади, рядом с жалким скарбом принялся возносить величественные глаголы в честь колоссальности здания, какое мы скоро узрим. И мы узрели — обрушенную в бездну и в небо, с разорванными контурами, поэму. От нее хочется отойти подальше, чтобы соразмерить масштаб и понять, что за куча на нас навалилась, но она не пускает, она давит и высится неизмеримо почти над головою. Нет, ее не назовешь совершенным творением, она скорее пугает разящей несообразностью замысла и исполнения, формы и содержания, неравноценной обработкой частей, одни из коих грешат растянутостью, другие скомканностью, третьи лоскутностью, — словом, всем тем, что поумневший Гоголь позднее поставил себе в упрек как противоречащие законам искусства и творческой науки небрежности. Но ими, недостатками своими, поэма Гоголя лишь увеличивает свое величие и внушает благоговейный трепет и страх явным несоблюдением меры. К ней применимо округлое рассуждение Делакура о диспропорции в искусстве как средстве создания грандиозного образа. В своем «Дневнике» тот делится мыслями, в которых укрепило его на прогулке раскидистое дерево, производящее вблизи впечатление примерно такое же, какого добивался Гоголь от архитектурных сооружений и какое оказывает на нас его несоизмеримая поэма.

*«Впечатление, производимое статуями Микель-Анджело, обусловлено в известной мере непропорциональностью или незаконченностью некоторых частей, чем усиливается значение частей законченных.*

*...Эскиз картины или незаконченный памятник, подобно руинам и вообще подобно всякому созданию человеческого*

воображения, которому не хватает некоторых частей, должен сильнее действовать на душу, так как воображение зрителя прибавляет кое-что от себя к тому впечатлению, которое вызывается незаконченным произведением. К этому надо добавить, что совершенные творения таких гениев, как, например, Расин или Моцарт, на первый взгляд не производят столь сильного впечатления, как создания гениев, несвободные от ошибок и небрежностей; в их произведениях выдающиеся стороны выступают тем ярче, что наряду с ними имеются смазанные или вовсе плохие места.

Вблизи этого прекрасного дерева с гармоническими пропорциями я нахожу новое подтверждение этим мыслям. На расстоянии, необходимом для обозрения всех его частей, величина его кажется обычной. Но когда я нахожусь под его ветвями, впечатление совершенно меняется: видя вблизи только ствол и начало его толстых сучьев, растилающихся над моей головой, подобно бесконечным рукам лесного гиганта, я поражен величиной его деталей, словом, он мне кажется огромным и даже внушает страх своей грандиозностью. Не является ли диспропорция одним из условий сильного впечатления? Если, с одной стороны, Моцарт, Чимароза, Расин поражают в меньшей мере благодаря удивительной стройности своих произведений, то не обязаны ли Шекспир, Микель-Анджело, Бетховен своим воздействием отчасти противоположной причине? Я, по крайней мере, так думаю.

Античное искусство никогда не поражает, никогда не действует показом огромного или преувеличенного. С этими великолепными творениями чувствуешь себя непринужденно; только размышление придает им величие и поднимает их на несравненную высоту. Микель-Анджело изумляет и наполняет душу смятением, которое является одной из форм восхищения. Но вслед за этим начинаешь замечать досадные несообразности, являющиеся плодом чересчур торопливой работы...»

Неуравновешенная и открытая композиция «Мертвых Душ» имеет широкие допуски и не только кажется огромной, а на самом деле вмещает чрезвычайно много всего, она растяжима, аморфна и в принципе способна к свободному как бы, раскованному существованию, наращивая дальше и больше объем материала, который не в силах выдержать более стройные формы. Суровый закон художественного ограничения и четкого распределения частей над нею не властен. Удвойте, если угодно, число помещиков, с которыми встречается Чичиков, пополните мысленно багаж

его дорожных впечатлений, умножьте без счета детали в сонме, который здесь собран, и вы увидите, что это не повредит творению Гоголя настолько, чтобы разрушить его структуру, как если бы та прорывалась правилом, что лишний запас карман не тянет. Причина, очевидно, не в том, что «Мертвые Души» представляют собою какую-то бесформенную гору, которая всё вынесет (хотя ощущения горы и бесформенности не лишены их громоздкие образы), но в том, как (с установкой на безграничность и колоссальность охвата) эти горы повернуты — приближены предельно к зрителю и удалены предельно, как дуб-гигант, что поверг в изумление Делакруа, когда тот к нему подошел вплотную, дуб, в котором число и порядок ветвей не так существенны, как общий, из-под ног в поднебесье, наводящий ужас ракурс. Объем пространства, который таким образом выхватывается разом, громаден, горизонт разомкнут, земля вздымается, и небо валится на нас, мы находимся не перед картиной, но посреди нее и под ней, втянутые смерчем вещей в воронку коловорота.

Уже непосредственно примыкающий к зрителю план создает впечатление громада, потопа, и в своей микроскопической разделке чудовищен, гиперболичен. Представленные со вниманием ко всякому ничтожному пятнышку, пейзажи и натюрморты Гоголя являют собою подобие циклопических сооружений, пускай строительным материалом служит мельчайший житейский дребезг. Ибо над пафосом мелочей довлеть пафос количеств, объемов, запасов, и сами мелочи, крупно увиденные, обращаются в архитектуру, также руководимую духом грандиозного созидания. В подобных описаниях Гоголь, надо думать, использовал еще один смелый архитектурный проект, сочиненный им в борьбе с гладкостенной равниной и приниженностью современных строений. А именно, в статье «Об архитектуре нынешнего времени», помимо готических, индийских и прочих древностей, Гоголь предлагает взять в образец нового архитектурного стиля мелкие безделушки, представив их в увеличенном виде:

*«...Рассмотрите их, хотя в микроскоп, если так они не останавливают вашего внимания... Разве мы не можем эту разброшенную мелочь искусства превратить в великое?»*

Весьма проблематичная с точки зрения задач и возможностей зодчества, эта идея нашла полезное применение в собственной прозе Гоголя. Его мелочность не что иное, как поиски колоссального стиля, создание преувеличенных и фантастических ансамблей путем нагнетания и укрупненно-замедленного рассмотрения всякого рода подробностей об-

становки, заведомо незначительных и не привлекающих внимания. На дотошный буквализм в этих картинах Гоголь подвигнут не простосердечным намерением описать действительность, как она есть и какую мы ее видим обычно, но исконной своей писательской алчностью к невиданному и необычному. Как дети в куче мусора находят золотоносный источник, страну чудес и богатства, так Гоголь для себя отыскал эльдорадо в захламленности углов, в запакошенности вещей. Под его увеличительным стеклом мельчайшие изъяны и сами вещи образуют до крайности пересеченную зону; любая прореха смотрит интересной пещерой, жалкая трещинка может расстаться оползнем; путешествуя по этим свалкам гигантских крапинок, заусенцев, оплесневений и выщербленностей, мы как будто существуем на уровне лилипутов, и открывшийся нам микромир громоздится дикообразной растительностью неизвестного континента, исследование которого требует места и времени.

Тут-то Гоголь и отводит душу, роя катакомбы, снаряжая обозы, исчисляя с особой заботой и всю замысловатую посуду и тару, в которой содержат припас («бочки, пересски, ушаты, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкальники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки...»), баррикадируя движение сюжета и речи перечнями вещей и примет, обыгрывая эти препятствия и неровности почвы и подолгу задерживаясь на труднопроходимом пути. Есть что-то одержимое в том кропотливом, муравьином терпении, с каким перебирает Гоголь и разнообразно транспонирует эту ветошь и бренность, не считаясь с реальностью человеческого глаза и разума, которые отказываются фиксировать столь мельчайшие и множественные подробности<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Он настолько не считается с законами расстояния, зрительной памяти и остроты, что по ходу изложения произвольно меняет масштаб и подробно демонстрирует то, что физически немислимо углубить или осознать. Ему ничего не стоит, допустим, в «Тарасе Бульбе» запечатлеть физиономию скачущего на горизонте татарина, о котором сказано перед этим, что его заметили в виде маленькой чернющей точки (как если бы автор глянул вдруг в подзорную трубу): «Маленькая головка с усами настигла издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что казаков было тринадцать человек».

Через подобного рода нарушения перспективы и ничем не мотивированную смену места и плана обзора и достигается у Гоголя входение в вещественное и речевое пространство, чреватое уводящими вглубь и выпирающими фигурками, источенное множеством нор, траншей и лазеек.

Это переход на какое-то молекулярное строение мира и языка, отвечающее в то же время гоголевским монументальным заданиям.

В итоге подобного погружения в мельчайшую пыль жизни вещи ведут двойную игру и контрастно совмещают понятия мизерного и громадного, тривиального и эксцентрического. Проходя между ними и всматриваясь в этот странный паноптикум элементарного бытия, невольно ждешь чего-то и напряженно вопрошаешь о смысле существования в самом первичном значении этого слова — материальной данности мира, его физического присутствия, глубокомысленно молчаливого под испытующим взором художника, вперившимся в низкопробную корку материи, как в некую тюремную стену. «Сезам, откройся!» Но отворяются только двери, щели, прорехи, ведущие к новым поверхностям и прорехам; раздробленная масса растет и не трогается; напряженное безмолвие мертвого моря вещей ничем не нарушено; переползая с предмета на предмет, постепенно обываешь, приноравливаешься к ландшафту, смутно догадываясь, что так, вероятно, и надо и этот дом предназначен для обживания и имеет порядок и стиль, несмотря на дикую, с первого шага, неразбериху, что рухлядь собрана архитектурно, продуманно, и в ее пространственном контексте, чтобы не заблудиться, следует передохнуть, осмотреться, а можно осесть здесь навек, расплодиться, обстроиться, развести огород, написать роман ни о чем, о прозе, предоставленной нам в заселение и прохождение жизни без какой-либо мысли и цели, разве только с тем, чтобы кто-то, настойчивый, упершись в стену материи, долбил и добивался ответа на безответный вопрос: зачем этот стул, и к чему эта пыль, эта речь или ветошь?..

*«О вступил в темные широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную светом, выходявшим из-под широкой щели, находившейся вверху двери. (Какая нелепая и безграмотная фраза, но как «из-под нее» мы пролезаем в дверь, чтобы уже не выйти!) Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был поражен представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром,*



графинчиками и китайским фарфором. На бюро (углубляем ся), выложенной перламутровой мозаикой (еще углубляем ся), которая местами уже выпала и (входим дальше) оставила после себя желтенькие желобки (еще и еще дальше), наполненные клеем, лежало множество всякой всячины (на таком испещренном бюро много чего поместится): куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон (для переключки с яичком), весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами (успел-таки пересчитать!), накрытая письмом (значит, под письмом углядел трех мух!), кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера (ну и счетовод этот Чичиков!), запачканные чернилами, высохшие как в чахотке (перья тогда были гусиные), зубочистка, совершенно пожелтевшая, которую хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашего нашествия на Москву французов. (А вот и французы— живопись вписывается в общую кучу или нашествие вещей.)

По стенам навешано было весьма тесно и бестолково несколько картин (между прочим, не так уж бестолково— куча кучей, но Гоголь довольно логичен и упорядочен в организации своего беспорядка в духе барочной композиции с ее неустойчивым равновесием форм, мысля предметов живописными группами, переключкою объемов и пятен), длинный пожелтевший (как зубочистка, которой ковыряли до нашего нашествия французов) гравюр какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах (разумеется, французы) и тонущими конями (еще бы не потонуть в таком море!), без стекла, вставленный (кто это вставленный?— ах, да, гравюр!) в раму красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по углам. В ряд с ними занимала полстены огромная почерневшая картина, писанная масляными красками (а эта зачем еще?— наверное, классический натюрморт, по образцу и по контрасту с которыми строится собственный, гоголевский), изображавшая цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку (а почему она так висит, мы

*сейчас увидим). С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожей на шелковый кокон, в котором сидит червяк (у Гоголя непременно в одном сидит другое). В углу комнаты была навалена на полу куча того, что поглубже и что недостойно лежать на столах. Что именно находилось в куче, решить было трудно (устал перечислять вещи и перешел на кучное описание), ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки (то же кокон); заметнее прочего высовывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога (земля, самый низ земли). Никак бы нельзя было сказать, что в комнате сей обитало живое существо (но оно сейчас и покажется, из этой пыли, из кокона материи—червяк-человек), если не возвещал его пребывание старый, поношенный колпак, лежавший на столе». (После чего, естественно, и появляется хозяин-колпак, Плюшкин.)*

Не дивно ли, что все главные герои «Мертвых Душ», включая Плюшкина, Ноздрева, Манилова, Коробочку и Собакевича,—приобретатели и накопители. Это какая-то общеродовая черта персонажей Гоголя, объединяющая, унифицирующая, сопряженная с намерением автора представить в поэме различные формы и стадии накопления вещей. Кто салом, пенькой и пгичьим пером набивает закрома, кто ту же потребность возмещает породистыми собаками и курительными трубками, кто за отсутствием хозяйственной хватки и разорением имения пробавляется домашним запасом табака и табачной золы, возводя из выпущенной в трубу материи затеяливые горки на подоконнике. Так или иначе, описания запасов и складов составляют ядро изображаемых в поэме характеров. И посреди всех накопителей проходит искусительный путь хапуга, обративший приобретательство в подвиг, скупщик мертвых душ—Чичиков.

Страшные идеалы накопления, представленные в «Мертвых Душах», с нравственной и хозяйственной стороны возбуждают в Гоголе двойственные чувства отталкивания и признания; в качестве же художника он находит в них безусловную, близкую его творческой наклонности аналогию, отчего многообразие человеческих типов в поэме вылилось в вариации единого типа и стимула—накопителя. Не сами лица, до конца отрицательные, но их вещевые заместители вызывают любование автора, создавая как бы реальную базу и эти характеры, и всю композицию книги строить по подо-

бию склада, наполненного всевозможным добром. Сама идея колоссальности здания и несоразмерности его построения, изобилие включенного в работу материала и языка толкнули Гоголя выйти в негласной роли стяжателя и воспользоваться приватно руками обличаемых персонажей. В таком аспекте не столь существенно, что они и как накапливают, будучи дурными или рачительными хозяевами. Важно, что в их бережливости и мотовстве, практической сметке и лени скрывается более общая и главная, авторская жадность до всякого куска и товара. Пускай завтра картежник Ноздрев снова всё спустит до нитки, сегодня его покупки идут на потребу поэмы, даря автору лишний случай продемонстрировать список вещей:

*«Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на протакана и обыграть его, он накупил кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках; хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, крупчатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду — насколько хватало денег».*

Язык круглых сумм и торговых оборотов, коммерческих прейскурантов и описей дорог и внятен Гоголю. Ибо художественная речь для него это тоже первым долгом накопление слов, человек — накопление черточек и вещей подобающего образца и разряда. Творчество Гоголя, движимое ненасытным духовным голодом созидания, реализуется внешне в повсеместном материальном стяжательстве. В этом смысле допустимо признать известное родство Гоголя с его героями. Он не смешную страстишку юности к приобретению чернильниц и вазочек запечатлел в накопительстве Чичикова, но более глубинные свои, писательские страсти и корни — сизифово упорство в той же работе над «Мертвыми Душами», бесконечную жажду приумножения вещественного богатства в литературном образовании. В этом отношении «Мертвые Души» можно смело назвать поэмой Гоголя о собственном опыте, о художественной его жадности и мании приобретательства. Скупость Плюшкина в таком повороте тоже лишь повод для подбирания контрастных мелочей и деталей и гиперболического рассматривания всяческих перышек и зубочисток. Сколько бы Гоголь ни поносил несчастного старика, мы-то видим, кто тут главный скряга. Фигурой Плюшкина увенчивается портретная галерея стяжателей, и поэтому ему посвященная шестая глава звучит каким-то гимном гоголевской прозы. Плюшкинский сад и плюшкинский дом это величайшие символы ее стиля.

Здесь, разумеется, заметно противоречие. Писатель, руководимый высокими духовными запросами, свои художественные потенции выражает непомерным раздуванием вещества. Аскет, отрешенный от суеты, остывший к плотским удовольствиям, предается пиру плоти, какого еще не бывало у нас в изящной словесности. Достаточно указать на избытие снеди, поедаемой со знанием дела при каждом удобном случае. Помимо непременных обедов и закусываний, Гоголю показалось мало на его галерею одного генерального обеда Собакевича, и он расширил и без того пространную тему обжорства портретом Петуха, наиболее ему удавшимся во втором томе. Поедание подробно исчисляемых блюд входит в общий поток универсальной страсти стяжания. И так же, как в отношении накопительских инстинктов, авторские насмешки по адресу чревоугодников не мешают поэме за их счет наращивать бока, переполняясь материей в ее телесно-раздражающей форме. В более широком значении всё это сродни и подстать гоголевским гиперболам и царящему в его творчестве пафосу размеров, объемов, множеств, мощности, роскоши, громкости, живописности, избытка, беспредельности. В широком смысле устремления Гоголя к небу не так уже полярны прожорливости его героев, подстрекаемых с другого конца тем же максимализмом в достижении абсолюта.

Славянофил Шевырев, желая извлечь из поэмы Гоголя больше положительных эмоций, чем та содержит на поверхности, сравнил стиль «Мертвых Душ» с традиционным русским хлебосольством:

*«...В фантазии нашего поэта есть русская щедрость или чивость, доходящая до расточительности, свойство, выражаемое у нас старинною пословицей: всё, что ни есть в печи, то на стол мечи... Гоголя можно сравнить с богатым русским хлебосолом, который за роскошным столом своим, кроме двухаршинной стерляди, архангельской телятины и прочих солидных блюд, предлагает множество закусок, прикусок, подливок и дорогих соусов, которые все идут в придачу к неистощимому пиру и непременно съедаются, заслоненные главными сокровищами щедрого русского хлебосольства» («Москвитянин», 1842, № 8).*

Против подобных сравнений ничего нельзя возразить; кроме того разве, что следовало бы и в национальной физиологии преизбыточной стилистики Гоголя отыскивать более общие и менее скованные психологическими мотивировками корни, сопричастные не одной какой-то симпатичной при-

вычке русского быта и нрава, но исходным доводам нашей национальной природы. Проза Гоголя представляется настолько русским по своему складу образованию, что нуждается в аттестациях, покрывающих частные склонности или достоинства наши, назовем ли мы их хлебосольством или хмельным разгулом. На Руси, по определению Гоголя, брошенному в «Мертвых Душах», которому они вольно или невольно следуют своим слогом и построением, «всё любит скорее развернуться, нежели съежиться», «любит всё оказаться в широком размере, всё, что ни есть: и горы и леса и степи, и лица и губы и ноги...» Распухание плоти, явленное в сочинениях Гоголя, держится тех же размеров. Композиция «Мертвых Душ», например, с этой точки зрения, приближается к распуханию платья у одной из дам в той же поэме:

*«Во время обеда у одной из дам заметили внизу платья такое руло, которое растопырило его на полцеркви, так что частный пристав, находившийся тут же, дал приказание подвинуться народу подальше, то есть поближе к паперти, чтоб как-нибудь не измялся туалет ее высокоблагородия.»*

Дело не только в том, что Гоголь испытывает слабость к большим масштабам, что ему мила сама замашка русской породы, жаждущая разъехаться на полсвета по примеру страны, данной нам в основание. Независимо от замыслов автора, от тех или иных намеренных уподоблений, его текст норовит раздаться вширь и захватить большую отведенной ему по расчету площадь. Это в натуре гоголевского слова — разъехаться. Не зря в синонимы собственной прозы у Гоголя нет-нет, а срываются с языка иносказания, вроде «кучи», «громозда», «дребезга», говорящие об относительной аморфности художественной структуры, к которой он исподволь тяготеет, расплываясь, как тесто, и разваливаясь, как гора, в своей страсти к колоссальному. Сами упования Гоголя на Россию с ее первобытностью, противостоящую европейской, не сулящей уже никаких надежд, твердой ограниченности формы, связаны с нашей традиционной, непреодолимой бесформенностью, которую он принимает за временное, возрастное явление, обещающее массу удобств в дальнейшем оформлении, как можно было бы в это верить в начале прошлого века.

*«Мы еще расплавленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя всё, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней» («Светлое Воскресенье»).*

Текучесть русской природы, как бы еще не вошедшая в границы формы, которая еще не готова, еще преодолевает себя и позволяет жизни пространно изливаться в этих поисках исполинского, пророчествующего о своей безмерности очерка, так ощутительно извещает о себе в «Мертвых Душах», что сама неуклюжая бесструктурность этой вещи мнится символом России, несущим изъяды и прелести всей нашей непосильной метафизики. Ах, это так по-русски, увязая по уши в низменной прозе, грезить поэзией и, взяв дурной анекдот, силиться выдуть из него не новеллу, не скромную повесть, а поэму, с таким, знаете, даже уклоном в эпопею, в Энеиду, с библейским таким даже намеком, с богатырским посвистом и громом, от которого сам этот колосс странно покачивается, грозясь развалиться в мусорную кучу. Нет, это нужно иметь отвагу и какую-то бесшабашную отчаянность в душе, чтобы с «мертвыми душами», запасшись одними Собакевичами да Чичиковыми, штурмовать небеса и задирать нос перед оторопевшей Европой, положась на нашу родную расхлябанность или бесформенность, что, даст Бог, еще себя оправдает!.. Нужно решиться на неслыханное смешение языков, традиций, жанров и стилей, чтобы из этой смеси, из этой дикой глины, вылепить нечто бесформенное — поэму не поэму, сатиру не сатиру, роман не роман, однако же, кивающее расплывшимися чертами всем этим фундаментальным понятиям и традициям, словно вобравшее их предварительно и переварившее в кашеобразную массу, в свободную форму, которую не испортишь ни Гомером, ни Нарезным и которая уже названием своим, адресованным прозе, — поэма как будто выступает из собственных берегов и никуда не желает укладываться. А «Мертвые Души» — это оксиморон, вынесенный в заглавие, звучащий сплошным исключением из смысла сомкнутых слов — хотите невинными ревизскими списками (если это повесть), хотите (если это сатира) — убийственной насмешкой над человеческим родом, хотите (если это поэма) — «Божественной Комедией», «Энеидой», разговорами в царстве мертвых!..

Сюжетная схема анекдотического профита (покупка мертвых душ), положенная с основу гоголевского создания, нарушена в первых же главах за счет непомерно распространенных портретов встречаемых помещиков. Сюжет здесь съеден портретами и задавлен мелочами. Акцент с занимательной фабулы переносится на характеры, в характерах же (или портретах) акцент переносится на подробности обстановки. Роман съезжает в ландшафт — дорожный или домаш-

ний; усадьбы с их владельцами — страны, острова в океане; всякий дом обрисован как замкнутая среда со своим специфическим, местным колоритом; как подобает в путешествиях, выдвинут географический принцип; лицо преподано преимущественно рельефом среды, интерьером, интерьер образует космос, сотканный из предметной материи; вещи под микроскопом вспухают земною корой; вещественная материя, смыкаясь с материей речи, порождает иллюзию собственно пространственной формы; поэма в употреблении Гоголя сближается с понятием пространственным — панорама. Лирическая тема России, не вытекающая формально из лиц и событий переднего плана, сопрягается с идеей пространства, предельно акцентированного, и вписывается не в сюжет, но в кругозор прозы Гоголя. Бесформенность и избыточность прозы становятся свойством земли.

В указанном качестве она, эта проза, несет отпечаток ярко-национального гения. Русскому чувству вняты зов земного горизонта и притяжение объемной природной массы земли, ее вспухающей плоти, ее дебелого тела, столь означенных в народном творчестве и сознании. Сама бесформенность наша, быть может, лишь следствие этой верности матери-земле и нежелания расстаться с началом более широким и текучим, более духовным и реальным для нас, нежели частные формы и лица, нежели мы сами. Человек на Руси — при необычайной оригинальности индивидуального нрава и фантазиях характера — более расплывчат, непостоянен, менее личен, стабилен, чем человек Запада. Страсть к бродяжнической жизни и странничеству, так же как — в ином состоянии — традиционная русская лень, инертность, неподвижность, того же поля ягоды. Мы либо сидим сиднями, чтобы быть поближе к земле, либо бегаем по ней куда глаза глядят — тоже чтобы быть к ней поближе...

Известно, какое серьезное влияние на творчество и здоровье Гоголя имела дорога. Человек не слишком любознательный, лишенный жизненной прыти и страсти к приключениям, к дорожной интриге встреч и расставаний, скорее неподвижный и замкнутый в кругу однообразных привычек и дум, Гоголь по какой-то таинственной необходимости всю жизнь путешествовал и находил в дороге как будто пуповину, питавшую его тело и дух от источников жизненной силы, что отвечало, по-видимому, его внутреннему ядру, гипертрофии земли в его составе и облике. У Гоголя была физиологическая потребность дороги, и, пускаясь в путь совершенно больным и разбитым, он выздоравливал, обновлялся, принимая ее как лекарство, спасительное для его организма.

Курьеры, курьеры, курьеры, тридцать пять тысяч курьеров Хлестакова, скачущие фельдъегеря в розовых мечтах Городничего, полеты на чорте, бешеные гонки с ведьмой на спине и верхом на ведьме, козацкие кони, тройки, брички, коляски, кареты, версты, одним махом пролетающие или медленным шагом истоптанные города, проспекты, страны,— всем этим бредил Гоголь, переселяясь мысленно в идеальное для его немощной плоти состояние дороги.

*«С какую бы радостью я сделался бы фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, чем дальше, тем лучше. Клянусь, я был бы здоров» (М. П. Погодину, 17 октября н. ст. 1840 г. Рим).*

Тут мало, кажется, от Музы дальних странствий или от неутомимой охоты за новыми картинами жизни. Тут что-то более кровное и связанное, сдается, больше всего с землей как стихией и формой Гоголя, которую он осваивал, измерял, пожирал, проецируя на себя и свои сочинения, когда колесил по свету. Легкая отрешенность, какую вселяет дорога, от эмпирической действительности и житейской материи (в дороге мы ближе к небу, к свободе и беззаботности) сочеталась у Гоголя с обострившимся в путешествии внутренним зрением на мир в его стереоскопической резкости и протяженности, на собственные литературные планы и образы.

*«Я надеюсь много на дорогу. Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обдывал в дороге» (С. П. Шевыреву, 10 августа 1839 г. Вена).*

*«Еду я для того, чтобы ехать. Езда, как вы знаете, мое всегдашнее средство, а потому и теперь, как я ни хил и болен, но надеюсь на дорогу и на Бога и прошу у Него быть в дороге, как дома, то есть как у Него Самого, в покойные минуты души, дабы быть в силах и возможности что-нибудь произвести» (С. Т. Аксакову, 5 мая н. ст. 1846 г. Рим).*

Дорога и удаляет от Гоголя объект изображения и приближает к нему, поворачивает под новым углом, меняет масштаб и перспективу — как бы в согласии (иной раз обратном) с пройденным путем и произведенными на нем поворотами. Дорога, надо полагать, помогала строить пространственную форму гоголевской прозе. Ради создания «Мертвых Душ», как известно, был предпринят отъезд из России, причем значение имели не только дальность расстояния, необходимая для лучшего обозрения предмета, но и внезапные перемещения «европейской» точки обзора, которые да-



рила дорога, совпадавшие с какими-то внутренними, структурными требованиями поэмы. В то время, как Чичиков пылил по губернии, его создатель проделывал соответствующие движения, разъезжая по Европе,— текст произведения находился в определенной зависимости от пространственной гимнастики автора. Вероятно, сам процесс писательства — тем более в столь протяженном и плотно упакованном, эпическом повествовании, каким являются «Мертвые Души», — нуждался в этих упражнениях, разыгранных за тысячи миль от места действия и оттого, быть может, еще отчетливее прорисовывающих его образные контуры. Колеса по Европе, Гоголь круче и гуще месил землю, находившуюся в процессе художественного формотворчества. Он, фигурально выражаясь, писал не только пером, он писал ногами, колесами, маршрутами, разъездами и стоянками, разбросанными как вехи на пути сюжета — в различных точках физического и умозрительного пространства. Гоголь работал над пространством, как если бы речь шла о каком-то проекте вселенского сооружения, и, чтобы придать поэме какой-то новый аспект, ему приходилось подчас пускаться в неожиданные экспедиции, не имевшие, очевидно, в большинстве случаев никакой конкретной, сознательно поставленной цели, кроме той, что эта езда включалась у него в программу работы, в порядок обзора и уяснения его пространственных воплощений.

*«...Путешествие и перемены мест мне так же необходимы, как насущный хлеб. Голова моя так странно устроена, что иногда мне вдруг нужно пронестись несколько сот верст и пролететь расстояние для того, чтоб менять одно впечатление другим, уяснить духовный взор и быть в силах обхватить и обратить в одно то, что мне нужно. Я уже не говорю, что из каждого угла Европы взор мой видит новые стороны России и что в полный обхват ее обнять я могу только, может быть, тогда, когда огляню всю Европу. Поездка в Англию будет слишком необходима мне, хотя внутренно я не лежу к тому и хотя не знаю еще, будут ли на то какие средства» (С. П. Шевыреву, 28 февраля 1843 г. Рим).*

Эти поездки существенны не только для «Мертвых Душ». Они открывают нам в облике Гоголя — географа, землепроходца, завоевателя всё новых и новых земель. Гоголь от начала развивался, как если бы совершал путешествие по землям и весям, и его писательский путь очень точно очерчивается в географических именах и понятиях. Он движется от страны к стране, часто название местности вынося

в заглавие книг и отдельных произведений, каждое из которых несет печать своего места на карте, свой локальный, сочно обрисованный космос. Гоголь мыслил автономными, замкнутыми в своих границах мирами — Диканькой, Миргородом, Запорожскою Сечью, Речью Посполитой, жидовским гетто в Варшаве, Петербургом, Невским проспектом, Римом, Россией, идя от периферии к центру, как сам приехал, чтобы затем, удаляясь в Европу, растечься по всероссийской равнине. Последовательное перемещение к центру (Миргород — Санкт-Петербург — Рим — Иерусалим), помимо прочего, вызвано, кстати, его поисками верховной точки земного обзора и такой ориентации в пространстве, которая бы давала максимально полный охват. К его творчеству в целом приложим феномен, описанный в «Страшной Мести»: картина видимого мира стремится перейти в космографию за счет различного рода оптических усилителей.

*«...Вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галицкая...»*

У Гоголя наблюдается повышенный интерес к месту действия, в широком смысле — к ландшафту описываемой страны, герои которой имеют ярко выраженные приметы соответствующего этой местности этноса. Художественное произведение сближается с исследованием географа и этнографа. Это не было бы столь интересным, когда бы в качестве туземной среды и природы выступали у него лишь далекие, допустим, читателю страны и племена, наподобие той же Малороссии или Италии. Но Гоголь и всем известный Невский проспект с его сменой населения, с приливами разнообразной фауны, преподносит тем же методом и повадки губернских дам, и привычки чиновников, разделенных на фратрии толстых и тонких. Гоголь, как Купер — индейцев Америки, описывает промозглый, шинельный климат Петербурга. От него мы получаем массу сведений, своим содержанием или формой изложения лежащих всецело в области географии. Ибо Гоголя-художника чрезвычайно занимала проблема, в опущении которой, как жаловался он однажды в разговоре, состояла, по его мнению, основная беда исторической науки, — проблема «связи человека с той землей, на которой он поставлен» (А. О. Смирнова «Записка о Гоголе»).

Исторические интересы Гоголя в его собственных статьях и набросках резко потеснены в пользу географии. Неда-

ром воображение нашего автора было приковано одно время к многотомному изданию ученого труда под названием «Земля и Люди» — к очерку всеобщей истории, надо думать, в географическом истолковании. Земля, согласно его взглядам, является формообразующим фактором истории, определяя статут и лицо народов; ее естественный рельеф содержит предвечный проект человеческого общежития — жестокий материализм в теории воздействия внешней среды на жизнь и духовный облик людей, которую, казалось бы, исповедует Гоголь, оборачивается на практике уроком Промысла; география становится полем приложения мирозидательного Разума, программирующего судьбы народов по мерке ландшафта; сосредоточенное внимание автора к земле с ее планировкой служит средством уловления законов неба в истории.

*«Преподаватель (имеется в виду преподаватель истории.— А. Т.) должен призвать в помощь географию, но не в том жалком виде, в каком ее часто принимают, т. е. для того только, чтобы показать место, где что происходило. Нет! География должна разгадать многое, без нее неизъяснимое в истории. Она должна показать, как положение земли имело влияние на целые нации; как оно дало особенный характер им; как часто гора, вечная граница, взгроможденная природою, дала другое направление событиям, изменила вид мира, преградив великое разлитие опустошительного народа или заключивши в неприступной своей крепости народ малочисленный; как это могучее положение земли дало одному народу всю деятельность жизни, между тем как другой осудило на неподвижность; каким образом оно имело влияние на нравы, обычаи, правление, законы. Здесь-то они должны увидеть, как образуется правление; что его не люди совершенно устанавливают, но нечувствительно устанавливает и развивает самое положение земли; что формы его оттого священны, и изменение их неминуемо должно повлечь несчастье на народ» («О преподавании всеобщей истории», 1883 г.).*

География, в понимании Гоголя, это композиция мира, по которой затем разыгрывается история. География, можно заметить, сродни художественным вкусам и построениям Гоголя и придает его работам и заготовкам в области истории тот же стиль и порядок, ту же колоссальность и живописность, которые достигаются путем трансплантации исторических событий на физической карте мира, путем перевода времени на язык пространства, позволяющий разом схватить разделенные веками явления и показать их

взаимозависимость в единой картине. Историсофские экскурсии Гоголя тем и замечательны: оставаясь на уровне географии, на уровне предисловия к истории, они несут материальные символы и общие контуры исторической жизни в виде творимой на наших глазах пространственной панорамы. Та, наподобие открытых или раздвижных композиций, в исполнении провидициального плана меняет свои очертания и вводит в поле обзора всё новые и новые кадры всемирного бытия, которое не так развивается, как строится по образу здания, созерцаемое в дальнобойные стекла гоголевской оптики — «вдруг стало видимо далеко во все концы света».

*«...Папские миссии проникают в северо-восточную Азию и Африку — и мир открывается почти вдруг во всей своей обширности» («О преподавании всеобщей истории»).*

*«Почуял он теперь, смутясь, великий перст, пред ним же повергается в прах немеющий человек, — великий перст, чертящий свыше всемирные события. Он вызвал из среды ее же (Италии. — А. Т.) гонимого ее гражданина, бедного генуэзца, который один убил свою отчизну, указав миру неведомую землю и другие широкие пути. Раздался всемирный горизонт, огромным размахом закипели движенья Европы, понеслись вокруг света корабли, двинув могучие северные силы. Осталось пусто Средиземное море; как обмелевшее речное русло, обмелела обойденная Италия» («Рим»).*

Мир пишется целиком. Фраза вмещает столетия, обнимает океаны. Знание фактов в самом предварительном, школьном объеме допускало, набрасывая скорый очерк эпохи, пренебрегать остальными, противоречащими идее деталями, либо домысливать их, положась на вдохновение. В отрывке «Рим» история нынешней и прошедшей Италии утесла бы сквозь пальцы у более педантичного автора. Никогда бы не поймать ему тень Запорожской Сечи, подойди он к «Тарасу Бульбе» осмотрительнее и изучи груды книг: он сразу бы начал сомневаться, к какому веку отнести происшедшее, к XV-му или XVII-му, да и как совокупить Украину с тогдашней Россией и Польшей. Но Гоголю было достаточно пригубить науку; он владел не фактами, но способом их сопряжения и полагался на крайние, удаленные точки охвата, на контрастное, заведомо несоразмерное соединение звеньев; всё это давало свободу вести тысячелетнее исчисление на одном дыхании, подстать широте проекта, начертанного великим перстом незримого Архитектора, и доискиваться

мирообъемлющей осмысленности событий. Оттого, между прочим, он с треском провалился в своей профессорской карьере. Терпения и эрудиции Гоголю хватало лишь на первые лекции, на вступления и предисловия, которых ему было довольно, чтобы жить уже по закону принятой к эскизу гипотезы.

Читая Гоголя, мы научаемся мыслить историю целокупно, ландшафтно, обращая внимание на художественное соотношение фактов, не имеющих видимой, причинно-следственной связи и поэтому оставленных в пренебрежении наукой — для вольных домыслов творчества. Нас повергает в восторженную прострацию такое, к примеру сказать, сцепление вещей, как странное сходство изрезанного побережья Европы с изрезанной европейской историей, с узорами европейских идей и соборов. Как рядом с этим раздробленным, изысканным и хитроумным рисунком сплошной, тяжелой лепешкой застыл материк Африки!.. Мы научаемся видеть присутствие духа в материи, чуда в законах природы и установлениях общества, восхищаться творческой мощью, фантазией и иронией, заключенными в работе слепых и стихийных сил...

Непропорциональное влияние географии на историю в исторических концепциях Гоголя, земли с ее положением — на людей с их образом мыслей и событиями жизни отвечало соотношению речи и сюжета в гоголевской прозе. География так же довлеет над историей, как язык и стиль у Гоголя берут перевес над фабульным развитием действия. География столь же законный символ гоголевского стиля, как предложенные им проекты архитектуры. Более того, географический принцип мышления и художественного воплощения коренится глубоко в природе творчества Гоголя. География как бы сама база его прозы. Потому-то он так охотно прибегает к ее содействию, когда стремится выразить владеющие его душою идеи. Языком географа Гоголь подчас говорит о себе — о своем искусстве видеть, строить, сопоставлять, живописать и рассказывать. В частности, его «Мысли о географии», мотивированные в «Арабесках» задачами преподавания, содержат самохарактеристику стиля, представленного в виде земли в ее глобальном охвате.

*«Велика и поразительна область географии: край, где кипит юг и каждое творение бьется двойною жизнью, и край, где в искаженных чертах природы прочитывается ужас и земля превращается в оледенелый труп; исполины-горы, парящие в небо, наброшенный небрежно, дышащий всею роскошью*

*растительной силы и разнообразия вид, и раскаленные пустыни и степи, оторванный кусок земли посреди безграничного моря, люди и искусство, и предел всего живущего! Где найдутся предметы, сильнее говорящие юному воображению!»*

Гоголь всегда нуждался в подобном соединении крайних полюсов, будь то контрасты ландшафта, противоположные свойства или пласты языка, проза и поэзия, необходимая для развития прозы. Точно так же для постижения России ему понадобилась — Италия. Привязанность к Италии чрезвычайно существенный момент биографии Гоголя, отвечающий во многом его «географическому» способу овладения миром и словом. Вне Италии, мы знаем, не могли бы сложиться «Мертвые Души», и в европейском удалении от предмета обзора и помыслов наиболее верным пристанищем писателя оказалась Италия, послужившая землею обетованною его душе и телу. Нет необходимости исчислять все преимущества этой страны, привлекавшие Гоголя, в течение длительного срока воспринимавшего Италию как свою вторую, если не единственную родину. Однако Италия важна не только как некая идеальная среда для проявления его художественного гения (теплый климат, красоты природы, страна искусств, культурный и религиозный центр европейского мира и т. д.), но и в качестве структурного, географического фермента гоголевской прозы, выступающего притом в двух противоположных значениях по отношению к России — утверждения и отрицания, подобия и антипода. Италия это и пламенный юг, в котором, по мнению Гоголя, особенно испытывает нужду художник бледного севера, для того чтобы, ожив вдали от своей холодной отчизны, представить ее во всем холоде и нищенской наготе, по контрасту с обретенным раем, и одновременно тот край, который своими чертами ближе всего напоминает ему оставленную родину и является чуть ли не зеркальным ее отражением. Оба эти аспекта представлены в оценках и взглядах Гоголя на Италию. В применении к прозе «Мертвых Душ» она сближается по смыслу с «поэзией», которая позволила художественному тексту развиваться в самом прозаическом, сниженном, лишенном прикрас обличии и которая вместе с тем непосредственно проникает его словесный состав. Италия, как антипод и слагаемое гоголевских произведений, в этой двойственности похожа на самого Гоголя, игравшего в гордом авторстве по отношению к своему созданию роль противоположного полюса и в то же время в тех же образах воплотившего свою творческую природу. Короче говоря, это та искомая точка под солнцем,

откуда автор мог точнее всего координировать свои движения в поэме. Италия, по мысли Гоголя, нужна всему европейскому человечеству (и, конечно же, самому автору) —

*«для того, чтобы будить мир, чтоб жителю севера, как сквозь сон, представлялся иногда этот юг, чтоб мечта о нем вырывала его из среды холодной жизни, преданной занятиям, очерствляющим душу,—вырывала бы его оттуда, блеснув ему неожиданно уносящею вдаль перспективой, коллизейскою ночью при луне, прекрасно умирающей Венецией, невидимым небесным блеском и теплыми поцелуями чудесного воздуха,—чтобы хоть раз в жизни был он прекрасным человеком...» («Рим»).*

Уносящая вдаль перспектива и мечта о прекрасном человеке, претворенные в дело собственного творческого и нравственного совершенствования, ежедневно подкрепляемого созерцанием священной земли, позволили Гоголю в «Мертвых Душах» необыкновенно возвыситься над своими и всеобщими пороками, над «средою холодной жизни», представив ее в отчужденно-уничжительном свете, как бы очами достигшего величайших совершенств иноземца. Италия понадобилась Гоголю, для того чтобы подняться над Россией и, отрясая этот прах, устремить ее в даль своего зыскующего духа, в безмерную перспективу своей художественной композиции. С другой стороны, там же Гоголь нашел нечто, неодолимо связывающее его с родной землей и наполняющее этот Эдем приметами, бесконечно знакомыми и любимыми с детства, наводящими на размышления о провиденциальной судьбе своего народа, которыми негласно овеяны в том же отрывке «Рим» гоголевские раздумья и наблюдения над картинами итальянской истории и современного народного быта. Уже первые впечатления по приезде Гоголя в Италию исполнены этой двойственности — он и рвет как будто последние нити, соединявшие его с прошлым, с родиной, и, словно заново родившись, переживает с ней неожиданную встречу на чужбине.

*«Что сказать тебе вообще об Италии? Мне кажется, что будто бы я заехал к старым малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, мараящие платья мелом; старинные подсвечники и лампы в виде церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений. Здесь всё остановилось на одном месте и далее нейдет. Когда въехал в Рим, я в первый раз не мог дать себе ясного отчета. Он показался маленьким. Но чем далее, он мне кажется бóльшим*

*и бóльшим, строения огромнее, виды красивее, небо лучше, а картин, развалин и антиков смотреть на всю жизнь станет. Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу — и уж на всю жизнь. Словом, вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить» (А. С. Данилевскому, 15 апреля н. ст. 1837 г. Рим).*

Не нужно думать, будто у Гоголя в Италии пробудились лишь дальние связи с его южной, малороссийской природой, что прекрасная земля открылась ему только в аспекте «Старосветских Помещиков», европейской Украины, откуда всё повелось в Европе и где сама застывшая неподвижность жизни сулит человечеству что-то еще не высказанное, не проявившееся. Стабильность Рима и младенческая непосредственность его населения, указывающая на характер народа «сильного, непочатого, для которого как будто бы готовилось какое-то поприще впереди», обладают для Гоголя широчайшей и притягательной значимостью и касаются его представлений о мире и о России в целом. Прогулки по Риму смыкаются у него с постижением кардинальных проблем земного ландшафта и этноса.

Притом особое, рабочее направление приобрела необычайно сгущенная, гиперболическая география Вечного Города, состоящая из отложений многих культур и эпох, география, в которую превратилась в Риме окаменевшая история, преподавшая Гоголю наглядный урок перевода временных категорий в пространственные масштабы и формы. С Италией вообще и Римом в особенности «Мертвые Души», помимо прочего, были связаны телесно, физически: здесь Гоголь полнее, чем где-либо, ощущал каменистую почву под ногами как источник жизни прошедшей, настоящей и будущей; здесь руины и вещи цвели на одной грядке с природой, говоря с художником на внятном ему языке живописной пестроты, контраста и колоссальности; здесь Гоголь прикасался к земле в ее чувственно-остром и чреватом пророчеством образе; здесь человек рисовался в искомом качестве места, на которое он поставлен не зря, но ради предвечного плана Творца и Устроителя жизни. Хождение по улицам, созерцание красот природы и памятников искусства в свободное от работы время становились подмогой и шли параллельно его художественной работе, подобно чтению Гомера и Данте, которому Гоголь тогда предавался со страстью, только, может быть, более осознанно и нацеленно на собственный текст. Рим с его окрестностями и разномастными слоями истории, представленными как будто в геологическом разрезе земли, Рим с его



величием и спокойствием, с его стойкой костью, говорящей, что ничто не проходит бесследно, но остается в научение людям, что сам человек есть земная персть и восстает из нее на время, чтобы вновь возвратиться в эти вечные борозды, морщины и отложения города, настраивали Гоголя на эпический лад и размер и соответствовали предмету его занятий — поэме. Гоголь блуждал по городу, с тем чтобы к ней приблизиться. Рим входил в круг его традиций и раздумий над «Мертвыми Душами» как творением современного эпоса.

*«Что за земля Италия! Никаким образом не можете вы ее представить себе. О, если бы вы взглянули только на это ослепляющее небо, всё тонущее в сиянии! Всё прекрасно под этим небом; что ни развалина, то и картина; на человеке какой-то сверкающий колорит; строение, дерево, дело природы, дело искусства — всё, кажется, дышит и говорит под этим небом. Когда вам всё изменит, когда вам больше ничего не останется такого, что бы привязывало вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию. Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к Божеству. Князь Вяземский очень справедливо сравнивает Рим с большим прекрасным романом или эпопеею, в которой на каждом шагу встречаются новые и новые, вечно неожиданные красоты. Перед Римом все другие города кажутся блестящими драмами, которых действие совершается шумно и быстро в глазах зрителя; душа восхищена вдруг, но не приведена в такое спокойствие, в такое продолжительное наслаждение, как при чтении эпопеи. В самом деле, чего в ней нет? Я читаю ее, читаю... и до сих пор не могу добраться до конца; чтение мое бесконечно» (П. А. Плетневу, 2 ноября н. ст. 1837 г. Рим).*

Гоголю не очень свойственна обычная элегическая ностальгия на величественных могильниках прошлого. В творениях минувшей эпохи история не сходит со сцены; памятники культуры — хранилища некогда кипевшей на поверхности жизни энергии, способной возродиться когда-нибудь в новых обликах и продолжающей оказывать скрытое воздействие на глубинные процессы действительности. Прошлое, заключенное в камнях развалин, подобно аккумуляторам, питающим нынешний день. Поэтому, в частности, характер и нравы современного римского общества преподносятся в едином потоке с картинами былого, с описанием ушедших строений и произведений искусства Италии, и альбанка Аннунциата выступает как ожившая статуя, в которой голос прошлого звучит с первоначальной свежестью. Человек

у Гоголя обрисован как естественное продолжение земли, его породившей, и заносится в ряд с вещами, архитектурой, природой, неотделимый от ландшафта, в котором он обитает.

Столь последовательно проведенный «географический» подход к человеку проливает дополнительный свет на стойкий консерватизм Гоголя. В нем повинны не какие-то политические убеждения и социальные утопии, но органическая связь с первородными стихиями и элементами жизни. Гоголь не может и не хочет порывать с землей как основой основ человека, и мыслит о нем и творит его образ в ее категориях. Застой ему менее страшен, нежели суета и погоня за модой. Застой это всё же запас, который еще на что-то способен. Суета — пустая растрата, удаление от источников жизни. Прогресс в истолковании Гоголя сбивается на регресс, точнее — на воссоздание истины в ее предустановленном виде. Гоголь не был ни просто любителем старины, ни ретроградом, мечтающим, вопреки очевидности, повернуть историю вспять. Очевидность для него состояла в нерушимости исходных основ. Прошлое было не безвозвратным, оно обладало активной — на будущее — силой. Оно до срока спало в земле, на которой жили и будут еще жить сотканые из той же породы люди. Гоголь радовался неизменности римских обычаев. Она свидетельствовала о сохранности теста, из которого лепился характер нации. Его привлекала доброкачественность состава, выражавшаяся в добром и злом, в страстях и пороках, первоначальная цельность натуры, не поколебленная еще европейским просвещением, которое «как будто с умыслом» обошло стороной римское население и «не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования». Стабильность гарантирует жизненность. Значит, этот народ еще проявится в истории, значит, география Рима еще заговорит.

*«В такую торжественную минуту он примирялся с разрушением своего отечества, и зрелись тогда ему во всем зародыши вечной жизни, лучшего будущего, которое вечно готовит миру его вечный Творец. В такие минуты он даже весьма часто задумывался над нынешним значением римского народа. Он видел в нем материал, еще непочатый. Еще ни разу не играл он роли в блестящую эпоху Италии: отмечали на страницах истории имена свои папы да аристократические дома, народ оставался незаметен. Его не зацеплял ход двигавшихся внутри и вне его интересов; его не коснулось образования и не взметнуло вихрем сокрытые в нем силы. В его природе*

*заклучалось что-то младенчески-благородное. ...Эти черты характера, смешанного из добродушия и страстей, показывающие светлую его натуру: никогда римлянин не забывал ни зла, ни добра, он или добрый, или злой, или расточитель, или скряга, в нем добродетели и пороки в своих самородных слоях и не смешались, как у образованного человека, в неопределенные образы, у которого всяких страстишек понежнему под верховным началом эгоизма. Эта невоздержанность и порыв развернуться на все деньги, замашка сильных народов,— всё это имело для него значение. Эта светлая непритворная веселость, которой теперь нет у других народов: везде, где он ни был, ему казалось, что стараются тешить народ; здесь, напротив, он тешился сам. Он сам хочет быть участником, его насилу удержишь в карнавале; всё, что ни накоплено им в продолжение года, он готов промотать в эти полторы недели; всё усадит он на один наряд: оденется паяцом, жеманщиной, поэтом, доктором, графом, врет чепуху и лекции, и слушающему и неслушающему, и веселость эта обнимает, как вихорь, всех — от сорокалетнего до ребятишки: последний бобыль, которому не во что одеться, выворачивает себе куртку, вымазывает лицо углем и бежит туда же, в пеструю кучу» («Рим»).*

Римский народ, по-видимому,—при всем несхождении традиций, обычаев, темпераментов, стремлений и дарований — вписывается в российские вкусы и интересы Гоголя. Не так, однако, существенно совпадение отдельных примет в удаленных друг от друга характеристиках юга и севера, как направленное внимание автора на нерастраченный заряд национального потенциала и поиски резко означенной, крупной и сильной породы. За последней у Гоголя решающее слово в определении достоинства нации, проявляющегося в самих недостатках и коренных пороках ее, чему свидетельством служат бесконечные его размышления о судьбах России и русского человека.

Мало кто, подобно Гоголю, был одержим программой полезной деятельности и практического добра, в которой он видел единственный выход России. Тем не менее косность и инертность русской породы, лень и безделье, будучи законно главными его неприятелями, встречали у Гоголя не то, чтобы снисходительный взгляд, но научное понимание скрытой за ними силы и какой-то существенной крепости, уходящей в землю, в кряжистый корень народа, нелегкого на подъем, но зато, коли придется, способного своротить горы. Этого момента касался он, например, подавая деловые

советы прогоревшему на своей широте душевной лучшему другу Пушкина:

*«Недостатки ваши могут быть разве только в неподвижности и лени, одолевающей русского человека во время продолжительного бездействия, и в трудности подняться на дело. Но в той же русской природе есть способность, поднявшись на дело, совершить его полно и окончательно, русский сидень делает в малое время больше, чем какой-нибудь труженик, работающий всю жизнь» (П. В. Нащокину, 20/8 июля 1842 г. Гастейн).*

Оставим в стороне национальное самолюбие и воспитательные задачи подначки: нас интересует голая проблема — энергии и обратимости пороков в достоинства (равно как и достоинств в пороки). Русский лежебока, по Гоголю, словно держит что-то в резерве, дожидаясь урочного часа, когда прикажут: вставай! Тогда-то все увидят, что за клад в нем таился и какой герой погибал без пользы. Но проблема шире: Россия, как здоровая, мощная и нетронутая еще по-настоящему историей народность, содержит богатейший резерв (еще неясно какой по значению) активной силы — в ледяном оцепенении своих угрюмых равнин. Россия заряжена будущим больше других племен и народов, и ее неподвижность служит тому зарокотом. Недаром характеры Гоголя сбиваются на описания складов. Его накопители суть орудия, нацеленные произволением свыше в туманные дали веков, когда все эти мерзавцы, кулаки, хвостуны и лентяи предстанут в своем историческом назначении и выложат миру драгоценные сбережения. Что несут в себе эти запасники человеческих душ? Как отзовутся в грядущем эти люди-пушки? Не знаем. Грядущее еще не пришло. Пророчествующий голос Гоголя, как пламя костра под ветром, мечется от ожидания чуда к предошущению катастрофы. В. В. Розанов, который терпеть не мог Гоголя за его карикатуры, под конец, перед смертью, вынужден был признать, что это никакая не ересь, а сущая натура России, что революция (правда — только и впервые революция) оправдала Гоголя полностью (см. «Гоголь и Петрарка» — «Книжный угол», 1918, № 3).

Но совсем необязательно смотреть на вещи так мрачно. Гоголя как раз восхищала крепость русской породы, которая даже порокам сообщает замашку и кряжистость судьбоносной нации. Гоголь возлагал надежды не на лучшее, а на худшее в России. Посмотрите, какие богатыри, силачи, мастера, фокусники и кудесники своего дела — эти Чичиков, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин... (Наименее вредный из

них — Манилов — и меньше всех обнадеживает.) Если отрешиться от преходящего помещичьего племени, заменить пеньку да сало чем-то посуше, переместить какой-то невидимый рычажок в их застывших организмах и нажать курок, — совершенно неизвестно, что в результате получится. Я не шучу. Гоголь мог заблуждаться в своих прогнозах и составлять в уме самые несбыточные комбинации будущего России. Но он был прав принципиально, когда не желал никуда сдвигаться с земли, на которую поставлен народ, и искал его будущее в ее недрах. Поэтому он был консерватором.

*«Нужно, чтобы мы все-таки питали любовь к своей государственности, а не летали мысленно по всем землям, говоря о России; чтобы чувствовали, по крайней мере, что строенье нового исходит из духа самой земли, из находящихся среди нас материалов» (П. А. Вяземскому, 11 июня н. ст. 1847 г. Франкфурт).*

Путь Гоголя шел через освоение тех материалов, которые имелись в наличии и даже в избытке, через изучение мерзостей человеческих. Нет, совсем не только ради их отрицания во имя чего-то светлого и прекрасного, но ради достижения спасительной версии, заключенной в самих этих мерзостях, из которых, хочешь, — не хочешь, а строится наша судьба.

*«Пока я еще мало входил в мерзости, меня всякая мерзость смущала, я приходил тогда в уныние от многого в России, и мне за многое становилось страшно. С тех же пор, когда я стал побольше всматриваться в мерзости, я просветлел духом. Передо мной стали обнаруживаться исходы, средства и пути. И благодарю я более всего за то Бога, что Он сподобил меня хотя сколько-нибудь узнать мерзости как мои собственные, так и бедных собратий моих. И если есть у меня какая-нибудь капля ума, свойственного не всем людям, так это оттого, что я всматривался побольше в эти мерзости. И если я приобрел наконец любовь к людям не идеальную, но существенную любовь, так это всё оттого, что всматривался я побольше в мерзости. Не пугайтесь же и вы мерзостей и особенно не отверщайте от тех людей, которые вам кажутся почему-либо мерзки. Уверю вас, что придет время, когда многие у нас на Руси из чистеньких горько заплачут, закрыв руками лицо свое, именно оттого, что считали себя слишком чистыми, что хвалились чистотой своей и всякими возвышенными стремлениями куда-то» (А. О. Смирновой, 6 июня н. ст. 1846 г. Прага).*

Больше всего в своем творчестве Гоголь ценил психологическую сторону («Всё мною написанное замечательно только в психологическом значении...»), полагая, что в остальном он уступает другим писателям. Между тем вы не встретите у него особенно тонко и многосторонне обрисованной психологии, и его персонажи, как правило, лишены слишком сложной и оригинальной психологической характеристики. Герои Гоголя скорее схематичны, сгущены и упрощены в своей внутренней жизни и вырублены чаще всего из одного куска, вылеплены из одной массы. Очевидно, психологические преимущества гоголевского дарования заключались не в представленных им образцах индивидуальной человеческой психики, которая у многих его подопечных сведена до минимума, но главным образом в творческом подходе, опыте и методе автора, погруженного в исследование души, которая берется обычно в каком-то одном измерении, как некий пласт или срез события, и в этом элементарном составе досконально рассматривается. По единственному, подчас ординарному или второстепенному признаку Гоголь мастер вытаскивать всего человека, который, однако, прекрасно обходится этим единственным признаком. Примитивность душевной организации персонажей сочетается у Гоголя с углубленно-внимательным авторским взглядом в процессе ее изучения. Герои просты, порою лубочны, наводя тем не менее вас на бесконечные размышления по поводу их содержания. Ибо они, эти люди, не исчерпывают собою, но восходят к краеугольным породам или вопросам существования, предлагая сплошь и рядом загадки на тему, как такое может стать с человеком и что означает в общечеловеческом смысле это состояние или душевное свойство, куда оно ведет, где берется и зачем вообще существует на свете. Уж куда как прост Собакевич, чей портрет, следуя за матерью-природой, Гоголь, мнится, рубил топором по несложной схеме — медведя («Для довершения сходства, фрак на нем был совершенно медвежьего цвета... Его даже звали Михайлом Семеновичем»). Но какая бездна значений в нем откроется, едва вы копнете, подстрекаемые авторским зондом, который не упускает доискиваться, где спрятана в этой глыбе душа, что сулит она миру и как она, эта глыба, олицетворяет Россию...

Метод всматривания и внедрения в жизненный материал, не требующий, казалось бы, специального анализа, поскольку искомый характер исчерпывается подчас всем известной мерзостью, представленной как однородный субстрат, напоминает у Гоголя труд геолога и рудокопа. Как будто он осваивает залежи человеческих свойств, берет пробы грунта, опускается

в прорытые им погребя и подземные галереи, где человек нередко имеет вид ископаемого, минерала, определенного слоя, в котором автор прокладывает своим повествованием шурф. Работу Гоголя в этой области, условно назовем, психологии можно живописать словами Гофмана:

*«Роясь, как крот... работая при бледном свете рудничных ламп, рудокоп укрепляет свой глаз и может дойти до такого просветления, что в неподвижных каменных глыбах ему, иной раз, представляются отраженными вечные истины того, что скрыто от нас там, далеко, за облаками!» («Фалунские рудники».)*

Интерес Гоголя к элементарным проявлениям жизни, к типам и классам человечества (почти о любом из его героев можно сказать, как сказано автором о Манилове: «есть род людей...»), к основополагающим законам и свойствам, за счет известного пренебрежения индивидуальным лицом и характером, сопряжен зачастую с разрешением каких-то метафизических загадок и тайн мироздания, обнаруженных там, где никто обычно их не видит и не находит. Возведение образа к типу шло параллельно, а иной раз было тождественно низведению человека к среде, к месту, к земле с ее кладами и рудниками. Такова, скажем, загадка пошлости, над которой бился Гоголь, смеясь или негодуя над бессмысленным оплотнением живого духа в веществе существвателей, но вместе с тем терзаясь сомнениями — «не страшно ли великое она явленье», эта пустая и праздная жизнь («жизнь бунтующая», как назвал он ее в благоговейном ужасе), не признающая никаких возвышенных целей, быть может, оттого, что она до времени копит нечто более капитальное в своих каменных подвалах. По поводу «Старосветских Помещиков» восхищенный Шевырев оговаривался:

*«Мне не нравится тут одна только мысль, убийственная мысль о привычке, которая как будто разрушает нравственное впечатление целой картины. Я бы вымарал эти строки...» («Московский Наблюдатель», 1835 г. кн. 2).*

Между тем эта мысль о привычке — «долгой, медленной, почти бесчувственной», которая превосходит самую верную и одухотворенную любовь, которая сильнее смерти и жизни человеческой, — не только является центральной идеей произведения, но и весьма актуальна для Гоголя с его географией истории и метафизикой элементарного быта, с его склонностью задаваться головоломными вопросами над простейшими клетками и молекулами материи. Отчаявшись после первого тома «Мертвых Душ», Гоголь во втором

томе во имя «нравственного впечатления картины» взялся рубить сплеча завязанный им же самим гордиев узел вопросов и ничего, кроме благих намерений, этим не сумел доказать. Ему должно было бы быть более ползучим и мудрым — в согласии с «убийственной мыслью о привычке», в соответствии с праздно бунтующей жизнью и толпами вопросов о ней. Ведь помимо нравственного негодования и безлобого равнодушия, озаряющего холодным светом эту коллекцию монстров, собранную в его кунсткамере, здесь присутствует также скрытое восхищение перед таинственной игрою природы, сотворившей эти странные скопления движущих миром энергий, эти чудовищные прообразы ее же, природы, стихийных сил... В самом деле, не помещики же они и только, а если — типы, то не только людей — типы элементов и сущностей, составляющих тело земли, народа, мифологические фигуры, подобно языческим божествам, восседающие в безднах. А что они — мертвые, так даже и лучше. Подземное царство. Домашние боги-предки. Тот свет...

Странное дело! В поэме Гоголя, имеющей глобальный размах, только и разговоров, что о мертвых — с мертвыми же (в иносказательном смысле) владельцами мертвых. В своем апофеозе удачливого приобретателя душ Чичиков до того входит в буквальность этой покупки, что приказывает Селифану собрать мертвецов, предназначенных на вывод, в Херсонскую землю, и сделать им поголовную перекличку. Словом, всё полнится смертью, свирепствующими по стране эпидемиями и массовыми падежами, подсчетами, сколько у кого перемерло, и поименной регистрации мертвых. Не зря Вяземский сравнивал «Мертвые Души» с «Пляской мертвецов» Гольбейна. И в этой-то мертвенной атмосфере поэма Гоголя, как на дрожжах, вслухает урожаем всяческой материи, живности, жратвы, вещей, упитанных телес, словесной и пространственной массы. Под аккомпанемент речей о покойниках в мире смерти творится пир изобилия, причем это не звучит каким-то резким и трагическим диссонансом, подобным, например, пиру во время чумы, но естественно вытекает одно из другого. Могила здесь обеспечивает материальный достаток, является матерью богатства. Побьется Чичиков с Коробочкой над заключением фантастической сделки, переведет умерших мужиков от Коробочки в свой заветный ящик и садится уписывать блины. Те блины прямое производное операции с мертвецами, список блюд непосредственно следует за списком купленных душ. Это какое-то рождение сочной и вкусной плоти из могильного духа и праха.



*«...Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще более прозвищами, так что он всякий раз, слыша их, останавливался, а потом уже начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев Неуважай-Корыто, так что он не мог не сказать: «Экой длинный!» Другой имел прицепленный к имени — «Коровий Кирпич», иной оказался просто: «Колесо Иван». Оканчивая писать, он потянул несколько к себе носом воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле.*

*«Прошу покорно закусить», сказала хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и ни весть чего не было».*

Мертвые души в произведении Гоголя обладают плодотворной, физиологической силой, по примеру хтонических божеств преисподней, подземных подателей земного богатства. Всего вероятнее, на это значение Гоголь в поэме и не рассчитывал. Взаимозависимость жизни и смерти, изобилия и могилы, возможно, имела целью представить единообразие этих явлений, равно бессмысленных и гибельных в царстве неодухотворенной материи, на религиозно-нравственный взгляд (в аспекте, допустим, известного изречения Блаженного Августина, сказавшего о своем рождении: «...Не ведаю, откуда пришел я в эту то ли мертвенную жизнь, то ли жизненную смерть»). Не исключается и апокалиптический смысл в хождении Чичикова по мертвому промыслу (по слову того же Августина: «Христос придет судить живых и мертвых не прежде, чем придет для обольщения мертвых душою антихрист»). Но помимо того, независимо от намерений автора, в поэме слышатся отзвуки первобытно-языческих мифов. Ближе всего это связано с тем, что можно назвать «гилозоизмом» Гоголя, с его представлением земли в виде живородящей стихии, и следом за нею — царства мертвых в виде всемирной житницы. В этом отношении «Мертвые Души» языком современной повести и помещено-провинциального быта продолжают древнюю сагу, пленившую Гоголя в «Страшной Мести», — о мертвецах, бесконечно растущих в земле и составляющих ее фундамент и плоть («Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда» и т. д.). Непропорционально растянутое, склоненное к переполнению текста, тело поэмы — тоже своего рода

мертвец, плодоносящий материальным и словесным избытком, сросшийся неотделимо с землей, простирающийся мгновениями к небу тощие кости лирических монологов: «душно мне! душно!» — из живой могилы «Мертвых Душ» всё чаще, всё выше к концу эти всплески вздетых рук мертвца-Гоголя... И оттуда же, из той же земли-могилы, исходят соки, тянутся корни — в вещественное умножение, в рост. Повсюду распростертая тень смерти — как черноземная почва для гоголевских гипербола, для роскоши его слога. От нее всё так и прет в поэме здоровьем, пышет грубой, чувственной силой, сочной физиологией образов, точно «мертвые души» (подземные боги) вдыхают жизнь в материю и служат на пользу народу, вещам, накоплениям, щекам, подбородкам и бакенбардам (растущим еще шибче у Ноздрева после того, как в очередной потасовке их выдирают, — те бакенбарды частный случай плотоядной буйности крови, бродящей в жилах поэмы).

*«Здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмещали в себе столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежних».*

В роли землепоклонника Гоголю было совсем необязательно олицетворять своих богов или демонов в стилизованных образах какой-нибудь старинной легенды. В «Мертвых Душах» и следа такой стилизации нет. Тем не менее эта дальняя связь с древним религиозным сознанием угадывается уже в сближении земли и человеческой плоти, мертвых душ и кушаний, могилы и утробы, в стремлении всякой песчинки к успешному размножению, в ощущении вещества как живой протоплазмы, способной к самозарождению и развитию в универсальном масштабе. Гоголевским формам и образам внятна та космогония, которую некогда втолковывали языческие волхвы княжескому сборщику подати Яню, касаясь спорной проблемы происхождения человека:

*«Бог мывься въ мовници (в бане) и вспотивься, отерся вѣхтемь (ветошкой), и верже с небесе на землю» («Повесть временных лет», год 1071).*

Из этой смоченной Боговым потом первоматерии сатана затем лепит человека, преданного телом земле, душою — Богу...

Схожий космогонический миф излагает заонежское сказание — о сотворении мира из персти земной, поднятой со дна преисподней:

*«По старосветному окян-морю плавало два гоголя: первый бел гоголь, а другой черен гоголь. И теми двумя гоголями*

*плавал сам Господь Вседержитель и сатана. По Божьему по велению, по Богородицыну благословиению сатана выздунул со дна синя моря горсть земли...»*

Гоголь перенял эти навыки миротворения у птицы-гоголь, у своего тотемного предка, почитаемого у многих народов в качестве устроителя космоса. Гоголевская космогония того же пошиба: берется ничтожная толика какой-то элементарной материи, грубо чувственной, понуждаемой низшими ли, высшими ли бродильными силами к колоссальному разрастанию, содержащей в собственном зернышке полный образ вселенной. Появление гор у Гоголя в самый неподходящий момент, посреди ровной местности (вспомним гору в «Вие», в «Заколдованном месте» и т. д.), следствие всюду рассыпанных зерен плодоносного тока вещества, принадлежащего вечно беременной матери — богине — сырой земле, которой втайне предан автор. Речь идет, разумеется, не о системе идей или верований, но о некоей тенденции в жизнеощущении и стилистике Гоголя, так же как в творческой его и человеческой участи — вия. Примем ли мы во внимание упорное влечение Гоголя долу и низу, к земле и под землю, к каменноугольным бассейнам греха (где, однако, по Гоголю, властвует тот же закон великодержавного верха, отраженный в подземной воде); обратимся ли к лейтмотиву его творчества и биографии в виде навязчивых страхов и неотвязного желания самолично, при жизни, проникнуть в преисподние области, куда он, в конце концов, и нисходит, подобно Энею, Орфею, Вергилию, Данте и прочим искавшим родиться вторично из материнского чрева земли-могилы (не есть ли неодолимо грызущее человека влечение к смерти — та же жажда второго рождения, что присутствует в плотской любви, в этих поисках входа, пещеры с темным лазом под землю, со всеми небесными блаженствами, которых Гоголь, на манер Подколесина, счастливо избежал, с тем чтобы этим же темным путем пройти серьезнее, в книгах, сгинув не в любовных томлениях, но в неподдельной земле?), — вновь на память являются аналогии Персефоны, обеспечивающей воскрешение мертвых собственным погребением заживо...<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Можно пояснить эту мысль о соединении плоти с землей, смерти с рождением, преисподнего мрака с богами и плодами достатка — наивным свидетельством женщины, погребенной в глубоком колодце и прокопавшей оттуда подземный ход:

*«Затем, словно в утробу, где растет зародыш, я попала в подземелье. Потом по воле судьбы я освободилась, как будто снова на свет родилась» (Сомадева «Океан сказаний. История о Киртисене»).*

Мифологичность гоголевского мышления повлияла и на определенное сходство иных эпизодов и образов поэмы с фольклорными сюжетами-схемами, хотя автор, по-видимому, не искал специальных аллюзий, но пришел к ним в ряде случаев невольно и неосознанно. Так, понятие «хозяин», «хозяйка», в бытовом его содержании примененное, допустим, к Коробочке, имеет и второе, приглушенное, конечное, значение — «хозяйки леса» или «хозяйки всяческой твари», приписываемое обычно в фольклоре персонам круга Бабы-Яги. Весь антураж появления Чичикова у Коробочки отдаленно напоминает подобного рода встречи путешествующего героя с соответствующего типа старушками, проживающими в маленькой избушке-сторожке где-нибудь на окраине леса. Тут и непогода, принудившая героя в «темное, нехорошее время» проситься к ней на ночлег, и часы с шипением, напугавшие Чичикова («как бы вся комната наполнилась змеями»), и несколько подозрительная жалоба хозяйки («нога, что повыше косточки, так вот и ломит»), наконец, подведомственная ей всевозможная живность, начиная от собак, лающих на человеческий лад, и кончая индюком, говорящим: «желаю здравствовать». Но особенно «хозяйкой» в означенном смысле воспринимается Коробочка в контексте птичьего царства, какое представляет ее обитель, уже в комнатах украшенная картинами с изображением птиц, перенесенных затем в неисчислимых количествах на подворье и огороды, где огородное чучело в чепце являет нам фантастического двойника хозяйки.

*«Пододошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды; окно глядело едва ли не в курятник; по крайней мере, находившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерными шагами, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь<sup>1</sup>; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, раззребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала утисывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик, или курятник переграждал дощатый забор, за которым тянулись пространные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами*

---

<sup>1</sup> Коробочка тоже держит голову набок.

*переносились с одного места на другое. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах с растопыренными руками; на одном из них надет был чепец самой хозяйки».*

Вспомните, что этой же первоматерией места — птичьим пером, «потопом перьев» — таровата хозяйка, и предложенная гостю перина вспухает до потолка, чтобы, опустившись под тяжестью тела до пола, разбросать перья по всем углам комнаты. Сошлюсь и на шутовое предложение Чичикова, которое, прими мы его всерьез и буквально, пошло бы в пору старой колдунье («Мертвые в хозяйстве! Эк куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?»). Можно добавить, что из всех помещиков Чичикову только Коробочка даст провожатого в путь — как это свойственно обычно ее сказочным прототипам...

Впрочем, нужно ли всякое лыко пускать в строку ради сомнительного сдвига этого вполне заурядного и бытового по содержанию образа в сторону древнего мифа? Сам этот сдвиг осуществляется так незаметно и неназойливо, что, право же, странную подборку некоторых деталей можно объяснить так же заурядно, не прибегая к посредничеству воображения. «Владычица птиц», «Баба-Яга» лишь легкий оттенок значений, пропускающих в Коробочке, чей портрет допускает расширительное истолкование уже благодаря тому, что он и написан расширительно, «ландшафтно», распространенный на окружающий мир, позволяя выступать персонажу на ролях олицетворенной стихии. Оттого-то герои Гоголя и имеют вид идолов, языческих богов-истуканов, царствующих над отведенной им площадью и средой. Это не столько характеры, сколько духи места со своим специфическим культом. Тем не менее мифологический план достаточно зыбок, проблематичен и лишь едва акцентирован системой повторных вкраплений, совпадений и шутовых, случайных ассоциаций.

К числу последних относится, например, сцена игры в шашки Чичикова с Ноздревым, заставляющая вспомнить (поскольку ставкой объявлены мертвые души) игру чорта с цыганом или бывалым солдатом. Сам Чичиков в роли скупщика душ также фигура в некотором отношении сказочная. Предпринимались исследования (Д. С. Мережковский), подводящие Чичикова непосредственно к определению беса, антихриста. Подобные аналогии в принципе правомочны, доколе они не сужают многозначное существование образа до этой единственной и, в общем, скудной функции. Чичиков,

в самом деле, имеет признаки беса, но таковыми далеко не исчерпывается, и самые улики, рассеянные по тексту, на эту тему могут быть повернуты несколько по-иному. Скажем, привлекая, помнится, внимание Мережковского ножка, которой он ловко подшаркивает направо и налево, «в виде коротенького хвостика или наподобие запятой», служа принадлежностью чорта, способна при известной доле воображения сойти и за признак подземных, змееногих богов и героев (вроде Эрихтония), что не исключает, естественно, бесовской змееногой природы.

Традиционная хромота владык подземного мира, страны мертвых, в языческих мифах, свидетельствующая о змеином генезисе этих существ, доставшаяся в наследство и христианскому чорту (хромой бес), и сказочной Бабе-Яге, бывшей богине смерти, у Чичикова представлена в версии безногого капитана Копейкина. Не будучи хромым в своем натуральном, человеческом облике, Чичиков охромел в легенде, созданной его похождениями и распаленной фантазией зрителей. Почтмейстер, позабывший, что у настоящего Чичикова и руки и ноги целы, и принявший его за легендарного капитана Копейкина, безногого инвалида Отечественной войны, рассказавший на эту тему историю, которая в виде вставной новеллы вошла в «Мертвые Души», был не так уж неправ. Здесь торжествует вторая, «героическая» природа Чичикова, не только спорящая с его заурядным, естественным характером и обликом, но и, доколе рассматривать этот образ в координатах мифа и сказки, перебивающая в нем версию отвратительного беса-антихриста. А именно, в этих координатах Чичиков воспроизводит фигуру сказочного героя, отважного и хитроумного, проходящего подземные области и встречающего на пути различного рода чудовищ. На эту вторую версию работает, в частности, сплетня о похищении красавицы — губернаторской (царской) дочери. Вместе с тем в таком повороте Чичиков перенимает черты благородного разбойника, защитника угнетенных, негибаемого борца за поруганные права человека.

Если капитан Копейкин явно перенял эстафету у Акакия Акакиевича Башмачкина, в облики мертвеца мстящего сильным мира сего за погубленную шинель, и в роли атамана шайки, набранной из таких же, как он, обездоленных ветеранов, значительно расширил сферу мщения, придав ей даже форму общественного протеста, то Чичиков идет еще дальше. В своем сказочном облике он ведет себя как неистовый мертвец Башмачкин и как храбрый разбойник Копейкин, однако вызывает из плена не шинель, не казенные подати — мертвецов.

*«Вообразите себе только то, что является вооруженный с ног до головы вроде Ринальда Ринальдина и требует: "Продайте", говорит, "все души, которые умерли". Коробочка отвечает очень резонно, говорит: "Я не могу продать, потому что они мертвые".— "Нет", говорит, "они не мертвые; это мое", говорит "дело знать, мертвые ли они, или нет; они не мертвые, не мертвые!" кричит — "не мертвые!"...»*

Так «просто приятная дама» пересказывает «даме, приятной во всех отношениях», версию посещения Чичиковым Коробочки. Нет нужды, что всё это выдумки. Слово произнесено: «н е м е р т в ы е!» Благородный герой выкупает, а то и с оружием в руках освобождает мертвых от смерти<sup>1</sup>. Перед нами мелькает задача величайшего масштаба и смысла, до какого вообще способно додуматься человечество: кто за свои обиды мстит, кто за обиженных заступает, ну а Чичиков, как Гоголь, добрался до последней, до главной несправедливости в мире — до смерти и встал горою: не мертвые! Что это значит — не мертвые? О мертвых — не мертвые? Это вам не освобождение крестьян от крепостной зависимости. Это не...<sup>2</sup>

Скажут: здесь нет ни грана правды, и всё только плод фантазии, праздномыслия и скудоумия перепуганных губернских шутов, возбудивших одну лишь издевку у Гоголя, который сам за Чичиковым ничего такого не подозревал и искренне изумился бы, когда б читатели подошли к рассказанному анекдотам буквально. Но, во-первых, скажу я, автор и не обязан всё знать о своем персонаже, и Чичиков во многом ведет независимую от Гоголя жизнь. Во-вторых, Гоголь всё же кое-что, по-видимому, за ним подозревал и вкладывал кое-что от себя в уста губернским фантастам. Сплетни к правде о Чичикове имеют примерно такое же отношение, какое имеют к жизни Акакия Акакиевича Башмачкина его посмертные проделки в охоте за генеральской шинелью, послужившей причиной, говорит Гоголь, «фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории».

*«А всё, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете; редко, но бывают».*

---

<sup>1</sup> У Коробочки — у Бабы-Яги, у змеи, у самой богини смерти! — тоже змееногой, хромой — подземного, значит, божественного происхождения деятель.

<sup>2</sup> Меня тянет под землю — в скобки и в сноски. Но думай не о себе, думай о Гоголе, — говорю я своей голове.

Как далеко ни отстоят «Мертвые Души» от других сочинений Гоголя, они увенчивают его творчество и соблюдают, в общем, известные пропорции между реальностью и фантастикой, которая контрастна событиям обыденного мира и вместе с тем бросает на них существенную тень, позволяя договорить в ней то, что не знакомо обыденному свету. Разве и бред Поприщина о королевском престоле, и мечта о красоте совершенной, мелькнувшая Пискареву в личике уличной гурии, и вздорный морок «Носа», и посмертное отмщение Башмачкина,— разве всё это просто бред и вздор, а не та воображаемая, гипотетическая точка зрения на жизнь, без которой истина о ней, преподанная Гоголем, была бы неполной и поспранной?.. То же можно сказать касательно фантастического элемента в «Мертвых Душах». Только здесь, в поэме, он не разворачивается от авторского лица и не переводится в самосознание заглавного персонажа, но отдается на откуп всевозможным сплетникам, гадалкам и любителям небылиц — от дамы, приятной во всех отношениях, до осторожного пророка в нагольном тулупе, провонявшего тухлой рыбой. Они за автора домысливают истину о Чичикове и о высшем его назначении, сопряженном с покупкой мертвых душ. Они своим разнузданным воображением образуют буфер между фактической стороной дела, изложенной в сереньком свете обыденного существования, и великими иероглифами Промысла, которые чертит автор в своих лирических пассажах. Без них, без этих бредней, без этой дикой игры ума вокруг загадки Чичикова и того, что сулит он миру, бессвязные страницы пророческую патетики и низкой прозы рассыпались бы. Фантастика служит мостом от низких истин к высоким прозрениям. Поэтому Гоголь так опорно, так непропорционально внимательно муссирует все эти слухи и подробнейшим образом рассматривает равно бессмысленные в глазах рассудка и столь далеко идущие версии.

Из них — на равных, примерно, правах воображаемого потенциала, заключенного в Чичикове как фигуре провиденциальной, — можно составить два мнения. Одно: Чичиков — злодей и мошенник, каких не видывал свет, сбежавший Бонапарт, грядущий антихрист; второе: Чичиков — великий герой, благодетель рода человеческого. Но ведь и сам по себе Чичиков в своем маленьком, обыденном виде показан как бы на распутье дорог, равно для него открытых, и, творя злое, способен, по мысли автора, больше, чем кто-либо другой, служить добру своей приобретательской силой. И страсть к стяжанию, заложенная в нем, может разразиться для Рос-



сии бедой и конечным разорением, а может выдвинуть Россию в первую по мощи и достоинству мировую державу. Эта страсть, напрямую объявляет Гоголь, — не от человека и сообщена ему Произволением свыше ради великого поприща и неведомого покамест общего блага: «И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме». Значит, и покупка Чичиковым мертвых душ в воображаемом варианте его таинственной личности способна обернуться и дьявольским соблазном, властью ада над душами, приобретенными по дешевке, за деньги, и светлой победой над адом и смертью, выкупом, освобождением мертвых. Как и с будущим России, не дающей ответа, куда она так бешено мчится, проблема остается открытой, но лично Гоголь склоняется к обнадеживающей гипотезе.

Примечательная деталь: ничего не ведая о капитане Копейкине, еще до изложения в поэме странной его истории, «дама просто приятная» в свежей сплетне о Чичикове рисует того вооруженным с ног до головы (в стиле доблестного разбойника Ринальдо-Ринальдини, романтического героя Вульпиуса), требующим от Коробочки чут ли не силой выдачи мертвых пленников, — то есть, по сути, в свете легенды о славном капитане Копейкине. Та легенда, рассказанная юродливым языком почтмейстера, играет, очевидно, самую актуальную роль в поэме и имеет прямое отношение к авторской концепции Чичикова, переведенной на язык фантастики и балагана. Чичиков в этом аспекте продолжает дело Копейкина, идя против формального закона и несправедливого порядка вещей, и готовый на любую авантюру забияка Ноздрев уже рад служить под его командой. Чичиков алчет сказочного исполнения чуда и, как капитан Копейкин, устремляется к тому непреклонно, всё обуздывая, всё подчиняя одной задаче. Страшный завет отца: «всё сделаешь и всё прошибешь копейкой», принятый на вооружение, нацеленный на практическое воскрешение мертвых, на выкуп человеческих душ из-под залога смерти, отозвался в его вымышленном, героическом имени-псевдониме — капитан Копейкин. Не Дон-Кихот, а капитан Копейкин, воодушевленный идеей спасения человечества от смерти, был избран Гоголем в рыцари нового времени.

Столь сверхъестественная версия, не имеющая, на взгляд, ничего общего с реальным обликом Чичикова, неожиданно находит в последнем поддержку, правда, лишь в исключительный миг его душевной биографии, в момент высочайшего вдохновения, пережитый им за составлением купчей крепости на все приобретенные в путешествии души.

Тот момент — единственное место в поэме, где голос Гоголя, сливаясь с мыслями Чичикова, звучит отрадным приветствием отдельному человеку и всей человеческой массе, где человек выступает в живом, веселом, неисправимом контексте собственного имени — не куклой, не трупом, не мерзкой тварью, не призрачной вещью, не пошлым сборищем; причем в его доподлинную, любовно обретенную плоть восходит не кто другой, как мертвые души в прямом и широком значении безвестных тех мужиков, которые давно перемерли, либо разбежались по свету и теперь, перейдя во владение Чичикова, внезапно оживают под его мысленным взором. Перед нашими глазами встает из гробов и острогов и проходит Россия — не в общих контурах, не в виде ландшафта или государственной карты, не в символической и иносказательной форме дороги, тройки и русской песни, но пестрым шествием человеческих лиц и жизней, необыкновенно богатых приметами личной судьбы и свободы, густой толпою, рудоносной породой, вдруг повалившей в поэму из чичиковской шкатулки.

Это вершина Гоголя (в масштабе его творчества) в постижении национальной души и лица народа. В русской литературе впервые в таком исчислении размашистого таланта и жребия предстала стихия народной жизни как всякого из нас, из неисчерпаемых множеств, и всей земли родословная. Впервые означилась здесь народническая наша подкладка, сказавшаяся вскоре повсюду в истории и в словесности. Не только «Записки Охотника» но и Достоевский с «Мертвым Домом», и Лесков, и, если угодно, Горький, Русь некрасовская, блоковская, цветаевская, есенинская, наша с вами и наших внуков Русь, бурлацкая и кабацкая, простодушная и хитроумная, работающая и гуляющая, бродячая и каторжная, с удивительным безразличием регистрирующая свое положение на семейной лестнице тюремных пересылок, ко всему притерпевшаяся, ни о чем не жалуемая, готовая на всё, — заключалась в этой чудо-шкатулке, откуда Чичиков в одно прекрасное утро извлек записки с именами и прозвищами новоплеченных своих мертвецов и ахнул от изумления:

*«Батюшки мои, сколько вас здесь напищкано! Что вы, сердечные мои, подельвали на веку своем? как перебивались?»*

Идет поименная перекличка, и из каждого имени-прозвища вырастает живая душа окликаемого, с его повадкой, сноровкой, разговором, с его занимательной историей, такой всеобщей и ни на кого не похожей, — Максим Телятников, Пробка Степан, Григорий Доезжай-не-доедешь... Словно не

в список мертвых душ, не в купчую крепость, но в Книгу Жизни, что хранится вечно наверху, внесены эти люди, и поэтому живы они накрепко, навсегда, живее, нежели все реально действующие лица в поэме, обрисованные несравненно детальнее, чем эти едва только названные и запечатленные в именах существа. Мало того, что они перевешивают в поэме всё остальное безмолвие, этих трех страничек размышлений Чичикова над купчей довольно, чтобы ими покрыть Россию со всеми ее грехами и прорехами, со всеми упреками и благопожеланиями автору на тему отображения правды и красоты, на тему величия родины и ее высокого поприща, по части, как тогда выражались, «добродетельного лица», положительного героя (— Где у вас положительный герой? — вопрошали патриоты у Гоголя, и тот молчал, подавленный, зажавшись в трех страничках), на предмет неподдельного уважения, интереса и любви к людям, становившимся всё страшнее, всё суше в его сочинениях, всё мертвее, по мере его умирания, которое понадобилось, для того чтобы всех до единого на земле воскресить его книгой, как вообразил он воскрешение мертвых на этих трех страничках. В самом деле, Гоголь выкликает имена мертвецов, беглецов, арестантов, не думая их судить и воспитывать, но снисходительно посмеиваясь на их прегрешения и как бы их отпуская, выкупая у смерти и ада. «Не мертвые!» — кричит воображаемый Чичиков в роли благородного разбойника Ринальдо-Ринальдини, в версии капитана Копейкина, «не мертвые!» — твердит Гоголь всем смыслом этой отдушины посреди бескрайних полей смерти, раскраившихся его поэмой, «мертвые души» — «не мертвые!»...

Шкатулка Чичикова, составляющая главный предмет его багажа и обожания, весьма напоминает волшебный ящик в сказке, куда без труда укладывается целое войско, а то и всё обширное царство-государство странствующего царевича. Она подробно представлена автором дважды: один раз — в свете его «прозы», другой раз — в свете его «поэзии», один раз — нарочито будничным, фактографически точным и скучным описанием ее совершенно бесцветного, неинтересного расположения и содержимого, другой раз — чудесным извлечением из ее нутра вереницы оживающих призраков. В первом случае она характеризует хозяина так же, как тот изображается Гоголем наружно и внутренне в своем естественном облики,— человеком, не представляющим собою ничего особенного, ни толстым, ни тонким, озабоченным внешней благопристойностью (центральное место в ней отведено мыльнице с мылом и серии перегоронок для бритв),

лишенным малейшей романтической жилки, недалеким (собирающим в ящик никому не нужные билеты — визитные, похоронные, театральные и т. д.), всецело поглощенным практической стороной жизни (на что указывает лучше всего нижнее ее отделение, «занятое кипами бумаг в лист», делового, видать по всему, назначения, с маленьким потаенным ящичком для денег). Из этого-то подземного «низа» и выйдут на свет купленные им мужики, заставляя глубже задуматься и над смыслом Чичикова, и над загадкой его странного ларчика.

О незаурядном, с уклоном в художества, в поэзию, в мошеннические фокусы и чудеса, характере и даровании Чичикова удачно писал С. Шевырев в развернутом отзыве на «Мертвые Души» («Москвитянин», 1842, № 7):

*«Словом, всматриваясь всё глубже и пристальнее, мы наконец заключим, что Чичиков в воздухе, что он разлит по всему современному человечеству, что на Чичиковых урожаях, что они как грибы невидимо рождаются — что Чичиков есть герой нашего времени и, следовательно, по всем правам может быть героем современной поэмы. Но из всех приобретателей Чичиков отличился необыкновенным поэтическим даром в вымысле средства к приобретению. Какая чудная, подлинно вдохновенная, как называет ее Автор, мысль осенила его голову! Раз поговоривши с каким-то Секретарем и услышав от него, что мертвые души по ревизской сказке числятся и годятся в дело, Чичиков замыслил скупить их тысячу, переселить в Херсонскую землю, объявить себя помещиком этого фантастического селения и потом обратить его в наличный капитал посредством залога. Не правда ли, что в этом замысле есть какая-то гениальная бойкость, какая-то удаля плутовства, фантазия и ирония, соединенные вместе? Чичиков в самом деле герой между мошенниками, поэт своего дела: посмотрите, затеявая свой подвиг, какую мыслью он увлекается: „А главное-то хорошо, что предмет-то покажется всем невероятным, никто не поверит“. Он веселится своему необычайному изобретению, радуется будущему изумлению мира, который до него не мог выдумать такого дела, и почти не заботится о последствиях, в порыве своей предприимчивости. Самопожертвование мошенничества доведено в нем до крайней степени: он закален в него, как Ахилл в свое бессмертие, и потому, как он, бесстрашен и удал.»*

Если Хлестаков в бескорыстном своем вранье пародийно корреспондирует с идеей чистого искусства и беспредель-

ного воображения, на первом этапе творчества столь близкой Гоголю и сопряженной для него с фигурой Пушкина, к которому и Хлестаков непобедимо тяготеет, то Чичиков пародийно отвечает характеру позднего творчества Гоголя, положенного «Мертвыми Душами», с его практической предприимчивостью и усердным продвижением к цели, с его гражданским и религиозным изобретательством и прожектерством. Если Хлестаков, условно говоря, романтик — созерцатель, витающий в эмпиреях, то Чичиков — реалист, что не мешает ему, в согласии с авторской склонностью, влечься к фантазии и пользоваться ею с умением и артистизмом истинного поэта (художника дела, в отличие от художника слова — Хлестакова). Эта скрытая, фантастическая сторона его благопристойного облика подарила Гоголю свободу связывать своего героя и с вымышленной фигурой благородного разбойника, и с разгульной вольницей бродячей и бурлацкой Руси, к которой Чичиков вдруг испытывает внутреннее влечение, — она открыла к нему доступ колеблющимся и не вполне проясненным, не всегда осознанным, но существенным оттенкам значений, вроде различных сказочных и мифологических ассоциаций, таких, допустим, как полюбившийся Гоголю в эту пору хитроумный идеалист и энергичный поэт-делец Одиссей<sup>1</sup>.

Вообще область чудотворства и фокусничества, бесконечно привлекавшая Гоголя, получила в Чичикове, в этом героическом воре, поддержку и выражение, не меняя по существу его низкопробной природы. Оттого-то Гоголь мог позволить своему персонажу пережить удивительные минуты поэтического прозрения в раздумьях над чудной шкатулкой и, воспользовавшись ими, передоверить ему сердечные свои помышления. То, над чем Гоголь самопожертвенно трудился многие годы, чем был более всего поглощен, на чем исчах, свихнулся и сгинул в могилу, — воскрешение мертвых — Чичиков в порыве фантазии осуществляет легко

---

<sup>1</sup> О том, что «Мертвые Души» обдумывались и писались в какой-то мере параллельно «Одиссее», переводимой тогда Жуковским, и несли в себе как бы залог современной российской «Одиссее», свидетельствует, в частности, поздравительное письмо Гоголя, посланное Жуковскому на окончание его труда осенью 1849 года:

*«Известие об оконченной и напечатанной «Одиссее» отняло язык. Скотина Чичиков едва добрался до половины своего странствования. Может быть, оттого, что русскому герою с русским народом нужно быть несравненно увертливей, нежели греческому с греками. Может быть, и оттого, что автору «Мертвых Душ» нужно быть гораздо лучше душой, нежели скотина Чичиков».*

и просто, словно маг склоняясь над сказочным ящиком с упрятым туда бесценным товаром. «Эх, русский народец!..»

Чичиковская шкатулка с двойным дном, помимо плана души своего владельца, содержит примерный чертеж произведения Гоголя, снабженного также двойным дном и множественным перегородок, отделений, ящичков, являя в целом образ пространства, битком набитого всевозможным добром, заселенного «мертвыми душами». Чичиков возит за собою повсюду не что иное, как макет поэмы Гоголя «Мертвые Души». Тот макет подобен земле, на поверхности (в изображениях Гоголя) такой непрезентабельной, голой, но скрывающей в своих недрах несметные богатства, всю фабулу народной судьбы и поэзии. Сказочный этот ящик, в какие-то мгновения обращающийся в театральную сцену с проходящей по ней многолюдной процессией, несколько напоминает в ертеп народного передвижного театра марионеток, с которым бродили по Украине младшие братья средневековых мистерий, «Божественных Комедий». Известно, какое влияние имело на Гоголя вертепное действо, элементы которого затесались в его сюжеты. Возможно, малороссийский вертеп, в качестве театрального ящика знаменовавший когда-то и подземное убежище, и космический вертоград-универсуум, послужил прообразом чичиковской шкатулке. Во всяком случае этот универсальный ларец, путешествуя за Чичиковым по городам и весям России и напоминая то о преисподней, хранящей земные богатства, то о земле, по зову свыше отдающей своих мертвецов,—способен по временам открываться и устраивать представления. Как знать, глупейшая театральная афишка, сорванная Чичиковым со столба по прибытии в новый город и припрятанная аккуратно до срока в ту же шкатулку, может быть, имеет сообщить о готовящемся с ее участием всенародном спектакле?..

Народ как произведение земли, из которой он вышел и в которую уходит, чтобы вновь вернуться в отведенную ему зону земного притяжения, нашел в Гоголе своего поэта с ясно выраженными эпическими задатками и наклонностями. Будто шальные малороссийские парубки или суровое запорожское войско, нынешние жители Рима или русские люди всех мастей—повсюду у Гоголя слышится чрезмерное внимание к народу как коллективному герою, этносу, в его связях с прародительницей-землей. Понятие «современник», выдвигавшееся в эпоху Гоголя на первые роли, осталось чуждым его слуху, настроенному на иное, более кровное, емкое, неподвижно раскинувшееся в пространстве обращение—«со-

отечественники». «Героями нашего времени» у него не разживешься — здесь господствуют герои нашего (или не нашего) племени. Соответственно, в стороне от Гоголя оказалась и вся проблематика и самый тип образованного «молодого человека», «сына века», «интеллигента», в своей раздробленной, внеродовой психологии ему попросту неинтересного. Его привлекают густо и круто замешанные породы, позволяющие судить о более массивных и долговечных, а главное, о более целостных структурах жизни. Гоголевский традиционализм в сочетании с его интересом к месту рождения, определяющему лицо человека, нашел выход в его художественном пристрастии к дому, быту, укладу как категориям прочным и достопочтенным. Но и дом, и быт, и уклад — это корни, в миропонимании Гоголя, которыми человек вырастает в ландшафт и становится его неотъемлемой частью, явлением почти превозданным, подобным флоре и фауне края, в которой он проживает. Казак у Гоголя растет, как тополь, чиновник соткан из мглы и тины столичного или губернского климата, помещики наполовину ушли душою и телом в свои имения. Вне обстановки, вне вещей, удостоверяющих его природу, человек расподобляется, теряет лицо и вместо того, чтобы картинно экспонироваться, пускается в декламации. Подобное превращение, иссякание жизненных соков, случилось, например, с Костанжогло, которого Гоголь из лучших чувств, посвятив полезному делу, в противовес заматерелым помещикам первого тома, оторвал от характеристической вещественной атмосферы («Комнаты были бесхарактерны — просторны и ничего больше») и тем лишил его жизни. В беспредметной среде, вне быта и материального мира, человек иссыхает: ему нечем питаться, неоткуда расти.

При всем том Гоголя не назовешь бытописателем. Быт, обстановка не имеют для него самостоятельной ценности, но служат субстанциональным началам человеческого произрастания. Также и в апологии дома и родины Гоголь уходит, в общем, от сентиментально-лирической традиции, выраженной в идиллии семейной жизни, в поэзии отчего края и крова, и ищет более конструктивных решений. Умилительные эмоции вокруг национальных реликвий и милых сердцу примет отчизны сменяются голым зовом пространства. Разнеженная мечтательность воспоминаний о родном пепелище уступает место образу веры в стабильные силы и связи жизни, входящие в подпочву, в предвечные пласти бытия. Через дом, как через землю, человек воссоединяется с Богом. И обратно — религиозная идея находит приложение в хозяйственном и национальном строительстве. Неслучайно

центральное значение для позднего Гоголя, как ни для кого другого среди русских мыслителей и писателей нового времени, приобрел «Домострой», поднятый им над всеми старооутесскими преданиями и славянофильскими открытиями в качестве самой насыщенной книги, знакомящей современную публику «с тем, что есть лучшего в русском человеке» (письмо А. М. Вельгорской, 30 марта 1849 г.). Книга, отпугивающая современных читателей жестокой требовательностью, ригоризмом, привлекала его полнотою охвата первейших обязанностей и понятий, трезвым и целостным взглядом на мир. Домострой в употреблении Гоголя это как бы география семейных и хозяйственно-бытовых отношений, а он любил во всем начинать с географии. Весь поздний Гоголь — это опыт домостроительства и домоводства в приложении к всероссийским проблемам. Отсюда портретная галерея в «Мертвых Душах» разворачивается как цепь домовладельцев — в согласии, очевидно, с авторским устремлением к дому в обширном значении всеобщего порядка и крова. Сам бездомный и бессемейный, лишенный, кажется, даже тяги к собственному углу, чувствующий себя дома больше всего в дорожной карете, Гоголь занят восстановлением человеческого общества в первообразном строе и статусе — Дома Божьего на земле.

Войдя в литературу провинциалом, живописателем местных обычаев, и придав своей прозе резкий национальный аспект, Гоголь до конца остался верен этническому принципу в изображении человека, который, составляя «народ» и укореняясь в границах строго локальной «земли», определяется в более глубинных и первичных, нежели его индивидуальное «я», проявлениях. Есть закономерность, что, начав с малороссийской среды как единственной питающей его творчество почвы, с нарочито ограниченного и периферийного взгляда на жизнь, Гоголь пришел в итоге к неведомой до него широте в разрешении темы: «Я и Россия». Он начал с этноса и кончил этносом — только с большим полем обзора. Украина как исходная точка биографии и творчества Гоголя помогла сложиться в нем великороссийскому сознанию и способствовала развитию целостного чувства Руси как огромного и единого национального тела.

Вероятно, в формировании национального таланта немаловажную роль всегда исполняет провинция в качестве удаленной и сторонней по отношению к центру среды, откуда автор является в столицу со своим провинциальным припасом и характером дарования, либо куда он удаляется, для того чтобы зарядиться от непочатых источников нации



и обрести в стороне свою родословную, свое центральное место в сюжете. Центр в национальном искусстве, как правило, смещается на периферию страны. Причина не только в том, что окраина богаче национальным остатком и точнее столичной среды соблюдает традиционный уклад. Провинция — в крови искусства — искусство в принципе провинциально, сохраняя за собою наивный, сторонний, удивленный и завистливый взгляд. В глазах столичной элиты искусство напрасно сбивается в сторону от столбовой дороги, на какой-то всегда окольный, периферийный путь развития, пока столица не усвоит его в собственное пользование и не объявит генеральным путем, — откуда искусство назавтра сызнава примется сползать на периферию жизни, на окраину города, общества и объекта изображения.

Сидя в центре, центра не видишь: поэтическое осознание мира достигается смещением центра (либо вещи в поле обзора); для начала необходимо проездиться, растеряться, предстать новичком, эмигрантом, провинциалом в своей стране. Недаром инородцу дано лучше порою выразить самосознание нации-мачехи, с которой он сроднился достаточно, чтобы быть ей в законные дети, не настолько, однако, срастаясь, чтобы утратить потребный художнику чужестранный, окраинный взгляд. Так Гоголь, пройдясь по Невскому, всем надоевшему, впервые его увидел с периферийной позиции, с перекрестка Украины и Невского проспекта, на который он только что прибыл, — зорче и отчужденнее, нежели свое наблюдение сделал бы там же столичный житель.

В литературном развитии мы только и ждем, что кто-то приедет и удивит нас сторонним опытом. Впрочем, приезжающим совсем необязательно привозить какие-то новости; довольно, что они приезжают и принимаются внове описывать, что покинули и что увидели, — со смещенной (в обе стороны) точкой зрения на вещи. Литература существует перемещенными лицами — «Кавказским Пленником», «Цыганами», сосланным в деревню Онегиным, занесенным на Невский проспект глупым хутором близ Диканьки...

Достоин удивления факт, что Гоголь по приезде в столицу бросился живописать Малороссию вовсе не потому, что не в силах был жить без нее или почитал своим долгом воспеть оставленную отчизну. Нет, он почувал в том направлении, с позволения выразиться, «социальный заказ», некое дуновение воздуха в литературном штиле столицы, уже пресыщенной Кавказом и горцами и ждущей чего-то бодрого, свежего, простонародного из малограмотной Холландии. Разбуженное Пушкиным, чувство народности еще

не доросло до сознания, что русский мужик в своей черноте и есть искомое всеми сокровище. Мужик был слишком близок и грязен. Литература еще нуждалась в облагороженном народе, который был бы собою пригож, живописен и сладкогласен, однако же похож на народ, неотесан и распоясан. Пастораль уже не котировалась, действительность еще шокировала. Помимо этого существовала потребность в исторической ретроспекции и приращивании каких-то корней к новорожденному телу народности. Украина была словно создана для этой промежуточной стадии, полуполюганды-полуправды о «племени, поющем и пляшущем» (Пушкин о Гоголе), в лучезарном сиянии юга плывущем на север, к России, как родственное нам облако, еще полное недомолвок.

Гоголь со своею Диканькой ответил и на этот запрос. Вернее сказать, он превзошел ожидания и сделал в итоге больше, чем намечалось столичным литературным климатом (в конце концов, о русской прозе, которую он создал, никто его не просил). Но Гоголь исполнил и главные пункты в условиях договора. Поэтому его «Вечера», в общем, на всех угодили. Даже грубость ему охотно прощали на первых порах, видя в ней проявление туземной отсталости — забавный хохлацкий «жарт». Провинция, внушая снисхождение, себя оправдывала, собою прикрывалась (только потом догадались, какое лихо явилось к нам из провинции, да было поздно — Гоголь заполонил столицу). Он очаровал Петербург галушками, козачком, горилкою, простонародными байками, песнями и легендами, толком не зная ни той страны, откуда всё это вывез, ни той, в которую это привез. Украина им рисовалась в достаточно условных и суммарных чертах, несколько на манер славянской Италии, не без влияния, надо думать, столичной оперы и балета, которые он по приезду успел посетить. Позднее исследователи и с украинской, и с великорусской стороны с фактами в руках доказали, что Гоголь довольно поверхностно был знаком с жизнью обеих сторон и многое брал наугад, по слухам и собственным домыслам. Это не помешало ему как нельзя более ловко справиться с задачей посредника между двумя народами и навсегда удержать за собою образ открывателя Малороссии для просвещенной русской публики. Его неосведомленность, отсутствие слишком прочных связей с национальной средой позволили ему не только хорошо прижиться на Севере (как, впрочем, вскоре еще лучше он прижился в Италии), но исполнить единственную в своем роде миссию воссоединения в своем творчестве русской и малороссийской стихии. Та и другая были ему близки, не настолько, однако,

чтобы превратиться в привязь и тормоз и сделать его поборником одного узко-национального круга идей и образов. Не беда, что иные сородичи называли его плохим украинцем, иные же столичные блюстители чистоты языка и жизненной правды не желали признавать его русским автором. Промачи и огрехи свидетельствовали лишь о том, что Гоголь не врос в почву ни там, ни тут, а подпочвенные его корни уходили так глубоко, что смыкали Русь с Украиной, что отвечало, между прочим, и тогдашнему цензу и внутреннему его самочувствию образованного паньча, с полным правом почитавшего себя россиянином и одновременно, по крови и месту рождения,— малороссом.

Малороссия у Гоголя несла не просто местные, областные приметы, с которыми он знакомил русских ценителей, но неизмеримо более важные и широкие, касающиеся России в целом, определения национальной традиции. В данном отношении карнавальная условность народных сцен и персон, идеализованно-праздничный облик Малороссии были совсем не изъяном авторского зрения, но шли на пользу художественной идее, которую праздновал Гоголь своими «Вечерами»,—идее народности, раскрытой в формах массовой и зрелищной жизни, в ретроспективно-поэтическом ключе стародавних обычаев, преданий и поверий. С Гоголем пришло воссоединение России с ее народно-поэтическим прошлым, с ее снами об утраченном первобытном рае, о полусказочной-полуреальной прародине, какую предстала у него Малороссия, в своем стойком провинциализме отодвинутая назад—к колыбели славянской национальности. Это отмечали первые рецензенты Гоголя:

*«Вечера на хуторе близъ Диканьки состоятъ из прекрасных отрывков народной украинской жизни. Кто не знает, по крайней мере по насльшке, что наша Украина имеет в своей физиономии много любопытного, интересного, поэтического? Какое-то тайное согласие признает ее Славянской Авзонией и предчувствует в ней обильную жатву для вдохновения. Наши поэты улетают в нее мечтать и чувствовать; наши рассказчики питаются крохами ее преданий и вымыслов. ...И действительно, как географическое положение, так и исторические обстоятельства, расположили Малороссию быть торжественнейшим выражением поэзии Славянского духа. Расстилаясь под благодатную сеню южного неба, по широкому коври степеней, окаймленных струями Дуная и Дона, хребтами Кавказа и Карпата, волнами Эвксина и Каспия, она представляла привольное*

*раздолье, где Славянская флегматическая косность естественно могла разгуляться до Казацкого удалства и молодечества. ...Малороссия естественно должна была сделаться заветным ковчегом, в коем сохраняются живейшие черты Славянской физиономии и лучшие воспоминания Славянской жизни» («Телескоп», 1831, кн. V).*

Как бы наивно ни звучали подобные рассуждения ранних энтузиастов тридесятого праславянского царства, национальной нашей Эллады или Италии (в поэтическом лексиконе — Авзонии), они доносят до нас ту незаменимую роль, какую сыграла гоголевская Малороссия в русском национальном возрождении XIX века и в самом формировании национальной русской культуры, ищущей недостающего связующего звена с древним этносом, с его поэзией и мифологией. Украина оборачивалась древним центром. По сравнению с блистательными заездами Пушкина и Жуковского на Восток и на Запад, в глубь веков и культур, в том числе в сторону народного русского творчества, у Гоголя было преимущество живого очевидца и носителя живой еще, подкрепленной бытом, традиции. Сгущенно-условный местный колорит, лежавший на его «Вечерах», служил залогом национальной чистоты и народной самобытности и сообщал сочинению отпечаток подлинного свидетельства с места происшествия, которое располагалось не в стороне от России, но в ее предьстории и теперь заявляло о себе с непринужденностью сегодняшнего, весело и громогласно произнесенного слова. Сами украинизмы у Гоголя воспринимались подчас как акцентированная (поэтизированная либо пародированная) русская речь, сохраняющая свежесть и непосредственность в историческом запеведнике. Это позволяет понять, почему Гоголь, не разделявший всех убеждений московской славянофильской партии, вскоре сделался для нее центральной фигурой — в самом широком, общерусском значении. Дело не в программах и убеждениях, но в ощущении народного, живого и в то же время глубоко традиционного корня, прикосновение к которому, как к заряженному проводу, чувствовал уже всякий, беря в руки его «Вечера». Малороссия служила мостом к общерусским национальным истокам. Более того. Гоголь был тем более национально-русским писателем, что он был малороссом и начинал отсюда свой творческий путь.

Сам Гоголь придавал исключительное, таинственное, как всегда, предопределенное свыше значение тому обстоятельству, что «соединил в себе две природы: хохлика и русско го» (письмо А. О. Смирновой, 24 октября н. ст.

1844 г.). С ними он связывал и личные свои недостатки, встречавшиеся в таком изобилии, полагал он, как ни у кого другого (в особенности — дух гордости); в том же усматривал он великое превосходство, заставлявшее его необыкновенно гордиться своим национальным составом. Две природы не спорили в нем, но удивительным образом, по его разумению, дополняли друг друга, создавая основу для развития гармонического, совершенного человека.

*«...Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссианином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой,— явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве» (А. О. Смирновой, 24 декабря н. ст. 1844 г. Франкфурт).*

Было бы праздным занятием гадать, что же — конкретно и раздельно — в даровании Гоголя проистекало от хохла, а что от кацапа. Даже невинные попытки вывести его пылкий художественный темперамент из южной, малороссийской природы не идут обычно дальше общих фраз и эмоций и мало что открывают в характере его гения. С равным успехом можно, допустим, возводить к Украине осязательный в Гоголе дух бесшабашной степной вольницы и не менее осязательную склонность к точной регламентации, законопослушание, чинопочитание, служилую жилку. Различать природу творчества по генам мы, слава Богу, еще не научились. Гадательному же блужданию по дебрям крови и эмоциональному взгляду на вещи предпочтительнее избрать объективную, родственную Гоголю, географическую точку зрения. Тем более Малороссия, согласно его признанию, существовала в нем нераздельно с Россией, составляя целостный образ искомого совершенства в человеческом естестве. Напрашивается решение, что и своим укрупненно-целостным лицезрением родины, в виде неохватной Руси, которая постоянно витала перед его умственным взором, Гоголь обязан не только русской натуре, но, может быть, еще больше малороссийской своей удаленности, причем последняя придавала особый расширительный смысл и акцент его национальному чувству, побуждала быть русским вдвойне — за столицу и за провинцию.

Украина вообще острее чувствует целое, чьей окраиной она значится. «Юг» в сочетании с «Севером», в миропонимании Гоголя, всегда вносил в картину необходимое единство и пространственную перспективу. То, что Гоголь так глубоко, до конца дней, заключал в себе «хохла» и «козака», сообщало и «россиянину» в нем сгущенную натуральность, племенную, уходящую вдаль и в отчужденную землю оснастку. В постижении Гоголем России с малороссийской стороны происходило то же, примерно, что в разработке им русской литературной речи, выступавшей в крайних, удаленных друг от друга пределах, в утрированном рельефе, в пересечении разнообразных пород и жаргонов, каждый из которых, как «младший язык», входил в состав целого, придавая тому живописность и размашистую громадность. Украина у Гоголя произвольно участвовала в создании русской прозы, как служила его обостренному взгляду на мир и на Россию в особенности. Взаимозависимость Украины и России перерастала в конце концов в тему личной, единокровной и непостижимой связи Руси с ее избранником и художником — Гоголем.

*«...И грозно объемлет меня могучее пространство, страшно силою отразься во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи... У, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле Русь!..»*

В отношении Руси Гоголь стремился выступить во всеобъемлющем качестве — эпического поэта. Эпос — в самом древнем и вместе актуальном значении — на такое в русской словесности XIX века мог подвигнуться разве один Гоголь с его поисками синтеза разнородных пластов и сторон, с его жаждой колоссального, с его двумя взаимодополняющими природами, с его чувствованием народа, земли, пространства, дороги... Всё его творчество — это путь к эпосу, к поэме, вынесенной в гордую подпись к «Мертвым Душам», прозвучавшую как заявка на эпос, на совершеннейшее творение, способное состязаться в охвате с величайшими памятниками прошедших столетий.

Нет сомнений, что Гоголь глубже и органичнее прочих авторов нового времени был способен воспринять древнеэпическую традицию. Об этом говорят его близость к фольклорным источникам, его прямые и единственные в своем роде достижения в эпическом стиле, в виде «Страшной Мести», «Тараса Бульбы». В последних сочинениях романическая форма повествования о событиях минувшей эпохи, выдержанная в общепринятых исторической беллетристической нор-

мах вальтер-скоттовской прозы, без насилия впускает картины и эпизоды баталлий, написанные в ключе «Илиады» и «Энеиды». По-видимому, монументальность заданий и характеров Гоголя, его манера изложения, граничащая с преданием о богатырских подвигах и чудесах, черты мифотворчества, прорастающие сквозь речь о вещах домашнего и житейского круга, обеспечивали эту легкость и естественность усвоения элементов древнего эпоса.

Сложнее и проблематичнее обстоит дело с «Мертвыми Душами», которые не связаны непосредственно ни с древними легендами, ни с отдаленным прошлым, ни с миром сверхъестественного, ни с народной героикой, где нет ни стилизации, ни открытых ориентиров на какие-либо великие события или традиции, и разве что рассеянные там и сям пародические сравнения с прославленными именами античности способом от противного свидетельствуют о том, что Гоголь держал в уме эти великие тени — Гомера, Овидия, Вергилия, Данте и желал соответствовать своей поэмой — поэмам, эпосом современным — эпосу древних. Остальное вычитывается не из текста непосредственно, но из тенденций его стиля и построения, из внутренней логики образов Гоголя, из тона отдельных пассажей или общего течения речи, заставляющих скорее доискиваться и угадывать, какие эпические идеи и формы владели душою художника, нежели воочию видеть их претворенными в созидательном акте.

Всё же напор в эту сторону, общий итог накоплений эпоса, сделанных Гоголем, были так велики, что сравнение с Гомером последовало и, вызвав бурю протестов, застряло в уме исследователей, встающих время от времени перед нелегкой проблемой — древнего эпоса в новом, гоголевском исполнении. Смелость, чужа и риск объявить об этом в открытую, в полный голос, принадлежали Константину Аксакову, восторженному поклоннику Гоголя, по прочтении «Мертвых Душ» поспешившему издать брошюру на указанный предмет, лишенную сколько-нибудь конкретных примеров и аргументов и написанную будто вслепую, в наитии, на интуитивном подслушивании даже не смысла, а музыки гоголевского слова.

*«... Древний эпос восстает перед нами».*

Речь шла не о содержании и даже не о форме поэмы Гоголя, совершенно самобытных и связанных, понятно, с другой средой и эпохой, но о наличии у автора «Мертвых Душ» присущего лишь древним поэтам эстетического созерцания, обнимающего собою целый мир в неразрывной связи его явлений от великих до ничтожных.

*«...Шумят волны, несется корабль, враждуют и действуют люди; ни одно явление не выпадает и всякое занимает свое место, на всё устремлен художнический, ровный и спокойный, бесстрастный взор, переносящий в область искусства всякий предмет с его правами и, чудным творчеством, переносящий его туда, каждый с полною тайною его жизни: будь это человек великий, или море, или шум дождя, бьющего по листьям».*

Всё последующее литературное развитие рисуется в виде нисхождения эпоса до романа — как утрата спокойного и ровного мирообъемлющего взгляда, подмененного интересом к событию, интриге, происшествию, к анекдоту, наконец, поглотившему всё внимание у писателей нового времени.

*«И вдруг среди этого времени возникает древний эпос со своею глубиною и простым величием — является поэма Гюголя. Тот же глубокопроникающий и всевидящий эпический взор, то же всеобъемлющее эпическое созерцание. Как понятно, что мы, избалованные в нашем эстетическом чувстве в продолжении веков, мы с недоумением, не понимая, смотрим сначала на это явление; мы ищем: в чем же дело, перебираем листы, желая видеть анекдот, спешим добраться до н и т и завязки р о м а н а, увидеть уже знакомого незнакомца, таинственную, часто понятную, загадку, думаем, нет ли здесь, в этом большом сочинении, какой-нибудь интриги помудренее; но на это всё молчит его поэма; она представляет вам целую сферу жизни, целый мир, где опять, как у Гомера, свободно шумят и блещут воды, восходит солнце, красуется вся природа, и живет человек, — мир, являющий нам глубокое целое, глубокое, внутри лежащее содержание общей жизни, связывающий единым духом все свои явления. ...Эпическое созерцание Гюголя — древнее, истинное, то же, какое и у Гомера; и только у одного Гюголя видим мы это содержание, только он обладает им, только с Гюголем, у него, из-под его творческой руки восстает наконец древний, истинный эпос, надолго оставивший мир...» (Константин Аксаков «Несколько слов о поэме Гюголя: „Похождения Чичикова“ или „Мертвые Души“», 1842 г.).*

Позицию Аксакова было нетрудно оспорить и опровергнуть — настолько не вязалось с о д е р ж а н и е поэмы Гюголя с Гомером. Как ни оправдывался автор, вынос содержания, предмет поэмы, за скобки и сосредоточив упор на эпическом созерцании Гюголя, на небывалом, со времен Гомера, единстве духа, проявившемся в «Мертвых Душах», и проистекающих отсюда полноте и спокойствии художнического взгляда



да на мир, спор невольно скатывался к содержательному различию, вопиющему при одном сопоставлении имен — Гомер и Гоголь! Последний имел дело с явно недоброкачественным для эпоса материалом, с совершенно безгеройной, если не бесчеловечной, средой, применительно к которой категории «общей жизни», «мирообъемлющего единства» и т. д., какими пользовался Аксаков, казались просто выдумками наивного славянофила. Белинский, например, единственный признак «общей жизни» у Гоголя мог усмотреть лишь в «совершенном отсутствии общечеловеческого в изображаемой им жизни».

*«Помилуйте (резонно возмущался Белинский): какая об- щ а я ж и з н ь в Чичиковых, Селифанах, Маниловых, Плюшки- ных, Собакевичах и во всем честном компанстве, занимающем своею пошлостью внимание читателя в „Мертвых Душах“? Где тут Гомер? Какой тут Гомер? Тут просто Гоголь — и больше ничего»* («Отечественные Записки», 1842, № 11).

Сам Гоголь был раздосадован непрошенной брошюрой Аксакова: называя ее замечательной в своем основании, он считал этот выпад незрелым и преждевременным, способным возбудить лишь насмешки над автором брошюры, так же как над автором «Мертвых Душ», которого молодой и неопытный почитатель без долгих слов зачислял в Гомеры. Создается впечатление, что Гоголя настораживала не сама аксаковская концепция, лично ему близкая и приятная, но отрицательный эффект, ею вызванный. Получалось как бы, что критик запальчиво и неумело выболтал раньше срока некую тайну его сочинения. Не Аксакову, но поэме еще надлежало созреть до Гомера. Общий же курс и подход были выбраны правильно. Гоголь в «Мертвых Душах» пробовал на новой основе возродить древний эпос. Чувствуя таковую склонность, Белинский в той же критике на Аксакова пытался образумить самого уже Гоголя и оспаривал возможность и законность постановки подобной задачи:

*«Если же сам поэт почитает свое произведение „по-эмою“, содержание и игрой которого есть субстанция русского народа, — то мы, не обинуясь, скажем, что поэт сделал великую ошибку: ибо, хотя эта „субстанция“ глубока, и сильна, и громадна (что уже ярко проблескивает и в комическом определяется и которое Гоголь так гениально схватывает и воспроизводит в „Мертвых Душах“), однако субстанция народа может быть предметом поэмы только в своем разумном определении, когда она есть нечто положительное*

*и действительное, а не гадательное и предположительное, когда она есть уже прошедшее и настоящее, а не будущее только...»*

Возможно, Белинский и прав в определении субстанций и кондиций эпоса. Возможно, эпос требовал даже большего, чем действительное и прошедшее, и, чтобы сделаться эпосом, должен был предварительно прочно забыть всё великое в жизни, а потом уже восстановить это в памяти наново в мнимой картине бывших событий, набравшейся истины и красоты Бог весть из каких глубин сонного опыта народа. Но Гоголь и не следовал за Гомером в эпическом мирозерцании. Гоголь шел к непосильной встрече с Гомером противоположным путем — от Терсита к Ахиллу, из настоящего в будущее, подающее руку прошедшему, от мертвецов к воскресенному человеку и Богу, от пародии к мифу. Сходство с древним эпосом возникало в итоге этого обратного, встречного движения. Поэтому оно, это сходство, было во многом пародийным, как пародийна поэма — в прозе (что не меняло в принципе серьезности цели в сближении с забытой традицией). Опыт «Перелицованной Энеиды» своего знаменитого земляка Котляревского Гоголь безусловно учел, работая над «Мертвыми Душами». Последние могут быть также названы «Энеидой наизнанку» или «Одиссеей навыворот», хотя пародия здесь больше служит формой прикровенного влечения к высокому подлиннику и говорит о стремлении встретиться с ним на иной, противоположной основе.

Гомеровский кругозор (по Аксакову) применительно к целокупной картине мира в «Мертвых Душах» нужно перевернуть: не от великого до ничтожного, но от ничтожного до великого в силах вместить Гоголь. Гоголь начинает с ничтожного и на ничтожном сосредоточивает всё внимание, прорываясь к великому, стараясь поймать его эмбрион в ничтожной персти земной. Единство мира достигается у Гоголя на ином уровне, нежели у Гомера. Это не уровень Рока, богов и героев, но уровень первоматерии, представленной в молекулярном разъятии, из которой, по воле Промысла, лепятся герои и боги. Гоголь, если угодно, это преисподняя эпоса. В Терситах закладывается Ахилл. Великим всенародным подвигом поэма Гоголя могла лишь увенчаться и обрести в нем счастливый исход. Будучи вступлением в эпос, «Мертвые Души», в сущности, разрешились не в эпос, но в лирику, в молитву, в пророчество, в утопические проекты и практические усилия автора самому попытке недоставу в положительном опыте и стать эпическим богатырем, поло-

жив начало возрождению богатырей на Руси. Гомер подвел итоги греческой мифологии, Гоголь творил миф. Гоголевская птица-тройка, несмотря на лирическую нитку, из которой она соткана, стала едва ли не прасимволом русского сознания. К ней обращались, ее беспрестанно перефразировали и перелицовывали русские авторы — Достоевский, Блок, Бунин... К ней еще вернутся. Вокруг нее суждено вращаться русской словесности, как вокруг какого-нибудь Троянского коня. В ней судьбоносная стихия России достигла обратимой выпуклости мифологеми.

*«...Не мучьте же Россию и ее ожидания, роковая тройка наша несетя стремглав, и может, к погибели. И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную, беспардонную скачку. И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей сломя голову тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса — это заметьте. От ужаса, а может и от омерзения к ней, да и то еще хорошо, что сторонятся, а пожалуй, возьмут да и перестанут сторониться и станут твердою стеной перед стремящимся видением и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации! Эти тревожные голоса из Европы мы уже слышали. Они раздаваться уже начинают. Не соблазняйте же их, не копите их всё нарастающей ненависти приговором, оправдывающим убийство отца родным сыном!..» («Братья Карамазовы»).*

Константин Аксаков писал о Гоголе, что Русь является «тайным содержанием всей его поэмы». С указанием на эту, несколько странную для эпического произведения, тайнопись можно согласиться. Русь присутствует в «Мертвых Душах» не просто как фон событий или природа персонажей, но как эпическая стихия, хотя в этом универсальном качестве подчас выступает негласно, проникая во все поры гоголевского создания. Поэма в целом представляет собою род обозрения Руси и носит пространственный образ. Поэма — словно сама Россия в ее незримых и чувственно-осязаемых формах.

С другой стороны, Гоголь, как известно, медлил и колебался ответить с точностью на вопрос, оставленный до срока в загадках, о чем его сочинение, и, высказывая надежду, что «вся Русь отзовется в нем», вместе с тем, в иной связи, решительно отказывался признавать поэму «за портрет России», как вообще отказывал ее образам в объективном значении. По-видимому, это было связано с еще более тайным, субъективным содержанием «Мертвых

Душ» — с душою Гоголя, торжествующего победу над собственным и всеобщим ничтожеством, в широком смысле — над жизнью, влачащей цепи смерти. Зато сама эта смерть повсеместного существования, всеобщая пошлость, оплотнение души человека и мира — составляют явное, бросающееся в глаза содержание, непосредственно постигаемый пласт и контур «Мертвых Душ». Итак, тремя, по крайней мере, единствами «общей жизни» крепится целостность поэмы — равномерной протяженностью смерти и плоти, духовным и физическим пространством Руси и простирающим к ней свои помыслы и пророчества, громадным, невидимым большей частью, писательским «я» Гоголя, отделившим картину пошлого, оплотненного мира от собственной души в процессе творческого роста и нравственного своего совершенствования.

Однако ни в том, ни в другом, ни в третьем аспекте поэмы ничего существенного не происходит. Мир как будто замер в оцепенении пошлости, душа Гоголя — в обретенном величии, Россия — в своих мессианских потенциях и ожиданиях. Самый полет птицы-тройки, кажется, застыл в воздухе на века. Эпос Гоголя не только безгеройный, но и, допустимо заметить, бессобытийный, статичный, обращенный не к развитию, но к неподвижным состояниям жизни, к ее извечным субстанциям. Естественно, в этих условиях действие уступает место наблюдению и живописанию увиденного. От эпоса остается голое созерцание. Оно настолько не совпадает с фабулой поэмы и характером представленной в ней наглядной картины, что кажется «нездешним», внушенным какими-то незримыми силами — то ли Россией, стоящей за всем обозрением, то ли душою автора, который всё это держит в уме и от всего удален, отрешенный в своем созерцании. Отсюда — главным образом и проистекает сходство с Гомером, установленное Аксаковым. Благодаря контрасту со своим содержанием эпическое созерцание Гоголя выигрывает в громадности, в своей самоценной значимости и представляется шире, эпичнее всего, что мы знаем и помним, наводя на память единственного в этом роде поэта — Гомера. В значительной мере это продукт аберрации, мираж, последствие разрыва эпического созерцания с эпосом.

Эпическое созерцание Гоголя, широкое, спокойное, ровное и в этой широте охвата, в обстоятельности рассказа, в прикосновении к простейшим слагаемым бытия, в самом деле, несколько напоминающее Гомера, есть одновременно разительный признак антиэпоса. Ибо встреча Гоголя с Гомером состоялась на принципиально чуждой древнему миросо-

зерцанию почве — мира, лишённого истинной жизни и лишь в каких-то тайниках накапливающего силы для будущего. Как российский Гомер XIX столетия, Гоголь нашел наиболее всеобъемлющую для нового времени эпическую среду — человеческой пошлости и ничтожества и преподнес ее в монументальных образах, с эпическим спокойствием и размахом. Это было и величайшим торжеством эпоса в наши дни, и неизбежным его посрамлением, изначальным отрицанием эпоса. Эпическое созерцание Гоголя противоположно Гомеру в самых гомеровских, условно говоря, устремлениях. Так, спокойствие и бесстрашие дышат у Гоголя не благостным примирением с жизнью и сочувствием к равнодостоинным избранникам рока, но презрительным безучастием к одинаково пошлым хозяевам, продавцам и покупателям мертвого груза. Нам всё равно, кто кого обыграет в шашки, кто кого надует или поймает на надувательстве. Нас ничто не умиляет, нам никого не жаль в гоголевском обществе.

Всё — как встарь. Шумят волны. Несется корабль (бричка Чичикова, которой начинается, которой кончается поэма о его похождениях). Враждуют и действуют племена (сольвычегодские купцы уходили насмерть устьесольских). Красуется вся природа («...пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги...»). Восходит солнце — полярное, ночное солнце гоголевской прозы.

Крен в антиэпос имеют и такие эпические (одновременно) тенденции, как перенос центра тяжести с занимательной фабулы на экспозицию самого материала замедленно и последовательно обзревасмой жизни, с сюжета — на речь, вплоть до обращения сюжета в мерное течение речи. Гоголь и ближе других воспринял традиционные формы эпоса (вплоть до названия «поэмы»), и дальше прочих отошел от них (перешагнув с Гомером в круг проблем и явлений западной прозы XX века). Гоголь «Мертвыми Душами» разрушил представление о художественной литературе — о том, зачем она пишется. Раньше (включая Гомера) писали о чем-то великом, значительном, достойном того, чтобы об этом узнали читатели. Хотя бы писали, допустим, для занимательного рассказа о каких-то интересных событиях и происшествиях, а описание обстановки, пускай подробное и раздольное, служило к ним приложением. У Гоголя шкала ценностей и интересов резко сместилась, и история походов Чичикова послужила подсобным средством самому по себе интересному и занимающему основное внимание описанию обстановки, раскрытой в таких подробностях, что они заслонили сюжет и вылились в самодовлеющую поэму вещей

и в чистую демонстрацию речи о вещах, в общем, всем известных. Гоголь убил литературу своим тотальным подходом, сделав древний эпос приложением к мусору, и, может быть, поэтому с завершением первого тома поэмы перед ним с такой острою встал вопрос о цели и назначении всего, что он пишет, переключив внимание с исчерпавшей себя творческой практики на нравственные задачи искусства и жизни. В собственно-литературном опыте Гоголь дошел до черты, дальше которой идти было некуда, — до бессмысленного и беспредметного словоизлияния.

Проза первого тома в существенной своей части это пародия на поэзию в разнообразном значении слова: на поэзию как эпос, на поэзию как заведомо высокий строй и стиль, на поэзию, наконец, как словесность вообще. В этом смысле проза Гоголя есть и пародия на прозу, прозу как таковую, а порою вообще на язык как средство человеческого общения и выражения мысли.

Достаточно прозаический в своих вкусах, Стендаль говорил, что путешественник, пишущий путевые записки, «отмечает только то, что находит необыкновенным», и не сообщает, например, что в каком-то городе в полдень, как во всех городах, светит солнце. Гоголь в «Мертвых Душах» нарушает эту элементарную заповедь жанра, к которому они примыкают, да и любого, даже устного, житейского говорения, имеющего сообщить что-то новое, неизвестное слушателю, и, отправляя Чичикова в путешествие по самым избитым местам, только и делает, что доводит до читателей сведения, им хорошо знакомые, поминутно оговариваясь: «Словом, виды известные» и т. п., что не мешает ему следом снова и снова вдаваться в знакомые всем виды и тонкости общеизвестного места.

В итоге обыденное и повсеместно распространенное выглядит у Гоголя как-то необыкновенно за тот уже счет, что автор безо всяких видимых оснований сосредоточил на этом пристальное внимание. Вещи словно что-то прячут или держат в себе, нереальные в своем реальном облики, столь хорошо знакомом, что не могут они, мерещится, так просто и беспричинно стоять и занимать место, ничего собою не знача, хотя как раз ординарное, не значащее ничего пребывание перед нами и составляет удел их и неразгаданную тайну.

Но это только одна и, вероятно, не самая главная сторона дела. Гоголю, можно заметить, доставляет наслаждение сам процесс изложения всем известных вещей, оттого что в этом случае акцент с предмета речи перемещается на речь как процесс беспредметного назначения, интересный сам по

себе и собою исчерпывающийся. Информация заведомо бессодержательная переключает внимание с материала на способ его словесной организации; речь о ненужных вещах сама входит в сознание как вещь, как весомая масса, как самоценный факт языка; собственно прозу Гоголя мы поэтому столь отчетливо и воспринимаем как прозу, а не в качестве привычной манеры и общепринятой формы облекать мысли в слова, так же как не в виде придатка к содержанию и сюжету рассказа; она сама по себе содержательна и даже, если хотите, сюжетна, эта проза, выступающая в свободном образе речи о не стоящих упоминания фактах, речи в чистом виде ни о чем. Притом она лишена признаков легкой болтовни или беспечного перепархивания с предмета на предмет в быстром танце по поверхности жизни, что могло бы служить удобной мотивировкой ее вопиющей бессмысленности. Напротив, она серьезна, медлительна, обстоятельна, дотошна, иной раз почти научна в поисках определения сообщаемому факту, тяжело перегружена информационным материалом, не содержащим ничего достопримечательного и выдающегося, благодаря чему ее удельный вес, так сказать, непропорционально велик, способный разрешиться в самые неожиданные смысловые и стилистические срывы — в глубокомысленные рассуждения, в патетику и в лирику, в смех и в слезы...

Возьмите знаменитое начало первой главы «Мертвых Душ», решительно ничего не сообщающее, кроме вещей ничтожных, либо общеизвестных, но заключающее вас немедленно в тесные объятия гоголевской прозы, куда вы въезжаете вместе с бричкой Чичикова. Объективность этой прозы граничит с издевательством над читателем и самой задачей литературного повествования — о чем-то рассказать.

*«В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян,— словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж, и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. „Вишь ты“, сказал один другому: „вон какое колесо! Что ты думаешь: доедет то колесо, если*

*б случилось, в Москву, или не доедет?” — „Доедет“, отвечал другой.— „А в Казань-то, я думаю, не доедет?” — „В Казань не доедет“, отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой».*

Как много сказано и как ничего не сказано! Полезный коэффициент информации, избыливающей точными сведениями, обобщениями, деталями, содержащей даже обмен мнениями по поводу происшедшего въезда, равен нулю. Яснее всего представление мы выносим отсюда о встречном молодом человеке, которого больше не встретим и который приплетен ни к чему, точнее,— не о нем собственно, но о костюме его, еще точнее — о булавке, разглядеть которую приезжий господин, сидя в бричке, всё равно был бы не в силах, но которую Гоголь нарочито выставляет вперед, напоказ — в качестве алиби своему свидетельскому слову, ради видимой объективности и обстоятельности рассказа. Как перенес он внимание с нулевого господина на колесо его экипажа, так и далее отвлекает внимание читателя с человека на булавку в виде пистолета, который не стреляет. Весь этот густонаселенный, перенасыщенный вещами абзац представляет собою в сущности фигуру ухода от предмета повествования, от героя поэмы, взятого в слишком общих контурах и в самых неопределенных чертах, имеющих подобие точного, доискивающегося до смысла анализа, в действительности лишено смыслового ядра и рисунка. Подобный, негативный способ рекомендации соответствует и фикции Чичикова как лица, ускользающего от общественного контроля и нашего окончательного, читательского постижения, и, что еще существеннее,— фикции повествовательной речи Гоголя, с озабоченным лицом преследующей якобы какую-то почтенную цель в своем выхолощенном, беспредметном течении. Фиктивная, увиливающая, знаменитая характеристика Чичикова: «...ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж, и не так, чтобы слишком молод»,— в пародийном виде воспроизводит некую тенденцию гоголевской прозы, лишь создающей видимость физического напряжения по пути развития действия и выяснения сути случившегося, тогда как истинной сутью и действием является сама эта речь на пустом месте.



Исследователи языка и стиля Гоголя приводили многочисленные примеры заторможенной или сбившейся, потерявшей координации речи, которая в устах персонажей, по типу разговора глухих, заклинивается на каком-либо слове, либо развивается по несвязанным, параллельным каналам, получает механический, граммофонный озвук, обращается в абракадабру, в пустопорожнюю толчею, молотьбу. Гоголь любит говорить густо, много, напористо, агрессивно, никуда, однако, не сдвигаясь, ни к чему не приводя, кроме как к ощущению самой данности языка. Для этого его персонажи топчутся на одном месте, перенимают черты говорящих автоматов.

*„Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после“, говорил Чичиков.*

*„Нет, Павел Иванович, нет, вы — гость“, говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь.*

*„Не затрудняйтесь, пожалуйста не затрудняйтесь; пожалуйста проходите“, говорил Чичиков.*

*„Нет, уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю“.*

*„Почему ж образованному?.. Пожалуйста проходите!“*

*„Ну, да уж извольте проходить вы“.*

*„Да отчего ж?“*

*„Ну, да уж оттого!“ ...»*

*„Знаем мы вас, как вы плохо играет!“ сказал Ноздрев, выступая шашкой.*

*„Давненько не брал я в руки шашек!“ говорил Чичиков, подвигая тоже шашку.*

*„Знаем мы вас, как вы плохо играет!“ сказал Ноздрев, выступая шашкой.*

*„Давненько не брал я в руки шашек!“ говорил Чичиков, подвигая шашку...» и т. д.*

Всевозможные нарушения речевых коммуникаций у гоголевских героев, поражающие изобретательностью и избыточностью, заставляют подозревать, что самый обычный, повседневный язык как форма мышления и общения воспринимался Гоголем по преимуществу пародийно и в этом качестве языковой аномалии отвечал художественным нормам его прозы. Притом, чем проще конструкции, шаблоннее обороты, вступающие в противоречие с предметом и смыслом разговора и застревающие в нашем сознании как голый факт языка, тем более гибких и разнообразных эффектов добивается Гоголь, разыгрывающий целые концер-

ты из подобного рода речевых заторов и размыканий. Богатейший материал такого сорта поставляет его поэма, где «мертвые души» как тема деловых операций и обсуждений открыли бездну возможностей в собеседовании глухих, безуспешно пытающихся установить контакт в диалоге на основе чистой мнимости, пущенной в стереотипную сделку. Не так манерой говорить, как манерой не слышать друг друга различаются и характеризуются гоголевские герои. Пятикратно проигрывает Гоголь вариации на эту, казалось бы, столь тривиальную и словесно скудную тему приобретения «мертвых душ» — в диалоге Чичикова и Манилова, Чичикова и Коробочки, Чичикова и Ноздрева, Чичикова и Собакевича, Чичикова и Плюшкина, всякий раз по-новому поворачивая шаблонный торговый набор понятий и процессуальных деталей, наталкивающийся на неодолимое препятствие для понимания говорящих и заключающих сделку сторон и порождающий вакханалию смысловых и речевых несообразностей. «Мертвые души» как предмет собеседования можно считать идеальной материей для гоголевской прозы, ищущей только повода, для того чтобы провалиться в ничто. «Ведь души-то самые давно уже умерли, остался один неосязаемый чувствоми звук». Соответственно, и весь разговор проходит по неосязаемому курсу фикций и мнимостей. Это не язык смыслов, но, как подобает антиэпосу, язык пустых звуков.

Если торговые диалоги Чичикова по поводу «мертвых душ» пародируют денежно-деловые расчеты, сухой язык цифр и весь аппарат коммерции (комический жест отключения от собеседника, от смысла и предмета сделки, демонстрирует, например, Собакевич, в расхваливании своего неосязаемого товара зашедший так далеко, что обращается уже не к Чичикову, но к висящим на стене портретам Багратиона и Колокотрони), то бескорыстный язык занимательного и украшенного рассказа, язык, условно говоря, «художественный», «эстетический», представлен дурацкой «Повестью о капитане Копейкине». Будучи по смыслу аналогом походов Чичикова, последняя в стилистическом отношении является пародией на повествовательный сказ и содержит некий эквивалент поэмы Гоголя в целом. Оттого-то сам рассказчик видит в своей истории не просто сообщение или жизненный эпизод, но как бы законченное произведение или, как он выражается, «презанимательную для писателя, в некотором роде, целую поэму». Итак, «поэма» в «поэме»! Но как и другие формы нарочито бессодержательной речи, она представляет собою типичный для Гоголя случай речевого торможения и отключения от слушателей, от темы и живого

повода разговора, даже в какой-то степени от сюжета рассказа, потесненного «живописанием» обстановки и «воспарением» мысли почтмейстера.

*«Ну, можете представить себе: такой, какой-нибудь, то есть, капитан Копейкин, и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире! Вдруг перед ним свет, относительно сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шехеразада, понимаете, такая. Вдруг какой-нибудь такой, можете представить себе, Невский прешпект, или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, чорт возьми, или там такаякая-нибудь Литейная; там шниц такойкой какой-нибудь в воздухе; мосты там висят таким чортом, можете представить себе, без всякого, то есть, прикосновения; словом, Семирамида, судырь, да и полно!..»*

Перед нами опять-таки, с позволения выразиться, чистый факт языка, существующий самодеятельно и самоценно, наподобие, скажем, фразы: «Давненько не брал я в руки шашек!», заведенной механизмом игры, на сей раз заведенный механизмом повествовательной формы. Это в полной мере речь с потерянной или ослабленной координацией, произнесенная наполовину как бы автоматом, во сне, в повествовательном раже, речь, в которой на первом месте не смысл, не предмет, не герой, но процесс поэтически напряженного и уснащенного говорения.

Но не такова ли в принципе вся проза Гоголя, ищущая подкрепления в различного рода процессах беспредметного речетворчества и словоизвержения и препоручающая дуракам-персонажам миссию буксования, механической толчеи на пустом месте и прочие способы нарушения смысловых связей и коммуникативных функций языка только затем, что автор с его собственной речью и ролью в этой прозе исподтишка дует в ту же дудку? Не одного ли поля ягода Гоголь со своими героями, воспринимающими речь в различных ее видах по преимуществу как беспредметный процесс,—с тем же почтмейстером, например, погруженным в самоценную стихию рассказывания, с Акакием Акакиевичем Башмачкиным, положившим жизнь на вдохновенно-механическое переписывание бумаг, с лакеем Петрушкой, что с одинаковой страстью и вниманием предается чтению всякой всячины, будь то химия, модный роман, букварь или молитвенник, ибо его привлекало в книгах «не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения», с Чичиковым, наконец, который в восприятии письменного и печатного текста недалеко ушел от своего лакея?..

*«Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г. Коцебу, в которой Ролла играл г. Поплёвин, Кору — девица Зяблова, прочие лица были и того менее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления; потом перевернул на другую сторону — узнать, нет ли и там чего-нибудь, но, не найдши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновенные складывать всё, что ни попадалось».*

Для одного того уже, чтобы так воспроизвести эту ненужную никому афишку в прочтении Чичикова, нужно обладать подобным же, отрешенным от смысла и предмета, интересом к прочтению и описанию вещей, к прозаической речи как самодовлеющему процессу. Любая сцена в описании Гоголя, любая страничка «Мертвых Душ», в принципе равнозначна афишке в прочтении Чичикова: автор тоже не позабудет проследить весь инвентарь бесцветных имен, уточнить цену, дату и место издания и даже так и сяк повертеть картинку в уме, приглядываясь, не содержится ли что-нибудь еще на обратной стороне, с тем чтобы, удостоверившись, что там ничего нет, и как бы исчерпав тему сочинения наличным ничтожеством, сложить аккуратно очередную страничку-афишку в свой мирообъемлющий ларец под названием «Мертвые Души». Чтение поэмы Гоголя нередко сопровождается чувством неизбывной тоски, приистекающим не только по вине бедности и изменности описанной в ней жизни, но и в силу собственно литературной бессмысленности всего проходящего перед нашим взором парада, пустоты звуков и слов, так старательно сопряженных в мерное движение речи, убийственной ненужности всего, что здесь изображено и озвучено. Словно за экраном гениального творения Гоголя раздается монотонный дикторский голос Петрушки, читающего подряд всё, что ни попадаетея ему на глаза в открытой книге жизни, ради удовольствия, получаемого от самого процесса образования этого словесного ряда. Это в полном смысле надругательство над назначением книги и речи, это антипоэзия, глумящаяся и льющая слезы над тем, от чего она отреклась ради того, чтобы дойти до какой-то последней стадии в словесном делании и стать, с другого конца, вровень с утраченным счастьем поэтического созидания. Но это и есть проза!

*«...Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль, в стороне, темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже сама погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светлосерого цвета,—какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то, что голова продолблена была до самого мозга носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными как старые рогожки».*

Для чего всё это рассказывается, зачем и о чем? Неизвестно, неважно. Рассказывается — и всё тут. Прежде всего — ради самой данности повествования. Ни с чем не сообразное состояние, в какое впадает гоголевская проза, точнее всего определяется как состояние речи. Род оторопи и навязчивого бреда в языке, речевое торможение, сонная завороченность словом, безотносительно к его смыслу и возможным его слушателям коснулись души Гоголя. От его поэмы веет высокий беспечностью повествовательной речи, не знающей границ и запретов, не имеющей большей заботы, чем течь, равнодушно-внимательно озирая мир как собственное свое производное. Исчисление вещей, описание всем известных примет, улиц, блюд, заведений, умение подолгу задерживаться на какой-нибудь ничтожной подробности, ничего не значащей, ничем не мотивированной и совершенно необязательной для развития и прояснения действия, откровенное пренебрежение этим действием и развитием, искусство, во всё вникая и всё досконально выведывая, как-то ускользать от главного, от смысла рассказа, оставляя его на потом, в загадках и тайнах дальнейшего прохождения текста, унесенных в неизвестность вместе с внеположенным, невозможным окончанием речевого потока,— всё это лишь детали и сигналы более широкого и грозного явления: речи ни к чему и ни о чем, поэмы о мертвых душах. Лишь приравняв к нулю содержание своей поэмы, Гоголь мог добиться такого мощного и чистого звучания прозы, которое действительно слышится в ней и создает — от прозы — ощущение эпоса,

поэмы (хотя в то же самое время с ужасом убеждаешься, что эти «поэма» и «эпос» звучат на пустом месте).

При всем том, порывая с обычным назначением слова, будучи «пустой» и «бессмысленной», проза Гоголя несет задатки или реликты какого-то необычайно активного, жизнеспособного языка и словно силится перебороть сопровождающий ее и, возможно, ею же порождаемый вакуум в содержании повествовательного процесса, как если бы сам процесс этот был всего лишь подготовкой к чему-то более важному и реальному, чем факт существования поэмы Гоголя в прозе. Гоголевской речи, если можно так выразиться, мало быть речью, она ищет перейти границы и прозы, и поэзии, и речи вообще. В поисках ее апогея, который не достигнут в поэме, да и вряд ли мог быть когда-либо достигнут на этом пути, но к которому она непроизвольно тяготеет, следовало бы прибегнуть к сравнениям, лежащим далеко за пределами общепонятного языка, всенародного и литературного, за пределами вообще словесности и слова в их нынешнем состоянии. Лишь темная область священных формул и магических заклинаний, ворожбы и колдовства способна сколько-нибудь удовлетворительно ответить на вопрос, чего же добивалась в крайних своих устремлениях, не ведая о том, гоголевская проза, балансирующая на стыке переполнения и пустоты, величия и ничтожества, мирообъемлющего эпоса и бессмысленной абракадабры. Не исключается, что сами «эпос», «Гомер», «поэма», манившие Гоголя, служили суррогатом еще более глубокой и неведомой области, куда жаждала вылиться его проза. Просто он не знал, как к этому подступиться и чем обозначить, и говорил по традиции: «Гомер», «поэма». Там, в этой темной среде первобытной магии и шаманского камлания, сойдутся, можно надеяться, концы с концами, и «чистый факт языка», освобожденный от обязанностей информации, мышления, общения, обретет целесообразность, осмысленность и практический выход, претворяя слово в дело, речь в домостроительство.

У Гоголя этот процесс претворения не доведен до конца: слово повисло в воздухе, и понадобился разрыв с языком, с изящной словесностью, чтобы концы с концами сошлись и поэт обратился в деятеля. Но, повисая в воздухе, гоголевская проза содержит в зачатке сходные с языком заклинаний неоформленные поэмы. Иначе говоря, пустота, толчея, сгущенный настой заторможенного потока, всё то, что можно назвать напряженным состоянием речи, речи как таковой, одержимой процессом самоценного разрастания, имеют тенденцию вырваться в нечто более действенное и вещественное

по результатам, нежели просто «язык художественного повествования». Да и было бы странно, когда б у Гоголя, располагавшего небывалым зарядом жизнеспособных сил, у автора столь мощных мифотворческих импульсов и волевой устремленности к высшим задачам духовного и телесного делания, эти свойства не сорвались непосредственно с языка. Возможно, сама колоссальность, гиперболизм, неистовость и несоразмерность гоголевской прозы суть производные этого волевого напора, переведенного на мелкопись повседневности, на речи вроде: «Давнисько не брал я в руки шашек!..» Тем паче — при таком сжатии, при такой униженности — магические потенции словесной активности Гоголя имели шанс развиться невидимо, пустив укромные отпрыски в самые безобидные по наружности речевые покровы...

В «Мертвых Душах» обнаруживается весьма невинное по облику, но упрямое, утомительное и, по-видимому, бескорыстное пристрастие автора к именам и названиям. Накопление вещей слишком часто выступает в виде перечня наименований, присвоенных этому разряду вещей. Пафос количеств и масс выражается неимоверной жадной номинации. Всякое название дробится, расчленяется, выделяя из-под общей шапки уйму частных определений по принципу: «а именно». Автор как будто всё время стремится к уточнению: какие названия входят в понятие того или иного предмета? Создается видимость обстоятельного, правдивого до придирчивости вхождения в действительность, имеющей в лексиконе свою особую бирку, свою подчас малопамятную, внутриведомственную градацию. Тем временем повествование омывается сплошной топонимикой. Речь приближается к списку звательных обозначений, в ней слышится поименное вопрошание и исчисление всего сущего в мире. Наклонности подобного рода наблюдаются уже во внешнем оформлении гоголевской прозы. На каждом шагу ждешь двоеточие — пускай подразумеваемое, после чего начнется регистрация имен. Под видом разыскания сути события и лица человеческого появляется удлинняющий разыскание список встречных и поперечных названий.

Номинативная стихия, естественно, яснее выказывает себя в тех случаях, когда автор пускается в специальные отрасли и, соответственно, перечни — кушаний, хозяйственного инвентаря, собачьих мастей и т. д. Но в принципе всякая вещь норовит войти в поэму как в именной указатель с учетом профессиональных жаргонов и терминов. Та же стихия захлестывает нас в именах собственных. Местами проскальзывает даже оттенок какой-то ненормальности:

авторская старательность в вызывании имен граничит с своего рода психозом; хочется схватить автора за руку, сказать: «довольно!» — не то он покроет своими обоями весь текст. (Снова слышится голос читающего лакея Петрушки.)

*«...Герой, однако же, совсем этого не замечал, рассказывая множество приятных вещей, которые уже случилось ему произносить в подобных случаях в разных местах, именно: в Симбирской губернии, у Софрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева, в Рязанской губернии; у Фрола Васильевича Победоносного, в Пензенской губернии, и у брата его Петра Васильевича, где были: свояченица его Катерина Михайловна и внучатые сестры ее: Роза Федоровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губернии, у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна, с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами: Софьей Александровной и Маклатурой Александровной».*

Малопонятная эта и тягостная по временам номенклатурная пересыщенность речи имеет, однако, в поэме развитую мотивировку, выявленную даже сюжетным образом: Чичиков тем и занят, что, скупая «мертвые души», составляет на них поименные описи, которые всячески обыгрываются в ходе повествования, подробно обсуждаются, картинно демонстрируются. Как лес полон щебета птиц, так текст «Мертвых Душ» изобилует гомоном имен. Различного рода бумагам, надписям, подписям также придается в поэме непропорционально важная роль. Точно в ее написании непосредственное участие принял Акакий Акакиевич, знающий скрытый смысл, понимающий смак всей этой бухгалтерии и буквалистики. Так, при заключении купчей крепости, по старательной рекомендации автора,—

*«каждый из свидетелей поместил себя со всеми своими достоинствами и чинами, кто оборотным шрифтом, кто косяками, кто, просто, чуть не вверх ногами, помещая такие буквы, каких даже и не видано было в русском алфавите».*

Что это — опять-таки «чистый процесс» написания, доставляющий удовольствие мысленному взору художника? Или некие священные формулы-письмена, возвещающие наступление Судного часа? Под первым, бессмысленным слоем допустимо предположить присутствие второго — многозначительного, магического.



И всё же начертательная и назывательная магия имени, имеющая для Гоголя какую-то тайную власть, притягательность и очарование, прошла бы незамеченной, когда бы Чичиков, в опознавание высшего авторского плана, не открыл однажды свой заветный ящик и не произвел эту волшебную операцию наглядно — воображаемое воскрешение мертвых, опираясь, единственно, на их имена и графический образ этих имен, составляющих единственную и решающую реальность. Рождение живого человеческого лица, существование вещей и явлений природы начинается с начертания и произнесения имени. Имя — словно искра, возжигающая костер образа, и как в искре скрывается полный залог костра, так имя заключает в себе весь потенциал бытия, его идею и абрис. Исходя из минимальных данных, тщательно оговоренных и описанных у Гоголя, — почерка, характера и вида записочек, мелких пометок, точек, сокращений, а главное, исходя из скрытой жизни самого имени, — Чичиков воспламеняется духом и восстанавливает мигом облики и биографии ушедших в небытие мужиков.

*«...И глаза его невольно остановились на одной фамилии. Это был известный Петр Савельев Неуважай-Корыто, принадлежавший когда-то помещице Коробочке. Он опять не утерпел, чтоб не сказать: „Эх, какой длинный, во всю строку разъехался! Мастер ли ты был, или просто мужик, и какую смертью тебя прибрало? В кабаке ли, или среди дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? — Пробка Степан, плотник, трезвост и примерной. — А! вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба, да на два сушеной рыбы, а в мощине, чай, притаскивал всякий раз домой целковиков по сту, а может и государственную зашивал в холостяные штаны или затыкал в сапог. Где тебя прибрало? Взмогнулся ли ты для большего прибытку под церковный купол, а, может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись оттуда с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михай, почесав рукою в затылке, примолвил: „Эх, Ваня, угораздило тебя!“ а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. — ...Еремей Карякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита. Эти, и по прозвищу видно, что хорошие бегуны. — Попов, дворовый человек... Должен быть грамотей: ножа, я чай, не взял в руки, а проворвался благородным образом. Но вот уж тебя, беспашпортного, поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке... — „Ах, ты*

*бестия, бестия!“ говорит капитан-исправник, покачивая голову и взявшись под бока. „А набейте ему на ноги колодки, да сведите в тюрьму“.— „Извольте! я с удовольствием“, отвешаешь ты. И вот, вынувши из кармана табакерку, ты потчишаешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и спрашиваешь их, давно ли они в отставке и в какой войне бывали. И вот ты живешь в тюрьме, покамест в суде производится твое дело. И пишет суд: препроводить тебя из Царево-Кокшайска в тюрьму такого-то города; а тот суд пишет опять: препроводить тебя в какой-нибудь Весьегонск; и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму, и говоришь, осматривая новое обиталище: „Нет, вот весьегонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабки, так есть место, да и общества больше“.— „Абакум Фыров!..“ ...»*

Имя, мы видим, становится инструментом оживления человека со всем его вещественным окружением, становится как бы носителем самой души, у которой, в согласии с ее звуковым лицом, вырастает тело, портрет, психология, участь, язык, дорога, и вот уже целая толпа шумит, бражничает и мытарствует над пачкой жалких квитанций. Как было этой стихии одушевленных имен и прозвищ, этой тайнописи Гоголя, не перекинуться из ларчика Чичикова на весь свет, на весь текст поэмы! Серая канцелярия, оказалось, проторила дорожку к первобытному закланию всех существ и вещей поименно, художественный акт созидания, как в лучшие времена, смыкался с вызыванием призраков из тьмы преисподней...

Старое предание гласит, что, доколе все имена Бога будут названы и сосчитаны, вселенная погаснет, ибо всё содержание исторического процесса будет тогда исчерпано, уступив место Вечности или новому дню Творения. Гоголь словно торопится приблизить этот срок исполнения времен. Его «Мертвые Души», продутые насквозь пустотою жизни и мысли, несут в потенции магию великих космогонических циклов, соприкасаются с идеей конца и начала света. Их эпос рождался не во славу бывших событий, но в предуведомление будущих, неясных и туманных эпох, внятное лишь окончательной яростью наименований, ждущих последней, буквальной реализации. У Гоголя дело стоит не позади, но впереди эпоса. Поэтому речь в поэме подминает сюжет: речь более активна и деятельна, нежели действие, описанное здесь, и готова в наступление за подлинное торжество слова. Если бы Гоголь мог, он вместо многословного, растянутого

повествования произнес бы только одно мирозидительное имя, с тем чтобы в мановение ока восстановить истину в жизни, минуя посредничество идей и произведений. Он не имел такой возможности, но в восполнение пробела его творение дышит старанием изнавать доскональное всё, что ни есть на свете, и тем исчерпать этот свет раз и навсегда, покончив счеты с мертвым, призрачным существованием. Его поэма — это купчая крепость, заключенная на освобождение человечества от смерти, на овладение миром с помощью слова. Жаль, сделка не состоялась. Всё, как всегда в словесности, прошло по разряду фантазии, метафоры и пародии на некогда священную речь.

### *Глава пятая*

## МЕРТВЫЕ ВОСКРЕСАЮТ. ВПЕРЕД — К ИСТОКАМ!

---

«Верьте словам моим!» — заклинал и настаивал Гоголь, когда не мог почему-либо вразумительно объяснить свои слова и поступки. Ему надлежало верить на слово, верить слепо и безраздельно, ибо слово его обладало истинной силой и властью, высшей правдой и тайным знанием предмета, о котором писал он, и если читающие всё же отказывались его понимать и не имели смелости ему поверить, он советовал им внимательно перечитать написанное еще и еще раз, покуда они, вчитавшись, не проникнутся абсолютным значением, которое нес он в себе и различал за своими словами: «Верьте словам моим, и больше ничего».

Позднейшие кривотолки и полный разрыв в понимании между Гоголем и обществом, к которому он обращался, послужили ему новым поводом в пользу отказа от творчества, от слова, слишком, он опасался, влиятельного, оказывающего непосредственное, заражающее воздействие на поведение людей, способного завести куда не след, доколе тут вкралась ошибка или неточность, доколе автор не созрел еще окончательно до искомого руководства. «Слово как воробой: выпустивши его, не схватишь потом», — настаивательно цитирует Гоголь русскую пословицу, созданную будто в предвестие и в учреждение русской цензуры, и предписывает словесности величайшую осмотрительность, особенно в развитии сколько-нибудь необычного и оригинального

дарования, чье отличие от других людей «тем больше может произвести всеобщих заблуждений и недоразумений».

Столь крутые перемены в умонастроении автора, вчера еще самого оригинального и необычайного в России, вставшего сегодня на страже тощей словесной диеты (которая, впрочем, лично ему уже ничем не грозила и даже составляла моральное и гражданское оправдание его творческому бесплодию), не должны заслонять от нас еще более замечательный факт редкого постоянства, последовательности в отношении к слову Гоголя-художника и Гоголя-цензора, Гоголя-фантаста и Гоголя-пуриста. И в том и в ином повороте слово в его восприятии магично, чудотворно, чревато реальными, осязаемыми последствиями, зовет ли Гоголь слепо верить и повиноваться его словам или предостерегает от могущих произойти неполадков в итоге безответственного пользования словом. Сопутствующие обстоятельства его биографии, осложненной острыми кризисами, разладом и борьбой с собой, исправлением, разъяснением и уничтожением содеянного, имеют в основе тот же магический корень, от которого отправлялся Гоголь в писательской работе, пребывая всегда в состоянии преследования словом, которым он владел и от которого бежал, которое непрестанно растолковывал и перекраивал, впадая в транс и в отчаяние, мня себя то великим святым, то заклятым грешником, от которого распространяется тень по всему свету.

В Гоголе явлена забытая современной словесностью связь с изначальной магией, чем некогда промышляло искусство, чем долго оно оставалось и, быть может, еще остается где-то в глубине души по скрытой, внутренней сути, представленной так наглядно в облике и творчестве Гоголя. В нем сильнее, чем в ком-либо, проступала темная память о волшебном значении ныне безвредных и никчемных процессов, отчего и художник в нем без конца раздирался страхами и обязанностями потерявшего управление над своими чарами знахаря, действовавшего в условиях, когда его наваждения рассматривались всеми по классу эстетики и фантазии. Тема преследования собственным словом и творчеством, навязчиво проникающая в сюжеты его сочинений, сделалась лейтмотивом писательского пути и личной участи Гоголя. В ней, в этой теме, своеобразно преломлялась задача его каждодневного литературного опыта — задача создания образа, который бы волею автора неотразимо вставал перед мысленным взором читающих. Та задача совпала с талантом и уделом всего его жизни, с самым фактом существования Гоголя в качестве художника, наделенного необычной изо-

бразительной силой. Оттого и последствия ее обладали неотразимым, непосредственно вытекающим из писательской его сути, воздействием. Гоголь на всяком шагу оказывался в положении мага, слово которого претворяется в зримую плоть. Изображать — уже означало в некотором роде чудотворить. Словесное искусство смыкалось с волшебным упражнением уже на начальной стадии художественного процесса. В конечных своих результатах, в преследовании читателей силою ожившего образа, оно опять же пыталось соперничать с практической магией. Религиозный моралист и хозяйственник был последним, узаконенным, порождением чародея, сидевшего неискоренимо в Гоголе-художнике. Недаром в нравственно-воспитательных планах завершающего периода жизни Гоголь возлагает надежды на ту же колдовскую способность и особенность своих сочинений, которой он намерен придать более осмысленное и нацеленное выражение, видя в том свое главное призвание и преимущество:

*«Друг мой, искусство есть дело великое. Знайте, что все те идеалы, которых напищали в головы французские романы, могут быть выгнаны другими идеалами. И образы их можно произвести так живо, что они станут неотразимо в мыслях и будут преследовать человека...» (А. О. Смирновой, 22 февраля н. ст. 1847 г.)<sup>1</sup>*

*«...Человек, мною изображенный, оставался, как гвоздь, в голове, и образ его так казался жив, что от него трудно было отделаться» (М. А. Константиновскому, 12 января н. ст. 1848 г.).*

И тот же акт оживления мертвых существ и предметов — в каких-то поворотах сознания оборачивался расплатой. Коль скоро творчество Гоголю не приносило желанных плодов, оно из белой магии превращалось в магию черную. Не будучи осязаемым благом, искусство шло в существенный вред человечеству. Не будучи священнодействием, расценивалось как святотатство. Гоголя терзали сомнения, великое зло или великое добро произвел он своим сочинительством, но в том, что произведенное им велико, что внушает оно что-то грозное и решающее для общества, Гоголь не сомневался. Не послуживший достойным образом Богу, чудотворец с ужасом чувствовал себя невольным орудием дьявола. Он попадал в окружение собственных оборотней и был

---

<sup>1</sup> Борьба идей в изложении Гоголя напоминает состязание магов: сталкиваются противоположные силы внушения, в ход идет своего рода гипноз образного воздействия.

виновен в том уже, что сообщил им жизни, наделил необоримой гипнотической силой, а потом сам не знал, как отделиться, куда подеваться от своих восставших созданий. Художник обращался в жертву своего же дара будить и преследовать воображение зрителя странной живостью призраков. Он и добивался этого сверхъестественного эффекта, и в то же время страшился, слыша что-то кошунственное, соблазнительное, сатанинское в самом истоке творческих своих устремлений. «Грешник» в нем, как и «праведник», необходимо вырастал из «художника». Последний был замешан в запретном, в предосудительном деле — изображения. Поэтому Гоголь употребил все старания на то, чтобы направить свой опасный дар в услужение Богу. В противном случае ему угрожал приговор, какой услышал в «Портрете» богобоязненный живописец от своего доброго приятеля: «Ну, брат, состряпал ты чорта!» Потому же Гоголь поспешил самолично пересмотреть свое прошлое и объявить заблуждением весь свой писательский путь. Крайнее осознание собственной греховности было вызвано силой живших в нем магических импульсов. Не достигнув святости, какая одна могла бы перевести эту страшную чару в спасительный свет Воскресения, Гоголь-художник был уготован аду.

Во втором варианте «Портрета», законченном в 1842 г. и значительно перестроенном по сравнению с первой версией 1834 г., Гоголь попытался оправдаться в своих глазах перед этой чрезвычайно болезненной и актуальной для него ситуацией, как-то обойти и сгладить собственное грехопадение — автора, прославленного ярким живописанием зла. Для этого, среди прочих усовершенствований, Гоголь ввел в повесть теорию, касающуюся природы и законов изящного. Невольное пособничество дьяволу, роковая вина живописца, запечатлевшего на холсте черты угасавшего ростовщика-антихриста и тем обеспечившего ему долговременную власть на земле, способность причинять несчастья, смущать и губить души одним своим колдовским, преследующим человека подобием, состояли, разъясняет Гоголь в новой редакции, совсем не в объекте изображения, который художник волен избирать, где ему вздумается, но в пути и манере, какими был написан портрет. Художник здесь, дескать, слишком приблизился к действительности, снял форменную копию с чорта, не пропустив картину сквозь чистилище своей души, не озарив ее внутренней мыслью. Глаза, получившиеся на портрете, были как будто вырезаны из живого тела и разрушали гармонию самого произведения, которому и его несчастный создатель, и компетентные зрители решительно

отказывали даже в праве именоваться искусством. Рабское, буквальное подражание природе выдвигалось Гоголем в качестве основного условия допущенной живописцем оплошности, который признавался в совершенном им смертном грехе как в своего рода антихудожественном подлоге:

*«...Скажу только, что я с отвращением писал его: я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив всё, быть верным природе. Это не было создание искусства...»*

При такой постановке вопроса Гоголь был застрахован от обвинений в собственный адрес: кто-кто, а уж он-то, во всяком случае, рисовал не с натуры, а нещадно ее деформировал и пропускал сквозь себя, оплодотворял своим внутренним взглядом и материалом. На практике Гоголь скорее уподоблялся не бедняку-живописцу, рабски исполнившему заказ ростовщика, но самому ростовщику и антихристу, оставившему в портрете посмертного своего двойника и наместника на земле.

Теория изящного, развитая в новой редакции, не имела прямого касательства к сути проблемы и была попыткой задним числом, наделав бед, уйти от ответственности, сгущавшейся над писателем, выпустившим беса из плена. Смысловое ядро «Портрета», крайне актуальное для его автора, более чисто и очевидно выступает в ранней версии текста, менее сложной и разработанной в литературном отношении, но безусловно прямее отвечавшей на тему, тревожившую и затрагивавшую Гоголя персонально, тему власти и страха, заключенных в изобразительной магии. Там, в раннем изводе повести, сверхъестественный портрет колдуна представлялся Гоголю куда более совершенным и интересным художественным созданием, чем объявил он впоследствии, сведя всё дело к подлой копии. В первоначальном виде портрет претендовал на гениальную кисть, на звание и загадку неведомого шедевра:

*«Во всем портрете была видна какая-то неокончателность; но если бы он приведен был в совершенное исполнение, то знаток потерял бы голову в догадках, каким образом совершеннейшее творение Вандика очутилось в России и зашло в лавочку на Жукин двор».*

*«В художнике нельзя было не признать истинного таланта; произведение хотя было не окончено, однако же, носило на себе резкий признак могущественной кисти; но при всем том эта сверхъестественная живость глаз возбуждала какой-то*

*невольный упрек художнику. Они чувствовали, что это верх истины, что изобразить ее в такой степени может только гений, но что этот гений уже слишком дерзко перешагнул границы воли человека».*

Мы видим, что сначала Гоголь возвеличивал то, что потом постарался умалить и принизить. Причем феномен искусства, явленный в волшебном портрете, мыслился и оценивался в раннем варианте несравненно глубже и патетичнее, нежели факт буквального и бездушного подражания природе. Портрет колдуна в интерпретации Гоголя приближался тогда к творениям самого Гоголя. В нем сквозило «какое-то дикое чувство», «неизъяснимое ощущение, которое мы чувствуем при проявлении странности, представляющей беспорядок природы, или, лучше сказать, какое-то сумасшествие природы». Среди всевозможных гипотез, предложенных в ответ на вопрос: «что же это такое и откуда взялось оно?», ясно слышался голос в пользу магии, степеней которой достигло в данном случае это «искусство или сверхъестественное какое-то волшебство, выглянувшее мимо законов природы». Странная, непостижимая задача, решенная в портрете, пугала автора повести и в то же время притягивала, соблазняла как некая предельная для художника «черта, до которой доводит высшее познание искусства и через которую шагнув, он уже похищает несоздаваемое трудом человека, он вырывает что-то живое из жизни, одушевляющей оригинал». Близкое сходство с натурой, достигнутое в портрете, рассматривалось не просто как копия или подмена искусства голой природой, но в виде перспективной, сверхчеловечески-заманчивой тайны, исполненной неслыханной потребности — чудотворения...

Словом, вместо безвдохновенной поделки, какую представлен портрет в поздней трактовке Гоголя, уже искавшего повод размежеваться с дьявольской магией, мы имеем в ранней редакции более откровенный и полный гоголевский комплекс запросов и ощущений, какие возбуждает портрет: он и отталкивает, ужасает своей демонической близостью, и восхищает искусством оживлять мертвеца, обращать бесплотную тень в физически ощутимое тело, в преследователя, наделенного неотразимой изобразительной силой.

Да и как могло быть по-другому? «Глядит, глядит!» — не в том ли заключалось для Гоголя первое достоинство образа, который вставал неотступно перед очами, и не сам ли он всеми средствами стремился к тому, чтобы от словесного текста возникало подобного рода жуткое чувство: «глядит!»?



Истинная тема «Портрета» обнаруживается в этом «глядении», в чудесной, перешедшей законы естественного, изобразительности. На нее-то Гоголь и делал ставку в собственном творчестве, ища в арсенале искусства подobaющие чуду орудия, будь то гипербола, или гротеск, или смех, или живая деталь, подмеченная и вставленная в описательную раму. Всё это можно назвать художественной гальванизацией образа, доведенного старанием автора до иллюзии присутствия оживающего мертвеца между нами. Гоголевские образы подобны его портрету, который, глядя на нас, оживает и выскакивает из рамы. Между ним, портретом, и зрителем устанавливается странный контакт интимно-внутренней, а затем и физической близости. Зримое переступает границы, отведенные картине, и принимается преследовать тех, на кого оно смотрит. Если подойти к этой сцене несколько расширительно, то перед нами, по сути, демонстрируется процесс образного воплощения, творческой реализации гоголевских замыслов в вещество его сочинений. Мотив: «глядит!» переходит в дело преследования.

*«Сияние месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но, наконец, уже в самом деле... он видит, видит ясно: простыни уже нет... портрет открыт весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него,— глядит, просто, к нему вовнутрь... У него заохлоло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками, наконец поднялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам... Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который, наконец, становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильно колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем, он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул...»*

Не случайны его интерес и влечение к живописи как родственной области творчества, что выразилось, в частности, серией выступлений Гоголя (в «Портрете» и в «Невском проспекте», в отрывке «Рим», в статьях о Брюллове, Александре Иванове и т. д.). Сфера изобразительного искусства была даже, кажется, ему дороже и лучше знакома и больше задерживала его внимание, нежели изящная словесность. Вопросы теории и психологии искусства особенно широко и свободно разрабатывались Гоголем на

изобразительном материале. Фигура художника-живописца, со всем его бытом и стилем, с его психическим стрессом и творческим опытом, выдвигалась на первое место. Среди русских писателей прошлого века навряд ли возможно назвать другого автора со столь же решительным креном в сторону живописно-изобразительной формы. Всё это бесконечно соответствовало собственно-писательским качествам и устремлениям Гоголя, всегда обеспокоенного тем, чтобы «крепкою силою неумолимого резца выставить выпукло и зримо на всенародные очи» свои изображения, всегда предпочитавшего рассказу — показ, наглядную демонстрацию какого-либо предмета. Зримость образного рисунка необходимое звено и условие творимого им словесного полотна. Гоголь как бы неусыпно зрит описанное им и, грезя зрением, внушает схожее чувство своим читателям. Слово в русском языке, согласно его тезису в «Учебной книге словесности», — «не о п и с ы в а ю щ е е, н о о т р а ж а ю щ е е, как в зеркале, предмет». Очевидно, это ощущение связано с его повышенной восприимчивостью к изобразительным возможностям речи. Всецело к гоголевской прозе приложима и его формула, произнесенная по поводу стихотворений Державина, который всё делал —

*«чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячью глазами глядит он».*

Подобное визионерство, граничащее с ясновидением, сыграло немаловажную роль в репутации «реалиста», которая укрепилась за Гоголем. Его образы гипнотизируют, обладают властью миража, неотвязной галлюцинации и стоят перед глазами вот уже больше столетия, сходя за картину действительности. Было бы, вероятно, точнее эту преувеличенную изобразительную силу и способность Гоголя называть «магическим реализмом», имсующим целью словесность обращать в физически существующее и осязаемое тело. За невозможностью чудотворить в прямом и полном значении, преобразая бесплотное слово в непосредственную материю жизни, Гоголь пробавлялся художественными фокусами и навязывал читателям иллюзию физически достоверного контакта с выдуманым им миром. В этом смысле «глядит!» — уверение, столь резко акцентированное и наглядно подтвержденное в гоголевском «Портрете», — имеет характер программы для всего его писательского и жизненного дела. От изобразительной магии протягиваются нити к пророческим и религиозно-практическим запросам Гоголя. В частности,

его трагическое самоощущение писателя и человека, на которого все смотрят в ожидании какого-то чуда, в немалой степени было вызвано, по-видимому, тем обстоятельством, что своими произведениями он отверз у земли глаза, сделал ее зримой и зрячей и не смел уже освободиться от обращенных на него отовсюду, разгоряченных взоров. Мания преследования (в соединении с манией величия) как-то связана у Гоголя с его художественным даром выставлять выпукло и ярко своих героев на всенародные очи, добиваться максимальной изобразительной живости всякой твари и всякой вещи, так что те не просто действуют в его сочинениях, но неотступно глядят на нас и преследуют воображение автора, устремив на него полный нетерпения взгляд, что-то требуя, на что-то надеясь. Попав в поле зрения лиц и вещей, им изображенных, Гоголь не мог уже уйти от ответа и от ответственности перед этим тысячеглазым свидетелем, вызванным им к жизни. Увиденная Гоголем, Россия увидела Гоголя: он продрал ей глаза собственным творчеством и потом трепетал, и радовался, и напрягался, и пыжился, и тосковал под ее грозным присмотром.

*«Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем всё, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..»*

Единственная вина художника Чарткова, купившего несчастный портрет, заключалась, как известно, в том, что из любви к искусству он оттер эти очи от пыли и попал нечаянно в сплетение лучей, исходяемых взглядом антихриста. Портрет сглазил художника. Фигурально выражаясь, Гоголя «сглазили» его образы. Не потому ли он так настойчиво отстранялся от них и бежал прочь от искусства, замаливая свой самый страшный, самый черный (если не единственный) грех — изображения? Когда бы он вовремя от него не отрекся, не прикрылся бы щитом веры, Гоголя, возможно, ждал бы конец Чарткова:

*«Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладела им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К тому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета,— и тогда бешенство его было ужасно. Все лоды, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Портрет двоялся, четверился*

*в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза; страшные портреты глядели с потолка, с полу; комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз...»*

И весь этот бред и кошмар только за то, что однажды взглянул он неосторожно в колдовские глаза на портрете и тот его увидал?.. А — не гляди!..

*«„Не гляди!“ шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.*

*„Вот он!“ закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянувшись он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха».*

Взглянуть — сгинуть. Потому что взглянуть, увидеть (тем более — изобразить) — это значит — прорезать глаза в невидящей, мертвой материи и попустить им увидеть тебя, наступить, убить: «— Глядит!» В художнике (во всяком художнике — всмотритесь) есть какая-то обреченность («глядит!»). Подобно тому, как зримое становится зрячим в искусстве, так художник в Гоголе пойман в ковы изображений: преследуют. «Не гляди!» — сказанное философу Хоме Бруту потаенным, внутренним шепотом, в позднем Гоголе громко отозвалось: «не пиши!» И сколько бы он ни морочил голову, он за этот (внутренний, потаенный) голос схватился, потеряв способность творить, потому что где-то, давным-давно, еще в зародыше, помнил: «Не гляди!» — «Не пиши!» — «Не изображай!» (Не то догонят, увидят!..)

*«Она приподняла голову...»*

Почему — «Вий»? Я всегда недоумевал и робел перед этим странным названием. То есть — почему довольно объемистое и совсем не ему, не Вию, посвященное сочинение, повествующее о живом мертвце, о превращениях панночки и убившем ее нечестивце Хоме Бруте, названо по имени какого-то отдаленного, малопонятного гнома, мелькнувшего эпизодически лишь в самом конце, под занавес, и не связанного текстуально с главным содержанием вещи? Вий — только повод, только точка, поставленная в итоге повести Гоголя, вынесенная зачем-то (зачем?!) в заголовок, сопровождаемый, вместо эпитафии, сноской, которая, однако же, нам ничего не разъясняет в смысле вынесенного названия — «Вий»:

*«Вий — есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли...»*

Сноска, в совокупности с притянутым за волосы наименованием повести «Вий», — тоже точка, то есть слово, выставленное демонстративно в зачине, для того чтобы много спустя, не затрагивая повествования, отозваться в финале тем же внесюжетным, внеположенным, внезапным приказанием — Вий...

*«„Приведите Вяя! Ступайте за Виём!“ раздались слова мертвеца...»*

Повесть Гоголя, можно заметить (в самом конце и в начале, в заглавии), обрамляется и овеивается Виём, который собственно к повести отношения не имеет и приводится под руки в качестве приложения к действию, как лицо, наконец увидавшее и доконавшее Хому Брута. Роли Вяя и его описанию отведено всего несколько слов. Зато музыка их окрашивает повесть: последняя почти ничего не рассказывает о Виё, но смотрит на нас и веет — Виём...

*«„Подымите мне веки: не вижу!“ сказал подземным голосом Вий — и всё сонмище кинулось подымать ему веки...»*

Я многих спрашивал: — Откуда и для чего — «Вий», если Вий едва упомянут?! — И многие мне возражали резонно: — Ну, просто так, — отвечали, — взял и назвал по достаточно внешнему, случайному поводу, по третьестепенному, эпизодическому имени, имеющему всё же значение рокового аккорда или занимательной развязки в сюжете, сопряженном с несчастной судьбой напуганного Хома Брута. В конце концов, мало ли какие названия приходят писателям в голову... —

Ну, нет, извините. Это вам не «Дом с мезонином», не «Дядя Ваня» и не какой-нибудь тургеневский дым, проведенный по касательной к основному кругу событий. У Гоголя названия идут в лоб, напрямик: о чем пишет — то и называет: «Портрет» — о портрете, «Шинель» — о шинели, «Ревизор» — о ревизоре... Притом «Вий», заметьте, — не какая-то проходная, рядовая или сторонняя, но центральная для Гоголя повесть, узловая и корневая. Это наиболее страшное (по непосредственному эффекту — страшнее «Страшной Мести») гоголевское творение и наиболее безвыходное, мистическое и непостижимое. Непостижимость «Вия» прежде всего состоит в странном соединении черт, казалось бы, несовместных, — смеха и страха, быта и чуда, красоты и уродливости, флегматической простоты, пошлой несерьезности всей фигуры и личности Хо-

мы Брута и его невероятного, дикого и гибельного исхода...

«Вий», действительно, находится в центре всего творчества Гоголя. «Вий» — клин, вбитый Гоголем в середину пути. Половиной, бурсацкими шутками, «Вий» тянет назад, в невинное малороссийское отрочество, другой половиной, ужасом, — в будущее, в «Мертвые Души». Центральное положение «Вия» отражено в двусмысленности и раздвоенности его стиля, бросающего то в хохот, то в холодный пот, запамятавав об авторе (стоящем здесь, в середине, на каком-то внутреннем распутье и перекрестке) — дурака ли валяет он, как водится, или же сам уже сосредоточенно роет под себя подкоп и могилу<sup>1</sup>.

Значения событий и слов колеблются в «Вие» (как в вихре), как колеблется строй чувств, обуревавших нас по мере того, как мы проходим искус Хомы Брута и теряемся в догадках, чем вызвана такая напасть на его козацкую голову, и виновен ли он в чем-то, или сделал какую промашку, или сам ненароком спровоцировал привидение к жизни сладострастной подсказкой: «глядит!» Даже имя Хомы Брута, столь, на взгляд, однозначное по своей комической функции, странно расподобляется на смех и слезы, на пародию и пророчество, на героя и изменника, причем остается неясным, себя ли он предал своим изменническим неверием или панночку-ведьму, воззавшую однажды заскорузлого бурсака-лоботряса к прекрасным таинствам магии и колдовства... Колеблется в восприятии, в оценке и сама панночка, чей мертвый облик Гоголю посчастливилось запечатлеть чувственнее и живее, чем какую-либо другую женщину, о которой он когда-либо писал в своих сочинениях<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Очевидно, эта раздвоенность стиля и смысла не позволила современникам оценить по достоинству повесть Гоголя. Она распалась в их сознании и причислялась (даже влюбленным в Гоголя Шевыревым) к самым слабым его в художественном отношении опытам. Даже имевший перед глазами четырехтомник его сочинений (куда «Вий» вошел в улучшенном, доработанном виде), Белинский сокрушался, что и теперь эта повесть —

*«более блещит удивительными подробностями, чем своею цело-  
стию. Недостатки ее значительно сгладились, но целого по-прежнему  
нет»* («Отечественные записки», 1843 г., № 2).

<sup>2</sup> Красавица-ведьма в гробу с такой притягательной силой живописуется в «Вие», что это дало повод Розанову заподозрить Гоголя в некрофилии — подозрение, проливающее свет не так на загадку физиологии Гоголя, как на стилистику и на скрытую мистику Гоголя-художника, влекшегося воскрешать мертвцов, сообщая им проницательную жизненную стойкость и силу (см. «Опавшие Листья»).

Словом, гоголевская повесть богата обертонами, возбуждающими в читателе противоположные эмоции. За чтением «Вия» нас томят сомнения, предчувствия, тоска, бесплодные сладострастные грезы и тайные угрызения совести, и само наименование «Вий» приобретает непроясненную до конца и оттого, быть может, еще более жуткую и томительную властность. «Вий» перекликается с «Киевом», которым повесть обрамляется, и с «воем», который, подобно именам «Киев» и «Вий», открывает и замыкает историю о похождениях философа<sup>1</sup>. Под отдаленный вой волков (то ли еще кого-то) вступаем мы в область Вия, в ночной и фантастический мир, противоположный Киеву, где всё просто, обнаженно и по-житейски обыкновенно, где шумно илюдно, где господствуют день и смех. Но «Киев» озвучен, оглошан «Вием» и способен им обернуться — как панночка оборачивается из старухи в красавицу, из красавицы — в отвратительного ходячего мертвеца. Антиподы — «Киев» и «Вий» — встречаются в очах панночки, впервые открывающей Бруту свое прекрасное, молодое лицо. (Не напрасно, уверяют этнографы, киевские ведьмы когда-то славились по всей России.)

*«...„Ох, не могу больше!“ произнесла она в изнеможении, и упала на землю. Он стал на ноги и посмотрел ей в очи: рассвет загорался, и блестили золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица с распанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез. Затрепетал, как древесный лист, Хома; жалость и какое-то странное*

---

<sup>1</sup> «Философ попробовал перекликнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя только, послышалось слабое стенание, похожее на волчий вой».

Это прелюдия будущих наваждений и страхов Хома Брута — воем оглашается степь, по которой блуждают потерявшие дорогу приятели, прежде чем наткнуться на ведьму, — с этого воя кончается «Киев» и начинается «Вий».

Третья, самая страшная и роковая для философа, ночь вновь ознаменована воем:

*«Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей. И самый лай собачий был как-то страшен.*

*«Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк», сказал Дорош. Явтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего».*

Наконец, воем упрещается и сопровождается появление Вия:

*«И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздалась тяжелые шаги...»*

*волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им; он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное, новое чувство им овладело...»*

Новое чувство, овладевшее сердцем Хомя, чувство сомнения, преследования и обреченности, чувство, которое отныне подтачивает его дух и предопределяет погибель, оказалось следствием лицемерия панночки. Он не устоял перед этими длинными, как стрелы, ресницами, как позднее не устоит перед поднятыми подзорной трубою очами Вия. Мания и магия зрительного чувства и зрительного внушения становятся скрытой, подспудной, собственно-гоголевской темой повести. Поэтому она и называется — «Вием». Это повесть о страшном искушении и о страшной опасности — взглянуть и увидеть. «Вий» (звучит как глагол в повелительном наклонении) — это «вой» и «вей» в применении к зрению, к «видеть». «Вий» — это бесовское (и художественное) «виждь!» (вместе с обратным, предостерегающим голосом человеческого инстинкта и совести: «не гляди!»). От глаз Вия (согласно народным повериям), когда он их подымает, летят молнии и вихри. Теми вихрями и стрелами пронизана повесть Гоголя, и хотя она почти ничего не рассказывает о Вие как каком-то подземном, фантастическом существе и тот не занимает в ней существенного места, она покрывается этим названием и повелением — «Вий» в более широком, всеобщем, зрительном смысле. (Оттого-то мы слышим Вия и в волчьем вое, и в Киеве — всюду, над чем простирается чара гоголевского глаза и слова.)

*«Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хомя, что лицо было на нем железное...»*

*„Подымите мне веки: не вижу!“ ... .. Не вытерпел он и глянул.  
„Вот он!“ закричал Вий и устал на него железный палец.»*

Повесть Гоголя, как целое, наэлектризована глазами и взглядами, силиющимися что-то увидеть или уйти от встречных очей, раздраженными и замороженными увиденной картиной, так же как — глазами и взглядами, исполненными борьбы между невозможностью видеть и жаждой прозреть, между трепетом, запретом, наложенным на зрение, и страстью нарушить закон и переступить барьер, отделяющий нас от Вия, от глазастой, всевидящей тайны... «Подымите мне веки!» и «Не гляди!» — между этими крайними полюсами разодрано повествование Гоголя, изобилующее оттенками зрительных воделений, как если бы последние составляли огромное море смысла, счастья, греха, и вот прибоем того



моря всё омыто, прорезано и изглодано в гоголевской повести. Финальным появлением Вия с его удесятеренными глазами-перископами, воздвигнутыми из преисподней, лишь увенчивается речь о том, как смотрят, отводят глаза, зажмуриваются, разглядывают, видят или не видят люди и бесы — со своей особой, необыкновенно изощренной, разработанной технологией и физиологией зрения. Если гоголевский «Портрет» только пристально и неотступно глядит на нас, прожигая душу железом, то «Вий» много сложнее, витиеватее и, я бы сказал, извращеннее в своей зрительной чувственности. От удлинненных век Вия, бьющих до дна, наповал, соединяющих последнюю, подземную слепоту с ясновидением, ложится тень на весь текст повести, одержимой вожделением видеть то, что скрыто и не положено, проникнутой эротикой и даже, если угодно, какой-то эрекцией зрения. Недаром дилемма «взглянуть» и «не глядеть» принимает характер подсознательного, провокационного, движущего действием стимула, бесовски-сладкого и вместе с тем бесовски-неповзволительно-го соблазна, вокруг которого разыгрывается целая интрига и пантомима двусмысленно-зовущих, притягивающих и прячущихся взглядов. Сама панночка-ведьма, призвавшая к окончанию дела Вия, замечательна прежде всего оперенными своими очами и умением «виеть» взглядом — приковывать и портить людей, наводить на них род столбняка или паралича. Первое же ее появление в облике старухи сопряжено с этим искусством связывать глазами по рукам и ногам:

*«...Глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском. ...Он вскочил на ноги, с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза, и снова начала подходить к нему».*

Затем начинается скачка с ведьмой на спине, когда вся картина, увиденная Хоמוю, раскидывается сплошной феерией или оргией зрения, дышит восторгом и счастьем распахнувшихся вдруг на прекрасное и в запредельное глаз. Образы приобретают живописно-изобразительную выпуклость и силу, врезаясь в сознание утрированными контурами и формами.

*«Леса, луга, небо, долины — всё, казалось, как будто спало с открытыми глазами. ...Тени от деревьев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине».*

Среди этого запредельного, перевернутого вниз головой миража, с потусторонним, подводным солнцем и с подземным

же морем, — неслучайно отдельным кадром выплывает русалка — образ, исполненный (не без влияния, над думать, белобоких, в ложномавританском, как Сандуновские бани, стиле, соблазнительных наложниц Брюллова) блеска, наготы, сладострастия и столь же пронзительно-острого, стереоскопического вторжения в близкое поле зрения — лицом к лицу, очами в очи с нашим обомлевшим философом:

*«Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось — и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластической окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их...»*

Мимолетная встреча с русалкой предваряет очную ставку с панночкой, преобразившейся с окончанием скачки в молодую красавицу в стрельчатых ресницах и с очами, полными слез. Подобное же предварение (и соответственно — сгущение) убийственных очей Вия осуществляется в заключительной сцене, где, посреди обступившей философа сволочи, вдруг возвышается фресковый, во всю стену, портрет какого-то виеобразного, глазастого скорпиона:

*«Не имел духу разглядеть он их; видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу; сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови...»*

Но, конечно, всего драматичнее разыгрывается немой диалог, осуществляемый только очами, только средствами красноречивого взглядывания и поспешного опускания глаз, между Хомою и панночкой, лежащей в гробу, в первую ночь отчитывания усопшей (первая ночь в итоге столь напряженного состязания между мертвой ведьмой и живым человеком и кажется нам наиболее трудоемким и кошмарным испытанием Брута). Впечатление запретного, болезненного перемигивания и переглядывания, чреватого всё нарастающей тайной, опасностью и расплатой, усугубляется тем обстоятельством, что покойница-ведьма словно смотрит на Брута укоризненно и пронизательно закрытыми очами (ср. в ночь скачки — вся земля, казалось, спала с открытыми глазами), тогда как, с трудом разомкнув вежды и подняв-

шись из гроба, она не может его разглядеть, обреченная слепоте смерти. В то же время философ своими разгоряченными взорами как будто гальванизирует труп и передает ему жизненное электричество. Воскрешение мертвеца производится путем недозванного, соблазнительного прикосновения очами. (Вообще в этом процессе оживления мертвой царевны есть что-то нескромное, предосудительное со стороны самого Брута, который неосознанно как бы возбуждает и раззадоривает ведьму и в своем воспаленном воображении заранее с нею проделывает то, что она потом демонстрирует воочию.) Достоверность всей этой сцены подкрепляется противоестественным (и оттого наиболее действенным, натуральным для зримого нами магического сеанса) превращением спящей, как живая, красавицы в безобразного мертвеца, едва только та вылезает из гроба и пытается перейти незаконно в активное состояние жизни. Эротическое в своем истоке созерцание красоты и белизны усопшей внезапно сменяется отвращением перед вставшей на ноги падалью. Готовая разрыться слезами и лобзаниями, тоска незамедлительно разрешается взрывом ужаса при виде ожившего тела, утратившего разом весь соблазн побудившего его восстать сладострастного интереса. Эротика у Гоголя напитана трупным ядом; она пророчит и как бы уже вмещает тление; сладость споспешествует страху, который на начальной стадии раздражающе притягивает, затем чтобы вслед обратиться в какой-то крошечный кошмар...<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Странная закономерность: мертвая панночка жива и прекрасна, но оживает она во всем обличии мертвой мерзости. Не сказала ли здесь закономерность более общего, присущего Гоголю плана и образа чудотворения? Он словно воскрешает к жизни изображаемых персонажей, наделяет их сверхъестественно-яркою магнетической искрой и силой, и тогда чаще всего они являются нам натуральными мертвецами.

Не так ли, однако, и сам Гоголь был соблазнительно сладок и чуден, покада он находился в «спящем», иносказательном состоянии творчества и правил свои чары на бумаге, в воображаемом и метафорическом плане. Когда же он попробовал воочию (хоть и осененный крестом) восстать из гроба, пробудившись к практической жизни, он ничего не нашарил мертвенными очами из того, что думал узреть, и бессильная ярость вмиг исказила его ослепший образ. Возможно, в этих лимитах духовной биографии Гоголя, разделенной на два периода — слова и дела, отразились черты и границы его «магического реализма». Кажется, тот превышает пределы естества, отпущенные писателю. Но, превысив, проваливается зловещим олицетворением смерти. Воскрешение происходит (как всё у Гоголя) как-то извращенно, навыворот: живые восстанут мертвецами, и безжизненным «делом» увенчивается «чудо» искусства.

*«Он подошел ко гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз:*

*Такая страшная, сверкающая красота!*

*Он отворотился и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатила слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови.*

*Он поспешно отошел к крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. .... „Чего бояться?“ думал он между тем сам про себя. „Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побойтся Божьево слова. Пусть лежит!“ ...Однако же, перелистывая каждую страницу, он поспрашивал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: вот, вот встанет! вот поднимется, вот выглянет из гроба!*

*Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно. Свечи лили целый потоп света. Страшна освещенная церковь ночью, с мертвым телом и без души людей.*

*Возвзвися голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни. Но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос: „Что, если подыметя, если встанет она?“*

*Но гроб не шелохнулся. Хотя бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу... Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки, или слабый, слегка хлопнувший, звук восковой капли, падавшей на пол.*

*„Ну, если подыметя?..“*

*Она приподняла голову...*

*Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала... идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.*

*Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг...*

*Она стала почти на самой черте; но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хома не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но не видя ничего, с бешенством — что выразило ее задрожавшее лицо — обратилась в другую сторону...»*

В сущности, бедою (или виною) Хома становится его попустительство, соучастие и тайный контакт с ведьмой, которой он невольно подыгрывает, разрываясь на части между страхом и любопытством: «увидеть!» и заповедью: «не гляди!» Весь конфликт Вия, который появляется как решающий итог и финал этой внутренней борьбы, в сущности, уже налицо. Вторая ночь отчитывания, следом за первой, лишь разрабатывает дальше динамику взглядов и глаз, предваряя развязку третьей ночи. Оркестр, составленный из одних только взоров, то испуганно потупленных, то страшно уставленных, действует на сей раз с неистовой скоростью, подготавливая, с приближением Вия, гибель Хома. Менее, чем на одной странице, говоря схематически, мы встречаем следующие разнообразные комбинации глаз и взглядов, определяющих темп и размер второй ночи:

*«Он... начал читать громко, решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. ...Он... робко повел глазами на гроб. Сердце его заохолонуло.*

*Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые, позеленевшие глаза... Потупив очи в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклатья и слышал, как труп опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. ...Сильно у него билось во всё время сердце; за жмурив глаза, всё читал он заклатья и молитвы...*

*Вошедшие сменить философа нашли его едва жива. Он оперся спиною в стену и, выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его козаков».*

...Наконец, раздается — гулкое, трубное, итоговое, роковое: «Подымите мне веки: не вижу!» Послушаемся и, кинувшись дружно, подыдем ему веки. Это говорит искусство — оно хочет и умеет смотреть. Поэтому оно на камне, на дереве, в золоте и в слове, где и на чем придется, первым делом и главным долгом изображает — глаза. С глаз

начинается магическое лицезрение, узнавание и оживление мира. Зряма реальность, зрячее царство чудовищ Гоголя, сказок, леса входят в свои права. Искусство — как тысячеглазый Аргус, оно покрывает землю, как собственное тело, глазами, от которых мы не можем опомниться. Куда ни повернемся: «Глядит!» Колдовская, прекрасная, кровоточащая образами-глазами природа... Необузданное воздымание век, срывание паранджи — ради того единственно, чтобы выступило сквозь волны лицо неведомого Бога и тот прозрел наконец... «„Вот он!“ закричал Вий и уставил на него железный палец».

...Наряду с извечной потребностью видеть, прорезая глаза на бульжнике, уживалась (даже в самом искусстве) столь же древняя, противоположная воля запрета — на изображении, в особенности — на обнаружение лица, еще строже и чаще — на прорезание и оживление глаз. В широком объеме это требование покрывается формулой: «Не гляди!». У первобытных статуэток эпохи палеолита отсутствуют глаза, порою — несмотря на довольно разработанные физиономические подробности, порою же — вместе с невнятным, как бы изъятым, предусмотрительно и нарочито затертым или стесанным лицом (для того, чтобы оно не смотрело и, соответственно, не оживало кому-либо на беду и до срока). Появление глаз совпадало с наличием в камне души и жизни, с его переходом в состояние полноценного человека ли, беса ли. Древнее священнодействие по оживлению истукана посредством нанесения признаков лица и, особенно, глаз — методом от обратного — восстанавливается с помощью кукол, абсолютно безглазых, а иногда и безликих, существовавших до последнего времени у ненцев, хантов, якутов и др. народов. Соответственно, рисование глаз было связано с воскрешением прежде мертвой фигурки. Всё это могло бы служить неплохим комментарием к гоголевскому «Портрету» и к «Вию».

Вспомним жену Лота: она оканеменела, потому что повернулась лицом к проклятому городу и нарушила запрет: «Не гляди!» Человек берег свой образ от дьявольских посягательств. Показать лицо означало в некотором роде расстаться с собственной персоной. Делание портретов у многих племен почиталось вредоносным и греховодным занятием. Через лицо притекала, через лицо же отнималась магическая сила. В среднеазиатской сказке об этом рассказывается:

*«Юноша с женой на коня сели, поехали. Они из ворот города выехали — сколько у эмира было войска, богатства,*

*всё вслед за юношей пошло. Эмир вышел, за зятем пустился, плакал. Он зятю сказал: „Посмотри на меня!“ Жена сказала ему: „Всем лицом к отцу не поворачивайся; повернись наполовину!“ Юноша наполовину повернулся — немного богатства, войска отделилось, эмиру осталось, остальное за юношей пошло».*

На Руси кое-где, по углам, до самого конца девятнадцатого столетия, действовало табу на портретные изображения. Портреты вменялись в грех. (С реликтом подобного страха — правда, не на русском материале — я столкнулся недавно около острова Колгуева, где на наш пароход понаехали туземцы на лодках пить пиво и водку в пароходном буфете, а мы между тем безуспешно, самонадеянно пытались фотографировать их, — они сердито отмахивались, прикрывались меховыми рукавами и малахаями, и лишь один самоед, видать, пропавший пьяница, сторговался стать под аппарат за трешку — в уплату, наверное, за причиненный ему ущерб, за непредусмотренные болезни и беды, какие могли бы мы наслать, воспользовавшись его фотокарточкой.) Короче говоря, искусство обставлено различного вида рогатками и оговорками касательно глаз, лица и портрета, а шире — касательно изображений вообще. Гоголь заблуждался, когда, исходя из собственной живописно-изобразительной манеры, в «Ночи перед Рождеством» позволил кузнецу Вакуле воспроизвести на церковной стене подлинник чорта — такого не допускалось на православной Руси.

*«...На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула чорта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: он бачь, яка кака на малёвана! и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери».*

Черты обыкновенно у нас изображались черными и как бы стертými, в профиль, — чтобы не на что было смотреть и чтобы они, храни Бог, с иконы, со стены никак уже на вас не смотрели. Даже, помнится, портреты Лжедмитрия и Марины Мнишек в старинных книгах православными читателями зачерчивались и затирались слюной. Чтобы не глядели.

Но применительно к Гоголю грех и боязнь портрета простираются дальше и глубже демонских изображений: изображение само по себе кошунственно и демонично. Гоголь виновен и проклят не за чорта только, над которым, как говорил он, вознамерился посмеяться и для этого изобразил

(то есть, говоря современным языком, предоставил платформу чорту). И не только потому, что ярко живописал сплошь уродливые образы, не умея как следует запечатлеть положительное лицо (чем тоже много терзался). Гоголь виновен в том уже, что всякую вещь норвил воссоздать «так живо, как живописец» (из письма М. А. Константиновскому, 24 сентября н. ст. 1847 г.). Он так отчаянно открещивался от всего сочиненного, потому что ему было от чего открещиваться: в самой завязи своего гения он прозревал не имеющие снисхождения вины. Гоголь, в конце концов, не пожелал называться художником, потому что слишком далеко зашел по художественной дорожке и глубже других окунулся в стихию первобытных, инстинктивных по этой части влечений и страхов, в пучину изобразительной магии. К нему подошло бы крайнее, из мусульманских суеверий, правило (носящее, впрочем, по всей вероятности, апокрифический, стихийный характер): в день Страшного Суда к живописцу сойдутся его ожившие образы и потребуют, чтобы он вложил в них душу. А что он может им предложить, помимо изобразительной живости, и где он возьмет души (души-то у него — мертвые)?!. Художник — творец и создатель лишь в иносказательном плане, т. е. дьявол, обманщик. И тогда все изображения кинутся на него и разорвут на части недостающую душу, в гневе на отца, одарившего их мнимой действительностью (как чудовища, что кинулись скопом на неверного Хому Брута)...

Гоголь всю жизнь находился в тяжбе со своими созданиями, едва они отпочковывались от него и проявляли самостоятельность. То они казались ему слишком мизерными и почитались за предварительный, пробный урок; то он восставал и стыдился независимости, какую вдруг получали его образы во всеобщем прочтении, хотя сам же даровал им эту свободу движения, которую запоздало пытался взять под контроль, ограничить, регламентировать с помощью литературных инструкций, всякий раз попадая в унижительное положение истца, потерпевшего по отношению к собственным образам, покуда необходимость качать права и доказывать свою невинность не обращало всё, произведенное им, во что-то чуждое и ненавистное ему, о чем он и подумать не мог без внутреннего содрогания. Произведения Гоголя наделены настолько внушительной, импульсивной изобразительной жизнью, что имеют обыкновение действовать по собственной воле, не повинаясь авторской указке, так что Гоголь в роли обманутого и обкраденного автора всякий раз принимался судиться с сотворенным добром, либо, встав в позу,



объявлял свою нынешнюю, выросшую личность независимой от прошлых долгов и непричастной ко всей этой дряни (не будучи, однако, в силах расстаться с бесовским подарком).

Ситуация волшебной юморески «Нос» — в направлении самого Гоголя — исполнена скрытого трагизма. Законная, элементарная часть твоего естества и лица, нос (а гоголевские образы большей частью произведены непосредственно из Гоголя и могут рассматриваться как законный кусочек его духовной плоти, то есть — его «нос»), отделилась и объявила себя независимым господином, персоной града, отняв у тебя спокойствие и достоинство, сделав прежнего полноценного человека — хозяина, автора — униженным искателем взбунтовавшегося придатка. Хлопоты Гоголя на предмет восстановления своего доброго имени, своего, так сказать, неподдельного авторского лица, — посредством «Театрального разъезда», «Развязки „Ревизора“», «Выбранных мест из переписки с друзьями», «Авторской Исповеди» и т. д. — несколько напоминают хождения майора Ковалева по газетному и полицейскому ведомствам в надежде восстановить справедливость и вернуть себе свою естественную принадлежность.

Природная раздвоенность Гоголя на «смех» и «слезы», быть может, того же поля психологическая черта: объективированные «носы» смешат и кривляются, возобладав над автором, уйдя из-под его руководства, на фоне глубокой авторской ночи, которая сгущается по мере того, как душа писателя отдаст вовне жизненные соки и постепенно принимает образ живой могилы, обеспечивающей художественное «воскресение мертвых». Плодотворность литературной работы так органично совмещалась у Гоголя с истощением сил и самого дара писать, что это последнее воспринимается следствием, необходимым условием и чуть ли не источником его творческого успеха. Гоголь в данном отношении походит на женщину, которая умирает, произведя на свет ребенка, — с той существенной разницей, что в этом случае новорожденное дитя не радуется умирающего, но внушает ему какое-то суеверное отвращение. Во всей фигуре и участи Гоголя присутствует обреченность — родить то, что лично ему противно и даже опасно, страдая душой при виде множасьихся «носов» и «портретов», ни один из которых не может его удовлетворить и которые возбуждают в авторе растущую неприязнь, заставляя глубже почувствовать свое одиночество посреди выдуманного им, враждебного мира. В Гоголе повсеместно слышится какое-то роковое не то, какая-то непо-

правимая и гибельная ошибка, коренящаяся, однако, в самой природе, в ядре его гения. Художник в Гоголе — это врожденный порок, от которого он вздумал избавиться, когда перестал быть художником. Ослепнувши, Гоголь твердит себе и другим: «Не гляди!», хотя всем остатком души и жизни зовет: «Подымите мне веки: не вижу!»...

Искусство не может, доколе оно еще живо, не нарушать запрета. Но искусство же лучше, чем кто-либо, помнит: нельзя. Оно продолжает работу, начатую не им, не искусством в собственном смысле слова, и несет ответ за последствия своего воображения, перенявшего ухватки и правила магической игры. В качестве остаточной магии искусство существует где-то на грани священнодействия и святотатства, впадая преднамеренно в грех открывания глаз на то, что не положено, не подлежит досмотру. «"Не гляди!" шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул...»

Повсюду, всенепременно художник не утерпит и глянет, и тем откроет глаза сонму чудовищ, выдаст себя и умрет, сольется, отождествится с Вием и посмотрит еще раз оттуда — на здешний свой, человеческий грех и трепет — трубчатыми глазами. Художник только и знает, что пускаться на провокации: «вот, вот встанет! вот поднимется, вот выглянет из гроба!» И знает же заранее — тогда несдобровать. Но как без этой подначки воскреснуть мертвой царевне, где достанет глаз у нее взглянуть на своего жениха?!. Затая дыхание, дрожа от страха, стыда и нечистого любопытства, Гоголь нашептывал Бруту соблазнительные слова:

*«"Ну, если подыметя?..»*

*Она приподняла голову...»*

Этот самый страшный, самый яркий момент замечателен еще в том отношении, что мертвый у Гоголя действует наподобие автомата и все жесты и движения у него воспроизводятся расчлененно, негибко, как на шарнирах, как если бы панночка оживала и двигалась по церкви в каком-нибудь сомнамбулическом сне или трансе, подверженная чужому внушению. При виде ее вспоминается старое поверие, что упыри — это трупы людей, в которых после смерти вселяются бесы и приводят их в действие, словно заводную машину. От панночки, шастающей по церкви, остается ощущение, что ею управляет какой-то опытный кукловод за сценой. Она движется прерывистым, дергающимся рисунком: «Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои» и т. д. Перед нами, в полном значении обоих слов, оживающий

мертвец, сохраняющий за собою особенности противоположных, исключаящих друг друга состояний. От панночки в но́чи отчитывания нам становится по-настоящему страшно. В каждый данный момент не знаешь, что она выкинет сейчас, куда ее поведет невидимая сила. Она находится в поле какой-то заминированной, радиоактивной безжизненности. Ближе всего подойдет ей сравнение с заводным механизмом, принцип устройства которого неясен и полон внезапностей. Она может лежать годами в летаргическом напряжении и вдруг вскочить из гроба и впиться вам в горло. Но не таковы ли, в принципе, все персонажи Гоголя? В них прослеживаются черты блуждающего по ночам мертвеца. К ним ко всем в какой-то степени применима реплика, сказанная по адресу колдовского портрета:

*«Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которую бы озарило лицо мертвеца, вставшего из могилы».*

Вещам и лицам у Гоголя свойственна странная, до сверхъестественности, живость (состоящая по-преимуществу в разительной, картинной изобразительности)—при одновременной безжизненности, мертвизне всего этого выпукло видимого, активно функционирующего состава и аппарата. Сближение гоголевских героев с заводными куклами, с восковыми фигурами, с ходячими мертвецами, произведенное в начале XX века его высокими интерпретаторами (Розанов, Белый, Брюсов, Мейерхольд и т. д.) и ставшее на сегодняшний день как бы конечным выводом гоголевского стиля, облегчает постановку того же вопроса в несколько ином повороте—магического реализма, от которого тянутся нити к темному колдовству и шаманству каких-то забытых, первобытных традиций и вместе с тем к машинной технике и механике новейшей формации. Иначе говоря, через Гоголя раскрывается связь «реализма» с «механизмом», причем в основании того и другого оказывается—чародейство. Проблема оживления человеческого портрета (мертвеца ли, вещи ли—в данном случае не имеет значения) осуществляется Гоголем так, что художественный итог может спокойно сойти и за живое лицо, чуть ли не списанное с натуры, и за труп, приведенный в движение какой-то фантастической силой, и за машинный механизм, обтянутый плотью и кожей. Это ясно видно на примере того же портрета старого ростовщика, чье оживание представлено вполне натурально, с предельной предметной точностью всего происходящего, а также—с

присущей Гоголю дробностью, расчлененностью каждого шага и жеста, которую, в частности, мы наблюдали у вставшей из гроба панночки. В книге Андрея Белого «Мастерство Гоголя» это же явление «автоматизации жеста» досконально изучено на примере его «живых» персонажей, в результате чего последние закономерно приравниваются к мертвецам и автоматам. Но для материала, с которым имеем мы дело, не существует принципиальной границы между живыми и мертвыми, вещью и человеком. Разве что живое лицо в силу анатомирования его естественных телодвижений заметно деревенеет, мертвеет, механизмуется, тогда как мертвое — оживает. (В результате мертвецы у Гоголя порою выглядят достовернее и живее живых, хотя, по сути, принцип художественной гальванизации образа в обоих случаях применяется тот же.)

*«И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам... Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы».*

В итоге размышлений над подобного рода видениями до некоторой степени растворяется и теряет почву застарелый спор на тему, реалист ли Гоголь, запечатлевший как есть, как живые, характеры и лица, или, напротив, художник, лишь по странному недоразумению попавший в родоначальники натуральной школы, в действительности тяготевший к фантастике и условности, к автоматам и марионеткам сильнее, нежели к изображению натурального человека. Вероятно, Гоголь находился (еще или уже) на том уровне реализма, для которого задача оживления мертвеца и сотворения человекоподобного робота была нова и актуальна, совпадая в то же время с задачей правдивого живописания человеческого лица и характера. Магия в нем брталась с механикой и протягивала руки к искусству доподлинного воссоздания жизни с большой изобразительной силой. И человеческий тип, и машина, и кукла, и труп, и демон как-то объединялись на этом уровне — в образе и проблеме воскрешения мертвых.

Дополнительный свет на эту сторону Гоголя проливает попутная ему литература, точнее — несколько сочинений его предшественников и современников, в своем большинстве ему не известных, но действовавших где-то на близких, либо пересекающихся координатах. Так, у авторов типа Гофмана или Эдгара По необыкновенный акцент и развитие приобретают сюжеты, родственные гоголевским, посвященные

воскрешению трупа, оживанию портрета, изготовлению механических кукол и автоматов, имеющих точное подобие человека, и т. д.

*«Многие из посетителей, переступив порог мастерской, снимали шляпы и оказывали прочие подобающие знаки почтения богато одетой, прекрасной молодой леди, которая почему-то стояла в углу мастерской, посреди разбросанных у ее ног дубовых щепок и стружек. Затем их охватывал страх, ибо быть одновременно живым и неживым могло только сверхъестественное существо» (Наташиэль Готори «Деревянная статуя Драуна»).*

Это — в духе Гюголя: верный подлинник соседствует с мертвой поделкой; живое и неживое смыкаются в сверхъестественном акте; «реализм» следует об руку с «механизмом», и оба упираются — в магию...<sup>1</sup>

Портреты, оживающие за счет умирания оригинала, знакомы нам хотя бы по «Овальному Портрету» Эдгара По. Ему же принадлежала богатая галерея рассказов на тему гальванизации и магнетизации мертвеца, вселения в мертвое тело чужой, сторонней души («Лигейя», «Морелла», «Повесть Скалистых гор», «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром»). Человекообразные автоматы, отгаликующие своею безжизненностью и вместе с тем привлекающие красотой и свойствами чудесно оживающей вещи, составляют излюбленный и, быть может, ведущий мотив новеллистики Гофмана. Заводная кукла тогда почиталась

---

<sup>1</sup> Только прошу не путать эти встречи одиноких художников — с общим местом в текущей макулатуре. В. В. Виноградов — авторитетный ученый, языковед и академик — вывел гоголевский «Нос» целиком из огромной своей эрудиции в области литературных влияний, каламбуров, фельетонов и журнальных острот начала века — на расхожую тему носов. Помнится, по этому поводу очень страдал душою Андрей Белый... (Самое страшное, что когда-нибудь и тебя выведут на чистую воду академическим методом, в стройном литературном ряду, — не в виде души или жизни, которую, сколько мог, ты вынул однажды и пустил в дело, но путями расхожих журнальных влияний, параллелей, смещений, как некий эпизод в «носологии», откуда, прочтя разделы «Смесь», Гоголь извлек «Нос»...)

...Вот мы и встретились с Вами на узкой дорожке, уважаемый Виктор Владимирович, покойный Учитель, профессор Московского Университета. За Вашу, простите, сланную в КГБ, «Стилистическую экспертизу», где Вы, вопреки обычаю, включили стиль в криминал, усмотрев в нем «скрытую форму политической диверсии», — даже следователь тогда подивился Вашей академической прыти, опережавшей события и запросы начальства — как я мучился, как я думал тогда о Вас и о Вашем «Носе» — в камере на Лубянке! — я осмеливаясь Вам, мертвецу, сегодня предъявить этот счет...

вершинным достижением техники, и это имело смысл: техника — в идеале, в потенции — стремилась заменить человека воскресшей вещью. Наконец, появляются повести о сотворении человеческой особи искусственным, научным путем («Франкенштейн, или Современный Прометей» Мери Шелли)...

Списать все эти сюжеты на «романтизм» и «фантастику» значило бы отмахнуться безответственными словами от сути вопроса. Последняя много серьезнее и опаснее этих слов и, представляется, ближе лежит не к романтической, в собственном смысле, традиции, но к зарождавшимся тогда идеалам и проблематике реализма, так же как к возрастающей механизации человеческого уклада. Романтики и фантасты в подобного рода сюжетах предвосхитили более поздний опыт, со страхом и любопытством вглядываясь в даль настоящего. Если соотнести эти образы с наэлектризованной атмосферной эпохи, в них прослеживаются процессы и стимулы магического характера, в начале прошлого века лишь овладевавшие душами. Те процессы нашли выражение параллельно — в машинизме нового, промышленного мира и в реализме господствующей художественной школы. Подземные духи одновременно вселялись в паровые котлы и в портреты. И те и другие несли печать проклятия — мертвеца, искусственного спутника и двойника человека, в роли призрака или робота вышедшего в герои эпохи. Недаром у Гоголя в «Портрете» роковое изображение показывается к концу в обстановке аукциона, которая своим безжизненным, механическим видом отвечает центральному, портретному образу и служит тому достойным фоном и помещением. Аукцион как образ современного мироустройства, как всемирная погребальная фабрика, явно переклиивается с господствующим в повести и непосредственно выраженным в портрете ростовщика эффектом — точного и мертвого сходства, ложного подобия, заручившись которыми, оживающий труп предьявляет права на искусство и на самую участь, на будущее человеческого рода. Сценой аукциона Гоголь как бы связал концы с концами: машину и реализм, чародейство и производство, современное положение вещей на свете и оживание мертвеца...

Продолжая свои руки и ноги в безотказных маховиках и колесах, человек попутно в искусстве облакал тот железный скелет натуральным мясом и без конца оживлял в реалистических сценах свой мертвый образ. Задача объективного и досконального воссоздания так называемой правды характеров, поиски всё большего и большего сходства с природой

знаменовали идею и деятельность Прометея на предмет выведения новой людской породы искусственным путем, что, с другой стороны, получило развитие в овладевшей человечеством технике. То был, если угодно, отделившийся от человечества «нос», возобладавший над своим господином и вставший в гордую позу. То была панночка-кукла, вылезшая из гроба под заклинательными пассажами электричества и спиритизма. Исполнен символика факт, что натуральная школа в России пошла вслед за Гоголем, избрав его в вожатые и лишь стараясь держаться «поближе к жизни». Машина, обросшая правдоподобной человеческой плотью, оживший мертвец Гоголя составляли скрытую схему, основу основ реализма и оказывали огромное завораживающее воздействие на общество и художников слова. Был ли Гоголь вождем, родоначальником школы, и повинен ли он в этом развитии реализма, если его ирреальные образы приняли за действительность? Сам он не так искал сходства с живой натурой, как стремился «неестественною силою оживить предмет» (за что и поплатился). Его образы дышат соблазном правдивого воспроизведения жизни и в то же время настораживают, предостерегают. Был или не был Гоголь реалистом, он, как никто в России, раскрыл генезис этого надменного, современного ему, направления, обнажил пружины и крепежи, на которых то зиждется, выдавая мнимость за истину, куклу за живую натуру. Не думайте, что реализм это подлинные лица, портреты, характеры, человек в естественных обстоятельствах,—возглашает нам Гоголь своими образами.—Реализм—это черная масса и ворожба новейшей марки, это автоматы и трупы, имеющие вид человека, управляемые из ада по радио...

В самом деле, нам никогда не дознаться до сути, что представляют собою в действительности гоголевские типы—Чичиков, Хлестаков, Башмачкин, панночка, майор Ковалев или его Нос. Открытая у Гоголя Андреем Белым фигура фикции, лежащая в основании образа, позволяет растягивать цепь значений от бесконечности до нуля и обратно, подставляя под человека голую марионетку, наполненную каким угодно «нутром», «характером» или «типом» и, тем не менее, достаточно пустую внутри, оставляющую как бы сознательно свободным выход и вход для следующих «наполнений», бессильных всё же покрыть и исчерпать до конца это чистое место. Почти всё, что происходит в произведениях Гоголя, это фикция или мнимость, о чем издевательски твердят названия: «Ревизор», «Мертвые Души», «Женитьба», «Нос», «Коляска», «Шинель»... Какая может

быть «Шинель», когда шинель конфискована, на ком же-  
нить ба, куда коляска, от какой, с позволения выразиться,  
физиономии нос?!

Гоголь обладает способностью наводить тень на пле-  
тень — там, где всё, казалось бы, предельно просто и ясно.  
Все истории у него разворачиваются на пустом, на закол-  
дованном месте и, строго говоря, не стоят выеденного яйца.  
Однако та пустота продувается сонмом значений (в оконча-  
нии столь же пустых), и пустотелый мертвец восстает и об-  
наруживает, случается, душу (если не фигу вместо души),  
которая в свой черед продувается насквозь и нуждается  
в заполнении. Мертвые души — вот последняя, оконча-  
тельная (сквозная) реальность типологии и персоналии  
Гоголя, по поводу которой в итоге ничего не остается друго-  
го, как развести руками.

Отсюда, между прочим, проистекает странность самых  
элементарных составов и проявлений, приобретающих у Го-  
голя непреходящий оттенок какого-то сплошного, повального  
надувательства. Всё всегда опять не то, что оно есть на  
самом деле. У Гоголя всё в любой момент может сделаться  
всем (будучи в основе ничем), и несчастный Башмачкин  
способен вернуться в облике грозного мстителя, а проститут-  
ка заместить идеал небесной красоты и невинности. Всё  
зависит от того, каким содержимым загружается в данное  
время полное тело гоголевской марионетки. В окончатель-  
ной же инстанции всё равно окажется нуль — чистое место,  
пустота мертвеца-автомата, жаждущая определиться в том,  
что в принципе, по существу, не поддается определению.  
Гоголевская «действительность» всякую минуту норовит со-  
скользнуть в антимир, расположенный тут же, под боком,  
и имсующий видимость самой обыкновенной материи. Его  
образным выражением может служить, например, ровная  
поверхность, обнаруженная в одно прекрасное утро майором  
Ковалевым на месте собственного носа — «совершенно глад-  
кое место!»

*«Он робко подошел к зеркалу и взглянул. "Чорт знает  
что́, какая дрянь!" произнес он, плюнувши: "хотя бы уже  
что-нибудь было вместо носа, а то ничего!.."»*

Это «ничего» взамен ковалевского носа непознаваемо,  
неопределимо, хотя вместе с тем физически осязаемо и под-  
вергается в тексте напряженным и напрасным усилиям как-  
то справиться с создавшимся безвыходным положением, ли-  
квидировать чистую фикцию (доктор, например, советует  
Ковалеву мыть это гладкое место холодной водой, дает ему



щелчка и рассматривает то справа, то слева, произнося многозначительно «гм!»...). Не так ли и мы с вами, читатель, тщимся проникнуть в истинный смысл гоголевских созданий и предлагаем то одну, то другую гипотезу, которые вполне вероятны и правомочны, однако же всегда недостаточны, недостоверны и в принципе заведомо не достигают цели? Гоголевские творения подобны странному овощу, который вырастает всегда на заколдованном месте, что бы там ни посеяли:

*«Засеют, как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз — не арбуз, тыква — не тыква, огурец — не огурец... чорт знает, что такое!»*

Вероятно, поэтому Гоголь не нуждался в слишком сложных и запутанных коллизиях, в психологически развитых типах, не нуждался даже в какой-то особой загадочности или таинственности для сюжетов своих сочинений. Он просто не успевал до всей этой сложности дойти. Непознаваемое для него начиналось с порога, с азбуки, на ровном и утоптанном месте. Вопросительные знаки возникали там, где всякий иной автор поставил бы твердую точку. Абсурд коренился в быту любого будочника или цирюльника, взятого как общее место человеческого исчезновения, как упорное извлечение корня из минус единицы. Зачем много мудрить с майором Ковалевым и приписывать ему какой-то таинственный смысл, если сбжавший нос его есть уже некая нулевая безмерность, если Гоголя занимали вообще — лицо без носа, женитьба без жениха, самодержец без царя в голове, ревизор без прав и намерений производить ревизию? Гоголя интересовало присутствие некоего отсутствия в мире, отчего всё неуклонно проваливается в ничто, в никуда, пусть и содержит одновременно нечто весьма примечательное.

Казалось бы, как прост и доступен пониманию каждого — Хома Брут. За него сошел бы первый встречный козак на дороге, настолько подобный типаж распространен по Украине. Между тем, в его примитивную и знакомую всем оболочку вселяется нечто такое, что он становится неузнаваем и непредсказуем, и трогается с места в карьер, как черкесский иноходец, и бежит по степи, напрасно стараясь удержать руками свои безостановочно работающие ноги. Не человек он уже в эти километры-часы, но машина, заряженная неизвестным горючим, и за себя не отвечает — ни когда несется вскачь с чудной всадницей на плечах, ни когда, опамятовавшись, забивает ее поленом. Допустим — гипноз, волшебство. Но и вне такового тот же Хома Брут, выдув без

малого полведра, принимается выкидывать ногами трепака, как заправский автомат...

*«Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника, и дворня, обступившая его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец плюнула и пошла прочь, сказавши: „Вот это как долго танцует человек!“»*

И так же беспрепятственно входят в его нутро — жальность, робость, храбрость, тоска или страх, заставляя совершать непредвиденные поступки.

Чем ближе вы всматриваетесь в так называемый характер Хомы, тем больше теряетесь в ответе на простой и законный вопрос: кто это такой? Пожалуй, наиболее полное и удовлетворительное решение принадлежит самому Бруту:

*«И сам я — чорт знает что!».*

Слово сказано (не воротишь). Сходным образом в конечном счете (в потенции) определяется Гоголем всё, о чем или о ком он пытается рассказать. Чорт — как последняя, не поддающаяся исчислению мнимость — стоит почти за всеми его персонажами или тем, что с ними случается, когда они впадают в обман как в поддонную природу человеческого существования, сообщающую всякой реалии какое-то нулевое значение. О чем бы ни зашла речь, всё кончается тем, что самые элементарные вещи в действительности — «чорт знает, что такое». Человек у Гоголя где-то изачально задолжал дьяволу, и тот с него требует отчета и ходит по всему свету, ища красную свитку. Чорт в этом смысле не просто сильный противник, ведущий распрю с людьми, но некая фикция, имманентно присущая миру. Человек подпадает дьявольским чарам, не подозревая о том, имея дело не с чем-то персонально враждебным или противостоящим ему, но с непосредственным окружением и повседневным своим состоянием. Всё не так и не то — тут-то и скрывается чорт.

Гоголь словно помнит, что вся мировая история, включая появление человечества на земле, началась с обмана, с подвоха, и с тех пор всё действительное в мире носит печать недействительного. Поэтому чорт (или то же — колдун) составляет так часто завязку гоголевских историй, будь то первый его рассказ «Басаврюк», или «Тарас Бульба» (где женская прелесть исполнила роль дьявольского соблазна), или «Старосветские Помещики» (чья мирная, неподвижная жизнь приходит в развитие и распадается вместе с появлением смерти-ведьмы). Из опыта Гоголя видно, что завязка

любого сюжета вообще не обходится без участия чорта и в том заключается некая метафизика естественной человеческой жизни...

Однако, повторяю, чорту не обязательно появляться в произведениях Гоголя в конкретно-чувственном образе, в виде специально приставленного к его героям лица. Его присутствие сказывается на атмосфере действия. Оттого-то слово «чорт», не будучи точной и полной мотивировкой случившегося, нет-нет, а включается в строй повествования о странностях и превратностях жизни, в напоминание о главном виновнике воцарившейся в мире бессмыслицы. Более того, чертыхаясь (а у Гоголя и герои, и автор чертыхаются на каждом шагу), персонажи невольно накликают беду на свою голову, как бы развязывая силы, разлитые повсюду и с произнесением «черного слова» приходящие в движение, хотя этот факт не выделен сюжетно и большей частью едва обозначен в качестве подспудной, вторичной, собственно словесной затравки приключившегося несчастья, притаившейся где-то во тьме произведения. В данном случае слово «чорт» становится тем «пустяком», на котором действие если и не строится полностью, то всё же как-то организуется и объясняется, получает более-менее убедительное развитие, из среды обыденной жизни смещаясь в область фантастики. Так, в «Вие» встреча бурсаков со старухой-ведьмой на степном хуторе, служащая началом и завязкой всех дальнейших происшествий, косвенным образом подготовлена неосторожным поминанием чорта, пускай тот эпизод остается как будто никем не замеченным и не привлекает внимания автора, пропускающего его как бы мимо ушей, на правах незначительного, вспомогательного звена в цепи событий, полный смысл которых находится за пределами повести. «Вот чорт принес каких нежных панычей!» — говорит старуха, словно слышавшая мысли Хомя («чорта с два получишь ты что-нибудь») и его же недавние речи, произнесенные в вечерней степи перед тем, как бурсакам заплутаться:

*«„Что за чорт!“ сказал философ Хома Брут: „сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор“».*

*«„Ей-Богу!“ сказал опять, остановившись, философ: „ни чортова кулака не видно“».*

Можно только догадываться, что вызванный по имени чорт на самом деле, буквально, принес философа Брута в лапы ведьмы...

Подобную же оплошность допускает художник Чартков, возвращаясь с портретом домой и бормоча себе под нос:

«Чорт побери! гадко на свете!», «досадно, чорт побери!» Чорт его и побрал. Впрочем, омраченные мысли и безответственные слова мог подсказать Чарткову новообретенный пострег, явившийся первопричиной всех его дальнейших несчастий. Но так или иначе словесный аккомпанемент с крамольным упоминанием чорта сопровождает и подкрепляет создавшуюся ситуацию, в которую неожиданно-негаданно попал герой Гоголя. Случившееся с ним безусловно принадлежит делу нечистого, прямым агентом которого выступает колдун-ростовщик (как панночка-ведьма в «Вие»).

К такого рода отсылкам, списывающим вину на нечистого, Гоголь прибегает даже в вещах, далеких от мира и языка фантастики, построенных всецело, казалось бы, на материале действительной жизни. Правда, чорт поминается там в виде скорее фигурального выражения происшедшего беспорядка, в более отвлеченной или иносказательной форме, как это слышно в «Ревизоре» или в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

*«Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, чорт попутал».*

В этой итоговой реплике «Ревизора» «чорт» предстает в значении необъяснимой мировой чепухи или мнимости, лежащей подо всем, что ни творится на свете в гоголевском исполнении. Сама физиономия жизни носит признаки «чорта». Независимо от воли героев, от их порочных или благородных наклонностей, бездна повсюду готова разверзнуться под их ногами. Вот почему Гоголь, которому долго приписывали роль и свойства сатирика, в сущности никого персонально не обвиняет, как не является обвинителем общественного порядка и строя. Его взгляд на вещи более глубокий, если угодно, более безнадежен, снимая с человека ответственность за господствующий в мире обман, принадлежащий к уставу бытия, к иррациональным и универсальным причинам. Смеясь и плача над угодившим в очередную беду человеком, Гоголь констатировал некую мировую дыру, прикрытую камуфляжем характера, быта, семьи, общественных и индивидуальных привычек. Смещение акцента с частного лица на среду или класс (разновидность), к которым данное лицо принадлежит, создавало видимость критики социальных по преимуществу признаков и условий существования, тогда как эти условия, всеобщий порядок вещей, уходили у Гоголя в ту же дыру и имели образ подложной, подстроенной чортом «действительности». «Среда» принимала черты чудовищной фантазмагии, ирреальной и вместе матери-

ально осязаемой чары, в которой, как в топи, тонул неменяемый человек.

Обманнный характер реальности, смешивающей свет с тенью, небо с адом, сон с явью, нигде, пожалуй, так открыто и декларативно не выражен Гоголем, как в «Невском проспекте». Неслучайно «Невский проспект» задает тон остальным его петербургским повестям — прежде всего самой атмосферой города, Петербурга, как всем известной, достоверной, выхваченной из-под носа у зрителя среды, которая при всем том оказывается не тем, что она есть, но непрерывно сбивающим с толку, сводящим с ума всех и каждого миражем, туманом, тонкой дымкой или уловкой дьявола, расставившего человечеству сети в виде самых обычных и повсеместно распространенных вещей. Чорт в качестве прямой мотивировки города и историй, рассказанных на его, города, фоне, назван персонально лишь в заключение повести («...когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде»). «Чорт» здесь расплывчат, метафоричен и, кажется, не обязателен для фабулы рассказа. Тем шире реализуется его присутствие в мифификации, в мерцающем, двусмысленном, иронически подмигивающем освещении столицы, где человек отдается во власть разгулявшихся на свободе, по проспекту, демонических вихрей, обращенный в безвольную и случайную марионетку.

Тоголь перенес чорта из леса в город, как в родственную тому обстановку, сделав город надежным, современным убежищем и вещественным воплощением чорта, царством всяческой мнимости, лжи, колдовства, наваждения и сумасшествия. В конце концов, на лоне природы, в лесу или в диком поле, чорт не так уж опасен и более локален, уловим и объясним. Не то в большом городе, где его не поймаете за хвост и с ним не потягаешься, где чорт почти и не виден, оттого что полностью растворился и размножился в этой светотени, в этих толпах празднующихся и мечущихся в болезнях и соблазнах созданий, в уличном уюте публичной и вместе с тем обособленной, разделенной на ячейки и клетки, преисподней судьбы и среды. Вечернее освещение, мгновенно переключающее вас во мрак и обратно, в накал фонарей, на глаза зевак, к которым вы непроизвольно принадлежите, очарованные людским водопадом, лишь усиливает фиктивность картины. Казовость — вот главное в облике столичного города, что позволило Гоголю сблизить его с порождением и лицемерием чорта. Та же сторона — казовость — повлекла автора к еще одному сближению — города и нежного

пола, Невского проспекта и женщины. Панель, как сцена, сделалась местом встречи — города, чорта, художника и прекрасной незнакомки.

Дело не только в том, что в городе женщины много доступнее, соблазнительнее и опаснее и составляют как будто скрытое электричество бегущей по вечернему проспекту толпы. В самой природе города — в его разрывах контраста внешней, показной стороны с внутренней беспочвенностью, с бездушной механичностью мимики, в мистической тоске, которую город внушает своим поддельным богатством, блеском, великолепием, в том, что само лицо города, столь живое и яркое в первоначальном восприятии, в конечном счете всегда оказывается ненастоящим, вводя нас в потерю лица, чести, шинели, носа, рассудка и самой материи, — есть что-то от женской прелести. Поэтому Невский проспект как место демонстрации респектабельного фасада, как олицетворенная внешность и видимость столицы отождествляется у Гоголя с женщиной и проникается ее мерцающей тайной, колоритом и ароматом. В городе все мы немного ночные птицы, летучие мыши, и живем, как во сне, опьяненные дурманом и мельканием киноэкрана, подставленного вместо действительности. В городе все мы повержены в созерцательную прострацию, в безутешное томление духа по красоте, однако созерцаем лишь бездну под блестящим покровом, лишь женщину — изваяние человеческой эфемерности...

Но не слушайте Гоголя, когда он нарочито бубнит, будто весь этот бред, этот камень, ставший прозрачной завесой, вся эта предательская, злорадная атмосфера вечернего Невского ему чужды и противны. В уличной мути он ловит рыбу и, будучи фантазером и фокусником по натуре, сам зажигает над городом волшебные фонари — заодно с чортом. Гоголь находит множество уловок ради того, чтобы раздражить и насытить свою исходную страсть к недозволенному занятию магией. Пускай обман и подвох, пусть чорт знает что — лишь бы ему, по примеру ветхих алхимиков, шарлатанов и чародеев, ставить свои искусительные опыты над природой. Оттого-то у Гоголя, по пятам колдунов, в качестве штатной челяди его писательского дара, следуют профессиональные фантазеры всевозможных статей и оттенков — от Пискарева до Жлестакова, от Поприщина до Чичикова. Даже самые, казалось бы, заскорузлые натуры, не слонные к фантазмагориям, вроде Собакевича, Плюшкина, Башмачкина, Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, предаются разнузданной игре воображения и в сплюсненном мозгу проектируют химеры и небылицы о мире, о себе и о ближних

своих. Гоголевские герои поддаются волнениям фантазии целыми косяками, городами, губерниями. Сюда же потоком вливаются скоморохи и сказочники, игроки и шулера, сплетники, обманщики и пострадавшие от обманов. Всё это в широком значении — фантазеры, то есть неудачные и неумные кандидаты в чудотворцы, идущие развернутым фронтом — во главе с самим Гоголем...

Фантастика! Что за вздорная, что за глупая причуда выдумывать несуществующее и пробавляться слепыми иллюзиями?!. Однако фантастика смутно помнит, что искусство когда-то принадлежало магии, и хочет незаконным, ворованным образом — украдкой и наугад — пережить в воображении то, что человечество имело на деле у собственных истоков. Фантастика — это попытка отъединенной души восполнить утраченный обществом опыт. Фантастика шарит там, где ничего не осталось и нет надежды спасти и возродить потерянный в ходе цивилизации рай. Фантастика — это отчаяние, кидающееся разгрести руками давно потухшие угли, без намерений даже открыть и раздуть забытый огонь. Ах, фантастика, черная зависть, бледная немочь! Тень, упавшая на землю от некогда блаженного света. Света нет уже тысячи лет, но все еще мерещится — тень...

От магических заклятий и пассов фантастика сохраняет одно лишь голословное, сослагательное допущение: «что было бы, если бы...?» Тут намечаются два возможных (словесных же) движения: в чудо и в анекдот — у того же Гоголя.

В отличие от пушкинского, всегда локального и подтянутого анекдота, несущего ясные признаки конкретного места и времени, гоголевский анекдот метафизически растяжим — до признания всего сущего за анекдотический случай. С другой стороны, по степеням невероятия гоголевский анекдот представляет собою немотивированное и недоговоренное чудо, однако, благодаря такой недоговоренности, даже более чудовищное порой, нежели в полном значении сверхъестественное явление. Когда бы мадам Подточина в действительности своим волхованием подточила нос Ковалеву, это звучало бы много понятнее, проще и правдоподобнее, чем самостоятельно, без всякого колдовства, сбежавший с лица майорский нос. Тоже сверхъестественный чорт, подсказавший завязку в «Вие», менее странен и сказочен, чем недоговоренный, проглоченный на полуслове, анекдотический «чорт» в «Ревизоре».

В ряде гоголевских историй только чорт, только чудо еще способны унять и уравновесить расхолодившийся

анекдот — настолько последний, значит, неумен и необъятен. Так, ради восстановления анекдотически похищенной шинели потребовался чудесный мертвец в лице того же Башмачкина. Чтобы покрыть амбиции Чичикова и произведенный им по губернии гром, понадобился совершенно уже фантастический, не сообразный ни с чем Бонапарт.

Сверхъестественное у Гоголя, за редким исключением, ищет объяснений в сверхъестественном же («Страшная Месть», «Портрет», сопровождаемые вместо эпилога — прологом), а не в житейски-простых и всем понятных подтасовках, как это часто встречалось у всемирных фантастов — от Анны Радклифф до Вальтер-Скотта. Более того, в развитие и в разъяснение достоверного происшествия сплошь и рядом подключается сказка, фантастика, которая и составляет главный слой повествования, служит истинной первопричиной события. Под протенью «майской ночью» у Гоголя скрыта «утопленница» (под «Похождениями Чичикова» — «Мертвые Души»), которая одна и способна вывести сюжет на чистую воду, сообщить ему стройность и подлинность художественно-правдоподобной истории.

Белинский немало постарался оторвать «правдивое», «действительное» от фантастики в Гоголе, придав последней характер чужеродных напластований, без которых Гоголь, ему казалось, куда как прекраснее бы писал, проходя беспрепятственно по проверенной графе «реализма». Белинский кастрировал Гоголя, чтобы сделать из него нечто удобочитаемое и пригодное для народа.

*«Что непосредственность творчества нередко изменяет Гоголю, или что Гоголь нередко изменяет непосредственности творчества, это ясно доказывается его повестями (еще в „Вечерах на хуторе“), „Вечером накануне Ивана Купала“ и „Страшной Местью“, из которых ложное понятие о народности в искусстве сделало какие-то уродливые произведения, за исключением нескольких превосходных частных, касающихся до проникнутого юмором изображения действительности. Но особенно это ясно из вполне неудачной повести „Портрет“...»*

«Портрету», центральной повести Гоголя, которая и так уже подвергалась мучительной писательской правке с целью выяснить наконец, в чем корень зла и соблазна, — Белинский предлагает собственную редакцию, разделяя Гоголя с Гоголем, портрет с «Портретом». Главное ему было освободить реализм от фантастики, искусство от чуда:



*«Да помилуйте, такие детские фантазмагии могли пленять и ужасать людей только в невежественные средние века, а для нас они не занимательны и не страшны, просто — смешны и скучны...»<sup>1</sup>*

*Нет, такое исполнение повести не сделало бы особенной чести самому незначительному дарованию. А мысль повести была бы прекрасна, если б поэт понял ее в современном духе: в Чарткове он хотел изобразить даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно и самого себя, жадностью к деньгам и обаянием мелкой известности. И выполнение этой мысли должно было быть просто, без фантастических затей, на почве ежедневной действительности: тогда Гоголь, с своим талантом, создал бы нечто великое» («Отечественные Записки», 1842, № 11).*

С тех пор сто лет потели, чтобы сделать из Гоголя Чехова, из «Портрета» что-то вроде «Ионыча»... Но Гоголь не мог «просто, без фантастических затей», без чорта, изобразить Чарткова. Там, во тьме, в бурлении фантазмагорий, скрывалась его реальность, давшая добрые всходы в том числе и «на почве ежедневной действительности» (но не так, как зудел Белинский) — в форме анекдота, уловившего то же кипение производительных магических сил, завихрения сверхъестественного на поверхности материи. Корка пошлости тем и отрадна Гоголю (а не только страшна и губительна), что сквозь ее толщу пробиваются снизу чудодейственные смерчи и гейзеры, образующие наверху — анекдот, завиток, гоголек, как свидетельства прекрасных превратностей. Метафизические и волшебные корни анекдотов Гоголя прослеживаются даже в «Шпильке» (сон о вездесущей жене Ивана Федоровича), в «Коляске» (Чертокруцкий, которому чорт закрутил голову), не говоря уже о «Ревизоре» и о «Носе». Внешне ординарные, «ежедневные» портреты и натюрморты позднего Гоголя — продолжение чудовищ «Вия» и «Портрета». В сфере затрапезных вещей, воскресших с «Мертвыми Душами», прыгающих в глаза, Гоголь занимается тем же древним телекинезом, что и его Пузатый Пацюк, уписывающий вареники в «Ночи перед Рождеством»:

*«Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот; поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время*

---

<sup>1</sup> Ох, сдастся, помог Белинский, в ущерб творчеству, перейти Гоголю к «общественной пользе» и «реализму» «Переписки с друзьями»... Только все-таки Гоголь сделает это по-своему — на фантастический, на магический лад отставленного «Портрета». Тогда неистовый Виссарион ужаснется, видя собственный портрет в кривом зеркале Гоголя...

*вареник выплеснул из миски, шлепнулся в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацок съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова...»*

Гоголь един и целостен в своих магических устремлениях. Разделение на «фантаста» и «реалиста», на «художника» и «проповедника», на «поэта» и «деятеля» снимается в нем более общей и более глубокой склонностью к колдовству как к первооснове и первопричине искусства. Поэтому и в человеческой личности Гоголя, в его странной психофизической организации так много от «колдуна». Здесь коренятся, сюда восходят гоголевские страхи и фобии, болезни и мании (мания величия и мания преследования, мания сверхъестественной, гипнотической власти над людьми и мания собственной неизбывной вины и греховности). Сюда же можно отнести его способность воображаемое переживать больнее действительного — до обмороков, до потрясения всего организма; его необузданную — до сладострастия — чувственность (при воздержанном образе жизни); его черную меланхолию, то прикрытую смехом, то скрывавшую тайную и глубокую веселость<sup>1</sup>.

Не нужно думать, что «колдовское» в Гоголе непременно заключало в себе что-то злое и темное, мрачное и тяжелое. К нему применима программа, принятая в одной монгольской сказке: «Старшие братья были люди серьезные, колдун же любил пожить и повеселиться...» Но «веселье» у Гоголя уже в детстве нередко принимало странный характер «чары», «наваждения», которые он любил напускать на людей своим лицом и словом, мороча им голову, иногда сумасшествуя, беснуясь ради пушного «чуда». Когда позднее, в «Арабесках», Гоголь писал о предводителе гуннов Аттиле, он безусловно не мог не помнить о себе самом:

*«Это был маленький человечек, почти карло, с огромною головою, с небольшими калмыцкими глазами, но так быстрыми, что ни один из подданных его не мог выносить их без*

---

<sup>1</sup> Он писал матери (26 февраля 1827 г. Нежин):

*«Посмотрите же, как я повеселился! Вы знаете, какой я охотник всего радостного? Вы одни только видели, что под видом иногда для других холодным, угрюмым таилось кипучее желание веселости (разумеется, не буйной) и часто в часы задумчивости, когда другим казался я печальным, когда они видели или хотели видеть во мне признаки сентиментальной мечтательности, я разгадывал науку веселой, счастливой жизни, удивлялся, как люди, жадные счастья, немедленно убегают его, встречаются с ним».*

*невольного трепета. Одним этим взглядом он двигал всеми своими племенами...»*

Облик «колдуна» в Гоголе воссоздается и его личными признаниями на тему своего здоровья и самочувствия, по поводу особого, не такого, как у людей, устройства души и тела. Даже такая, казалось бы, несущественная подробность гоголевской физиологии, на которую он часто ссылался, уверяя, что, в отличие от всех, желудок у него перевернут, находит свою аналогию в обряде тайного посвящения в знахари и шаманы, который, как известно, сопровождался рассечением и выворачиванием всех внутренностей и членов новообращенного колдуна, временным помрачением и необходимой прижизненной смертью. Подобную процедуру шаманского «пересоздания» в облагороженной форме воспроизвел Пушкин в своем «Пророке»...

Бесспорно, Гоголь что-то знал, чего мы не знаем, о себе и о мире — в плане магических таинств. Сознание реальности этой сферы вступает у него в действие там, где прочие авторы, как правило, пробавлялись народной традицией, игрою фантазии или домыслом. У Гоголя какой-то собственный, личный подход и опыт в обращении к суевериям и преданиям старины, о которых тогда много рассуждали, писали, о которых и до Гоголя прекрасно рассказывали те же Пушкин, Жуковский — как о чем-то стороннем, далеком, хотя и занятом, достойном стать сюжетом поэзии. Светлый Жуковский, к примеру сказать, много и увлекательно писал о чертях, о мертвецах, и всё это легко сходило ему с рук; это соответствовало общей его романтической настроенности, мистическому состоянию духа, не затрагивая персонально, не затягивая в объятия, в опасные связи. В конце концов, то было больше данью форме, литературе...

На те же сюжеты Гоголь откликнулся кровно; народную демонологию он реализовал в своей биографии кающегося колдуна и бедного бесноватого; он осознал ее актуальность, касавшуюся и текущей действительности, и лично его, Гоголя. Не слишком погружаясь в фольклорный материал, который он использовал главным образом понаслышке, Гоголь пошел во многом дальше и глубже фольклора в испытании реальности этих древних поверий. Стоит сопоставить гоголевский «Вий» с народными сказками на эту же тему, чтобы убедиться, как близко прикоснулся Гоголь к тому, что даже для фольклора стало уже отдаленным прошлым. Сказка для Гоголя — страшная быль, проходящая через сердце писателя, и поэтому от панночки так легко не избавиться, как

удавалось это сказочнику Ивану в сходной с Гоголем ситуации. Тот в борьбе с мертвой царевной имел добрых помощников, для того чтобы, изгнав чорта, сделать из ведьмы — невесту<sup>1</sup>.

В Гоголе фольклор разорван (и обоснован) данными подсознания, и фантазия подчиняется правде, которую автор носит в собственной душе, не выдумывая, но доискиваясь до предмета своих видений. Усвоение готовой традиции уступает место навязчивому воспоминанию о ней как о живом происшествии. Встреча с фольклором происходит на уровне внутреннего опыта, откуда и черпаются сведения, тождественные сказке, которые в то же время ее достовернее, глубже и подкрепляют ее снизу, изнутри, как подлинник или подстрочник. Поэтому многие картины и сцены, связанные с языческим мифом, восстают на страницах Гоголя наподобие откровения, полученного из первых рук, путем мистическим или психическим, а не услышанного и пересказанного с чужих уст. Гоголь видел всё это (кто бы ему мог поведать?) — видел страну мертвых, где мертвые слепы к живому, но зато им открывается нечто, не доступное живым<sup>2</sup>. Видел Гоголь с точностью до подробностей, как под действием магических чар комната колдуна, охватывая вселенную (космическое объятие), перемещается в опочивальню пани Катарины, и как выглядит и как ведет себя душа спящей дочери, вызванная на пытку к богомерзкому отцу...

---

<sup>1</sup> В сказке «Иван купеческий сын отчитывает царевну» (364 — по собранию А. Н. Афанасьева) рассказывается:

*«Купеческий сын принял за псалтырь; читал, читал; ровно в двенадцать часов видит — крышка с гроба подымается; он поскорей на хоры и стал позади большого образа Петра-апостола. Царевна выскочила да за ним; прибежала на хоры, искала, искала, все углы обошла — не могла найти. Подходит к образу, глянула на лик святого апостола и задрожала; вдруг от иконы глас раздался: «Изыди, окаянный!» В ту же минуту злой дух оставил царевну, пала она перед иконою на колени и начала со слезами молиться. Иван купеческий сын вышел из-за образа, стал с нею рядом, крестится да поклоны кладет».*

У Гоголя, в сцене отчитывания, даже лики святых, совершенно потемневшие, смотрят угрюмо и мрачно, с тем чтобы в конце попадать на землю, уступив место и первенство нечистой силе (соответственно, в «Страшной Мести», от заклятий колдуна святые иконы переменяются на дьявольские лики). У Гоголя языческая нечисть сильнее христианской святости.

<sup>2</sup> *«Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец, и глядел, как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева, и от земли Галичской, и от Карпата, как две капли воды схожих лицом на него».*

Сны и галлюцинации Гоголя поражают наглядностью и четкостью изображения, причем запредельное и сверхъестественное предстают в них ярче, насыщеннее и действительнее здешнего мира. Потустороннее много реальнее видимой действительности: там-то и скрывается истинная реальность, и это Гоголь воспроизвел как непосредственное переживание и созерцание сверхъестественных зрелищ. Не тьма, не сумерки, не туман сопутствуют чуду и страху, но самый яркий, более яркий, нежели по обыкновению, свет. Казалось бы, по нашим, по человеческим измерениям, чудесное и страшное больше держатся мрака. Ничуть не бывало. Вторжение сверхъестественного у Гоголя ознаменовано светом и часто — светом, имеющим как бы естественное происхождение, ибо фантастический свет не так ужасает, как это полное единение мистики и реальности.

*«Свечи лили целый потоп света. Страшна освещенная церковь ночью с мертвым телом и без души людей» («Вий»).*

*«Он оборотился, но никого совершенно не было, посмотрел во все стороны, заглянул в кусты — нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на мунуту задумался; лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнес: "Это Пульхерия Ивановна зовет меня!" Вам, без сомнения, когда-нибудь случилось слышать голос, называющий вас по имени, который простомудры объясняют так: что душа стосковалась за человеком и призывает его; после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал, ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня» («Старосветские Помещики»).*

В залитой ярким месяцем «Майской Ночи» (или «Утопленнице») Гоголя самая яркая, самая освещенная площадь отводится утопленнице, сновидению, в котором видимые черты и приметы окружающей природы становятся вдвойне реальнее — до проявления утопленной в них, потусторонней и вросившей действительности...

Близкий контакт с иррациональными стихиями и началами жизни, столь очевидный в творчестве Гоголя, погашается и исчезает в его деятельности моралиста

и религиозного проповедника. Как если бы его мистицизм, связанный с лицемерием языческих мифов и демонов в собственной душе, возбуждавший в авторе «пронзительное», «бесовски-сладкое» чувство, был достигнут и взят под контроль христианским вероучением, наложившим на мирозерцание Гоголя узду рационализма. Право же, Гоголь-художник выказывает себя куда более мистиком, нежели его христианское морализаторство. Последнее, напротив, обнаруживает склонность к рассудочному упразднению мистики и преимущественно выступает в позитивистской и просветительской роли по отношению к более ранней, первобытной и органичной для Гоголя — языческой и изобразительной магии. Кажется, в своих поэтических созданиях Гоголь даже более религиозен, чем в своем обескровленном и расчисленном христианстве. Строгим расчетом «души» и «пользы», кажется, он пытался заковать в себе какие-то собственно-религиозные, хотя и темные, силы, получившие развитие в его художественном слове. Рационализм в его христианстве являлся как бы реакцией на языческий мистицизм его писательского взгляда. Извечное на Руси столкновение языческих пережитков с христианским самосознанием приняло в Гоголе форму напряженной душевной борьбы между его писательским гением, отошедшим в темное прошлое, и его поздним доктринерством христианина-рационалиста...

Но даже в этой узколобой и искаженной схеме, принятой им за истину не от хорошей жизни, но, как мы видели раньше, от исчезновения в нем дара и неутоления жажды писать, Гоголь показал себя ярким приверженцем магии, от которой он отрекся, с тем чтобы попытаться использовать ее в деле — в своей рационализаторской практике. Трудно ответить, положила ли руку на сердце, где Гоголь более мнит себя колдуном, волшебником и чудотворцем — в писательстве, или в занятиях моралиста и проповедника. Мораль и проповедь позднего Гоголя это та же, потерявшая зубы, магическая сила искусства, отделенная от искусства, не избывшая, однако, надежды заморозить действительность словом. Мораль у Гоголя сменила искусство, но сохранила былую хватку — преследовать и быть преследуемой, неся вину за все последствия. Вместо того, чтобы исцелять человечество магией, Гоголь принялся нас вразумлять, взывая к «душе», к общественной «пользе». Магия, жившая в изобразительности, перешла на режим уговаривания...

Вечная забота о «пользе дела» не дает покоя русским писателям не оттого ли, что те причастны к самым глу-

бинным запросам искусства? «Слово» для нас все еще, мнится, не перестало быть в идеале «делом», и от искусства мы все еще ждем какого-то «чуда», «переворота» и за отсутствием такого твердим о «пользе», о «воспитании»... Вера Гоголя в силу слова доходила до таких степеней, что он напоминал современникам (в письме, которому придавал характер руководящей статьи по кардинальным вопросам творчества,— В. А. Жуковскому, 10 января н. ст. 1848 г. Неаполь):

*«Под звуки Орфеевой лиры строились города».*

Это надо понимать не так, что под чудные звуки Орфея рабочие таскали кирпич (как ныне обычно понимаются служебные функции искусства), но так, что сама вибрация лиры переносила камни по воздуху (наподобие вареников у гоголевского колдуна — Пацюка). Вернуться к тем временам и секретам нам не дано, но гжучей тоской о потерянном рае звучит в искусстве воля к «действию», к «морали», к общественной «роли» и «пользе». Мы снова и снова пытаемся заговорить зубы действительности вместо того, чтобы магическим словом заклясть ее и построить заново.

Искусство потому, вероятно, так часто порывает с искусством (в пользу «дела», «морали», «религии», «народа», «политики» и т. д.), что оно вспоминает с завистью о былом великолепии, о своем единении с действием в те счастливые времена. Художнику хочется снова быть колдуном, и он калечит себя и уродует, берется «служить» государству и обществу, порываясь обратно — к магии. Поздний гоголевский морализм и был подобным возвращением в прошлое, стремлением восстановить в художнике древнего чародея и знахаря.

...Вступив на зыбкий путь фантастики, в заключение зададимся вопросом: «что было бы... если бы...?» Если бы силы художника, деятеля, святого — соединились в Гоголе в утраченном магическом синтезе, то как бы, в каком вдохновенном образе, он тогда восстал перед нами? Чтобы было смешно и небольно и языческие демоны обернулись святыми угодниками, вместо проповеди усвоившими хитроумную науку искусства, и больше не требовалось закладывать душу художника — чорту. Чтобы не было «морализма», не было бы «актуальных задач по перевоспитанию трудящихся», «долга писателя перед обществом» и «гражданского служения». Чтобы искусство было — искусством, существуя на уровне чуда и беззлобно, с легкой душой неся народам освобождение...

*...Мы пошли на инное царство  
Переигрывать царя Собаку,  
Еще сына его Перегуду,  
Еще зятя его да Пересвета,  
Еще дочь его да Перекрасу,  
Ты пойдем, Вавило, с нами скоморошить...*

Пойдем за ними. Это поют скоморохи, Кузьма с Демьяном, зовущие с собою в дорогу крестьянского сына Вавилу. Только с ними спасен Гоголь. Только с ними спасется русское искусство...

Вразумленный Кузьмой и Демьяном, Вавила — это Гоголь, соединивший «Переписку с друзьями» и «Сорочинскую Ярмарку», «Мертвые Души» с «Тарасом Бульбой». Это художник, ставший святым, святость которого исчисляется светом и зрелостью искусства. Это деятель, чье действие исчерпывается игрою и музыкой. Это гоголевский Вий, прожигающий души любовью, — Чичиков, задарма воскресивший тысячи беглых и мертвенцев, — это Портрет, взамен проклятия посылающий благоденствие, — Хлестаков, подтверждающий делом всё, что пообещал на словах...

*Говорила красная девица:  
«Пособи вам Бог переиграти  
И того царя да вам Собаку,  
Еще сына его да Перегуду,  
Еще зятя его да Пересвета,  
А и дочь его да Перекрасу». —  
Заиграл Вавило во гудочек,  
А во звончатый во переладец,  
А Кузьма с Демьяном приспособил, —  
А у той у красной у девицы  
А были у ней холсты-те ведь холщовы —  
Еще стали шелковы да атласны.  
Говорит как красная девица:  
«Тут люди шли да не простые,  
Не простые люди-те — святые,  
Еще я ведь им да не молилась»...*

Святым Косме и Дамиану молились русские люди о просвещении разума — на грамоту. Помолимся и мы. Пусть сбудется. Пусть переиграют они царя Собаку и всё его злое и гордое отродье.

*Заиграй, Вавило, во гудочек,  
А во звончатый во переладец,  
А Кузьма с Демьяном приспособит»...*

Аминь.

1970—1973 гг.



---

СПОКОЙНОЙ

---

НОЧИ

---

## Глава первая

### ПЕРЕВЕРТЫШ

---

Это было у Никитских ворот, когда меня взяли. Я опаздывал на лекцию в школу-студию МХАТ и толком на остановке, выслеживая, не идет ли троллейбус, как вдруг, за спиной, послышался вопросительный и будто знакомый возглас:

— Андрей Донатович?!

Словно кто-то сомневался, я это или не я,— в радостном нетерпении встречи. Обернувшись с услужливостью и никого, к удивлению, не видя и не найдя позади, кто бы так внятно и ласково звал меня по имени, я последовал развиту, вокруг себя, по спирали, на пятке, потерял равновесие и мягким, точным движением был препровожден в распахнутую легковую машину, рванувшуюся, как по команде, едва меня упихнули. Никто и не увидел на улице, что произошло. Два мордатых саграпа, со зверским выражением, с двух сторон держали меня за руки. Оба были плотные, в возрасте, и черный мужской волос из-под рубашек-безрукавок стекал ручейками к фалангам пальцев, цепких как наручники, завиваясь у одного непотребной зарослью, козлиным руном вокруг плетеной металлической браслетки с часами, откуда, наверное, у меня и засело в сознании это сравнение с наручниками. Машина скользила неслышно— как стрела. Все-таки я не ждал, что это осуществится с такой баснословной скоростью. Но, переведя дыхание, счел необходимым осведомиться— чтобы те двое, чего доброго, не заподозрили мою безропотную преступность:

— Что происходит? Я, кажется, арестован? На каком основании?— произнес я неуверенно, деланным тоном, без должного негодования в голосе.— Предъявите ордер на арест...

У меня в свое время брали отца и был небольшой опыт, что в таких ситуациях, по закону, полагается ордер.

— Нужно будет— тогда предъявят!— буркнул справа, должно быть главный, не глядя.

Держа меня за руки, оба телохранителя были странным образом отрешены от меня и заняты своими расчетами, устремленные вперед, словно прокладывали испепеляющим взором дорогу по Моховой, сквозь сутолоки московского полдня. Мыслилось, они ведут неотступную борьбу с неви-

димым на пути, затаившимся противником. Это было похоже на то, что я написал за десять лет до ареста, в повести «Суд идет». Теперь, на заднем сидении, со штатскими по бокам, я мог оценить по достоинству ироничность положения и наслаждаться сколько угодно дьявольской моей проницательностью. Впрочем, надо сознаться, я многое недоучел. Как они быстро, как мастерски умеют хватать человека — среди бела дня, на глазах у всех, — с концами, не оставляя доказательств. Густая толпа у Никитских даже не заметила, что меня арестовали...

И будто в подтверждение задней мысли, вторично, когда мы подкатили к зданию на Лубянке, машина не въехала в бронированные ворота, во двор, как я ожидал, но скромно притормозила у края тротуара, и меня вывели под руки и переправили к парадным дверям — в открытую, на виду у прохожих, не слишком, правда, стискивая за локти. Мне показалось на сей раз, что все это производится нарочно, с целью демонстрации — насколько они уверены в себе и никого не стесняются и как бледна по сравнению с ними моя наигранная невозмутимость. Снова никто не заметил, что проводят арестованного.

Мог бы я закричать, заартачиться в ту минуту? Поднять скандал? Воззвать к согражданам? Вырваться и попытаться бежать?.. Бегут же воры... Нелепый интеллигент, я думал только о том, как держаться по возможности приличнее и достойнее. Если бы мне тогда, на троллейбусной остановке, вручили визитную карточку с вежливым приглашением, вне охраны, следовать незамедлительно по указанному адресу, я бы и последовал вежливо, разве что испросив разрешение позвонить в студию МХАТ, с тем чтобы по внезапной болезни мою лекцию отменили. Два волосатых гангстера, что брали меня с таким нахрапом, словно боялись встретить вооруженный отпор, делали это скорее, как я потом догадался, в виде подготовки, внушающей арестованному ощущение полной беспомощности. Им важно было для начала меня хорошо огорчить.

Вообще, где в тюрьме кончается театр и начинается действительность, трудно сообразить, в особенности новоприбывшему, которого с ходу, с воздуха, на свежих еще парах втягивают в интригу дознания разительной игрой светотени. Вычурная, преувеличенно декоративная мрачность каземата, куда ты попал, сгущаясь и сгущаясь, оставляет все же в уме просвет, щель в кабинете следователя, откуда и блещет тебе, в суровой сдержанности, тонкая путеводная нить, ткущаяся стальными предупредительными пер-

стами. И когда к ночи, в тот же день, 8 сентября 1965 года, после допроса, по дороге в одиночку, старичок-надзиратель, напоминающий сухошавого и слишком уже пожившего подростка, велел мне раздеться, присесть и, бесстрастно копошась в моем нательном белье, ободряюще проворчал: «— Ничего, образуется, может, еще выпустят...» — я не понял и до сей поры сомневаюсь, хотел ли он по сходной цене поддержать меня словом участия, думал ли сгладить собственную неловкую роль или был уже учтен и засчитан со своей душеспасительной репликой в системе тюремных контрмер, играющих на нервах подследственного. Прости, старик, если я на тебя согрешил!..

Нельзя постигнуть, мне кажется, исполинские законы тюрьмы без проекции этих стен в какие-то иные, театральные пружины и символы, в условные области сцены, заведомо нам недоступные как осязаемая реальность и существующие лишь в образе домыслов или авторских сновидений. Автор, по временам, волен отрешаться от фактов ради их более полного и могучего освещения, всякий раз, однако, специально оговаривая эти редкие вторжения творческой воли в естественный порядок вещей. Подобного рода возвышенную попытку осмыслить происходившее со мною я предпринял впоследствии в набросках к феерии «Зеркало», так и оставшихся незавершенными. Прошу их не путать с действительной историей моего ареста, о которой я, тем временем, повествую.

Феерия «Зеркало» (в пяти сценах) начинается с пространной ремарки:

*«Поднимается занавес. Сцена первая (как и все дальнейшие): кабинет следователя. Он кажется — в первый момент — светлым громадным залом. В помещении пять-семь-пятнадцать человек в штатском и в военном. Все — бурлят. Сквозь матированное окно, в разводах, скачут зайчики, бабочки, оставляя впечатление где-то там, за стеклами, бесшумной и бушующей жизни. Сбоку подвесная фанерная аптечка, помеченная красным крестиком. Несгораемый шкаф. Над столом с двумя телефонами, противовесом всему кабинету, роскошное, склонное к разрастанию Зеркало в барочной, золотой оправе, откуда к потолку иногда восходят струйки фимиама, доносятся треск и сверканье небольшой, нестрашной вольтовой дуги, слышатся закулисная сдавленная возня, глухие и отдаленные возгласы.*

*Сцена открывается пантомимой, исполняемой под патефонный мотивчик, вроде пластинки «Брызги шампанского» или фокстрота «Рио-Рита», популярных в конце 30-х годов в провинции. За минуту до моего появления, штатские и военные, в трансе, нервно жестикулируют, показывая друг другу что-то важное на пальцах, в блокнотах, взглядывая на часы и на дверь, куда меня скоро введут,— все похоже на свадьбу, на праздник, когда бы танцующие не застывали мгновениями, уставившись бешеной маской на белую по-госпитальному дверь.*

*Внезапно музыка глохнет на полуноте, и, жившая в быстром, мимическом ритме, опергруппа распадается на слагаемые, обретая спокойствие благородного гобелена, испокон века свисающего в этих капитальных стенах. Только что сомкнутые в дружный хоровод, мои статисты рассеиваются по кабинету как птицы,—каждый принимает случайную и скучающую, заготовленную позу. Кто рассматривает ногти, кто — потолок. Следователь-корифей, доселе неотличимый от прочей веселой кодлы,—тигром прыгает в кресло, под Зеркало, за свой дирижерский стол и, меланхолически насвистывая, листает бумаги. Воцаряется атмосфера светского, непринужденного общества. Лишь тревожные зайчики, электрические мотыльки снуют повсюду, продолжая прерванный танец. Так бывает летом: в солнечном сером столбе вьются и плещутся огненные пылинки в напоминание о вечности, о свободе бунтующего за окнами мира».*

Затем, согласно замыслу драмы, вводят меня, сорокалетнего мужчину, с портфелем, в мешковатом костюме, с незначительным лицом. Я подавлен.

*«Он (погруженный в бумаги, не глядя, сухо и деловито). Садитесь.*

*Я. Простите. Я...*

*Он (небрежно и доброжелательно, как своему человеку). Присаживайтесь, Андрей Донатович...*

*Я. Но я...*

*Оперативник (ранее смотревший в окно, откуда ничего не видно, резко повернувшись). Сядь, тебе говорят! (Снова отворачивается).*

*Он (устало морщится, не известно к кому обращаясь — то ли ко мне, то ли в спину Оперативнику). Ну зачем вы так?..*

*Я (сажусь на указанный мне табурет). Объясните же наконец... (На окружающих). Что смешного? Почему они*

смеются?.. (Пока я это говорю, все присутствующие начинают смеяться и слабиться)».

И действительно, до сих пор мне остается неясной механика этого мелкого, откровенного веселья чинов госбезопасности над оказавшимся у них в щипцах, напуганным недоумком. Что это — опять демонстрация рабочего оптимизма, непробиваемой наглости, смертоносной мощи? Или искренняя радость поймавшего съедобную вошь дикаря? Ведь они же профессионалы!.. Я думал в ужасе первые дни: почему они все время смеются? Какая грубая сила скрыта в них и за ними, каким душевным здоровьем, какой моральной и физической выдержкой необходимо обзавестись, чтобы *так* смеяться?! Позднее, когда я немало насмотрелся горьких и кислых физиономий на той же заклятой должности, я начал склоняться к версии, что этот первичный, неудержимый смех — при виде крайней потерянности попавшего в беду человека — служит, помимо прочего, самозащитой, психической блокадой в работе, вредной и даже опасной для живого организма, вынужденного изо дня в день заниматься сложной, в нервном смысле слова, изощренной и неприемлемой, противопоказанной нашей человеческой природе жестокостью. Так смеются, случается, дети, когда им страшно.

Сведущие люди, причастные к этой материи (сами потом пострадавшие), мне растолковали, что смех следователя, как мастерство актера, вырабатывается годами труда и тренировок перед зеркалом и входит в программу его практического обучения. Смех призван повергнуть объект исследования в пучину всесии власти и собственного ничтожества. И вместе с тем он легко дается, он вполне натурален, этот смех, — как смеемся все мы над каким-нибудь несудачником, потерявшим штаны, севшим в лужу, не задумываясь над его самочувствием. Впрочем, на страстные мои расспросы знатоки не отрицали и второго поворота: смех — как средство укрытия и спасения лица (закрываемся же мы руками, когда плачем?); смех — как профилактика и терапия души от заражения мутными чувствами стыда и скорби, естественными в подобных условиях... Лечитесь, чекисты, от сумасшествия — смехом!

— Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Попался?!

На Лубянке, в большом кабинете, куда меня провели сразу по доставке, даже не обыскав, было полно народу. Казалось, меня ждали как дорогого гостя или сошлись посмотреть, что за зверя к ним привезли. Первый вопрос, помнится, был задан издалека:

— Как вы думаете, Андрей Донатович, почему вы — тут? Вот здесь — у нас?..

Мне было тогда невдомек, что такой же точно вопрос задается ради прощупыванья, в виде увертюры, почти каждому у них новичку, по учебнику, в знак, быть может, особого расположения и доверия к человеку. Дескать, выкладывай все, что знаешь про себя нехорошего, как на духу, пока не поздно. Во всяком случае вы сразу почувствуете себя глупо, неудобно, в двусмысленном положении провинившегося школьника, пойманного неизвестно с чем, но пойманного — таки за что-то серьезное ребенка. Не зря же вас, в конце концов, в самом деле арестовали? И столько устремлено с разных сторон — по радиусам, по диагоналям — внимательных, инспекторских глаз! Извольте отвечать! Вы поджариваетесь на собственной «тайне», как уж на сковородке.

— Подумайте, Андрей Донатович, вы, кандидат наук, без пяти минут профессор, член Союза Писателей, литературный критик, в «Новом мире» печтаетесь, — и вдруг, в одно прекрасное утро, вы оказываетесь у нас... Как вы это себе объясняете?..

Все так и покатались, когда я нехотя, через силу, отпустил, что, наверное, им лучше известно — зачем и отчего я здесь нахожусь. Смеялись коллективно.

— А вы сами, сами найдите причину...

— Нет, вы сами попробуйте догадайтесь...

Пробовать я не хотел.

Игра велась, пока кто-то, перестав смеяться, не протянул вкрадчиво: — А имя «Абрам Терц» вам ничего не говорит?..

Ага — то самое!.. Не стану сейчас вдаваться в бессмысленную и унижительную процедуру запирательства, когда несколько дней я вяло повторял, что «ничего не знаю», а они, шаг за шагом, посмеиваясь, уличали меня во лжи. Фактическая картина моей вины была им очевидна. Однако вернее улик работал, цепляя за ребра, логический крючок, которым и плелись в основном эти следственные сети. Логика здесь такая: чем далее я запираюсь, что я Абрам Терц, тем, значит, я виновнее, по собственному моему, внутреннему разумению. А если нет, не виновнее, то что же я так упорствую с ним иден-ти-фи-цироваться, войти в себя, стать, наконец, мужчиной. Чего вам тогда скрывать, Андрей Донатович?.. Голос не повышали. Только майор Красильников, начальник опергруппы, как-то вспылил и прикрикнул: — Не валяйте дурака! Я — старый чекист!..

Интересно, с каких это пор — с Ежова, с Ягоды или с самого Магистра, чей прозорливый образ печально и уко-

ризенно смотрел на меня со стены. «Жил на свете рыцарь бедный...»

В КГБ давно не бьют, но с фактами в руках — подвохами, посулами, обманами, угрозами, а главное, логикой, логикой! — загоняют подследственного на дорогу к исправлению, по которой он должен топтать собственными уже ножками в жадно раскрытую пасть — Суда. Потом, уже на Западе, меня, случалось, расспрашивали дотошные специалисты, как мне посчастливилось увернуться от покаяния, от признания всегдашних у нас ошибок и выражений сожаления и, будучи изблеченным, реально, не принять за фактами лежащую на душу логической, могильной плитой, обеспеченную сводом советских законов, каменноугольную виновность. Что я — лучше других? Смелее? Крепче? Да нет, я прожженнее. Мне многое помогло и пригодилось в жизни, о чем я расскажу после, если позволите. А пока, для начала, воздам благодарность Абраму Терцу, темному моему двойнику, который, возможно, меня и доконает, но он же тогда и вызволил и вынес, меня, светлого человека, Синявского, пойманного с позором и доставленного на Лубянку.

Я его как сейчас вижу, налетчика, картежника, сукиного сына, руки в брюки, в усиках ниточкой, в приплюснутой, до бровей, кепке, проносащего легкой, немного виляющей походкой, с нежными междометиями непристойного свойства на пересохших устах, свое тощее, отточенное в многолетних полемиках и стилистических разноречиях тело. Подобранный, непререкаемый. Чуть что — зарежет. Украдет. Сдохнет, но не выдаст. Деловой человек. Способный писать пером (по бумаге) — *пером*, на блатном языке изблечающим *нож*, милые дети. Одно слово — *нож*.

Почему-то люди, даже из числа моих добрых знакомых, любят Андрея Синявского и не любят Абрама Терца. И я к этому привык, пускай держу Синявского в подсобниках, в подмалевках у Терца, в виде афиши. Нам всем нужна в жизни скромная и благородная внешность. И если бы нас тогда не повязали вместе — в одном лице, на горячем деле, о чем я до сей поры глубоко сожалею, — мы бы и сожительствовали мирно, никого не тревожа, работая по профессии, каждый в своей отрасли, не вылезая на поверхность, укрытые в норе советского безвременья, в глухом полуподвале на Хлебном. И Абрам Терц, наглый, сказочный Абрам Терц, будьте уверены, действовал бы по-тихому, не зарываясь, до скончания дней Синявского, ничем не пороча и не омрачая его заурядную биографию. Он втайне бы наслаждался острой фабулы, нахал, черпая удовлетворение в одном и том же,



что вон он, заправский вор и оторвыш, соседствует по-семейному с честным интеллигентом, склонным к компромиссам, к уединенной и созерцательной жизни, и лишь в виде погашения Бог знает когда и какого комплекса собственной неполноценности взогревшим в душе — этого терпкого злодея по кличке Абрам Терц, кривляку, шута, проходимца по писательскому базару, сказав ему однажды: «давай-давай! не то я за себя не ручаюсь!..»

На причинах подобного раздвоения личности мы, возможно, еще остановимся по ходу пьесы, когда за личность возьмутся уже не инженеры, а хирурги человеческих душ, собственно и вскрывшие весь этот злокачественный нарыв или вывих психики и, слово за слово, предъявившие нашему покладистому, уважаемому Андрею Донатовичу меморандум, что по своему приятному имени-отчеству он величается сейчас исключительно из вежливости, по доброте наших безопасных органов, которые давно, после XX съезда партии, уже никого и не бьют, но он-то, наймит империализма, двурушник, перевертыш, сам должен понимать, что никакой он не уважаемый, не Андрей и не Донатович, а доказанный и заклятый предатель Абрам Терц.

На несколько часов отступая назад, добавлю, что тогда, еще в машине, куда меня везли, в ту решительную минуту очной ставки с самим собой, мне никто не помог — ни жена, у которой, у нас дома, я подозревал, идет уже обыск, а мы, как на зло, ни о чем не успели сговориться, ни друзья, мысленно уже перебираемые по пальцам, кого схватят, а кто, Бог даст, отбоится, отопрется, а кто, быть может, уже и заложил, ни тем более сам я, Синявский, на ком одним этим росчерком и запикиванием в машину ставился размашистый крест. А только он, он, мой черный герой, для пущей вздорности, на потеху, ради того, собственно, чтобы было заранее интереснее и смешнее, и прозванный по-своейски «Абрамом», с режущим закреплением «Терц», лишь он подсказал тогда, что все идет правильно, как надо, по замысленному сюжету, нуждающемуся в реализации, как случилось в литературе не раз, — в доведении до конца, до правды, всех этих сравнений, метафор, за которые автору, естественно, подобает платить головой...

Вы слышали аплодисменты судебному приговору, вынесенному вам и над вами? Когда зал весело, остервенело, разваливаясь до потолка, рукоплещет обвинению, погребаящему вас, жалкого человека, которого сейчас, в исполнении закона, под стражей, выведут из зала суда, но пока еще не вывели, не увели и вы живы, зал, в знак солидарности

с наказанием, барабанит от полноты живота, еще и еще раз прощаясь с вами залпами рукоплесканий в лицо, радуясь, что вас замели и присудили справедливо — к пяти годам, к семи, к пятнадцати, к высшей мере — и вам от ответственности уже не отвертеться. Каким бы ни были вы в данную минуту преступником, какие бы прегрешения за вами ни значились, вы порадуетесь, уверяю вас, вы порадуетесь, содрогаясь в душе, что существуют еще люди хуже, чем вы думали, ниже по сравнению с вами, — если смеют так откровенно, по-человечески чистосердечно, праздновать чужое несчастье. Пройдя тот урок, я понял — понял и перенял — презрение казнимых к казнителям. Последние, не ведая того, перекладывают на себя приговор, отмеренный бедному грешнику: с больной головы на здоровую. История, быть может, только потому и продолжает развиваться, что мы, без зазрения совести, посылаем с эшафота депеши в будущее, все дальше и дальше, приветственными жертвами...

И вы заговорите, вы мысленно заговорите о себе в третьем лице, кожей ящерицы, искупавшись в чаше Суда, почуввав себя очищенным, а это они, аплодируя слуру, вышли в лидеры, в убийцы, без цели и корысти, ради сомнительной славы вываливания на прилавок собственных оголтелых кишков. В чаше рукоплесканий, единственным порывом души, обвиняемый постигает, что все, что ему наматывают, он сделал правильно и не даром, и так им и надо. Поэтому, между прочим, теперь я сторонник смертной казни: так им и надо!

Громче всех работал ладонями, сидя в первом ряду, Леонид Соболев, писательский босс (я узнал по фотографиям его отечное, с кровью, лицо), написавший «Капитальный ремонт» и пустивший ко дну доносима не одну, говорят, эскадру. Сейчас эта наша плавучая литературная Цусима, не умещающаяся в креслах, тряслась, в предсмертном ожирении сердца, лыбясь — не до ушей, до плечей, до расставленных по-бабьи ляжек. Эластичные, кокосового цвета, как перчатки боксера, щеки ходили ходуном, вперемешку с ладошами. И я радовался за Соболева, что старая квашня так наглядно и щедро оправдывает убытки, причиненные русскому военно-морскому флоту, которые, в итоге, тоже войдут в водоизмещение...

Но это я теперь так спокойно рассуждаю, входя в эмоции хлопающих, которых, в конце концов, тоже можно понять. А тогда? Тогда, все предугадав, все заранее, казалось, измерив разгоряченным воображением, я пасовал при мысли, слишком приближенной к нам и потому невыносимой.

Как смеют эти миряне, да будь мы с Даниэлем, в их головах, пособниками самого Сатаны, предаваться на глазах у нас, не таясь, кровосмесительной оргии? А ведь знал же я варианты куда более страшные. Знал расстрелы 30-х годов. И как рукоплескали писатели, включая самых гуманных... Фейтвангер, Драйзер... А врачи-убийцы?.. Я вырос на этих врачах!.. А...

— Что ж ты из себя целку строишь? — неожиданно и как-то цинически спросил Абрам Терц. — Так им и надо! Пусть пируют! Любуйся! Ты к этому привык. Ты к этому стремился, готовился — как к последнему уголению в жизни. Сам накаркал: фантастика!..

— Да, да, — отвечал я в рассеянности, жадно высматривая, что творилось в зале, и отдергиваясь, как от ожога. — Да, правда, я писал... Но кто же думал, что это настолько реально? Чтобы люди так оголялись? Непорядочно...

Аплодисменты не смолкали. Аплодисменты наращивались. Зал, рукоплеща, испражнялся негодованием — мне в поддержку, в отмщение, что все, что я написал, я написал правильно и даже мало. Закрадывалось, еще мгновение, и сам я зайдусь в овациях по поводу адекватного надо мной и Даниэлем суда. По отношению к человечеству. К жизни, наконец. И вообще... Действительность, как это бывает иногда, перебарщивала с гиперболами, напоминая не в первый раз, чем следует от нее при случае обороняться...

— К человечеству?.. Непорядочно?.. — шипел Абрам Терц. — Но разве не ты писал, чорт тебя возьми, что с человеком давно покончено? Не ты ли перекрестил человека рукою чорта?..

Он намекал на рассказ «Квартиранты», мерзавец. Там я очернил, говорят, честных советских людей, сравнив с нечистой силой...

— Но я не могу понять — как они могут?.. Слышишь? — Опять аплодируют!..

— А как же — гладиаторы?..

Причем тут гладиаторы? Я был озадачен. Лишь много после, в лагере, до меня дошло: роман Джованьоли «Спартак», читанный в раннем детстве. Помните, читая роман «Спартак», мы были за рабов и ужасались римскому праву поворачивать книзу большой палец руки, чтобы там, на арене, добились побежденного? И мы дивились — как они могут?! А они — могли. У них текла, между тем, своя нормальная, римская жизнь, ничуть не хуже нашей, и был заведен порядок, убивать или не убивать проигравшего, повернув большой палец туда или сюда, в зависимости от изъявления,

если публика попросит. И публика, если хотела, просила. Это было демократичным. А рабы? Подумаешь! Раб Эзоп. Платона тоже, судя по слухам, кто-то продал в рабство и купил, допустим, коня... Покуда знатный торговец из дальнего города Риги, командированный в Мордовию, на студебеккере, за товаром (мы делали автомобильные пальцы), за хорошою погрузку, узнав, что я тот самый, пропечатанный в газете, писатель Снявский, не сунул втихаря, гордясь и конфузясь, мне пачку папиросок «Прибой», — я не подозревал, какой я писатель и в котором мы встретились веке, покуда, тоже гордясь, не спрятал папиросы за пазуху.

История расплывается за нашей спиной и становится расплывчатой. Будто ее и нет, и не было никогда. Мы в историю не очень-то верим: чтобы настолько серьезно?! «— Но это же — история!» — сказал с удивлением следователь Пахомов, словно про какую-то басню, когда я ему напомнил что-то из Римской империи, которая тоже, несмотря ни на что, развалилась... И впрямь, причем тут история, если мы не умерли? Точно так же, со временем, она отменит и нас. Мы войдем в нее беспризорными, призрачными контурами: разве это реально, возможно? Какие рабы? Почему гладиаторы? Но все это я потом оценил. И зал суда, и судью Смирнова, и Пахомова, и генерала Громова, грозу Дубровлага, приблизивших меня, крупницу, к пониманию всемирной картины, с которой мы при всех стараниях, как выяснилось, не порвали и не ушли далеко от романа Джованьоли «Спартак», от старика Октавиана. Доколе крыло истории не коснулось тебя острым крылом ласточки, ты и не поймешь никогда, насколько она касательна, насколько она крылата, история, с пачкой «Прибоя» в загашнике, если нечего курить, и нет границ между нами, две тысячи лет пролегло с тех пор или четыре года...

Боже, как раскалывается голова! Громов, командарм над Мордовскими лагерями, чье имя, внушая ужас, ложилось шаром в историю, генерал Громов, начинавший с собаководов в тех же лесных завалах, стрелявший зеков как собак, — когда умер Сталин и тысячные зоны скандировали, наводя тоску на окрестности: — Ус — сдох! Ус — сдох! — с выдохом на «сдох», как искусственное дыхание, раскатывая по лесам и болотам: — Ус — сдох! Ус — сдох! — а следом, эхом, в газетах, расстреляли Берию и гигант-материк-генерал-Дубровлаг зашатался, — Громов торжественно, как на параде, при всех регалиях, гордый, громадный, уже полковник, красивый, так что жалко убивать, вышел на эстраду. Вокруг кипело серое бушлатное море, но, судя по всему, он знал, как себя поставить:

— Товарищи!

Лагерь замер. Неужели не ослышались? Неужто все прощено, все отпущено, товарищи, и мы вернемся назад, по домам, на родину, к исходной точке? Случилось. Товарищ Сталин тоже однажды вспомнил: — «Братя и сестры!» — тоже в трудную, критическую для страны минуту. Шкурой собаковод учуяв, что иначе не проживешь и ничего не остается в запасе, как сослаться на бывшее родство, начальник Дубровлага воззвал:

— Товарищи!

Пес! Давно ли на оговорку новичка-арестанта: «товарищ старшина», «товарищ лейтенант», «товарищ полковник» — Громов огрызался и хорошо, что не стрелял: — «Брянский волк тебе товарищ!»? Давно ли отец мой, в Бутырьках, женщине-врачу, тоже в возрасте, по советской размазне и либеральной закваске, пожаловался: «— Товарищ доктор! Плохо с сердцем...»? И та, бронзовая лицом, по-женски выпрямилась, отрезала: «— Вам я не товарищ!..» Как они боялись запачкаться!.. И вдруг — как в детстве, как «власть Советам»:

— Товарищи!

Так ведь и правда! Так ведь же ж и революция с этого начиналась. Разменявшая царя, господ, генералов на равных, по-братски, «товарищей»... Врешь! В лагере, в наше время, мы звали уже себя «господами». Без дураков — господами! Мистер, пан, сэръ, сударь, браток, земляк, — что хотите, лишь бы не — товарищ! Пусть сами хлебают своих товарищей. С нас хватит. Брянский волк вам товарищ!

Но тогда, о чем я сейчас рассказываю, шел еще ранний, шел еще только самый первый, 1953-й год, и лагерь замер:

— Товарищи! Перед вами Громов...

«Громов», «Громов» — гремело по лагерям. Да кто его не знал, кто его не помнил, удава?! Он выставил грудь, полную орденов, словно предлагая стрелять. Видно, после Берии крепко, змей, перебздел и сам рискнул повернуть:

— Перед вами Громов! Громов! Тот самый Громов, который вас истязал, товарищи, — да, истязал! — по указке преступной банды Рюмина — Абакумова — Берии!..

Он выдержал долгую паузу, чтобы все осознали, на что у него повернулся язык.

— Но перед вами, товарищи, не тот Громов, которого вы знали вчера! Перед вами — другой Громов!

Потом он клялся партбилетом, офицерской честью, жизнью дочери и чем-то еще, что это не повторится. И все заклинал: товарищи! Он — переживал. Он был, как мессия,

в сиянии, но не выходил из себя. Он знал, как звучит, сколько весит его имя, и от ранга не отступал. И говорил размеренно, твердо, властно, разом взяв на себя грехи и разом всё искупая — товарищи!.. Он мог бы призвать в свидетели мертвецов — на том же основании, с тем же спокойствием... Товарищи, себе не веря, таращили глаза. Под прикрытием пулеметов он позволял себе еще немного покуражиться, а лагерь торжествовал. Лагерь запомнил речь полковника Громова. Многие годы она передавалась, как сказка, из уст в уста.

— Перед вами не тот Громов, которого вы знали вчера! Перед вами — другой Громов! — Ого-го! Другой Громов! Тот же Громов! Другой! — несло по зонам.

Я видел Громова в той же Мордовии через шестнадцать лет после достопамятной речи, пересказанной старыми зеками. Красавец, в папахе, так что жалко убивать, он приказал согнать нас к эстраде и произнес громогласно, как бывало, потрясая кулаками:

— Погодите! Придет еще на вашу голову — Берия!..

И снова пошло, зашумело по лесам и болотам: Громов! Тот самый Громов! На нашу голову!..

Придет еще на вашу голову — Берия! — это сказал генерал Громов, начинавший с собаководства, приобщаясь к Римской империи...

...Мое повествование, вижу, удаляется от меня прыжками кенгуру и возвращается вспять, падая к ногам, наподобие бумеранга. Должно быть, это заложено в его характере, основанном на усилиях памяти привести героя и автора в осмысленное единство, связать концы с концами в стройную причинную цепь, где развитие во времени не столь уж обязательно. Разве каждый из нас, перебирая в душе прошлое, не скачет взад и вперед по измеренному отрезку, пытаюсь схватить глазами отпущенное человеку пространство сразу с нескольких точек еще движущейся жизни? Или мысленно мы не возвращаемся к событию, к себе самому, к близким, к недругам, к тем же снам, по старому адресу, всякий раз наново? Былое непостижимо вне этих перемещений. Оно утекает у нас сквозь пальцы, как только мы принимаемся строить ему памятник. В жажде рассказать по порядку, год за годом, день за днем, все, что выпало нам на веку, мы невольно кривим душой против фактической правды, которой в данном случае все же лучше придерживаться. Тем более, в обстоятельствах несколько чрезвычайных... Добавлю в оправдание, что в перескакивании с места на место по биографической канве мною руководили не пристрастие к занимательности и не природная склонность к естественному

беспорядку, а, напротив, неутоленное желание писать как можно более точно, строго и рассудительно. Опыт реконструкции собственной литературной судьбы требует от автора даже того, что именуется в науке точностью и чистотой анализа. Не обещая линейной последовательности в ходе изложения, я все же стараюсь ни на йоту не отступать от подлинного рисунка событий и коллизий, которые мне подавала действительность.

...8 июня 1971 года, спустя без малого шесть лет после ареста, я возвращался домой, на свободу, в состоянии, пожалуй, не менее беспомощном и ошеломленном, нежели когда начиналось это цирковое турне. С женою, меня встречавшей у тюремных ворот на станции Потьма, мы сели в мягкий вагон поезда «Челябинск — Москва», являя для окружающих вид забавной экзотической пары. На радостях, как пьяные, мы не обращали внимания на косые взгляды проводницы и скучающих пассажиров и, может быть, мстили невольно и немного бравировали не нами сюда занесенным классовым контрастом. Жена, еще довольно хорошенькая, живая, в очках, в розовых кофточках, в брюках европейского кроя, рисовалась изящной цветочной вазой рядом со мной, зачумленным стариком, пропахшим тяготой и бескормицей, в промасленных штанах (меня взяли с производства), в долгополом бушлате и зековской, запакошенной, еще с немецких военнопленных должно быть введенной в униформу пилотке, с дурацким козырьком, за свою противоестественность снискавшей прозвание «пидерка». Два инженера в купе, в пижамах, игравшие в шахматы, приняли нас весьма благожелательно и помогли задвинуть в багажник самодельный деревянный сундук, громоздкий и неподъемный, если б не эти бицепсы. Однако мое вторжение в сочетании с молоденькой дамой раздражило любопытство, и, едва жена побежала умываться, они кинули наживку:

— Сложно было с билетами на вашей станции?

Прозрачно прозвучало, что я тут не по чину, и, если б не перебои с билетами, не сидеть нам вместе в приятном обществе, в одном мягком купе. Но мне уже был сам чорт не брат. Меня веселила прямота разговора на равных с этими ни хрена не понимавшими вольняшками. Покуривая «Лайнер», я тоже забросил крючок:

— Нет, не сложно. Нам вне очереди. Всем, кто выходит из лагеря, билеты вне очереди. Чтобы лишнего не задерживались... Из лагеря...

Это была правда. С Потьмы освобождавшихся старались побыстрее спровадить по месту надзора, во избежание

неприятностей. Случалось, колеблясь и тоскуя перешагнуть заветный барьер, зек по выходе немедленно напивался и держал возмутительные речи на станции во славу тех, кого он оставил за проволокой. Я видел, как мальчишка, окончивший срок, которого мы провожали глазами со штабелей железа и леса, не мог далеко отойти от вахты и порывался обратно, к воротам, откуда его, ругаясь, гнали надзиратели, и вновь ковылял к станции, садился на дорогу, и плакал, а мы ему кричали со штабелей: «Иди! Двигай!» — и он вставал, пощатываясь, и крестил нас, и плакал, и снова, как помешавшийся, бежал назад к вахте... И вот меня спрашивают что-то невероятно бездарное на тему железнодорожных билетов, не тяжело ли, дескать, с билетами, и я уже предвкушал, что отвечу, как вружу, если они посмеют общение с темным типом, как я, ввалившимся прямо из лагеря.

— Из лагеря?! — как эхо, отозвались инженеры.

— Да, по всей этой ветке расположены лагеря. Разве не знаете?

И я повел рукою в окно на мимобегущие густые леса, словно был тут старожилом.

— А что, — спросил один с уважительным состраданием, явно не желая меня обижать, — трудно на лесоповале?

Вид у меня, действительно, был довольно умученный. Или они пытались срочно сообразить что-то когда-то слышанное из прошлого нашей родины: лагерь, лесоповал?.. Я быстренько прикинул, как ликвидировать отсталость. Нашего брата на лесоповал давно уже не выводят. Работа — только в зоне. Для наилучшей изоляции. Категории «особо опасных государственных преступников»...

— Особо?! Опасные! Государственные?! Преступники?!

— Ну да! Те самые, кого раньше называли — «политическими»...

Они офонарели. Вот такие шары! Впервые видят. Мне-то, признаться, хотелось их задеть. Оскорбить. Пусть оглянутся. Но они не испугались. И мне тоже вдруг сделалось интересно: почему не испугались? что они знают о нас? о чем думают?..

Уже в поселке и на перроне, в ожидании поезда, я исподволь наблюдал это новое, неведомое мне племя выросших на свободе, на сытых харчах, сограждан. В мое отсутствие многое в стране заметно переменялось. Молодые люди начали одеваться. В моду у мужчин, под влиянием Запада, входили женские локоны, усики разных фасонов и аккуратные баки. С прическами я мирился, усы откровенно приветствовал, но круглые, ровной котлеткой, бачки, словно



пересаженные на размятую, как валенок, грядку с другого полуострова, меня бесили. В голове вертелась проблема: «Откуда на Руси повелись баки?» и всплывали имена Чичикова, Манилова, Добчинского-Бобчинского,— должно быть, под впечатлением Гоголя, о котором я намеревался писать. Наши инженеры тоже были в бакенбардах...

— И долго вы пробыли в лагере?

— Нет, не долго. Пять лет, девять месяцев.

Эхо подсказало, что это, по их понятиям,— громадный срок.

— Вы, наверное,— за религию?

На примете имелась, конечно, моя неприбранный борода. Они собеседовали со мной осторожно, деликатно — как со Снежным человеком. Религия была в их глазах непролазной чертовщиной, что до некоторой степени отвечало моему загадочному появлению здесь. За религию каких-то сектантов, изуверов, дикарей, может, еще и судят...

— Нет, не за религию — за литературу.

— За литературу?!

На этом вернулась жена из умывальника, и разговор как-то сам собою увял. Литература оставалась для них за семью печатями. Причем тут литература? Литературу изучают в школе, печатают в журналах... Все это не умещалось в сознании наших славных попутчиков, и они непритворно начали зевать по сторонам, как малые ребята, когда им долго рассказываешь о чем-нибудь отвлеченном. Все мы теряем внимание к заведомо нереальным вещам.

Все-таки наблюдался прогресс. Не было брезгливого страха при виде «политического». Они не чурались, не презирали, не избегали меня. Сталинские порядки уплыли в область преданий, помнить о которых было не актуальным. Инженеры скорее сочувствовали мне, как человеку претерпевшему. За сочувствие теперь ничего не причиталось. Но дальше этой черты дело не пошло. Люди вполне современные, они были безучастны к тому, что не касалось действительности. Им было не до тюрьмы, не до художественной прозы... Да, что-то читали о судебных процессах, что-то мелькало в газете. Но какое все это имеет отношение к жизни, к столице, куда они устремлялись, полные рвения, по служебной командировке, из загвазданного Челябинска? Вот если бы я мог подсказать, где в Москве найти плащ-болонья!.. Огромный лагерный мир, дымившийся у меня плечами, для них не существовал...

Назавтра, приближаясь к Москве, мы уже не разговаривали. Соседи засуетились и перестали нас замечать, погру-

женные в чемоданы, галстуки, запонки, прицеливаясь к встрече с разборчивым московским начальством. Чтобы не отвечивать, мы вышли с женой в коридор, к свободному боковому окошку. Мне тоже хотелось — без посторонних — свидеться с Москвой.

Странно, сколько раз, да и всякий год, в прошлом, подъезжая к ней, я испытывал подъем и восторг при одном лишь беглом прочтении на стендах ее незамысловатых предместий — «Удельное», «Тайнинская», «Мытищи», «Вешняки», и стоило уехать на месяц, как мне уже не терпелось, горело, воображалось, что вот она скоро объявится за железным полотном и жарко охватит — Москва! Сейчас, прильнув к стеклу, я внимательно изучал нараставшие по ходу поезда горы знакомого придорожного хлама, всю эту, ничего не говорящую сердцу, кипяченую смесь дачных декораций из оперы «Золотой Петушок», водокачек, составов, цистерн и станционных полигонов, усеянных репейником ржавых заграждений. Родина с грохотом обрушивалась на мою стриженную под машинку, незащищенную голову, заставляя с непривычки отшатываться, как от пощечины, когда на внезапных стыках разбежавшихся железнодорожных путей вклинивались с разгона в окно вагона семафор, колонка или крашенная нога высоковольтной передачи.

— На тебе! на! Получай! В челюсть! Под ложечку! Снова в челюсть! В глаз! По башке! Семафор! Терракотовый пояс! Колонка! Под дых! Платформа! Ты еще пялишься, падаль?! В ухо! В зубы! В глупую, в обращенную в кровь морду! В воющий рот! Семафор! Еще раз в зубы! Столб!! И сплошным обвалом беспамятства — в хрусте костей — кромешная темь тоннеля...

Я зажмурился, покачнулся... Уф! Мы вылетели из-под земли.

Давно, в послевоенные годы, мне снилось несколько раз, подряд, что Москва захвачена немцами. Удивительное чувство: ты виден как на ладони. И в закрученных, как раковина уха, переулках, в проходных дворах, обеганных с детства, за помойками, с черного хода, — уже не укроешься: найдут! Похожее превращение родной скворешни в Берлин я сейчас наблюдал воочию... Нет, Москва была не виновата, что процесс моего отщепенства зашел так далеко. Да и мысли мои несколько не изменились: я попал в тюрьму зрелым уже человеком. Изменилось ко мне отношение мира, в котором я некогда жил, возвращенного, казалось, с довеском, с угрозой — как бомба замедленного действия. Может быть, оттого, что меня освободили досрочно, без предупреждений,

как взяли, и я не успел настроиться на другой порядок вещей, свобода мне давалась с трудом. Ах, как бы пригодилась теперь шапка-невидимка, добрая маска Авраама Терца! Но мой напарник был разоблачен. Шапка — конфискована...

Подмосковные павильоны вставали оцеплением и вышками новой зоны. Все было предусмотрено к принятию этапа в составе одного арестанта, к непрошеному моему визиту в стольный город, расставивший свои рогатки и транспаранты за сорок километров до собственного порога. Я-то знал назубок эту бойкую замашку Москвы все, на что ни ляжет глаз, метить своими когтями. Но то, что раньше забавляло и будоражило меня, ныне внушало загавиваться и держать ухо остро перед этим зверем, напуская на себя если не презрение, то такое же холодное, хищное безразличие, с каким он заглатывал нас своей каменной пастью. Вот уже пошли плясать шестизэтажные корпуса с новомодными низкорослыми окнами, с бетонированными балконами, похожими больше на камерные намордники. Стрельнула глазами реклама «Универмага», проехал первый трамвай, и в то же мгновение грянула по вагонам молчавшая дотолы в тамбуре радиоло: «Нас утро встречает прохладой!..» А в лицо била с радиоточек вокзала другая, встречная песня: «Кипучая, могучая, никем не победимая...» Москва! Через столько эпох и народов — опять Москва!

Где-то, на этом конечном перегоне, у меня отказали глаза. Для справки прилагаю очерк с маловажным эпизодом, полезный главным образом как повторение вышеизложенного — в ином повороте или с несколько другой резкостью наводки. Быть может, его преувеличенная точность позволит мне ухватить, наконец, ускользающую ниточку смысла, которую так боишься потерять за приходящей в ожесточение жизнью. Попробую.

## ОЧКИ

Как я потерял зрение, я не знаю. Буквально так. Меня переправляли столыпиним из лагеря в лагерь, по этапу, и вдруг запятели без объяснений в местную узловую тюрьму и, поморив сутки-другие взаперти, выбросили на берег, на волю. В общей сложности вся процедура продолжалась часов тридцать-сорок. И это не так долго, если бы на следующий день, уже к вечеру, я не очнулся свободной тюремной крысой на захламленной станции — Потьма.

Но прежде чем перейти к новой фазе в моей биографии, я должен вернуться к началу, в одиночную камеру, куда меня втолкнули в потьминской пересыльной тюрьме и где я провел счастливые часы жизни, не подозревая, зачем меня сюда завезли. Я не ждал, что за воротами мне маячит уже, карячится Москва, и я начал обживаться, как обычно обживаются бывалые арестанты, попав на этап, — стучать в кормушку, кричать: «Начальник! жрать охота! пора обедать! и скоро ли наконец, выведут меня в туалет?!»

Начальник, пожилой, краснощекий и тоже битый в наших делах старшина, похожий на Буденного, но толще и меньше ростом, с седыми, заправленными к самым бровям усами, дежуривший не по всему каземату, а только по одному нижнему его этажу, сейчас же отозвался и пригрозил мне весело карцером, если я не перестану орать, поскольку горячего мне сегодня не причиталось, бумаги на меня не оформлены и вообще еще не известно, кто я такой. К ночи он сжалился и сам, личной властью, вывел меня в уборную, а также сунул, не глядя, вечернюю пайку хлеба вместе с железной кружкой безвкусной, тепловатой воды. Вообще, я заметил, он был незлым, неопасным, притерпевшимся к тюрьме человеком. Он больше страшал и ругался, чем действовал по уставу. Я смирился.

Так ошеломляюще, невероятно звучало его извещение, что со мною толком не знают, как быть и куда отправлять, что я никто, ничей и вроде бы вне закона, эта новость была так легкомысленна и соблазнительна для меня, привыкшего ходить под конвоем на работу и таскать проклятые ящики, что я поклонился в душе этому благословению свыше — не думать, что будет завтра, не ведать, что станет со мною, и жить, повинуюсь волне, выбросившей меня, старую прогнившую рыбу, в тихую глубоководную заводь потьминской пересыльной тюрьмы. Нет, надеждами на свободу я не обольщался. Я желал одного — отделаться от выматывающего душу труда. И просидеть несколько дней, может быть неделю, если повезет, в спокойной одиночке, на перекрестке дорог, не работая, представлялось мне незаслуженной и неожиданной улыбкой судьбы, вроде ничем не оправданного, выпавшего по ошибке выигрыша в лотерею. Не только сердце — кости мои пронзило чувство безгрешной, сверхъестественной неизвестности. Будь что будет, а мы куда-то покруим!

Я оглядел исподлобья мою обитель. Она была сурова, она была правдива, эта дарованная мне Богом жилплощадь. Нары доходили до двери, и, сидя, я упирался в железную

обшивку коленями. Было холодно, и свет лампочки, забранной в сетку высоко под потолком, чтобы до нее не дотянулись длинные руки урок, едва ли согревал помещение. Мнилось, электричество не рассеивает здесь, но нагоняет мрак. Лампочка словно чадила, насилуя себя, вкрученная в почерневший от времени и многократных перегораний патрон, трепещущая, как душа человека перед смертью,— дряблая игла, нечистая нить, закосневшая в угрызениях совесть...

Затем, почти машинально, я обошел стены в расчете прочитать, как случалось, заскорузлые подписи тех, кто раньше, до меня, ночевали в этой дыре, препровождаемые дальше, по трассе. И тут же подивился мрачному искусству строителей и еще яростнее, нестерпимее — не то, чтобы возненавидел их, но — отринул от сердца. Камера сверху донизу была изъедена мелким рельефом, словно затоплена морем вздыбленных каменных волн. Писать по этой коросте было невозможно. Острые, кремневые гребни ломали любой карандаш, пожирали рисунки и символы. Ни крест начертить, ни бранное слово, ни имя, ни число предполагаемого отъезда, расстрела...

Тогда я извлек грифель, предусмотрительно зашитый в бушлате, и подержанную газету «Известия», которую, по прибытии, как заядлый курильщик, позаботился откланчить на шмоне у грозного моего старшины. На газете, точнее на газетных полях и кое-где между строчками аккордных заголовков, не выпуская из вида круглый дверной волчок и густые пещерные отложения по стенам, я принялся неровной рукой наносить беглые знаки. Я сочинял, я писал, прекрасно понимая, что так не пишут, что все это ни к чему, и нары, на которых я примостился, ждут других арестантов, более, может быть, достойных и натерелых в писательстве, чтобы помочь им не менее ловко сложить веселые головы. Я был безжалостен в ту минуту — и к тем далеким безвестным собратьям, грядущим по извилистым этапам России, и, слава Богу, к себе.

О чем я писал тогда, я уже не помню, и вряд ли из-под грифеля вышло что-то серьезное. Слишком я был раздражен, очарован этой невозможной стеной. С чем ее сравнить, с какой архитектурой? Она исключала малейший намек на пребывание здесь человека. Цементный пол в потеках и засохших плевках был проще ее и покладистой. Если б базальтовая скала, харкающая лавой, вздумала однажды рассказать о нашей посмертной судьбе в преисподней, она бы, я полагаю, прикинулась этой стеной, этим морем кур-

чавого, разозленного дьяволом камня. Казалось, я угрожал в тот самый ад, который мечтал повидать, над которым посмеивался в ослепленные прожектором ночи лагерных аварийных работ, когда грузили железо под жестоким дождем и ноги разъезжались по трапу, грозя пропороть живот, вывихнуть и раздавить позвоночник несносной, не поддающейся смыслу и осознанию кладью, а я самонадеянно, осмелев, подмигивал осатаневшим ребятам, что это, дескать, еще не ад, а всего-навсего чистилище,— так вот ад, казалось, настиг меня наконец и проступил сукровицей сквозь расчесанную до крови, замешанную на серной, на царской кислоте землю.

А тюрьма между тем жила — полнее и вдохновеннее, чем мы живем, чем вы живете у себя дома. Снаружи тюрьма представляется средоточием отчаянья, бездействия и безмолвия. На самом деле это совсем не так. И перистальтика этапов куда напряженнее изнеженных европейских страстей, шоссежных лент, авиалиний, хоккейных и футбольных матчей, вашей почты, кино и вашего телеграфа. Впоследствии, много лет спустя, опускаясь в подпольные притоны Парижа, впутываясь в карнавалы Италии, на корридах в Мадриде, созерцая высокомерную эрекцию торговых контор и межведомственных небоскребов Америки, я никогда уже не встречал этот стиль, этот ритм, этот стимул жизни, каким страшна, притягательна и отрадна тюрьма.

Эфемерные, картонажные стены моей камеры содрогались. Я был мальчишкой со своей страстью к писательству по сравнению с этим стосильным, тысячеглавым эхом, которое разносилось по гулким сводам собора, пускай не столь прославленного, как Лефортово, Лубянка, как взбудораженная залпами ночных этапов Матросская Тишина. Но, сидя в отсеке захолустной пересылки, я уже почитал себя клеточкой, молекулой огромного Левиафана, плывущего в даль истории, без огней по бортам, но с огнями внутри, в трюме, с толпами поглощенных, проглоченных и все еще ликующих узников. Визг женщин, смех, пение, женские залиvistые переключки с мужчинами, которые не отставали и устанавливали контакт с минутной подругой по слуху, по мелькнувшей в уме, в недостижимой памяти юбке, ругань, шум зачинающейся игры или драки, куда наш старшина кидался, как лев к обедне, для того, чтобы поглазеть, а потом и наказывать сцепившихся в мокрый клубок борцов, во избежание смертных исходов,— все слагалось в мерную, легкую дрожь, пробегающую по камню, словно по коже чудовищного животного. Только со второго, судя по всему, этажа членораздельной речью дохлестывались стоны и вопли какого-то

сумасшедшего, бившегося в железную клеть, должно быть, всем телом и доказывающего под общий хохот, что он ни в чем не виновен. Помнится, он требовал к себе немедленно, сию же минуту, доктора и прокурора. А то он повесится! А я — записывал, записывал...

Когда я свалился в Москву, был, к моему сожалению, яркий, солнечный день. Вольняшки, как ни в чем не бывало, разгуливали по воздуху и делали, что хотели. Если бы погода была ненастной и народу поскромнее, город, возможно, не произвел на меня подобного впечатления своим режущим светом, который лишь увеличивался в присутствии чистых лиц, улыбок, расписных витрин и костюмов. Я пожалел, что у меня при себе нет черных очков. Шума я не слышал, но поле зрения было перегружено красками праздной, разодетой Москвы, так что голова кружилась и хотелось поскорее пройти незамеченным сквозь это гулящее царство и спрятаться в какую-нибудь темную подворотню. Я опускал глаза в тротуар, чтобы их не видеть, и все же невольно фиксировал похожих на тропических птиц, на бабочек, на цветы мужчин и женщин, порхающих по накатанным до паркетного блеска панелям, умноженных зеркалами магазинов и автомашин. Мимо меня прогарцевала, ласково стуча каблучками, миловидная девушка с гордым лицом индейца, в коротенькой пурпуровой юбочке, едва прикрывающей бедра, с черным конским хвостом волос на затылке, которым она потряхивала в такт походке. Недоставало дротика в тонкой, смуглой руке. Должно быть торопясь на свидание, она несла свой торс через весь город, как боевое знамя, — даже как-то немного впереди и выше себя. И я отвлеченно подумал, как дорого заплатили бы за этот сеанс у нас в зоне, пройдишь она там так же бескорыстно и независимо, как проходит передо мною сейчас...

У себя дома я кинулся к полке с книгами, по которым извелся за годы командировки, и не для того, чтобы читать, а просто так, ради свидания с ними, взял и раскрыл одну и даже загадал, что открывшаяся страница послужит мне чем-то вроде пророчества в моей новой, беспокойной судьбе. И только тогда заметил, что глаза у меня поехали и я не различаю самые обыкновенные буквы, хотя вчера читал и писал без видимого усилия. Отставил книгу на метр, на полтора и лишь с дальней дистанции едва разобрал цитату, показавшуюся мне неуместной и неостроумной насмешкой над человеком в моем положении. Это был Лермонтов, и строки мне запали:

Гусар! ты весел и беспечен,  
Надев свой красный доломан...

Безусловно, потеря была невелика, в особенности по сравнению с дарованной мне свободой. Все люди в моем возрасте страдают глазами, и как я до сих пор удосужился не ослепнуть, уму не постижимо. Но я ломал голову и зачем-то порывался поймать, в какой момент именно мое зрение отказало. То ли в последнюю ночь, на пересылке, когда я царапал грифелем по газете, надеясь перекричать и вместе с тем увековечить абстрактные голоса на стене, то ли немного позже, при виде столичной толпы, слишком яркой и радостной для моего потемненного ока. Либо, может быть, за пятьдесят минут, исполненных страха, растерянности и злобного восторга, покуда мне зачитывали спущенный свыше приказ о досрочном освобождении, в которое я верил и не верил, принимая за новый подвох, за какую-то очередную шахматную задачу наших тороватых на подобные штуки владык.

Гусар! ты весел и беспечен,  
Надев свой красный доломан...

И я заплакал — не над своей слепотой, из-за которой, повторяю, не было причины расстраиваться. И не по безвременной молодости, которой, прямо скажем, было не так уж много. А по вставшему внезапно в сознании *седлу*, как я это назвал, разделившему меня на две половины, на *до* и *после* выхода из-за проволоки, — как будто предчувствуя, как трудно вернуться оттуда к людям и какая пропасть пролегла между нами и ними. Я плакал и видел *седло* в образе и форме очков, которые я надену в знак непроходимой границы, в память о газообразной, струящейся письменами стене, голошащими неустанно — и всё о море, о море...

И действительно, с очками, по-видимому, начался у меня перевал к чему-то не вполне основательному, не совсем нормальному в жизни и все, чем я обладал во вне и внутри себя, мне как-то не удавалось схватить ни зрением, ни сознанием. С очками вообще поднялся в доме переполох. «Очки! Очки!» — кричала жена в телефон, названивая в Донецк, нашему старинному другу, имевшему связи в Лондоне, умоляя, по знакомству, выписать из-за границы точную английскую оптику. Тот не понимал, о чем речь, пугался, переспрашивал, а жена кричала:

— Очки! Даю по буквам: Ольга, Чекист, Константин, Ирина... О-чки!

Первое время я пользовался чужими очками, одалживая у друзей, либо чаще, для чтения, большой увеличительной лупой, в какие дети рассматривают бабочек и марки. Этому



инструменту надоумил меня покойный дед со стороны матери, Иван Макарович Торхов, полуграмотный крестьянин, все последние годы своего преклонного возраста посвятивший уединенной молитве и перечитыванию Святого Писания с помощью зажигательного стекла, которое я, тогда ребенок, летом ему подарил. Как сейчас вижу, в деревне, доброго моего старика, который еле-еле передвигал большие калоши, но, восседая на веранде, бодро ползал по буквам и шептал по складам прекрасные имена, звучавшие для меня, безбожника, забавной абракадаброй:

«Авраам роди Исаака. Исаак же роди Иакова. Иаков же роди Иуду и братию его. Иуда же роди Фареса и Зару от Фамары... Езекия же роди Манассию. Манассия же роди Амона. Амон же роди Иосию: Иосия же роди Иехонию и братию его в преселение Вавилонское...».

Впрочем, деду было несложно читать и перечитывать тугую славянскую вязь, поскольку, я понимаю, он знал ее на память и держал перед глазами Евангелие больше из уважения, ради телесного к нему и душевного прикосновения. Мне же, напротив, посредничество очков, привезенных вскоре из Англии, мешало общению с книгой, потому что, признаться, когда я читаю, либо пишу, я предельно откровенен, я снимаю маску, привычно носимую в жизни, я мысленно разоблачаюсь в приязненном склонении к тексту, а здесь меня вынуждали натягивать на глаза вспомогательные рогатки, отдалявшие меня от бумаги, от мысли, от языка. Я начинал замечать, что я все меньше и меньше читаю и совсем уже редко пишу.

Правда, в окулярах скрывалось то достоинство, что стоило приладить эти плетенки на лоб, как я мигом выключался из текущей мимо меня жизни. Я был недоступен в моем скафандре. Бывало, нацепишь,— и нет тебя совсем, и не было на свете. Как если бы в очках мы становились невидимыми. Я пристрастился временами даже спать в очках. Но чаще просто сидел, при всех доспехах, в забрале, ни о чем не думая, не помышляя взять в руки перо. Сквозь плотные стекла, предназначенные для чтения, для рассматривания букашек, комната вместе с мебелью тянулась бесформенной водорослью, какою зарастают аквариумы. Едва улавливалась волна шкафа, волна дивана, стола и двух с половиной музейных кресел. не ведавших, зачем их сюда занесло, когда б однажды я не треснулся коленкой об угол и не скорчился от боли в маленького карлика:

— На кой чорт они нужны?! Да в них я вообще ничего не вижу!

Не знаю, или английский мастер что-то не так зашлифовал и начислил в моих мизерных диоптриях, как требовалось по рецепту, или с непривычки глаза не лезли в прицельную камеру и дублировали действительность в расстроенном и перекошенном образе. Правым глазом, казалось, я шарил зажигалку, как всегда терявшуюся, сливавшуюся с диваном в его ковровом рельефе. А в левое очко... Но надо ли уточнять, что мне мерещилось тем же временем слева? Смех, пение, женские залиvistые переключки с мужчинами, закосневшие отложения извести по стенам, от которых, однако, я был отторгнут, отгорожен, выброшен в мир из родимого зверинца, как безбожный плевок, как кал из-под одичавшей собаки... Так, выражаясь суммарно, переносил я наследие, доставшееся от дедушки, от матери, от отца, от Авраама и Исаака...

\* \* \*

После выступлений Главного Прокурора и двух кооптированных КГБ, от писательской возмущенной общественности, партийных доброхотов, под несмолкаемые аплодисменты, я втащился в каталажку при судебском помосте только что не на руках. Нокаут! Опять нокаут!.. Адвокат, бледнея, третий день прибегал ко мне в перерывах, вместо тренера, удерживая от резкостей, от ответов судьё Л. Н. Смирнову, умоляя не задираться. У Смирнова, уверял он, либеральная репутация в западных прогрессивных кругах, так что ему некстати было бы испортить себе физиономию в Европе в роли ординарного сталинского палача, уже выходявшей к этому моменту из моды. Наше скользкое, писательское дело такому богу, как Смирнов, Председатель Верховного Суда РСФСР, явно не улыбалось и шло вразрез профилю авторитетного теоретика в области международного права, чего тот, в общем, по научной лестнице, с Нюрнбергского процесса придерживался. Все это была для меня какая-то галиматья, я не видел между ними различия, тогда как, по адвокатской догадке, Верховный Судья, на самом деле, сердцем, совестью и карьерой стоял на моей и Даниэля стороне и, играя в популярность на Западе, должен был, по идее, в мерах пресечения не завышать ставку. Сколько бы на судью Смирнова ни давили из КГБ, он сам — гора, рука — в ЦК, рука — в МК, в Президиуме, поймите — в Президиуме! и где-то там, у чорта в ступе, в Госплане, в Генштабе — еще рука!.. На руках Смирнова, как я понимаю, базировалась наша защита.

На мой-то поверхностный, непросвещенный взгляд, судья в нашем деле был опаснее любых обвинителей, едва, зашатавшись, гаркнули часовые, готовые упасть, со взведенными курками: — Суд идет! («Суд идет», «Суд идет», прокатилось по коридорам, и я вздрогнул — как взаправду: «Суд идет»...)

Адвокат успокаивал:

— Вам показалось! Никакой он не бурбон! Чистая видимость! Ездит за рубеж! Что ни год — на форум! Вице! Ждународные грессы ристов! Пейски широко разобанный! Ретик! Ральный, кагрица! Ральный, вам говорят! Ссивный, ктивный, манный, ящий Дья!..

Но я бы все равно за всем этим ему не доверился, когда бы в самом начале мой Следователь по особо важным делам, подполковник Пахомов, в сердцах, не обругал Адвоката:

— Какой он адвокат?! Где это ваша супруга, Марья Васильевна, откопала... такого... такое?.. — Он затруднился с эпитетом, но красноречиво поморщился:

— Есть ли допуск? Никто и не знает... в юридических кругах. Непопулярен. Нужно еще проверить. И почему-то, между нами, опять еврей? На мой вкус ... лучше бы... вместе, подумав, порассмотрев, мы с вами подыскали другого, настоящего защитника... А?

Прекрасный знак. Рекомендация. Если в КГБ не довольны — такого только и брать. Кое-чему, на ошибках, я с ними уже научился... В адвокаты? Причем тут?.. Ах, да, с Адвокатом накануне суда, в те редкие, сумеречные встречи наедине; когда не ясно, кто кого больше боится, я ли адвоката, адвокат ли меня, мы, вроде бы, наконец, поладили в цене — на признании невинности, которое в следственном деле уже лежало за мной серебряной монеткой, а он сперва не решался к ней притронуться и все оспаривал эти копейки, пока я не уперся и не сказал, озлясь, что уж лучше откажусь от его защиты, если на то пошло, и он, как-то сникнув, разом согласился. Естественно, на процессе не мог он и заикнуться, что подопечный его не виновен; не мог он также вдаваться в оценки и в анализ подсудных произведений, что грозило бы ему самому переселиться на нашу скамью; но подмахивать обвинению, как это давно повелось у нас, он тоже сумел избежать и, ни с кем не споря, в одиночестве, в презираемом, танцевальном искусстве Адвоката, старался руками держать свое бескровное, перевернутое лицо. И я не в претензии...

Один только зуб, в общем-то, у меня остался на Адвоката. Да и тот прорезался позже, через несколько дней,

когда я узнал с опозданием, что наш судебный процесс, оказывается, параллельно освещался в газетах, о чем Адвокат почему-то все это время умалчивал. Возможно, он дал подписку и опасался подслушиванья? Но ведь не о помощи речь, не о добрых откликах с воли сюда, за камень, на остров, где все произрастает в извращенном образе, прощенное через вешего Следователя по особо важным делам. Речь о советской печати, доступной каждому, где вас уже мешают с говном, и чего было, спрашивается, утаивать от меня Адвокату?

Как раз в дни суда газету в тюрьме перестали выдавать: перебой с почтой. А я не догадался, что это обычный ход и не почта, а Пахомов по должности перекрыл информацию, способную раздражить обвиняемого. У него, у Пахомова, был уже небольшой опыт с газетой. С «Перевертышами» Еремина в «Известиях», за месяц до процесса. Будто невзначай, улыбаясь, он подсунул мне тогда на допросе эту заказную статью с обычной, конечно, у них воспитательной задачей — сломать. — Кстати, Андрей Донатович, почитайте, что о вас «Известия» пишут. — И смотрит с любопытством... Но, переворотив тот густой навоз, я почему-то оживился: — О Пастернаке, — говорю, — и не то еще писали. Семичастный, сколько помнится, сравнивал поэзию Пастернака с лягушкой, квакающей в гнилом болоте. А Корнелий Зелинский, вернувшись из заграничной поездки, сделал доклад в Союзе Писателей, что одно лишь упоминание имени Пастернака на Западе все равно что, извините, в культурном обществе, за столом, издать непристойный звук. Так и произнес: «непристойный звук»...

Подполковник крикнул.

— Да. Вышла ошибка.

— С Пастернаком ошибка? — обрадовался я.

— Не-ет, моя ошибка, — сказал он вдруг просто и честно, как-то очень по-человечески. — Что дал вам прочесть... Раньше времени...

И вот, на время процесса, газеты от нас отрезали. Зачем Верховному Суду скрывать от подсудимых собственный правдивый оскал, уже означенный в печати? — это я понимаю. Да чтобы мы не огрызнулись. Не заявили, чего доброго, какой-нибудь протест перед тем же Верховным Судом. В нарушение объективности. Но Адвокат?! Куда смотрел Адвокат?... Что он — еще теплил надежду? Или опасался, — удостоверенный газетой, я буду держаться отчаянной, в противовес чьи с его концепцией и композицией защиты? Искренне желая спасти, он хватал меня за руки и не давал обороняться.

— Опять вы не так ответили Судье! Гол не в вашу пользу. Я же говорил: не спорьте со Смирновым! Спорьте, если хотите, с Тёмушкиным, с обвинителем. Это — ваше право. Тут мы ничем не рискуем. Но не трогайте, не раздражайте Судью!..

Я ничего не понимал. Просто у нас, вероятно, были разные задачи, и, разобщенные в судебной лапте, толком не объяснившись ни разу, мы с Адвокатом барахтались в словах, переставая узнавать окружающее. К тому же, накануне процесса пообещав встретиться, он словно провалился. И теперь, в антрактах, возникая из-под пола, интеллигентный Пьеро ломал пальцы и повторял:

— Вы топите себя в споре с Верховным Судьей! Топите! Наша цель — четыре. До пяти. Максимум. Не выше пяти. Вы угодите под амнистию. Годовщина. Юбилей революции. В 67-м всем до пяти — скинут. Не может быть, чтобы не скинули. Отсидите еще полтора, два, с половиной, три...

И вновь куда-то проваливался. Но потому, как день ото дня он увеличивал и увеличивал стаж, туманный, загадочный, в бледной немочи ко мне, я догадывался, что за кулисами происходит неладное. Там, в делириуме судьи Смирнова, среди непостижимых абстракций, что-то правилось и творилось. Летали аэропланы за каким-то еще дополнительным сотрудником, свидетелем из Средней Азии. Звонили по телефону. Давали радиogramмы. Сговаривались. Медленный ужас вставал в пепельных зрачках Адвоката. Нарушая положение, он шел по самому острию ледящей юридической бритвы, ухитряясь обходить роковой вопрос о виновности подзащитного обидным Суду молчанием, и тонко, еле слышным голосом, вел полемику, казалось, с самим собой, с умыслом или без умысла я печатался на Западе. Верховник Смирнов на него уже рычал. Прокурор, вообще, не удоставлял внимания. Нет, по тем временам, в нашем пропащем деле, Адвокат вел себя стоически. Только — зачем он утаил судебные отчеты в газетах?..

Все они вылезали на меня сакральными, из Сорочинской ярмарки, харями: Адвокат, Прокурор, Судья. Они были похожи: в их близости исчезала реальность. По сию пору, ночью, стоит закрыть глаза, они начинают не свои, не Богом данные речи. Как в паноптикуме — не веришь, для смеха, понарошку что ли, чтобы только застраховать?..

На Прокуроре я не буду специально останавливаться. Его образ несложен. В черной паре, жгучий брюнет, с белой-белой, как это встречается иногда у истовых брюнетов, кожей, до исподней синевы выбритый, начищенный брилли-

антином, мясистый, в сверкающих запонках, он смотрел гробовщиком или факельщиком в похоронной процессии и такого же подобрал себе черного, только ростом поплоче, Помощника Прокурора, на протяжении всей церемонии, кажется, не раскрывшего рта. Всем физическим обликом он был списан с натуры и не требовал усилий ума или какой-то психологии, укладываясь в прокрустово ложе своего декорума целиком и полностью, чего, однако, никак нельзя сказать о судьбе Смирнове, в довершение насмешки именуемом — Лев Николаевич. Тот, производя впечатление доброго кабана, толстый, как все добрые, посапывающий, будто ему чесали за ухом, читая наши бумаги, — вдруг, с клыками, бросался на подмогу Прокурору, едва мы, обвиняемые, что-то пытались возражать. Удары, им наносимые с председательского сиденья, были прямы и стремительны. Он просто не давал отвечать и налетал шквалом, не справляясь с УПК. И так же легко и внезапно, растоптав, выходил из атаки, успокаиваясь в мирном делириуме. И великодушно приглашал Прокурора продолжить перекрестный допрос.

Либеральная его слава таяла на глазах. Да он, должно быть, того и добивался, ставя на карту повернее европейской рекламы. В те боевые дни он думал не о нас, разумеется, и не с нами воевал. Что мы обречены, было ему известно, как число в календаре, и сроки обусловлены. Льва Николаевича, я полагаю, снедали иные заботы. Он сражался со своими соперниками, с недругами, где-то уже в Президиуме, на Олимпе, что из ревности ему и подсунули это скверное дельце. А ну, теоретик, покажи на практике наши достижения в области международного права! Какой ты у нас, на всю страну, либерал?.. И Смирнов оправдал доверие и вышел из борьбы победителем. Его ожидало кресло Верховного Судьи СССР.

Вскоре после процесса, в Доме Литераторов, на товарищеской встрече писателей с чекистами, он сделал научный доклад, подводя баланс операции:

— Подсудимые были — оба — с высшим образованием. Поэтому, как Председатель Суда, я помогал Прокурору!..

Как видим, Адвокат не ошибся: во всем была виновата европейская репутация либерального Льва Николаевича...

Стоит ли, однако, глотать химическую, ядовитую пыль судебного разбирательства, если сановные лица пройдут перед вами лишь хоромом теней, способных смутить неискруженного наблюдателя, особенно в нашем тогдашнем поверженном состоянии? Нет, и под маской самой кроважидной скрывается живая душа, нисколько не загрубелая, а более

мягкая и трепетная, пожалуй, чем это кажется на взгляд, со свойственными человеку мечтами и светлыми движениями, с разветвленной и сложной ведомственной игрой. А уж в домашнем, либо в дружественном кругу, может быть милее и отзывчивее вы не встретите собеседника, и все мы вместе ему в подметки не годимся. Даже молчаливый Траян, начальник Лефортовской крепости, откуда нас возили на суд под личным его досмотром, послушав протоколы, полистав прессу, не выдержал и открылся слабой своей половине:

— Да я бы их собственными руками пристрелил! Душа плачет!..

— А вы же знаете, — неизменно добавляла любящая подруга Траяна в салонах, куда они были вхожи, — вы же знаете моего Александра Андреевича — он мухи не обидит!

В развитие той же гипотезы о сердечности карателей сошлюсь на первую сцену из феерии «Зеркало», хотя сам я, признаться, с точно таким Следователем дела не имел и кое-что домыслил, опираясь на других очевидцев.

*«Он (примирительно разводя руками). ...И все-то он знает! Все превзошел! Кандидат наук! Сотрудник Института Мировой Литературы!.. Так как же, Андрей Донатович, будете давать показания?»*

**Я.** Какие показания?! Господа! Простите — граждане! Меня с кем-то перепутали! Оклеветали! Это — недоразумение! Ошибка! Страшная ошибка! Вот у меня *(взглянув на часы)* через десять минут лекция в Сорбонне. Представляете — в Сорбонне! Через десять минут. Нельзя опаздывать... Тем самым мы ослабляем наш интернациональный детант! Потом, извините, жена может волноваться. У нее сердце и нервы. Если... Если я немного здесь у вас засижусь... Вы знаете, у нас маленький ребенок. Необходимо известить! Хотя бы по телефону, знакомым... *(Все смеются)*.

**Он** *(внезапно посерьезнев)*. Все, кому надо, уже извещены. Не стоит горячиться. «Долгие проводы — лишние слезы», как сказано в старой поговорке. Читали Даля? Вот, вот. Народные поговорки обогащают русский язык... Кроме того, все от вас зависит. Живите с вашей женой. Читайте ваши лекции. Это законно, это разрешено — и жена, и лекции. Мы вас, если хотите, за четыре минуты доставим... Но что вы над собою наделали, Андрей Донатович! Зачем вы погубили свою молодую жизнь?!..

*(Свет меркнет. В кабинете устанавливается кроткое ко мне сожаление. По знаку Следователя все на цыпочках выходит. Тихо звучит танго «Брызги шампанского», напоминая*

*о вступительной партии. Упорхнувший последним, Оперативник быстро возвращается за позабытой на полу телефонной книгой. С его исчезновением свет вновь набирает яркой, белый накал). Ах, Андрей Донатович! Андрей Донатович! Вы думаете — мы не люди? (Утираясь рукавом). Думаете — не больно? У меня у самого маленький ребенок. Чуть побольше вашего. Звать Натальей. Знаете, утром или вечером подойдешь к кроватке. «Наташа, говорю, Наташа, папка пришел с работы». А она смеется, прыгает на своих маленьких ножках. Тянется. Еще беззубая, а уже тянется. «Папка! — говорит, — папка!» (Плачет, уронив голову на стол. Потом, всхлинув, тоненьким голосом запекает). «Топ-топ-топ, — топает малыш! Топает малыш!..» (Рыдания).*

**Я.** Да, да, я понимаю... Нам надо объясниться... И мне плохо, и вам нехорошо. Всем трудно. Я же вижу: интеллигентный человек. Чехова читали, Гоголя. «Вишневый сад», «Дядя Ваня»...

**Он** (подымая зареванное лицо). Так как же будем жить дальше, Андрей Донатович?!..

**Я.** В каком смысле — дальше?..

**Он.** Так будем давать показания? Или — нет? (Барабанит пальцами по письменному столу, но более твердо). «Топ-топ-топ, — топает малыш!..» Будем давать показания?!..

И впрямь, в лагере был у нас такой и теперь еще, верно, свирепствует голубой майор Постников, куратор от КГБ. Доправшивая, наказывая, он любил поплакать. Сперва, когда ребята развели о странной его повадке, у меня мелькнуло: да в уме ли наш Постников — на подобной работенке недолго и свихнуться?! Или — вечный обман, камуфляж, плод особой подготовки в расчете расстрогать, сбить с толку? С годами, однако, я научился рассуждать снисходительнее, допуская, что крокодиловы эти слезы бывалого куратора, которые случаются редко, но все ж таки случаются, вызваны той же, что и смех, потребностью души, жаждущей себя уберечь в условиях вредной профессии. Плачущий вызывает к нам: «да поймите же, взгляните, в глубине души я добрый, сострадательный, а не какая-то скотина, как вы меня рисуете в антисоветских, между собой, разговорах!..» Это, может быть, способ напомнить и себе самому: я — человек!.. Или соблности ре- номе... Внешность... И только много позже я начал различать в загадочных этих слезах не меру самоохраны, но искренний и неподдельный порыв сердца, оскорбленного в лучших чувствах. Не он жесток, а мы жестоки по



отношению к нему, подследственные и осужденные, мучающие попечителя нашими злобными кознями, упрямством, неблагодарностью. Мы, мы — палачи, в его страдающих глазах, и он с чистой совестью, чувствуя свою доброту, обижается за себя и оплакивает нашу неправду...

**«Он.** Как сейчас помню: детство, отрочество, как сказано у Горького... Вам повезло. Вы, Андрей Донатович, родились и выросли, нам известно, в городской, образованной семье. А я? я? — я вас спрашиваю... Отца не было: убит на фронте. Нас осталось пять человек детей. Я родом, между нами говоря, из-под города Борисоглебска...

**Я.** О! Борисоглебска?!

**Он.** Да. И у нас на всех — на пятерых — была одна пара валенок...

**Я.** Пара валенок?!

**Он.** Да. Но мы ходили в школу, и мы учились читать и писать. Тяжелые были годы, говоря между нами, Андрей Донатович. Разруха, коллективизация. Все это дорого стоит, дорого стоит... *(Задумывается)*.

**Я.** Конечно же! Разве я не понимаю. И, вы знаете, я не ожидал. У вас университетский значок? Два значка?.. Читали Чехова, Горького...

**Он.** Да-а... Бедная мать! Бедная наша мама! А ведь и у вас была мать, Андрей Донатович. Что бы вы ни писали в своих, мягко говоря, «сочинениях». Какая-никакая, но мать у вас все-таки была. Вы тоже человек. Была?

**Я.** Была...

**Он.** Ну так будете давать показания? Показания — я вас спрашиваю! Или вы навсегда потеряли стыд и совесть?..»

Нет, не мне тягаться в нравственности с поборниками порядка и власти, облеченными в броню морали более твердую, нежели все мои случайные и сомнительные мысли на сей счет. И я, продолжая мысленно защиту, сказал сам себе: ты — писатель! и все остальное не в счет! Пропадай пропадом, но будь собой, Абрам Терц. Не спорь с ними ни об этике, ни о политике, ни, упаси тебя, о философии или социологии, в которых ты все равно ни шиша не понимаешь. Сохранись в зерне, уйди под землю, сгинь наконец. Но пока еще жив — снимай жатву. И если погран человеческий образ, уйди в писатели, окончательно и бесповоротно в писатели. И — стой на своем...

Стыдно сознаться, но весь этот разговор в душе, между судом и следствием, и весь этот, если угодно, роман, сочиня-

емый в антрактах, для роздыха, в ожидании приговора, затеян единственно в качестве доказательства, что я — писатель. Я — писатель!.. Рассыпся в прах, воронье! Идите прочь!.. Забавляйтесь, сколько влезет. Растирайте с грязью. Предатель? Враг? Смердяков? Изверг рода человеческого? Иуда? Антисемит? Русофоб?.. Жид?! Жид?! Валяйте сюда и жида...

Под градом ругательств как-то уменьшаюсь — линия, линия. Перестая себя видеть. Все это вроде бы уже ко мне и не относится: «некрофил», «растлитель»... Страшно. Отсебятина. Отряхиваюсь. Ф-фу, чорт! И ничего не остается. Как объявили (и еще объявят) *матерубийцей*, и никто слова не замолвит, — о чем еще толковать? Спросят когда-нибудь: кто ты? кем был? как звать?.. Из гроба прошелестю: — пи-пи-пи-пи-писатель... Дайте мне бумажку, я чего-нибудь сочиню!..

**Он.** Побойтесь Бога, Андрей Донатович! Ну какой же вы писатель? На что это похоже? Сами посудите. На какой странице ни открою эти ваши, с позволения сказать, «опусы»: уши вянут! Разве это язык? Одна похабщина!..

**Я.** Может быть, у нас просто разные литературные вкусы?..

**Он.** Ага. Вы хотите сказать, у меня дурной вкус? Допустим. Но мы же на экспертизу давали. Ученые, писатели... Сергей Антонов, Идашкин. Академик Виноградов. Уважаемые имена. И все в один голос (*читает в своих бумагах*): «явная антисоветчина, полуприкрытая порнографией и безыдейным формализмом»!

**Я.** Ну Идашкина я писателем не считаю...

**Он** (*с ехидством*). А Чехова? Чехова вы считаете писателем?..

**Я.** Чехова? При чем тут?.. К Чехову я вообще...

**Он.** Вот именно — вообще! Вы к Чехову *вообще* отрицательно настроены. Это что у вас давно началось? Классовая ненависть? Личная зависть? Или, может быть, влияние зарубежных радиостанций?.. Признайтесь, Андрей Донатович! Вам сразу станет легче. Я уверяю вас, вам сразу станет легче.

**Я.** Да я вашего Чехова... Всегда с почтением — Чехов, «Дядя Ваня»...

**Он.** Вот видите — *вашего Чехова*! Значит, «наш» Чехов — уже не ваш? «Наши» и «ваши»? Нечего сказать! Ну и змею, извините за резкое выражение, вырастили в Институте Мировой Литературы. (*Встает*). Да, Андрей Донатович, да! Вы — правы! Чехов — наш. Чехова — мы любим. Мы *нашего Чехова* никому не позволим топтать

ногами! Народ не допустит, Андрей Донатович! Народ на вас смотрит! Народ!..

**Я.** Против Чехова я никогда...

**Он.** И вам не стыдно? А это что? (*Роется в бумагах*). Пожалуйста. Ваш пасквиль: «Графоманы». С вашим примечанием: «Из рассказов о моей жизни». Читаем: «Взять бы этого Чехова за его тощую бороденку...» Да как у вас язык повернулся?! И после этого вы смеете заявлять, что вы — писатель?.. Удивляюсь. (*Лезет в ящик стола*). Заполним протокол... (*В Зеркале над головой Следователя что-то мелькает. С шипением возносятся голубоватые струйки дыма. Слышится возглас: «Носилски! Носилки!» Ни я, ни Следователь не обращаем на это внимания*).

**Я.** Все не так! Это — не честно! Подтасовка! Это не я!..

**Он** То есть как это не вы?! Тут черным по белому сказано: «я», «из моей жизни».

**Я.** Но это же прием такой, будто из моей. Художественный прием!

**Он.** (*мрачно*). Известный прием и очень, очень художественный: террор!

**Я.** Да у него и фамилия там другая! Не моя! Посмотрите! Это же он про Чехова, а не я, не автор!..

**Он** (*смеется*). Ну вы мастер менять фамилии. Уж что-то, а переворачиваться вы умеете. Переворачиваться, изворачиваться.

**Я.** Но ведь я осуждаю этого человека, моего бедного персонажа, несчастного графомана... Это же всякому ясно! (*Вскакиваю*). Во-вторых...

**Он.** Те-те-те. Не торопитесь. И сядьте на ваше место. Вам некуда спешить. (*Смеется*). У вас впереди много свободного времени. «Тише едешь — дальше будешь», сказано в одной поговорке. Штудировали Даля? Нет? Напрасно, напрасно. Народные афоризмы украшают русский язык... Не всё сразу. Давайте по пунктам. Ничего не поделаешь — канцелярия. Учет и контроль. «Семь раз отмерь, один — отрежь». Значит так — первое: вы осуждаете свои террористические намерения...

**Я.** Не свои! Моего героя! И почему террористические?..

**Он.** Вот-вот: *вашего* героя. Уточним. Вы раскаиваетесь в призывах к террору, которые вы замаскированным образом вложили в уста вашего героя. Правильно я вас понял? (*Записывает*).

**Я.** Господи, вам говорят, это не мой герой, отрицательный, я не разделяю взгляды, я...

**Он.** «Я — не я, и лошадь — не моя». Так, что ли?! (*Смеется*). Ваш герой — и не ваш герой. А где, поинтересуемся,

у вас положительный образ? Где конструктивный, так сказать, бережный взгляд на Чехова? И чьи взгляды вы разделяете?.. Розенберга?!

**Я.** Какого Розенберга?

**Он.** Альфред Розенберг, идеолог и сподвижник Адольфа Гитлера.

**Я.** Вы что — совсем очумели?!..

**Он** (*спокойно*). Попрошу без оскорблений. С вами разговаривают как с культурным человеком. Вас культурно просят разъяснить ваши противозаконные действия. А вы — хулиганите. Предупреждаю. Все ваши выпады в адрес должностного лица мы занесем в протокол, а вы под ними поставите свою подпись — вот здесь. «Отольются кошке мышкыны слезы», как сказано у Дая.

**Я** (*отворачиваясь*). Ничего я не буду подписывать. Сами подписывайте свой террор. Да не забудьте сослаться на словарь Дая: «Бешеным псам — нет пощады»...

**Он.** Побойтесь Бога, Андрей Донатович! Вы никак — обиделись? Креста на вас нет! Да у меня просто манера такая — цитировать. Имея дело с писателем, иногда, знаете ли, впадаешь. «Век живи — век учись». «С кем поведешься — хе-хе! — от того и наберешься»... Может, вам, не дай Господи, помстилось, будто я какое-то там *давление* пытаюсь на вас оказать? Ну сами посудите! Какое давление? Какое?! Что я вам — угрожаю? Запугиваю? Бить собираюсь?..

**Я.** От вас, говорят, всего надо ждать...

**Он.** Нет! Не может быть! Неужто вы — вы! — на самом деле так подумали? так *могли* подумать? Я — не верю. Что ж мы не люди по-вашему, Андрей Донатович?! Кстати, не хотите ли закурить? (*Подходит, протягивает пачку сигарет, подносит зажигалку, я с опаской затягиваюсь*).

**Я.** Не то чтобы я думал... Но, понимаете, про вас, как бы это сказать, про ваш комиссариат с давних пор дурная слава... И вначале я даже был приятно удивлен...

**Он.** Приятно удивлены?..

**Я.** Что у вас не бьют. Ведь раньше-то у вас — били. И не то, что били. Пытали, мучили...

**Он.** Когда — раньше?

**Я.** Ну — при Сталине.

**Он.** При каком Сталине?

**Я.** Как при каком? При Сталине здесь — били. Это все знают. Об этом даже ваша «Правда» писала!..

**Он** (*с упрехом*). Вот опять — *ваша!* *Ваш* Чехов, *ваша* «Правда»... Не хорошо — не хорошо. Не достойно. (*Расхаживает по кабинету. Приосанясь*). «Правда», Андрей

Донатович, это — официоз. Центральный орган, с которым никто не спорит. Но нужно же иметь и свое мнение! Пора иметь собственное мнение, Андрей Донатович!.. И кто вам все это внушил: бьют, пытаются?.. У вас какое-то совершенно превратное, тенденциозное о нас представление. Ну кто вас бьет?

**Я.** А что вы скажете — при Сталине — не применялись пытки? Не было, по-вашему, нарушений законности в период культа личности?..

**Он.** Не знаю, не знаю. Я здесь тогда не работал и ничего не знаю... Все это очень преувеличено. Все это раздуто нашими идейными противниками, и не только идейными, Андрей Донатович. Но как вы могли, как вы можете всей этой ахинее верить? — вот чего я не пойму. Вы же наш человек, Андрей Донатович?!

**Я.** Наш человек?

**Он.** Разумеется. Вы — наш человек. Не считаете же вы себя врагом нашей Родины.

**Я.** Не считаю.

**Он.** Ну вот, ну вот. Мы и договорились. И мы вас не считаем, между нами говоря. Неужели вы думаете, что если бы вы были врагом, настоящим врагом, мы тут с вами вот так бы сидели тихо-мирно, как интеллигент с интеллигентом, и беседовали о каком-то искусстве, о литературе?.. Не хотите ли минеральной воды? Или, может быть, лучше чаю? Кофе?

**Я.** Если можно — чай.

**Он.** Одну секунду. *(Снимает телефонную трубку)*. Кто? Дежурный? Срочно, в кабинет 333 — чаю! *(Ко мне)*. Вы предпочитаете — крепкий?

**Я.** Если можно — крепкий.

**Он** *(в телефон)*. Крепкого чаю! *(Ко мне)*. С лимоном? Со сливками? По-английски?

**Я.** Нет-нет. Просто — крепкий.

**Он** *(в телефон)*. Просто крепкий! Шоколадные конфеты первой категории! Сахар! Печенье! Варенье! Сигареты! *(Ко мне)*. Вы что курите?

**Я.** Если можно — «Беломор». Или — «Лайнер».

**Он** *(в телефон)*. Две пачки «Лайнера» и две «Беломора»! Спички! Мигом! Одна нога там — другая здесь!.. Что это значит — нет «Лайнера»? Позаймствуйте в буфете! Что?! В гастроном! Как это некого послать? Направьте Чехова! Он у вас там все равно груши околачивает! То есть как это не в состоянии? Передайте от моего имени — уволим на пенсию! Быстро! *(Вешает трубку. Ко мне)*. Так что же — вот-вторых?

**Я.** В каких во-вторых?

**Он** (*проглядывая бумаги*). Вы подтвердили, что, во-первых, осуждаете свое преждевременное клеветническое заявление о Чехове, призывающее к расправе над русской культурой. А во-вторых?..

**Я.** Неправда! Это — искажение! Я сказал..

**Он.** Согласен! Я все допускаю, Андрей Донатович! Но не станете же вы отрицать, что где-то в глубине души — ну, в самой глубине, — вы, мягко выражаясь, недооцениваете Чехова? Клянусь, об этом у нас имеются, вот в этом ящике стола, вполне проверенные, точные, сведения. Что ж теперь нам прикажете, по вашей вине, привлекать к судебной ответственности ваших друзей, свидетелей, ваших, между прочим, студентов, Андрей Донатович, за дачу ложных показаний? Где ваше сердце? Человеческое сердце! Откройтесь! Признайтесь! Уверю вас — у вас с груди прямо камень упадет... (*Обращаясь к двери, хотя стука не было слышно*). Да-да, войдите! (*Входит колонна тех же оперативников, сплошь переодетых уже в цивильное платье. У некоторых из-под брюк видны сапоги, у одного на голове застряла впопыхах фирменная голубая фуражка. Передний держит на подносе стакан чая. Вторым — сахарницу. Третьим — банку с вареньем, и т. д. Последний, самый маленький и зачуханный, тащит папирсы, попеременно роняя то одну, то другую пачку. Под негромкие звуки браваурного марша: «Броня — крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны!..» процессия торжественно обходит сцену.*)

**Второй оперативник** (*с сахарницей, отделившись от группы и щелкнув каблуками*). Товарищ подполковник, полковник сказал: шоколадные конфеты первой категории — в цейтноте! За неимением... (*Тот досадливо машет рукой, и при этом взмахе стол и фигура Следователя погружаются в полумрак, так что дальнейшие движения и речи оперативников ко мне как бы его не касаются*).

**Первый оперативник** (*поднося стакан чая, интимно и таинственно*). Рекомендую вам, товарищ Синявский, с нашим подполковником вести себя как можно осторожнее. Форменный чорт! Он, знаете, кого допрашивал? Он Пеньковского допрашивал. Он самого Абакумова на Луну отправил! Будьте начеку!

**Второй** (*с сахарницей*). Ваш лучший друг, с воли, не называю по имени, вы сами знаете — кто?! — велел перелать — крайне, крайне конспиративно, — что пора сдаваться. Все равно — просил он передать — они всё, всё про нас знают!..

**Третий** (*с вареньем*). Ваша семья в опасности!..

**Четвертый** (*не известно, с чем*). Подготовьтесь к самому худшему...

**Первый** (*вмешиваясь*). Завтра же освободят! Только ведите себя разумно...

**Второй**. Едва ли, едва ли...

**Третий**. Отсюда еще никто и никогда не возвращался...

**Пятый**. Они все могут!..

**Шестой** (*самый маленький, с папиросами, шепотом*). Я сам из бывших. Привет от Чехова. Он тоже советует лишний раз не залупаться. Сгноят!

**Я**. От Чехова? Антона Павловича?!..

**Шестой**. Секрет! Большой секрет! Но Чехов советует лишний раз не залупаться. Желаю успеха!..

(*Шестые удаляется под ту же музыку. Следователь — в поле света — протирает глаза, будто проснулся.*)

**Он**. Очнитесь, Андрей Донатович! Сбросьте узы, которые вам мешают говорить со всей откровенностью! Будьте Человеком с большой буквы! И вам сразу станет легче... «Мы отдохнем, мы отдохнем!»

**Я**. Ах да! Опять Чехов! Милый Чехов! Знал бы он... Вы знаете, гражданин следователь...

**Он** (*мягко*). Меня зовут Николай Иванович.

**Я**. Знаете, Николай Иванович, я действительно до сих пор, по-видимому, как-то недооценивал драматургию Чехова... (*Он быстро записывает*). Мне жаль, но бывает же так. Допустимы же разные склонности. Пускай ошибочные, субъективные. Один любит больше Чехова, другой — Гоголя. Разве это преступление? С вами такого разве никогда не бывало, Николай Иванович?..

**Он**. Конкретнее, конкретнее! Что вы имеете в виду? Какие политические выводы хотите вы сделать из своих ошибок?

**Я**. Ну, предположим, одно художественное произведение вам нравится, а другое не очень. С вами не случилось?

**Он** (*сдерживая ярость*). Со мною случалось. Со мною все случалось. Я и на фронте воевал, уважаемый Андрей Донатович! Я после фронта с бандами боролся в Закарпатской Украине. В Литве. В Венгрии...

**Я**. Но я не про то. Вы же меня обвиняете, что я Чехова недооцениваю. А вы лично, Николай Иванович, кого предпочитаете — Чехова или Гоголя?

**Он**. А я всех предпочитаю. Всех. И не пудрите мне мозги! Пока что я вас допрашиваю, а не вы — меня. Извольте отвечать. И без увеливаний! Без этих ваших выкрутасов!

**Я.** А вот Лев Толстой, например, утверждал, что драматургия Чехова даже хуже, чем драматургия Шекспира. А Шекспира он вообще...

**Он.** Но вы же не Шекспир?

**Я.** Ну, конечно, я не Шекспир, кто же спорит?

**Он.** И не Лев Толстой.

**Я.** И не Лев Толстой, разумеется. Но вы бы Толстому в подобной ситуации — рассуждая отвлеченно — инкриминировали Шекспира? Или — Чехова? Или — как?

**Он** (*жестко*). Вот именно — или как! Мы, Андрей Донатович, с вами здесь не отвлеченные вопросы решаем. А вполне конкретные, политические диверсии, которыми вы занимались на протяжении десяти лет вашей подпольной работы... А до Шекспира мы дойдем, не беспокойтесь. И Лев Толстой от нас с вами никуда не убежит. И Гоголь. Мы до всего доберемся. Постепенно, поэтапно... Итак, вы признаете, что уже давно, со студенческих, может быть, лет, ненавидели Шекспира и Чехова, в особенности патристические пьесы последнего — «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Три сестры», которые пользуются заслуженным успехом в постановке театра МХАТ даже за рубежами нашей необъятной Родины... Не так ли? Даже заклятые враги социализма признают патристическую силу этих творений, в то время как вы...

**Я.** Заодно с белогвардейцами...

**Он** (*хлопает по столу*). Не валяйте дурака! Я старый чекист! Да мы таких к стенке ставили в 18-ом году! Без дискуссий!.. (*Из Зеркала начинает валить белый дым, но Следователь не замечает, надвигаясь на меня с нарастающим по ходу речи, нарочитым раздражением*). Вы что здесь — на курорте? Чаек попиваете? Варенье? Печенье? А мои дети во время войны сливочного масла не видели! (*Терзает китель, будто ему душно*). Да я за Чехова, может быть, кровь проливал! Людей из землянок, из-под земли, огнем выкуривал!.. (*Дым усиливается. В Зеркале блещет вольтова дуга и слышатся приглушенные выкрики: — «Кассету! Не та кассета! Опять ты, Папка, напортачил! Это же Пушкин! Пушкин, тебе говорят!..»*) Следователь в недоумении хлопает глазами. В то же мгновение раздается пронзительный телефонный звонок. Снимает трубку). Слушаю. Кто?!. (*Подтягивается*). Я на проводе... Все в порядке... Нормально. Протекает нормально... Как?.. Виноват. Исправлюсь! Будет сделано! Будь-сде!.. Заверяю: будет исправлено... Ну что вы! чисто педагогически. Превентивные меры... Нет, еще не дошли... Понял. Вас понял. Сию же минуту... Ясно. Рад стараться!.. Есть! (*Кладет трубку. Свет в Зеркале меркнет*).



*Следователь выходит на середину сцены, закуривает. Руки у него трясутся. Ко мне).* ...Ну, так что?..

**Я.** Что — что?

**Он.** ...Тяжело с вами, Андрей Донатович! Тяжелый вы человек. Как еще ваша жена терпит? Нет в вас чуткости. Нет этого самого, элементарного чувства дружбы, сотрудничества, доверия к человеку. Все стараетесь доказать свое «я». Скромнее надо быть, скромнее... Проще. Вот вы меня чуть до инфаркта не довели...

**Я.** Я — вас? До инфаркта?

**Он** (*подходит к аптечке, что-то нюхает и жует*). Да-а. Чуть мне в горло не вцепились. (*Передразнивает*). «Чехов! Чехов!» А кому нужен этот ваш, извините за выражение, Чехов? Пристали, как банный лист...

**Я.** Но вы же сами!.. Только что, вот здесь, меня к стенке хотели... За Чехова!..

**Он.** Так уж сразу и к стенке?.. Так уж и за Чехова?.. Или вы притворяетесь, как всегда, или я не знаю, за что вам дали высокое звание кандидата литературных наук. Вы что — маленький? Вы что — не понимаете? Разве в Чехове дело? Нет! Смотрите глубже. Шире. Не в Чехове соль...

**Я.** Да где ж тогда? В чем?..

**Он.** И вы не видите? До сих пор не поняли? Нет? Ну, если хотите — исключительно из личного к вам расположения, — я помогу, подскажу... Так уж и быть. Начинается — на «пе»!

**Я.** Как это — на «пе»?..

**Он.** Да что вы — ребенок, что ли? Побойтесь Бога. Состав — состав вашего преступления — начинается на «пе»! Даже могу для вас пойти дальше, сказать больше — переходя уже почти границу доверенной мне, государственной тайны: начинается — на «пу». Из шести букв. Одно слово. Все еще не догадались? Бедный! Он боится произнести! Младенчик! Ну давайте вместе. Пу-у-у...?

**Я** (*выпаливаю*). Пурген?!

**Он.** Какой еще — Пурген? Планета, что ли? Нептун. Плутон. Я что-то не припомню...

**Я.** Да нет, по медицинской линии. Что-то вроде очистительного...

**Он.** А что, Андрей Донатович, у вас связи в медицине? И давно? Э-то что-то но-вень-кое! Ин-те-рес-но! Ну и что вы делали вместе с этим Пургеном?

**Я.** Ничего не делал. Просто в голову пришло. Название такое. Лекарство. Из шести букв. Пурген.

**Он.** А-а-а... А я, признаться, уже подумал... Эге-ге, подумал, наш-то Андрей Донатович, шалунишка, метит куда

выше наших скромных предположений. Вы не обижайтесь. Ведь история науки знает много подобных казусов. Отравления колодцев. Водоемов. Ликвидация ответственных работников токсикозным способом под видом госпитализации. За медициной в наши дни, между нами, — ох, какой глаз нужен за медициной в наши дни! (*Переходя на шепот*). Ведь у них — в шкафах — все яды! Я-ды! Под видом лекарств. Вот вы думаете — я знаю, я заранее знаю все, о чем вы думаете, — что нет и не было никогда этих, с позволения сказать, «врачей-убийц». Выдумки, дескать, пустые звуки. И правильно делаете, что так думаете. Пока что, в данный политический момент, — так и надо считать. Но мы-то, мы-то — знаем! Вы не знаете, поскольку вам не положено. Но мы-то — зна-ем! Бы-ли! Не все, конечно. Но были — врачи-убийцы. И кому, если не нам, посудите сами, об этом помнить?..

**Я.** Но не меня же! Не меня, гражданин следовательно, Николай Иванович, не меня — подозревать в отравлении! Кого я мог отравить? и чем? — пургеном?..

**Он.** Всякое бывает... И потом, Андрей Донатович, — у каждого из нас есть своя в жизни романтическая мечта... Однако вернемся к нашим баранам, как говорили древние. Начнем сначала. Первый блин комом. Напоминаю вторично: на «пу», из шести букв. Пу-у-у?!..

**Я.** Пудель!

**Он** (*подумав*). Собака?

**Я.** Да — собака. Есть такая порода собак — пудель.

**Он.** И вам не совестно? Я краснею за вас, Андрей Донатович. Вы же — мужчина! Мужчина! Не хотел бы я сидеть когда-нибудь на вашем месте, но если бы довелось — честное, благородное слово, — я бы не вилял, я бы не хитрил, я бы не придумывал «пуделя». И я бы не смеялся. Потому что хорошо смеется тот, Андрей Донатович, кто смеется последним. Я бы сказал, глядя правде в лицо, такому же прямому, каким бы вы были на моем месте, стражу закона и долга, сказал бы, как мужчина мужчине: да, вот здесь я виноват, очень-очень виноват, каюсь, а с этой стороны, с Чеховым, увольте, не причастен. И вы бы тогда, уже за одну эту мою бескомпромиссную правдивость, за мужскую прямоу, меня под честное слово отпустили бы, промолвив: езжай-ка ты, братец, Николай Иванович, домой, к своей семье, к ребенку, который без тебя скучает, и больше не глупи! Но так унижаться, как вы сейчас унижаетесь, со своим «пуделем»? — нет, я бы не стал. Лучше принять и вытерпеть любое наказание... Вижу-вижу, по глазам вижу: вы всё еще надеетесь, что это пройдет, что это сон какой-то, мираж —

пудель, пустяк, пудинг, пупырь?! А это — реальность, Андрей Донатович. Я говорю вам об этом, потому что искренне желаю добра. Ре-аль-ность! И поэтому, для облегчения вашей совести, вашей участи, еще раз, в третий раз, попробуйте вспомнить. «Пу», слово на «пу»! Могу, если хотите, еще немного уточнить. Намекнуть... *Писатель!* И никуда уже не денетесь: у вас на прицеле писатель на букву «Пу». И ни «пурген», ни «пудель» не имеют к нему, можете мне поверить, никакого отношения. Ну вдумайтесь, соберитесь с мыслями, напрягитесь! У вас последний шанс в жизни сказать правду. Повторяю: писатель, классик, русский классик, из шести букв...

**Я. Пушкин!**

**Он** (*откидываясь в кресле*). Наконец-то! Правильно: Пушкин!.. Тот самый Пушкин, который, следуя вашим словам, где это? (*роется в бумагах, цитирует*) — «на тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох...» (*Хохочет*). Откуда вы это взяли, что у Пушкина, вдруг, эротические ножки?.. Ну да ладно, ладно! Всею свое время... Поймите, Андрей Донатович, этим словом из шести букв, в данную минуту, в последний момент, вы, может быть, спасли свою жизнь. Пройдут годы, десятилетия, и вы еще вспомните с благодарностью этот день, это чудное мгновенье, и скажете мне спасибо за то, что я заставил — нет! — уговорил вас сказать правду. Ваш прямолинейный ответ — «Пушкин!» — зачтется вам и в окончании следствия, и в определении приговора. «Пуделя» и «пурген» мы не занесем в протокол. Мы не злопамятны. Но «Пушкин» уже всегда, вечно будет стоять — как облегчающее вашу вину чистосердечное признание! Поздравляю! от всей души поздравляю!..

**Я** (*обеспокоенно*). А как же Чехов? Чехов все еще на мне?..

**Он.** Да нет сейчас никакого Чехова! Плунуть и растереть! Чехов — мелочь. Опечатка. Чепуха. Просто под прикрытием Чехова вы протаскивали куда более далекие планы и виды на Пушкина. Пушкин — вот в чем суть! Пушкин — ведь это целый континент! Широкий горизонт, свободное дыхание — Пушкин! Вы же сами, как художник, тонко чувствующий звуки, должны понимать, что Чехов — не звучит. Подумаешь — какой-то Чехов! Пхе! Кто его помнит — комика, нытика. Вроде Зощенки. Но Пушкин! Пушкин! — это... Эпопея! Эпоха!.. (*Пауза*). И уж Пушкина-то мы вам в обиду не дадим. Пушкина — мы любим. На Пушкине все сойдутся. Пушкин всем дорог как национальное достояние. И вот

здесь-то мы вам, дорогуша, с вашего позволения, дадим по лапам. По лапам! По когтям! А не ходи в наш садик! А не прогуливайся под ручку с неизвестными душеведами из иностранного посольства вокруг нашего нерукотворного Памятника! (*Смеется, переходя на резкую, гневную интонацию*). Это вам не царский режим!

**Я.** Пойдите! (*Озаренный внезапной догадкой*). Вы давеча то же самое о Чехове говорили. Вернемся к Чехову...

**Он.** Но вы же сами признались — Пушкин.

**Я.** Нет, Чехов. С Чехова все началось.

**Он.** Кончайте митинговать!.. Вы почему нашему Пушкину приписали тонкие ножки? Откуда вы знаете, какие у него были ноги? Вы что с ним, в бане мылись? Да после таких слов вы просто второй Дантес! В чьих интересах вы занижаете немеркнувшее значение Пушкина?!..

**Я** (*упершись*). Значение Чехова я всегда преувеличивал.

**Он** (*не слушая, с пафосом*). В то время, как во Франции Де Голль рвется к власти, в тот момент, когда в Новой Гвинее свирепствует мировая реакция, ваши злобные нападки на Пушкина, по указке Пентагона, льют воду на руки сторонников холодной войны. Вы играете краплеными картами на мельницу противников в нашей разрядке международной напряженности. Расовой дискриминации! Классовой стабилизации! Нацизма, маоизма, сионизма и абстракционизма! Да как вас только земля еще носит?!.

**Я.** Напротив, абстракционизму Чехов хотел...

**Он.** Мало ли что хотел! Но существует логика, Андрей Донатович. Логика истории. Логика международной борьбы. А логика,—говорят факты,—упрямая вещь. Учитесь мыслить! Мировой империализм спит и во сне видит, как бы выбить у нас из-под ног великое наследие Пушкина и подставить вместо него какой-нибудь гнилой коктейль-холл, какой-нибудь конан-дойль...

**Я** (*не слушая*). Вместе с Чеховым мы ставим барьер холодной войне и переходим на горячую. «Три сестры» зовут братские народы Гвинеи: в Москву! в Москву!.. Ванька Жуков, кидая гранату, кричит империалистам: вам «Епиходовский сломал», а нам «дом с мезонином» и «небо в алмазах»!..

**Он.** Тоже мне сравнили! «Капитанская дочка» у Пушкина — на тачанке — строчит из пулемета...

**Я.** «Каштанка» Чехова — кавалерия. Вперед, Каштанка, ура!

**Он.** Тяжелые орудия бьют без промаха: «Борис Годунов», «Борис Годунов»...

**Я.** «Чайка»! Забыли? Авиация!

**Он.** Разведка и контрразведка — «Мцыри», «Мцыри»...

**Я.** Так не играют! «Мцыри» это Лермонтов!

**Он.** Какой же это Лермонтов?.. Ну и пусть Лермонтов. А с вашей «Каштанкой» вы забыли главное! Вы забыли «Евгений Онегин». Ведь «Евгений Онегин» — это глобальная ракета на голову Америки! После «Евгения Онегина» от ихних небоскребов только барахло собирай...

**Я.** А все же Чехов...

**Он.** Не Чехов, а Чушкин!

**Я.** Не Чушкин, а Пехов!

**Он.** Нет, Чушкин!

**Я.** Нет, Пехов!..

*(Включается ровный шумовой фон, заглушая наши голоса. Речь переходит в жесты, спор — в пантомиму. Мы снимаемся с мест, бегаем друг за другом по сцене, отчаянно доказываем, рвем на себе волосы, камзолы, хватаемся за сердце и яростно артикулирующими ртами произносим что-то ужас неслышимое. Допрос в это время напоминает дуэль — фехтование на шпагах из «Капитанской дочки». Однако нападающий он, а я защищаюсь, парирую удары, увертываюсь, отступаю... На фоне негромкого ровного шума и наших танцевальных па, все перекрывая, вступает далекий и очень чистый женский голос — контральто — поющий романс Глинки на слова Пушкина.)*

**Голос.** Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты!

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты,

Как гений чистой красоты...

*(По мере звучания этой ангельской музыки я начинаю тревожно прислушиваться, озираться, как если бы что-то смутно до меня долетало, хотя голос звучит недосыгаемо для нас, где-то за нами и над нами, и фехтование продолжается, затягиваясь, быть может, на несколько часов, дней, а то и на несколько лет. В итоге этих оглядок и явного превосходства противника, я отступаю и падаю, сраженный его беззвучным, неопровержимым жестом-аргументом. Он подхватывает меня, усаживает, подносит нашатырный спирт из своей настенной аптечки. Музыкально-шумовая, сумеречная завеса спадает, мы вновь возвращаемся к трезвому свету дознания. Я прихожу в себя.)*

**Он.** Ну вот и прекрасно! Как вы себя чувствуете? Голова не кружится? Не хотите ли прилечь? Мы можем вызвать врача, Андрей Донатович...

**Я.** Не надо... Спасибо... Уже прошло... Просто мне что-то послышалось... помутилось... Никто не пел? Вы не слышали?

**Он.** Когда?

**Я.** Вот только что, где-то здесь,— никто не пел?

**Он.** Бог с вами! Кому здесь петь?.. *(Смеется)*. У нас не филармония... Вы слишком восприимчивы... Не о чем беспокоиться. Все идет как надо. Как быть должно. И хотя нам с вами пришлось много поработать сегодня и поспорить, большая часть неприятностей уже позади.

**Я.** Уже все кончилось?

**Он.** Ну — не все. Но почти все. Вы же удостоверили факт вашего... ваших, как бы это сказать, недостаточно правильных формулировок, касающихся Пушкина?

**Я.** Правильных? К Пушкину вообще неприложимо это понятие — правильные формулировки...

**Он.** Вот и хорошо. *(Записывает)*. Ол-райт, как говорят англичане... И потом, вы же согласились, что, рассуждая строго логически, вы, возможно, сами того не желая, не подозревая, играли на руку нашим — и вашим, Андрей Донатович, — и вашим недоброжелателям!..

**Я.** Кто знает заранее, кому он играет на руку? Даже, вероятно, сам Пушкин не ведал...

**Он.** Великолепно сказано! *(Записывает)*. Не знаю, как у вас, но у меня к вам, в результате нашего содержательного собеседования, несмотря на отдельные и даже принципиальные разногласия, появилось чувство какого-то душевного контакта. Взаимопонимания, взаимопомощи. И я вам стараюсь помочь во всем, что в моих силах, и от вас жду такой же ответной поддержки. Но ведь так и должно быть между людьми? Не правда ли? Как вы считаете?

**Я.** Я не совсем улавливаю. У меня как-то все перепуталось в голове. Смешалось...

**Он.** «Все смешалось в доме Обломовых» *(смеется)*. Бывает, бывает. *(Доверительно)*. Но было бы нежелательно, крайне нежелательно, если вы собственные ваши признания воспримете словно какую-то внешнюю обузу, чуть ли не навязанную вам насильно с нашей стороны. Всякий человек обязан самостоятельно прийти к жизненно-важным решениям. В том числе к пониманию своей виновности...

**Я** *(вздвигнув)*. Но я же не признал себя виновным.

**Он.** То есть — как это? Невзирая на факты?

**Я.** Невзирая на факты.

**Он.** Вопреки логике вещей? Логике истории?

**Я.** Пускай хоть вопреки логике. Не признал.

**Он.** Ну, знаете ли!.. Впрочем, воля ваша. Угодно капризничать — пожалуйста. Вам же хуже будет. Да и не вам,

в конце концов, определять степень своей виновности. Для этого есть иные инстанции... С вас на сегодня хватит.

**Я.** Так я свободен?

**Он.** На сегодня — свободны.

**Я** (*вставая*). Я могу идти?

**Он.** Куда идти?!

**Я.** Ну я не знаю — домой?

**Он.** Вы шутите! Мы с вами только-только начали разговаривать. Только во вкус вошли. А вы — домой!

**Я.** Что же со мной... делать теперь?

**Он.** Как — что делать? Судить будем, судить.

**Я.** А когда? Нельзя ли поскорее?

**Он.** Ишь вы какие быстрые! Да у нас сегодня, Андрей Донатович, самый первый, самый предварительный день допроса.

**Я.** И много еще допросов?

**Он.** Это от вас зависит. Исключительно от вас.

**Я.** Нет, я хотел узнать, сколько примерно дней допрашивают, ну, таких, как я, — до суда?

**Он.** По-разному. Сто допросов. Двести допросов. Всё в руках человеческих...

**Я.** Сто допросов?!

**Он.** Да. А сегодня — первый. (*Снимает трубку*). Дежурный? Заберите подследственного! (*Ко мне*). Да вы не волнуйтесь: мы во всем разберемся. Во всем. Нет ли у вас каких-нибудь жалоб ко мне? Дополнений? Разъяснений? (*Встает*).

**Я.** Нет. У меня ничего нет.

(*Входят три оперативника, из той же группы, в военной форме.*)

**Он.** Произведите общий досмотр заключенного. Раздевать не надо. Потом. (*Ко мне*). На все ваши вещи будет составлена опись. Можете не сомневаться: у нас ни одна нитка не пропадет!

(*У меня забирают портфель, извлекают оттуда книги, тетради, снимают часы, ощупывают, охлонывают, выворачивают карманы и все складывают на край стола, перед следователем. Под конец снимают ремень.*)

**Я.** Зачем же ремень? Как же без ремня?

**Первый оперативник.** Так положено.

**Второй.** А это, браток, чтобы не удавился.

**Третий** (*еще раз проверяя карманы, полушепотом*). Не тушуйся! Может, еще отпустят...

**Он** (*из кучи на столе брезгливо берет двумя пальцами носовой платок*). А это еще что у вас?

**Я.** Носовой платок.

**Он** (*еще брезгливее*). Можете взять обратно. (*Через помощников платок возвращается ко мне. Все вещи, вперемешку, складывают в портфель и уносят*). До завтра, Андрей Донатович! Вас, я полагаю, покормят. Желая вам доброй ночи. Приятных снов.

**Первый оперативник** (*шипит*). Руки!

**Я**. Что — руки?

**Первый**. Руки назад. (*Меня выводят*).

**Он** (*несколько секунд стоит в неподвижности, трет лицо ладонями, как человек глубоко уставший*). Ну и денек! (*Набирает номер по второму телефону*.) Товарищ генерал?! Да, это я беспокою. Код 686. Разрешите доложить? На сегодняшний день — закончили. Что?.. С большим удовлетворением... Расколется — куда ему деваться? Уже поддается... Да, да, многое признал... Но ведь только начали, товарищ генерал! Только самое начало!.. (*Вешает трубку, подходит к моему столику и выпивает остывший чай, который оставался нетронутым*). «Мы отдохнем, мы отдохнем!» (*Снимает другую трубку*). Дежурный? Приведите следующего! Ну из этих, из свидетелей. Давно ждет? Полтора часа? Ничего — это ему на пользу! (*Вешает трубку. Прохаживается*). «Мы отдохнем...»

(*Занавес*)

\* \* \*

В ожидании приговора нас развели по камерам. Верховный Суд не спешил объявить свое грозное слово. Пауза непропорционально затягивалась, потому что приговор был, конечно, уже готов и нуждался лишь в длительной выдержке, создающей торжественный образ, будто в напряженном антракте его тщательно вырабатывают. Как в такие часы ведут себя другие арестанты, я не знаю. Но после бесплодной борьбы и очевидного проигрыша мной овладело спокойствие обреченного, скинувшего тяжесть забот на шею чужого дяди. Обещанный семерик лагерей плюс пять ссылки, как затребовал Прокурор, простирались впереди настолько необозримой равниной, что проще было вообще об этом не думать, нежели с нетерпением ждать увенчания Суда.

Не я первый, не я последний. Приговоренные к высшей мере, как правило, не допускают, чтобы их всерьез расстреляли. Случается, в минуту выслушивания они смеются, думая, что над ними подшучивают. Томление, говорят,



начинается уже в смертной камере... Двадцатилетники и двадцатипятилетники, дожившие до нашего плаванья, лишь иронически похмыкивали, когда им лепили срока. Они ждали скорее светопреставления, чем рассчитывали отсидеть предусмотренное. Теперь они, постарев, досиживая остаток, потешались над молодой, забубенной своей головушкой, не верившей, что такое возможно. Каждый из нас по-своему спорит с правдой, выходящей за границы рассудка.

По неопытности, сдуру, покуда не пожаловал суд, я стал качать права у коменданта, уговаривая побыстрее перевести Даниэля ко мне, либо меня к Даниэлю. Такой порядок, я слышал, всегда практиковался в конце судебного мытарства. Подельников на последних сводят вместе, в одну камеру, как ненужный уже суду, отработанный шлак. До той поры из Лефортова и назад, на ночь, меня с Юлием возили в разных воронках, чтобы мы не перекрикнулись. Сейчас, по-видимому, эта надобность отпала, и нас без греха могли бы соединить. Но чем настойчивее, естественно, я просился к Даниэлю, тем вернее отрезал себе всякую надежду на встречу. Тюремщики любят следовать путем, обратным страстному надоеданию арестованного. Вот если бы мы разругались, поссорились вдребезги, как это нередко случается с обезумевшими однодельцами, нас держали бы теперь вместе взаперти: пусть перегрызутся! Я еще не усвоил, кто мы на самом деле в их разгневанных, похолодевших очах. Наш союз с Юлием почитался у них вражеской вылазкой, буржуазной пропагандой... Они согласно кивали головами: «— Да, да, Даниэля к вам безусловно переведут... Это уж такое правило. Закон. Не беспокойтесь. Потерпите еще немного...» Потом: «— Понимаете, какая беда — не нашлось конвоя. То есть, мы дали, конечно, конкретное указание. Но комендант забыл или перепутал. Я помощник коменданта. Уверю вас, в Лефортовском изоляторе вы непременно встретитесь. Успеется, насидитесь еще вместе, вдосталь, еще надоест, куда вы оба торопитесь?!» И разъединили уже прочно, надежно, до окончания лагеря... До сей поры не пойму, чего они так опасались?

Мне лишь бы на общей тризне обняться с Даниэлем, разведать о здоровье, поздравить с крещением в ледяной судебной воде, обговорить, перебив детали, механику выискивания, подслушивания и, наконец, следствия, когда, загибаясь, он выгораживал меня. Я-то все это видел изнутри, из самого, что называется, естества, из места, — по протоколам допросов. Любовь моя, гордость моя, Даниэль — это король. Но не о том слово — первое слово, которое, до зарезу, мне было необходимо сказать.

Был у меня тяжелый сон, в самом еще начале нашего ареста и дела. Я увидел Юлия рядом, в камере, расположенной реально от меня, может быть, за тридцать, за пятьдесят камер, за камнем, за железом,— всего вернее, на другом этаже. Он сидел по-татарски, калачиком, на точно такой же, на которой я спал, койке, поджавшись к стене, с ногами, бледный, изможденный, в разодранной рубашке. Но что меня больше всего резануло тогда в Юлии,— на груди у него, на шее, на черном лаконичном шнурке, висел крест. Чего это он?— я подумал. Религиозностью не отличался. В христианство не путался... Конечно, если рассуждать, крест, он все перекрещивает, перекраивает в нашей балованной жизни, начиная ее заново, от нуля. Вы можете до этого быть кем хотите. Но стоит загореться кресту, и вам крутой перелом, конец, крест. Не то чтобы непременно человек умирал. Видоизменялся. Пусть он себе живет, плодится и размножается. Но каждому из нас, хоть раз в жизни, в знак моста, в напоминание о реальном, был переброшен крест. Не пугайтесь, не обязательно в виде какого-нибудь орудия казни или ноши, которую теперь изволь кряхтеть до неба. Нет. Только засвидетельствуй, признай, поройся в памяти: он был предьявлен. Совсем и не твой, возможно, а чей-то чужой крест. Но рано или поздно, куда ни прячься, он будет тебе поднесен. И— прямо к губам...

Во сне, натурально, в это во все я не вникал. Одно— удостоверился: где-то здесь, за стеной, Даниэль, не в своем виде. Болен, что ли, или хуже, не выживет, в тюрьме ли, в лагере, с вечным крестом на шее? Грех, черный грех на мне. Загубил своего Даниэля. Втравил в литературу, втянул, наркоман, в пустошь, в трубу, откуда живыми люди уже не выходят. Успокаивайся теперь: сам полез, я же отговаривал— схватят. Да в том, что схватят, и был, может быть, соблазн. Писателей, знаете ли, тянет иногда заглянуть за край. Тянет...

Незадолго до этого, на вечеринке у Даниэля, в компании, мы сидели с ним, полупьяные, на полу, в обнимку, и я его чуть ли не в голос оплакивал уже заранее, глядя по черствой, в каракуль, теплой, как варежка, голове негра, по свисающей по-собачьи, премудрой, большой морде, в тяжелых складках, которую, через полгода, я действительно увижу, с новой, еле-еле заметной, горькой ложбинкой у рта, уже под штыком, на удаленном от меня расстоянии скамьи, как специально устроители рассаживали нас, не давая перемолвиться. Мы только переглядывались иногда и криво, понимая друг друга усмехались, да еще, опустив руки на

колени, изображали рукопожатие, рот-фронт. Рот-фронт, Юлька! Писатель — внутри, заперт. Спросим себя, разве писатель, по-настоящему, это не конченный человек? Разве он не пытается всегда извлечь что-то новенькое из своей преждевременной, прижизненной кончины? Я предупреждал. Заперты. Но в друге узнать смертника?.. Литература — капут. Нет, так бросаться собой мог один Юлька...

Чем, однако, полезным заняться в пустоте ожидания, пока там, на небесах, судьи обедают, слоняются без дела, растягивая старательно таинственное свое заседание, как если бы что-то решали, оспаривали в нашей уже решенной без них, апробированной жизни? На счастье, у меня при себе оставались папка с бумагами и официальный карандаш. Ручку они запрещают, как оружие самоубийства. Но по статусу подсудимого пиши карандашом — не отберут, не придерутся, тем более что преступник проходит, так сказать, по писательскому каналу. А может, я себе обвинение сочиняю в предварение приговора? может, я какую-нибудь еще кассацию собираюсь накатать? На сей раз закон был на моей стороне.

И я начал намарывать какую-то бестолочь, приходившую на ум, не имевшую отношения к делу, — главным образом о книге, которую я со временем напишу, благо ничем другим был не в силах себе помочь. Не то чтобы какие-то замыслы роились в моей голове. Руководили не жар писательства, не литературный зуд, но инстинкт самосохранения, подсказывающий держаться за жалкое призвание крепче крепкого в момент, когда его у тебя, на виду у всех, отнимают. Мне важно было остаться писателем в собственной памяти и только поэтому вытянуть. И если жизнь проиграна и карта перекрыта, перейти на клочок бумаги, на это маленькое подобие необитаемого острова, на котором можно попробовать заново обосноваться.

...Это будет, на самом деле, книга о том, как она пишется. Книга о книге... Когда пишешь, не знаешь, к чему это приведет. Но пишешь и пишешь. С закрытыми глазами... Речь должна переворачиваться. На то она и речь. Она полна глубоких, но осмысленных неожиданностей... Ко всякой вещи подобает относиться почтительно, как к слову, которым эта вещь называется. Слово почтительнее вещи. И жить уже не среди вещей, но посреди слов, серьезно... ..И погрузиться в сладостный, тихий, движущийся мир прозы... Придумать, на крайний случай, если понадобится, язык, никому не доступный... И, умирая, знать, что все слова были поставлены правильно...

Собственно, не было ни темы, ни сюжета, требующих воплощения. Не было ни героев, ни образов, кроме этой мечты о книге, которая не известно зачем и с чего начнется, а если и начнется, то как ее, когда и каким еще карандашом написать? Речь шла скорее о книге, которая не будет написана, но пребывает где-то там, в состоянии споры, надежды, в самой себе, в отдалении от автора.

Я так и не написал этой книги и вряд ли напишу. Но прикосновение к мысли о ней всегда поддерживает в самые беспросветные полосы, и когда, казалось бы, все пропало, она является невзначай и тихо-тихо бродит вокруг, как бы медленно созревая, наращиваясь, пускай весь ее смысл состоит в этой сладкой недосыгаемости. Да, да, ты только думаешь о ней и не решаешься подойти, не подаешь вида, что когда-нибудь, с годами, за нее засядешь. Она полна неясных и неутоленных возможностей, она вправе быть и этой, и совсем другой, на себя не похожей, сама не зная, куда ее потянет канва, как повернется сюжет и лягут фразы, она вольна существовать бессвязно, обязательно, полнясь до краев мечтами и образами замаячившей перед глазами, но все еще не знакомой, не использованной свободы, по примеру человека, выпущенного вчера из тюрьмы, перед которым отворились ворота на все стороны света. Пока он едет в поезде в неизвестном направлении, а мы в свой черед, ему на смену, по-новому, идем на этап, пока не подоспела, не подступила к тебе книга, ты ей медленно говоришь сдавленным от восторга голосом:

— Не надо. Оставь. Побудь впереди, в этом тайном сознании длительного к тебе притяжения, в предвидении блаженства и ужаса тебе повиноваться, мера всякий день по отпущенным за ночь страницам. Останься такой, как есть, раздайся за эти стены, забудь обо мне, погоди, дай свыкнуться с мыслью, перевести дух, без усилий, без навязчивой привычки писать, жалься, ты же видишь, как слаб и не умею объяснить, чего ты хочешь, что ты уставишься на меня с укором, словно ветхий пророк, чтобы мы решали, жертвовали, мне завтра в лагерь, засушить сухарей, снять комнату, спросить махорку, добыть очки, заварить кофе, прежде чем годы и годы сидеть над твоей колыбелью, позволь пожить, предоставь отуск за мой счет, разведемся, прошвырнемся по городу, без дела, не думая, как сойдутся концы и улицы перевести на страницы, зайдем в кино, смотри, нет чернил, бумага кончилась и неостанет бумаги, в довершение дней, для совместных приключений. Уйди, пусть выйди, встретимся через семь лет, на том же месте, если хочешь, дай побыть

без тебя, ну хоть в тюрьме, без тени, в неведении, хоть год, хоть месяц. Один день. Постой, куда же ты, слышала, бежим, никто и ничего, ни в мире, ни в камере. Кроме, без твоего покрова, где преклонить колени, залечь, сойти на нет — спаси меня, возьми меня с собой, унеси, книга!..

...Недели через три, к вечеру, за ночь до этапа, меня выдернули к следователю. Мы встретились как старые приятели. К тому моменту — за долгое общение — он как-то притерся и прижился в моем сознании, сдславшись, я бы сказал, наиболее приемлемой, доброкачественной маской среди судейских теней и привидений тюремного клана. При всех маневрах, он видел во мне более или менее живого человека, и я старался, ответно, то же самое в нем разглядеть. Не то чтобы от него исходило расположение. Благовоспитанный чиновник, он-то и подвел меня под обвинительную секиру, с вытекающим отсюда развитием. Но следователь Пахомов, в отличие от других инквизиторов, просто в силу хотя бы наших постоянных контактов, оброс материальным лицом в моих глазах и мелкими подробностями, которые, в общем-то, и позволяют нам судить худо ли бедно о человеческом характере. Во всяком случае в призрачном мире тюрьмы он спланивался для меня в доступную восприятию, пускай и неясную, ткань. После суда на Пахомова было приятно смотреть.

На сей раз, в последний вечер, он представлялся огорченным. Удовлетворение и какая-то подавленность вместе были написаны на его полном лице. Ему меня было жаль, по-отцовски. Как и многие другие, он знал приговор наперед, но по долгу службы выражал соболезнование и грустно умывал руки, призывая в свидетели, что ни он, Пахомов, ни органы госбезопасности к моей судьбе не причастны.

— Честное слово, у нас никто не думал, что столько дадут!.. Нет, мы не хотели!.. Что поделаешь — закон! Вне нашей компетенции! Это много — семь лет! Да еще строгий режим! Вы сами заработали! Не надо было глупо вести себя на суде... Я предупреждал — и вот результаты. И потом это ваше заключительное слово на процессе. Лично я не в курсе, чего вы там городили, но это же, все говорят, скандально, безобразно... Ни в какие ворота!.. просто ни в какие ворота... Зачем вы так... вы сами себя... сами себе...

Он спихивал грех за тяжелый срок на меня. Это так понятно. Никому, за редким исключением, не хочется быть палачом. Сколько раз, и дальше, и прежде, люди, меня истреблявшие, объясняли мне доверительно, что сам я во всем виноват. И назывались — друзьями... С какой же стати

Пахомову лезть в малюты? Он только со мной размежевался, как с тонушей льдиной, поскольку был хорошим, обыкновенным человеком, как сам рекомендовался. Ничуть не хуже меня.

Недавно, уже в Париже, мне привиделось во сне круглое, детское лицо Пахомова, с маленькой, сдобной бородавкой у рта, как это иногда бывает. И он брызгал слюной на то, что я сейчас рассказываю:

— А я не щелкнушь! Ты не думай. Это *те* щелкались, *те* — из старой гвардии! А я — не щелкнушь!..

К чему это он? Такими словами мы никогда не обменивались: «щелкнушь», «не щелкнушь», «старая гвардия»... Откуда они берутся? Сны и явь редко совпадают.

Конечно, его со мной многое связывало. И в следующий раз, при случае, я еще постараюсь поймать Пахомова на слове, как он ловил меня, выводя на чистую воду. Допрос — обоюден. И нет конца вопросам. А пока — что сказать? Ну, средний класс. Хороший следователь. Добропорядочный человек. Одно уже имя говорит в его пользу и звучит спокойно: Пахомов. Виктор Александрович — тоже просто и немного по-домашнему, но в меру. Не надо бояться.

Сейчас, прощаясь, он казался почему-то расстроенным. Это после объяснилось, много после, чем, собственно, Пахомов был тогда угнетен. Процесс сорвался. Спектакль провалился, и ты помог этому, писатель. Не обольщайся: совсем не в тебе дело. Но дело получило толчок, ход, благословение, огласку, бешеный успех и, не дойдя до покаяния, до кульминации, упало. Это как в романе, представьте. Ни с того ни с сего герой выходит из строя, вылезает из фабулы, из кровати, буквально, из объятий Прекрасной Дамы. И говорит: Я пойду пройдусь... Это после всех-то в публичных процессах завоеванных достижений? Когда всякому ясно, как правосудна страна. На Верховном-то Суде — не признать? Увильнуть? Вредительство. Как взорванный долгожданный Дворец. Как диверсия на транспорте. На фабрике. Только-только налаживалось. Фейерверк. Форум. О, не верь — не твой семь лет задел пахомово мохнатое сердце. Не был бы он подполковником по особо важным делам. Сам ты хвостатый! Сам во всем виноват! Тем временем, покуда, нахохлившись, без выходных дней, заседали, делили дело, сходил бы в универмаг: куры из Ирландии! Не возразить. Безболезненно. Пока там, в камерах, по лагерям догнивают, они ковали, трудились, не покладая рук, высиживая золотое яичко. Пасхальное. Разбилось. Мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко разбилось. И вся сказка! Это надо оценить. Готовился

к празднику, к 23-му съезду, партийный, от КГБ, подарок. Показательный, с оглаской Западу, на белоснежной, с хрустом, салфетке... Но куры из Ирландии — разве они поймут? И кто продолжит? Чем возместить? Что делать? Я спрашиваю: как выразить?! В миракли, в пристяжные ЦК, позванивая колокольцами, с Лениным в санях, во дворец, в казнях, с реабилитацией Сталина, въехать, в регламенте, с псалмами и залпами под звездой, под горькой звездой Семичастного. Под высокой его, под закатывающейся слезой...

— Вы сами виноваты,— бормотал Пахомов, думая о чем-то своем.— Вы сами виноваты, Андрей Донатович...

О товарище Семичастном я в состоянии размышлять исключительно отвлеченно, по звукообразу имени, которое остановило меня с чисто графической стороны, спускаясь на паутине в виде подписи на обвинительном грифе. Какое-то удивительно длинное и, чудилось, не вполне основательное для занимаемого положения имя. Даже генерал Волков, не говоря о Пахомове, весил больше. Сами посудите:

«Председатель Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР, генерал-полковник

*В. Е. Семичастный.*

Начальник Следственного Отдела СССР, генерал-лейтенант

*А. Ф. Волков.*

Следователь по особо важным делам, подполковник

*В. А. Пахомов».*

Все ниже и ниже, по строчкам. И, наверное, потому, что писался Семичастный выше и протяженнее всех, он складывался у меня в уме в длинную, складную фигуру, вроде Дон-Кихота, для которой, если взойдет она в комнату, делались бы специальные проемы и прорезы в потолке, точно расчерченные, по линейке, чтобы было куда ей девать узкогрудое туловище и слаборазвитые плечи, терявшиеся в прорезях уже следующей надстройки, где она размещается верхней частью, всегда непостижимо отсутствующей. Мне-то снизу были видны только ее ноги, наподобие ходуль, неустойчивые, хилые ноги, спускавшиеся для подписи. Кто же мог предугадать, что смутное это чувство, исходившее единственно от растянутых очертаний фамилии министра, вскоре оправдается и Семичастный, комсомольский работник, верзила, кулачный боец, на расправе с Пастернаком схвативший олимпийский приз, исчезнет с горизонта, словно конькобежец, уступая дорогу блистательному рекорду Андропова?..

— Вот и доигрались! — попрекал мягко Пахомов. — Вели бы себя умнее, и все бы обошлось.

А я, не горячась, излагал ему порядок судебного разбирательства, о котором он будто бы впервые от меня слышал, с удивлением, поскольку ведь это уже иная, дальнейшая, в передаточной системе идей и звеньев, коллегия, не зависящая от следствия, ну как я не понимаю, другая, во что вникать ему по закону не положено, во избежание воздействия заинтересованного лица, для правильности, в соразмерении выводов, чему я не перечил и, пользуясь видимым различием колес в конвейере, обрисовывал верховные головы на уровне помойного дна. Казалось, он сострадал мне и наслаждался нехотя мерзостью простоволосых своих, судебных коллег, пока, похотав, не спохватился:

— Однако, знаете, какие мы письма получаем с той поры, как это — не по нашему, поверьте, желанию, — попало в печать? Сотни писем! С требованием для вас, не шутите, смертной казни... Вот пишет одна, бедная уборщица: у нее сын, за небольшую кражу, восемь лет хлопотал! А вы! — за совершенное вами! — семь?.. Что вы валите на Смирнова, на общественных обвинителей Кедрину и Васильева?.. Вам их благодарить надо! Благословлять!.. Да весь народ считает, что мало вам присудили... Выпусти вас, предположим, вот сейчас, на свободу, на улицу, — вас бы растерзали...

В его тоне слышалась горечь, смешанная с откровенной угрозой. Откуда мне было знать, что мой Пахомов репетирует оборонную речь донского казака на 23-м съезде? Дескать, секим башка! на коня! газават! и слава партии! Шла джигитовка. Велась тяжелая артиллерийская полемика с Западом. Естественно, письма, пресса и весь народ были против меня. И только он, Пахомов, с его карательным аппаратом, еще охраняли нас от ярости народной. Но и они не всеильны, намекал он, разводя руками. Если бы суд, по просьбе трудящихся, пересмотрел дело, то... В это я верил.

Сокамерник, из бытовиков, хороший парень, вздыхал:

— Лишь бы вас подольше попридержали в Лефортове. Пока волна не уляжется. Вы не знаете бластных. Политические для них — фашисты. А вы еще хуже. Могут изуродовать, свести счеты по газетам...

Кое-что из газет я уже смотрел. Самую малость. Но и без этого, по всей атмосфере, было заметно, что народ не потерпит в своей среде отщепенцев, которым самое безопасное место в тюрьме. Сокамерник мне сушил сухари на батарее, приготовляя на этап, и все молил Бога, чтобы повременили с отправкой. Пускай сперва изгладится память обо мне и Даниэле.



— Хотите на прощание я вам дам добрый совет? — спросил Пахомов, светлея лицом, словно о чем-то вспомнив. — Не как следователь КГБ. Просто как человек с известным жизненным опытом...

Я рад был его послушать. С тех пор, как допросы кончились, он мне даже нравился или, точнее говоря, занимал с собственно психологической стороны, как человеческая природа всей этой особой и странной для меня разновидности существ, сделавших своею профессией уловление и защемление ближнего. Всегда интересно знать: что ест крокодил? Казалось, через него я постигну когда-нибудь и тайну власти, и загадку современной истории, общества, положившего делом жизни истребление жизни, личности, искусства, меня, в частности... В качестве же человека, индивидуального лица, которое я за ним всегда подозревал, он не возбуждал антипатии, и я не держал на него сердца. Просто мы с ним немного разошлись во мнениях... Пахомов рассмеялся:

— Вы уже насторожились?! Да бросьте, Андрей Донатович, все время думать, что вас обманывают... Мой дружеский совет очень прост: сбрейте бороду. До отправки в лагерь сбрейте бороду. Рекомендую...

— А когда этап?

— Право, не знаю. Это же, сами понимаете, — вне моей компетенции...

Он сделал обычную свою, безгловую гримасу, которую я уже заучил, означавшую, что тюремные порядки не имеют к нему касательства. Сопоставление с тюрьмой странным образом его коробило. Как-то, еще в начале нашего знакомства, он поинтересовался: «— Вас, Андрей Донатович, наверное, там плохо кормят?..» — с сочувствием, понизив голос, выражая одновременно крайнее сожаление, что ничем решительно, при всем желании, не в силах мне помочь. Помнится, в раздражении, я осведомился: где это — там? «— Ну-у, — помялся он вальяжно, избегая неприятного слова, — ну там, надзорсостав, персонал...» Стоило мне, однако, иронически усомниться, да возможно ли такое, чтобы он, следователь по особо важным делам, всю жизнь проработавший бок о бок с тюрьмой, вот здесь, за этой дверью, не ведал, как содержат арестованных, чем их кормят в его тюрьме, как он искренне обиделся. И это не было, уверяю вас, обыкновенным его, изо дня в день, должностным хамелеонством, к которому я тоже достаточно уже присмотрелся. Нет, это был взрыв живого негодования! Почему?! Какая связь?! Одно дело — тюрьма, другое — следователь. Это же разные вещи! У них и министерства разные — МВД и КГБ.

У одних малиновые фуражки, у других голубые. Но главное — функции, функции несопоставимы! Неужто я думаю, что это он, Пахомов, здесь меня держит, стережет, плохо кормит? Что он меня арестовал? Что он, может быть, и прокурор, и суд, и тюрьма, и лагерь? Все — он?! Да у него узкая специальность — *следователь!* Конкретный отрезок. От сих — до сих. Меня послушать, так он, Пахомов, — и все наше государство, и печать, и общество!.. Он не ошибался. Что все это он, Пахомов, — я так и думал, между прочим, откровенно говоря. Только сам он об этом еще не знает. Однако, когда этап, — он знал. Точно знал!

— Как вы думаете, Виктор Александрович, — меня вместе с Даниэлем отправят? В одном вагоне, в один лагерь?

— Повторяю, я не в курсе. Но скорее всего — вместе. Надеюсь... И сбейте бороду, мой совет. Сегодня же вечером. Попросите надзорсостав — они сделают. Будете как новенький...

— А куда?

— Тоже не знаю.

— На север? На восток?

— Скорее всего — не на север: по секрету, так уж и быть... Может, даже — на юг. Южнее — Москвы...

Он улыбнулся. И следователю кстати бывает сказать вам приятное.

— В Казахстан?

— Вот видите — вы какой! Все хотите допытаться... Нет-нет, больше я ничего не скажу! Но бороду — снимите. И вам не к лицу... И, потом, знаете, привяжутся... Воры, уголовники. Могут и поджечь. Поднесут, знаете, спичку — и вспыхнет. Как стог сена...

— Ну когда сожгут — тогда и сбрую. Успеется.

Следователь поскущел. Заботился он обо мне или запугивал, чтобы сбить спесь? Сокамерника вот тоже тревожила моя борода. К чему лишний раз обращать на себя внимание?.. Могут изуродовать... Но как это ни смешно, снять бороду в тот момент казалось мне спуском флага.

Внешности своей, портрету, я значения не придавал. Плевать мне на какую-то бороду! Но уж очень они что-то старались, настаивали... Раскаяние? Измена себе? Потеря лица? Чего этот Пахомов, по важным делам, крутится вокруг бороды?.. Нет, сволочи! Не дамся. Короче, мало-помалу я становился уголовником, как сами они называли, злым и недоверчивым зекон, высчитывающим каждый шаг от обратного. Только от обратного!..

Да и то, пораскинуть мозгами, пройдет год, большой лагерный год, и к Даниэлю, на 11-ом, подвалится заезжий

чекист, к станку, в производственной зоне.— Привет вам от Синявского!— скажет, внимательно поглядев, как Даниэль вытаскивает какое-то, по норме, дерьмо.— Я только что из Сосновки, с первого лагпункта. Синявский просил кланяться...

— Спасибо,— ответил, не поворачивая головы, Даниэль.— Что Синявский?

— Нормально. Ничего. Здоров. Недавно побрился...

— Как — побрился?! — не поворачивая головы, Даниэль.

— Да вот так. Он теперь без бороды. Я сам его видел. Разговаривал. Вот привет вам привез...

Стоит ли пояснять, что я и в глаза не видал этого хмыря? И бороды не брил. Далась им моя борода! И никакого привета, с чекистом, не посылал...

Расставаясь со мной, Пахомов, в последний раз, посоветовал:

— Ох, подожгут вам урки вашу лопату! И не идет вам совсем. Помяните мое слово!..

И вправду, утром — этап. Все как полагается, как читали: овчарка, автоматчик. «Шаг вправо, шаг влево...» Ноги разезжаются. Март. Со свежего воздуха я шагаюсь. Неужели действительно выстрелит, если, допустим, поскользнусь? Дальняя, тыльная сторона вокзала. Кажется, Казанский? Не разобрать. Черные человечки копошатся на шпалах. Светает. Скользко. Всаживают в поезд на каких-то интимных путях. Безлюдно. Пустой вагон. Голое железо. Через весь зарешеченный коридор, дальше, дальше, в передний отсек. Стоп. Тройник. Один. Столыпин. Полчаса не прошло, слышу топот, ругань, лязг, толпа, забивают арестантов, в клетки, по отсекам, не докатываясь до меня. Ах да — я же политический, опасный! А за мной, за перегородкой, по клеткам, вперемешку — блатные, урки, бытовики — навалом! Бедняги! Я, как барин, сижу один, в отдельном тройнике, чтобы не было эксцессов, наверное. Ловлю имена, голоса. По вагону — гогот, брань, перепалка.

— Люба, Вера! Хочешь — пососать?

Уж на что я привычный...

— Иди на хуй — огрызается Люба или Вера. Кокетничает. Бодрится, чтобы не заплакать. Весело кричит «на хуй», а в голосе злые слезы. Сколько ей дали — восемь или десять? Мне как-то совестно в одном купе на троих... Трогаемся, вроде. Куда? Я не верю Пахомову. На юг или на север? Не все ли одно? Едем. Кажется, едем. Не доводилось еще в вагоне без окон, где только по стуку колес успокаиваешься: едем!

Разносят кипяток. Хлеб, селедка. В зарешеченную дверь, ромбами, виден отрез коридора. Бегают конвой. Огрызается: кого в уборную? Меня, меня в уборную! Выводят. Спереди и позади по солдату. Руки назад! Не оборачиваться! Иду на opravку. Кошу глазом: слева, людской стеной, в зоопарке,— глаза, пальцы, носы. Не задерживаться! Быстрее! И вдруг — в затылок — призывным криком:

— Синявский! Синявский!

Не останавливаться! Шальная мысль: Даниэль? Юлька? Здесь? Его тоже везут? Кто другой узнает меня? Нет, не его голос... С opravки. Кошу направо. Зеки, зеки и зеки — как сельди в бочке. Сзади — опять:

— Синявский!..

И — смех... Нет, не Даниэль! Но откуда? Кто?.. Камень на сердце. Догадываюсь: конвой разболтал. Либо специально подстроено. Хотят проучить, напугать. Пахомов предупредил: подожгут. Сбывается...

Подходит начальник конвоя. Молодой, собранный. Точеный. Затвор от винтовки. Смотрит спокойно и холодно ко мне в клетку.

— Откуда, — спрашиваю, — у вас тут, в вагоне, знают меня по фамилии? Все документы — у вас. Никого ж не было, когда меня — заводили. И, вообще, никто меня никогда не видел. Почему окликают? Это вы им рассказали?..

Тот долго и мрачно, через решетку, покачиваясь, всматривается в меня. Вспоминает. И злобно, словно я Пугачев, чеканя:

— А тебя теперь все знают!

Лицо мраморное, прекрасное, как это в мраморе бывает, с розовыми прожилками, в сдержанной ненависти ко мне, которые, не дай Бог, нальются чуть более розовой кровью, и треснет — мрамор, но белое покамест, как бюст. Из таких бы лиц высекать памятники легионерам конвойной службы, когда боец держит тебя на прицеле, а та рычит, та рвется с прицепки, но тот, усилием воли, ее осаживает назад, с непроницаемым, как пьяный, лицом, в исполнение дисциплины, презрения и гордого довольства собой, что он тебя не убил, только смерил взглядом и, не удостоив внимания, цокая подковками, пошел дальше по вагону.

— А тебя теперь все знают!

Плохое мое дело. Ясно: конвой разболтал — кого везут и за что. Только вот куда и сколько еще ехать — не ведомо...

Вечером или ночью — в темноте, в прожекторах не поймешь, который час, — выгружают. На сей раз — всех вместе, не разбираясь в мастях. Сбитой в загон отарой мы вертимся,

мы теснимся на снегу, в прожекторах, наставленных в наше крошево.

— Где мы? — громко спрашиваю.

— В Потье! Мордовская АССР! — отзывается рядом какой-то, должно быть, бытовичок. — Вы что — не узнаете? Раньше — не бывали? Вы из какой тюрьмы будете, простите?

— Из Лефортова.

Твердо — из Лефортова. Для меня Лефортово — марка. У меня отец еще сидел в Лефортове, и я ему деньги носил. Что ни месяц — 200 рублей, считая старыми деньгами. Для них — не известно еще, звучит ли это имя, означает ли что-нибудь? Но я — из Лефортова...

— Из Лефортова?! — разом откликнулось несколько голосов. — Смотрите — он из Лефортова! Один — из Лефортова! Где — из Лефортова?..

Когда я повторяю сейчас эти гордые знамена — «из Лефортова», — я знаю, что говорю. И мне хочется, чтобы Лефортово отсинулось на лбу режима не хуже, чем Лубянка, Бутырка, Таганка... Лефортово почиталось, между знатоками, особенной тюрьмой. За Лефортовым стлались легенды, таинственные истории... Будет время — я об этом расскажу. А пока:

— Я из Лефортова...

Смотрю, проталкиваются — трое. Судя по всему — из серьезных. Независимо. Раскидывая взглядом толпу, которая раздается, как веер, хотя некуда тесниться.

— Вы из Лефортова?

— Из Лефортова.

— А вы в Лефортове, случайно, Даниэля или, там, Сияевского — не видали?..

— Видал. Я — Сияевский...

Стою, опираясь на ноги, жду удара. И происходит неладное. Вместо того, чтобы бить, обнимают, жмут руки. Кто-то орет: «качать Сияевского!» И — заткнулся: «— Молчи, пададь! Нашел время...»

В большой, общей, — я никогда еще не видал таких больших и общих, — параше, куда вмещается разом полэтапа, где мы будем спать рядами, строго на правом боку, чтобы уместиться на нарах и не дышать друг другу в лицо, — все проясняется. Народ грамотный, толковый. Рецидивисты. У одного четыре судимости. У другого — пять. Я один — интеллигент, «политик». Послезавтра, говорят, нас развезут, кого куда, по ветке, по лагпунктам, которых всего, считая по номерам, девятнадцать. И мы уже не встретимся, не пересечемся. Политических с некоторыми пор отделяют от уголов-

ных. Чтобы не слилась, очевидно, вражеская агитация с естественной народной волной. Боятся идеи? Заразы? Им виднее. У них опыт позади — революция. Но куда еще идейнее, активнее добрых моих уголовников и кто из нас тут, не пойму, опасный агитатор? Каждый торопится выразить свое уважение. Еще бы — читали в газетах! большой человек в преступном мире! пахан!..

— По радио про вас передавали, Андрей Донатович!.. Я сам слышал!.. По радио!..

В блатной среде ценится известность. Но есть и еще одно, что я уцепил тогда: вопреки! Вопреки газетам, тюрьме, правительству. Вопреки смыслу. Что меня поносили по радио, на собраниях и в печати — было для них почетом. Сподобился!.. А то, что обманым путем переправил на Запад, не винился, не кланялся перед судом, — выросло меня, вообще, в какой-то неузнаваемый образ. Не человека. Не автора. Нет, скорее всего, в какого-то Вора с прописной, избразительной буквы, как в старинных Инкунабулах. И, признаться, это вправилось мне и льстило, как будто отвечая тому, что я задумал. Такой полноты славы я не испытывал никогда и никогда не испытаю. И лучшей критики на свои сочинения уже не заслужу и не услышу, увы...

— Ловко ты им козу заделал!

— Я — думал, а ты — писал!

— Семь лет — детский срок! И не заметите, как пролетит...

— Да за такой шухер я бы на вышак согласился!

— Скажи, отец, и я поверю, — выскочил молодой человек, шедший по хулиганке. — Коммунизм скоро наступит? Ты только — скажи...

Куда мне было деваться? Здесь же, среди них, в принципе, и стукачи водятся... Пахомов, еще до суда, напутствовал: учтите — за продолжение в лагере в устной или в письменной форме.... Наша вольница, однако, не приученная к подводным камням хитрой 70-ой статьи, замороженная, умолкла. Все ждали от меня, наступит ли коммунизм. Как опытный педагог, я ответил уклончиво:

— Видите ли, за попытку ответить на ваш интересный вопрос я уже получил семь лет...

Каторга ликовала. Казалось, эти люди радовались, что никакой коммунизм им больше не светит. Ибо нет и не будет в этом мире справедливости...

Перед сном уже, у противоположной стены, встал над телами, на нарах, чахоточного вида шутник. Я узнал его по голосу: это он куролесил с девушками в вагоне, заводил

знакомства. А в чем душа держится? Чудилось, ребра просвечивают сквозь заношенную, до подкладки, кожанку. Он явно рисовался — на веселую аудиторию:

— Слушай, Синявский, это я кричал «Синявский», когда тебя вели на оправку!..

Вскидываюсь в изумлении:

— Но как вы угадали? Кто вам сказал тогда, что я — Синявский?..

— А я не угадывал. Вижу, ведут смешного, с бородой. Ну я и крикнул — Синявский! Просто так, для смеха... Мы не думали, извините, что это вы...

Да, Пахомов, не повезло вам с моей бородой. Подвели вас газеты. Обманули уголовники. И вам невдомек, как сейчас меня величают, как цапкают меня, писателя, благодаря вашим стараниям. И кто? Кто?! Воры, хулиганы, бандиты, что, дайте срок, всякого прирежут, независимо от ранга. И нас раньше, по вашему наущению, резали. Времена, что ли, не те? Верить вам перестали? Народ, ваш народ, Пахомов, из которого вы вышли, а не я, которым вы гордитесь, клянетесь, козыряете что ни час, а не я, от которого остерегали, который науськивали на меня: изуродуют! спалят! растерзают!.. Вам, выходит, Пахомов, его надо бояться? Настала моя пора. Мой народ меня не убьет. Вас бы, боюсь, не убили. Не подожгли бы волосы, чего доброго, — и безо всякой бороды? В споре со мной вы проспорили, вы проиграли, Пахомов!

Не к вам, а ко мне потянутся в лагере заезженные вами люди — на исповедь, за утешением: а может, еще напишет? Меня будет спрашивать уркаган, с бойницами вместо глаз на лице, доведенный до петли бесчисленными сроками, кого для пользы дела из доносчиков, из начальства убрать перед концом. Все одно — помирать, больше не может, посоветуй, писатель, поконкретнее, поточнее — кого? И мне, а не вам достанется его уговаривать, чтобы никого не губил в подвернувшуюся, злую минуту. Ко мне приползет доносчик, подсланный вами, и, заглядывая в глаза, предаст вас, раскрыв карты, что выведываете вы обо мне и что ложное вам принести в зубах по вашему заказу. Меня вызовет нарядчик, определяя с этапа, куда поставить, и, заперев дверь на ключ, признается, что не в силах ничего полегче для меня избрести, поскольку вашей рукой, из Москвы, от КГБ, наложена резолюция в деле: «использовать только на физические тяжелые работах», Пахомов.

За что мне такая удача, Виктор Александрович, как вы считаете? За добрый нрав? За прекрасные глаза, как вы

любили выражаться? Да нет, единственно, за подлую репутацию несогласного с вами, перевернутого в сальто-мортале несколько раз и вставшего на ноги, на равных с ворами, писателя. За книги, по вашему обвинению самые ужасные, клеветнические, лживые, грязные, за преступные книги, которые здесь никто и не читал, кроме вас, и не прочтет, напечатанные там, где никто не бывал и не будет, непонятные никому, ненужные, но все это уже не существенно, не важно. Меня высаживают — раньше всех, одного, из битком набитого поезда, на первой же маленькой лагерной остановке «Сосновка». — До свидания, Андрей Донатович! До свидания, Андрей Донатович! — скандировал вагон. У них направление ехать дальше по ветке, а меня внизу ждал уже автоматчик с овчаркой — вести пешком в зону. «Шаг вправо, шаг влево — стреляю без предупреждения». — Прощайте, ребята! — Мне вдогонку, в дорогу, неслось из задраенных вагонов:

— До свидания, Андрей Донатович...

— Еще раз обернешься — выстрелю, — сказал беззлобно солдат.

— До свидания, Андрей Донатович...

А ведь им, наверное, Пахомов, из клеток, в духоте, вслепую, так слаженно, коллективно выговаривать мое непривычное имя-отчество было ни к чему. Да и ласковое, радостное «до свидания» не шло к обстановке, Виктор Александрович, не шло к этим прокаженным устам. Это вам не театр. Что скажете сейчас, в продолжение ваших допросов? Я-то одно помню:

— Море приняло меня! Море приняло меня, Пахомов!..

## *Глава вторая*

### ДОМ СВИДАНИЙ

---

Случалось ли вам, любезный читатель, бывать в Доме свиданий? Если нет, позвольте для начала, ради удобства рассказывания, описать вам эту скромную, барачного типа, гостиницу, прилегающую к вахте и контрольно-пропускному тамбуру, на рубеже лагерной зоны и вольной проезжей дороги. Дом свиданий служит нейтральным, я бы сказал, предзонником, хотя практически расположен уже на территории зоны, вдаваясь в нее невзрачным, продолговатым мыском, полуостровом, окруженным с трех сторон, не считая забора,



перепаханной запреткой и проволокой. Четвертая сторона Перекопа — вахта с надзорсоставом: вход и выход в Доме свиданий. Баста.

Здесь, на тюремной земле, раз в год — на трое суток в лучшем случае, на сутки, на одну ночевку, — утраченная ссмыя арестанта восстанавливает, как умест, законные права и обязанности сумбуром поцелуев и кладезем слез. Потому и называется это заведение, как в старые времена, — Домом свиданий, и все эти оттенки значений правильны, читатель. Публичный дом, постоялый двор, сиротский приют, последние проводы... Тюрьма, знаете, во все вносит свой превратный, саркастический смысл. Но и нет на земле прекраснее и святее обители и более, в то же время, высокой и удаленной Горы, откуда бы мы созерцали разбросанные по свету доли и веси, реки и ущелья. Здесь демоны сходятся с ангелами раз в год, по разрешению Начальства, мужья с женами, дети с отцами, живые и мертвые. Только еще неизвестно, кому хуже из них. И кто мертвый?..

Вдоль коридора — кельи, окнами на забор: ни свет, ни застенок. Разве что караул протопает по ухоженной дорожке, да «кто идет?!» разнесется, подобно эху в горах. Смена постов...

В отдельной комнатке — все как у людей. Два стула. Тумбочка. Стол. Кровать. На окне — белые шторы. Можно задернуть решетку, и — как дома... Раз уж дали вам личное счастье, на столе — что душа пожелает. Окромя птичьего молока. Белый хлеб. Сало. Ешь не хочу. Гужуйся! Консервы — тресковая печень. Сливочное масло. Сахар-рафинад. Повидло... Набивают курсак отощавшему постояльцу — за год назад, на год вперед. В три дня, максимум, надобно все съесть. Ответственно... И это главное, зачем едут бабы, с узлами, с баулами, с тремя пересадками, в очередях, на вокзалах, за билетами, ложась. Да еще скоро ли пустят? да и пустят ли? — не то сиди, кукуй в вольном поселке, снимай сенник втриморога у прижимистой жены вертухая, а дома — на другом конце света — корова не доена, дети болеют и отпуск, за свой счет, с МТС уже просрочен... А и кем, спросим, удержится дом без нее? Все сама, все сама, бабоньки... Но и кто, кроме нее, накормит и уважит хозяина? Хозяин-то совсем отощал. Еле ноги волочит. Не дай Бог, не... Впереди пять-семь-пятнадцать лет заключения...

О, русские женщины — о, тягловая, лошадиная сила страны!.. Почему — русские? Литовские, украинские, армянские, еврейские, киргизские, лапландские бабы — со всех краев едут в Дом свиданий. Слово-то какое: Свиданий! Как

девушки — подкормить мужика. И по-русски-то иные «мама» сказать не могут. Лопочут по-своему. А мир — холоден. А начальство-то грозное. Играет трензелями. — Ежели, говорит, ваш супруг не одумается, не изменит поведения, не родит норму выработки, — не дам свидания. Не дам, да и только! — Смеется, змей. Что хотят, то и делают, враги народа...

Но пожрет хозяин — раз в жизни — от пуза. Передает привет деткам. Смотреть бы век, любоваться, пригорюнившись, как он жует. А ему уже и не кушается. Отодвинул тарелку: так много?.. У него дом в глазах. Пожаром в глазах — дом...

Пристроившись к ветчине, к пирогу с капустой (сама пекла), не позабудем о второй доходной статье нашей бухгалтерии — о кровати. За столом едят, на кровати... Чего греха таить. Извините за невоздержание, но что вы прикажете делать на кровати, коли, считай, раз в год довелось до бабы дорваться? Зайдут в номер, набросят крючок, чтобы надзиратель не вперся, и давай озоровать!..

Мы знавали бугая, что из-за этой вредной идеи прямо в бур загремел с общего свидания, под белы руки уволокли. Ринулся на жену, как танк, — дежурный кудахчет, — повалил на пол и успел спустить, пока его отдирали. Та, понятно, и ноги расставила. А он себе, горячее сердце, в буре вскрыл вены...

Другому ловеласу повезло на этапе пересечься с партией зечек. Начальство зазевалось. Так девушки, вообразите, устроили альков любовникам. Расположились полукругом, лицом к ментам, и ширмами прикрыли картину. Уж били его потом, били, да что толку: альков! Истинный театр-карнавал, дорогая читательница, — как в комедии дель-арте, с юбками, с всерами...

Вы, может быть, скажете: «пововой говод», — как говаривал у нас один губошлеп из вольнонаемных. Сомневаюсь. Все серьезнее, основательнее. Восстановление чести. Строительство семьи... Да и баба, с тремя пересадками, думает не о глупостях. Конечно, и ей хочется: давно никто не чесал. Но больше — ублажить мужика. Поддержать. На год вперед, за год назад. И чтобы — помнил, жалел. А еще — чтобы не отказала машинка за столько лет бездействия. Всё о семье, о детях. А то явится на свободу, а у него и не работает. Ведь сопьется!..

Оттого, милые барышни, на кровати в Доме свиданий почитай и не спят никогда. Выспимся дома, в зоне — успеет — срок большой. А так — лежат, прислушиваясь: нако-

мать бы, подержаться за хозяина,— и на том спасибо. Хозяин-то совсем задичал.... Это, пускай, жеребцы-надзиратели зубоскалят И то чаще по-доброму, от собственного довольства: «— Ну как, Синявский, кинул палку?» А чтобы в зоне прохаживались: дескать, что? засадил? — этого я не слышал. Уходишь, бывало,— провожают, как на свадьбу. «— На вахту, на вахту мигом! Жена, слышь, приехала! Твоя какая — в очках? Значит — она. В проходной усёк. С рюкзаком и с чемоданом!..»

Возвращаешься — как с похорон. «— Знаю, только душу растревожат. Хуже нет этих свиданок! Моя вот восьмой год не приезжает. А я и рад. И мне легче, и ей...»

Кто-нибудь спросит, вместо шутки: «— Ну что там, на воле, новенького? Когда амнистию объявят?» И все сменятся, ругаются — чтобы меня утешить. Понимают: пришел со свидания... Скорей бы отбой!..

Но давайте вздохнем поглубже и вновь переступим заветный порог пансиона, работающего, ровно завод, кругло-суточно, без остановки, без отдыха. Только гости меняются, сегодня в той комнате, завтра в другой, да лязгает стража засовами, досматривая, все ли на месте или с выводом кого в производственную зону... Не стану растревлять вас и себя рассказами, как обыскивают до и после свидания. Не схоронил ли, куда не след, десятку, записку? Пачку чая... Как обряжают, для гарантии, в гостиничное тряпье. И все равно: раздвиньте ягодицы, откройте рот!.. Не буду думать заранее, сколько суток дадут, да и с выводом или без вывода на положенные работы... Пусть оставят меня поскорее с глаз на глаз с женой, и мы, будто так и надо, не обращая друг на друга внимания, как чужие, зайдем в номер, накинем крючок, а потом уже обнимемся. Встретились, свиделись!..

— Маша! Машенька!.. Покажись — какая ты? Егор — здоров? Цел?! Ну слава Богу. Дай же тогда насмотреться на тебя. Выкупаться в лице, как в реке, на которую, помнишь, мы вышли наконец, колеся по Северу, и она вдруг сверкнула, выпрямилась и грозно пошла навстречу, так что мы вскрикнули, думая, что впереди обрыв, пока не привыкли, не поняли, что перед нами река, действительно та самая, Двина ли, Пинега, которую мы искали, и вот уселись, сбросив ношу, и смотрим медленно — стелется... На свидании уверяешься: лицо — не портрет, а пейзаж, поедаемый беспредметно глазами, до горизонта и обратно, и все-таки неохватный, за краем восприятия, которым ты напрасно шарить его закрепить и увидеть. Лицо дымится в мягких, размытых своих очертаниях, являя образ пространства, едва ли осозаемого, выбираясь из собственных контуров и раскидываясь рекой, утекающей

из-под пальцев. Лицо не цветок, как многие полагают, но вход и выход в Доме свиданий: куда? — не знаем. И эта линия щеки... Бросишь взгляд, и, как от камня, разбегутся круги по воде, удаляясь с места стоянки в сторону леса и неба... Только и слышно: Дуся! Люба! Валя! Татьяна! Да понимаешь ли ты, что ты явилась во сне? Привиделась, понимаешь, приснилась...

Ни бельмеса не понимает. Хлопает глазами, старается: «— Колбасы поешь. Колбасу я тебе привезла. Трудно достать...»

Но нет уже человеческих сил отделиться от магнита: Сбылась! Исполнилась! Если это не безумно, то что же это такое?.. — Лицо.

Я начинаю с лица, как с самого главного. Не знаю у мужчины, но женщину мы любим и выбираем за лицо. Жестоко. Не выбираем — впадаем в сеанс лица и катимся вниз водопадом, летим, разбиваясь о камни, едва увидим. Красавица, прошлась по бульвару, сделала ручкой, носиком вот так, — и все кончено. Может быть, несправедливо, неправильно. Где разум? Про Клеопатру поминают, будь у нее ротик, носик там на копейку, на какой-нибудь миллиметр покороче, подлиннее, и вся мировая история потекла бы по-иному. Так ведь то ж царица. А мы?! И от этого зависит! И сразу — красавица, барыня! Подумаешь, носик ей удался! Кривляка. Глазки там! Линия щеки... И уже невообразимая доля твоя, как артиллерийский снаряд, летит к заветной цели — бабах! — от случайных впечатлений. На всю жизнь, до скончания века — миллиметр?! Королева...

Сам теряюсь. Загадка. Тайна. С нее и начинаю: лицо!..

Носик, ротик и вообще вся вырезка были безукоризненны. Не в смысле совершенства: мои! Мои, свои черты я различаю в лице встречной незнакомки. Как бы это поближе выразиться? Черты — души. Обратите внимание на женские имена. Так аугают свою потерянную душу: «— Дуся! Вера! Татьяна! Надя!» И никто не откликается...

А между тем твоя душа, в наилучшем исполнении, ходит перед всеми по филологическому факультету. «— Да ты ж моя! — восклицаешь, еще не зная по имени. — Нашлась! И нет тебе больше без меня ни дня, ни ночи. Ты замкнулась на мне...»

И не смотрит. Знаете, так гордо проходит, в профиль, будто ни хрена не слышала. «— Нашлась! — кричу я беззвучно. — Моя! Попалась!» «— Кто идет?!» — разнесется у Дома свиданий, перекатываясь как эхо в горах... И вот уже ваша судьба проложена столбовой дорогой от первого и до последнего крика.

Каждый раз в лагере, думая о Марии, я становился в тупик по поводу нашего с нею знакомства. Точнее говоря, не знакомства даже, а встречи, которую она, естественно, и не заметила, торопясь на экзамен, стуча каблучками по филологическому факультету. Хотя тогда же сказал себе — с какой-то скорбью: «— Смотри, твоя жена проходит...» Сколько было потом! Понимаете, когда видишь лицо, тебе соответствующее красивыми, некрасивыми ли чертами, все равно, тут уже не споришь и не борешься, а — берешь. И не важно, ответит ли, нет ли взаимным интересом (потом ответит). И полюбит ли тебя (потом полюбит!). И каким ты ей показался в первый раз (какое это имеет значение?). И даже, представьте, если откажет (дура! кукла! сама себя не понимает!), — все равно берешь. Берешь kota в мешке (потом рассмотрим). Берешь в общем-то, на первый случай, за красоту лица, какого нигде не найдете. Пусть — глупо! Не до раздумий тут! Какой-нибудь миллиметр отделяет нас от смерти...

Оглянется — куда ей деваться? Толкнет ее в бок, что даром так не спрашивают и мы бы разминулись, когда бы я не позвал. «— Ох, скажет, Синявский, сними ботинки и посиди тихо со мной...» Я стою за лицо, которое нас прельстило и пошло за нами, в результате, как собака. Я стою за искусство. Там тоже, знаете, удар резца, две или три кисти, и все зависит... Пускай художник один наслаждается увиденным. Никто не верит: «— Да что вы нашли особенного? Где откопали?» Но я-то знаю: дана!

В лагере открывается, к чему это было задумано. Жена должна кормить. Жена должна писать письма и ловить твои между строк. Воспитывать сына, хранить очаг и вести хозяйство, как будто ничего не случилось. И все, что заповедано, если ты не выживешь, место и дело твое, твою оборванную нить, вытянуть и проследить до конца, до собственной могилы... Понимаешь?

— Понимаю.

Она смотрела на меня так, что, казалось, у нее глаза выпрыгнут. Точно так же, наверное, я на нее смотрел. Чего бы не упустить.

— Понимаешь?

— Понимаю.

Не зря тарахтят бабы:

— А вот Борис говорит...

— А мне Костя сказал...

— Мы с Васей...

— Андрей считает...

Словно замороженные... И не важно, что же на самом деле сказал ейный Андрей. Заклятие памяти, знак: «всегда рядом» — и Боря, и Володя. Вы послушайте, как бабы, судача, нет-нет, а свернут имя своего мужика. Покойного ли, живого. Потерянного без вести, а вставит. К слову пришлось...

— Мой-то вчера...

— А мы с моим, Царство ему Небесное...

Вьет гнездо со страха. «Ты да я, да мы с тобой». Больше никого. Работаем на пару. Тем теснее на краю пропасти лепишься к жене. Кричишь во сне — на край вселенной: «— Марья! Держись! Вытягивай! Ты одна осталась — запомни!» И доносится ответно: «Сделаю! Все сделаю! Но и меня не забудь в своем Царствии Небесном, в тюрьме...»

Вот мы и сидим у разбитого корыта. А за окном паровозный гудок уже призывает к бдительности. Ребятам вставить: уголь завезли... Снова гудок. И вспышки электро-сварки — как северное сияние — в тяжелом, беззвездном, не знающем ни сна, ни отдыха небе...

Кто о чем, а шелудивый о бане. У меня с женой, если вам угодно, — индустриальный роман. Слыхали о таком, о рабочем классе: «Гидроцентраль», «Сталинградский тракторный»?.. Ричардсона и Руссо нашего века — читали? И так рано льняные локоны утративший Абеляр?.. Поточный метод. Конвейер. Брак по расчету. Кадры, сказано, решают все. Повысим график. Понизим себестоимость жизни. Откуда следует, что не так уж лгали наши старые авторы. Фадеев, Авдеев... Что нам семья? Производственная ячейка. Лидом в цемент: дашь пятилетний план!.. Вытягивает, смотрю, тетрадь из рюкзака, целенькую, в клеточку, — и ну строить. Мастерца! А сама заливается, что твой соловей, как тут уютно, опрятно, прямо как в провинциальной гостинице. Где-нибудь в Кириллове... На Севере... Вспомни: в Переславле-Залесском!..

Но мне привиделась — Вологда. Забежавший мальчик, должно быть из хорошей семьи, на почте висел на телефоне. В дисканте звенела истерика: «— Прокурор говорит! Слышите? Тут убийство — на углу Чапаева и Фурманова!.. Слышите?.. Убийство!..»

Мы не стали дожидаться. Толпа уже собралась. Молодка редкой красоты голосила над поверженным телом. Я так и оберв. Ритуальное причитание!.. Древний обряд, однако, перебивали негромкие, миролюбивые реплики зрителей: «— Чего реवेशь? Не помрет твой голубь. Очнется...» Видать,

прокурор, по юности лет, порол горячку. Убийство предотвратили ударом кирпича по затылку. Отключили драчуна. Выпавший нож кто-то уже притырил: не дошло бы до протокола. А девка разливалась рекой о злых и завистливых людях, сгубивших доброго сокола. Ее грубо одернули: «— Пошто сама, блядь, сунула ему нож в руку, когда он спьяну полез драться? Вот и съездили по кумполу. Уберегли от тюрьмы парня...»

В неистовом изумлении, обрывая плач, она описала собрание ясноглазыми — ни единой слезинки — очами. И меня как полоснуло.

— Да-а, люди добрыс. Сунула ему ножик... Сама-а. Так я ж его — люблю-у-у!..

Не сказала — пропела. И, прислушиваясь к струнам в груди, бесстыдно воспроизвела: «— Я ж его, бандита, люблю-у-у!» Видимо, слово «люблю» ей доставляло удовольствие. И ну — вопить, по традиции...

Сует тетрадку: читай!

« . . . . .  
. . . . . Стенограмма суда. . . . .  
. . . . . Переправила на Запад. . . . .  
. . . . . »

Вживаюсь. Игра на тетради ведется уже в четыре руки. Силось уразуметь. Вести с того света. Папирус. Думаю попутно: «Продолжение следует». Стараюсь не щелкать ножницами, Мария стрижет письмена, как травку, и бросает щепотками бумажные макароны в кастрюлю: Арагон, Твардовский... Знатный выходит суп. Эренбург... Не шурши карандашом!.. Шаламов. Старому другу. Гинзбург... Солженицын... Не надо было соваться. У него другие заботы. Но какова мотивировка! Писатель должен зарабатывать славу у себя на родине... Сбор подписей... Вигорелли... Кто такой Меникер? Вику Швейцер из-за тебя выгнали с работы... У Голмштока вычитают зарплату за недачу показаний... Передай Даниэлю... Дувакин...

Белые письмена струятся по Дому свиданий. Будто телетайп. Или сердца перестукиваются. Только зачем эти безбожные обороты? Зарабатывать? Славу? Ничего я ему не должен... За Павловского можешь больше не волноваться. Требуется покаяния. Грозит разоблачить. Тогда — второй срок... Обыски! обыски! Нынче идет охота на волков. Высоцкий... Но мы попробуем. Не правда ли. мы еще раз попробуем?..

Вижу, светлеет лицом, переливая в меня правильность и ареста, и лагеря. Волки. Семья. Производство. При случае зальем кипятком и сплавим в нужник из кастрюли прокисшую лапшу. Смеемся для отвода глаз. Дурим. В каком ухе звенит, когда исполнится? А за окном паровоз просится на разгрузку. Гудит и гудит, треклятый, предлагая себя обыскать, прежде чем запустят в производственную зону. Опять завезли уголь. Ребятам подъем. Аварийка. И круглую ночь — как северное сияние — мечутся в небе сполохи электросварки...

Как они искали, обкладывали!.. Поздно вечером идем по Воровского, забыли дома письмо, назад с Арбата, а Мария говорит: «— Смотри! Под аркой!..» И действительно, в десяти шагах катится по тротуару блуждающий огонек. Кто-то обронил сигарету. И хоть бы какая тварь! Под аркой сырой холод. Ни шороха. А сигарета еще тлеет... Толкает локтем: «— Давай заглянем!..» Но я не из храбрых. «— Ну их. Пускай следят. Привидения. И потом, это, может быть, просто какой-нибудь грабитель на работе. Не надо мешать...»

Мария дерзка и воинственна. Полная противоположность. Друзья острят: «— У вас обыкновенный симбиоз — актинии и рака-отшельника». Согласен. Индустриальный роман. Знала, выходя замуж: посадят. Только она не любила, когда я, все чаще, с ней об этом заговариваю. «— Не накликай! — скажет. — Пожалуйста. Слова — сбываются...» А я не накликаю. Мне важно уяснить ситуацию, подготовить почву... Так мы толком в итоге ничего не разработали. Ни как ей жить без меня, ни что нам делать на следствии... Висим в воздухе...

Однажды мы ходили по Ваганьковскому кладбищу, и я что-то несу на заграницу, как обычно, что нет-де известий от нашего бедного автора... Три года, как отослали... Жди, когда арестуют... Она слушала-слушала и:

— Не грехи, — отвечает. — Обещаю, если буду жива. Как ты просил. Рядом с матерью. Но я напишу на камне. Вырежу буквами. Или на медной табличке. Возле твоей фамилии...

Я, понятно, одобряю. То-то будет номер. Зловредный автор, на глазах у всех, лежит себе преспокойно в земле. Не достанут. А рукописи, как перелетные птицы, откочевали в чужие края. Больше к этой теме мы с ней не возвращались. До настоящей погони было еще далеко...

Впервые о появлении Абрама Терца на Западе я услышал при обстоятельствах самых обычных. В ИМЛИ тянулось



всегдашнее заседание нашего сектора советской литературы, на полтора десятка персон. Толстенякая брюнетка-референт, приглашенная из другого отдела академии, зачитывала годичный обзор откликов на соцреализм и советские достижения в каверзной зарубежной печати. Порядок таких обзоров, по иностранным источникам, утвердили прошлой весной, с 59-го года, с целью, очевидно, повысить боевитость академической науки материалами спецхрана. На барскую ногу, силами референтов, привычная демагогия оснащалась секретными сведениями, требуя от нас наступательных ударов на широком идеологическом фронте. Все устало зевали... Как вдруг переводчица с английского и французского металлическим тоном, отрешенным от суеты и собственной заинтересованности, внятно произнесла мой постыдный псевдоним. «Наконец-то! — пронеслось. — Вот Машка удивится!.. Обрадуется!..» А вышколенная брюнетка и бровью не ведет. Обвыкла, что ли, в недрах спецхрана, в нетях буржуазных изданий выцеживать живые крупницы, высаживать имена? Мне, правда, вскоре послышалось, что экзотическое имя она немного смаковала, как женщина без степени, но доверенное лицо, или, возможно, как еврейка с языками, с легким оттенком загробного превосходства. Дескать, не спите, доктора и кандидаты, старшие и младшие научные сотрудники: объявился на Западе загадочный самозванец, родом незнаемо кто и откуда, паук, плетущий рукописную паутину якобы в Светском Союзе. Плетет здесь, публикуется — там. Может быть, фальшивка. В зарубежной прессе на сей счет имеются разные версии. И — выдержками, в обратном, дурном переводе с иностранного. Но все-таки можно узнать, догадаться... По блеску глаз...

Все как-то затаились. Вражеские вылазки вносили в ученую нашу жвачку электричество детектива. У меня с первой секунды, помнится, только уши зажглись. Беззастенчиво, словно у мальчишки. Ничего не выражаю на слепой физиономии. Сiju прямо, нога на ногу, будто так и надо. Но уши-то, уши на мне беснуются, растут. Текут уши. Куда их денешь? Как спрячешь? Это не рукописи — уши. Хоть беги вон из класса! С каждым упоминанием уши у меня, как вампир, наливаются новой, бордовой плотью. Ничего не чувствую, не сознаю, кроме своих ушей. Проклятые! Пьют кровь! Глянут случайно, обернутся сослуживцы, и — пожалуйста, восседает среди них, с поличным, ужасный, ушастый Абрам Терц. Гольими руками хватайте! И не нужно доказательств...

Все, однако, с вожделием смотрят не на меня — на толстуху. Ну и пулемет! «Энкаунтер», «Культура», «Эспри».

Цитатами, цитатами. Убийственными уликами. Люди, будьте бдительны!..

С окончанием доклада, подлетает Мехмат. Прозвище у него такое, сложенное аспирантами из рабочего имени-отчества нашего говоруна, за расчетливую скорость, должно быть, на холостом ходу и заводной темперамент в тактике партийного двигателя, с бескорыстной трескотней и петушиной, великодушной риторикой. Всегда на линии огня, на переднем крае — Мехмат.

— Эврика, Андрей! Я разгадал по стилю. Никакого Терца в действительности — нет. Фикция! Фальшивка! Сфабрикована ловким западным журналистом. Цитаты выдают. Нельзя представить, чтобы автор, живущий в Союзе, знающий нашу страну, историю, психологию, и вдруг приписал бы Сталину — «мистические усы». Менталитет не тот! Ляпсус иностранца! Вам, например, не пришло бы в голову... Какой советский допустит подобную оплошность? Мистика — в нашей жизни! «Небесный Кремль»? Анахронизм! Ошибка! Подделка!..

И поскакал дальше Мехмат. Напряженно улыбаюсь. Мямлю в спину: «— Да-да... по всей вероятности... Михаил Матвеевич... трудно предположить... фальшивка... »

Уши на мне — как два фонаря — горят...

С другим сослуживцем плетемся восвояси. Свежо. Метель задувает. Под шапкой ушей не видно. Зажглось электричество. Можно подышать. Мы с ним соседи, семейственно, возле Института, и после советского сектора, обыкновенно раз в неделю, проветриваемся, беседуя, переулками, у Никитских ворот, провожаем друг друга, иногда захаживаем, приятельствуем на расстоянии, как старший он меня опекает, учит жить, посвящает в закулисные хитрости, спаниеля подарил, дивного пса, от своего помета, беспартийный, ладный властям и людям не враг, благожелательный литератор. Хоть и нет его больше в живых, пусть останется у меня анонимно — просто честным, милым моим, безобидным сослуживцем на белоснежной улице...

— Мехмат чепуху мелет. Щелкунчик. Бубенчик. Ля-ля-ля! Засматривает вперед, попрыгун. Высчитывает линию... Вы ему не верьте, Андрей: никакая не фальшивка. Явно — отсюда. Не стали бы огород городить. Давать сигнал. И скоро его арестуют, не волнуйтесь. Может, уже нашупали и держат на мушке, сверяют показатели, покуда мы тут в Институте головы ломаем...

Слабо возражаю. Вдаваться, проявлять интерес, беспокойство — не резон. Но у меня отпуск сегодня, праздник

все-таки и уши под шапкой. Дома хоть шаром покати. Мария с утра водит за нос экскурсии по Останкину: туристы из Китая, старшеклассники, пенсионеры, военные. Еще успею удивить. Снег вертится. Найти иголку в стогу сена — это даже КГБ нелегко. Где ориентиры? Безымянный — из двухсот миллионов! Без адреса! Блаженствую, купаюсь в скрывающем нас от всего света снегопаде. Как такого распознать?.. Безусловно, поддакиваю, станет продолжать контрабанду, с годами, рано или поздно, откроют, не сомневаюсь. Рукопись, допустим, перехватят на таможне у залетного гастролера. Или кто-нибудь из неверных друзей протрется в пьяной компании. Но если он один, один в мире? Как снег в небе...

Шел когда-то в Москве иностранный кинофильм с захватывающим дух названием: «Человек-невидимка». По Герберту Уэллсу, конечно, но мне казалось, интереснее. К сожалению, я не смог посмотреть по своей детской бедности, а потом его сняли с экрана и он больше не появлялся, сколько я ни выстаивал у сводных чернооких афиш. Как не было его, человека-невидимки... Правда, уже после войны крутили трофейную ленту под другим девизом: «Невидимый ходит по городу», — и я помчался, как маленький. Да разве поймаешь? Явное не то. Дрянь какая-то. И все поблекло... Но тот, единственный, неповторимый, сидел у меня в сознании, запечатленный с удвоенной резкостью по жадным пересказам счастливых, видевших самолично исчезнувшую картину, как если бы я тогда ее не упустил.

Вот человек-невидимка разматывает в отеле бинты, распаковывает голову. Скидывает платье, очки, перчатки и остается абсолютно ни с чем — прозрачный и неуловимый как ангел — в истинном своем, воодушевленном образе. Лишь вещи безумно жонглируют в невидимых, конвульсивных руках. Грабит банк. Ассигнации, ценные бумаги, деньги так и летают по улицам, над домами и трамваями. Пускает под откос поезд. И бежит, бежит от полиции, оставляя на чистом снегу мокрые, босые следы. Стрельба — по следам, наугад. В больнице оживает, постепенно, уже мертвый. На подушке обозначается, сперва мутновато, — череп. С омертвлением, на череп накладываются мышцы лица. Былые ткани. В последнем кадре просветленные черты молодого человека. И в склонении над ним, вместо ветки сирени, чудесная девушка, вечная невеста, утраченного уже навсегда человека-невидимки. Но если бы он бежал не по снегу?!

Мой собеседник, однако, смотрит на вещи мрачнее. Рассудительно бурчит: кибернетические машины. В наше время, Андрей, вычислить человека по стилю, по языку ничего не

стоит. Частотность лексики, индексы, теория вероятности. Машина заглатывает образцы литературной продукции и выдает готовый ответ. Искомое лицо — назовем в уравнении Икс — не с улицы. Из нашей братии. Образован. С модернистской жилкой. Какие могут быть варианты? Москва-Ленинград. В крайнем случае — Киев. Не из Бердичева. Значит, круг работ на вычислительных машинах сужается. Неужто вы думаете, никому не известный автор? Я действительно так думаю, но об этом ни гу-гу. Тайна. Снег падает. Завеса. Как хорошо, когда снег. Стиль, слава Богу, не отпечатки пальцев. Даже не характер. Не образ жизни. Бывает, человек и писатель совершенно несовместимые личности. Другой почерк. Не вычислят. Да и нет причин кого-то вычислять, истреблять...

Вот уже и спор. Старый спор о свободе слова. Сползаю на Пастернака. Так оно безопаснее. Это же невинно — стихи. Лирика. Почему не публикуют? Ахматова... Мало вам досталось?.. Всегдашнее карканье: «покайся!», «покайся!» Мехмат прибежал в подвал уговаривать Марию, чтобы на меня повлияла. Но есть в ней какая-то мальчиковость и виносливость подростка. Стойкий оловянный солдатик... И зря не покаялись. Зря! Вы не в курсе! На закрытом партсобрании Овчаренко — как припечатал: изгнать! В Институт проникла чужеклассовая бацилла. Гнилой либерализм!.. Стучал кулаком, мыслитель, в чахоточную, рабоче-крестьянскую грудь. Как Суслов. Анемичный сталинист. Спирохета... Вы не думайте. Мне ту кухню кое-кто из коммунистов в лицах избразил. Щербина вторил с амвона. Вы же знаете, он у нас слова не выговаривает. А тут разошелся — прямо дьякон. Анафему возгласил, настоящую анафему. У Финяшского, — у вас то есть, — антифифешская фа-фа-да!.. Бросьте, просто ему зубы во рту мешают. Слюна. Пена. Э-э, нет. Это, извините, уже серьезное политическое обвинение. По старым временам, после такого... Вот у Бабаджиева, объявляет, — тоже молодой работник, — борода советская. А у Синявского — антисоветская... Ну да что вам Щербина! Уже не авторитет. Известно. Всех аспиранток у нас перепортил — без этого бедным девочкам не попасть в Институт мировой литературы. Пропускает через себя вместо вступительного экзамена. Казацкая кровь у старика играет. Чуть на Александрове, помните, на актрисулях, не погорел... Но ведь Храпченко тоже требовал увольнения! Бывший Комитет по делам искусств, не шутите. Мишистр!.. Вас, между прочим, Андрей Донатович, спасли Деммент и Мехмат. Как бы я лично плохо ни относился к Мехмату, но он тоже тогда,

против Овчаренки, за вас подвывал. Возьмем на перевоспитание. Ленинские принципы. Способный парень. Начинаящий критик. Исправим своим коллективом. И Дикушина, Дикушина — поддержала!.. А вы опять за старое, за Пастернака?..

Снежная пыльца вертится на асфальте. Струйками, легкими вихрями ползет впереди. Поземка. Как в деревне. Подхлестни ветер, закрути смерчем, и пронеслось бы в народе — бесы с ведьмами свадьбу играют, шалят, пляшут. Так что пыль столбом на ледяной дороге. Бросить сбоку, ловко, нож в смертное верчение, и лезвие, по древней примете, оросится кровью. Вот и доказательство. Кровь. Там, в штопоре, кто-то живой... Да разве дождешься? Только снует белый паучок по асфальту и опутывает паутиной московские переулки...

Что вы! что вы! Пустые страхи! Пастернак никому ничем не угрожает. Государство не развалится от десятикратного изданий. Ах, какие прекрасные книги могли бы появиться в России! В витринах! А как же — Польша? При чем тут Польша? Прямая связь! Мы издадим Пастернака, а в Польше, на радостях, разрешат независимые журналы. Это вам не ГДР. И так нос воротят. Дайте в России свободу творчества — и Польша отложится. Чего держать? Себе дорожке. За Польшей — Венгрия, Чехословакия... Вассалы... Сателлиты... Мановением руки я отпускаю всех на свободу. Летите, птички! Вы спятили — за Восточной Европой покажется Прибалтика! На здоровье! Насильно мил не будешь... Украина!.. Кавказ не за горами... Не-ет, из-за какого-то Пастернака — разбазаривать Империю? Вы этого хотите? Впервые, вы слышите, впервые в мировой истории Россия вышла к Индийскому океану! К Африке! К Центральной Америке!.. И все это — отдавать?.. Не переварим. Подавимся... Не спорю. Просто слова кружатся на ветру. Останкино. Терпи. Заслужил... Китай! Мы забыли китайцев!.. Хотите пари? Несколько месяцев, от силы год, и — можете быть спокойны — этого невидимку накроют. И правильно. Нельзя допускать. Оставьте щель — начнется утечка рукописей. Вторая литература полезет. Дурной пример заразителен. Учтите, если сегодня до нашего болота сочли нужным опустить информацию, то что же в эту минуту делается там, наверху?! Агентура. Контрразведка. Международный шпионаж... Снег на самом деле не падает, а садится. Поди сосчитай снег! Государство с его интересами... Простите, причем тут политика?.. О если бы жарче поддала пурга! Нас бы вообще не открыли... Кибернетические машины. Листки. Машинописные страницы. Индексы. Лексика. С какой частотностью

встречается слово «задумка»? «Проклинулась»? «Своеобычный»?.. Ненавижу. Китай. Америка. Снег. Вторая литература... «От Нила до Невы, от Ганга до Дуная!» Это вам не Пастернак!.. У снега своя кибернетика... Китайцев в Москве даже я еще помню. Продавали у Никитских феерические цветы-веера. Сложишь вот так, на палочке, получается феникс, а сложишь по-другому — дракон. Я только смотрел. У мамы не было денег. Мячики, туго набитые опилками, на резинке, и я покупал. За пять копеек. Всегда улыбались. Никого не трогали. Куда дели китайцев? В каком году они исчезли? После озера Хасан?.. Снежинки... Каждую взять... И никто не остановит. Какое дело снегу до людей? Что они — в небе — всемирный коммунизм строят? Зачем нам Америка, Дунай, Прибалтика? К чему Империя — если не будет искусства?.. Цель и средства...

— Перестаньте, Андрей Донатович!.. Вы уже рассуждаете почти как Абрам Терц!..

Странно, что эти речи, многолетней давности, сползают к Дому свиданий. Точно у нас тут развязка полицейского сюжета, макет настольной игры в сыщики-разбойники, затеянной Бог знает когда, и ключ в кармане от оперативного досье. Нет, беглец не ведает плана всей рассыпанной по оврагам и буеракам охоты, в обхват, с разных сторон. Только мелькают в глаза лоскутами, похожие на вымысел и не размеченные по карте, сигнальные рефлексы опасности, лежащие за пределами человеческого познания. Мария стрижет купоны и складывает аккуратно в горшок варить отворотное зелье, а я, склоняясь над тетрадкой, пытаюсь задним числом реставрировать события по скачущим коньями теням, на манер аппликации, на которую у меня не хватает ни клея, ни терпения. Тут прореха, здесь выкройка, а там заведомый бред... Говоря по правде, распутать лабиринт наших неутомимых преследователей мы не искали, довольствуясь случайными и разрозненными клочками, выпадавшими по временам, от перенасыщенной жизни, в осадок. Что толку в тюрьме выяснять, где и как персонально они вышли на след? Снявши голову, по волосам не плачут. Да и не любитель я детективов. Бегство, сдается, увлекательнее погони. Как летом, бывало, заляжешь в лопухах!.. В детстве, в деревне, в самой интересной массовой игре в «казаки-разбойники» — а мы бегали по лесам и оврагам, разбившись на две партии, — мне всегда хотелось остаться в партии не «казак», а «разбойников». Бывали, однако, охотники бессменно ходить в казаках...

И все-таки Даниэль, в конце очередного допроса, подписывая протокол, заметил на столе знакомые абзацы. Сам выстукивал несколько лет назад, одним пальцем, в одном экземпляре, и я не вправе умолчать: через меня они уплывали на Запад. То была фотокопия его повести «Искупление». Подлинник, с помощью Божьей, достиг иных берегов и вышел книгой, а оттиск машинописного текста, какой-то обратной почтой, очутился в мышинном портфеле. Юлька в лицо узнал свой единственный экземпляр...

К делу, впрочем, это не имело приложения и покоилось как музейный трофей на столе у следователя. Может быть, им хотелось блеснуть степенью своей проникаемости. Научной полнотою и законченностью рисунка в уловлении сбежавших страничек. Таи, писатель, корпи, скрывайся, спускай в уборную грешное свое рукоделие, — фотокопия в Лефортово!..

Поистине, я был изумлен, слизнув на свидании ту изюминку из рук Марии. Какой размах! Какой широкий забег! Но какого чорта?! Что они сами не знают, куда деньги девать, как расходовать казну? Не с безликой же машинки они начинали свой долгий поиск? И даже не с имени автора. Не кто писал, а кто доставил, канал связи — вот что требовалось доказать. А дальше просто: в каких домах окопался, с кем встречался иноземец? И ставь подслушники, засылай наблюдателя в круг подозреваемых лиц. Так, по всей вероятности, мы и были найдены... Зачем же еще, в умножение расходов, шастать по заграничным шкапам, ворошить бумагу, кого-то подмазывать, рисковать ценным агентом, — и все это ради выкрадывания стандартного шрифта, с кое-какими, пускай чернильными, от руки, помарками?..

Сумрачный генерал-лейтенант, в сердцах, попрекнул меня дефицитной валютой, уплаченной за мою голову. «— Одиннадцать тысяч долларов — золотом — стоило нам удовольствие!» Недорого, — вяло подумал я. Совсем недорого. Да разве кагебешник скажет вам правду? Может, он сумму взял с потолка, в надежде расшевелить во мне слабые остатки совести. Вот в какую копеечку влетели вы Родине! Либо в уме все еще прокручивал закупку валютных бирюлек, приложенных к нашим домам, как я подсчитал, месяцев за семь до посадки. А кто подсчитает зарплату высших и низших чинов, пущенных следить за развитием искусства, за циркуляцией иностранцев? Я бы лично повысил цифру с учетом всей операции. За десять лет одиннадцать тысяч? — обидно.

Не будем, однако, с другой стороны, заламывать себе цену. За такое и расстрелять недолго. Представьте, уже

в Париже, информированное лицо нас клятвенно заверяло, что в США своими ушами слышало от какого-то сенатора, будто лицензию на Терца в КГБ приобрели по стовору у американской разведки,— за параметры новой советской подводной лодки. Тут уж мы с Марией взбеленились. Сбавьте гонорар! Имейте совесть! На такой культурный обмен и КГБ не пойдет. Одиннадцать тысяч, вам говорят, и ни гроша больше. Ведь она, небось, на атомном ходу, с двумя боеголовками? Нет, так высоко, на уровне подводной лодки, даже я себя не ценю... Но было дело, если память не изменяет. Рассказывали...

Советский посол во Франции, в те времена Виноградов, устраивал высокий прием в честь русско-французской дружбы. В антрактах, между гостями, в порядке очевидно милого козери, ловил рыбу на спиннинг, забрасывал виртуозно блесну в сторону моего тогдашнего импресарио, обставив деликатно ловитву добрейшим смехом, шуточками, пузырьками шампанского, приятно отдающими в нос. Как же, как же! Читал. Забавно. Однако, честно говоря, я сомневаюсь, чтобы авторство принадлежало нашим пенатам. Стиль, знаете, стиль не тот... Что это вам кто-то привез? Из Москвы? Из Ленинграда? Какие у вас гарантии? Не с неба же она упала? Рассуждая абстрактно. Чистое любопытство. Культурные связи. Гранд-Опера. Большой театр. Импрессионисты. Дебюсси. Но кто же все-таки принес рукопись? Рукопись — откуда?

Издатель, тертый калач, знавший канал, нашелся: — Никто не принесил. Сама. В конверте. Из Советского Союза. По почте.

— По почте?!

— Да, по почте!

Посол прикусил язык.

Окольным путем, с опозданием, порою в несколько лет, с коэффициентом искажений возможно, эти розыски беглого автора достигали нашей фактории. Мы путали карты. Удавалось иногда. Надолго ли только? Бог весть...

Года четыре спустя, с тем же моим анонимным сослуживцем, прогуливаемся, как обычно, после советского сектора. И снова снег, и снова только что на языке у референтов все тот же спящий где-то здесь, невдалеке, за поворотом, невидимый паук-чернокнижник. На сей раз ему хана, ворчит сослуживец. Допрыгался. Аминь. И месяца не протянет. Держу пари. Уже сами иностранцы выдают с головой своего корреспондента. С потрохами... Аминь, подхватываю, но где же все-таки звон? Откуда слух? На днях, объясняет, был у него с поклоном,



по ученой части, незнакомый один славист. Ну выпили, закусили, и начинает заморский гость хвастаться контрабандным товаром. У него с влиятельными газетными кругами, видите ли, контакт. Хорошо, мы тет-а-тет, а если б кто еще за столом — подумать тошно! А я рас-по-ла-гаю, улыбаюсь, всеми секретными данными вашего фривольного автора, которого безуспешно разыскивает ваша тайная полиция, а я его большой, большой почитатель. И фамилия псевдонима, смотрит в блокнот, до-под-линно мне известна, и место-пре-бывание... Это он в блокнот редкие для себя слова заносит и попутно тренируется на мне, скотина, в русском произношении. Но говорит без ошибок. За этим, говорит, Монте-Кристо сейчас у вас по Москве, смотрит в блокнот и смеется, — шурум-бурум, базар-вокзал... А он у меня, шурум-бурум, вот где сидит! В боковом кармане! Я-а-а — капиталист! И хлопает себя по накрахмаленной рубашке, болван. В подтяжках. Стараясь отвлечь. Уищем уодки, уищем уиски. Перевожу разговор на профессиональные рельсы. В романе Алексея Толстого «Петр Первый», говорю... Ни в какую! И слушать ничего не хочет. Лезет с разоблачениями. Только просит фактам развития не давать. А то его конфиденты будут очень огорчены. И он тоже весьма озабочен судьбой своего протеже, если того почему-либо вдруг обнаружит полиция. Вы же сами понимаете, чем это ему аукнется и как откликнется... Я-то понимаю. Да он-то откуда знает, татарин, что я не побегу доносить? Да, может, я пригласил его на квартиру — по специальному заданию? Да, может, перед ним — сексот? Душу норовит открыть, паразит, первому встречному советскому человеку. «Я вверю в вашу порядочность»...

Украдкой озираюсь. Смеркается. Прохожие поодаль неслышно перебирают лапками, словно сонные мухи. Если б Марья была под руками, она бы — эскадроном укулов, градом издевок, подначек — дезавуировала фигуру scandalного, прозрачного умолчания над нами. Она бы воздух разодрала — на промокашку провокатора!.. Но Марья в это мгновение тащит свои часы по истории искусства в Абрамцевском ювелирном училище, и ей не до меня. В критические минуты мне отказывает разум. Мне всегда недоставало бойрой находчивости, очерченности жестов, реакций. У тебя, Сиявский, замедленность и вязкость характера, — говорит Марья, — и все эти недостатки в себе ты культивируешь. Ничего я не культивирую. Просто не способен сочинить экспромт, сказать к месту пристойную остроту. А снег валит как в зимней сказке начала прошлого века. И сердце трепещет, в засаде, — как Мотыкин хвост...

Принимаюсь осторожно выколупывать взрывчатку из немецкого пирога. Безучастно, не спеша, будто это нас не касается, и опера идет на другом конце света. Ну и что?..— спрашиваю. Ну и кем он оказался, этот, как его... человек?.. Местожительство?.. Род занятий?.. Пол?.. Возраст?.. По мере произнесения, кажется, я удаляюсь по воздуху и оставляю взамен себя бесформенную снежную бабу. «Пол» я, вообще, уже притягиваю за уши, вроде спасительной, смягчающей обстоятельства, вымученной ужимки мнимого непонимания, какой мы, случается, как девушка цветным рукавом, заслоняемся от прозорливой судьбы. Сперва пол установите (мужчина я или женщина), возраст, город, а потом уже лицо. Об имени — и не упоминаю. Боюсь, ответит, как Порфирий Петрович Раскольникову: вы-с, вы-с и убили-с!..

Нет, указать пальцем иностранец постеснялся. Да полно, знал ли он имя своей намеченной жертвы? Скорее он кокетничал несколько эрудитской слависта в нашей национальной политике. Зато — все позывные, все точки пересечения ударных линий, разбегавшихся в разные стороны от правды, — радостно удостоверил...

Какой-то миг сослуживец, мнилось, колебался передать мне заветные нити, на которых далеко-далеко, как в прицельном зеркале снайпера, корчилось мое мелкое тело. Помычал и махнул перчаткой: чорт с ним — все равно славист раззвонит!

Искомое инкогнито проживает в Ленинграде. Холост. Одинок. Инженер по образованию. Сидел. В преклонных уже летах. На пенсии. Рукописи шлет, периодически, через Польшу. В Польше у него родственники. Из особых примет: лысый, как черепаха...

Я чуть не упал... Польша — сработала! И Ленинград — сработал! Остальное досказала молва. Снимаю шапку. Отряхиваю снег. Приглаживаю волосы. Пронесло...

Мы живем по анекдоту. Как переходить государственную границу? Лучше всего ночью. Под Новый год. Берете в дорогу пустой мешок, посох и фонарь с огарком. В пограничной деревне, с вечера, ловите кошку и прячете надежно в мешок. У скованной льдом рски зажигаете фонарь и несете перед собою на посохе, в открытую, по снежному полю. Пусть издали видят: «— Идет — Нарушитель!» Где-нибудь на середине реки боец-пограничник, в укрытии, вас окликнет за полкилометра: «— Стой! Стой! Стрелять буду!» Замри как вкопанный. Фонарь на палке, безукоризненно, по команде, воткни в снег. Пусть издали видят: стоишь! А сам с мешком иди дальше. Боец-пограничник спешит к фонарю на лыжах, обнаруживает подмену и ваши следы на снегу,

уходящие на Запад. Тогда он за вами, по следам, посылает собаку. Вы же в эту минуту, на второй половине пути, выпускаете из мешка — кошку. Кошка — назад, в деревню, на советскую территорию. Собака, натурально, за кошкой. А вы уже перешли государственную границу... Но где по-сох?..

— С Новым годом, Маша! С новым счастьем! Новый год мы всегда встречали вдвоем. Только вдвоем. Елка. Шаррики мерцают. Свеча. Как старые пираты, пьем за удачу. За то, что уцелели в прошлом году. За то, чтобы в новом году повезло, как в старом. Еще бы год продержаться! Еще бы год!.. Хлопчем, заметаем хвостом следы за границей. Играем в прятки. Выбрасываем ложные флаги. Кошку — в Польшу! Фонарь — в Ленинград! Опережаем облаву...

Вечером вахтерша в подъезде, из бывших, манит пальцем и на ухо: «— Марьвасильн, двое приходили. Выспрашивали: кто к вам ходит? Иностранцы бывают? Как мне знать, говорю, иностранцы это или нормальные люди?..» Вахтерша с давней поры, с отцовской еще истории, нам покровительствует. У нее сынок-уголовник, в расцвете лет, покончил с собой в лагере, успев отписать: «Мама! Здесь — как в сказке!..» Раздумываю: если как в сказке, то чего же он покончил с собой?..

Стук в подвал. Курьер из Института. В дирекцию вызывает Щербина. Меня? В дирекцию? Щербина любезен. Со мной? Любезен? Никогда не здоровался, и вдруг с улыбкой. Мне? С улыбкой? Срочная командировка от Академии Наук: Кишинев — Киев. Налаживание научных контактов. Я? — для налаживания? Меня? — в командировку? Впервые в жизни. Не такая птица. Сами норовят пройтись по буфету в союзных республиках. Предпочитают, правда, Кавказ. Кому-то, видно, понадобилось убрать меня из Москвы в назначенные числа. Зачем? Отрезать предусмотрительно от вражеской делегации, с которой и не собираюсь встречаться? Сделать негласный обыск в доме, пока меня черти носят, а Марья торчит во ВГИКе, погружая глянцевиных артистов в потопа готики и барокко? Или подключить, через стенку от соседей, какой-нибудь секилятор. У Даниэля сосед — намекал. Напрасно, Юлий Маркович, отлучаясь надолго из дому, вы не замыкаете дверь в ваши апартаменты на ключ. Кабы кто чужой не проник в хоромы. Кому проникать? Вору там делать нечего. Одни книги. Сосед-пенсионер, невылазно, сторожит пустую квартиру. И смотрит понуро в сторону, словно уже кто-то недобрый побывал у Даниэля с визитом. Эх, Юлий Маркович, какие воры? — не будьте идиотом!..

Нервничая, бегу за билетом, а Марья сочиняет проект адской казни моему институтскому руководству. Народ-то все больше безграмотный, бесталанный, даром что доктора, академики из выдвинутых: Щербина, Храпченко, Овчаренко и сам директор, Иван Иванович, по кличке Ванька-Каин... Хоть и бывал, говорят, на приеме у Королевы Великобритани и у Королевы Бельгии Каин,— с нашим младшим братом он только матом объясняется. Подражает, что ли, нравам в аппарате ЦК, патриарх, а то и выше кивайте?.. Теперь меня, вообразим, по рекомендации Марьи, на время и вместо поездки Киев — Кишинев, каким-то волшебным путем возводят в степень Директора, с вытекающими возможностями по отбору персонала. Нет, управлять наукой я не берусь. Но долг свой исполню. Из головы нейдет, как Иван топал на нас ногами: «— Только чтоб у меня никаких оригинальных идей!» — и месть моя будет страшна, предупреждаю. Для всех вышеперечисленных лиц из нашего начальства объявляется экзамен. Запирают поочередно в директорском кабинете, на срок до пяти дней, и каждому отдельную письменную тему для сочинения, как это практикуется в средней школе. Самый простой, без подвоха, урок. Ну там «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор», «Отцы и дети»... А желаешь Кафку — валяй Кафку. Хоть Ромен Роллана... Текст на столе, in folio. Но пособия из фондов, критическую промышленность, я вас попрошу, на эти дни исключить. На компиляциях они собаку съели. Телефон тоже пока отрезан, во избежание подсказок аспирантов и референтов. Ночевать, будьте добреньки, на директорском широком диване. В одиночестве. Без девчонок, шепчущих на ушко свои студенческие грехи. Питание — по вкусу, из ресторана «Прага». Коньяк не возбраняется. Сиди и высасывай из пальца какое хочешь исследование. Садистическое условие конкурса: хоть одна оригинальная мысль, одно свежее слово... Еще пожелание — орфографию не ронять ниже уровня 5-ых классов... По прошествии, ручаемся, у каждого, проверив успехи, мне останется в конце сочинения вывести резюме красным карандашом: «Уволить за профнепригодностью»...

— Как же! Слыхали — что вы в душе вынашивали под крышей Института! — истолкует по-своему Марьяин проект печальный начальник лагеря. — Вы же хотели всех нас на Красной площади — за яйца — повесить. Все руководство...

Однако, пока мы шутки шутим, они роют шурфы. Просеивают песок, процеживают решетом воду... Что происходит и как? — вне доступа, за полем обзора... Только эхо докатывается... С опозданием. Но ближе и ближе. Вон кто-то

побежал-побежал и как сквозь асфальт провалился. А сигарета еще тлеет... Огонек — не от человека... И вот уже весь, разом, обступивший тебя горизонт заговорил незнакомыми, гортанными голосами. О чем, собственно, речь? Ни о чем. Сделай шаг и наткнешься на сыщика. Оглянешься — ни души. Снова померещилось? Нет, здесь они! При дверях! За окном! В воздухе! Не один ты хитрый. Полный мир невидимок...

Розовощекая девушка на выдаче, потупившись как чайная роза, приоткрывает иносказательно, не придрачься, что мой формуляр в Ленинской в понедельник брали на перлюстрацию. Бисер выданных книг в течение двух лет. Кланяюсь низко опустившей глаза цветочнице. Куда брали — не спрашиваю. Профиль изучают по старым координатам — что человек читал? Помните у Дидро: «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты?..» Мне мама жаловалась не раз на свою библиотечную жизнь. Является Некто в сером в юношеский зал и юрк за полки, в картотеку. Регистрирует пофамильно, какую беллетристику заказывал тот или иной подзрительный подросток. Непедагогично! Дети! Наша смена! Да и книги-то двадцать раз прошли через все фильтры!..

Впрочем, перлюстрация впрямую меня не пугала. Все таки — научный сотрудник. Формуляры, помню от мамы, на каждого читателя хранятся ровным счетом два года. Не больше. Потом их сдают в утиль. Ничего основательнее в помощь КГБ библиотека им. Ленина создать не в состоянии. Физически нет места. И если они рассчитывают поймать меня на словах, на цитатах к «Соцреализму», так это же делалось не два года назад, а дай Бог память... Еще мама была жива...

Досадно другое — хвост. Мы у них на приколе. Не унохали вплотную, но идут по пятам. Эх, всегда я собирался, запутывая картину жизни, выписывать множество книг, не имеющих ко мне отношения. Вместо мебели. Обложиться бы, не читая, Тургеневым, Шолоховым, Алексеем Толстым... Меня подозревают в симпатиях к декадентам, допустим, а я, в качестве алиби, — Абеляра, Фадеева... Они мне — Пастернака, а я им — Геродота. Они мне — Геродота, а я им — Дарвина. Они мне — Дарвина, а я... Глаза разбегаются. Ведь тысячи книг, и за каждой не уследишь. Баррикада! Не мешайте. Изучаю. Научный я сотрудник, в конце концов, или не научный?! Что хочу, то и читаю. Преступники, я где-то читал, делают иногда на лице пластическую операцию. Пересаживают кожу. Вот бы и мне видоизменить профиль — путем фиктивного чтения. Прикинуться, по формуляру, ло-

яльным, положительным гражданином. Нырнуть. Исчезнуть на несколько лет. Раствориться в книгах. И, вынырнув с другого конца, требовать внаглую, для респектабельности, «Библиотеку приключений». Шерлок-Холмс. Нат-Пинкертон. Не юноша уже. Имею доступ. Знал бы английский язык — подать мне Агату Кристи! Подать мне «Убийство на улице Морг»! В подлиннике! Да и наш Граф Монте-Кристо — взять — чем не хорош в роли доброго гения всех беглых каторжников?..

Это бы оправдало меня в глазах госбезопасности. Оставьте в покое. Видите, у него на уме, по списку, — Дюма, английские сыщики... Ничего плохого. Читает человек. Интересуется — литературой... Да все нам некогда, все недосуг. Обойдется. Откладываем в долгий ящик. Спохватисься однажды. Ан ты уже на крюке...

На банкете, в ученом застолье, мы — пьем. Узбекская девочка, у Щербины, потеряв девичество, защитила диссертацию. И мы пируем по Шекспиру. Гудим. Папаша, что будда, глава Обкома, в честь защиты дочери-невесты, купил этаж в ресторане «Прага». Тосты, тосты!.. «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы!..» — попытался и я, когда подошел черед, вставить свой комплимент девочке, но она не поняла... Университетская старуха, в усах, с мировым именем, под скатертью пихает коленом: «— Андрюша! Если б вы знали — как надоело быть проституткой!..» О чем вы, Тамара Лазаревна! Какая проекция? Ради красного словца? Труды и труды. По науке, без трупов. Сама Шекспир. В женском роде, конечно, безобразна, как подобает профессору, в усах, — не об этом же толковать? Девяносто лет. У нее супруг — академик. И тоже с мировым именем. Сравнительное языкознание!.. «— Я устала проститировать...» Притворяется баба-яга. «— Говорю вам — как сыну... Сидеть за одним пасьянсом — с вашими Храпченкой, Овчаренкой... Я устала поддакивать...» А-а, вон оно что! Кто заставляет? Могла бы, кажется, уйти на покой, работать в стол для потомства, издаваться за границей. Не посадят, не такая... Корпусом — ко мне. Все лицо состоит уже из одних морщин. Усов не видно. Усы теряются в разрисованной гравировальной иглой, благородной, как будто к бою татуированной, темно-зеленой бронзе. «— Не забывайте, Андрюша, в какой жестокий век мы живем!.. Будьте осторожны... Заклинаю... Я немного из цыганок...» Как если бы я спал. Я сам знаю, в каком я веке! Что она имеет в виду? Пусть скажет — я никому не скажу!.. Темнит: «...Бирнамский лес пошел на Дунсинан...» И уже отворотилась,

надменная, царица Тамара, гордая собой, помогла, через столовое раздолье, к Храпченке, громогласно, с бокалом, грудями, как леди Макбет. «— Михаил Борисович! Выпьем за 30-е годы!»—«— Может быть, за 20-ые, за 10-ые, за 900-ые? Вы оговорились?— шепчу.— Я слышался?..» Толкает толстой ногой: «— За 30-ые!..» Храпченко устало кивает: «— Ваше здоровье...»

Тогда, за ее предсказанием, я вспомнил три ведьмы в «Макбете». Как, разжигая пламень честолюбца, болотные духи ничуть не лгут, что король и что дети не унаследуют трона, но ввергают в обман, в прострацию сарказмами беспрецедентных последствий. Да. И про лес, сошедший с ума, и про возмездие от руки не рожденного женщиной Макдуфа. Никаких надувательств. Сила темных пророчеств в их неправдоподобной буквальности. То же— «О вещем Олеге». Загадка скрывается в конском черепе Олега, в его голове—непредсказуемой ядовитой змеей. Между тем: «но примешь ты смерть от коня своего»—звучит убедительно. Хотя далековато, заманчиво. Как это от коня? Можно избежать. Не забоялся бы коня—и жил бы припеваючи дальше вещей Олег. Какой он—«вещий»? Это кудесник—вещий. Нет, Олег своими руками навлек на себя погибель: предвестием. Искал, как лучше ускользнуть от беды, ну и доискался. Однако и кудесник, взгляните, что-то недоговаривает. Нет чтобы прямо сказать—в конкретность исполнения: череп. И ведьмы хитрят. Не кесарево сечение. Не срезанные ветви деревьев, одевшие войско в зеленые маскхалаты, как у нас десант. Усатыми губами предсказывают. Призрачным ребенком в короне. Бирнамский лес! Кто поверит? Гадания нас завлекают все дальше и дальше в соблазн, засасывают и бросают безжалостно рядом с грянувшим, все-таки по-своему, нелицеприятным фактом. Немыслимое сбывается с пугающей очевидностью. Туман черновика внезапно, порывом ветра, рассеивается, и ты остаешься с глазу на глаз с обещанной готовой концовкой, сраженный прямее и проще, чем все мы думали и гадали. Ясность и точность свершившегося события, опровергая разум, гласят устами Шекспира, что в будущее засматривать грех и будет только хуже, когда мы загодя что-либо там разглядим. Не обман обманет, а правда, выросшая и настигшая нас благодаря усилиям предупредительно ее обойти, распознав на расстоянии. Нет потому ли наша судьба всегда туманна вначале, двусмысленна, иносказательна, чем и пользуются ведьмы? Пока не исполнится. Умоляю: не надо предсказывать! Что толку в намеках? Где человек, не рожденный женщиной? Где

кесарево сечение? Какой еще лес на горе сдвинется с места и пойдет стеною на Макбета?..

Тот лес нам повстречался в швейцарских Альпах. Он шел в наступление, ничего не оставляя в памяти от ландшафта, кроме черных елей, бравших приступом горы, одну за одной. Но чем дальше и отвеснее, тем реже становились деревья, скошенные контрударами камня, ветра и льда, словно пулеметным огнем, бившим в упор с проплещин, с окованной облаками вершины, хоть снизу и подпирало, карабкалось на подмогу новое хвойное войско, не ведавшее последних, смертельных очередей и перебежек. Лес не мог одолеть, ему было не под силу, и он ложился костями, он жертвовал собою ради поддержания означенного рывка, произведенного, казалось, в согласии с горой, обязанной ему легким, оперенным восхождением в небесный чертог, откуда, внезапно оборотясь, оскалась, она отбрасывала его с холодным негодованием, как ненужную ей больше и подпорченную ее высотой немощную словесность. Глядя из мирной долины на разыгравшуюся трагедию между высокогорным хребтом и ветхим, прокопченным ельником, что ни час идущим на штурм заведомо неприступных твердынь, я мысленно становился на сторону последнего. Я болел за него. Столько упорства! Здесь завершается, чудилось, все, к чему мы стремимся. Как некогда в Доме свиданий, здесь обрывались, сойдясь, пути бесчисленных наших поделщиков и сподвижников. Бредут, один за одним, на высоту гробницы. Кто ползком. Кто немного пригнувшись. А этот, смотрите, уже кувырнулся вверх корнями, дойдя до льда. Какой порыв к невозможному, и та же готовность сойти на нет в обеспечение побега, подъема. В их суровой, подрывной работе было что-то религиозное... Но тут же мне открывались, словно это моя печаль, дерзость и неокончателность речи, на чем висит, лепится и пропадает впустую всякий авторский замысел. И то, что мы с непривычки принимаем за слог, за художественные особенности, всего лишь очередная и обреченная на неудачу попытка выйти за пределы отведенного нам языка и пространства и в лоб или обходным маневром сказать, наконец, о вещах, не подлежащих разглашению. Речь идет о недоступном...

Не этим ли бредил Пушкин, измышляя, «вотще», свой поэтический побег? Или не о том же у Мцыри?

Давным-давно задумал я  
Взглянуть на дальние поля,  
Узнать, прекрасна ли земля,  
Узнать, для воли иль тюрьмы  
На этот свет родимся мы.



Родимся-то мы, как выяснилось, для тюрьмы. Но думаем всё — о воле, о побеге... Побег, пускай неудавшийся, но побег, входит как составная волна в любую поэму. В любую, если взять на просвет, произведение человеческой жизни. Побег — это венец. О да, мы все короли! Незримо. Неслышно. Не мы бежим. Душа — беглянка... Сколько тюремных легенд, сплетенных в ковровый узор, преподают нам технологию и поэтику побегов!..

— Не спорьте. Не сидели с мое. Не пробовали. Кишка тонка... А был, при мне, один вор, которому жить надоело. Так что ж он, морда, придумал? Захватил пилу с кухни и, только успело солнышко закатиться за тот горизонт, начал с двумя пацанами, по-тихому, тою захованною пилой подрезать строевую сосну или, я точно уже не помню, могущественную столетнюю ель, которая там росла по недосмотру надзорсостава — метрах в десяти от запретки. Затер надрез мылом, припудрил землицей. И на третью ночь они влезли на дерево. Сидят. Раскачиваются на корабле. Снизу дружки подрубили последний якорь, а он уже все рассчитал — и угол наклона, и долготу падения, — и ровно в четыре часа оно, сука, как шарахнет, вроде авиабомбы! Раскурочило забор, покалечило на хрен все эти ихние силки-витки, всю хумудрию: стволом — в зоне, кроной — по ту сторону... И — ни одной царапины! Спланировали, приземлились. И попрыгали, как мыши. Ветви ему сыграли роль рессоры. Покуда вертухай проснулся, поставил гарнизон кверху жопой по боевой тревоге, задедюлил в небо две ракеты из ракетницы и стало светло как днем, — они уже на триста метров, считай, нарастили расстояние. Ну пацанов он по дороге прибрал из карабина. А Хаджи-Мурат — у него кликуха была Хаджи-Мурат, а звать Ванька Муратов, — ноги в руки, и как сдуло... Он, морда, подошвы сапог намазал щенячьим салом, и овчарки — не берут. Вот что хотите с ними делайте после этого, стреляйте, бейте, скулят, сука, ползут на брюхе, а не берут. Щенячий дух отбивает у них закалку идти по смертному следу. Она ведь тоже не дура. У меня у самого был интересный пример. Переполз я запретку по-пластунски, вырезал квадратное отверстие в доске забора и только просунул голову на волю, как тут мы с ней и встретились — лицом к лицу. Она — с той стороны, я — с этой: на четвереньках, с ножом в зубах. Молча смотрим друг на друга — не шелохнувшись, — наверное, целую минуту смотрели. И она ушла, поджав хвост. И не зарычала... С того побега, пришла из Кремля инструкция: в глазомере запреток все деревья спи-

лить — к матери, под корень! И вообще хорошего дерева, с тех пор, вы по зонам уже не найдете. Боятся, козлы, полета... Кто? Хаджи-Мурат? Какое там — с концами!.. Около Котласа взяли. Но все же до Котласа в тот раз он додул. Это я точно знаю. Додул до Котласа...

— Большое вам спасибо, ясновельможный пан, господин русский писатель! Но только я лично, как человек западный и стрелянный уже воробей, советую вам: не верьте вы тому апатриду. Не с дерева прыгал наш храбрый Мурат, а путем канализации уходил от тирании здешнего Гестапо, которое после первого побега, с больнички, под землей, не давало ему спокойно досидеть последние десять лет. Вы бывали на семерке? Ах, вас тогда еще не было? А я так уже был! Вообразите! Деревообделочный цех!.. Реченька... Текет себе и текет, не обращая внимания. Химотбросы выносит с мебельного завода. Так наш Ваничка — что бы вы думали? — склеил себе из пластика подводную лодку — на одного пассажира. С балластом, все как надо, с запасом воздуха, с провиантом. С лопастями из консервной тары. Лежи внутри и крути. Поднимается — опускается, как нежная девушка, — по приказу... Этим же непроницаемым пластиком — только в один слой — мы и сейчас обделываем импортные диваны для соцстран. Ну для Монголии, для Ирана — я знаю?.. И едва красное солнышко закатилось за горизонт, погрузился он, в чем был, в свою глубоководную пирогу, оттолкнулся, закрутил колесами и уплыл бы, может быть, вниз, по матушке по Волге, наш Ваничка, если б не одно коварное обстоятельство. Преграда в форме буквы «х»! Ситечко, решето стояло там, сука, неведомо, на дне водоема, — из толстых русских бревен. Пропускающая воду в бассейн и не пропускающая другие, инородные тела. Знал бы он заранее — он бы заготовил какой-нибудь бушприт впереди, какой-нибудь ватерпиль для прочистки судоходства. Но после того эпизода пришла из Кремля инструкция все подводные решетки заменить из сварочной стали. И больше вы уже никуда не уплывете. Нет! Я так плакал... Почему — утонул? Откачали мальчика. Сломали два ребра, повредили немножко зубы... И сейчас, говорят, он, словно граф Монте-Кристо, гуляет опять на свободе!..

Выстрелы и крик: «— Человек — в запретке! Человек — в запретке!» Бросив свою заготовку — письмо к Марии, я выскочил из барака. День был праздничный, 2-ое мая, никто не работал, и мы кинулись к вышке, откуда раздавалась пальба. Сквозь щели в первом заборе, на перепаханной

полосе, в узком загончике между заграждениями, мелькал уже обезображенный зек. Это был сумасшедший, его хорошо знали, наш лагерный сумасшедший — в халате, в кальсонах и в тапочках на босу ногу, — средь бела дня, по соседству с нами, с больнички махнувший за колючую проволоку. Куда он собрался? У него недостало бы мышц перелезть второй часток, не говоря уже о прочих силках. В своих кальсонах и в тапочках он все равно бы не ушел. И ничего не стоило просто увести его за руку, как ребенка, с запаханной земли, из отсека, — когда по нему открыли огонь.

Били, очевидно, разрывными пулями. Я не бывал на войне и не знал, что в людях столько крови. Говядина! В мясных лавках видали говядину? Вот точно такого же цвета и состава. Впервые я наблюдал ее в живом и в человеческом образе... Он упал на колени, сумасшедший человек в больничном халате, совершенно уже простреленный, и поднял руки вверх, видимо поняв, наконец, что с ним происходит. А по нему стреляли и стреляли, пока он не перестал дергаться. Несколько мгновений спустя это мясо еще приподымалось, но не своею волей, а силой бивших по нему и рядом, в пашню, разрывных пуль...

Мы — вся жилая зона — столпились подле запретки, благо было 2-ое мая, пролетарский праздник, и что тут поднялось!

— Фашисты! — орали те, кто сидел за коммунизм.

— Коммунисты! — перекрикивали их уже ожегшиеся на коммунизме.

А мужики попроще, не причастные к политике, бросали старое и самое оскорбительное лагерное определение:

— Педерасты!..

И эти слова в моем сознании звучали тогда как синонимы...

Автоматчики — подступив с той стороны к зоне — тихо предупреждали:

— Разойдитесь по баракам! Не то — откроем огонь!..

Безусые мальчишки, завладев говядиной, они дрожали от страха и побелевшими губами твердили свой устав караульной службы: «— Откроем огонь!..» Хорошо, никто сдуру не метнул камень за проволоку, и толпа отступила, глухо рыча, — свитком бессмысленных, равнозначных ругательств: «— Педерасты! Коммунисты! Фашисты!..» Я вернулся к письму. «Дорогая Маша!

Ты никогда не получишь этого письма. Сколько ни зашифровывай, ни плети околичностей — цензура не пропустит...

Только что, на моих глазах, за попытку «бежать» убили в запретке нашего бедного Клауса. Это был не совсем нормальный психически, но тихий и рассудительный зек — из немцев Поволжья. Сидеть ему оставалось всего полгода — из его десяти (за побег). Я его мало знал, но сравнительно недавно меня с ним связало странное одно обстоятельство: ложная весть о моей преждевременной смерти.

Помнишь, полгода назад, на личном свидании ты рассказывала, что по Москве, в узком кругу, внезапно пронесся слух, будто я умер. Откуда пошло, кто принес на хвосте? — неизвестно. Говорили потом, что это какой-то западный журналист что-то перепутал. Ну слух — как слух. Только наши друзья, ты рассказывала, в эти дни стали относиться к тебе вдвойне предупредительнее и потихоньку вздыхать вокруг тебя, а Супер, молодчина, не выдержал и говорит: «— Марья Васильевна! Все-таки вам надо знать правду. Ходит упорная версия, что Андрей Донатович скончался на днях в лагере. Нет ли у вас чего-нибудь выпить?..» И заплакал... Представляю, что было с тобою в эту ночь!.. Наутро (звонки! звонки! звонки!) в КГБ, со смехом, опровергли глупую утку: «— Мы бы первые знали, если бы это случилось...» И, впрямь, КГБ все это было не выгодно. Тогда они даже ускорили нам свидание, чтобы ты сама убедилась, что я жив и здоров... Потом, в результате, ты писала, у тебя был инсульт. Но все обошлось...

Теперь представь, возвращаюсь я со свидания с этой нелепой версией, о которой никому не рассказываю в зоне, и тут же выходит в зону из бура наш Клаус. В таких случаях, ты же знаешь, мы отпаиваем человека чаем. И вечером, в нашей компании, ходит черная кружка по кругу, и Клаус немного оттаивает. Смеется:

— Думали обмануть дурака! Про тебя, Андрей, кричали три ночи подряд: умер, умер, умер в зоне!.. Но я эти фокусы уже знаю! Они хотели, чтоб я попросил у них прощения. Чтобы меня до срока освободили из бура — тебя проводить! Но я не дурак! Я их раскусил! Не унился...

Восстанавливаю дату: когда были крики?.. Совпадает, примерно, с временем твоей московской истории. Спрашиваю, кто же кричал? мне это интересно... Другие не обращают внимания. Да брось, Донатыч! У Клауса, ты же знаешь, с головой не в порядке... Но меня заело, и вновь появилось сознание, что здесь КГБ примешано. Хотя, повторяю, я уже понимал, что КГБ тогда ни в смерти моей, ни в слухах на этот счет не было заинтересовано. Но кто же еще может, как сова, кричать по ночам в буре — по аналогии с Москвой?..

А Клаус все свое. Смеется: «— Но я же им, Андрей, не поверил! Я — не дурак! Я же знал, что ты не умер. А все это нарочно подстроено...»

В огне печки — одни черные щеки. Умеют они в буре людей замаривать. Нечего делать. После чая отвожу за барак, и в темноте, без свидетелей: «— Кто же, все-таки, кричал, Клаус? Охрана? Надзиратели?..»

Он страшно удивился. Почему надзиратели? Никаких надзирателей... Кто же тогда? Зеки? Нет, всех зеков, сидевших с ним в изоляторе, он перечисляет по пальцам. Все — свои люди. К этим крикам никто из них отношения не имеет и не может иметь. Это же — обман! Подлость! «— Слушай, Клаус! Соберись с мыслями. Кто же тебе кричал, будто я умер? — пристаю я к безумцу. — Мне это крайне важно знать. Понимаешь?..»

И тогда он спокойно рассказывает, что на весь его лагерный срок, на десять лет, к нему приставлены два тайных агента от КГБ. Они-то и кричали. А ты их видел когда-нибудь? Нет, их нельзя увидеть. Они же — тайные... Но они сопровождают его повсюду — по зонам, по бурам, по больницам... С двух сторон. И всюду мутят, обманывают. Однако Клаус им никогда не верит. Он изучил их повадки. О, Клаус — не дурак!..

Теперь ты понимаешь, Маша, — кто кричал! Бесы кричали. Бесы, сопровождавшие бедного Клауса. Кто, кроме бесов, в буре ведал силетню, ходившую тогда по Москве, ими же, возможно, и пушенную? Какое совпадение! И кто знает, как далеко простирается тень этой вражеской силы над нами?.. Я-то жив и невредим, как видишь. И шесть уже месяцев прошло с той вздорной истории. Обман рассеялся. Но сегодня, 2-го мая, Клауса убили в запретке. Всего полгода ему оставалось дожить — до освобождения. Может быть, эти двое и толкнули его прыгнуть в запретку?.. До скорой встречи. Целую. Всего полгода...»

— Который час? — спросишь.

— Половина второго.

— Ой, уже половина? второго?!

Все свидания сливаются в одну освещенную ночь. Но к чему нам жить, если не было и не будет свидания? «— Не уходи! побудь минуту!» — мы всякий раз повторяем с тайным опасением, что уйдет и не вернется. Да и в нашей, взвать, заурядной жизни мы оттягиваем смертное время разговором, или кофе, игрой в кости, рестораном, или скажешь: «почитай что-нибудь вслух — вдруг когда-нибудь понадобится»

ся...» Просто, чтобы продлить, отодвинуть и находиться поблизости, покуда не отнимут.

Но все равно вы не спостесь, и она скажет, подвигаясь: «— Посиди еще немного... Здесь, на кровати...» А ты ответишь небрежно: «— А чего, собственно, сидеть? Успеется. Схожу-ка я лучше в магазин. За пивом и за хлебом...»

Женщина лучше нас по одному тому, что просит обыкновенно посидеть рядом, без расчета, без дела, так что время с ней, выходит, мы оба теряем зря. Говорит: «— Посиди! Останься!..» Зачем?—спрашивается. К чему тянуть резину? Нам, чуть выпало, пора уходить на службу. На войну. Победить или погибнуть. А она все свое: «— Ну чего тебе стоит? Посиди еще немного. Побудь минуту...» Или — полюби меня. Или — еще лучше — женись... Этого еще не хватало!

Вы видали — водопад? Падает, ни о чем не заботясь, и разбивается о камни. И нам жалко. Не оттого ли, что себя распознали? Падает и падает себе с крутизны, как демон, совершенно уже изверившийся, и каждая преграда только повод ему лететь еще безотказнее и стремительнее вниз. Наши станции с объяснениями не попытки ли удержать водопад? Та, что в это время подставит вам руку, о которую вы не споткнетесь, как всегда, чтобы, бешено завертываясь на мгновение на одном месте, еще бешенее падать, но — плывете, вдоль и вдосталь, по направлению к реке, — становится твоею женой...

— Ты где, Мария?

— Я здесь.

— Где? Не вижу!

— В саду. На улице.

Бегу на голос. Но и там ее нет.

— Ты — где?

— На чердаке...

Залезаю на чердак: одна паутина.

— Где ты?

— В подвале.

— В каком подвале?..

Фольклорные образы нас продолжают, вам подскажут: «а я — деревце», «а я — уточка», «а я — твоя шапка»... Хватаюсь за голову — напрасно. Никого не поймаешь. Потому что пуст дом твой давным-давно. Да и не было у тебя никакого дома.

Вдруг кричат: — Донатыч! Вставай! Твоя, слышь, приехала. Твоя какая — в очках? Значит, она самая. Беги на вахту!

И — сбывается...

О женщинах в нашем бараке лучше всех рассуждал горький один скоморох, как бываюи горькие пьяницы. Сидел он за террор, а повинен был в самом тривиальном и убедительном убийстве. Мать занемогла, а председатель колхоза, как водится, лошадь не дает. Везти в больницу? За сорок верст? Оклемаются. А нет — сдохнет без дохтура! Да спьяну — драться. Да обматерил. Стганул кнутом... Парень был не промах. Сбегал за берданкой, и пожалуйста, — теракт. Не кого-нибудь застрелил — председателя, кандидата в депутаты...

За двадцать лет каторги наш террорист женщин изучил по книгам, но разбирался досконально — и в Анне Карениной, и в Кармен... Имени его называть не стану, чтобы опять не припаяли политику. А так — мудрец и поэт несколько, какие обычно вычурными своими речами потешают барак.

— Карл Маркс заявил, что в женщине главное — женственность. Ё-моё! Ни хуя себе пророк! В лошади — лошадиность. В овце — овечность. И тэ дэ, и тэ пэ... Но чем нравится нам баба, если она нравится. Она похожа, Карл Маркс, на кружку бражки, полную огня. Или берите изысканнее, по 18-му брюмера: «Мускат», «Узбекистон». Что кому по вкусу. В женщине, Марл Какс, дороже всего — веселье. Чтобы мы видели, глядя на бабу, что все в ней резвится и пенится, независимо от этикетки. Без этикетки-то мы обойдемся, Марс Кал. Не в рекламе счастье. Бывает, колхозница, рожа рожей, крепче и забористее какой-нибудь великосветской кокотки. Пускай наружно будет — как ничего не чувствующая мраморная скульптура. Но внутри, Фридрих Энгельс, заключается та самая бражка. Внутри баба должна смеяться, играть. Тогда, Фейербах, и будет в ней настоящий градус. А так, без веселья, пусть лучше бабу трактор задавит...

И я — согласен. Разве не сказано: из ребра? Плоть от плоти, кость от кости. Однако ж — из ребра: сбоку, в сторону! В отступление от правил. В сторону смеха, веселья, слез, огня, воздуха, воды и глины. Я вылеплю тебя. Смотри: уже груди! Слабее и выносливее. Бесстыднее и добрее. Крикливее и тише. В сторону зверя и дерева. Рыбы и змеи. Чаще смеется, легче плачет. Поет, как птица. Чихает, как кошка. Одевается — как тюльпан. В отклонение от человека. Не особь, а народ. Не камень, а ландшафт. Трава. Костер. Озеро. Дорога...

...Но что в ту пору в других комнатах? Да все то же. Лялякают. Баюкают. Тараторят. Колобродят. Но главное — не спят.

— Не хотел я, маманя, ехать. Консул округил. «Чего вам бояться, Васильев? Срок давности истек. Судимость не

висит. Хотите — туристом — в Минск? Хотите — как хотите. Свидитесь с родными. Понравится — останетесь. Не понравится — вернетесь. Никто насильно держать не станет. Нам-то что? Это ваша старушка-мама... Вся извелась. Пусть, говорит, погостит, пока мы еще живы. Отец до горкома дошел: найдите сына! один у меня сын!..

— Что ты, Степа, окстись! Отца в 62-м похоронили...

— Да откуда мне знать? Консул божился...

— А ты и уши развесил...

— Ничего я не развесил!.. От тебя из Минска — тем же часом — письмо. Подкосила...

— Ведать не ведаю. Не посылала я никакого письма.

— Как же не посылала? Твои слова, мама: «Приезжай, Степан, без опаски. Ничего не будет. Срок давности истек. В Президиуме, из Москвы, подтвердили...» Тебе подтвердили, а мне — червонец! Прямо с поезда, в Бресте, сняли... И второе твое письмо, тоже по почте...

— Да не писала я писем, тебе говорят! Чуяло сердце. Приходили, умащивали: напишите да напишите Степану, он-де за вас скучает...

— Вот и доскучались...

— А я говорю: не буду. У меня и адреса нет. Что еще за Бельгия? Где? И не слыхала. А они — любезно так: «не беспокойтесь, не сомневайтесь, гражданочка, мы доставим адрес...» А я уперлась: не надо мне ваших адресов — я малограмотная!

— Но твой же почерк! Помню: твой почерк!

— Почерк, почерк! Я только Дашке в Свердловск пишу — в полгода. Как курица лапой...

— Что ж, по-твоему, письмо — подставное, подложное?!.. Какой еще Дашке?

— Ну сестре твоей, Дашке. Забыл? Она уже замуж вышла, девочку родила — в Свердловске...

— В Свердловске?.. Может, почерк подделали? Может, твое письмо в Свердловске, Дашке, подправили кислотой и мне переслали? Но почему из Минска?.. И штемпель на конверте... Штемпель!

— Помру я скоро, Степочка... Не доживу я — де-есять ле-ет...

Ночью в Доме свиданий тихо-тихо. Слышно — скрипнет половица. Либо мышь прощуршит. И не мышь это совсем, а магнитофонная лента голубого майора Постникова, верховника в нашем Явасе. В зоне его и не встретишь — прячется, аспид. Но все без того знают: Постников за главного, серый кардинал — крутит-вертит машину по инструкции



с Лубянки. И от него, от Постникова, в лагерь проведена звукозапись — подслушивать разговорчики, искать связи, каналы... Только в точности пока не известно — куда и как?! Вот Валька Соколов, первостатейный поэт, гений, на свидании раздухарился — кофе с чаем — и давай стихи молотить. Самые-самые.

Ты душе глоток озона:  
Здравствуй, зона!

Читает и приговаривает:

— Постников, записывай!..

А потом как перднет, как выпустит, со страшным треском, пар из задницы. И тоже кричит:

— Постников, записывай!..

Так что ж вы думаете? Лишили парня свидания. От живой жены увели. Какой вывод мы можем сделать, исходя отсюда? Один вывод — записывают!.. Как Валька и доказал. А вы говорите: не может быть... Конечно, рассуждая логически, за каждым подслушивать, записывать бессмысленно. Смешно. Сколько палок накидают? Хлопотно, да и пленки уйдет вагон. А все ж таки новенького всегда предупредят: «Смотри! В Доме свиданий не разевай варежку! Там у нас каждый звук прослушивается. Там у них, под полом, тайная аппаратура!..»

И вправду сказать — лагерь у нас не простой, шпионский. Художественный, хитрожопый, прямо скажем, у нас лагерь. Для особо опасных, государственных диверсантов. Ну — как мы с вами! И вы поверили: они не сочтут нужным? Они?! Не будьте идеалистом. На это у государства дерьма хватает. Первым делом. На чаше весов качаются вопросы войны и мира. Чекисты за золото все достанут. Из-под земли. В Америке, в Японии. Выкрадут в крайнем случае. Слыхали о таком: «Слива-шпион»? В журнале «Наука и жизнь» помните фотоснимок? Японский! Слива, обыкновенная слива, в коктейле, в бокале, дуй через соломинку, а на дне — ягодка на полупроводниках. В косточке передатчик на ультразвуках. Вы думаете, наши прошляпили? Да они только этим и дышат... У них — институты! Комбинаты! Академия Наук... Так неужто вы, господа, допускаете, к нашему Дому свиданий они не подведут все, что мыслимо и немислимо, по последнему слову техники? Не воспользуются моментом, каналом связи? Это было бы с их стороны непросчитанной наивностью... Постников, не спи! Крути машину! Постников — записывай!..

Запишем и мы разговор: не видались, почитай, лет восемнадцать, а расстались как вчера. Хлопец и не помнит: тетка выходила. Добро. В погребке, говорят, от Советской власти не отсидишься. Нашли. Работал у немцев, приговорен к расстрелу с обычной заменой на твердый четвертак. Сотрудничает с чекистами. В меру, не теряя достоинства, подыгрывает и нашим и вашим. А сын — безусый, начинающий лейтенант в мелких погранвойсках, почтительный, воспитанный. Старик — скала. Сын — еще теленок...

— Мой наказ, Александр, — больше не приезжай на свидание. Не надо. И писем не пиши — обойдусь. Я нашу власть не хуже тебя знаю. Тоже — служил, учился... Не показывайся! Не высывайся! Служи. Честно служи, как подобает офицеру. Предвижу: тебе мое прошлое мешает. Не мешало по недосмотру — так еще хлебнешь. Еще как хлебнешь! Опереди и отрекись. Ничего постыдного в этом нет: на то — мое тебе — отцовское благословение. Извести командование. Встань на собрании по стойке «мирно» и объяви: «раньше от меня скрывали, думал — помер, а как выяснил правду — не хочу больше называть отцом подлого изменника Родины!» Так и скажи: «подлого!», «презренного!» Вот на это мой крест. Вступи в партию. И живи себе по-тихому, как люди живут. Посылки не шли: отрекся и отрекся, — тетка пошлет. Помни, продолжаешь корень. Умру — не волнуйся. Выбирайся в начальники. С оглядкой. Не торопись. Не при на рожон. Ты уже пограничник — раз! Офицер — два! Вступишь в партию — три!..

— Постников, записывай!

Да не нужен майору Постникову этот лагерный хлам. Он и так знает. Отец и так знает. Отец на него работает. Носит повязку, поет в хоре. Сын, по наказу отца, если сделает карьеру, — готовый майор Постников. Стоит ли расходовать пленку? Сам не утерпит, расхвастается старик, нашим и вашим, как сына-лейтенанта (это ж надо ж! — лейтенанта!) учил вступать в партию...

А чего худого?.. Прав отец, пострадавший из-за немцев, желая запечатлеться и увековечиться в потомстве. Пусть хоть тому повезет, коли у меня сорвалось. Разумно. Законно. Забота о продолжении рода. Всем хочется жить. И начальству — доступно. Сын за отца не ответчик. И видите: выбился в люди. Молодец, хлопец!.. Как сказал мне сокамерник, отваживая от писательства: «— Сына, я вам рекомендую, в будущем постарайтесь пустить по военной лестнице. Отдайте в кадетское училище. С малолетства! Пускай жена отдаст, когда подрастет. На себе же теперь спокойно можете

закрывать книгу. До смерти не отделаетесь. Но о сыне вас призывает отцовский долг — позаботиться. Чтобы вышел он у вас настоящим человеком. Возможно, когда-нибудь он достигнет вершины. Станет большим офицером. Начальником тюрьмы...»

— Чтобы — мой сын?! Да лучше...

— А чего плохого? — нахохлился сосед-наседка. — Посмотрите на Траяна. Умница. Образованный. Все Лефортово — под ним. А как женщины его любят! — я представляю. Начальник тюрьмы, скажу я вам, это почетная должность. Полковник!

И я — прислушиваюсь. Я начинаю постигать, на чем вертится земля. Вы думаете — на штыках? на страхе? на обмане?.. Ничуть. Ничего похожего. На великом и уникальном — классовом — единстве страны, сшитой на живую нитку стальной иглой, нервушейся и нержавеющей связью — кагебистов, партийцев, промышленников, генералов и лейтенантов с последним, догнивающим в лагере немецким полицаем...

Вон и Постников со мной согласен. Выдернул для профилактики — со свидания — новичка, а тот и разнесет: «— Не понимаю я нашей сегодняшней молодежи», — скажет в сокрушении Постников и всплеснет печально руками. Руки у него белые и взгляд бесцветный. Сам я Постникова за все эти годы и в глаза не видел, но рассказывали: змея. «— Носитесь тут со своими «идеями», «самиздатом», Чехословакней, будто, извините, курица — с тухлым яйцом. За границей про вас по радио байки складывают: «диссиденты», дескать, «правозащитники», «герои»... А какие вы герои? Так, болтовня одна. Вредная болтовня. Мозги у вас вывихнутые. Жизни не видели. Сами не знаете, чего хотите. Вот вы учились. Институт уже заканчивали. Могли инженером стать. Технологом завода. Начальником цеха. Кооперативная квартира. Жена молодая. Красивая. Ленинград. Архитектура... Советую, однако, впредь вести себя... У нас тут всякой заразы!.. Даже «писатели» есть. Знаю, знаю, уже познакомились тут с одним. Остерегайтесь контактов. Это страшный человек. Махровый антисоветчик. Держитесь ближе к рабочему классу. Разумеется, и тут вы столкнетесь... В семье не без урода. Что делать — не курорт! У многих руки — по локоть... Массовые казни, газокамеры. Бухенвальд. За это понесли заслуженное возмездие. Но, знаете, тоже люди. Люди как люди. Работают. Норму выполняют. Исправляются. Даже можно понять. Ну спасали жизнь в исторических условиях. Приспосабливались к реальной действительности.

вительности. Конечно, недоучли, ошиблись. Сейчас расплачиваются. Но все-таки это можно представить. Естественно. По-человечески. А вот *вам*—что надо?! Таким как вы—«идейным», «политикам», «писателям»... Отказываюсь. Не понимаю...»

— Не понимаю!—вздыхает Постников где-то далеко, за проволокой, на другом конце ленты. И все это кругами расходится по Дому свиданий, по зоне, медленно, на манер утечки с огромного магнитофона.

— Слышишь? Опять—мышка!—улыбается жена, выдавая пленку за мышку.

— Да,—говорю,—похоже мышь... Что-то мышей развелось в нашем Доме свиданий. Понятно—еда. Всем есть хочется. Вот они и пищат. Шуруют. Мыши как мыши. Ничего особенного...

Действительно,—пискнуло, побежало... Заедает, должно быть, катушка, пленка кончилась или плохо накручивается и поскрипывает на больших оборотах. Неловко и прислушиваться. Барахлит аппаратура, подержанная, списанная на нашу бедность. Много ли надо лагерю? И все-таки никогда не знаешь до конца: а может быть, мышь все-таки? кто подтвердит? Может быть—по недоразумению—мышь?!

Не будем, однако, друг мой, предаваться иллюзиям. Не надо очаровываться. Мышь разнеживает, рассеивает. Теряешь внимание. Нужен контроль над собой. Все равно ничего рискованного в Доме свиданий мы уже не скажем. Будем нести ахиною, вилами писать на воде, а не скажем. Будем плакать, а не скажем. Скрежетать зубами, отчаиваться, превозноситься в мечтах, любить, умирать, хоронить—не скажем... А скажем то и единственно, друг мой, что нам угодно и выгодно в данной ситуации, чтобы там у них записалось. И нам выгоднее, скажу цинично, чтобы не мыши это были, а ленты, магнитофонные змеи голубого майора Постникова... Слушай, слушай, майор, и думай, будто мы сейчас, в объятиях, ни о чем не помышляем и не слышим твоего шуршания в рассуждении о мышках. И прими за безобидную пойманную мышь ответную змею-информацию. И хватай. Заглатывай. Живьем заглатывай!..

Что-то змеиное, действительно, заползает в душу, и я говорю с грустной задумчивостью, будто открываю государственную тайну. На испуганные глаза машу рукой: не хипешуй! Так надо! Отмазка!

— Открою секрет,—говорю,—никому ни звука. Последнее время я что-то не понимаю Постникова. Вроде бы—майор! С образованием. С большим стажем. Умный, по

слухам. В людях разбирается. Психолог. Но для них почему-то писатель это самое криминальное. Хуже нет. Ко мне, по их наущению, многие уже подходить не решаются. Еще бы! «Махровый антисоветчик!» Точно — к прокаженному... У нас тут один людоед, не смейся, — настоящий людоед: съел товарища в побеге... Так он, в глазах КГБ, по сравнению со мной, младенец. Нет, я неправильно рассказываю: не съели они третьего, а только кровь выцедили. Где-то еще в Южной Сибири было. Жажда их замучила. Они и напились — из шейной жилы. А через двести метров, чуть прошли — ручей...

Я чувствую, как все эти лагерные рассказы распирают. Потому и отвожу глаза от правды — сказать. Иногда — срываюсь. Но задача иная: обойти и перехитрить Постникова.

— Или вот недавно. Парень. Работяга. Попал за настоящий военный шпионаж. Ну какой там шпионаж? Жалкая попытка. Без всяких убеждений. Доллары хотел зашибить. Шейнина, Ардаматского, советской прессы начался. Так и его предупреждают, едва завезли, в Штабе: не общался бы с Синявским: могут заразить сифилисом, буржуазной идеологией... То есть, представь, для них писатель сейчас опаснее шпиона!.. Тот, конечно, не приближается. Стороною дошло... А мне, между нами, на руку. Спокойнее жить в относительной изоляции. Пора подумать о чем-то своем — об отвлеченном, научном. О будущем. О Пушкине, о теории искусства... Люди, лагерь, откровенно говоря, мало занимают. И совсем не интересно. Устал...

На всякий случай, чтобы не подумала чего и дабы не шелестел карандаш вслед сказанному, рисую в воздухе, нашей сигнализацией, противоположные иероглифы. Магнитофон у них покамест еще не снабжен телевизором. Крепкий зек, из блатных, сформулировал обстановку: «— Они думают, как нас об...ать, — восемь часов в день, — все свое служебное время. А мы, как их об...ать, думаем 24 часа в сутки».

Так и я — не пишу, а черчу. Рассекаю себя на части. Дескать, так и так: не верь произнесенному, не верь словам моим, а верь — мне: полно друзей: никто не боится: пустили козла в огород: у меня голова лопается от свежих впечатлений: как в сказке: не успеваю: только бы запомнить, вместить: потому и говорю...

Как это делается, вы спросите, — писать без бумаги? — и я, позвоьте, вам не отвечу. Секрет. Вот уж это мой секрет! Еще пригодится. Не мне, так еще кому-нибудь... В сущности, все наше лицо и тело — это письменна. Нос, например. Или глаз. А не хватит названий, пальцы на что? Их ведь — десять.

Считая на ногах — двадцать. Чем не букварь? И весь человек сплошное междометие! Все знаки препинания, вся азбука — в нас. Пишите не словами, не чернилами, пишете — мимикой. Как глухонемые. Пишите, наконец, слюною на ладони. Фруктовым соком на лбу. Синицею в голове. Журавлем в небе. Только пишете. И до кого-нибудь дойдет...

А ночь между тем дежурит на столе куличом, отбрасывая сияющие сигналы-тени от всех этих чашек с черным кофе, от банок, склянок со сгущенным молоком. От свадебного батона... И за окном пока что, слава Создателю,— ночь. День движется, а ночь, как часовой, стоит на месте. В самом деле, наступление вечера, рассвета, заката, обусловлено развитием дня, но никоим образом ночи. Да вместишь ты, ночь, в Доме свиданий, сколько можно вместить. Всё заодно. В свои бездонные просторы. Посреди беспорядочности и изменности дня, темным краугольником, ночь.

Продолжаю рассуждать громогласно, глядя в потолок, с расчетом где-то насолить Постникову. Нет, на сей раз без обмана, без утайки, от чистого сердца, как есть. Пускай вырежет с пленки все, что может помешать его дальнейшему продвижению. Да и возможно ли в чем-нибудь воспрепятствовать Постникову? Возьмет свое, снимет сливки. Но и шанс еще есть закрепить в памяти, в сознании Марии, пока не развели, не отделили нас, все эти созерцаемые мной серебряные рудники и золотые жилы, чтобы наши богатства не исчезли без цели, без попытки состязания, соперничества на ленте, которая пицтит, но записывает. Пиши, крутись, машина! Ну а мышь, на худой конец,—мышь не повредит!..

Повествую о «Бухенвальдском набате», о гимне, который поют мертвецы с эстрады по праздничным дням, по настоящию начальства. Такого больше вы нигде не услышите. Хор немецких полицаяв, бериевцев, военных преступников (других туда не затащишь) исполняет лагерный реквием по ими же загубленным душам и по себе самим. Близость колорита, и голосаг со вкусом, анафемствуют со вкусом, с пониманием материала,—бывшие палачи, от имени безымянной, но все еще требующей публичного вздыхания жертвы, ради самовоспитания, каюсь в старых грехах, и от собственного уже изможденного и мученического венца. Двойное, тройное кощунство, страстно перекачываясь в полумраке смрадной столовки, служащей одновременно аренной концертной самодеятельности, доставляет горькое, извращенное удовольствие слушать в Мордовском остроге неутихающий «Бухенвальдский набат». И ведь как истоно поют фашисты! Какие испытые у них, выжженные лица!..

Еще более угрожающе в этих старческих устах, распахнутых страхом и жадностью, звучат завывания «Ленин с нами!» и «Партия — наш рулевой!» За посылку, за рупь к ларьку чего не споешь? Даром, что после концерта истерзанный насмешками кто-нибудь из хора оправдывается в бараке: «— Да, я, ребята, только пасть разеваю, а слов этих поганых вслух не произношу...» Но кто-то же произносит — в загробном восторге: «Ленин — с нами!»...

Мария делает пальцами знак, — словно играет гамму на невидимом клавесине.

— Слышишь, мышка пискнула... Как здесь все-таки тихо...

Дескать, не зарывайся! Уймись! Или просто утомилась этой вынужденной игрой на двух, на трех диапазонах сознания, где мышь и змея чередуются, меняясь местами, и зона с ее фантомами составляет уже не среду, а если хотите, стиль и стимул еще не написанной книги. Ловлю себя на том, что здесь я, в общем-то, в собственной коже. Не просто как человек, вжившийся в окружающий быт, но нашедший себя наконец-то в произведении создателя. Что мне сладостно вползает в этой мучительный сад, полный дивных творений, продолжающий странным образом мою капризную мысль, мое длинное и скользкое обличье змеи. Кто бы мог предвидеть? Я! И мое место — здесь! И развитие замышленной в давних низинах стези. Я счастлив, что я в лагере.

Сознаю, что, рассказывая о Бухенвальдском ли набате, либо о Постникове с его загадочной пленкой, которую пытаюсь поймать, — о чем угодно, — все, абсолютно все, принимает в моем изложении дразнящий и двоящийся образ. Как если бы это двойное, превратное существование, ставящее фразы и факты крест-накрест, как кроют крышу, плетут корзину, имело касательство формы, тождественной со мною и с тайнами злачного дома, где мы находимся. Со всеми его каналами, углами, перегородками, которые точит и точит всеслышащая мышь. Укрытие, облегающее плотной, гуттаперчевой кожей, заодно с обстановкой, подавленную волю художника, биографию авантюриста, прокравшегося, не желая того, соглядатаем рая, с которым сам соглядатай персонально совпадает. Не все ли равно, как обозначить, назвать его физический образ? Тонкой поступью, острым взглядом он обводит свои владения, словно какой-нибудь Казанова. Фабула, извиваясь, следует небрежно за его взвинченным плащом. Никуда не пришел, ничего не построил. Но достигнута искомая точка, начиная с которой тебе становится интересно и весело. Как вы думаете — зачем я это пишу?

Поделиться увиденным? пересказать переживания?.. Нет, когда ты в душе перестаешь быть собою, теряешь скромность, заносчивость и змеем вползаешь в Эдем — не с целью соблазна или познания, но ради совпадения с телом человеческого рода, для какой-то красоты и законченности найденного замысла, — вот тогда все твое изобретательство, сочинительство, как бы оно ни называлось, само, произвольно, обрастает фабулой романа, равносильно жизни, любви, путешествиям в дальние страны, пускай ни строки не написано, а злодей уже за решеткой. Простое размышление о случившемся нам заменит и слог, и сюжет. И закуливаешь сигарету с острым чувством греховности. Оно сопутствует мысли, действительности и страстному, противоестественному по ползновению писать...

\* \* \*

## ТРАКТАТ О МЫШАХ И О НАШЕМ НЕПОНЯТНОМ СТРАХЕ ПЕРЕД МЫШАМИ

У нас во Франции завелись мыши. До сумасшествия, и что поделаешь? Если бы две, три, мы бы примирились. Мы были бы только рады мышам. Все-таки кто-то свой в доме, и такие хорошенькие. Ушки на макушке, словно у медвежонка; глазки бисерные; конусом, вечно ищущая что-то, щупающая мордочка и длинный розовый хвост. Я всегда спрашиваю окружающих: а зачем у мышей — хвост? И никто не объясняет...

Мышей я люблю, в общем-то, и не имею ничего против. Но они же, в принципе, уже прыгают, где вздумается. Сидят на обеденном столе, посреди бела дня, на сахарнице, хотя, казалось бы, для них пакетов с крупой, с мукой — хватает. На буфете недавно Мария, моя жена, углядела-таки мышонка. Он метался, идиот, под ее пронизательным взглядом, не зная куда деваться, как слезть, и скатился под конец с высоты прямо на пол, визжа от страха. Небось ушибся, перепугался бедняжка. Да и как тут не напугаться! Сами представьте, смотрит на вас большая-большая громадина в очках, да еще в довершение ужаса двумя пальцами делает вот так: «тип-тип, мышка!» Как щипцами.

Жена у меня не боится мышей, и потому они ходят у нас уже по голове. Вот смотрите — бежит, смотрите! — я пишу,



а она бежит по полкам, по книжным шкафам XVIII века. Вообразите! Восемнадцатого! И я, следя краем глаза, думаю, как скоро они начнут грызть переплеты и что тогда? На кухнях пакетов, раскрытых, с мукой и сахаром, с разными пряностями, сухарями... Так нет — по книгам побежала! по рукописям!.. И это мне обидно, как писателю. Зачем же, говорю, так уж сразу по книгам? Разве это терпимо, лояльно?..

Я с детства боюсь мышей. Вот жена моя, Катерина, мышей не боится. Котик, говорит, они же такие маленькие. Я и сам знаю, что маленькие. Но чем они меньше, тем, как бы это сказать?.. Мышь, смотри, — мышь!..

В лагере я не боялся. Даже — крысы! Крыс там у нас было видимо-невидимо. И чем они питались, когда ничего не было, кроме железа, — вопрос. Но, бывало, всякий раз радуешься при виде крысы. Они жили с нами более-менее на одном уровне. Большие, тяжелые такие крысы. С толстым хвостом. И ничего! Помню как сейчас, перед этапом они зашевелились, забегали. И мы вычисляли, мы судили по крысам: не завтра, так послезавтра этап! Прекрасно! Но откуда они знали? Почему беспокоились? Все равно, кроме железа, откровенно говоря, есть там было нечего.

А сейчас, когда я на свободе, живу во Франции, и у нас с Татьяной собственный дом в Гренобле, стоит появиться каким-то несчастным мышатам, и мне как-то мрачно делается. Не то, чтобы я, как все европейцы, опасался эпидемий. А просто неприятно. Зачем, думаю, здесь?.. Мне Линда, жена, медик по образованию, еврейка, внушает целыми днями: у тебя, Мурочка, во рту больше бактерий, чем у наших мышей. Рот у человека, вообще, самое грязное и заразное место, учти. Я бактериолог. Ешь чеснок. А ты скользишь по поверхности жизни и каких-то грызунов принимаешь близко к сердцу. Вот если бы ты меня по-прежнему любил, ты бы о них не думал. Ты бы сказал: — Юля! Юленька! мышка моя! прижмись ко мне! И все пройдет.

Отвечаю: — Киска! мышка! Прижмись ко мне!.. Какая Линда, с другой стороны? Причем тут Юленька? Ведь ты же — Гертруда! Не правда ли, ты из Голландии? Ну да, ну да, и я всегда подозревал — Гертруда! Но посмотри, радость моя, они у нас уже всю печку разобрали на части. В собственном доме, в Бретани. Выволокли наружу весь этот асбест, полиэтилен, всю эту готовальню, из которой складывается газовая плита, и — грызут. Вот тебе и Линда!..

— Но они же такие тихие, — возражает Варвара. — Ну как я, совсем как я! Зачем же так грубо? бестактно?!

И сейчас же — плакать.

Я согласен. Я со всеми согласен. И все же когда sereneкий, неслышный шарик скользит по книгам, шныряет на столе, подле хлебницы, я как-то вздрагиваю. Ты, Полина, не вздрагиваешь, а я вздрагиваю, если увижу. Не известно отчего. Ведь я не женщина. Случалось и надо мной, под Волоколамском, нашествие мышей, наводнение. И я ставил мышеловки, регулярно, всякую ночь, а наутро вынимал три-четыре тельца и скармливал нашей сороке с поврежденным крылом, питавшейся, как выяснилось, исключительно пада-лью,— ни хлеба, ни картошки, ни овсянки она не признавала и жила в сарае, как у Христа за пазухой, пока не убежала. На мышей у меня в тот год был урожай. В ту зиму они сначала, судя по мышеловкам, перевалили за сотню, потом за две сотни, за три, за четыре, и я перестал считать. Но была полза от них и задор—сорока!..

А теперь—женщина, стоящая ближе к мышам, нежели я, ослепительная, с гениальными пальцами врожденной пи-анистки, в ярко-красном халате, с багровым, как кровь, маникюром и белым, как бумага, лицом, визжа от страха, хватающая острыми, накрашенными, как ястреб, когтями, не знающая, куда бежать с этим теплым комочком, кидаясь по комнатам, сходя с ума, бесясь, что я не иду на помощь, находит выход в уборную и спускает в унитаз. Мышь выны-ривает, мышь еще живая, мокрая, лапками цепляется—по мраморному унитазу...

Прости, читатель. И не взъщи. Не пугайся. Все это я сочинил. Не было никакой женщины с ногтями. Ничего не было... Просто я не знаю, что с ними делать, куда деваться. Пищат. Скачут. Царапаются, если застрянут, во избежание осложнений, шмыгают, поют и танцуют. Мыши, мыши, почему мне так страшно жить?..

Далеко не отходя, вижу себя в детстве, в электрической комнате, запертым на ключ. В гнетущем ожидании мамы, которая все не идет и не идет с работы, из своей библиотеки Гоголя на Пресне, так что всегда боишься, не попала ли она под трамвай. Не дыша, сижу, пытаюсь читать, рисовать, думать ни о чем, а мышь все скребется и скребется под шкафом. Кричу на нее, топаю ногами, кидая книгу на пол. Смолкнет на мгновение и опять принимается пилить и тянуть из меня душу. Или, к сти-хийному моему ужасу, бесшумно выкатывается шариком из-под шкафа—на самую светлую середину комнаты. В ее способности исчезать и появляться неожиданно—неслышно, когда ее видишь, и невидимо, когда слышишь, было что-то мистическое. Казалось, мышь существует

внезапно, беспричинно, посланницей иного света, нам невыносимого,—тьмы. Стыдно ее бояться, я знаю. Но и нельзя отогнать, нечем избавиться. Побежала-побежала и—скрылась. Была она или нет ее—не известно. Только память сосет: вот-вот явится!.. Скребется. Не успела исчезнуть, а уже скребется...

\* \* \*

...Слышу, направо от нас, за перегородкой, тоже беспокойно. Голоса не долетают, но по скрипу половиц: ходит и ходит взад-назад, как нанятый, по старой арестантской повадке. Кто там и о чем,—в зоне узнаю. Добрый мой сосед, «Свидетель Иеговы», отольет слезы на брата—не по вере брата, по крови, из города Кишинева. Прикатил за четыре года на одни неполные сутки, да и те показались долгими обоим. Но не то горе, что не могут они поладить, хоть и куролесят всю ночь, а утром одного со свидания выведут на пилораму, а другой поскачет назад, в Бессарабию, преподавать политэкономия в высшей партшколе. И не в том беда, что в глазах второго брата первый, лагерный, совсем и не страдалец за веру, за Божье, неотступно, свидетельство, но упрямый кретин и садист, не желающий выходить из тюрьмы, лишь бы досадить ближним. А та обида, что прибыл-то второй на свидание с одним портфелем, да и тот пустой. Восседает за столом, как в президиуме, пьет воду из графина, трет лоб, чтобы не уснуть, и учит уму-разуму брата, чтоб вернулся тот в человеческий образ. Мог бы, кажется, подписать заявление, прямо здесь, за этим столом, заготовленное брательником впрок, о разрыве с Иеговой,—только махни пером, и вон она, эвон, рукой подать, за воротами—свобода!.. Так нет, ходит и ходит, как зверь в клетке, мракобес, и темнее ночи изуродованное оспой лицо.

— Ты бы,—говорит,—хоть полкило сахара привез...

— Что тут у вас—сахар не выдают? К чему зря таскать?

— Таскают же другим? Везут? Видал, небось, когда запускали? Дети, старухи, и те с грузом...

— Ну мало ли... Может, у них для себя провизия. На три дня запас. На обратную дорогу. Мне-то на что? Я, например, в поселке пообедал. А тебя, с утра, на производстве обеспечат горячим завтраком. Между прочим, у вас тут с питанием неплохо организовано. Я взял на обед, например,

котлетку с вермишелью. И ничего — съедобно. Спросил даже вторую порцию. Компот...

— Так это ведь — в поселке. За проволокой...

— А тебе и в поселок уже лень сбежать?

— Как прикажешь — по воздуху? Через запретку?..

— Никогда я не поверю. Скажешь, вас не пускают? До столовой рукой подать. И кормят, скажу, почти как в Кишиневе...

— Вольных кормят! Вольных!..

— Ну, знаешь, братец, на тебя не угодишь. Не так обслуживают? Нет официанток? Скатерти не такие?.. Прости, но это — фанатизм. Нездоровые настроения... Принадлежность к секте...

И снова начинает зудеть о вреде подпольных собраний, суеверий, о журнальчике «Башня Стражи», сызмальства задурившем башку. Тогда он и первый срок заработал: отказался служить в армии, на посмешище всей деревни. Батя в пылу чуть голову не отрубил топором. Вывел во двор — клади голову на колоду! Не было еще в нашем роду этаких иродов. А тот и положил: руби! Мать отбила... А теперь у самого — двое. И — третий срок.

Ответственный товарищ в Явасе, с юридическим дипломом, майор, буквально плачет: «— Мы не в силах! Не поддается сородич моральному воспитанию. Так вы учтите — пусть пеняет на себя: мы не из пугливых: мы намотаем и четвертый, и пятый срок... Детей — бросил. С женою не живет. Не расписаны. В паспорте у нее пробел — никакой отметки о браке. Приезжала разочек. Но вы сами войдите в наше положение. Не можем же мы — в трудовой колонии, в Доме свиданий — поощрять разврат? Так и уехала ни с чем.. Сама не лучше: все с Иговой! с Иговой! Она еще у нас — досвидетельствуется!.. Хоть бы за это время вышла за кого-нибудь замуж. Завела бы хахалю. Может быть, вы, там, поспособствуете, по партийной линии? Подскажете?.. Ведь того и гляди — детей отберут. В интернат. Разве не жалко? Детей!..»

На что уж старший надзиратель в Доме свиданий, закаленный человек, и тот содрогнулся: «— У вас, гражданин, стыдит, партбилет, педагогический стаж, большой воспитательный пост занимаете в государстве. Людей обучаете марксизму и ленинизму. А собственного брата до такого зверства допустили?! Сердце разрывается: детей не пожалел — третий срок тянет. Вы бы немного — того-этого — повлияли на брата. Родной же брат он все-таки вам, а не хер собачий!..»

Тоже мне — брат! Одно название. Вечный упрек и пятно в анкете. Повлияешь на него! Ходит, каин, словно в клетке, и все свое, все свое долдонит:

— Привез бы ты мне хоть сахара полкило. Белый батон в гостинец...

— Что тут у вас — уже и белого хлеба нет?! Никогда я не поверю...

И всю ночь напролет, долгую бесплодную ночь, препираются братья о хлебе и за сахар. Не повышая голоса, упорно, — до Страшного Суда, до последнего Армагеддона...

А у меня Марья, тем же часом, развела канитель, заплела историю с курицей. Прекрасная была курица, я вам скажу, посланная нам, должно быть, в компенсацию. За Юру Красного, за Михаила Бураса. И того, кто не дерзнул принести мою последнюю, окаянную, но все еще почему-то причитающуюся по Институту зарплату: «— Я вам не Дон Кихот!..» За друга детства, за одной партой сидели, на Скатертном, соседи, богатый купец и почти антисоветчик, — так нет, перешел дорогу, завидя жену арестованного... Герой войны, инвалид, из штрафного батальона, выдавил в глаза вдове, после суда: «жаль, не расстреляли! и буду вечно жалеть!..» Страшно, как меняются люди, в один миг, под влиянием страха.

Да. Знаю. Были и другие. Храбрецы. Альтруисты. Мартиролог до сих пор не иссяк... Но тогда, вначале, в моем сознании все перевесила — курица. Она лежала в синей обертке у нашей запертой двери на полу, и, вернувшись с очередного допроса, жена вдруг обнаружила: курица! Кто ее принес? Ни записки, ни фамилии. Если бы друзья, для Егора, не оставили бы так, без присмотра, на произвол судьбы, в коридоре нашей вымороченной квартиры — в ярко-синем конверте, всамделишную, из военного, должно быть, продмага на Воздвиженке. Она была подобна молнии в душный, угнетенный полдень. Отсюда, из Дома свиданий, я вижу ее — как живую. Свежая курица! Золотой дождь...

Загадочный этот подарок вызвал раскол в поколениях. Сердобольная бабка, десятая вода на киселе, из бывших большевичек, напичканная предрассудками и ужасами чисток, твердила: выкинуть! выкинуть! подослана из органов! и наверняка отравлена! хотят сквитаться!..

Мария, новая поросль, на опыте допросов основывалась, что вырубить нас под корень могут законным путем. Ничего не стоит. Материалов — достаточно. Нужна им какая-то курица! Не те времена... Споры упирались — и в том загвоздка — в особенности нынешнего исторического разви-

тия, балансирующие как чаши несогласованных весов. «Жажда крови?» — один расчет. «Сытые тигры?» — совершенно другое. Короче, дилемма века сводилась, как я полагал за кулисами событий, — варить или выбросить волшебную курицу, положенную к дверям в качестве шарады... Был же, в конце концов, или не был ХХ съезд?!..

Победило, как всегда, молодое поколение, и курицу вслепую сварили. Егор, откушав бульончик, проснулся живым и здоровым, даже не было поносорика. Страна, трясясь и оглядываясь, переваливала новый рубеж. А в мире, между тем, появились незнакомцы, приходившие в дом арестованного не с камнем за пазухой, а с курицей в хрустящей бумаге!

Я чувствую, как впадаю в экстаз, едва слышу о ней, душистой, из морозильника, в заколдованном чем-то портфеле. Диккенс и сказки Андерсена. Сверчок на печи. Быть может, потому, что еще Екатерина Вторая писала Дидероту о курице, что ни воскресный день плавающей у всякого русского пейзажина в супе. И курица, Екатерина Великая, магазин на Воздвиженке, Дидерот как-то совмещались в уме — в одной чашке бульона. Она испарялась нектаром, под облака, в золотистых инициалах Российской Императрицы, покуда снизу, разинув рты, мы взирали на голубые плафоны, дымившиеся музами, купидонами, которые ее возносили в содружестве корзин с фруктами, камильниц, одухотворенных задов, — все более и более, по законам перспективы, удалявшимися от нас. Следом за ними, за ангелами, за облаками, в синюю высь влекся и аз, в инициалах, упиваясь ароматом дарованного младенцу бульона, и уже не замечал свисавшей с потолка, на спор с Дидеротом, старческой, осклабленной маски Вольтера. — Курица-то, курица оказалась неотравленной!..

Незнакомец, разумеется, как сгинул. Пришел, положил у порога, как голову кладут, и ушел. Только и делов-то? Но требовалось решиться... С тех пор для меня затрепанное, газетное словцо «диссидент» все равно, что благоуханный подарок. Нет, господа, что-то изменилось в России. И первым «диссидентом», возможно, был безвестный человек, который принес курицу. После этого что хотите пойте. Я меряю отсюда, с порога. Вы можете умереть и ни до кого не докричаться. Никакого добра не было и нет. Бог один остался, но Бог — далеко. Надо трезво смотреть на вещи. И принять все, как есть, сполна: и Юру Красного, и Михаила Бураса. Но кто-то приходит и кладет у дверей — в сверкающем, синем пакете...

— Лед тронулся! Лед тронулся! — возглашаю на перекрестке дорог, в нашем укромном трактирчике, где мы

заочевали, словно в свадебном путешествии. Хотя, признаться, я и тогда сомневался и сейчас не верю, что лед тронулся. Но — приходит незнакомец...

— Проветри, — попросила Мария, — тут так накурено, дышать нечем. Пусть продует...

Я снял осторожно крючок, приоткрыл дверь и отпрянул. Там, во глубине заведения, стоял на четвереньках дежурный по вахте, лейтенант Кишка. Свисая нагрудными знаками, как беременная сука сосцами, он вел прицельное наблюдение за нашими соседями слева. Сколько он созерцал уже, четверть часа или более? как подполз, без сапог, в шерстяных носках? — мы и не слышали. Казалось, зажатый глазным отростком в пробое, Кишка не мог распепиться с образом соития, который воспроизводил в одиночку, собственным обликом, наподобие склещивавшихся в жаркой вязке собак. Громадный сперматозавр, почуяв мое дыхание, не оборачиваясь, красный как факел, разорвался-таки пополам и ринулся назад, к вахте, откуда выползал, судя по всему, полакомиться к нам, на свидания, в скудные, ночные часы дежурства. Будто и не было его, и он исчез в зарослях, за железной завесой, раньше, чем я догадался, зачем его сюда угроздило. Тогда рядом с нами расположилась на ночь молодая чета, не помню уже за что и по какому приговору разлученная то ли на пять, то ли на семь лет. В ее постели Кишка нашел золотую жилу...

Выждав, когда он уберется восвояси и задвинет за собою засов, я все же, ради страховки, прикрыл дверь поплотнее и выругался нецензурно и длинно страшной матерной бранью, на которую сподобился.

— Ты о чем? — удивилась Мария неожиданному повороту.

— Да так просто. Вспомнил... К слову пришлось.

Мне, сознаюсь, не хотелось вводить ее в курс событий. Скандалить? Возбуждать тревогу? Портить ночь? Возможно, это последняя — и у нас, и у тех... Не хотелось.

— Все в порядке, — говорю. — Ничего. Одну минуту...

По счастью, в нашей камерке старанием, очевидно, семьи, которую мы сменили, бесполезная замочная скважина была заткнута ватой. Добрая предосторожность. Ватка... Какая жалость, — подумал я, — ваткой из-под манды... А тот, гад...

Что было делать, спрашивается? Будить юницу? Конфузить молодого, неопытного любовника непрошеной заботой: «гасите свет, закройте щелку... не то завтра, если будет у вас завтра, снова подглядят»?.. Срывать чадру целомудрия

с брачного чертога, напоминая — наблюдают, и все, что вы там у себя вытворяете на кровати, для них одно кино и цирк один?! Какая разница. Я не оракул. Раковину, раковину обращаться в карцер, куда проникает Кишка приватно, как по заказу, развлекаясь, вслед за ястребом, каким наделен ее невероятный, уже теряющий разум понапрасну, но пусть клюет, пока есть что клевать, посланец и создатель?.. Увы, я не моралист. Детей воспитывать, повергая в стыд и отчаяние? Сами не маленькие. С меня хватит... И я выругался еще раз дикой российской руганью, от которой стены трескаются, но которая, впрочем, ничего не обозначает, кроме нашей общей беспомощности. Потом, вторично, отворил дверь — проветрить...

В самом деле, в номере было хоть топор вешай. Брань, пополам с протухающими, опухшими в блюдце окурками, издавала смрад, что тьма кромешная, не считая миазмов, желудочных и иных отправлений. Последние все же, как нарочно созданные для этих стен, вносили дозу совести в то, что происходит. Мне сделалось не по себе: «Ромео и Джульетта»!..

На руках, на щеках, по всей коже, мнилось, выпадает осадок, вроде порошка, которым морят клопов. Бессмысленно. Хотелось умыться. Обтереть лицо полотенцем. Хотя что-то духовное мгновениями как бы источалось из воздуха, оно было мерзостней, нежели сам запах, на манер какого-то густого первородного греха, не локализованного, однако, в одной точке пространства, но равномерно посеянного по всей галактике, в виде сыпи или кори, какую болеют дети: порываешься, как во сне, стереть вместе с лицом, но все время отвлекают...

Мне снова вспомнился поэт Валентин Соколов, бросивший при высоком начальстве, когда оно играло на струнах — дадут не дадут свидание, как будете себя вести, зависит:

— Жена, примечай внимательнее, твоей пиздой торгуют!..

Верно: Дом торговли. Раствление. Запускают, кипятят, снимают приварок. Как посмели? У нищих? Изю рта! Красть! Подсматривали бы за вольными бабами, без привязи, не возражаю, хоть в бане. На голую бабу, согласен, всегда приятно положить глаз, — успокаивает. Но здесь? Перед смертью? Раз в столетие? На том, что противится разуму, срываешься...

Передо мной воздвигался, свисая орденами, лейтенант Кишка. Страж во вратах рая, по оперативному заданию, с коротким мечом, на карачках. Как если бы уродливым,



головоногим богом позавидовал Адаму и, выпятившись, с орбиты, просекал сеанс. Уходит в пробой... В промежность. Зачем?! — бросаюсь. К чему сотворил еси, с яблоком в кармане, клеймом позора, и сам запроектировал в позе, утяжеленным животным? На воле мы без тебя обходились и жили беспечно, как звери. Но здесь ты запер и подкрался. Восстал. Что ни ночь, вдыхаешь сперму, которую мы выпускаем, раз в год, воздев сердце кадильницей. Дивись, любуйся! Лезь с потрохами! Все равно ты ничего не увидел, не разглядел. Ты все проворонил, Кишка!..

Бывало, приплетешься к жене сказать спокойной ночи, а она уже засыпает.— А ты смешная,— скажешь, подтыкая одеяло, как ребенку, на спине.— А почему смешная? — спросит сквозь сон, не дожидаясь, впрочем, ответа. Подумаю: а потому что люблю. С грустью. Кто тебе, милочка, подоткнет спинку, когда меня не будет? Вот и все объяснения. Уйду, подумав...

А рассвет не дремлет! Его еще нет, рассвета, до него ехать и ехать. Мы скрываемся в ночной глубине, как в коко-не, как под плащом во время ветра, и еще, еще чернее — в прыскающей черноте электричества. Но рассвет приближается и уже невидимо бродит призраком покойника в доме, собирая дань с постояльцев за то, что жили здесь, как все люди живут. До конца осталось пять, нет, еще шесть, нет, еще восемь часов. Все время такое чувство, что кто-то умер. Наверное, по-настоящему так и быть должно. Пока мы живем и живем, каждую минуту кто-то среди нас умирает. По тюрьмам, по больницам. И просто на проезжей дороге. Только мы на замечаем. Не думаем. Это делается втайне. Но все время, пока мы живем, кого-то уведут в расход. Невольно озираешься: не тебя ли?.. Не за мной ли?.. Здесь не говорят о веревке. Она — витает. Только улыбнешься:

— Ты еще жива?

— Жива. А ты еще живой?

— Живой!..

Хожу и хожу по комнате, как маятник, в опровержение распространенного мнения, будто звери ходят монотонно по клетке, не понимая ситуации, в какую они угодили, с наивным расчетом найти выход не с этой, так с той стороны. И звери бездоказательно мечутся от одной запертой дверцы к другой. Понюхав, бегут обратно... И я бы остался при том же предубеждении, когда б не усвоил на практике, вживаясь, этот премудрый закон медленного челночного шага от стены к стене, которым достигается исподволь ширина обзора,

спокойствие и равновесие духа, позволяющие лучше обдумывать всевозможные коллизии, в пределах и за пределами стен, в их ритмическом развитии. Твое мягкое скольжение по камере, из стороны в сторону, заведомо бесцельное, принимает форму работы по извлечению и прояснению смысла, точнее говоря, совпадает с его собственным уже, без тебя, произвольным ростом. Что-то вроде настройки на звуковую волну. Ходишь и ходишь туда-сюда, набирая сторонний, далекий и сопутствующий твоему блужданию ум. Звери, я убежден, ведут себя так же. Попав в неволю, исчавшись, они не ищут выхода, но, чтобы не издохнуть, вступают путем хождения в некий резонанс с иными пластами пульсирующего всюду сознания и живут уже на правах литературного бытия, которое не упирается в стену, а просто-напросто ее минует и, рассказывая о себе, вслушивается в такт всемирной, речитативно доносящейся жизни, в согласованности с которой, сами того не ведая, мы существуем и думаем. Неужто вы полагаете, что все ваши мысли так и зарождаются у вас в голове, как черви? Голова такая маленькая, а мысли большие-большие, и берутся они, в основном, из воздуха, из космического, если хотите, пространства, которое трепещет в зарницах еще не пойманных слов, так что вам остается лишь своевременно к ним вернуться, прислушаться, слоняясь туда-сюда, туда-сюда в ограниченных условиях клетки, камеры или книги.

Звонит гитара в уме. Струна дрожит в тумане, исходная точка наших бедствий, навевая успокоение узнику. Нетерпеливо спрашиваю Марию:

— А ты помнишь, — кажется, нам это пел Шибанков? Здесь, между прочим, это почему-то не поют, хотя тут бы, кажется, ее и петь, ее и петь?!

Петь, на самом-то деле, я положительно не умею. Без голоса. Пробую изобразить на пальцах, что, собственно, имею в виду и ловлю по слуху. Действительно, была такая... одна... вначале...

— «Когда с тобой мы встретились»? — читает она мысли. — Конечно, помню...

— Да, то самое!..

Продолжил неслышную музыку и хожу по кругу, восстанавливая про себя милый недостающий подстрочник. Хорошо, она подсказала зачин:

Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела,  
И в шумном парке музыка играла,  
А было мне тогда всего семнадцать лет,  
Но дел успел наделать я немало...

Бывают такие мелодии — даже не мелодии, обрывки мелодий, — слышанные давно, словно в другой жизни, забытые, возможно и неизвестные вам, но все-таки странным образом припоминаемые, всплывающие по одной какой-нибудь нетвердой ноте. В одиночестве или в тюрьме, на чужбине, нам особенно дороги эти стертые или мнимые записи нашей ранней и, казалось бы, уже утраченной памяти. Будто по улице, в уютном шуме толпы, бредешь по песне и говоришь сам с собой, переключая на себя чью-то встречу, о которой поется, как он ее зарезал из ревности и теперь ждет расстрела. Иди и пой, сопровождением жизни, твоей единственной и всеобщей, когда не важно как? почему? да и было ли убийство или только померещилось? Блатной репертуар. Из тех жестоких романсов, от которых у меня смолоду, чуть заслышу, пересыхает во рту и грудь сжимается страстной, тлетворной тоской по неумению запеть вместе со всеми. Что это — сродство душ? Или, быть может, ирония, скрытая в чудных звуках, глубже пролагает дорогу к сердцу современника, нежели классический песенник? Ведь не было ни парка, ни шумной толпы, ни музыки. Ничего похожего. А вот, поди ж ты, все это как будто и было только вчера, да только одно это и было в жизни!..

— Как дальше, Маша?

— «Потом я только помню...»

— Ах, да!..

Потом я только помню, как мелькали фонари

И фраера-лягавые свистели...

Я долго-долго шлялся у причала до зари,

И в спину мне глаза твои блестели...

Ага, это он сс, значит, уже убил!.. Но, вы думаете, убитая оставилась ему в спину, провожая глазами возмездия, Немезида?! Что его мучает призрак совести, которого он страшится и бежит, перепрыгивая изгороди? Как бы не так! Такого разве проймешь? Она смотрит ему вслед удлинением, внезапно вспыхнувшим, как прожектор, взглядом с благодарностью и сожалением. Бедный! сколько еще ему бежать, по круговой дорожке, до обещанной встречи с ней, до назначенного в парке свидания?..

Когда вас хоронили, ребята говорили,—

Все плакали, убийцу проклиная...

Правильно: детей хоронили. Но убийцей на сей раз был уже я, автор. И я один не плакал.

Я дома взаперти сидел, на фотографию глядел:  
С нее ты улыбалась, как живая!

Все плакали, жалели. А я радовался: оживает! Предвестие коснулось меня: спасена!.. Что она ему изменила, с кем и почему,— это второстепенно, это самая, кстати, слабая сторона и часть песни. Но верх берет поэзия, едва он занес нож, и закрадывается надежда, когда, перехватив, я его вонзаю,— воскресла! Спрашивает, заливаясь слезами,— локти на стол: что ты наделала, девочка? и кто бы исправил? как бы ты жила, куда бы подевалась, если б я тебя не зарезал? Мало что вор — убийца! Да и она не ангел. Но захотелось тоже иметь что-то красивое в жизни. Душа просила — вернуть посмертно в лоно первоначальной невинности, на детский праздник в парке, как Ромео и Джульетта. Теперь проклинайте, сколько хотите,— дело сделано! Вернись! Приникни! Не тебя, а себя принес он в жертву неутоленной любви и бежит по направлению к ней, не оглядываясь, в лучах ее просиявшего встречным счастьем лица...

Завтра прочитают мне смертный приговор,  
Завтра я глаза свои закрою,  
Завтра меня выведут на тот тюремный двор...  
И вот когда мы встретимся с тобою!  
Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела...

И опять за старое. Будто заигранная пластинка крутится в мозгу, всякий раз зачиная тот же цикл жизни — не мне, так другому, не другому, так третьему, не все ли равно? Только не в парке мы встретились, не на модном курорте и не в приморском ресторане... Ты не видишь, не знаешь, где мы находимся...

— Прости, пожалуйста,— говорит Мария, перебивая мои мысли.— А если бы нам, например, дали свидание в морге? Не фигурально, а по-настоящему — в морге. На трое суток. На один час. Ты бы — отказался?..

— Что ты!.. Да где угодно...

— То-то же... Молчи. Мы встретились — в морге. Понимаешь? В морге. И пользуемся условиями...

В Доме свиданий ночь больше дня. Но и помноженная на все, без сна, проведенные здесь ночи, она бледнеет под конец и сходит на нет. Пора! Тут уж не до смеха. Часы отсчитаны, и двери на замке. И речи уже исчерпаны. Рассвет

напоследок закрадывается в окно, кажется, уже с вечера незванным гостем и примешивается к молчанию, делая горьким питье и объятия теснее, порывистее, подхлестывая не упустить оставшийся на прощание шанс. Как если бы вам предложили однажды испить «кубок жизни» залпом, сдав на подержание, на ночь, эту меченную позором и потерявшую голову комнату. Тогда начинаешь догадываться, что плотское в тебе или, как еще называют, животное начало, в нормальное время внушающее стыд, либо, кому повезет, гордость собою и веселое расположение духа, это не прихоть сбесившегося богача и гурмана, но способ досказать недосказанное на словах, при жизни, единственной сообщнице и заместительнице твоей на земле — на весь, уже ей отпущенный Богом срок.

*«Язык глаз, — писали в романах, — бывает красноречивее уст!..»* Бывает. Все бывает. И уст, и глаз... Но теперь, осмелюсь заметить в родовом определении, все красноречие, сосредоточенное в тебе, необходимо перенести, за неимением иных аналогий, на язык *жестов*, исполняемых к тому же нижней, в основном, половиной туловища, незрячей и безгласной. Это было бы неправдоподобно, когда бы не мгновенный инстинкт самосохранения, бросающий нас цепляться за соломинку в минуту крайней опасности. Мы, как слепые котятка, как земляные черви, тычемся нащупать друг друга в поисках наибольшей доходчивости, способной в зашифрованной форме передать сигнал о себе и о бедствии, которое мы терпим. Последнее, не снимая любовного колдования, делает его осмысленнее и добрее. И если смерть, говорят, проистекает из греха, то здесь, в ее соседстве, весы склоняются внезапно в его пользу, словно это грех во спасение, в помощь вам, мольба о помощи, исповедь и заклание вместе. С бодрого галопа он сбивается на диалог, построенный на одном осязании, но имеющий, в принципе, быть зафиксированным даже и словесно, в самом приблизительном и схематизированном виде. Что-то вроде:

«— Узнай меня и прости. Нет никого на свете. Нигде и никогда. Ты же понимаешь. Запомни перед концом. До конца. Запомни. Запомни. Пойми и запомни...»

Нет, я не берусь пересказывать так буквально эту древнюю пантомиму. В моем изложении, я знаю, все теряется. Интеллектуальный оттенок невольно сообщает пересказу не идущий к делу технологический элемент, как бы приглашая угадывать за словами кадансы и спазмы детородных органов. Между тем в предлагаемых обстоятельствах в мою задачу не входит запечатлеть ощущения, пускай и весьма

приятные, но — логику свершаемого в этих стенах оплакивания. Тут не наслаждаются жизнью, тут с нею расстаются, прощаются. Старательно хоронят надежду: а вдруг прорастет?!

Логика, однако, не поддается переводу на внятную кому-то, помимо участников обряда, рассудительную и членораздельную речь, поскольку, в довершение бреда, она нечленораздельна и нарушает границы нашего естества и сознания. А то, чего доброго, вы бы еще спросили: а что он сказал? а что она ответила?.. Здесь нет делений на «него», на «нее», на вопросы и ответы. Вопрос и есть ответ. И грех — наравне со смертью. Наконец-то!.. Я всегда этого ждал. И вот совпало. Не смех, но смерть растворяет мои уста: заговорить о недозволенном. И смолкнуть. Исчезнуть. Рассыпаться в блеске подступающего дня. Лишь на миг в уме будто что-то просверкнет.

«— Запомни,— говоришь.— Мы расстаемся! Мы больше не увидимся — пойми!..»

Но опять-таки не говоришь, а вдалбливаешь, доказываешь обрубком, когда нету рук и встреча на исходе, а ты, бездарный дурак, все проспал и не успел ни о чем поведать. И ты повествуешь сызнава, сначала, с конца, колотишься лбом в стену, ловишь, зазываешь в гости, жалуешься и утешаешь... Эта кропотливая, в общем-то, церемония, всем хорошо знакомая, любопытна в том отношении, что ходишь ты с битой карты — как с козыря! Будто дерзаешь, порываешься куда-то... Не из самомнения — просто у тебя ничего нет за душой. Ты бестактен. Ты разнуздан, как шулер, пойманный на месте, с расчетом, что и она — шулеровка. Вы оба шулера, а третье дано. Свои люди — сочтемся!.. И этот последний довод делает речь убедительной, имея на примете каким-то нелегальным путем укорениться в жизни, вопреки всем показателям, что тебя не существует. Бесстыдство твоя единственная очевидность. И знак доверия между вами.

«— На! Прими, как есть. Я — таков!»

И словно в ответ, долголетняя дрожь из-за стен. Выкрики и песнопения. Как это перевести на вразумительный язык?

«— Я страшно тебе благодарен за прожитую с тобою совместно, обоюдоострую жизнь...

— А будешь помнить всегда?..

— А еще приедешь?..

— А помнишь, как мы ездили на Север?..

— А будешь помнить, когда я здесь, без тебя, убьюсь?..»

А дальше, дальше пусть она думает. И делает, как знает. Со мною конечно! Раздавлен и оболган... В ярости, что

с тобою кончено, ты выказываешься уже не лицом, не членом общества, но придатком себя, обуянным разумом и продолжающим ораторствовать на тех же громоподобных глаголах: «— Поверь! Пойми! Запомни и останься!» Высокопарным тоном, почти трагически, но, уверяю вас, совершенно голословно... Зато в итоге мне стало тогда яснее, откуда дети родятся и что вообще это значит, само по себе,—зачатие. Жена тебя сокрыла. Запомнила. Доверилась. Поняла. И понесла. Не гены это совсем. Не молекулы. Но понимание и память...

Имеются породы рыб, говорят, а также насекомых, которые гибнут прилежно в акте оплодотворения, но к этому более всего и стремятся, и готовятся... Вы думаете, мы так уж далеко от них отдалены? Или что им — не хочется жить? Еще как хочется! Но смерть, по-видимому, у них пересекается с зачатием, как двойственная цель бытия, и служит условием продолжения рода и вида. Так и у нас? Не знаю. Но что-то похожее, во всяком случае, я наблюдал за собой и на себе в Доме свиданий, в лагере.

## *Глава третья*

### ОТЕЦ

---

Всякий раз, подымаясь по лестнице, я поминаю отца. Тяжело. Кряхтя пересчитываю ступеньки, как залистанную книгу. Дистанция. Сколько еще площадок — три или четыре? Больше мы не потянем. Самому-то мне тяжелее не взбираться, но спускаться по ступенькам. Все боишься упасть, потерять сознание... Не то — отец. Под старость он карабкался на третий, на четвертый этаж и страдал одышкой, изжогой. Пил соду. Бывало скажет: «старость — не радость, пришибить некому». Любил шутить.

Подымаясь по лестнице, я повторяюсь. Все уже было — и одышка, и изжога. Не со мною — с отцом. Он раньше меня прошел по этим ступенькам и завещал кряхтеть, отдуваться, поминая старость. «До чего ты похож на отца!» — ужасалась мама. Когда кашляю, сморкаюсь, когда поворачиваю тяжелую болванку-голову, либо спину, скособочась, — все он. Отец точно так делал. Раскрою ли газету, насуплюсь, рыгну ли — подлинник. В детстве отца не помним. Отца боимся,

отцом довольствуемся в неслужбное время. Помнить, вживаться в отца начинаешь с возрастом. Когда сам уже — отец.

Правда, стареть я начал рано, лет с тридцати, с двадцати пяти. То все — детство, отрочество. А потом — затяжной прыжок, и старость, пожалуйста. Потому и с отцом наладился общий язык. Но понимать отца я только сейчас начинаю. Сейчас, во Франции? Какая разница — в России или во Франции мы понимаем отца! И нет уже горше заботы. Мне бы успеть, дотянуть. Кряхтеньем, харканьем. Храпом во сне — воскресить.

Иногда — пугаюсь: настолько меня нет. Он меня вытесняет, замещает — поворотом спины, шеи, хождением по лестницам. Все — самостоятельно. Теряюсь, исчезаю. Но чуть опомнюсь, приду в себя — так и Слава Те, Господи: — Значит, ты жив, отец? Ты — жив?!..

Все это, естественно, начиналось с детства, с манной каши, которую я не жаловал. Тогда начиналось: за маму, за папу — чайной ложкой. Я честно выполнял обещания. Это было ритуалом. Почти молитвой. Не до и не после обеда — на протяжении кормления. Постарше, я не смел привередничать. Мы жили нищенски, и мама выбивалась, чтобы эту прорву наполнить. Но в расцвете младенчества, знаете, мне было море по колено, и я изображал из себя нечто значительное, спасительное для жизни. Все зависело — съем я или не съем тарелку. Она возвышалась вулканом, требуя утolenия, покуда не застыла кора и не пошла насмарку вся задуманная процедура. Взывание к лучшим чувствам, к высшему во мне, смиряло отвращение, которое засасывалось в искупление грехов. С ложкой в руке, казалось, я вызволяю человечество из пекла, по моей же застарелой вине впавшее в детство, в немилость, и свисавшее тягостной, белесоватой массой, сталактитами в пещере, не лезущее в рот, забивавшее горло на первой же, неиспробованной, непроторенной стезе. Нет, это не было капризами. Исполнить долг безвозмездно мне было бы не под силу. Но у меня засело в уме, что на этом держится что-то более серьезное, нежели десертная ложка, висевшая в руке взамен ковчега, и следом сам я, замазанный, погрязший и все еще медливший в борьбе.

Тогда, с назиданием о семье, об ответственности, вступала мама:

— За папу!..

И разве я мог отказать?.. Сейчас, перебирая по пальцам, смею заверить, что никогда уже впоследствии я так усердно не молился и не жертвовал собою, как над этой тарелкой, которую надлежало заглатывать каждодневно для поддержания баланса.



Словно с меня причиталось за право моего интересного водворения на свете и требовалось, вместе со всеми, это право зарабатывать, впрягшись в лямку. Но не надо перебарщивать. В виде награды меня поджидало в конце самое приятное испытание, ради чего, собственно, я сейчас излагаю, как проскальзывала манная каша. опередить события, однако, было бы с моей стороны, мягко говоря, неделикатным. Лишний раз остерегаешься думать о будущем. Бывают ступени, которые мы не вправе сами решать. Давайте по порядку: «за маму, за папу».

И я, маленький, я старался. Наверное, в системе моих тогдашних убеждений это было что-то вроде неотложной помощи. Меня окрыляло сознание собственной пользы в доме, который между тем медленно расползался по швам. «За бабушку и за дедушку, облизни ложку...»

Потом шли родственники, знакомые (их было, по счастью, немного), и мое революционное рвение жертвовать собою снижало. Это было так утомительно, так бесперспективно есть за тетю Лизу, за дядю Федю и даже за московского мальчика Алика Либермана, жившего по соседству, на Хлебном, и уезжавшего всякое лето загорать на пляже в Алушту. Видя, что дело не клеится, а силы мои на исходе, мама пускала, как довод, дедушкину собаку и кошку. Было бы предательством обойти их поминанием.

— За Бульку и за Муську!

И мы катились с горы. Финиш близился. С волнением я предвкушал, когда же призовут имена самые заветные, мне в поддержку, и более всего нуждавшиеся в подношении. Когда же скажут во здравие:

— За Велосипед! И за Ружье!

За них я бы съел без зазрения двойную порцию. Но оба они стояли в конце моей обеденной эпопеи и на этом много проигрывали. Временами назвать их поименно почему-то упустили, и каша оканчивалась ни с чем. Может быть, их берегли, как резервный батальон, для последнего удара,— не знаю. Или мама, сохранявшая крестьянские привычки и навыки, не решалась все же вводить в равноправные члены семьи эти идолы мужчины. Мать подозревала за ними влияние отца и побаивалась. Во всяком случае я бы тоже постыдился, вопреки обычаю, вносить их в список вне очереди. Да и вылезать за столом со встречными предложениями как-то само собою считалось непозволительным. В итоге мои кумиры страдали неохваченными, а меня утешало сознание, что завтра мы с ними возьмем реванш. Правда, придется начинать сначала: за маму и за папу,— строго по форме...

Подрос, но долго еще моими иконами в доме оставались Велосипед и Ружье. Впрочем, у нас и не было в семье больших сокровищ. Отцовские Велосипед и Ружье пользовались у знакомых почетом, и заезжие охотники уважительно почмокивали. У Первого была удвоенная против обывателей передача и задняя втулка бельгийской фирмы. Второе — тоже редкой, западной марки «Пипер Баярд». Остатки былой роскоши...

В раннем детстве отцом я наслаждался больше всего в Рамене, в его летний отпуск, едва он покажется у нас, на проселочной дороге, потный, запыленный, верхом на велосипеде, с ружьем через седло. На зиму велосипед запирали в Сызрани, в дружественном кругу Курочкиных, а ружье путешествовало за отцом в Москву и обратно. Я просто не представляю его тогда без ружья. Явится и сейчас же: патронташ, смазка, и — вылетело из головы (свинчивается из ореховых палочек), да, вспомнил — шомпол, форма дроби из медного стаканчика, экстрактор, порох, пыжи. К пороху притрагиваться было не велено, а с дробью — сколько угодно, и поэтому я все хорошо помню. Как набивали патроны, латунные и картонные. Мастырили пистоны. Как прикатывал, тоже на велосипеде, Богданов, сидящий электротехник из Сызрани, серый, защитного цвета, с серебряной цепочкой часов у жилетного кармана, в железных очках, тоже на цепочке, строгий, подтянутый, убежденный холостяк, пропахший табаком и собаками. Мне слышался в нем еще запах пороха, и выстрелы словно поблескивали в его стеклах на цепочке.

Отец почитал Богданова за его неразговорчивость и старомодные манеры электротехника-аскета, иссушенного охотничьей страстью, о которой он никогда не болтал. Лишь спросит бывало, укладываясь спать: — Во сколько будить, Донат Евгеньевич? В три или в четыре? — А в полдень, смотрим, приносит красноперую тетерку, да куропатки пачкой свисают с ягдташа. И, уписывая дичь, мы выплевывали дробишки на скатерть, чтобы не повредить зубы. В лесу же, как позднее откровенничал отец, Богданов себе позволял лишь одну дежурную реплику: — Поерим, поурим? — что значило перекур. Сиделись отдыхать.

Отец не курил, не пил и к этому времени стрелял хуже Богданова. Поэтому он к нему ревновал, не подавая вида. Он давно уже начал слепнуть на правый глаз, поврежденный лучом прожектора. Там, на голубом его поле, зрело белое пятнышко. С правого плеча стрелять он уже ничего не видел и научился скидывать приклад слева, что давалось ему

нелегко и он часто мазал. Словом, перед Богдановым отец заметно сдавал. А в молодости, говорят, приплетется с охоты, увешанный вальдшнепами, как гроздью винограда, к неопируемому ужасу мамы. Вальдшнеп, мы знаем, вылетает внезапно, маленький и зигзагом. А — попалал!

Папа вообще ставил перед собою задачи самые невероятные. В нем билась жилка неудавшегося изобретателя. В первую мировую войну, ожидая мобилизации, упражнялся писать левой рукой, на случай если на фронте оторвут правую руку. Из нашей диаспоры нам это непонятно. Это кажется барством, чудачеством. Когда оторвут, тогда и научимся. Мы мыслим прагматически. Но его привлекали вещи, требующие напряжения. Прочитав несколько книг по современной энергетике, он выработал для себя диаграмму, где ничего не пропадает, но входит в мировое пространство облаком натренированной воли. Атеист, он ввинчивался в небо, как электрическая лампочка, и, естественно, на этом терял. Всегда — терял...

Любил рассуждать о странностях науки в эпоху революции, когда сам одно время работал по изучению народных гипотез. Больше всего тогда изобретали перпетуум-мобиле, и, представьте, случалось, академики ахали и растерянно разводили руками: батенька! знали априори, что такого не бывает, но доказать не хватало догадливости — настолько по чертежам, на бумаге, все получалось аккуратно. Потом другой самородок нашел секрет погашения вулканов. Секретом пренебрегли, благо на Руси вулканы не так актуальны. С отчаянья самоучка списался с Муссолини, предложив утихомирить Везувий. За связь с фашизмом его пустили в расход. Отец допускал, что в результате мы прозевали мировое открытие...

Но оставим смешочки на совести профессоров. В наш дом в Москву раз в год приезжал дядя Леня с тетей Верой из Сухума. Тогда еще этот великолепный город именовался по-старому — Сухум, где, я слышал, много русских. Химик, с ореховым от сухумского воздуха черепом, дядя Леня заведовал важной лабораторией, откуда раз в год наезжал в Москву на разведку, надеясь, что отец протолкнет его опыты в оборону. В белом балахоне и в белых же, полотняных штанах, казавшихся мне почему-то не совсем уместными, он, как негр, бросался в глаза кожаной черной перчаткой вместо левой руки, оторванной веществом, много превышающим силу динамита. Однажды они с тетей Верой подарили мне кубики. Все же я старался на дядю Леню лишний раз не смотреть. На правой руке у него тоже недоставало двух

пальцев. Не знаю точно, что из этого вышло, но впоследствии отец говорил, что, может быть, наши катюши — это дело дяди Лени. Очень может быть.

Между тем я тоже не отставал от века и старался изобрести что-нибудь полезное. От первого изобретения до сих пор не отрекаюсь. Нужно было выдумать плотный газ, делающий вокруг самолета точную копию облака. Плавает себе потихоньку, высоко над землей, выпускаемое пульверизатором, и никто не подозревает, что внутри у него — самолет! С помощью такого облака мы долетаем до Берлина и неожиданно бомбим.

Другой способ, более долгий, рыть подкоп через Польшу и, обойдя с тыла, поднять восстание. Все мы тогда грезили мировой революцией и искали к ней скорейших ключей...

Наверное, за идеи надо расплачиваться, и, когда в 51-ом отца арестовали, соседи сплетничали, что мы с ним по ночам рыли подкоп под Норвежское посольство — из нашего подвала на Хлебном, через улицу Воровского. Подземным путем собирались переправить на Запад что-то шпионское. Подвал после ареста отца и вправду был опечатан. А меня арестовали только через четырнадцать лет. Отца уже не было в живых. Но тот подземный ход за спиной остался. Какое упорство! И как давно это было — подкоп до Берлина, за маму, за папу чайной ложкой...

Отец вообще хотел сделать из меня человека. Себя же держал неизменно в революционерах, но в партию не вступал, и, может быть, это его спасло. Революцию он встретил в левых эсерах, и с тех пор это висело за ним как судебное обвинение, создавая в семье атмосферу неутоленного подвига и длительной, беспросветной нужды. Отца, сколько помнится, всегда откуда-нибудь вычищали за его революционное прошлое. По счастью высоких постов он уже не занимал, друзей не заводил, в разговоре не позволял себе ничего такого и гордо нес одинокую преданность делу, от которого был давно уже отлучен. При первом же допросе он сказал следователю: «даю вам слово революционера!» Тот так и покатился: Мамонт! Мастадонт! Он мог бы с большим успехом дать слово дворянина.

Помню, идем из бани, и, подмерзнув на остановке, я скулю, что пятнадцатого трамвая не видно: «опять не наш номер!», «и этот снова не тот!» Отец терпел, держа меня крепко за руку, и вдруг придумал. «— За то, что у тебя не хватает выдержки, — произнес он авторитетно, — вот подойдет 15-ый и мы его нарочно пропустим. А будешь канючить — еще пропустим.

Пора в тебе вырабатывать силу воли». И мы действительно пропустили наш трамвай, и я не пикнул, и ждали до бесконечности, хотя было поздно и холодно и мама волновалась. В итоге я не стал менее слаонервным, но речь не обо мне. Отец вечно выделял из себя революционера. Или, готовясь к худшему, воспитывал волю и выдержку, и его не обошло.

Папа спал без подушки, пользуясь плотной, как войлок, думкой. Свободную подушку клал на голову, и шум ему был не страшен. Взрослым я несколько раз пробовал его переспорить, и напрасно: «— В тюрьме,— отвечает,— могут не выдать подушку. Не надо приучаться к мягкому!»

Я не согласен и до сих пор с ним мысленно спорю. Но речь не обо мне — об отце.

Кажется, он был прекрасным оратором и умел зажигать массы. Где-то на Урале, в 17-ом, 18-ом, в Питере, в Сызрани. Получал удивительные записки на митингах. «Мы натянем ваши красные шкуры на барабаны!» — ждали реставрации. Девичьи комплименты: «Вы похожи на Каляева». Цитировал с улыбкой: был тщеславен, неудачник. Несколько раз уходил от петли, от пули. То наступление чехов и он в кольце: спасал велосипед. То красные по оплошности запрячут в каталажку. В ожидании, когда расстреляют,— спал. Выпускали...

От дворянства у отца оставалась завидная привычка не заботиться о еде, об одежде, не убирать за собою ни посуды, ни постели (все равно ее вечером расстилать), проявляя тем самым холодное высокомерие к низменностям буржуазного быта. Революционный дворянин умеет опрощаться натуральнее и полнее дорвавшегося до власти мужлана. Те, новые, из пастухов, в 30-ые шили уже габардиновые костюмы, примеряли шляпы, серванты. Папа считал ниже своего достоинства думать о таких мелочах, и мать мучилась с ним, сгорая за нашу бедность, несправие, страх, притеснения соседей, и я трепетал с матерью, но лучше понимал отца.

Один раз, в 33-ем, мама выпцарапала в библиотеке льготную путевку со скидкой в Дом отдыха — на Черное море, в Новый Афон. Отец, как водится, остался в Москве и в то лето не отдыхал. В Рамене было голодно, подгоняли коллективизацию, и мы сушили дедушке черные сухари. Мы с мамой тогда увлекались Кавказом, я с луком и стрелами охотился на кабанов, пренебрегая островами бритоголового завхоза, что на кабанов следует охотиться с хреном и солью. Он просто не был охотником и не ведал, что творилось вокруг, в пальмовых и бамбуковых, почти африканских зарослях. Понятно, я не мечтал встретить ни тигра, ни даже барса, который, судя по «Мцыри», однако, здесь где-то

крутился. Но кабаны с клыками, дикие вепри, выбегающие на человека из чащи, были естественной принадлежностью этих гор и санатория, в который был обращен старинный монастырь.

У моря мы познакомились с девочкой по имени Мэджи, аристократической грузинкой из города Тбилиси. По-видимому, я влюбился в нее, не отдавая отчета, что она старше меня и окончила этой весной 2-ой класс. В ней была, я бы сейчас сказал, женственная томность, и усики уже пробивались на смуглом очаровательном личике, как это случается у брюнеток южного происхождения, которые становятся барышнями гораздо раньше, чем мы воображаем. Пока наши мамы толковали, мы, лежа на песке, тоже заглядели с Мэджи острый обмен мнениями — своего рода соперничество за место под солнцем. Она призналась кокетливо, что у них в Тбилиси квартира из четырех комнат и ее папа так зарабатывает, что подарил ей ко дню рождения пианино, на котором она уже учится играть. Но оттого, вероятно, что она мне нравилась, я ей не поверил. Не ведая стыда, который на себя навлекала, Мэджи явно завышала ставки. И я тоже прихвастнул — с тем чтобы красавица, бросив молотъ вздор, последовала моему примеру. Я громко сказал, гордясь собою:

— А мы в Москве живем в одной маленькой комнатке — в подвале. Там нет ни уборной, ни умывальника. Ничего нет. Там стоит посередине одна большая железная кровать, и еще — письменный стол, заваленный папиными бумагами. Две книжные полки, и на ремне висит в углу ружье.

И впрямь, в это мгновение я живо представил себе темное отцовское логово, заросшее паутиной, поскольку папа не позволял никому у себя убирать, чтобы не затерялись бумаги. Но это была не вся правда. Я скрыл от Мэджи добрую половину истины: что на первом этаже — в том же доме и в том же подъезде — была у нас в коммуналке дополнительная жилплощадь, где от соседей прятались мы с мамой и вечером читал газету и пил чай вместе с нами — отец. Эту вторую комнату я на минуту как бы выпустил из памяти, представ перед Мэджи в полном блеске. Я не врал. Я просто немного идеализировал действительность.

В глазах у нее метнулся испуг, губки изогнулись в презрительную ижицу, но, вовремя опомнившись, она засмеялась, как это делают умные женщины, чувствующие юмор, давая понять, что мальчик из порядочной семьи, каким я ей рисовался, просто почему-то неудачно пошутил.

Мама вдруг начала беспокойно собираться и, сказав, что нам пора, увела меня с пляжа. До самого Дома отдыха,

покрывшись красными пятнами, что с нею редко бывало, она отчитывала меня за воинственную позицию, которую, как выяснилось, слышала частично и поджаривалась, как на огне, пока я распинался перед маленькой буржуазкой.

— Зачем ты обманывал Мэджи, что мы живем в подвале?

А я не обманывал. Я лишь мысленно перенес всю нашу семью в сказочный папин подвал, чтобы жить нам вместе и остаться без соседей.

— Нашел чем хвастаться! Ты роняешь нас перед чужими людьми! Ты нас опозорил!..

Опозорил? А я-то думал — как лучше: проржавленная кровать, революция, ружье... Прочее-то, в общем, тоже соответствовало этой гордой обстановке и пищало на все лады, что мы — нищие, мы — высшие, а не какие-нибудь капиталисты.

Спустя двадцать лет соседка-буфетчица огрызнется в коридоре: «Арестовали? Давно пора! Американский шпион! Фабрикант! Но, видно, плохо ему платили заокеанские хозяева: твой отец всю жизнь в обтрепанных брюках ходил!..»

Кому — как, а мне почему-то приятно, что отец всю жизнь ходил в обтрепанных брюках...

А мама повторяла:

— Да. Правильно: мы — бедные! Но нечего об этом кричать. И тебе не было стыдно перед этой девочкой, у которой четыре комнаты? И она уже учится играть на пианино!.. А наш папа...

Она заплакала.

Я недоумевал. Тень классовой вражды пробежала между мною и Мэджи. Больше мы с ней не встречались. Мама водила меня купаться на другой пляж. Но я не понимал и мамы. Зато меня, может быть, понял бы и одобрил отец?!

Когда я теперь посмеиваюсь над этим недоразумением, как все мы взрослыми смеемся над нашим детством, давая понять, что мы были дураками, но зато, впоследствии, стали умными и могучими, мне хочется сказать, что еще ничего не потеряно и кто был прав в этом споре о бедности и богатстве — тоже пока неясно. Просто я твердо усвоил, что быть богатым нехорошо. Зачем же в таком случае мы делали революцию?!

Тем временем, в это же лето, покуда мы с мамой купались на Кавказе, с отцом приключилась история, протянувшаяся рефреном на годы, а затем — рубцом по его, да и отчасти по моей, спине. Он шел с работы поздно вечером и у Никитских ворот, за лотком, где белозубые кавказцы

чистят ботинки и продают шнурки, вдруг увидел тощенькую голую ногу в тапочке и, ухватившись, вытащил ребенка моего роста и возраста.

— Ты что тут делаешь?

— Ничего — ночую, — рассудительно ответил пацан, нимало не испугавшись. — А що? Не можно?!

Это был обыкновенный, московский беспризорник, какие тогда, как воробьи, стайками продолжали слетаться на площади, бульвары и вокзалы и были уже почти неотличимы от колорита древней столицы. Но отца поразили и страшная худоба мальчика, и деловое достоинство, с каким тот объяснял свое внезапное водворение здесь, где не было у него ни родных, ни знакомых, и вел он жизнь в одиночку, чем Бог подаст, что для такой пигалицы, к тому же украинца, было героизмом. В частности, почему он стрижен под машинку, Ефим Бобко (так его звали) с мужицкой солидностью объявил, что сам, на собранные милостыней копейки, первым делом пошел в парикмахерскую: чтобы вши не завелись. Наверное, эта крестьянская добросовестность в исполнении последнего дела перед судьбой и ранила отца. Старый народник повел его к нам, на Хлебный, а потом, чтобы не оставлять одного в пустой комнате, таскал за собой на работу, пока не пристроил по знакомству в хороший московский детдом, пользуясь подмокшими, старыми, революционными связями. Усыновить Ефима не было ни денег, ни места. Мать потом, ревнуя, говорила, что отец его полюбил, потому что она от отца, в отчаянии, увезла меня на Кавказ, но это — неправда. Отец не терял надежды найти у Ефима со временем родню и вернуть по месту жительства, где у того, на Украине, оставались взрослые сестры — Наталка и Дуняшка, а маты и батько уже вмерли. Старший брат по недороду захватил его с собою на заработки. Но по дороге свалился в тифу, и его сняли с поезда...

В итоге Ефим Бобко стал моим сводным братом, хоть и обосновался в детдоме, являясь к нам в гости по выходным дням. Забегая вперед, скажу, что, сколько отец ни рассылал запросы по Киевской, Полтавской, Запорожской и прочим областям и ни рыскал по московским больницам в поисках тифозного брата, родни у Ефима обнаружить не удалось. Может, его сестры тоже «вмерли» или по вербовке уехали на Дальний Восток, куда их со временем предполагал выписать старший брат, если бы не заболел тифом. Названия района, области, города, из-под которого он родом, Ефим не помнил. Крестьянский мальчик — что спросишь? «— Ты напряги память! — приставал к нему папа. — Ну, в какой большой город



вы ездили из деревни — на базар, допустим, на ярмарку?..» Ефим тужился, думал, но ничего определенного вспомнить не мог. На всей Украине он знал один Киев, но никогда не бывал, не видел. А Украину в те годы словно подмело. Потом узнал я: в 33-ем ходил там голод вместо дворника, загонял метлой в колхозы. А в те веселые времена только и помню, что мама плакала по бабушке, оставшемся в Рамене, в Поволжье, где было не так уж голодно, да страшно раздражалась, когда барыни в спальных халатах на станции бросали хлеб с маслом почти уже одичавшим собакам. «Дети мрут, а они — псам!» — раздражалась мама. И я снова не понимал ее материнской нетерпимости, потому что любил собак.

В Москве (в тот год я пошел в школу) мы с Ефимом Бобко не очень-то подружились. Я желал ему поскорее найти взрослых сестер и брата и пробовал читать нараспев «Кавказский пленник» Лермонтова. Ефим казался мне каким-то дефективным. Это был молчаливый мальчик, стриженный по-солдатски, с некрасивой, выпуклой родинкой на лбу. «Лапута!» — думал я, зачитываясь «Гулливвером». Он был от всех отделен какой-то непроходимой стеной.

В детдоме ему понравилось, он усердно занимался, переходил с похвальными грамотами из класса в класс и числился в примерных, как и требовалось, пионерах. В политическом развитии Ефим меня обогнал. Но книжки, которые я по наивности ему подсовывал, он почему-то не читал. Чтобы сделать ему приятное, я извлек Гоголя с «Вечерами близ Диканьки». Но и Гоголя он словно пропускал мимо своими бесцветными, какими-то отварными глазами, как если бы ему не было дела до этих мазанок, дивчин и хлопцев, плясавших гопака в напоминание о милом крае. Лишь поэтические эпиграфы к «Вечерам» его остановили, и он заносил в тетрадку песенки и прибаутки, казавшиеся мне мало остроумными:

Не хилися, явороньку,  
Ще ты зелененькій;  
Не журься, козаченьку,  
Ще ты молоденькій!

Все это он как-то старательно, без улыбки, переписывал, словно в исполнение долга перед родиной, ему чужой и далекой, на которую он и не собирался возвращаться. Его холодность к Украине меня корбила. Но к отцу он привязался как собака, хотя это тоже ничем не высказывалось, а чувствовалось и лежало за ним, молчаливо и неподвижно, как камень.

Проскучав вместе весь день, отобедав, отбыв повинность, мы провожали Ефима в его детдом, куда он, казалось, уходил от нас с облегчением, и давали на прощанье на трамвай 20 копеек. 10 — на возвращение, и 10 — обратно, на дорогу к нам, через неделю, в следующий выходной день. Как-то Ефим открылся, что нетрудный этот маршрут он проделывает пешком, а двугривенный откладывает до каких-то лучших времен, что было тоже неприятно, поскольку от других денег, пускай и скромных, он неизменно отказывался, а эти, честно заработанные, брал, и, значит, получалось, ходил к нам раз в неделю за 20 копеек. «— Пусть делает, как знает!» — заключил отец, но я видел, что это медленное, музичкое накопительство ему не по душе.

Года через три на свои сбережения Ефим неожиданно купил фотоаппарат, который, мнилось, ему понадобился не для детского развлечения, но ради неясных, далеко лежащих задач, для ремесла что ли, к которому следовало приучаться с малолетства, или ради заработка, я уж не знаю. Загадка: сирота жил по какому-то своему, обдуманному и недоступному мне плану.

С годами он все реже и реже бывал у нас, а перед войной, окончив 8 классов, пришел прощаться: ехал в Клин по набору в военно-музыкальное училище. «В военно-музыкальное?!» Выяснилось: он играл на трубе. «На трубе?! Хотя бы в техникум! Мы тебя поддержим...» Не помогло. Ссылался на ребят из детдома, ехавших по тому же набору: дают форму, кормят... Наши пути непостижимо расходились. И снова, сдерживая раздражение, отец махнул рукой: «Пусть делает, что хочет!..»

...Ефим появился на горизонте в самом конце войны. Я служил тогда в армии, в воздушных частях под Москвой, учился заочником на филфаке, прибыл по увольнительной, и мы пересеклись. Он зашел на Хлебный повидаться с отцом, демобилизованный после тяжелой контузии на фронте, в заношенной до тошноты, кургузой солдатской шинели, сидевшей на нем мешком. В Клину у него затесалась какая-то приятельница из детдома, он спешил вернуться, но за несколько минут мы впервые разговорились. Дружно ругали армию, поносили офицерство — сошлись. Он жадно сосал махорку, страшно кашлял и, как бы в оправдание, бросил, что приучился курить на фронте от голода: заглушает. Раньше за ним я никогда не замечал такой откровенной, болезненной, но живой, процеженной злобы. Словно война его перепахала, выдернув кости наружу, и теперь они торчали во все стороны, как сломанные копыя. Ефим снова

исчез, а затем, через несколько месяцев, пришло от него опрокинувшее отца известие, ради чего я все рассказываю так подробно. К сожалению, письмо это у меня не сохранилось: отец поспешил уничтожить опасный для Бобко документ. Не пытаюсь воспроизвести его стиль и перескажу своими словами.

В письме Ефим просил прощение за то, что обманывал отца всю жизнь, начиная с вечера, когда тот вытащил его пацаном из-под сапожного ящика. Поэтому, как подросток, старался бывать у нас в гостях возможно реже, хоть и почитал дядю Доната другим батькой. Не хотелось в глаза смотреть. Признаваться позднее в обмане уже не достало смелости: боялся обидеть застарелым недоверием человека прямого и честного, «настоящего революционера». А я, писал Ефим, сын кулака. В 33-ем их раскулачили и выслали в Сибирь. И никаких взрослых сестер не оставалось на Украине. Ничего не оставалось. И название своей деревеньки он соврал, чтобы не разыскали следа. А район, и город, и область — притворился, что по малолетству не помнит. А то, чего доброго, установили бы, что нет и не было такого села в искомой местности. Да и фамилия у него вовсе не Бобко. И старшего брата, заболевшего тифом, тоже не было...

А было так: их везли эшелонам с раскулаченными отцом и матерью, с братишками и сестренками, да еще со стариками — в Сибирь. Везли подыхать с голоду, и Ефим бежал с дороги, под вагонами. Родители благословили старшенького — беги: может, выживешь... А дальше — снова по кругу: дядя Донат, обманывал, сапожный лоток у Никитских и семилетний мальчик, скрывающий тайну своей странной родословной от всего света...

— Ты ему написал? — спросил я, когда отец окончил читать письмо каким-то коротким смешком.

— Разумеется. Никакого ответа. Напишу еще и возьмусь за розыски. Может, он опять куда-нибудь переехал из своего Клина...

Но Ефим не переехал. Через старую его приятельницу, знакомую по детдому, узнали: Ефим Бобко умер в Клину, в больнице, от последствий тяжелой контузии и голодного истощения...

Как хорошо в лесу, исхоженном с детства, с отцом на охоте. Он с ружьем впереди, я за ним без ружья, в роли ученика и вечного носильщика дичи, если случится. Дичи с охоты мы почти не приносили: папа, как правило, мазал,

приговаривая за выстрелом охотничью остроту: «Полетела умирать!» И все же с трепетом спрашиваешь бывало: «— Папа, мы сегодня пойдем на охоту? А меня с собою возьмешь?» — Пойдем.

По лесу отец мог таскаться днями, неделями, объясняя, что с ружьем как-то свободнее дышится и обдумывается лучше все, что требует больших размышлений. Наверное, у него это было данью традиции — молодости, дворянским замашкам, народническим, революционным порывам... Охота вообще на Руси почиталась привилегией барина или заезжего стрелюхи. Из прочих сословий охотой баловались одни чудаки — люди умствующие и беспутные...

Но стоило мне пуститься в пространные рассуждения, как папа обрывал: «— В лесу не разговаривают!» И правда, за кустом, может, зверь притаился, а может, — человек. С чужим человеком в лесу лучше не встречаться. Мало ли что он тут делает и кого ждет. Ружье наготове. Всякое бывает.

У отца была масса поучительных примеров, как с оружием не шутят. В подпольную типографию кто-то стучится ночью не условным стуком, а спьяну, сапогом. Вздумал напугать. «— Кто?» «— Полиция, открывай!» Тот, в типографии, из браунинга — не глядя, через дверь. Открывает — товарищ!

Из браунинга, пока не забрали, я тоже стрелял однажды в лесу — по дубам. Отец командовал: «выше руку! целься! целься же ты!» Рука скачет — отдает от грохота. Мне было лет шесть. Мама бы не позволила. А браунинг — с гражданской, именной, законный. Пришли в подвал: «сдайте оружие!» «Обыскивайте!» А те и обыскивать не стали. Заглянули под подушку — лежит. Хорошо, не арестовали.

В лесу один такой тоже — *напугал*. Вышел из-за куста: «сдавайся!» А лесник (это был лесник), не раздумывая, ахнул из обоих стволов: ружье-то наготове. Разворотил брюшину. Дробь. Но когда в упор, да из обоих стволов... «Что же ты наделал, плачет умирающий, я же пошутил!»

— А того судили?

— За что?.. В лесу не шутят...

Вдруг отец остановился: не идет из головы — Ефим. Вообразил: семилетний малец — и уже — конспирировался!..

Я воображал. Жуткая таинственность жизни меня притягивала. А папа вспоминал, как тогда, еще в первое лето, пока мы с матерью прохлаждались на Кавказе, они поехали с Ефимом купаться на Москва-реку. Ефим, должно быть, в глаза не видел реки, и в воду не шел, и отца не пускал отплывать. Бегал по берегу и причитал:

— Дядю Донат, не тони! Не тони! Не надо! Дядю Донат!

— Конспирировался!.. Всю жизнь!.. Вообрази!..

Отцу, конечно, было труднее, чем мне. Страна разрывалась в его сознании, не поспевая за идеалами. Письмо Ефима Бобко с трогательным открытием было ножом в спину. Какую же муку несло тошенькое ребячье суденышко!

— Дядю Донат — не тони! Не надо!

Кулак? Чепуха. Нашего дедушку в Рамене тоже раскулачили бы: сад, корова, дом с террасой... Если б мама не настояла: сдать корову, вступить в колхоз. Сад с тех пор задичал. Но мне, студенту, было легко критиковать: Сталин, коллективизация... У отца был другой отсчет — с 909-го года. Это страшно важно в судьбе каждого из нас — точка отсчета. От какой печки танцуем. Тоже еще студентом — окунулся в конспирацию. Первый арест, разрыв с родными. Матвдорянка в ногах валялась: не уходи — единственный сын. Легла на пороге. Переступил. Питер. Ссылка, поначалу такая озорная. Озерки. Сызрань.

— Прочел мальчишкой «Преступление и наказание». Твой дед — монархист, консерватор — обожал Достоевского. Но говорил: рано! смотри!..

Под наплывом воспоминаний, отец, случалось, нарушал заповедь «в лесу не разговаривают», — и я не прерываю. Мне нравится, как он читал Достоевского гимназистом, — лежа на кровати и, немного почитав, отшвыривал ненавистную книгу в дальний угол. Вставал, шел в угол, подымал книгу, ложился и снова, через страницу, швырял. Лучший отзыв о Достоевском. О том, как надо читать. В хождении по комнате, валясь на кровать, вставая, из угла в угол, в борьбе, в работе, изживая барчука. Боюсь, в революции все же его втянул не Раскольников, а Соня Мармеладова. В Петербурге — провинциала, белоподкладочника — ужаснули проститутки.

— Ты не представляешь: за трешницу. Старухи — за рубль. За два фунта хлеба!

Он рухнул в обморок, узнав из газеты, что пало самодержавие. Не ожидал. От радости, в Озерках. Накануне своими глазами наблюдал на Невском: полотница, «Хлеба!», толпы женщин. Не понял. А утром раскрыл газету: она самая. Февраль.

«Преступление и наказание» мне случилось перечитывать уже в Лефортовском изоляторе. И странное дело — облегчение, по мере того как читал, забывая дыхание той «особенной летней вонью», раздраженной, кошмарной средой, в которую погружаешься, как рыба в воду, и не можешь

надышаться. Сокамерник бурчал: «— Смотрите — свихнетесь! Достоевского? В тюрьме? Ну взяли бы отвлекающее — Тургенева, Бунина. "Детские годы Багрова-внука"…»

А мне в поддержку смердел Достоевский. «Преступление и наказание» вызволяло из отчаяния не светлыми идеями, не проповедью добра, но тлетворным, исключаящим самонадеянность воздухом, как обухом по голове: клин вышибают клином. Как правильно отца эта книга завела в революционеры. Я читал, не отрываясь…

Мы шатаемся по лесу и вступаем в березняк. Подле берез воздух сразу становится чище, невиннее, и сами деревья кажутся просветом во сне. Сезам, откройся! Они открываются. Сквозь березовый ствол смотришь, как в окошко. Бежим! В ОВИРе пригрозят: «— Увидите, вернетесь к березкам! Соскучитесь!» Им береза — что блесна на крючке. «Ладно, — думал, — стоскуюсь по снегу, слетаем в Гренландию. Ладно!» Я и не подозревал, что в Норвегии этих берез пуце, чем у Нестерова. Съездим в Норвегию, рассеемся?!

А что такое на самом деле русская береза в лесу? Белая ворона. Белый медведь посреди деревьев. Вставший на задние лапы и вытянувший морду по ветру: весной повеяло. Осенью, зимой ли — к весне.

В березовой роще мы как в зоопарке. Бывают же такие: носорог, кондор, береза. Исключением из правил. По Божьему промыслу березы растут в опровержение понятий о цвете, о назначении деревьев. Редко — как белый медведь…

Нет, отца я не думал переделывать. Он рос с 909 года, как я с 48-го. У каждого свой отсчет. Но как он тогда саданул кулаком по столу: «— Молчать!» — на Евгения Николаевича! Он понимал, отец, что над этим не смеются, об этом не говорят: баста! и ни словом потом не обмолвился, не напомнил: «— А что о тебе докладывал Евгений Николаевич?…» Он и так понимал — не спрашивая. Он все понимал.

Евгений Николаевич, муж тети Наташи, двоюродной сестры отца, профессор электротехники, как всем это свойственно, боялся смерти. Весело балагурия в креслах, он поминутно нащупывал на себе и выслушивал пульс. Дурило сердце. Я хаживал к ним на Собачью площадку, в теплый особнячок, который, прокладывая Новый Арбат, уже снесли за ненужностью, пропахший древесной плесенью, горшками, лекарствами, керосинками и кошками тети Наташи. Она благодарила кошкам. Держала их три-четыре в доме и боялась выпускать во двор, чтобы им не повредили мальчишки. Поэтому форточки не открывались. В результате Евгений

Николаевич завел сетки на окнах. Но воздуха все равно не хватало, действуя на давление и редующий пульс профессора. Это была пара несчастных беспомощных стариков помещичьего засола, случаем уцелевшая в революцию благодаря научным заслугам и спокойному нраву хозяина. Самым опасным хулиганам двора Евгений Николаевич вручал по трешнику, по пятерке — как зарплату. Участковый также взимал дань и, пугая грабежами, внаглую, за полсотни, продал под конец свой милицейский свисток — в защиту от бандитов. Полы мыть в доме приходила княгиня Урусова. Брат систематически мочу Евгения Николаевича на анализ — графиня де Салиас, работавшая медсестрой в поликлинике. И хозяин, из разночинцев, кричал через двор вдогонку, упиваясь иронией большевистского переворота:

— Графиня! Вернитесь! Вы забыли мою мочу!

— Прекрати, Евгений! — гневно отзывалась в таких случаях тетя Наташа. — Вспомни, кто — ты, а кто — я!

Она была урожденная Всеволожская самых высоких изводов, а он — никому не известный, советский профессор Матвеев. Дом их служил мне белогвардейским противовесом моему революционному прошлому и красному, как знамя, отцу. Маму — из крестьянок, хоть и была бестужевкой, — тетя Наташа не жаловала и принимала поджавшись. Но нам с отцом, по дворянскому кодексу, все прощалось. Мы были у них желанными гостями.

С отцовским арестом мои визиты участились. Кормили, ссужали рублями — по-родственному — на передачу в Лефортово. В порядке товарообмена я, тогда аспирант, писал за Евгения Николаевича доклады по диамату. В этом суетудрии он не понимал ни шиша. На семинарских занятиях с него как-то спросили 4-й закон диалектики. «— Как вы сказали? — обрадовался профессор. — Диэлектрики?..» С моими шпаргалками у себя на кафедре, в Рыбном институте, он вышел в большие марксисты. Его даже уговаривали на старости лет вступить в партию.

Но смерть, как сказано, к нему подбиралась (хоть и умер он позднее отца). И Евгений Николаевич, благодушно кудахтая, нет-нет, а сворачивал наши дебаты в больную, излюбленную колею. Наукой, дескать, установлено, хочешь не хочешь, милый Андрюша: умрем, умрем и — больше ничего! Вот и Маркс о том же писал. Как цунал он пульс в эту минуту, как озирался, нервно помаргивая, в сарказме! Ему от меня не терпелось услышать нечто обратное его же иронии и что-то более утешительное по сравнению с марксизмом. И я не заставлял себя ждать. Доводами — если не очень

научными, то немного обнадеживающими,—спешил умерить бледные страхи, столь понятные у старика. Он спорил притворно, ободрялся, давая себя уговорить, вздыхал облегченно и снова, и снова, как мальчик, впервые узнавший о смерти, жаждал поверить, что может быть, все-таки, в конце-то концов, почему бы и нет, не правда ли, неужели, допустим, Господи, хорошо бы, посмотрю, разве, зачем же, о если бы, если бы!..

Так продолжалось несколько лет, пока не вернулся отец — по амнистии. На радостях, за приветственным угощением, Евгений Николаевич начал:

— А вы знаете, Донат Евгеньевич, что я вам доложу: ваш-то сын, оказалось,—верующий... Вот вы сами спросите. Андрюша, есть Бог на небе, или нет?.. Есть Бог на не...

— Молчать! — бешено заорал отец, хлопнув по столу кулаком. И Евгений — прищипился. Разговор, как ни в чем не бывало, сошел на мирную тропинку: ссылка, тюрьма, реабилитация... Атеист оборвал потеху — над небом, которого не признавал, над сыном, пусть не таким как надо. Профессор перед ним робел. Отец был резок, недоступен, справедлив, великодушен и смел.

— Молчи: в лесу не разговаривают.

Просто он не любил болтовни.

В лесу-то всего свободнее он и говорил со мной. Тут, в лесу, никто не подслушает. А если с собакой — и подавно. Только не следует шуметь. И мы идем, забирая все глубже. Он, как всегда, — с ружьем впереди. Я, без ружья, — сзади. А то поравняемся или присядем. Это он вспомнил отцовские похороны, как приезжал из Питера в Сызрань и служили панихиду. И толстый поп в церкви, в гневе на вольнодумца, едва не задел по лицу кадиллом — чтобы отшатнулся, безбожник. А он стоял у гроба, сын своего отца, гордо подняв голову, и безмолвствовал. Единственный сын, богатый наследник... Выродок.

— Вообрази, — вступил в наследство, и мать, собственная мать, я заметил, разговаривает по-иному со мной. Каким-то почтительным тоном. Только оттого, что я стал богаче. Деньги! Все можно купить! Вообрази — деньги!..

Отцовское наследство он пустил на революцию. То же после кончины матери — дом в городе, бриллианты. Все — на ветер, на революцию... На ветер? Нет. *Мой* отец перед смертью, почти не двигавший языком, очнувшись от беспомощности, спросил, когда я над ним наклонился:

— Ну, как твой «Пикассо»?..

Он знал, что тираж арестован, по рассмотрении в ЦК. Книжку о Пикассо, что написали мы с Голомштоком,



решили зарубить. А что ему Пикассо, живопись? Он не разбирался в искусстве. Только чуял, что это важно почему-то, и доверял. Отцу хотелось, чтобы мы жили, как он говорил, «высшим смыслом» — будь то чужой ему «Пикассо» или «социализм», «революция», так щедро с ним сосчитавшаяся. Он думал, «высшее», «дух» после смерти не исчезают, но входят в волевое облако, в пространный разум истории...

Может, соль «социализма» в том и состоит, что кто-то бросает отца и мать, гимназию, флирт, приглашения отобедать и, вопреки очевидности, начинает жить — *высшим*. Куда вы смотрели, христиане, когда у вас из-под носа человечество увели в сети атеизма?.. Революционеры соблазнились высотами. Что могли поделаться с ними эти офицерики, думавшие о себе, об имени? Социалисты оказались временно спиритуальнее. Других, низших, они хотели накормить хлебом, а сами жили в духе, жили — смыслом, эгоисты. Кто же знал поначалу, куда это всех заведет?

Конечно, последние слова перед смертью не увенчивают человека, а часто, напротив, искажают и темнят его образ. Характер, биография и просто собственное достоинство остаются позади как ненужная шелуха. По этим жалким, сморщенным и трепещущим от ветра листочкам мы не вправе судить о корнях некогда высокого дерева. И все же... Как отец о «Пикассо», так мама, умирая, спросила: — Ты не забыл поестъ творожок?..

Ох, тяжело! Как-то мы будем умирать?..

Не важно, совсем не важно, если мы скажем глупости. Перед смертью они — невинны. Они трогательны, и рисуют нам человека существом несчастным и милым, как маленького ребенка, понимающего больше, чем мы, взрослые.

Когда в последний раз в больнице мне разрешили навестить Евгения Николаевича, мы не знали, что он умирает. Врачи крутили что-то неопределенное. Он лежал на спине в отдельной палате и, оставшись со мной с глазу на глаз, завел обычную свою шарманку, что неужели на том свете, Андрюша, больше ничего нет. Пытал, вытягивал, но слушал невнимательно мои сбивчивые и такие ничтожные перед его тревогой отговорки. Вдруг попросил подать утку, стоявшую у кровати. Ему не хотелось вызывать медсестру и сиделку. Плохо владея руками, я помог ему опраться. Тяжелому сердечнику запрещалось приподыматься. Не меняя позы, с подушки, Евгений Николаевич вдруг как-то странно покоился на посуду, медленно наполняющуюся.

— Посмотри — какой *маленький!*..

И залился слезами...

Я не знал, что и подумать. Страшная тайна мне представилась: по-видимому, он умирал, и на свой лад прощался с жизнью. Не то чтобы старый профессор особенно ценил эту ветхую часть своего тела или много о том заботился. Нет, он оплакивал себя, маленького, распростертого без сил на спине, и чем я мог тогда его утешить?..

Вот и дубовая просека кончилась, пошел орешник, скоро сосны, лиственницы, которые с детства я любил почему-то больше прочих деревьев. Лиственницы!.. А у дуба удивительно, что и кора, и сучья, и листья — все вырезное, неровное. Говорят, дуб — твердый. Да. И листья у него клеенчатые, кожанные, твердые, подстать древесине, и, как железо, ржавеют к зиме. Но дуб — еще вырезной, изорванный, с неровными крупными зазубринами на листьях, похожими на его же кору, которая, в свою очередь — шершавая, мощная, черная, — напоминает о корнях и о почве, о брэнной земной поверхности. Как если бы листья несли память о целом дереве, а дерево — о земле.

Наверное, оттого что я вырос на этих дубах, они и рисуются мне первым деревом на свете: у раменского дома, сразу через дорогу, сплошной, однородный дубовый лес...

На сей раз я приехал в Рамено, чтобы повидаться с отцом, как только он вышел на поселение из сызранской тюрьмы. Мы наскоро расцеловались. Он сухо пересказал приговор и кивнул через дорогу:

— Пойдем пройдемся?

— Пойдем...

Ружья с нами не было, ружье конфисковали при обыске вместе с карманными золотыми часами из отцовского наследства и номером журнала «Америка». Но было и так понятно, зачем мы удаляемся в лес. Соседская собака, думая, что мы идем на охоту, увязалась за нами. Что ж — добро, свой зверь-разведчик в лесу нам сегодня не помешает.

Признаться, я ликовал, я был переполнен расспросами и рассказами к отцу. Еще бы, девять месяцев следствия неизвестно где, боялся — расстреляют, и вдруг — подарок: «5 лет поселения на родине». В Рамене, в собственном доме, от которого, правда, за нами осталась к тому времени только летняя половина: дедушка давно умер. Вокруг, в стране творилось такое, что отцовский приговор казался актом гуманности. Отец на вещи смотрел мрачнее: он ждал, что его оправдают за отсутствием преступлений, в ходе досконального следствия. За полмесяца до встречи, на свидании в Бутырской тюрьме, он успел крикнуть, что скоро вернется,

чтобы мы не волновались. Я не поверил. Но ему действительно удалось обосновать документально, что в 22-м году он не был американским шпионом. В 22-м году, как верный революционер, он заведовал в Сызрани уездным отделом народного образования. В голод распределял по школам и детским садам американские подарки. Спустя 30 лет его привлекли к ответственности за связи с АРА, американским обществом помощи голодающим.

Поскольку, в конце концов, шпионские криминалы отпали, отец полагал по доверчивости, что его освободят. Но, к своему удивлению, в общем итоге схлопотал 58-ую (10) статью — за антисоветскую агитацию, о чем на предварительном следствии никто и не заикался. А дело ясное: тогда, заодно с евреями, подчищали по России последних могижан революции — из бывших меньшевиков, анархистов, эсеров, чудом выживших в 20-е и 30-е годы. Если более интересное обвинение почему-либо не наклеивалось, лепили минимум — ссылку, пять лет, за агитацию и пропаганду. Отца замели в облаву как левого эсера...

Кстати, его успехи 22-го года по борьбе с голодом в Поволжье имели продолжение. Он с ними столкнулся носом к носу, едва в 52-м вышел из пересыльной тюрьмы и, пошатываясь, с мешком за спиной, влачился по пыльной Сызрани, столь хорошо знакомой, раздумывая, как добратся до Рамена, за 17 километров. Велосипеда не было — сломан, да и на велосипеде отец уже не мог ездить. На перекрестке его остановила старуха — бывшая учительница, которую он не узнал. Она-то его помнила по лучшим временам, в уездном отделе народного образования (тогда его, правда, тоже арестовали, но быстро выпустили), и слышала смутно затем, что он перебрался в Москву, почему и решила броситься за помощью:

— Вы живете в Москве и ничего не знаете. А у нас в Сызрани последние месяцы исчез сахар. Это просто безобразие! вредительство! И вы, Донат Евгеньевич, обязаны позаботиться о правильном снабжении города, в котором вы родились, выросли и, я помню, прекрасно организовали питание детей и педагогов даже в наших тяжелых исторических условиях... Я вас убедительно прошу, лично прошу, как старая учительница, в Москве позвонить кому надо в Кремль и прямо сказать, что в Сызрани исчез сахар...

Она, по старой памяти, почитала отца в начальниках, чуть ли не в правительстве. А он едва стоял на ногах после тюремного воздуха и высчитывал, хватит ли сил дотащиться пешком до Рамена, на место ссылки...

Все это, разумеется, выяснилось и образовалось потом. А в лесу отец как воды в рот набрал, хоть мы уже порядочно отошли от деревни и никакие подслушивания нам не угрожали. Не в силах дальше хранить молчание, да и бессмысленно, я спросил:

— Номер «Америки» тебе не предъявили? Как вещественное доказательство?..

Тот номер был куплен мной в московском киоске буквально за день до обыска. Завлекла добротная цветная картинка из собрания Пикассо, опубликованная в номере, которую я раньше не знал. Но потому, как вчетвером они кинулись на злосчастный журнал: «Эге, Америка! Смотри — Америка!», я догадался, куда дует ветер. Вдобавок эксперт в штатском, разбиравший библиотеку, почему-то особенно долго вертел в руках сборник Максима Горького петроградского издательства «Парус» и вдруг полюбопытствовал: «— Скажите, "Парус" — это случайно не в Америке?» «— Случайно не в Америке», — поспешил я заверить, все больше убеждаясь, что шьют американское. Но — что? Кроме журнального экземпляра «Америки», о котором отец и не ведал, в нашем доме не было ничего американского. Я тогда же, после обыска, подал в МГБ заявление о принадлежности изъятого номера мне. «Америка», кстати, во всех киосках продается вполне законно...

— Нет, никакого твоего журнала не поминали. Все обвинения, я же сказал, — не позднее 23-го года. Но знаешь — в отцовском голосе мне послышалась неуместная, наигранная беспечность, — знаешь, давай помолчим немного и просто подышим сосновым воздухом. Ты посмотри, какой лес!

Лес, и вправду, был необыкновенен. С пригорка, в расщелину, насколько хватает глаз, он простирался на север, северо-запад и на восток от Рамена — на сотни километров, и, мнилось, до самой Москвы, плетитесь себе потихоньку, огибая города и проселки, и вы не встретите ни души. Что-то отец хитрил со мною, петлял, уходя от разговора, словно от погони, унося на плечах одному ему доставшийся, неисповедимый груз. Сгорбленный, волочит ноги, смотрит в сторону — мне вдруг сделалось безумно жалко его и почудилось на минуту, что в мои 26, с круглым запасом знаний, заработанных нелегкой ценой, я опытнее его и выносливее, сосланного дотягивать старость по месту своего отдаленного, в прошлом веке, рождения.

Недавно, в Бутырьках, он представился мне на свидании куда бодрее, чем я ожидал, невзирая на смертную бледность, на окрики тюремщика, поставленного монументом между

нами в коридоре из двух рядов плетеной, до потолка, проволоки. В таких вольерчиках держат обезьян в зоосаде и прочую мелкую нечисть, от хорька до дикобраза. Только на свидании зрителя самого запирают в клетку на полчаса встречи с параллельно зарешеченным родственником. Так что, помимо счастья видеть отца живым, я вынес оттуда, помню, глубокое удовлетворение, что хоть немного, но тоже побыл за решеткой. Тюрьма с некоторых пор меня завлекала, как омут.

Сам разговор, однако, оказался бессодержательным, прерываемый, что ни фраза, монотонным возгласом исправного истукана, который своей громадой едва не загоразивал от меня отца, обратив к нам обоим бесстрастный, медальный профиль.

- Как ты себя чувствуешь? Чем тебя кормят?
- Об этом говорить не положено: я предупреждал.
- В чем тебя обвиняют?
- Об этом говорить не положено. Запрещаю.
- Что с мамой? Она здорова? Она — работает?
- Не положено — делаю предупреждение.
- Так что — только о погоде можно спрашивать?
- Если не прекратите — лишу свидания.
- Скоро ли твой приговор?
- Об этом говорить строго запрещено.
- Ну, а дома что происходит?
- Предупреждаю в последний раз...

И все же отец держался нормально и, соблюдая предписания, как бы спокойно не замечал воздвигнутой между нами преграды, словно тот был неодушевленный предмет или бессмысленный идол. Меня лишь удивляло, зачем он переспрашивает беспрестанно о здоровье мамы и о моей аспирантуре, которая благополучно заканчивалась, хотя я кивал изо всех сил, что у нас все в порядке. А ему, как позднее узналось, внушали на протяжении следствия, что я тоже арестован, а мать сошла с ума.

Тогда, через тюремный барьер, он виден был только по пояс, сквозь мелкую двойную решетку и проложенный между клетками ров, — в нижней, нательной рубашке, сливавшейся с бледным лицом, на фоне полутемного стойла, в одно, едва различимое, затуманенное пятно. Это был не отец, но, казалось, выцветшая его фотография — слабый зародыш отцовского знакомого облика, будто заспиртованный в банке, бескровный недоносок... Сейчас, на солнце, в лесу, он вернулся ко мне на землю из призрачного мира навестывать дорогие черты, пускай осунулся, съежился, однако сохранил за собой обычное присутствие духа и умную

медлительность выдавшего виды, спокойного, закаленного старика.

Поглядывая сбоку, искоса на него, я думал, как бесконечно много вмещает каждый из нас, даже если в расчет возьмем одну лишь персональную память, не говоря о душе человека и ее происхождении. Не говоря о характере, о личности — уже сама память дарует нам беспримерный рисунок и способ продолжения рода, а если угодно, и мировой истории, которую мы несем за собою, независимо от знаний и опыта, но просто в силу усваивания окружающего пейзажа. За каждым из нас тянется длинная, длинная память обо всем на свете. Будь то слышанное, виденное, прочитанное или испытанное. Будь то незнакомые лица, книги или газеты, тюрьма или дорога, по которой вы проезжали однажды.

Может быть, оттого, что в Рамено в этот заезд я прибыл тоже не совсем обычным путем, о котором, кроме отца, никому было поведать, человеческая судьба мне представилась поездом дальнего следования, из которого все мы, сидя по вагонам, высовываемся в окошки и видим мировую историю, хоть нас об этом не просят, и собственную пройденную и такую ненадежную жизнь. В вагоне всегда думаешь о том, что оставил, но что продолжает тянуться, как хвост, за тобой. И хвост этот — как поезд, полный народа, и всякий смотрит в окошко, отстукивающий такты по рельсам и ложающийся на шпалы канвою из книг и событий уже не нашего ума. Историю мы не делаем и не изучаем. Историю мы проходим. И помним, и передаем, сами не замечая. Куда бы подевались, я спрашиваю, Гомер и Шекспир, что делал бы Юлий Цезарь и все породы животных, с вымерших ихтиозавров, если бы краешком памяти мы их не включали в себя и не тащили бы за собой, наподобие состава? Что — мы? Что персонально — я? Ничего не значим. Но те, кто ехал за нами, кто поедет дальше, после нас, пересев на другой поезд!..

То, что отец помалкивает, либо отделяется пустыми и короткими репликами, в нашем положении звучавшими довольно нелепо, поначалу меня не очень волновало. В конце концов, ему виднее, как правильное поступать вышедшему из тюрьмы поселенцу. Может, с отца, выпуская, взяли клятву, строгую подписку о неразглашении, как это, я слышал, иногда практиковалось? Или — его били на следствии, и теперь поведать об этом собственному сыну ему было неловко. Но тогда бы он мне прямо сказал, как все делал прямо. А вероятнее, пренебрег бы запретами, поскольку мне доверял и относился по-мужски — без сентиментальностей. Слава Богу, был опыт.

Однако не терпелось если не узнать обо всем, то хотя бы выложить все, что у меня накопилось. Начиная с ночного обыска в нашем подвале, где я, повзрослев, поселился вместо отца, а он перебрался под старость на первый этаж, к маме. Накануне он уехал в служебную командировку на шинный завод в Ярославль, его взяли с поезда, и о том, что он арестован, мы поняли только по ордеру на обыск. Тогда-то не понаслышке — я вглядывался, я впивался в государственную тайну человеческого изничтожения. Как ходят, мягко похрустывая сапогами, по битому стеклу, по вывернутым ящикам шкафа с застиранным худосочным бельем, пузырьками, несчастьями и просто завалывшейся дрянью, за которую тебе почему-то стыдно перед обыскивающими, по слою просмотренных и отброшенных за ненадобностью бумаг, тряпок, фотографий. Как пролистывали книги — каждую персонально — на предмет сокровенной записки и давнишних карандашных пометок на полях. Как рассматривали на просвет мои пакетики с презервативами. Брезгливо морщась, будто впервые в жизни видят такой ужас. Зато по-детски, надрываясь от смеха, вчетвером, на широкой постели, где мама сидела с краешка, сжавшись в маленький кулак, — развлекались слепыми картинками в случайном учебнике по акушерству. Люди — везде люди. Им тоже нужен отпуск.

— Ты смотри! Ты смотри: какая!

Они искали — криминальное.

Перевернули наше помойное ведро на кухне, да так и оставили на полу, кучей, немного покопавшись в картофельной кожуре и мелких мясных огрызках. Соседские помойные ведра — не трогали, поверив на слово, что не наши. Соседи в то утро не вышли на работу и сидели, притихшие, по своим комнатам. В дверях квартиры застыл солдат с винтовкой и никого не выпускал. Крестьянский парень, дававший своим видом понять, что сам в плену и ни к чему здесь не причастен. Он старался держаться как-то ото всего обособленно. Ну стоит и стоит себе спокойно с винтовкой, и никого не трогает. После я таких не встречал.

Это длилось с двух ночи до одиннадцати следующей — почти круглые сутки, без перерыва. В клозет водили под присмотром, не допуская затворяться, чтобы было видно. Но под конец, к вечеру, сами порядочно выдохлись, и мне удалось сплавить, рассказав по карманам, кое-какие детские мои дневники и робкие литературные опыты. С юности, по совету отца, дневников я уже не вел. «— Учти, нынче за дневники сажают — не будь идиотом», — предупредил он в конце войны. В общем, как понимаю, он где-то меня страховал...

Книги, затянувшие обыск, и отсутствие серьезных улик раздражали наших искателей, и они цеплялись ко мне уже по любому поводу.

— А почему, скажите, у вас, в вашей, с позволения сказать, библиотеке, так много дореволюционных изданий? А современных советских авторов-лауреатов — маловато. Да. Маловато. Почему?

Они инкриминировали уже то, чего нет и не было у нас. Какое-то ледяное презрение, смешанное с затаенным, острым издевательством над судьбой, перехватывало дыхание. И, стараясь произносить слова по возможности четче и отвлеченнее, я отвечал, что моя специальность, как они могут проверить, русская литература конца 19-го и начала 20-го века. К тому моменту я запасся диссертацией по «Клим Самгину» — в виде алиби. И поэтому у меня, вероятно, мало советских писателей, но много дореволюционных изданий...

— Вижу! вижу! У вас одного Андера Белого...

Как Муций Сцевола, он вытянул руку к отсеку, где глел несгораемый, собираемый годами вместо противоядия, мой русский декаданс.

— А зачем вам — Белый?

— Андрей Белый, насколько мне известно, — пытался я парировать, — не числится в списке запрещенных книг. Андрея Белого можно найти у букинистов. Выдают в библиотеке...

— Да. Знаю. Но — белый, бе-е-елый?!

Воздетый палец. В наведенном зрачке зреет уголек ненависти...

Но в одном случае я потерялся и не нашелся, чем возразить. Изучавший старые мои, студенческие конспекты, гебешник обратил внимание на фразу, начинавшуюся словами: «Официальное определение соцреализма гласит...» Далее шла вполне доброкачественная цитата вузовского учебника.

— Что ж тут такого? Не вижу ничего страшного.

— Не ви-ди-те?! — Он повысил голос. — О-фи-ци-аль-но-е определение?! — он почти кричал на меня. И, выдержав сакральную паузу, к которой располагал весь торжественный строй цитаты, обрушился, шипя, на яростной, переходящей на шепот, бешеной скороговорке:

— Так, значит, по-вашему существует, кроме того, неофициальное определение социалистического реализма?.. А?!

Он словно владел будущим. Скажу заранее, тот эпизод с общим пафосом обыска и послужил, вероятно, причиной скандальной, через пять лет, состряпанной Абрамом Терцем



статьи. Мне действительно захотелось высказать неофициальное мнение о социалистическом реализме. Но в первый момент крыть было нечем.

— Это что — допрос? — попробовал я увильнуть.

— Да. Мы хотим знать, что вы скрываете под словом «официальное»?!

— Пока что мне предъявили только ордер на обыск. Предъявите — на арест, и тогда допрашивайте...

Это выглядело с моей стороны явной капитуляцией...

Он присвистнул многозначительно и сказал, обращаясь в пространство, так что его товарищи, рывшиеся по другим очагам, и не повернули головы:

— Смотрите-ка! Смотрите-ка: а сынок почище папаши! Что ж! Мы учтем. Мы — разберемся!

Угроза не сбылась. Но, как многие советские граждане, полгода и более после обыска я не засыпал до 3-х часов ночи. После 3-х — пожалуйста, можно уже и не ждать.

Впрочем, на то были и другие причины: не всё сразу...

Все эти новости я и торопился залпом пересказать отцу как единственному слушателю, который бы меня понял. Я утаил бы от него лишь одну подробность, как скрывал, по мере возможности, от самого себя. Только теперь пора ее вспомнить.

Когда, в два ночи, громко постучали в подвал, я не отпер. От грохота в комнате сыпалась штукатурка и чувствовалась рука, имеющая право ломиться, до сокрушения, в дверь. Натягивая брюки, я продолжал надеяться, однако, что, может быть, это милиция, по наущению соседей — с проверкой документов. Вдруг дверь открылась ключом, который держала мама, войдя первой, — в пальто поверх рубашки: ее подняли и заставили отпереть наш подвал. За ней ворвались те самые, о которых я уже рассказывал. И два голоса замкнулись на мне:

— Руки вверх!

И голос мамы, почему-то очень раздельный, как приносит слова учительница в школе:

— Это — пришли с обыском. По ордеру — на арест — отца.

И пока меня охлопывали в поисках оружия и выворачивали карманы, я не упустил интонации, с какой мама сказала — с еле слышным ударением на «аресте отца». То есть, я догадался, что она хочет сказать: не за тобой, не бойся — отца арестовали...

Вообще-то, на самом деле, говоря откровенно, надо было тогда не его, а меня арестовывать. И мама, ничего не

зная, это как-то подозревала и, подобно волчихе, только что оценившей, заслоняла меня — отцом. Просто она меньше его любила...

— Папка, я должен сказать тебе по секрету одну серьезную вещь. Перед поездкой к тебе, за неделю...

Давно я не видел отца в такой ярости. Он даже прикрикнул на меня, чтобы я немедленно смолк, потому что у него в данную минуту нет настроения болтать о моей ерунде. Почему — ерунде? И причем тут настроение? Настроения у него, видите ли, нет! Неопределенный жест в сторону дальнего леса, сопровождавший его гневную вспышку, ничего не объяснял. Лес — как лес. За версту, по крайней мере, не слышно ни души. Мне даже сделалось как-то горько за себя, после стольких тревог и превратностей помчавшегося сломя голову в Рамено. Зачем — молчать? Выслушивать нотации?

У отца, действительно, был неважный характер — последнее действие тяжелой, испорченной биографии. «Деспот!» — говорила мама, имея в виду отцовскую неуступчивость. Не хочет устроиться как все люди и, смотришь, снова ходит без работы. Или — пишет роман без надежды напечататься. Или — принципиально не убирает за собою кровать и запрещает смахивать тряпкой пыль у него со стола. Или... да мало ли что! Отец мог неугодного гостя попросить выйти вон. Мог вспылить неожиданно, а после обижаться, думая о чем-то своем, недобром. Но лишь один раз за 26 лет он устроил мне настоящую трепку, да так накричал, что век буду помнить, и вот за что.

Я истратил деньги, подаренные тетей Наташей вопреки родительской заповеди «детям денег не дарят», — на приобретение первой в жизни, самостоятельной книги. Сам, на собственный страх и риск, купил, ни у кого не спросясь, в букинистическом магазине. Ребята во дворе все уши прожужжали. Но эта чудесная, недостижимая книга была тогда в редкость, и я им долго завидовал, заранее воображая картины, в ней расписанные, прежде чем однажды, не веря своим глазам, увидел на прилавке. Приятно потрепанную, в желтенькой обложке, таинственную, как девушка, в которую вы влюбились, еще ничего о ней не зная. И в карманчике, как нарочно, тетинаташиных пять рублей.

Однако не успел я и первую главу проглотить, как вернулся не вовремя папа, точно чуял в доме неладное. А я ничего не придумал умнее, как сделать вид, будто готовлю уроки, а раскрытая книга лежит передо мной просто так.

— Ты что читаешь?

- ...Книгу читаю.
- Я вижу, что книгу, а не газету. Какую книгу?
- «Всадник без головы» Майн-Рида...
- Что-о-о?! Где взял?

Пришлось покаяться. Грех мой состоял, во-первых, в том, что я позволил себе истратить пять рублей в полное свое удовольствие, зная прекрасно, что мы сидим без копейки. Пытаться оправдываться, что деньги — мои, дареные, с благим пожеланием: «купи себе, детка, все, что хочешь!», — значило еще позорнее провалиться в пропасть, вдруг подо мною разверзшуюся. Что значит — *мои*, если мать и отец ради моего пропитания отрывают последние крошки? Что я — буржуй, собственник, вор?! Что я не вижу, как папа отказывается иногда пообедать с нами, чтобы осталось на завтра? А квартплата? А свет за три месяца? А лопнувший отцовский ботинок?..

Виновность моя, однако, непропорционально возрастала, во-вторых, потому — *что* я купил и читал. «Всадника без головы»! Майн-Рида! Это же надо! Пустую, глупую книжку, у которой одно место — на помойке. И не только пустую — вредную. И не просто вредную — реакционную. Но мало сказать — реакционную: вранье, галиматья, ерунда, чушь собачья, где нет ни слова правды, а главное, за всей этой выдумкой, за дурацкими приключениями, не содержится никакой идеи. Вот — «Шагреневая кожа»: фантазия, но зато — какой смысл! Какой стиль! А тут что? «Всадник без головы»! Если читать подобную дрянь — в конце концов человеку остается только одно — спиться. Как говаривал папе еще мой реакционер-дедушка: «На первой ступеньке — рюмочка водки — на последней разбитая жизнь...»

Если бы я на эти деньги купил, допустим, акварельные краски, или циркуль, или даже книгу, но книгу — полезную, необходимую в жизни, то никакого скандала бы не было. Отец сам, например, подарил мне Джеймса Джинса, Фламариона — о происхождении миров. Здесь надо уточнить: у отца познания были поистине энциклопедическими. За исключением эстетики, он знал абсолютно все: геологию, химию, математику, философию... Читал Авенариуса, Гегеля — как я теперь понимаю, охотнее, нежели Маркса. Астрономию, биологию... Художественную литературу он в общем-то знал выборочно, хотя и тут проявлял незаурядную тонкость ума и поразительную осведомленность... (Экономику, географию...) Впоследствии я его превзошел по части чтения книжек, вроде «Всадника без головы». Но отцовский энциклопедизм, силу воли, нравственность — я заместил

в итоге сублимацией на тексте. И разве можно сравнить?.. (Ихтиологию...)

Короче говоря, мое книжное образование, со стороны родителей, придерживалось широкой рационалистической традиции шестидесятых-семидесятых годов прошлого столетия. Мне, в общем-то, ничего не запрещали читать. Пожалуйста: хочешь — Бокаччо, а хочешь — Жюль-Верна, валяй! Но еще лучше — Мопассана («это я тебе серьезно говорю»). Мама, правда, тут слабо сопротивлялась: ребенку?! Ничего, ничего, — пусть читает! Сам разберется... Но так отец, при всей широте, высмеивал Майн-Рида и подобных ему обманщиков, что у меня руки опускались. И было уже стыдно сознаться, что «Всадник без головы», на самом-то деле, или «Барон Мюнхгаузен», до которого я тоже так и не дорос, не дорвался, это — книги, которые мне уже снились, хотя я их не читал.

Мама неожиданно, в одном этом пункте, была солидарна с отцом. Майн-Рид ей не нравился по причинам педагогическим, ей казалось почему-то, что у меня и без того повышенное воображение. Оградить меня, сколько хватало сил, от дурного влияния фантастики, мистики, разложения и декадентства она считала своим святым долгом...

Разумеется, скоро все эти предосторожности потеряли цену. Но благодаря рациональному воспитанию я вырос, прямо скажем, — с изъясном. Все время мерещится, что самое главное, самое прекрасное в жизни я упустил, проворонил где-то еще в детстве, и непрочитанный «Всадник без головы» скачет впереди, без меня. Возможно, поэтому в конце концов — с недостачи — я и стал писателем: пока не прочту!..

— Что ж с ней теперь делать? — сказал я совершенно раздвоенный комментариями отца и всем, что со мною стряслось.

— Делай — что хочешь... Хочется читать эту гадость? — читай! Я не препятствую...

Был уже вечер, и я вышел во двор, прижимая к сердцу тоненькую книжку. Никого не было во дворе. Темно. Посто-ял, размышляя, не подарить ли «Всадника без головы» Али-ку Либерману, закадычному другу, который читал все подряд, беспрепятственно, и даже успел прочесть «Дети капита-на Гранта»... Но кто же дарит заведомо дурную книгу? Да и вдруг узнают?!

Когда я вернулся, потупившись, с пустыми руками, отец смотрел веселее:

— Ну, что? Куда дел?..

Потупившись еще ниже, ответил:

— Бросил — в помойку!..

— Что ж — разумно. Правильно... Да не вешай ты нос на квинту! Подумаешь — Майн-Рид!.. Пять рублей!.. Мне, например, и не с такими предрассудками приходилось расставаться...

И он рассказал забавную историю про то, как родственники, и даже наша мама, долгое время считали его дальтони-ком. То есть человеком, который не различает цветов — где красный, где зеленый. На самом деле он их различал — глазами. Но путал — названия... А вся неприятность — в дурацком, дворянском воспитании, от которого было трудно избавиться. Потому что в детстве вместо того, чтобы обучать его простым и ясным понятиям: «желтый», «зеленый», «синий» и т. д., всякие гувернантки, тетушки, бабушки забивали ему башку изысканными пустяками, вроде «цвет-электрик», «канареечный» (вместо — желтый), «бирюзовый», «бежевый» и другой ерундой. В итоге все настолько смешалось в уме и так ему надоело, что он сам уже не может назвать все эти цвета правильными именами. Хотя всё видит...

Я улыбался в знак нашего с папой понимания и примирения. Но внутри, на душе, скребли кошки. Не только потому, что меня вынудили пренебречь давней, заветной мечтой. Попутно я успел совершить два новых преступления. Обманул отца — с помойкой. Ни в какую помойку Майн-Рида я не кинул. В действительности, не зная, куда деть или спрятать моего «Всадника без головы», я вышел через двор на улицу Воровского и, благо было темно, положил книгу вверх заглавием на тротуар. Как яд. Как страшный, завлекательный капкан. Пусть неизвестный мальчик ее найдет.

И все же в моем споре с отцом, который продолжается и поныне, в этом прямом вопросе о «Всаднике без головы» прав оказался он, а не я, затаивший свои обиды. Из какого-то суеверного страха (даже и не хотелось, померкло) многие годы я не притрагивался к Майн-Риду, как все мы не притрагиваемся к нашим старым грехам, и не искал потерянной книги. Уже лет семнадцати, под дурное настроение, чтобы немного рассеяться, взял в библиотеке — посмотреть. И все было не так, как воображалось. Просто привязали к лошади мертвое тело, труп, отрубив предварительно голову, и пустили скакать в пампасы. Тривиально, грубо и скучно. Все было сделано руками. Я-то думал, «Всадник без головы» — это всадник без головы! Не то, чтобы призрак, но сам скачет, хотя и без головы. Пускай так не бывает в жизни. Но в книге, в истинной книге, всадник всегда скачет без головы...

Что ж, пожалуйста, получай свои драгоценные лиственницы. Просил? Мы до них дошли. До самых дальних. В Рамене лиственницы всегда делились на дальние и на ближние. Мама спрашивала: «— Ну, как? Пойдем сегодня к дальним лиственницам, или к ближним?» «— К дальним, к дальним!» Дальние были выше.

В этой, европейской, части лесной российской равнины лиственницу почти не увидишь. Растут они специально — робкими небольшими стоянками, для того чтобы, набредя, медленно преребировать их глазами — крошечные открытые шишки, и собранные в пучки, в кисточки, осторожные иголки, и эти длинные, параллельные, вытянутые на всех уровнях ветви спокойного и прямого, как пальма, ствола.

Конечно, если взглядеться, всякое дерево фантастично, и зверь, и человек. Но в лиственнице фантастика склоняется к мягкому, неназойливому намеку, что все на этом свете донельзя интересно, а дикость и злые силы не содержат в себе никакого страха. Интеллигентное растение, оно сбрасывает иголки, чтобы, чего доброго, не заподозрили, что оно хвойное и плохое...

Лиственница не приглашает к себе, не зовет в гости, оставаясь в отдалении стройной провозвестницей леса. Если бы можно было рисовать словами, я бы ее нарисовал. В ее затейливости нет ничего случайного или предвзятого. В лиственнице видишь, что все в ней настолько духовно, что мрачные фантазии, вас одолевающие, всего лишь реденькая тень, падающая от ее кровли, ради сказки о том, как мы с папой или с мамой возносимся — хотите к солнцу, хотите к звездам...

Все же я не думал, что отец чего-то боится, и поэтому, как ребенок, отгораживается от несчастья, да и мне затыкает рот. Это не в его стиле. Он вообще ничего не боялся, хотя терпеть не мог, когда разводили панихиду вокруг вещей, всем без того известных, вроде антисемитской политики правительства или мании величия Сталина. Хуже нет, говорил, если посадят за болтовню.

Он даже смерти не боялся. Еще в нежном возрасте знал, как перебарывать страх. Когда вечерами родители-аристократы ударялись по гостям, бросив его одного в большом пустом доме, он спускался в темную залу с палкой в руках и кричал: «— Нас триста человек! Нас триста человек!..» И привидения рассеивались.

В отличие от папы, я всего боялся. Маленьким, ко мне повадилась по ночам старуха. Кто она такая, я не мог бы объяснить и наутро, проснувшись с тяжелым сердцем, робко

плакался матери, что сегодня ко мне снова приходила «старуха». Мать, как всегда, подозревала чье-то дурное влияние на меня и требовала признаться, кто из старших ребят или няnek во дворе внушил мне эти глупые суеверия о привидениях, о ведьмах. Но, смею поклясться, ничего подобного мне никто тогда не внушал, и это не был плод моего воображения. Не какая-то галлюцинация, а реальность, самая настоящая, являлась ко мне по ночам, всякий раз в одном и том же образе, с единственной целью меня пугать и давить таким напором холодной, сосредоточенной злобы, что сердце заходило и было готово выскочить из орбиты под неподвижно устремленным, застекленевшим на мне взглядом. Казалось, она меня медленно гипнотизирует, не давая ни убежать, ни очнуться.

Не знаю, может быть, это Авдотья, соседка по квартире, немного подколдовывала, истребляя наше семейство за принадлежность к интеллигенции, то есть, по ее представлениям, к ликвидированному, как класс, фабрикантам и помещикам. Во всяком случае, спустя какое-то время, мама вдруг обнаружила на кухне, подле нашей керосинки, детскую мою фотокарточку, кем-то оброненную в коридоре и теперь возвращенную по адресу с выколотыми иголкой глазами. Мама возмущалась вандализмом Авдотьи, пеняла отцу, что он, революционный борец, не может укротить распоясавшуюся бабу, но в колдовство в нашей семье никто не верил. Да и старуха, с небольшими промежутками мучившая меня по ночам, ничем не напоминала соседку. В ней не было вообще ничего человеческого, и какая-то печать вечной, изначальной ненависти лежала на ее неживом, словно заледеневшем, челе.

Если бы я тогда тяжело болел, можно было бы принять ее за смерть или за дряхлую парку, решившую в зачатке оборвать негодную нить. Но я был здоров, весел, беспечен и вместе с тем еще достаточно мал, чтобы она была ниспослана мне за грехи или за чтение еще не известных, соблазнительных, фантастических книжек.

Дошло до того, что я боялся засыпать и лежал с открытыми глазами в кровати, оттягивая, сколько возможно, ее внезапное появление. Потому что старуха приходила ко мне во сне, но довольно регулярно и всегда в неизменном виде, так что я сразу, трепеща, ее узнавал и связывал во сне с предыдущими сновидениями в одну цепочку томительных визитов. Все это заставляло предполагать, что она существует реально в каком-то другом измерении и за что-то заранее ненавидит меня, именно меня, поставив своей задачей сжить со света. Неизвестно, что думали добрые мои родители по

поводу постоянства ее облика и призвания. Но как-то, по совету отца, когда она в очередной раз прокралась к моему изголовью и, вперяясь, уже протянула свои скрюченные пальцы, я, собравшись с силами во сне, замахнулся на нее линейкой, и она отпрянула. С тех пор старуха больше ко мне не являлась...

В редком осинничке мы замешкались. «— Давай передо-хнем!» — предложил отец, и по дружелюбному тону и внезапно повеселевшим, заулыбавшимся глазам я догадался, что здесь, в кой-то веки, он и намерен со мной все спокойно и деловито обговорить. Как опытный охотник, выбрал глухое, но довольно голое место, хорошо обозримое во все концы: незаметно никому не подкрасться. Впрочем, и наша собака, в случае чего, зарычала бы. У меня отлегло от сердца.

— Но слушай внимательно и зря не перебивай, — начал папа, в той мягкой, протяжной интонации, с какой в далеком прошлом рассказывал мне иногда свои нестрашные сказки, правда, чуточку нравоучительные и слишком близкие к жизни, сам их вдохновенно сочиняя по ходу действия. — И, пожалуйста, не бойся, что твой отец спятил. Я не исключаю это как вариант, как одну из рабочих гипотез. Но, кстати, поэтому, именно поэтому — раз я могу критически анализировать собственную голову, — значит, вероятнее здесь что-то другое, совсем другое... Техника, изобретение...

Он засмеялся и, прищурившись, почесал безымянным пальцем у себя за ухом, как делал всегда, стоило ему прийти в юмористическое расположение духа и подшучивать уже над собой:

— Чорт подери! Может, я и вправду сошел с ума? — забавно. Но учти, я ведь ни на чем не настаиваю, как полагается сумасшедшему. У меня нет никакой навязчивой идеи. Нет страха. Я отдаю себе полный отчет. Если это, действительно, психический сдвиг, допустим, или шок, то, надеюсь, оно пройдет: чувствую я себя сносно. Но если это другое, а я думаю — это другое, я должен тебя предупредить, сам понимаешь... Я и там поставил в известность, что все тебе расскажу, одному тебе, чтобы не было недоразумений. С ними нужно держать ухо востро. А то они там чорт-те что вытворяют...

— Где — там?.. Кого — в известность?..

— Ну в Лефортово, в тюрьме, к концу следствия... Да ты не пугайся — ничего ужасного. Постепенно сам во всем разберешься. Ты думаешь — почему я тянул? Дурака валял? На тебя цыкнул? Ты уж прости старика — маленькая тактика.



Я время тянул, я выжидал *время*, чтобы поговорить без свидетелей, спокойно. В особенности для первого раза — пока ты не освоился, только с поезда и мог что-нибудь ляпнуть. Потом проще будет, поскольку ты уже в курсе, и мы все обсудим. Но помни: я за себя — не ручаюсь. Возможно, мне только кажется — допускаю. А если не кажется? Если — реально?..

Я слушал отца, не сводя глаз, и ни секунды не допускал, что у него с головой что-то не в порядке, как сам он грустно подтрунивал. Едва мы бросили играть в молчанку и к нему вернулись и всегдашний блеск ума, проявлявшийся в его редкой способности все, включая собственный мозг, критически взвешивать, проверять, и обычная его выдержка, и хладнокровная предусмотрительность, мне бояться за него было бы так же смешно, как усомниться в чистоте и достоинстве этого летнего полдня, созданного словно нарочно, для обстоятельной, серьезной беседы и нашей прогулки вдвоем, как бывало, по раменским лесам. Я лишь не улавливал полностью, почему он за себя не ручается и о чем предупреждает, если сам, без околичностей, свободно говорит о Лефорово и мнимом своем, под впечатлением тюрьмы, помрачении. И что значило выждать время, наиболее удобное, чтобы меня предупредить?..

— Как — ты еще не понял? — удивился он искренне моему недоумению. — Ну просто сейчас на какое-то время они от меня отключились. Перерыв. А в другие часы подслушивают, и я это чувствую. Это что-то вроде радарной установки, с двусторонней связью. Но только тоньше... В мозг... Понимаешь?..

Легкий озноб пробежал у меня по спине, как если бы в воздухе повеяло ветерком. Может, и повеяло. Жиденькие осинки над нами слабо позванивали... Должен сознаться, никогда я не верил, будто осины трясутся от испуга, пускай никакой иной листок не шелохнется в лесу, о чем испокон веков поговаривают в народе, почему-то недолюбливая это трепетное, чуткое деревце. И что Иуда будто бы удавился на осине и с той поры она всего боится, — я тоже не думаю. Это — неуважение к деревьям. Так уж поставлены листья у осины — бесчисленные серебристые лопасти локаторов, на длинненьких черенках. У нас, в траве, тишина, ни малейшего дуновения, а у них, наверху, в скоплении неба, может быть уже буря? И они предупреждают: скоро дождь пойдет, скоро такой шум и вой подыметесь по всему лесу, — тогда поймете!..

— Папа, тебя били? — Вопрос этот с утра вертелся на языке, да не хватало смелости... Но откладывать выяснение

до более легкого часа было уже поздно. И я выпрашивал отца обо всем так же хладнокровно, без утайки, как он мне отвечал.

Оказалось, его не били. Правда, следовательно, угрожая, многократно замахивался, но ударить никогда себе не позволял. Несколько раз плевал в отца. Однако не слюной, а скорее всего резкой струей воздуха в лицо — через коротенькую трубочку, специально спрятанную во рту. Иногда, доводя до нервного потрясения, сам так разволнуется, что пьет воду из стакана и слышно, как от страха зубы лязгают по стеклу... Конечно, ругался матерно, топал ногами — это уж у них сдуру так заведено. В общей камере на пересылке (до этого он сидел в одиночке) к отцу подплыл благообразный старичок и церемонно представился: «— Доктор физико-математических наук, почетный член Британской Королевской Академии, лауреат премии Гонзалеса, вице-президент международного общества электроники, почетный доктор Миланского, Брюссельского и Пражского университетов, Николай Иоганнович Фохт, — по определению следователя: лысая пизда!»

Меня поражала четкость подробностей и одновременно беззлобный, рассудительный тон, каким отец излагал эти мало приятные факты, запавшие так глубоко в его подключенный мозг, что теперь он, рассказывая, как бы проверял на мне ясную, объективную силу своего рассудка. Ему нечего было скрывать ни от меня, ни от тех, кто мог уже убедиться в его полной невиновности. Возможно, это отсутствие политических прегрешений в прошлом и настоящем, даже в мыслях своих, и заставило его позволить столь беспощадно себя раззывать.

Невинный беззащитен под рентгеном исследователей, продолжающих его упорно в чем-то подозревать. Зачем ему хитрить и увиливать? в чем обманывать? к чему ставить перед собой спасительные барьеры, как это делаем мы? Ему и каяться не в чем, он и умолять ни о чем не в состоянии, и, ничего не страшась, со всей силой воли и выдержки, он мысленно говорит палачам: пожалуйста, смотрите — какой я «враг народа»! какой я «американский шпион»! смешно!.. А тем того и надо. Несопrotивляемость советского общества, позволившего совершить над собой все исторические надругательства, и заключалась прежде всего в этом истинном «отсутствии состава преступления», давшее в руки правителей отмычку от безоружных человеческих душ, пуценных пылью психического распада...

Тем более все обвинения, предъявленные отцу, касались его одного и, значит, не требовали предательства, то есть

насилия над собой. К тому же они имели тридцатилетнюю давность, проходя насквозь половину его сознательной жизни. Вероятно, эта давность, пронизывающая биографию человека, не желающего ничего утаивать, и увлекла лефортовских экспериментаторов на путь хирургической пункции уже в ткани подсоснания.

По догадкам отца, в Лефортово тогда занимались опытами в области мозга, с помощью аппаратуры, вывезенной из трофейной Германии, которые в полной мере не успел осуществить Гитлер. Что это в точности,—отец, конечно, не знал. Раз, во время допроса, он потерял сознание под действием тока в затылок, посреди учащавшихся, до бешенства, следовательских атак. Предварительно его поставили перед новым, завезенным, которого он прежде не замечал в кабинете, металлическим агрегатом и запретили оглядываться. Очнувшись на полу, на спине, отец запомнил побелевшие, испуганные глаза следователя, который сам, как нянька, его откачивал... Потом, на допросах, вызывали докторов, и они, в штатском, важно прохаживались по кабинету и ненароком, с дистанции, осматривали и комментировали, поскольку после опыта лицо у последственного на несколько месяцев приобрело маскообразный характер.

Может быть, они боялись, что перебрали по очкам, а сейчас уже и сами не рады, что не могут полностью отсоединить у себя эту странную, двустороннюю связь с объектом изучения?.. И я не исключаю, что отец, рассказывая мне все эти недозволенные подробности, сам уже держал слухачей или пытался держать, в какой-то мере, на приколе. Ведь все, что он говорил, если не в данную минуту, то какое-то время спустя, прослушивалось в Лефортово. И ссылки на гитлеровскую Германию, откуда все это было позаимствовано, уже звучали не в их пользу. Отец не обличал и не мстил за то, что с ним сделали. Он просто предупреждал этих «дураков», зарвавшихся с мировым господством, что они переборщили. Стоя в лесу, один, старый революционер, калека, все еще пытался образумить и удержать невежественных последователей от страшного, рокового удара, которому сам уже подвергся...

Я невольно посмотрел на север, где за стеною лесов лежала, притаившись, распластанная на лапах — Москва.

— Послушай, сейчас до нас, до Рамена, оттуда — тысяча километров! Ну, может быть, немного короче, если по прямой. Неужто, на таком расстоянии, ты думаешь, они?..

— А телеграф? А радио? — резонно возразил отец. — Где пределы познания? Ты сам же в армии работал на пелен-

гаторах. Тот же принцип... И потом, мы еще не знаем скрытые силы мозга. Его способность улавливать и давать резонанс, посылать сигналы... Они это изучают.

Мы вяло, с передышками, взбирались на гору, останавливались, оборачивались, и мелкий сырой осинник бушевал уже под нами. При взгляде на это взъерошенное, расстроенное по всему пустырю, сырое селенье чудилось, будто оно тоже сумасшествует — под градом посылаемых отовсюду позывных. словно сонмище демонов свирепствовало в листве, посреди лесного безмолвия, и кошки прыгали по слабеньким стволам, и белки, и олени, зашифрованные азбукой морзе в неистовую дробь крохотных барабанов, которая уже не докатывалась до нас, но выплескивалась и бесновалась под ясным, как стеклышко, безмятежным небом.

— Что же, тебе какие-нибудь голоса слышатся? Снятся? Что-нибудь — внушают? Хотят от тебя?!

Нет, ничего не внушают. Нет-нет, не хотят. Просто по времени он разговаривает о чем придется — разумеется мысленно, исключительно мысленно. С кем? С несколькими. Чаще всего с человеком, проводившим испытания — еще там, в Лефортово, и до сих пор находящимся там же, — как отец подозревал, в строгой изоляции. В прошлом это добрый отцовский знакомый — Лев Субоцкий, встречались, рзговаривали, а ныне — одновременно арестант и контролер, собеседник, соглядатай... Вероятно, его выбрали как самого подходящего — по мыслям, по языку. Отец на него не в обиде: все-таки свой немножко, с интересными идеями. Впрочем, допустимо, что это кто-то еще выдает себя за Субоцкого: он же в тюрьме в глаза не видел — кто. Иногда к разговору присоединяются другие, чекисты-медики, — послушать, подумать. Но тоже ведут себя лояльно и разумно. Корректно. Никаких угроз или запугиваний. Мании преследования я у отца не заметил.

Мне было стыдно, что, внимая ему и выпытывая, я мысленно ищу в нем признаки умственного расстройства, которые бы мне объяснили случившееся. И, не найдя, становлюсь в тупик, и кажется, сам начинаю безумствовать перед простой научной гипотезой, что в самом деле, реально, мозг у него подключен и находится под надзором. И это — я! я! — допускавший все фантазии, все небылицы, все веры на свете! Во что угодно — в чертей, в колдунов. В Бога на небе. Остужишься и уже думаешь: не к добру. Во все, во что и в кого только может верить разуверившийся в себе человек... И вдруг его сумасшествие мне представляется наиболее вероятным, разумным обоснованием. По-

тому, что оно легче, понятнее, чем эта тишина, прерываемая лишь пением птичек и ласковым голосом отца, который, не горячася, обстоятельно, растолковывает мне историю своих тюремных злоключений. Ни на что не жалуясь, никого не обвиняя — бесстрашно...

Но как достигли они такой тишины в мире? такого спокойствия в природе — на протяжении тысячи верст, по беспроволочному телефону — от Москвы и до Рамена, до леса, где в дебри войдя, мы стоим и обсуждаем с отцом, как они нас подслушивают?.. А вот так и достигли.

Камера. Крест-накрест — лучи. Простые лучи — электрические, широкие, как лента прожектора. Помимо лучей, на стене, ночью, отпечатанное лицо с выколотыми глазами. Догадывается: фотография. Увеличено: в неоновом свете заметна ретушь, царапины. Та самая, что обронили в коридоре? Нет, другая. Старше, лет 9-ти. Догадывается: проекционный фонарь — ничего особенного. Сам показывал. Диапозитивы. В Сызрани.

— Знаем! Знаем!..

Знакомый голос. Субоцкий? Левка? Нет, не Субоцкий. Радиофоника — догадался: пугают.

— А сынок-то почище папаши будет!..

Пугают... В лучах, по двум диагоналям, крест-накрест, — летают белые голуби. Голуби в камере? Белые?! Галлюцинация, всего-навсего галлюцинация... Не хватало! Усилим воли — вспомнил: стереоскоп, кино...

Музыка. Ф-фу, чорт! Поют. Варшавянка. «Вихри враждебные веют...» Сволочи: с революционных времен. Пение громче. Близится. Оно уже здесь. Под столиком? Громче. С четырех стен — раздавят!.. Уши, уши зажать, чтобы не оглохнуть!.. Глазок. В гробовой тишине — надзиратель: «— Ты что? Спать не положено... На выход?!»

Допрос. Камера. Допрос. Камера. Допрос. Камера. Голуби летают... Допрос...

— Пси-хи-ко! Хи-хи-и-и!

Эхо. Хоть бы скорее. Мозг поехал. Главное, не распускаться! Мозг!

— Говноед! Эсер! Белогвардеец!

Голуби летают... Снова фото? Семейное? На стене?.. Двое за решеткой, а третья — хозяйка! — хи-хи-и-и!.. Шпион-шампиньон. А ну — шпион-шампиньон! Америка. Ара-ара-ара-ара!..

— Мать-перемать-перемать-мать! Мать-пере-пере-пере... Перемать!..

Ерунда! Главное: слова не забыть. «Трансцендентальный». «Эмпириомонизм». «Пи-ро-кси-лин». «Тринитроклетчатка». «Ихтиозавр».

— Ара! Ара! Мать-перемать...

Трансцендентальный! Пироксилин! «А и Бэ сидели на трубе» — задачки тоже полезны... «Эксплантация». «Кристаллогидраты»...

— Вихри враждебные веют над нами...

Нас триста человек! Нас триста человек!

— Па-а-па-а-а-а!

Ослышался. За маму, за папу, за велосипед и за ружье. Ослышался? Не уходи, выродок. Не пущу! Поерим-поурим. Посильнее динамита. Озерки.

— Пси-хи-ко! Хи-хи-и-и! Слово революционера! Вы похожи на Каляева. Эсер? Левый? Ко всему еще — левый?! Аме-ри-кан-ский? Майн-Рид? Журфикс? Одно место — на помойке. Пойдем на охоту?

— Па-па-а, не надо...

Озерки. Авенариус. Кок-сагыз. Резина. Шинный в Ярославле. Соня Мармеладова. Наркомпрос. Сызрань...

И он вынырнул усилием воли, и мы стоим на поляне, тишина, пустыня, птички чирикают...

— Вот так, — говорит, — и расщепили... включились...

— А если, — говорю я, — а если... — лихорадочно ища выход, пока мы одни и нам не помешали, — если все это у тебя... сейчас... ну какое-то самовнушение? Остаточные последствия лефортовских голосов по радио?!

Что там это не было бредом, я уже не сомневаюсь. Снимки на тюремной стене, проецированные в увеличенном и растерзанном виде, — те самые, как он точно описал, семейные фотокарточки, пропавшие у нас при обыске. Убирая комнату после погрома, восстанавливая рассеянный по полу альбом, мы их с мамой недосчитались...

— Что ж, возможно, — отвечает, и я вижу, как он устал все мне заново объяснять. — Вполне возможно. Одна половинка мозга разговаривает с другой, — не исключено... Но где гарантии?! Так что пока ничего лишнего мне не говори. Слышишь? ничего лишнего! Я не должен знать. Не должен! Тебе ясно?

Да... Ясно... Он имеет в виду все, что меня раздражает, чем я сейчас перегружен до краев. О чем, несясь в Рамено, мечтал ему одному, ответно на тюремные сети, которых он удостоился, из которых вышел наконец, поведать. Нельзя. Отец боялся. Впервые в жизни я вижу, что отец боится. Боится, что я о чем-то ему проговорюсь и меня посадят. И даже мысли об этой возможности гонит от себя прочь. Мысли — контролируются...

Он подымает руку и делает пальцами знак, похожий на беззвучный щелчок. Включились! Внимание: включились!..

Где-то в Лефортово заработал генератор. Странно: мы с ним одни, по-прежнему одни в огромном пустом лесу, а незримые гости уже реют над нами...

Однако теперь это принципиально ничего не меняет: я уже предупрежден. Нисколько не меняются и отцовские черты, голос, манеры. С обычной живостью он спрашивает о маме, о моей диссертации, которую нужно срочно доделывать, о тете Наташе и Евгении Николаевиче... И я отвечаю, как ни в чем не бывало. Но мне хочется молчать...

Наперед скажу, все это продолжалось с отцом еще года два, пока он был в ссылке. Мы с мамой не могли часто его навещать. Надо было как-то устроиваться, зарабатывать. После амнистии, а затем реабилитации, эти мозговые явления он замечал за собой все реже и реже. Потом они совсем пропали. Мама об этом так и не узнала. Она скоро умерла. Умер и отец. Что с ним было в действительности, так и остается для меня загадкой. Может быть, со смертью Сталина и последующей перетряской его ученые контролеры наконец угомонились. А возможно, со временем отцу просто полегчало, страшные раны, нанесенные в мозг, зарубцевались, и галлюцинации его оставили. Подобно ему, я допускаю оба варианта.

Но тогда, в первый день раменского свидания и долгого разговора в лесу, радость общения с отцом смешивалась у меня с такой неутолимой тоской, словно, встретившись с ним, я что-то навсегда потерял. Мы могли валяться на травке, шутить, играть с собакой. Мы упивались видом и запахом друг друга. И вместе, как нигде, были разединены.

Мне нужно было торопиться в Москву, бросив отца, с его вещими голосами, одного, без помощи, в этом жутком запустении. Моему одиночеству он тоже был бессилён помочь. И никогда уже не узнал, о чем я думаю и куда иду. У меня не было права его обременять. Но моя вина перед ним от этого не уменьшается...

Мы возвращались домой мимо того же осинника. Подымался ветер, и страшно было смотреть на эти клокочущие деревья. Духи работали, и я не мог от них оторваться, тоже поднятый на воздух чувством какого-то, скажем так, психического ужаса. Будто бы, глядя, я терял себя в этом сонме бормочущей о чем-то и приплясывающей листвы. Возможно, это было от ветра, но волосы от ужаса вставали дыбом у меня на голове. И тот ужас, как это бывает в сильные минуты, боролся и граничил с восторгом по поводу того, что я вижу и испытываю.

Должно быть, состояние отца мне сообщили. И я перенес на себя и рокошующую его отдаленность от всего света, и строгую сосредоточенность на мыслях и картинах, доступных ему одному. Но это было не самым важным. Мне почудилось вдруг, что выход найден: не для него — для меня. Что путь открыт, позывные услышаны, и ничто и никто меня уже не оставит... Печать проклятия и счастья лежала на моем лбу.

Отец стоял рядом и тоже смотрел молча, как замороженный, на этот, как зверь, крутившийся на одном месте, пойманный и локализованный смерч. Наверное, у него на этот счет были свои идеи. Солнце склонялось к закату, но по-прежнему на небе не было ни облачка... А я мысленно говорил, обращаясь к отцу или к будущим, несуществующим моим оппонентам. К самому себе. Посмотрите, убедитесь: это и есть *действительность*, которую вы игнорируете, презрительно называя «фантастикой», — вот она! И не надо фантазировать — достаточно видеть, и совершенно не важно, как это называть. Можно назвать деревом, а можно — человеком. Чем угодно! Дерево — это я в моем воображаемом сне. Дерево — отец. И оно клокочет, вы взгляните — оно кипит, как мы с вами, как вселенная в бездне гипотез и гипербол. Наши встречи, раздоры, потери — все вместе кипит более восторженным словом, чем мы способны промолвить, все в действительности — кипит...

Но и это не было тогда самым важным. Не знаю почему, но писатель с той поры в моем понимании, как я к этому внезапно приблизился, — уходя работать и по-настоящему писать, непременно удаляется в лес. Чтобы никто не видел и не слышал. Одно на уме: «время меня перевести на бумагу», — говорит лес и становится текстом.

Боже, какое здесь сказочное царство! Не оторваться — смотреть и смотреть. Общение? С кем? С человеком? с читателями? Не верю. На любом слове поймают и докажут, что все не так. Я их знаю! Единственное прибежище — текст. Не слишком густой, не очень реденький... Но хода назад, помни, назад из текста, не будет. Мы — в лесу.

Еще тоже важно успеть сказать: когда пишешь, нельзя думать. Нужно выключить себя. Когда пишешь — теряешься, плутаешь, но главное — забываешь себя и живешь, ни о чем не думая. И как это прекрасно! Тебя нет наконец, ты — умер. Один — лес. И мы уходим в лес. Уходим в текст.

Поэтому самое важное, чтобы в книге, которую пишешь, была таинственность. Для автора, для тебя. Она-то и побуждает, она-то и тянет уходить и тихо делать свое



невидимое дело. Вот и все, что нам надо. А что станут говорить, спорить: «это он все придумал, и так не бывает», — уже и не важно. Они же в поле, а мы в лесу. Им как бы ширше размахнуться, охватить, воспроизвести... А мы обязаны помнить об укрытии, о тексте, о тайных тропках. У них всё — былина, эпос, прекрасное отношение искусства к действительности... А у нас пока что в руках одна сказка.

...Надо ли добавлять, что отцу об этом — ни в лесу, ни вернувшись домой — я не проронил ни слова?

## Глава четвертая

### ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

---

Я был влюблен в актрису А., обладавшую магнетической силой. Стоило ей приложить палец к блюдечку на спиритическом сеансе, как оно подскакивало, будто бы в знак признания, отделяясь на сантиметр от стола, висело четверть мгновения, а затем, зазвенев, с неистощимым усердием бегало по пиферблату и скороговоркой отвечало на заданные вопросы рисованной голубой стрелкой. В обычном спиритизме, если это не махинация, литеры в связную цепь складываются вяло, словно нехотя, из пустой вежливости к взыскательному собранию. Путают имена и даты, теряют орфографию и городят форменный вздор, недостойный потустороннего опыта. Либо тупо, как застрявшая на проигрывателе пластинка, повторяют одно и то же назойливое ругательство, типа «*жона*» или «*дура*», к немалому смущению какой-нибудь новенькой барышни, миловидной участницы магнетического сеанса. Мне объясняли: это вовсе не души умерших, слетевшиеся на тарелку, и не токи наших пальцев, а так, *элементали*, — низший слой прилегающей к нам невидимой примитивной жизни. С ними и разговаривать не о чем. Они как черви или бактерии в иной, запредельной среде. Иногда знатоки их называют «шатунами».

Но едва к столу подплывала А., картина необъяснимо менялась. Приходили почти всегда интересные ответы. И мертвый фарфор под ее рукой буквально оживал, наливался теплом, кровью, выдавая осязаемые уроки прикладной магии.

Справедливости ради надо заметить, что сама она, уже в летах и на пенсии, терпеть не могла эти заигрывания с чертовщиной и садилась за блюдце с величайшей неохотой,

раз в год, после долгих уговоров: что вот, дескать, смотрите, А.,— без вас оно и не крутится.— То есть как это не крутится?!— отзывалась она с досадой и приставляла вертикально палец к охладелому донышку. И то немедленно резонировало, словно только дождалось одного назлектризованного прикосновения актрисы. А. поспешно отступала от очарованного стола, кутаясь в цветастую шаль. Сторониться подобных знакомств у нее были основания...

Со младенчества видела А. необыкновенные предметы. Бонна, старая дева, набожный сухарь, непрестанно колола ребенка всей своей безупречной, мстительной выправкой: «не вертитесь на стуле! перестаньте кривляться! не горбитесь! ручки под щечку! не смей смотреться в зеркало! вы же дочь русского дворянина, а не французская шляха! хоть отчим у вас и пропал ни за цент из-за шалостей вашей матушки— да упокойтесь в небесном алькове, в объятии целомудренной гурии...»

Перед сном она ставила девочку, в одной рубашке, на холодный пол на колени позади себя и сама, в ночном уборе, в корсете и в белых панталонах с бантами, чтобы не мять платья, подавала пример неподдельного благочестия. Но А. подглядела однажды: пока англичанка истово молилась, у нее на голове, в жалкой пролысине между крашеными волосами, отплясывали трепака два маленьких негодяя, величиною с грецкий орех. Именуемые в просторечии бесами, человечки эти так отчаянно веселились, что девочка поняла: мысли у чопорной бонны витают Бог знает где...

Нет ничего интереснее, чем рассказы о привидениях в какой-нибудь уютной компании. Но нет ничего неприятнее встретиться с этим взаправду, как встретила А., будучи уже взрослой, советской девушкой, среди бела дня, на Арбате, своего обожателя по театру Вахтангова—актера Б. С его кончины протекло более года. И вот, как ни в чем не бывало, сливаясь с пестрой толпой, он шествовал куда-то по направлению к Смоленской. А. его слабо окликнула—скорее по привычке. Б. вздрогнул, огляделся, но, конечно, сделал вид, будто ее не узнает. Однако все до малейшей черточки в нем удерживалось в неизменности. Даже костюм тот же, в горошек. Под мышкой твердый сверток. Присмотревшись, она так и ахнула: то была, судя по форме и прорванной газетной обертке, небольшая чугунная урна, какими украшают иногда, в виде скульптуры, надгробия. Преследовать Б. для выяснения отношений—он это или кто-то еще—ей не захотелось...

Скоро, впрочем, представился другой повод убедиться, что в этой области не все так гладко, как нам кажется,

господа. У подружки А. (назовем ее В.) умер молодой муж. Не прошло и десяти дней, А. видит сон. Является Г., покойник, и жалуется: зачем, говорит, В. похоронила меня в новых ботинках?—Жмут. Так и так, объясняет, по обряду полагаются хоронить в легкой обуви—в тапочках. Чтобы легче было идти на тот свет. Сами же выносите вперед ногами. Мне—в дорогу. А в чем?—спрашивается. В ботинках? Ноги затекают. Завтра же принесите тапочки. Не откладывая...

— Куда же привести?—спрашивает А., замирая от страха. Тот спокойно называет улицу, номер дома, квартиру. Запомни, говорит, и передай вдове... Привет!

Назавтра А. легит к подружке. Но В. и слушать не хочет: поменьше бы ты, фырчит, читала на ночь Блаватскую! А ведь как плакала, убивалась. Не верит! Вот вам современные девушки! Что же делать?—думает А. Ведь тот ждет, надеется. И проверить интересно: для чего я запомнила точный адрес, если это пустой номер?

Одна, под свою ответственность, едет на трамвае в Похоронное бюро—за тапочками. Такую недорогую обувку у нас, на все размеры, специальную, из бумаги, раскрашенной в черный колер, клеят споро и просто—на картонной подметке. А и много ль мертвяку надоть?—Все одно сгнить. Нет, чем-чем, а тапочками на тот случай мы обеспечены. Крестик, например, свечки или там веночек на лоб вы не найдете. Не те условия. Но покойнички тапочки, последнее подаяние, даже Советская власть не решилась отменить. И за это ей Вечная Память...

Итак, покупает тапочки. Не торгуясь, по какому-то наитию, прихватывает на рынке цветы и скачет на извозчике в Трехпрудный переулок, № 10, квартира—7. Тире. И вдруг—действительно—по какому-то чуду Трехпрудный переулок в Москве, о котором она раньше и не слыхала никогда, оказалось, существует. И дом 10 стоит на месте... Уже во дворе ее задело, как много ненужных людей шастает взад-вперед по лестнице в подъезде. Повсюду торчали неприбранные старухи, и дети, с глазами на затылке, притихшие, к чему-то прислушивались...

Двери в квартиру 7—нараспашку. Сняли плинтусы и воздели шпингалеты. Цепочка, с блестящей ягодкой на конце, висела ни к селу, ни к городу. Она—вошла. Скопление женщин, запах свежей краски, духота, невзирая на открытые окна, с привкусом ванили. В гробу, посреди комнаты, на обеденном столе, покоился неизвестный, заваленный цветами, мертвец. Алла сникла и, крадучись, в три погибели, сунула ему в ноги передачу для Геннадия—тапочки. У нее хватило ума прикрыть их для вида тюльпанами. Чтобы

живые не догадались.— От Вали,— шепнула она.— От Вали— Геночке. Чтобы не превратился в Бориса!..

Вы спросите меня, какая вообще может быть матерьяльная связь между тамошним и здешним? Не знаю. Спросите— А. А. все объяснит. Что же до меня— поставлю встречный вопрос. Вы носили когда-нибудь ботинки с мертвой ноги? Я— носил. Они достались мне по наследству, по тогдашней моей студенческой бедности, от второстепенного родственника. Он умер в этих штиблетах. Умер на улице от разрыва сердца. И в день похорон, уже изрядно поношенные, мне их подарили. На, сказали, носи на здоровье. Почти как новенькие. Отказываться было неловко. Все-таки мы с ним находились в добрых отношениях. И хоть была у меня тогда собственная обувь, я влез со сдержанным вздохом в скукоженные башмаки мертвеца. И что же вы думаете? Донашивая чужие ботинки, я испытывал их тяготение к прежнему владельцу, которому они оставались, сколько возможно, верны. О нет, они не жали. Напротив. Они были даже немного мне велики. Но все расположение внутренностей было не таким, по сравнению с моими ногами и поступью. Где плюсна у него, допустим, своеобразно выдавшиеся заполнились лакуны, прогалы, напрасно ждавшие наполнителя. А легкая вогнутость формы слышалась там, где у меня, извините, от всех наслоений торчит мизинец. Словом, штиблеты служили его точным отпечатком и на каждом шагу давали о том знать, через силу соглашаясь сожительствовать со мною за неимением ничего лучшего. Я ходил и пересчитывал ежеминутно по пальцам бедного моего предшественника. Это трудно передать, когда шупаете изнутри надетую на ногу и уже пройденную жизнь, стоптанную не в ту сторону. Он был добрым человеком, и я не претендовал на замену. Я честно делал вид, будто не существую, не чувствую. Как если бы вы сдуру женились на вдове, продолжаящей нежно любить своего первого штиблета. Столь рискованные шаги в жизни лично я еще не пробовал совершать. Но всякое бывает. И вы легко поймете, встав на мое место с этими башмаками. Новоиспеченная вдова, представьте, будучи лояльна и внимательна к вам, поддерживает тем не менее связь с бывшей своей половиной, с незабвенным Беником, как всякий раз, оговариваясь, дружески вас аттестует, выйдя замуж и ласкаясь, который попеременно высовывается. Вы посредник, медиум между нею и Беником. Вы система убегающих в сторону сравнений. И вы не противоречите. Ваша круглая физиономия служит телевизионным экраном, с которого ей кивает и печально

улыбается—Беник. Вы как блюдечко, бегающее безобидно по кругу с нарисованным от руки букварем, которое само по себе ничего не обозначает. О чем, бишь, речь? Почему я говорю, говорю и не могу остановиться? Они сообщаются через меня. Пью ли чай из любимой его кружки, или сам-два с его женой прохаживаемся в саду, верчением ли в постели,— везде они вместе, притерлись и притерпелись. Точно так же вышло с этими сапогами. Они словно сговорились, Борисовичи. И гнут ногу. Но я не о том. Если вещи, прикиньте, живя рядом с нами, иной раз обретают неизгладимый душевный изгиб, то почему бы кому-то оттуда не попытаться оказывать на нас физическое давление? Еще как пытаются!.. И ждут минуты. Ловят на слове. Хватают за руку...

А. Б. В. Г... Крутится и крутится блюдце. А что же дальше? Дальше, по алфавиту,—Д. Хоть лезьте из кожи. Стрелка, словно у компаса, останавливается на Д.—вне сомнений. Переверните картину, и снова острие, как заказанное, вопьется в искомую точку. Никуда не денешься.

— Это вы, Д.?—спрашивает изумленная А.

И тот ей повторяет по буквам:

— Да, это я. Да, А. Это—Д.

И с тем чтобы она поверила, называет, как в детстве, уменьшительными именами. Никто и не знал. Подвох, вмешательство шарлатана—исключаются. «Аленька», «Зайчик»... А ей за шестьдесят. При жизни у Д., она поймала, была такая же интонация. Любил вставлять немецкие изречения и фразу плел в сослагательном ключе. Не «я хочу», а «мне хотелось бы». Интеллигентный человек. По Чехову.

— Ну-с, что вам угодно, Гость?—включился один чурбан, помешанный на спиритической почве.

А тот по старинке, по-свойски выводит:

— Нус это по-немецки орех. Геен зи цум тойфель. Суп стынет. Мне бы А., падчерицу...

Короче, он. Отчим. Близкий придворным кругам до скандала с мамой. Дмитрий Сергеевич, или Дима, как запросто пятилетняя А. куражила светского льва, за матерью, из упрямства,—куда все исчезло?

— Я тут, Дмитрий Сергеевич,—смирятся она и прикладывает руку.—Зачем вы здесь? После стольких лет!..

Выяснилось: ни больше, ни меньше, стремится назад, обратно, к нам за компанию, и уже потихоньку работает в смежной области. Давно искал встречи. Ставит эксперименты на темы телекинеза и уверен, что преуспел. Мало-помалу, дескать, обрастает новым астралом. Еще потренироваться несколько, и, если протянут канат, выберется на свет, войдет в тело.

— Битте. Зеен зи!—говорит.—Оглянитесь. На буфете у вас расположена хрустальная ваза, наполненная яблоками. Не правда ли?

Все смотрят, и в самом деле: и ваза, и яблоки. Стало страшно. Мы сидим, а он видит.

— А теперь, чорт побери, я буду медленно ее перемещать по направлению к подсвечнику. Замерьте параметры. Внимание! Начинаю!..

Мы устались, А. рассказывает, глаз не сводим с прекрасного баккара. Хоть бы хны. Стоит как вкопанная.

— Видите? Видите?!—надрывается Д. за сценой, успевая вращаться по столовому парапету.— Она — едет! Ура! Поехала!..

Никакого впечатления. Всем даже как-то неловко.

— Да возьмите вы глаза в руки, ублюдки!

Ему-то в пылу рисовалось там, будто здесь он что-то сдвинул. Слышно, мнилось, как он пыхтит. Блюдец буквально плавилось у нас под пальцами. Все тяжело дышали. А у него, быть может, в этот напряженный момент буксуют подошвы на лакированной буфетной поверхности и в упершуюся башку входит скользкая мысль, будто на чистой мистике он катит вазу с яблоками.

— Нет,— отвечаю,— Дима, вы ошиблись. Все это вам кажется. На здешнем плане ваши успехи пока что не отразились. Телекинез — не удался...

Ну он и давай ругаться. Где все манеры?

— Врете вы, падлы! Я же вижу, вижу, как она движется! Но-о, стерва! Вперед! Оглохла?

Так ничего за весь вечер и не сумел переместить. Намучились мы с ним. Кто силится поддержать старого греховодника мысленным напутствием, кто — по хатха-йоге, выдыхая прану. Вазочка ни с места, хоть ты тресни, словно заколдованная. А тот уже чуть не в голос:

— Вас,— кричит,— спиритов, в расход пора. Куда милиция смотрит? Вот пойду и донесу, кому следует, на ваше незаконное сборище. Вы тогда у меня по-другому запоете!..

Но всего возмутительнее, что и на том свете, за гробом, Д. остался, как был, непримиримым атеистом.

— Нет,— объявляет,— никакого того света. Никакой бессмертной души. Никаких райских кущей. Все это попы выдумали. Нет бога, кроме Тора, и Питлер ему пророк! Жопа ты и никто больше...

Далее уже совсем нецензурно. Тут она как врещет ему, старая лагерница:

— Иди,— говорит,— откуда пришел, пес кудлатый. Я тебя наизусть знаю. Какой ты отчим? Я Сталина-мертвеца не побожась на Воркуте. А тебя — к ногтю, к ногтю!

И ставит стрелку на крест, предусмотрительно начертанный. Блодечко аж скрипнуло зубами. И вот уже лежит безжизненно, раскинув крылышки. Демон отлетел. Только в отместку за это всю зиму у нее трещала ветхая мебель. И подвешенные на кухне кастрюльки издавали мелодический звон...

Рассказы А. я слушал всегда с жадностью, широко открыв рот. Я рвался к ее сказкам, как к матери бежит мальчишка, удравший из детдома. Без них свет не мил. Хлеб жесток. Земля безвидна и пуста. Они влекли и подбадривали меня удивительной правдивостью. Ведь я не мистик. Все эти мертвецы, черти, привидения сами по себе мне безынтересны. Не было и нет у меня к той материи никакой предрасположенности, никаких специфических запросов или претензий. Просто ее свидетельств мне как-то недоставало, чтобы увериться и утвердиться в действительности.

Сами посудите. Понять окружающее как что-то поистине достойное жизни, великое и осмысленное, нам помогает сказка. Ударяясь будто бы в незапамятные времена, в несбыточные события, она твердит нам о реальном. О том, что уже наступило,— только мы слепы. О том, что еще придет, проявится, когда нас не станет. Не надо думать, что сказка — сзади. Сказка — впереди нас. И молим чуть что, сами не подозревая об этом: — Сказочка, палочка-выручалочка, — выручи меня!..

Сказка всему придает порядок и основательность. Ни в коем разе не мечта. Начинается вроде Володи, с обыкновенного, как это в жизни бывает, как мы с вами живем, хлеб жуем. Жили-были. Старик со старухой. Богатому всегда хорошо. Бедному везде худо. У богатого дворец. У бедного развалюха. У богатого жена в жемчугах. У бедного — лягушка. У богатого ума палата. А бедный — дурак дураком.

— Нет,— говорит сказка,— неправда, неправильно. Все это вам кажется. И я притворялась. Это лишь подготовка, присказка. Мы не дошли и до середины. На самом деле, вы увидите, все будет не так...

— Алла,— прошу я, обнимая мысленно ее колени,— расскажите о Сталине. Как он вам являлся?..

Благую весть о реальности сказка принесла уже на заре человечества, у самых его истоков. Словно она заранее знала и с порога поклялась, что все иначе, нежели это нам поначалу рисовалось. Все значительнее и правдивее. Последние окажутся первыми. Бедный — богатым. Дурак, в действите-

льности, умница и красавец. Золушка выйдет за единственного принца. И людоед не одолеет Мальчика-с-пальчика. Сколькo это ей стоило! Какая была нужна глубина пронцательности! И дело тут не в счастливых концах...

— Ну, пожалуйста, еще раз, Алла, душенька, расскажите, как после смерти — на вторую, что ли, ночь, на третью? — к вам приходил Сталин. Ведь это было на Воркуте? Уже на вольном поселении?..

Да. В изложении Аллы сказка была поставлена на актуальные коньки и выростала из фактов, в точности которых я не сомневаюсь. Может быть, поэтому ее живые истории звучали иногда жутковато, лишённые веселых концовок в отличие от старины. Но мне они доставляли радость узнавания жизни в более полном, широком, чем это нам дается, обзоре и, значит, более внятном, нежели обыденный взгляд. Действительность с участием Аллы становилась как будто разумнее, согласованнее, и явления сверхъестественные проливали дополнительный свет на течение вещей, исполненное напрасных терзаний. Чудесное, случается, вносит объяснение в нашу среду, где все — в собственном смысле — лишено логики, безвыходно, отвратительно и уму непостижимо. И то, что, вчера представлялось, не в праве существовать, получает санкцию сказки...

— Но как вы угадали, что перед вами Сталин? Он что — был похож на себя? На свои фотографии, изваяния? Но ведь Сталин, помнится, ввалился к вам за полночь, в темноте, когда вы уже лежали в кровати?..

Внимая речам Аллы, мне и в самом деле хотелось обвить ее колени руками, словно какую-нибудь Сивиллу, чьи высокие прорицания вы боитесь упустить. В тоне ее, однако, не было ничего напыщенного. Достоверность происшедшего лежала на виду, без каких-либо попыток что-то преувеличить, прикрасить. И это не она лукавила, а я, будто подзабыл событие, с которым она с непринужденностью, к слову пришлось, нас однажды познакомила. Меня томила жажда повторения прозрачного, как ручей, рассказа, сопровождаемого протяжными гласными и расширением чудесных зрачков, как если бы, глядя в лицо мне, она всматривалась в книгу своего изборожденного горьким опытом прошлого и сама невольно диву давалась, что она там читает. Ее способность удивляться собственной одаренности видеть дальше и острее других и свидетельствовала наилучшим образом о чистоте ее намерений передать слово в слово все как было, без утайки. Возможно, и Сталин в ту ночь навещался к ней потому, что у кого же и где еще его возмущенный Дух сумел бы



найти по достоинству чувствительный уловитель, если не здесь, не у этой видавшей виды кудесницы? Впрочем, мы не знаем, кому он еще являлся. Сталин сидел у всех, как молоток, в голове, заодно с серпом. Сама же она рассудила в простоте сердца, что в эту гнилую халупу, на прилагерный громоздкий погост привела его, как по следу, исхоженная ею дорожка, совпавшая с путями стольких осужденных. Иными словами, А.— первая буква в алфавите — служила ему притягательным, чистопробным олицетворением жертвы.

Все эти дни, пока Сталин умирал, в доме и во дворе у нее творилось неладное. Мела пурга. Кадушка с подтухшей капустой, стоявшая в сенях, урчала и квакала. Гремело, гудело и взвизгивало по всем отсекам. И нежное меццо-сопрано выводило в печной трубе — вполне членораздельно, но почему-то заунывно:

Вдоль по улице метелица метет,  
За метелицей мой миленький идет.

На что мужской хор, откуда-то с чердака, отвечал:

Нам нет преград ни в море, ни на суше,  
Нам не страшны ни льды, ни облака...

Было впечатление, что Усатый откинул копыта, хотя власти зачем-то факт смерти скрывают. И оставалось неизвестным, судя по стуку и голосам в хибарке, ликует мелкая челядь по этому случаю или жалуется и плачет. Практически, по-видимому, было и то и другое...

И вдруг все смолкло. Она проснулась от обступившей ее со всех сторон, несбыточной тишины. Даже ходики не работали. Сверчок не верещал. Не скрипнула половица. Ветер — над шиферной крышей — словно улегся. И она поняла по тишине: прилетел соклетный. Догавались окаянные. Стоит, как столб, и молчит у топачана. Он самый. Усатый.

Ни усов у него, однако, ни образа, ни подобия не было. Это было, я бы сказал, окончательное *нет*, произнесенное в утвердительной форме. Во тьме помещения высился он колонной во много пудов, уходя головой в потолок, воздвигнутой не из камня, не из бронзы, не из какого-нибудь другого нормального вещества, но из одного холода, из какого-то, быть может, доведенного до абсолюта метана или азота, который при всем том не перешел в твердость, в лед, а так и сохраняет за собою, застыв, газообразное состояние.

Сквозь Сталина все было видно. Белело окно под снегом. Чернели стены. Скромная лампада в углу перед иконой спокойно излучала свой потаенный свет. Включи она электриче-

ство, и ничто бы не изменилось, как подсказывала интуиция. Пришелец был начисто лишен очертаний... И тем не менее присутствие его довлело невыносимо — в этом заочненевшем в себе, отрезанном от мира столбе. Ни тени от него не падало, не слышалось дуновения, и само похолодание не бежало по комнате, хотя средоточие холода было рукой подать, притронься — и отмерзнет, колоссальным баллоном возвышаясь у постели. Как будто он замкнулся в замороженном своем одиночестве. И видел безусловно, что Алла не спит.

— Что тебе от меня надо? — спросила она в уме, не в силах пошевелить языком, стараясь, однако, подбирать и выговаривать слова, как это бывало на допросах, возможно тверже. — Зачем пришел ко мне на Воркуту? Тебе — мало?! Все, что было у меня в жизни, ты уже отнял.

Тогда, тоже не вслух, не голосом, но по внутреннему — прямому проводу-телефону, он сказал в быстром раздражении:

— Отдай мои долги!

— Какие еще долги?! — вскинулась было она по-бабьи, с ходу не уразумев, куда он клонит. — Я тебе ничего не должна!.. Ты — всем должен!..

И — осеклась. Речь шла о другом... Только Сталин, видать, не был настроен вымалывать прощение и требовал, как всегда, свою львиную долю.

— Послушай, что тебе стоит? — повторил он капризно, как если бы стыдился выказывать минутную слабость. — Тебе говорят русским языком: отдай долги! Понимаешь? — мне. Даю по буквам. — И тут же выбросил шифровкой:

— Микоян. Онегин. Опера — «Евгений Онегин». И... — Ильич.

Гамарник. Радек. Енукидзе. Хрущев. Ибаррури (Долорес Ибаррури).

Понятно? Нет? Повторяю инициалы.

Горький. (Ну был такой писатель — Максим Горький, что — не знаешь?) Рыков. Ежов. Хасан (озеро Хасан). Ильич.

Точка. Сталин.

Она подумала, как, должно быть, ему холодно, нечеловечески холодно в этом искованном из его же духа столбе. Но и другое, как некое эхо, доносилось — азбукой морзе. Усопшего бесило упорство, с каким она притворяется, будто знать не знает, чего от нее хотят. Курва. Киров. А все оттого, Зиновьев, что вовремя не убрал. Не распорядился, Раковский. Упустил рыбку в общих списках. Но кто бы мог предусмотреть — скажи, Бухарин, по-честному, положи руку на сердце, — что он будет когда-нибудь от подобной швали зависеть. И так всегда, со всеми нами. Немой упрек.

Угрызения совести. Не убьешь своевременно, а потом терпи, кусай локти, мучайся всю жизнь, Пятаков.

— Прости! — выдавил он через силу, преодолевая себя и дивясь посмертному своему, небывалому унижению. И вознегодовал, и порадовался в то же мгновение, что успел-таки ей насолить, говоря между нами, девочками, словно предвидел позорную встречу, — перебил родню, закатал на Крайний Север, к чорту на рога, на всю катушку. Будешь помнить, Алла, как тяжело мертвому. Сталин.

Не скрою: мне страшно о нем писать. Едва сяду за бумагу, начинается мелкая мистика. Мандраж, кавардак. Какая-то пчела укусила гнойной иглой. Рука отказывает. Образовалась, говорят, вода в коленке. Бросаю все в корзину. Пульс повысился. Моча воняет ацетоном. Ум перевернут. Ночью вчера, пока писал, закосила кошка в окно, бездомная, я ее знаю, и ходит по спящей Марье, выбирая уголок потеплее. А на дворе-то жара! Лето, между прочим, у нас во Франции. Хорошо, что шуганул. «Брысь!» — и как провалилась. А португалка, раз в год приходящая у нас подметать, взяла и, не спросясь, приладила портретик на стену. Возвращаюсь и — здравствуйте: овал! Так тебе и надо — успел сказать самому себе. Доигрался!.. Не признала в лицо — где ей признать, португалке? — а потому что: усы, ордена, гвардия во всю грудь. Представительный. Уж не родственник ли какой важный? Не будем же мы ссориться с нашей доброй экономкой. Она-то хотела, как красивее. Но, главное, — в тот самый день, когда я только-только осмелился написать о нем первую фразу по своим воспоминаниям. Как она раскопала этот сувенир, в новой версии, под пластик, присланный из Союза милым другом год, почитай, назад, чтобы всем нам было здесь современнее и веселее? Ну посмеялись и забыли. А португалка набрела, вытащила из хлама, из-под старых бумаг, отмыла, — и теперь я не знаю, что из-за этого с нами еще будет завтра. Я пишу, а он грозит в гостиную. Шлет наваждения. Нет, мне его не одолеть. Где дедушка Леший? Где Ленин?..

Полстолетия — больше — только и пилим: «Ленин — Сталин», «Ленин — Сталин». Как заклинились, извините. Говоришь барышне: — Сталин! В ответ обязательно: — Ленин, Ленин! «Шаг вперед, два шага назад». Но Сталин важнее Ленина! Стели, Ульяна! С ней истерика. Лень. Луна. Успокаиваешь: «сталь — шлак», «сталь — шлак», «Ленин — Сталин». Мы чувствуем, что совершаем диверсию. Не хорошо. Но не в силах прекратить. Не сами ведь управляем. Незримые силы гнетут. «Сталин — Ленин», «Ленин — Ста...» Ле?

Ли? Нина. Лети — вставляю. «Ста-а-а», — постанывает. А я осатанел: «Ленин! Ленин!» Та ли. Не то. Нелепо. Лени́на, Стали́на, Маркса́на и Энгельси́на! Всех вас я ставил раком. Не на... Но ты, Стэлла!..

Голос из космоса (Льва Толстого): — Перестаньте безобразить! На вас люди смотрят!..

Но это же, возражаю, — изобразительная фонетика. Пожалуйста. Можно и по-другому. В этих спорах, пересудах жизнь прошла. Как корова языком слизнула.

— Ленин, надо сознаться, тип ученого у кормила. Мудрец-американец...

— А Сталин?

— Ну Сталин, вообще, самый загадочный... Может быть, поэт в душе, режиссер...

— А Ленин?

— Ленин в своем рационализме...

— А Сталин?

— А Сталин?.. Боюсь, сударь, с ним не все так просто...

В облаках, в тучах — Сталин...

— А Ленин?

— Дался вам Ленин. «Ленин! Ленин!» Ну Ленин — марсианин. Смотрели в мавзолее? С меня — хватит!..

— А Сталин?

— Нет, Сталин — за сценой. Волшебник всегда за сценой. Даже собственного сознания...

— А Ленин?

— И перед Лениным вы испытываете некоторый трепет. Возможно, это воплощение, знаете кого? — Сократа. Инкарнация...

— А Сталин?..

Каково же, вообразим, было состояние Аллы! Ежась под двумя одеялами, она почувяла вдруг, что какой-никакой холод от него все же исходит. Очевидно, был он подведен не под естественный конец, а, как думают высокоумные авторы, внимательные ученики Апокалипсиса, под смерть вторую и последнюю, из которой не выкарабкаетесь, сколько ни бейся — не оттает. Душа у таких, считается, на стадии минералов. И просит, как на Страшном Суде, — сними грехи.

— Нет, — проговорила она, с трудом овладевая губами. — Нет тебе моего прощения!

Казалось, он сейчас раздавит своей громадой. Может, и хотел раздавить, наклонился, но удержал себя.

— Не по-нашему у вас получается, товарищ Алла, — в тон его прокрадывалась неожиданная ужимка зависимости. — Не по советски, не по-государственному рассуждаете.

Не по-ленински. Не по-сталински. Ну были, мы понимаем, отдельные перегибы, отклонения на местах. С вами персонально. Не гуманно. Согласен. К вашему супругу тоже, не исключено... Но ведь он живой, кажется? Еще живой, кажется? Еще живой муженек-то?..

А попутно нападал, леденил, вырабатывал какие-то мифические проскты по части своего загробного вызволения. В нем бродили, по-видимому, не переводимые на обычный язык, бессвязные потоки сознания, если, конечно, уместно к мертвому применять подобные аналогии. Или это слышалось в том, что незванный гость не произносил, а внушал невольно одним своим грозным присутствием, заставляя вибрировать ее внутренние струны? Кстати, странно, ничего грузинского в акценте. Лишь знакомые по временам, еще с молодости, идиомы.

— Пусть за всех скажет! Избираем в Совет. Кто против? Полномочным депутатом Всесоюзного съезда народных заключенных...

Зачем он ее оставил в живых? Разлеглась, как барыня. Тепло, небось, и не дует. Нет чтобы с высокой трибуны: «От имени всех, заслуженно замученных вами,— отпускаю!...» Как говорят у нас в народе, кто старое помянет — тому глаз вон. Мясников и тот отступил. А уж на что безжалостный. Хуже Орджоникидзе. Постановили. Вячеслав лично ходил уламывать: «Мясников! ну что тебе стоит? Сам понимаешь. Уступи Хозяину. Будь человеком. Все равно крышка. Хозяин велел передать. Уважь. Признайся в шпионаже». И, вы представьте, Алла, уважил. Дали высшую меру, и вся страна свободно вздохнула, как один человек... Уважь...

— Попался?! — вскричала она и села на кровати, как ведьма, потерявшая страх. — Не пушу!.. Не отдам!..

И снова села на кровати. Ей вспомнилось, как попал опер в бур. Еще на Игарке. Нет, в Тайшете. Зашел постращать и — в капкане. Как приставили к ребрам самодельные ножи, обмочился, умоляет, пукая с перепуга, да я и пальцем впредь, у меня дети малолетние, детей пожалейте. И выйдя под честное слово коммуниста и офицера, заливал бур из брандспойта: я из вас, педерастов, живой каток устрою!..

— Но ты же как будто христианка? — Мнилось, Гуталинщик снисходительно усмехнулся. — Куда ни крути, тебе по закону положено...

Есть такой хороший способ убивать: по Евангелию. Лично я узнал его сравнительно недавно. Бей и приговаривай: «А ты должен прощать». И пощечину ему! пощечину! Но не забыть приперчивать: «подставь левую, а теперь правую...» И бей его спокойно, сколько душа просит. А начнет

возражать, огрызаться — напомни заповедь. Не по-христиански вы себя ведете. Безнравственно. А еще писатель. Смотрите-ка — он не доволен? Выродок! Бей его, нигилиста! Сапогами. Мы тебя научим, как свободу любить. Любить надо врагов. Читал?.. А когда унесут, разведите руками. Вот, мол, чего добивался, то и получил по заслугам — неуч, невежа, человеконенавистник! Учитесь прощать.

Алла колебалась.

— Но ведь ты же православная? — продолжал вкрадчиво Сталин. — Давай рассуждать здраво, по-марксистски. Где у тебя логика? И церковью предписано... Кто не грешен?

Знать, обучался в той самой Семинарии и теперь, по азам, припирал, окаянный. Подожди еще, и он бы заголосил диким Архимандритом: «Повинуйся, грешница, распростертая во прахе! Отпусти долги Сталину и присным его!...»

Она обвела глазами как будто нежилую и бесполезную уже избу. Светать и не думало. Север. Но огонек в углу и слюдяной снег за окном слабенько поблескивали. Где-то пальнули, должно быть, из ракетницы. Метнулись тени, снег зазеленел. И погасло. И не ему, Душегубу, а самой себе Алла объявила судьбу:

— Прощать за других, за всех зеков? — такого права мне Господь не давал. Да и люди не простили бы. Ну а что мне причитается с тебя, все, что мне принес, одной мне, — бери. Отпускаю...

На нее, что называется, нашел стих. И, сидя на топчане, она прорекла, оставив мраморный палец в ту еще лесотундру:

— А теперь — обойди всех! По одному, по очереди — кому ты должен. Живых и мертвых. И пусть тебя каждый, отдельно, простит. Вымалывай именем Господа нашего...

И его разом не стало. Она не успела даже Имени произнести. Над крышей что-то ухнуло и забурило. Как если бы пронесся, удаляясь, какой-то разгневанный смерч. Да через секунду, внезапно, заскребся сверчок под печок и затикали по-мирному в доме, сами собою, ходики.

Что произошло? Содрогнулся ли скованный Дух во глубине своей мерзлоты перед тяжестью задачи, возлагаемой Перстом! Обойти всех по отдельности — обездоленных и загубленных Сталиным — это, знаете ли, работа. Вечности не хватит. А может, и милая щепочка, подаренная ему, в отпущение, была в успех и на пользу? Куда, в какие дебри, ушел он, выходец тьмы, добиваться реабилитации?..

Одно известно. Изба мгновенно опустела. И всю останую ночь на то памятное 5-ое марта Алла не сомкнула глаз. Не могла.

Она лежала и думала, закинув руки на зытлок. О чем? Уверяю вас, у нее и не мелькнуло, что она выдержала экзамен на праведницу. Она сомневалась. И в том, что выпустила волка из зубов. Нет чтобы впитаться в мертвую глотку и сгореть в этом столбе. И в собственных помыслах. В том, что покривила душой, сказав, будто в этой жизни ей нечего уже терять. Неправда! неправда! Все мы за что-нибудь держимся. И у нее, грешной, оставался в заложниках муж, за которого она втайне дрожала. Последнее достояние. Они познакомились в лагере, обвенчались в ссылке и вместе укрывались теперь от нового ареста на Воркутинском подворье. Инженер, он работал тогда диспетчером в ночную смену, а придет ли утром домой—кто может поручиться? И если уж по совести—не из-за того ли она отпустила грехи главному своему Должнику? Нет, не из святых предписаний—из боязни за мужа, который еще не вернулся с дежурства? У всякого человека можно еще что-то отнять...

В этом смутном размышлении и застал ее Иосиф Аронович.

— Ты что—все еще лежишь?—удивился он, растирая узловатые пальцы.—Ну и погодка! А пока ты спала, Аленка,—только что объявили—наш Усатый откинул-таки хвост! Как это тебе нравится?..

Поднялась, в длинной ночной рубашке. Зевнула.—Да-а. Я знаю. Только, Иосиф, это не сегодня ночью. Может, вчера. Или третьего дня.

И, ничего не объясняя, показала круг на полу, возле топчана, метр, наверное, в диаметре, словно высеченный какой-то зажигательной иглой. Что-то вроде—как рисуют птицы. Или муравьи. Точечками. Ровно очерченная, выгравированная по некрашеному полу—колонна, полоска. Подножие. Цоколь. Там—где стоял.

Причесалась. Затопила печь. Не спеша, кряхтя, вздула самовар. И вдруг, как бывает у женщин:

— Слетай, милый, за бутылкой. Магазин-то открыт? Все же этакий день требуется отметить!..

«...И я там был, мед-пиво пил, по бороде текло, а в рот—не попало».

Маловеры полагают, будто смешной концовкой сказка расписывается в собственной беспомощности. В обмане и красноречии. Мол, все это вранье. Текло-текло и в рот ни капли. Нет, я думаю, причина иная. Сказочные заставки гласят: вход закрыт непосвященным. Кто посмеет возвестить, что пировал с богами? Замок на уста. И вместе уверение: по бороде-то текло, а? А что в рот не попало, мил-

человек,— уймись. Вход закрыт непосвященным. И не старайся — не пролезешь.

Сказка только касается, мажет по губам — реальностью. И переходит — продолжение следует — к другой, столь же обнадеживающей и ускользающей от нас. И в этом обтекаении — по усам и бороде — и прелесть ее, и хитрость. Заманивает. Увливает. Лисичка-сестричка. Кому она сестричка? Медведю? Волку? Да нет — сказке.

Не побоюсь сказать: сказка любит Бога и потому великодушна. И потому она так реальна, что и не нужно ей ничего другого, как быть собою. Никуда не ведет, ничего не добивается. Она кругла и совершенна, насколько это, конечно, возможно, — по образу и подобию...

Урвать крохи, сметенные историей со стола сказки, — забота и отрада писателя. В противном случае — о чем писать? И зачем?..

\* \* \*

В то утро, 5 марта, я проснулся от плача матери. — Что еще случилось? — вскочил. — Говори, говори скорее! — Напяливаю носки, брюки.

— Сталин умер. Передавали по радио.

Я так и сел. Наконец-то!.. Едва не брякнул: «Да радоваться надо, а не плакать, мама!..» И прикусил язык. Нельзя обижать. Где-то сама она, я подозреваю, догадывалась, что не такая уж это для всех нас потеря. Трагедия. Отец — на поселении. Еле держимся. Но скупно роняла слезы. Сталин — все-таки...

Во всем теле — в ногах, в локтях — болеро. Путаюсь в брюках, а они говорят, выплясывая: «Сталин-то — а?..» Застегиваюсь на все пуговицы. Затягиваю ремень до отказа: «Сталин умер!» Не помогает. В носках я вообще застрял. «Не теряйся, — подсказывают, — не торопись, старик. Веди себя скромнее. Сталин — тю-тю... Не волнуйся». Особенные затруднения возникли у меня с башмаками. С ними вообще, пока шнуровал, вышла неувязка. «Ну куда ты не туда тыкаешь?! — сипят. — Да не дрожи так противно! Шнурок, шнурок забыл, разиня! Вечно тебе напоминать?!» «Ура-а! — провозглашает рубашка. — Сталин умер! Ты что — оглох?..» Наконец оделся.

Между тем нельзя сказать, чтобы я ненавидел Сталина. Давно был равнодушен. Опытен уже. Осторожен. Стена.



А как еще к нему относиться? Старый волк? Оборотень? Дракон? Интерес возбуждал не Сталин, собственно, а его последствия. В какой еще новый кошмар ввернется страна? От него можно ждать одного — смерти. Своей. Всеобщей. Тюрьмы. Чумы. Войны. И вот — отложено...

Звонок. Три звонка — к нам. За дверью друг сердца. Ни слова не говоря, с глаз соседей, ключ в кармане, веду в подвал. Там не подсмострят. Запираюсь на два оборота. Стоим, сияя очами. Молча обнялись. Улыбаемся. Ну просто, не поверите, Герцен с Огаревым на Воробьевых горах. Втихаря. Тоже мне заговорщики. Перекинуться счастливой улыбкой, когда все плачут. Праздник? Маскарад? Почеломкались, и он ушел поскорее, так же молча. До вечера!

Куда теперь? Разумеется, в Ленинку. Там у меня, на абонементе, Сказания иностранцев о Смутном времени, в пяти томах. Издание чудное, редкое, начала прошлого века, Карамзин бы позавидовал. И все эти тревожные дни, пока Сталин умирал, начиная с торжественного правительственного сообщения о серьезной его болезни, под обтекаемый бюллетень и лирическую, грустную музыку, которую играли по радио, я с утра пораньше убегал в библиотеку. Нет, признаться, не из усердия к работе, которую по долгу службы вменялось мне мусолить, но ради созерцания чистых исторических далей, ничего не имеющих общего ни с поприветствием моим, ни с современным положением.

У каждого из нас появляется иногда эта потребность в шалаше, в убежище, подальше от проезжего тракта. Теперь на время мне раскинула гостеприимно шатры эпоха Федодора, Годунова и загадочного царя-самозванца. Какие вышивки! Какая игра ума, вплетенная в развитие жизни, позволяющая строить догадки, что история, быть может, художественное полотно, расшитое драгоценным узором!.. Кто ткал его? Кто рассадил цветы?..

...Боярину Бельскому подозрительный Борис повелел выщипать бороду по одному волоску, избрав для сей операции искусного хирурга Габриэля из Шотландии... Толико поляков перебили по Москве, что из трупов на улицах, под покровом ночи, аптекари вырезали жир для своих снадобий... Царица Марина избежала смерти, спрятавшись у своей Гофмейстерины под юбкой... Человеческое мясо запекали в пироги, ели траву, кору. По прибытии же в июне императорского посла из Праги, Годунов приказал на глазах изумленного гостя ссыпать в пограничную реку зерно возами... Станислав Мнишек, снаряжаясь на свадьбу, нанял 20 музыкантов и взял с собою в Московию итальянского шу-

та... Кровь убийц Димитрия лизали псы... Труп царя волокли по земле, привязав за срамные уды... Детские дни Марины Мнишек протекали среди самборских лесов и бернардинских монахов...

Я отдыхаю на этих фактах. Они уводят от злобы дня. Отвлекают от дурных мыслей: умрет — не умрет? Об этом не нужно думать. Вечен он, что ли, в самом деле? Если не смертельный исход, зачем нагнетать заранее клонящийся не к добру бюллетень? К чему исполняют по радио, без конца, классические мелодии, минорные, напирая на Шопена, Рахманинова, вместо пропаганды? Или — подготавливают? Приучают к сознанию? Делят власть? Ужель оклемаются после траурных маршей? А что вы хотите, придет Мао Цзе-дун самолетом волшебный корень жизни — жень-шень, и начинай сначала! Куклу могут подставить! Двойника! Не все ли равно — кто Сталин!

Ну их к ляду — отгоняю. Будь что будет. Меня в читальном зале ждут не дождутся Сказания иностранцев. Милый, милый, неуклюжий 17-й век. Вы куда тут живите, а я пойду почитаю. Это вам не чета... Хорошая книга, уверен, дает возможность заместить нам бессмысленность жизни. Книга существует где-то параллельно тебе, и чуть вспомнишь о ней — отлегло от сердца. Появился запасной выход. Уймись, демоны! Что мне Сталин? У меня свидание в Ленинке. Там, в сухой высокой траве, стрекочет древнерусский кузнечик...

А ведь так всегда и у каждого бывает. Кручу ли у станка ручку по 8 часов на заводе, валандаюсь ли с бабами, обедаю ли в общей столовой, — меня сопровождает ее образ под подушкой. Она поет в голове, перебирая разговоры станков: «Возвращаясь скорее, залётный! Мы с тобою почитаем!» Она ревнива, Сирена. Полна нетерпения. И правильно. Пока я тут балагурю, жую что-нибудь съедобное, ишачу, как сволочь, там, на заветной странице, одинокий детектив из пулемета-лилипут отбивается от здоровых жлобов и вот-вот накроется. Что же ты не приходишь на помощь — не читаешь дальше? — жалобно упрекает она. — Друга в беде забыть? — Ого! Пошли врукопашную. Схватились за ножи. И слышу, на другом конце города, — тоненькая пулеметная очередь под подушкой: «ти-ти-ти-ти-ти...» — Держись, Фредди! — кричу. — Идет подмога с Урала! Сию минуту! Бегу!..

Но больше всего я люблю многотомные старинные книги по истории и географии. Там есть, что почитать. С ними переживаешь длинную жизнь, забыв о своей краткости. Васко де Гама огибает Зеленый Мыс. Магеллан. О как долго это

тянется! Успокаиваешься, читая. Располагаешься жить бесконечно. И успокаиваясь, я засыпаю: огибает, Магеллан!..

Это книги, единственно, о длительности пути. В длительности — и смысл, и стиль. В кругосветных путешествиях — огибая Африку, за Новой Гвинеей — приобщались к властительной протяженности бытия и продлевали дни мореплаватели. За этим и ездили...

Сходное видим в хрониках прошлого. Медленное переживание времени. Из одного проистекает другое, из другого третье. Все взаимодейственно. Не то, что у нас. Пусть разнятся версии в летописи. Пускай одному иноземцу Самозванец открылся истинным Ахиллом. Другому — наоборот. Это можно связать, представить. Тут есть логика и слышен Промысел Божий. Это вам — История, а не засзжий двор. История (как ей подобает), облеченная в Вечность, Вечность — в баснословные образы. История, которой сегодня нам так недостает...

«...По губам Димитрия ползали навозные мухи. Торопливые, с металлическим, сине-золотым отливом, они норовили перебраться за подбородок, на берег, — протведать вишневою, как варенье, царевичеву сладкую кровь. Царица-мать дула ему в личико, но мух спугнуть не могла. Руки — отсутствовали. Во глубине, у подушек, под изогнутым тельцем, все еще обреталось тепло. Спинка, мнилось, еще теплится. Не отлетела бы, прости Господи, вместе с мухами — душа. Она боялась ворохнутья.

Позади, как звон в ушах, стоял вечный кузнечик. Да нянька Василиса полусшепотом ворожила:

— На кого ж ты нас оставил, свет очей, Митрий Иваныч?..

Вить в голос, наклика я расправу, дура-нянька стереглась. У нее, у паскуды, рыло в перьях, сын-красавчик, смерть девкам, Оська Волохов, в сговоре с Битяговскими. История, мы знаем, без Оськи — не обошлась. А мы зна-а-ем! знаем! Поди намылся!.. Так о чем толковать? Уже Федька Огурец, полупьяный пономарь, спотыкаясь, на четвереньках, полз на колокольню. Уже Михайло Нагой, царственный дядя и брат, без шапки, босиком, прыгал по крыльцу и, в чем был, репетировал бурю:

— Я говорил, говорил! Извели! Зарезали!..

И народ, собираясь в кучки, серчал...

Между тем у Димитрия под спинкой повеяло неземною прохладой. Последнее тепло исходило от материнских ладоней и в холоде сына сырело без ответа, терялось и усколь-

зало в ненадобности. Она согревала себя, изомлев, вне тела. Но все противилась, безрассудная, и твердила, себе на уме, что быть того не может, не попустит Господь, не выдаст червям на съедение отпрыска непорочного, Царя Всея Руси, грядущего во славе под тамбурины и валторны.

— Иисусе Христе! Пресвятая Богородица! Иван Креститель! Николай Чудотворец! — молила она всех поочередно, глаз не спуская с голубого студеного личика, опрокинутого под небом, ровно эмалированный тазик. По лицу сновали вездесущие мухи, и Царица не узнавала царевича. Нет! Окстись! Какой наследник? Пригрезилось... Оттого ль, что все умершие — даже дети — больше похожи на умерших, нежели на самих себя? Или сказывалось уже чье-то благое вмешательство? Спорая помощь Божья?.. Чужой, надменный отрок, с неестественно разомкнутым ртом и пронзительными ресницами, раскинулся на ковровой дорожке. Не тот! Слава Тебе, — подставной, подложный!..

Мать поднялась. Смахнула, освободив руки, мух платком. Смутно слышала голос Ангела, сказавший: не подавай знака. Пусть думают — умер. Пока думают, не убьют. Смерть охраннее матери. Надежнее стрельцов. Могила укроет царевича до времени. Правдиво. Потерпи...

В скорби (лицо ладонями) сквозь слезы и пальцы, внимательно, обозрела двор по сторонам орлица. У ворот, в разодранной до пупа рубахе, словно бесноватый, метался неугомонный Михайло.

— Вот, люди добрые! — потрясал он кулаками. — Это борискина свора... Годуновские злыдни... младорастущее древо... аки агнца...

Он кричал по-скоморошьи. Дергался. Махал бородой. Знать, ведал подмену. Укрыли? Убрали?

— Убили! убили! — заголосила царица брату в подержание. Заприметила у завалинки березовое полено. Схитрила. Нянька с нескромной рожей все еще корчила дурочку: «На кого ты нас оста...» Ударила, ослепнув от ненависти, березой в лоб, промежду блудящих глаз, и взвыла от боли. Померещилось: и вправду зарезан!.. В ответ грянул набат с той самой колокольни. Это Федька Огурец долез-таки до неба...

Борисовых слуг ловили в огородах, за Волгой. Тех, что в околище, Господь уже настиг: кого топором, кого палкой, кого голыми руками — на мелкие пташки. Тряпки так и летали по городу. Афонька Меченый с братаном заперся в банке и оттудова грозился пищалью. Их долго и хитроумно выкуривали: до черных косточек, до поганых головешек...

Разгоряченные жители Углича забежали на Государев двор заручиться увиденным, перекреститься, испить водицы и мчаться дальше. Там, у крыльца, безумная мать билась о крепкую землю. Звала Христа в судьи. Святых во свидетели. Рядом, на бархатных коврах, возлежал отошедший, не похожий ни на кого, питомец Божий. На шее, как жаберная щель, зияла узкая рана. И хотя царевич был давно уже мертв, она кровоточила...»

Я вышел покурить. По пути щербатые стеллажи, как обычно. Словари. Портреты Ломоносова, Молотова. Подсбка. Каталоги. Большая энциклопедия, малая энциклопедия. Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин. Гранат... Истинные книги располагались не здесь, на поверхности, но в недрах, в отсеках, давая знать о себе подспудно, непреднамеренно, подозрением, что только в библиотеке мы и ходим по земле.

Говорят, перегной. Не уверен. Хорошо бы, конечно. Для следующих. Но история не почва. Каменистее. Опасна для жизни. Основательна, однако. Серьезна. Скопление томов подобно тяжелым, глубоким геологическим отложениям. Мезозой. Здесь всё найдете. Ракушки. Улитки. Столпотворения народов. Чертов палец. Отпечаток дивной птицы — археоптерикс. Сказания иностранцев. Земля.

В курилке ни души. Как вымерла Ленинка. Если умер, так и сматываться сразу? Я останусь до конца. Последним. Раскупорил пачку «Беломора». Какое мне дело? Не затем я сюда пришел. Меня занимает Димитрий. Исключительно. Молчи, сатана! Сталактит. Станина. Стапель. Иностранные авторы, как троцкисты, сомневались: подлинный он или мнимый? Поразительно! Инокья Марфа, бывшая Мария, в девичестве Нагая, несколько раз, если изучать, меняла показания. То жив, то мертв. Куда годится? Когда жена Годунова, тоже Мария, дочь Малюты между прочим, ринулась на нее со свечой: «выжгу очи! признавайся, живой он или мертвый?», — то Борис остановил: «подожди». А Марфа пожалала плечами. «— Не ведаю, — наслаждалась монахиня. — Откуда мне, бедной, знать? Не совру — коли живой...»

То ли Рузвельт, не помню, то ли Иден, то ли еще какой замерский гость, говорят, не удержался.

— Многие вам лета, — воскликнул, — господин Генералиссимус! Но все мы ходим под солнцем и вынуждены, увы, мыслить политически. Кто, скажите, займет ваше законное место, когда вы уйдете в лучший мир, если это не секрет?..

Политбюро дрогнуло. Провокационный вопрос. И лыбится, блядь худая, как это умеют иностранцы. Так что же

наш?.. Ничего страшного. Ответно засиял в дружеской кавказской улыбке и обвел Политбюро, по кругу, острым, с ленинской лучистой насечкой, глазком. Не глаз, а маслина. «—Эты что лы?—вдохнул в усы, выколотил не спеша трубку.—Ынтэрсно—кто наслэднык?..—И еще раз маслянистым взглядом пересчитал когорту. Те трепещут, дышать перестали—судьба решается. Мягко воздел палец:—Нызвэсный маладой чэлавэж!»

Все так и попадали. Смеху полные штаны. Ну и выдал, отец! Обдурил иноземца. И никому не обидно. Все в говне. Субординация в сохранности. Забыли о главном, о юморе в законах истории, а он помнил. Он все помнил. Сам начинал, не так давно, неизвестным молодым человеком и знал что почем. Только разве найдешь такого? Неизвестные молодые люди что-то перевелись на Руси. Где взяться Самозванцу?..

В Тайнинках подтвердила царица: «—Мой! Он самый! Воистину Димитрий!» Хоть и был тот рыж, хоть и был тот некрасив, и бородавка не там, где надо. Политбюро аплодировало... Над телом, когда волокли, однако затуманилась Марфа. Едва взглянув, отвернулась. Правда, на сей раз был он изуродован, разоблачен и непристоен. «—Твой это сын или нет?»—наседала толпа. Покачала головой. «—Нет,—ответила.—Какой теперь это Царевич? Не известный мне человек...»

Что значило это «теперь»? Что раньше был настоящий? Пока живы, так все настоящие. А мертвые уже и не в счет? Ничейные? Не те? Сколько можно изменять одному и тому же сокровищу? Вот посмотришь: возьмет и объявится—всем назло. Долго ли? Немного поддримироваться. Созвать войска. Меморандум. Иди потом доказывай, что это Геловани..

В заброшенном сегодня, пустынном книгохранилище было тихо, как в храме. Но история комплектовалась и назревала невидимо здесь. Здесь, в библиотеке, берет она истоки, черпает резервы. Все под рукой—и сын-отщепенец, и прадед-консерватор выстраиваются по индексам в ряд. Прочсть немислимо—не хватит человеческих жизней, достаточно взором окинуть ровный прибор корешков, убегающий под землю мертвым до времени фондом, где всем нам стоять картотекой, кому по именному, кому по предметному перечню. Где всякая альфа и бета чреваты потрясениями. Где Ленин? Где Сталин? Где Гитлер? Где лучшие умы человечества? Как банки под этикетками—здесь. Не кладбище. Арсенал. Громадные ангары. Запасы. Взбунтуются, вырвутся духи—наверху переворот, и быстро назад, на полку, до

нового призыва. Правильно забеспокоился Фамусов: «Собрать все книги, да и сжечь!..» Да запятая в том, что и сам он уже запечатан в коллекторе. Отыщете без труда по любому указателю. На букву «Г» (Грибоедов). На букву «Ф» (Фамусов). На букву «К» (Книги)..

«...Палача загоняли до упаду. Прodelав с толком все, что по работе потребно, в антрактах он ускользал за ситцевую кулису и в прохладе, в полумгле чуток передыхал. Хлебал воду из рукомойника, ополаскивал глаза, разъеденные потом и копотью, и, стараясь не греметь сапогами, пристраивался калачиком, в ожидании часа, на казенном рундуке. Вторые сутки шел сыск — пытали о смерти царевича.

«Волею Божьей и Божьим судом, страдая падучим недугом, наткнулся на острый ножик и душу испустил. А Мишка Нагой да Гришка Нагой учинили шум и потерю, и злокозненно, незаконно... И сына Данилу, и Никиту Качалова, и Волохова Осипа в одночасье... И женочку оную, расстреляв, в воду посадили...»

От крика, от дыма, от бессонной пальбы раскальвалась башка. Саднили стертые в кровь мозоли. Легко сказать! Сорок четыре свидетеля прошло уже через эти руки. Каждого свяжи, успокой. А сколько кнутом, а сколько пупырью — и не считано!.. Хоть бы сукна пожаловали за порченную рубаху. Новая. Грехом Арсюшки. Засмотрелся Арсюшка на бабий срам и поднес горячие клещи к отцову боку. Ладно до мяса не прожог. Дома выпорю.

— Дома выпорю, — пригрозил он вяло, для остратки, и сомкнул в изнеможении вежды. Но краем уха прислушивался — и к топоту ног в приемной, и к свисту перьев, и к хриплому, с одышкой, понуканию Клешнина.

— Сам! Своею рукою!.. Как учало его трясти, как учало бить, корчить, туды-сюды, он возьми и пропорись...

Слава Создателю. Кубыть пронесло. Забрехала минута вздремнуть.

— Своей рукою, — выводил певучий, старческий альт за ситцевой занавеской. — Своей рукою, милостивцы...

В ногах закопошился Арсюшка: — Тятка, а тятка! Кто ж его порешил? Царевича-то?..

Отец только шикнул на него: — Цыц, змесныш! — и легонько придавил сапогом.

Не возьмет он больше Арсюшку на важное государево дело. Пушай с матерью по монастырям промышляет да щевок посадских за бока щиплет, покуда не созрел. Своей

рукою. А надо бы с молодых ногтей, горбом, приучать к ремеслу. Это тебе не свиной пасти, не хлеб сеять. Тут нужен талант.

Бывало, говаривал царь Иван Васильевич: «— Золотые руки у тебя, Никифор! Тебе бы часы починять. Примуса...» Добрый был государь. Как топнет ножкой! Царевич в батюшку. Покуда не созрел. Зрел зря. Резал. Лился, лился свет. Из рта — из окна. Посветлело у розовых десен, и вырос — ясно — язык.

Без подсосываний, без распорок. И нос защемлять не надо бельевой прищепкой, чтобы рот открыл. И зубы не надо выламывать. Сам протянул себя. Осталось полоснуть красноватый — сверху белесый — отросток, подобный бесстыжему собачьему уду. Ухваченный щипцами за хвост, дернулся, было, ан опоздал.

— Арсений, смотри! Запоминай!

Рраз!

Брось на пол: кошка съест. — Облизывается.

На месте же оскопленного рта нетронутая бородастая харя исторгла перед взором секатора свою пугливую внутренность. Должно, другой лжесвидетель был приготован по списку — на усекновение мерзопакостных уст.

— Учись, мой сын! — Рраз! — Брось кошке: съест. Облизывается.

Да их тут с полсотни! Не успеешь с одним разделаться... Поворачивайся, кат! Не то вылетит петушиное слово и, считай, пропало царство, рассыпана казна и пойдет куражом по свету затейное воровство. Тогда несдобровать: вставай с сундука, береди мозоли!.. Но его не беспокоили. Измая протянутые за подаaniem языки, он слышал, как чья-то баба заливается в соплях:

— Сам заразися. Небрежением тутошним. И допрежь. Найдет на него хвороба, метнет оземь, — он и память потеряет. Ровно психованный. Мамки дя няньки чичас унимать: не убился бы затылком. Так он, сердешный, все руки им обгрызет, пуговицы пообкусывает. Откроет роток — ды кэ-эк тяпнет зубами. За что ухватил, то и отъест, болезный...

Облизывается. А щипцы и клещи, как нарочно, куда-то затахторил Арсений.

Пустыми руками язык уцепить? — это, знаете, гидравлика! Скользит. Ему посчастливилось, наконец, ногтем ухватить-таки слонявую мякоть. Пасть разинулась до затылка и — цап! — акула, за палец. Ну сатана! И тотчас все прочие, не упраздненные заблаговременно рты, залопотали непотребные речи. Никифору и не двинуться. Рванул



руку и пробудился от боли, от горькой жалости к себе. Неутомимый Арсюшка был уже на ногах: — Тятка, вставай! Пора! Нас кличут!..»

...Внезапно библиотека начала сворачиваться. Библиотечные девы так и налетают по залам — на считанных — вихрем: — Сдавайте книги! Срочно сдавайте книги! Закрыта!..

Что за чепуха? На часах нет и половины пятого. До 11-ти же обычно? Сами в панике. Сворачивайся! Закрываем!..

Выбежал. Смотрю со ступенек Ленинки, сверху, — бегут. Мать честная! Не два, не три, не пять. Вся улица, как один, — бежит. Никаких автомашин. Во всю ширину усыпанная людьми, бегущая Воздвиженка. Восстание?.. Событие?..

Пристраиваюсь к бегущим, приноживаюсь. Ничего, однако, на лицах не написано. Ни пафоса, ни ярости. Трусят себе преспокойно рысцой, засматривая с интересом вперед, за спины. Я к одному, было, в вопросом — что происходит, милейший? — А х.. их знает! — отвечает. — Как ошалели все. — Ко второму: — Там скажут, парень! — и машет рукой к Арбату, старикашка. Третья, женщина, вообще не ответила. Вижу, еле тащится теща. Выдохлась уже, а туда же, трясет окороками, старается. У того, что посерьезнее, пальто с ворсом, в очках, вроде чиновник, — куда мы бежим, — спрашиваю, — товарищ? Куда все бегут?

— К Сталину пускают! В Колонный зал! Доступ к телу объявлен...

Ага! Понятно! Сворачиваем на Мало-Никитский (понынешнему, с недавней поры, Суворовский) бульвар. Окружной, видать, петлей. Другие пути перекрыты. Тимирязев. По дороге, на Тверском, ручьями, сливаясь, с улиц, из подворотен, к нам в протоку подваливают новые толпы. Никогда не думал, что в Москве столько народу. Река несет, но бежать уже нельзя. Все медленнее и теснее перебираем ногами. Прямо ноябрьская демонстрация. Только без песен, без веселья, как, впрочем, и скорби я особой не заметил. Любопытствующие, допущенные к вождю люди...

У Пушкинской — запруда; почти не двигаемся; Горького — перегорожена; маршрут — до Трубной, объясняют всезнайки; оттуда, с Трубы, повернем и — напрямик; галдят — через полчаса дойдем, еще нажать, прорваться, ребята, и мы первыми вкатимся к Сталину в Колонный зал.

Удержал меня портфель в руке. Тяжеленный такой, с книгами. Куда с грузом сунешься? Рукой не повернуть. А впереди еще теснее. Там какая-то карусель. Воронка, что ли? Интересно посмотреть. Но — портфель!.. Да могут и не пу-

стить с портфелем. Подумают — бомба. С детства помню: к Ленину в Мавзолей ни с сумками, ни с портфелями никого не допускали. Гроб, небось, в охране войск, в кольце милиции, эмгембистов... И я начал выдираться. С трудом, правда. Напирала река, затягивала воронка. Так у самой у Пушкинской и повернул назад, к дому, не войдя в траурный зал, в свидетели великих событий. Обидно. Если б не книги, не портфель, я был бы уже на Трубной, у трупа...

Не буду рассказывать, что случилось с теми, кто оказался тогда расторопнее меня, преданнее или смелее. Это уже история. Через какой-нибудь час, к вечеру, она разлетелась по Москве свежей газетой, еще пуще раздражив праздное мое и нечистое любопытство... Мертвец, обнаружилось, продолжает кусаться. Ведь это же надо так умудриться умереть, чтобы забрать, себе в жертву, жирный кусок паствы, организовать заклятие во славу горестного своего ухода от нас, в достойное увенчание царствования! Как тело святого обставлено чудесами, так Сталин свое гробовое ложе окружил смертоубийством. Я не мог не восхищаться. История обретала законченность.

Ровно в полночь, вдвоем с утренним другом, мы отправились подивиться на тризну и часов до пяти кружили по возбужденному городу. Москва дымилась. Воскурения, казалось, исходят от черно-алых флагов в огне фонарей и дыхания спрессованных масс, прущих круглосуточно на прощание с вождем. Издалека по временам долетал слабый вопль удавляемых. Толпу зажимало барьером военных студебеккеров. Маленькие пробки, давки и ходынки продолжали вспыхивать, слышалось, тут и там, наподобие водоворотов, сопровождающих ровный в общем-то и безвредный по виду поток. Кое-где, к моему удивлению, раздавались приглушенные возгласы «ура». Это зеленая молодежь, должно быть из чувства спорта, кидалась на бордаж очередного заграждения. Самые отчаянные, сокращая дистанцию, пускались *вплыв* — по крышам. Звали и нас прогуляться, обещая чердаками, карнизами, пожарными лестницами вывести к Столешникову. Но мы не альпинисты. Сытые увиденным, мы с приятелем не вступали уже ни в черную очередь, ни в художественные маневры добраться до Колонного зала каким-нибудь окольным путем. Лицезреть Кесаря не входило в планы...

Потом, сто лет спустя, расскажут, как повезло одному еврею, снимавшему тогда, по стечению обстоятельств, комнату у Неглинной, возле самой Усыпальни. Родителей у него уже успели расстрелять, сам, по анкетным данным, два перебивался, и вдруг — удача! Выигрыш, если хотите.

Законно, в домоуправлении, на эти тугие дни выправили ему пропуск в зону проживания, так что мог он, хитрый еврей, по своей вшивой прописке, в любой час дня и ночи, беспрепятственно посещать нашего вождя, в порядке живой очереди. Три раза, говорит, прописью три, ходил убедиться. Приду и глазам не верю: лежит, как мертвый, под ружьем. И гроб, как следует быть, и венки. А я смотрю и не верю. Не может быть! Лежит?..

Не знаю. Не могу разделить. Лично меня к телу не тянуло. Чего там ходить смотреть? Я как-то противился мысленно небывалому по силе магниту с его эпицентром смерти на весь город. Дай ему волю, он всех бы с собою унес. Его присутствие в эту ночь здесь, на улицах, было очевиднее, нежели там, в венках, под почетным караулом. Мертвый шествовал по Москве, собирая спелую жатву, оставляя большие следы своими железными сапогами. И всюду, где он проходил, трещали ребра, выкатывались глаза и волосы легко, как чулок, сымались вместе с кожей...

Мне в голову почему-то лезли плохие стихи Николая Тихонова из поэмы «Киров с нами», сочиненные во время войны — на ленинградскую блокаду. Слабое подражание волшебному лермонтовскому «Воздушному кораблю»:

По синим волнам океана,  
Лишь звезды блеснут в небесах,  
В железных ночах Ленинграда  
По улицам Киров идет.

Из гроба тогда Император,  
Главу уронивши на грудь,  
В железных ночах Ленинграда  
По улицам Киров идет.

И, топнув о землю ногою,  
Сердито и взад и вперед  
В железных ночах Ленинграда  
По улицам Киров идет...

Ну привязались и привязались. Мало ли что приходит на ум в ночное время... Но почему, думаю, Сталину это нравилось? Зачем, убив Кирова, он его превознес, как любимого сына, младшего брата, и пустил на века шагать по стране Командором? Второе лицо по числу названий — пос-

ле Самого. Кировоград, Кировокан, Кировск, город Киров, поэма Тихонова «Киров с нами», удостоенная Сталинской премии, улица Кирова, театр в Ленинграде... Что? — спрятать концы в воду? Да он и не таких убирал. С концами. Не оставив следа. Нет, живая благодарность убитому. Чувство личной признательности. Отступная, могарыч в виде посмертной славы, какая и не снилась мальчику из Уржума. Царская панихида младенцу, чьей кровью окропил, как святой водой, головы казнимых вредителей. Спасибо, верный товарищ, за то, что я тебя застрелил. Надо было. Прости. Заплатил. Воздвиг. Памятником воздал. Кировоканом!

В железных ночах Ленинграда  
По улицам Киров идет...

Воображение у меня, мягко говоря, пошаливало. События, рисовалось, не умещаются в погребальный парад, больше похожий на оргию, и требуют развития, всером пертурбаций. В мозгу проносились картины одна другой живописнее, чудеснее и безбожнее, отвечавшие, как мерещилось мне, истинному духу момента. Попробую изложить эту цепь последствий, рвущихся из будущего, нам навстречу, в более стройном и аргументированном виде, чем они пылали у меня в уме в те слепые часы бесцельного, замороженного кружения на подступах к Усопшему.

Ждите, смотрите, читайте! Не завтра, так послезавтра, на Кавказе объявляется самозванец — Лжесталин. Неизвестный молодой человек. Секретные его адепты в столице, дружная кучка боевых оперативников, несущая вахту у гроба, первым долгом дезавуируют улику. Хозяина, перекрестясь, подменяют. Самого — в свой домашний крематорий на Дзержинской (есть же там у них какая-нибудь своя дезинфекционная печь для внутренних покойников?), а в качестве подкладной утки — любого (с улицы бери!), наспех приколотого и выпотрошенного гражданина, примерно того же формата, чтобы влез в мундир. Наклеивают усы, не заботясь о большом сходстве. Парик кое-как. Наутро, при смене караула, — ЧП. Все, кто только хочет, любят, удостаиваются самолично: в саркофаге не тот — не те приметы. Ищут, толкуют, гадают. Где неподдельный? Потерпите, говорим, — конспирируется. Скоро вернется. Ужо!

Берия, как самый интеллигентный в Президиуме, в пенсне, организатор движения, вылетает в Грузию — к другу. В ту же ночь (может быть, в эту?) верные сталинцы-ленинцы раскидывают по столице подметные листы. Напечатанные

в типографии «Правда», слова зажигают массы, шевелят разум. Под грифом «Совершенно секретно» (для завлекательности) находим:

*«Совершенно секретно. Наймиты капитализма, подлая, антипартийная клика Молотова и Маленкова, в сговоре с иностранной разведкой, пытались — 3 марта с. г. — совершить злодейское покушение на драгоценную жизнь товарища Сталина.*

*Но враги Родины и социализма просчитались. Вождь скрылся в горах и скоро вернется к работе, здоровый и омоложенный успехами передовой, патриотической медицины. Лжеправительственное „сообщение“ о преждевременной кончине Вождя считайте вражеской вылазкой и контрреволюционной брехней. Собака лает, а караван идет. Смерть узурнаторам!*

*Все под ленинское знамя истинного Помазанника, Царя и Государя — Сталина!»*

Внизу подписи курсивом:

*«Президиум ЦК, Совет Министров, Генеральный Штаб, Министерство Госбезопасности, Союз Советских Писателей.*

*Секретарь: Горкин».*

Да-а... Це-це... Катавасия. Цыкаю зубом мечтательно. Можно представить, что бы тут началось — при одной такой листовке! Пылающие заревом будущих казней заседания ЦК. Опровержения ТАСС. Массовые аресты среди писательской интеллигенции. Расстрел врачей и еврейских антифашистов, достаточно нам уже нагадивших и надоевших под следствием. Расследование дела о трупе: кто эксгумировал? кто не устерег эксгумацию?.. Чекисты трясут Москву, как грушу, но так и смотрят, затравленным волчьим взглядом, — на юг. Плывущие вниз по Волге, по Дону, в устрашение изменникам, барки и катера с повешенными на реях работниками обкомов, рискнувшими сноситься с кавказским Самозванцем...

Удар с фланга: маршал Жуков, прославленный народный герой и единственная опора престола, самостийно, из Казахстана, выдвигает кандидатом в Правители великой и неделимой России — лжецаревича Алексея, якобы уцелевшего чудом в печальную для всех ликвидацию Императорской Семьи. Править страной, в таком раскладе, будет, разумеется, не болезненный и запуганный жизнью царевич, тридцать с лишним годочков укрывавшийся на Дальнем Востоке под скромной должностью поселкового счетовода, а — сам Фельдмаршал. Не жучку же с Украины — Хрущеву, а русско-му хрущу — Жукову присягнут войска!

В Кремле ядро ЦК, боярская дума с Маленковым и Молотовым, без умолку разоблачает предателей: американского шпиона Берию, белогвардейского генерала и тайного власовца Жукова, японского прихвостня Алексея... Лжесталина, который моложе себя на 30 лет. Лжекирова — уголовного. И вот новость — Лжеленина!.. Последний, ветхий старец, за восемьдесят, бывший завкафедры марксизма-ленинизма в Герценовском пединституте, меньшевик в прошлом, по-настоящему Кац, Арон Соломонович, он же Зайцев, он же Франк-Масонов, на пару с однофамильцем Кирова, бандитом Витькой, по прозвищу «Мируныч», — утвердились в штабелях революции, в Питере. Шлюют Кремлю ответные радиogramмы: «Сдавайтесь! Не то мы вас и не так еще обзовем!..»

Тем временем Сталин, тихо, без пальбы, с двуглавым орлом на красном стяге и белым крестом на черном, взял уже Ставрополь и подходит к Таганрогу. Народ — хлебом-солью. Выносят иконы. Плачут от радости. Кормилец! Избавитель! Берия их всех сейчас же — присягать, присягать!.. Но Горный Орел, нареченный Государем, Император Всея Руси, смотрит весело и зла не помнит. На бумагах, подобно Димитрию, лихо расписывается по-латыни: In Perator. Как опытный тактик, однако, держит на уме обоюдовыгодный когда-то, временный контракт с Гитлером и так же оригинально делает шахматный ход конем. Во имя единства и неделимости России и дабы не пресекалась династия, широким жестом усыновляет лжецаревича Алексея, суля тому в освобожденной Москве руку державной дочери и персональную дачу в Крыму. Одним этим политическим росчерком все решено. Молотов с Маленковым бегут в Монголию. Лжекиров и Лжеленин просто сходят на нет, рассеиваясь в ночном воздухе. Мудаки-американцы предоставляют нам кредит на 400 миллиардов. Сам железный мужик Жуков, рыдая, падает на грудь вечно смеющегося, юного, с такими же усами, Лжесталина. Великая минута. Салют!..

Я не виноват, что история тогда не пошла по намеченному ею же руслу. Все было подготовлено. Соответствуй Лаврентий Павлович собственному пенсне, окажись он интеллигентнее, чем был на самом деле, — ну останься на уровне своих изображений на стенах, — и не миновать нам самозванца. Будь Жуков более мужественным и честолюбивым стратегом, рискни прийти к полноте власти, — и армия, и народ по грозному окрику маршала встали бы горой за него, за единственный в стране, после Сталина, кимвал и символ. А уж поладь они полюбовно с Берией на почве национальной

монархии, столь глубоко уже распаханной вождем народов и хорошо унавоженной,— под орлом и крестом, но с красным знаменем и бесстрашием убивать, не останавливаясь перед затратами, но с танками и с авиацией,— то и цены бы им не было... Так что мои картины, при всей их несообразности в буквальном исполнении исторической канвы, не далеки от истины в ее скрытом смысле, который, Бог даст, еще себя проявит. И проживи Генералиссимус еще лет семь-восемь или найдись ему достойный, по плечу, восприемник, и мы имели бы и новые замечательные казни, и великую войну, и переселение народов, и прекрасное распухание самодержавного ствола на ниве утучнения мощи и географических размеров Империи за счет территориальных придатков во всех частях света...

Однако мой воздушный спутник в ту роковую ночь смотрел на вещи по-иному, куда более спокойно, без той мрачной восторженности, в которую я вовлекся, под воздействием, должно быть, наэлектризованной обстановки. И хотя мы едва перекидывались словами, подавленные творившейся перед нами вакханалией, думали мы, я уверен, далеко не согласно о ней, как, впрочем, и о многом другом в наших пересекавшихся кое в чем, но разных каналах сознания. Объективности ради стоит об этом сказать.

Я не буду вдаваться слишком подробно в странную судьбу и характер моего молчаливого друга, с которым увлеченные каждый своими идеями, мы встречались эпизодически, по его инициативе, так что впоследствии он вообще скрылся у меня из глаз, как бы тихо растворившись в свойственном ему одному вечернем, неназойливом блеске. Может быть, сейчас он где-нибудь монашествует. Или нашел прибежище в какой-либо гонимой секте. Если, конечно, не спился, как это подчас бывает, к великому сожалению, с нашими русскими самоучками, самородками и правдолюбцами.

В пору наших с ним наиболее тесных контактов он во всю практиковал йогу, до которой дошел собственным умом, а не по моде, как это началось много позже у всяких там незамужних фокусниц, духовных сибаритов и религиозных соискателей из технократов, на рациональной подкладке. У него это выходило даже как-то чересчур натурально, заставляя побаиваться, что он когда-нибудь свихнется,— скромно, результативно и без тени аффектации. Другое дело, что лично мне путь его был заказан, вызывая в ответ, к моему стыду, лишь острые литературные чувства, да он и не настаивал на взаимности, лишь изредка забегая, словно сваливаясь с Луны, взять что-то почитать, либо поделиться

новым интересным открытием в узкой своей и тщательно замаскированной от сторонних глаз специальности.

Правда, начинал он, еще до нашего знакомства, широко и радикально, и вскоре после войны, в 46-м году, по его собственным рассказам, замыслил в одиночку совершить революцию в России, для чего завербовался разнорабочим куда-то на Каспий, кажется, и там, среди таких же оборванцев, исподволь повел агитацию. Делал это умело, комар носа не подточит, на понятном простому народу, грубом языке, так, чтобы работяги сами, без нажима, додумались до своих классовых интересов и необходимости сплоченной, за общую свободу, борьбы.

«— И вот наступил вожделенный миг, Андрюха! — Он ласково, по-братски, так меня называл, справедливо не церемонясь с моей ученостью, столь убогой и плоской рядом с его занятиями. — Лежим мы в конце рабочего дня с одним моим дружком у моря, в кусточках, загораем, можно сказать, я, как всегда, свое толкаю, подводя к революционной идее, только глупых слов этих политических прямо не говорю, и вдруг он:

— .. твою мать! — говорит. — И так все ясно! Чего зря трепаться?

— А чего тебе ясно? — спрашиваю я.

— Пора дело делать.

— Ну какое же, к примеру, дело?.. — А сердце в груди ходуном ходит, Андрюха. Только бы не спугнуть, думаю. И потому разговариваю наводящими вопросами. Пусть сам дотумкает, в чем выход!

— Организацию, — бахает, — надо создавать. Вот что ясно! — Прямо так и произносит, и очень отчужденно — «организация». А ведь я даже слова такого — «организация» — в нелегальных беседах с ними ни разу не употреблял. Значит, допер Колька! Собственным умом! Господи, думаю. Накопец-то! Недаром, значит, и я тут хороводился, чуть не подох на засоле. Господи! молось в душе, доведи его, Господи, до пролетарского сознания! А сам небрежно так, с безразличным видом:

— Какая еще организация?

Тут уж он удивился.

— Павел! — спрашивает. — Ты чего выебываешься?

Это я себе такую подпольную кличку присвоил — «Павел». Документами в тех гиблых местах почти что игнорировали. А Колька рубит:

— Вооруженная организация! — говорит.

.. твою мать! — думаю. Да мой Колька меня превзошел! Восстание уже можно готовить на броненосце «Потемкин».



— Ну лады,— отвечаю.— По рукам. Допустим. А что мы дальше делать будем с нашей организацией?

Здесь он мне и начертил свой интегральный план. От берега до Рыбзавода 4 километра, говорит. По тропочке тут бабы ходят, мужики вечером. Разнорабочие. Сберечься в кусточках и...

— Как что делать? Храбрых будем!

Но, ты знаешь, Андрюха, я сдержался. К чему выдавать себя раньше времени? Смехом — реплику:

— .. твою мать, Колька! Нищих храбрых?

И сам катаюсь, просто катаюсь от смеха. Смотрю, он тоже смеется. Смущен.

— Да,— чешется.— Это я того... Что с нищих наших сдерешь?..

Тогда я встал и пошел, пошел от него медленно по песочку. Шагов 50 всего было до моря. Солнышко садится. Морс зеленое, зеленое. Подошел и думаю:

— .. твою мать! Утопиться мне, что ли?..»

На этом его как ножом отрезало от хождения в народ, от революции, от политики, от всякой активной жизни, и все свои нерастраченные духовные способности он бросил на воспитание самого себя. Таким я и застал его — на новом этапе подвижничества — механиком-лаборантом в каком-то задрипанном НИИ, служившем ему, очевидно, лишь точкой приземления. Не все ли равно — кем числиться, как зарабатывать на хлеб человеку вне тела?

— Главное, Андрюха, не общество переделывать, не бороться с врагом, не искать ветра в поле. И вообще хватит фантазировать! Помнишь у Сократа? «Познай самого себя». Не рыпайся! «Я знаю то, что я ничего не знаю». А что это значит? Выход — в каждом из нас. В каждом, Андрюха! «Царство Божие — внутри», сказано. Важно ключ подобрать. Ключ! А там уже все откроется...

И дальше в моем сыром полуподвале, как в кунсткамере старинного волшебного фонаря, проектировались перспективы одна другой неотразимее. Можно, если хотите, на Луну слетать, на Марс, астральным способом, за пять минут, оставив капсулу плоти мирно дрыхнуть на стуле. А хочешь — вспомни какое-нибудь свое счастливое воплощение в Атлантиде и мотай туда... Насколько я понимаю, на моего лучезарного друга неотразимое впечатление в свое время произвел роман какого-то иностранного автора, Джека Лондона возможно. Там некий узник под пытками, завязанный палачами в смиренную рубаху, свободно, теряя сознание от боли, находит внутренний выход и путешествует из края

в край, по всем своим прежним, дожитненным орбитам. Чем биться в стену башкой, свершая никому не нужную революцию, не лучше ли тихо уйти отсюда каким-нибудь медитативным путем? Пусть тело — в мешке, душа — витает. Обдумываю же я под сурдинку свой собственный полет на Луну?..

Мой спутник, однако, в отличие от меня, не был пустым созерцателем. От революционного прошлого, порвав, он сохранил за собой практическую жилку, ясность суждений и здоровую простоту в перестройке своей ментальной организации. Наступает в лаборатории обеденный перерыв. И тотчас он командует своему сверхчувственному «я» сходиться в разведку: в которой — из двух — столовок для работников НИИ сегодня меньше народу? Где еще остались незаполненные места? Через несколько секунд приходит готовый ответ: иди в ту, что на Масловке — там и очереди еще нет, и меню вкуснее. Дают — компот! И неразговорчивый наш лаборант встает, как лунатик, и идет себе по азимуту. Всегда — верно...

Главное в этих случаях, чтобы разум не встречал, не участвовал в дебатах. Иди, как тебе подсказывает твое высшее «я». Никогда не прогадаешь!..

Необходимо пояснить, что это самое «я» сидит в каждом из нас. Только не приведено еще в действие, в настоящий порядок. Оно все может. Все, что пожелаешь, оно сделает тебе, наше второе, могучее, сверхразумное «Я». Будь, однако, осторожен. Не дразни собак. Не приведи Бог ставить тебе перед ним, то есть перед самим же собой, непосильные нормальному человеку и неподвластные задания. Мой друг умел соблюсти эту грань. Дистанцию. И все-таки выпрыгнул однажды из себя, прошелся вприсядку по воздуху и увидел немного сверху, в затылок, как он переходит улицу Горького, маленький такой с виду и спокойный человек, на красный светофор, и чуть не упал на асфальт под поток автомашин. С трудом, усилием воли — в одно мгновение — вернулся в разум, в оболочку. С тех пор не торопится.

Или сядет в шахматилки сразиться с каким-нибудь сослуживцем. Сам едва помнит одно слово: «ладья». Первым делом выключает из игры бесполезный мозг, передоверяя партию верховному своему Двойнику. Пусть тот думает. А ты сиди, двигай пешки к финишу: победа за нами. Стоит, однако, задуматься над доской и самому сделать шах фигурой, как обязательно проврешь. Пиши пропало. Здесь надо опасаться собственного ума... Это как-то отвечало тогда моим понятиям о литературной работе.

Но больше всего нравилась мне из его историй та, где он, в хрущевское уже время, научился угадывать без промаха лотерейные билеты. Вместо займа, сидит старичок в метро и крутит вертушку. Кому счастье — добровольно покупайте у попугая. И мой йог видел — буквально глазами видел — где, в какой из тысячи пустых бумажек заключается капитал. Выяснилось, над счастливым билетиком вьется маленькое пламя. Ну что-то вроде сияния появляется вокруг обещанного квитка. Лотерея так и прыгает: бери, бери!..

— Ну и ты купил?! Выиграл?..

Он посмотрел на меня с глубоким сожалением, как смотрят на последнего грешника. В двух словах объяснил, что такие вещи, братишка, нам даром не проходят. Нельзя, обладая знаниями, использовать это себе на выгоду. Что он колдун какой-нибудь? Алхимик? Это же было бы посягательством черной магии!..

— Запомни! Это самый страшный грех на земле. А ты говоришь — билетик. Достаточно уже одного того, что я вижу выигрыш. Но притрагиваться к тем огонькам?! Да лучше я себе руку отрежу...

Встречал я потом, и не мало, пророков, сгоревших за лотерейный билет... Оттого и не считаю достижения моего собеседника чем-то непозволительным или замешанным на бреднях. Нет, воображение было, в его глазах, именно моим важным недостатком. «— У каждого своя карма», — вяло возражал я ему на его языке, и он охотно соглашался: «— Вот я тоже все еще не бросил курить. А ведь это вредит ритмическому дыханию. Карма!..»

— Ну и карма ему досталась! — вздохнул он грустно о Сталине. — И где он только себе эту кармочку заработал? На какой другой планете?..

И тут же, на траурной площади, полушепотом изложил обстоятельства в резиденции вождя — буквально, на этих днях. После смерти. Разумеется, я не доискивался до истины, откуда пошел этот слух, но в будущем подтвердилась фактическая близость. Может, какой сослуживец ему за шахматами разболтал...

Короче, полковник, еще короче, полковник из личной охраны Сталина, подтянутый, старый ветеран, обходит дозором дачу. Заглянул в смежное с кабинетом помещение. Ну, как обычно, проверял — все ли посты на месте, нет ли посторонних?.. Там никого не оказалось. Пустыня. Должно быть, врач замешкался. Бросил вскрытие. Вышел покурить. Только тело так долго и тщательно охраняемого Монарха возлежало на подставке — на обыкновенном столе, обращенном на

скорую руку в анатомическую клинику. Может быть, началось бальзамирование уже, я не знаю. Резекция. Все отдельно. Всякие там побочные органы — мозг, желудок — лежат рядом. Ну абсолютно вскрытый и физически непоправимый уже, невозможный образ. И вид этих распластанных внутренностей во мгновение ока свел полковника с ума. Помешался. «— Враги! — кричит, — враги растерзали по моей преступной халатности!..» А ведь знал теоретически и практически о кончине. Да и нервы имел, наверное, для начальника охраны железные. Стрелял через карман. Смерти смотрел в лицо не раз. Но нельзя телохранителю видеть такую картину. Воображение — виною. Навоображали бога, а теперь давимся? Лезем в новую карму!..

Все верно. Однако меня волновали тогда не факты, а воображаемый его, отлагаемый в поколениях портрет. Сталина-то я живым не знаю. Лет шесть, правда, назад поймал себя однажды на первомайской демонстрации. Вижу на Мавзолее вдруг не всем нам известного по фотографиям, уважаемого в веках полководца, но лоснящегося кота. В первый момент мне сделалось как-то неловко за себя. Все же комсомолец. Мы шли близко к трибунам. Девушка в моей шеренге билась в подобии какой-то эпилепсии. Кликушествовала вождю. Я держал ее за руки. Ее корчило и выгибало. Хмурые эмгешники — цепью — один затылком, другой фасадом — торопили: «проходите! проходите!» Мы шли назад глазами. Помню только: плотненский такой Кот-Васька по Крылову. В усах. Кот и Повар. И это все?

И я слушал уже вполуха доброго моего спутника — о том, как прекратить войны и раздоры на свете. Особенно ему покоя не давала почему-то наша Гражданская война. Ну как это одни русские с другими не сумели по-братски поладить? Не проще ли спросить: сколько вас, белые? Сколько вас, красные? Разделим поровну. И живите, как вам хочется... Или зачем преследует Маккарти американские компартии? Выделить им персональный штат. Остров можно купить за миллиард в Тихом океане. И стройте себе на здоровье... Он был неистощим на такие, спасительные для человечества, открытия. Идеи у него так и ходили. Одна беда: мне казалось, вот-вот он улетит, бросив меня одного на заколдованных перекрестках — до конца уже дней — нырять и выныривать, нырять и выныривать в собственных моих невеселых, неутолимых мыслях...

Давно уже сказано: Россия пронзила мир. В самодовольном величии она грезит об одном назначении — о Царстве Бога на земле, утвержденном неколебимой рукой, и грезит

время от времени проглотить вселенную, раздираемая той же дилеммой: либо миру быть живую, либо — России. Третьего не дано.

Увы! мы забыли! С той поры, как ушел Вожатый, мы сползаем все ниже в обывательское болото. Нам только бы жить. А зачем жить, спрашивается, если Сталин умер и Кирова нет с нами? Для себя?! Н-ну, знаете. С подобными разговорчиками вы коммунизм не постройте, нет... Не оттого ли державный Мертвец и гневался на нас, грешных его подданных, разливая корытами кровь по московской мостовой? «— Да сознаете ли вы, кого хороните, псы? Грядет, запомните, Вторым Пришествием — Сталин!..» И за дело. Бил кулаком. Смотрел — вперед. В корень. И видел — сквозь камень.

Уже сейчас, когда я пишу в Париже горькие эти строки, какая-нибудь паршивая, восьмилетняя девчонка в Москве, 73-го всего-навсего года рождения, спрашивает у матери: «— А он злой был — этот *Стальнер?*» Ничего себе вопросик! Стоило бы напомнить мерзавке. Скажи она эдакое в 48-ом году, в пору моей поздней, цветущей юности, из ее мамаши, пока сама не подросла, — выпустили бы кишки. Стальнер?! На кого намекает? В каком духе воспитываете вы ребенка? Только этого Дантеса бы и видели. Но где нам найти сегодня образцы для подражания? Куда обратить взоры подрастающей молодежи? О, моя юность! о, моя свежесть!.. А счастье было так возможно, так близко!.. Еще немного поднажать, вдарить, прорваться, и мы — у финиша!..

Впрочем, не все потеряно, господа, не все потеряно, не надо отчаиваться, и вышеописанные стимулы и потенциалы всемирной истории еще могут возродиться при удобном повороте. Но в ту гробовую ночь, в тот звездный час Империи выгодный момент был, по-видимому, упущен. Развигляе, в нарушение правил, сменило бодрый, событийный ритм, в котором оно скандировало всю первую половину столетия, на что-то вялое, замедленное, бесформенное и ничтожное. Сравните цифры, за которыми стоят всем нам памятные даты:

1900 (рубеж века), 1904, 1905, 1914, 1917, еще раз 1917, 1918, 1919, 1921, 1929, 1933, 1934, 1937, 1939, 1941, 1945, 1946, 1948, 1949, 1951, 1953...

А теперь?!.. Начиная с 1954-го — ничего не происходит. Посмотрите, какими длинными, невнятными периодами отделяется сейчас один катаклизм от другого. И разве ж это катаклизмы?! Ну, допустим, Чехословакия. Венгрия, там. Камбоджа, предположим. Какая-нибудь Ангола. Эфиопия. Все ушло и уходит куда-то на периферию. В песок. Не на чем

задержаться взгляду. Успокоиться сердцу. Нет, определенно, мы потеряли темп.

Конечно, не скрою, как человеку, мне отчасти это на руку. Можно потянуться, зевнуть, сидя в кресле. Все-таки с 54-го появилась какая-то перспектива в жизни. Надежда уцелеть... Все как-то разговорились, расслабились. Но, рассуждая философски, в качестве автора, соединенного с определенной эпохой (конца 40-ых — начала 50-ых годов), эпохой зрелого, позднего и цветущего сталинизма, я не могу не вспоминать о *моем времени* с известным удовольствием и чувством сыновней признательности. Да, не постесняюсь сказать: я дитя той крошечной эпохи. Все эти мелкие козни, сумасшедшинки, ужасики, что я здесь, с таким знанием дела, описываю, пронизывающие быт электричеством скорого конца света, все эти ведьмяки, упыри, до сих пор не дающие мне спокойно уснуть,—создавали тогда род мирового радиоактивного потока или, лучше сказать, покрова, к которому я был, волей-неволей, пристегнут. Это время дорого мне уже по одному тому, что в нем и только в нем, а не где-нибудь в другом месте, я понял что-то противоположное ему и, сжав зубы, отщепился от общества, очерился, замкнулся в скорлупу и отступил в ужасе, чтобы жить и мыслить на собственный страх и риск.

Ночами я ходил по Садовой, один, и бубнил под нос, в ритм ноги, подражая Маяковскому:

Иные страны стали базаром,  
Иные — товаром на этот базар,  
Но ты, Россия, останься казармой,  
Самой прекрасной из всех казарм.

Пусть золотые гербы да вензели  
На постройках твоих растут  
С аляповатой претензией  
На изысканную красоту,

Пусть напяливает эполеты  
Твой толстомордый, курносый сын,  
Пусть растопырятся на портретах  
Генералиссимуса усы!

Пусть отовсюду лезут в глаза нам,  
В каждой заштатной твоей дыре,  
Казармы улиц, дворцов, вокзалов,  
Концентрационных лагерей...

Так обрывалось мое последнее, из немногих, стихотворение, на чем, сочиняя по молодости, я окончательно убедился, что поэт из меня все равно не выйдет и робко стал помышлять о прозе. Все это совпадало с угнетающим отдалением от среды, от жизни, от текущей литературы, с каждым днем, все более, мне казалось, безнадежно низкопробной, отступающей, и с попытками, как это водится, писать в стол что-то «свое», «особое», никому не доверяясь, вроде заметок о русской Смуте, о Самозванце или набросков к позднейшей повести «Суд идет». При всем том, сознаюсь, ни в коем случае это не было отказом от времени, от века, доставшихся на мою долю, как выигрышная карта, и засасывающих все дальше, все страшнее в свою глобальную пасть. Заглатывание сопровождалось, однако, осознанием себя наконец-то неподчиненной величиной, горошиной, несчислимой личинкой с каким-то своим малым, косым, несогласным взглядом, что делало весь этот процесс вдвойне болезненным и бесконечно интересным. Жуть, стыд и брезгливость смешивались с наслаждением жить «в такую эпоху», что мало кому выпадала в прошлом, которая, отвращая, пронизывает сердце и мозг, как находка — коллекционера. Осознать эту зернистую редкость, к ней притрагиваться, понимая одновременно, что подобные созерцания не проходят даром и плохо кончаются, — нет, как хотите, но исторически мне повезло в жизни!

В том и беда эстетики. Она морочит тебе голову, играя на золоченых струнах иллюзией полноценности недопустимого и недостойного, по своей сути, бытия. Радусься, как маленький: Маэстро, катастрофа! И запах истории вдруг становится вятен и сладок. Эстетика в уме! Она абстрагируется от действительности, отстраняется враждебно от самого предмета исследования и в то же мгновение, на резине, тянется назад, к матери, влюбленно всматривается, содрогаясь, в дорогие, ее породившие, отвратительные черты. Ей бы только забавляться. Как оно ходит, на щупальцах, бронированное чудо! Какие у него, у чуда, завидующие глаза! О чем оно думает, интересно, — кого бы съесть? Всех сожрет, не беспокойтесь, и меня в том числе. Но я, червяк, куда цел, кочевряжусь. И вместо заговора от аспида мечтаю живописать. Смотрите, опять кого-то слопал, уродина! Ну и прожорлив, собака! Какие кольца, какие мышцы у раскормленной твари под защитной чешуей! И, главное, какие глазки! Нет, вы только посмотрите, какие глазки!..

В подобном ощущении, не спору, была, возможно, патология. Что-то развращенное, сладострастно-тревожное реяло в воздухе. Все вокруг превосходило человеческие раз-

меры. И хотя, повторяю, сам персонально генсек, запертый где-то в крепости, за семью печатями, меня мало занимал в очевидной, казарменной своей заурядности, нездоровый интерес возбуждала подстрекаемая им, либо ниспосланная ему в угоду и в поддержку атмосфера черной мессы, собачьей свадьбы и загробного подвывания, что и составляло, на мой взгляд, истинную ткань того уникального царствования. История мне впервые открылась полем действия и вычисления каких-то сверхъестественных сил. И чем грубее и топорнее выказывали себя наглядные результаты гипноза, тем иррациональнее, мыслилось, принцип, негласно руководящий этой повальной махинацией. И люди уподоблялись орудиям колдовства, летающим веникам, вертячим столам и тарелкам, бормочущим не свои, а чьи-то, внушаемые свыше, затверженные речи, лишь для виду, ради общедоступности, переведенные толмачами на самый примитивный язык...

В курилке Ленинки белозубый лезгин однажды, по-студенчески весело, мне выдал причину своего, как он выразился, извините, охуительного успеха у женщин. При неказистой, в общем-то, внешности, при весьма ограниченных денежных средствах, он, в качестве компенсации, обладал легким кавказским выговором и темпераментными усами махорочного оттенка. Этой природной мелочи, в сочетании с прокуренной трубкой, которую он не выпускал изо рта, оказалось, по его словам, довольно, чтобы бабы, разного звания, возраста и национальности, вокруг него так и падали.

Не знаю, зачем лезгин, рискуя по тем временам жизнью и опасно озираясь, решил обогатить мой более чем скромный в этой области опыт. Быть может, ему требовалась какая-то нервная разрядка. К тому же где-то, по-видимому, он имел зуб на Сталина и весь свой антисоветский разврат косвенным образом валил на него, не называя, правда, по имени, но и не церемонясь в подробностях своих жуанских походов.

Из всего хоровода поклонниц запомнилась мне, да и та не полностью, лишь единственная в своем роде — пальчики оближешь — блондинка, чей замысловатый диагноз я выслушал хладнокровно, как доктор, с достаточно скептическим допуском на вранье с обеих сторон, будучи одновременно прикованным к этому эпизоду, как случается с человеком, схватившимся за голый провод.

У него, что называется, был мимолетный роман с одной немолодой дамой. Собственно, не у него, а у какого-то другого, аналогичного любителя, о чем, спохватываясь, он



спешил оговориться. Не имеет большой роли. Не играет значения. Можно и переставить. Дело не в нем, а в ней. Знаменита она была тем по Москве, в узком кругу интересующихся мужчин, что сподобилась, еще до войны, лично сосать у самого в Сочи. Думаю, это была у нее всего-навсего такая причуда в мозгу. Поди проверь! Как бы там ни было, страшась огласки, чтобы не захомутали, она заклинала каждого всем святым хранить под камнем ее сексуальную тайну и, первая же, под секретом выбалтывала очередному любовнику, и это, само собой, как-то разошлось, и она хорошо зарабатывала в итоге, но жила, как на вулкане.

Замечательно, однако, что никто из доверенных лиц, передавая по эстафете соблазнительную блондинку, ее не заложил и не выдал, к своей мужской чести...

При этих словах лезгина мне припомнилась разом иная подтасовка, которой я владел по доверенности от моего, школьного еще, учителя химии, но, конечно, пересказывал кое-кому по секрету, невзирая на заклęcia открывшего мне этот гениальный подвох старика: «— Только никому ни звука! Всех, кто про это знает или случайно услышал,— изымают с корнями, без возврата, по эстафете. Чтобы оно не разошлось. Вы сами понимаете, как это серьезно!..»

Действительно, то был этап в развитии марксистской теории. Как раз тогда, в 52-ом, на Девятнадцатом Партсъезде Маленков, замещая Самого, сделал блистательный экскурс в художественную литературу. Дескать, «типическое» в искусстве это не «средне-статистическое», а нечто «исключительное». Это было неслыханным — по слогу, по уровню мысли — в устах партийного руководства. Срочно пересматривались учебные программы, вся проблематика, эстетика, философия и филология. Строились новые кафедры, пособия и диссертации. В авральном порядке, институтами, коллективами, ученые создавали труды «о типическом как исключительном» в марксизме. Наука подскакнула. И никто, абсолютно никто в мире, кроме нескольких, подобных мне, отщепенцев, связанных незримой цепочкой, не ведал, что весь этот теоретический вклад у Маленкова был списан дословно из ветхой, брошенной Литературной Энциклопедии. И не у кого-нибудь — у бывшего белоэмигранта Святополка-Мирского, вернувшегося сдуру в Россию и успевшего, по слухам, уже сдохнуть с голоду в лагере в роли врага народа. Дотошные историки могут меня легко проверить, если захотят, сняв с полки и сравнив маленковский доклад на съезде с забытым энциклопедическим томом, на букву «Р»: «Реализм»...

— Да ведь и то сказать,— предупредительно подмигнул собеседник,— в избранный круг моей знакомой и в курс, естественно, не входили женщины...— Те бы уж вывели, досказал я себе за него, бедную шлоху на чистую воду! И поступили бы глупо, между прочим, себе во вред. Любый доносчик, причастный к завлекательной тайне, пошел бы в общей колонне, по веревочке, включая хозяйку— держательницу акций, вместе с ее развеселым трепачом, а потом и со мной заодно, сторонним, нечаянно попавшим в цепную информацию кроликом. Есть вещи в жизни, друг Горацио, о которых лучше не знать...

— Эге-ге,— подумал я в ту же минуту.— Уж не хочет ли молодой сутенер и меня грешным делом подсоединить в сеть, к своей электрической бляди? Не выгорит! Не поддамся!

Но я преувеличивал. Лезгин, как выяснилось, с ней порвал. Видеть ее, терпеть больше не может. И вот почему. А все потому же. В довершение удовольствия, ее звали, оказалось,— Светланой. Он играл с огнем. Подошел к самой, в узком спуске, преисподней. Заветный пункт он узнал из первых, так сказать, уст. Сошлась она с ним по любви, бесплатно, и влеклась неодолимо, словно за шоколадной конфетой, даже немного подкармливала из собственного кармана. И все бы ничего, когда б целуя в усы моего лезгина, мечтательница не впадала в странную экзальтацию от запаха табака, шедшего не от этих уже, но от иных усов, и в роли подростокшей девочки не воображала себя чорт знает кем. Старше много, она ломала комедию, выдавая себя за маленькую дочь, ища в нем другого, одного, кого только и любила, и воделела, якобы спознавшись когда-то. В ответственные моменты оргазма стонала: «— Я—Светлана! Я пришла к тебе, Светлый! Наконец-то! Отец! отец!..» Что и говорить, это пахло кровосмешением...

— Психопатка,— сказал я сухо и сглотнул слюну. Он поморщился.

— Все они психопатки. Но что делать с ними— мне, нормальному человеку? Э?..

И вдруг я почувствовал, насколько ему нелегко с этими успехами, которыми, представлялось вначале, он так безобразно рисовался.

— А вы не пробовали как-нибудь расстаться с вашими...— э-э... с вашим невольным сходством?— замаялся я, стараясь чем-то помочь и вместе не оскорбить вспыльчивого горца.— Например, снять эти... вторичные признаки? Перейти на папиросы? Попытайтесь и начните сначала. С чистого листа...

— Поздно,— вздохнул он.— Привык, как говорится. Втянулся. И потом— это! Это уже не исправишь. Нэ-эт!

Неопределенно, в табачном облаке, он повертел пальцами, вероятно, держа на примете свой легкий кавказский выговор, завораживающий женщин, и, действительно, приятный, как бы немного не отсюда, не с этой планеты. А мне за его акцентом тем временем прошелестела тень другого человека, еще более уставшего от бремени любви, власти и славы. Тот ведь тоже втянулся и не вправе отвязаться ни от задумчивой люльки, ни от кондитерских усов, над которыми грешно потешаться, потому что, когда б и захотел, он сбрить уже не может. Не человек — портрет. Как тяжело, наверное, превратиться в собственный портрет при жизни и делать все, что предписано обожателями небожителю. Как это горемычное блюдечко, бегающее раболопно по кругу под влиянием наших пальцев. Вызывают Наполеона — изволь быть Наполеоном. Мечтают — Сталина? Получайте — Сталина. Кто им вертит? Может быть, мы сами, мы сами, не замечая того, только и ждем и просим, чтобы он кого-нибудь из нас убивал периодически для поддержания портретного сходства. Попробуй он быть добрым — мы бы всполошились. Мы бы разуварились в истинности образа. Нам это надо? Не ему, а нам?!

И чтобы уйти от вопроса, легкомысленно спросил:

— А где теперь эта интересная особа?

— В Склифосовского, — ответил он спокойно, как если бы знал наперед, о чем его спросят. — Угодила под машину. Вчера ночью. Не выживет.

Он грустно потупился. И, словно читая мои мысли, развел руками.

— Сердце не выдержало. — Он показал, где у него сердце. — Теперь не воротишь, нет...

И какое-то еще слово, проглоченное, мне послышалось или, возможно, само домыслилось, докатилось: «доложил»? «отомстил»? «замочил»?.. Я так и не понял.

Он взялся, было, обглаживать еще какую-то косточку из числа своих прихожанок. Мне было не до них. Я поспешил обратиться из курилки к моим книгам. Стоит ли объяснять, что лезгина с этого дня в Ленинской библиотеке как волной смыло? Может быть, тоже, по цепочке, угораздил под грузовик. Или — арестован. А может, попросту говоря, побоялся, что я или кто-то другой, из посвященных, на него донесет, и уехал, подальше от риска, искать счастье, куда-нибудь на Кавказ. Во всяком случае меня после нашего разговора он все-таки не заложил, как сделал это, боюсь, со своей пылкой блондинкой...

«... А Господь все еще сидел на своем голубом престоле. По бокам стояли — Пресвятая Богоматерь, с цветком, да

Иоанн Креститель, с отрубленной головой на подносе, которую цепко держал в руках, как вещественное доказательство. Такова композиция...»

Изобразим ее вычурно, стильно, как подобает Изуграфу. Не будем, однако, задаваться непосильной для нас и соблазнительной попыткой представить натурально, воочию, тот Горний Свет, который созерцали с земли одни святые отцы и молитвенники наши, а нам, по неразумию, поймать бы разве что отблеск в мутном, закопченном стекле, упавший мысленно с неба в сей деблий мир. Зеркалом в таком разе нам послужит, я полагаю, читательский затылок с его оборотной, вогнутой стороны. Вогнутой? А что вы хотите — прямое Зеркало неба? У меня его нет. Лучи, однако, нестерпимо бьют правде в глаза и, проходя сквозь всю мозговую путаницу сосудов, достигают наконец затененного экрана, на задней, повторяю, бесправной стороне вопроса. Пусть так, пусть искаженно, но кое-что в бинокль, в телескоп, при известном напряжении, еще возможно разглядеть?

«... Плыла вечность. Струились звезды под Божьим Троном, направляясь по своим боевым постам и заданиям. Где-то внизу, в итоге, уже произошла, вероятно, своя великая октябрьская социалистическая революция. Умер Сталин. Потом — Ленин. Сто тысяч раз в минуту слали уже люди запрос, почему не вмешаются сверху, не наведут порядок. Куда смотрит Начальство? А Господь все сидел на своем золотом стуле и думал. Рядом, по обе стороны, стояли Иоанн Предтеча с обезглавленной головой, держа ее перед собою на блюде, и Пречистая Богоматерь, с вопросительно изогнутым знаком Цветка в протянутой к Престолу руке. Было тихо. Лишь по временам Пречистая сокрушенно вздыхала. Так прошло, наверно, с полчаса...»

Когда ведут на допрос — молишься Богородице. Богородица Дево, радуйся. Благодатная Мария, Господь с Тобою... Я много спрашивал себя, ходя по тем коридорам: отчего же Пресвятой Богородице непременно — неслышно, непредсказуемо — льется из души молитва? И ведь ни о чем не просишь. Нет, просишь, конечно, — но уже не за себя. Беда иная приблизилась, тяжелейшая во сто крат. За тобой, на воле, еще два-три-четыре причастных к тебе лица. До них-то и добираются, дьяволы, таская на допросы. Двух как будто удалось скрыть до поры... Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего... Ведь если так дело пойдет дальше, они всех, всех до единого, весь род человеческий, по

печочке, выведут на промокашку, в машину адскую. Сохрани, Господь, остальных! Яко Спаса родила душ наших... Ну а как всех возьмут, думаешь, на худой конец, все человечество, под корень и под контроль?! До Нее-то не доберутся! Одна Богоматерь останется свидетелем за всех нас — и адвокатом — на небесах. Радуйся, Дева Непорочная! Недоступная врагу. Пусть Она — Одна — спасется и воссияет, Царица Небесная! Уже спокойно. Значит, и мы, грешные, не зря куковали здесь на земле...

«... Вострепетала Матерь наша и обратила к Престолу узкие, как ступни, ладони. И выпал цветок-лютик у Нея из лилейных рук. И вырос новый, еще более гибкий, цветок-ландыш — у Троеручицы.

— Сыне! — вымолвила, — пощади род православный. Пошли им Передачу с неба. Оливковую ветвь. Пошто эти казни, и войны, и моры, и глады, и тусы? Доколе?..

Сдвинул тут Иисус Христос выпуклые, будто у гориллы, надбровья, и не прошло двадцати минут, как сказал Пантократор, точно отрезал:

— Еще не время!..»

Что есть и может быть в мире непостижимее Христа? Сказавшего: есть Ад! И — нету Ада! Ото всего отвернулся, всех принял. Какие пределы нам поставил? — попробуйте вместить, исполнить. Простить блудницу — кто бросит камень? И каждого наказывать, кто раз хоть — в мыслях своих?.. Но мы не верим Богу, мы Богу не доверяем, поглядывая из своего уголка. Теряя душу, надеемся, что Господь ее подберет и успокоит. Взятки даем. Взятки! Нужна ему ваша паца! Да у него, быть может, твоя настоящая, первоначальная душа лежит на полке, до срока, как алмаз у ростовщика. Вот умрешь — тогда покажут: кем бы ты был на самом деле, когда бы не орал: «Я!», «я!»... Носимся, как с писаной торбой, кричим, рвемся понять. Пока не схватит Господь кого-нибудь за волосы, не вдунет в уши, и тот, осененный, не побежит благовестить: Он с вами! с нами! Смотрите, люди, Он более вы, чем вы себя сознаете. И любит вас больше, чем вы сами себя любите... Видите? — весы, часы. Пять секунд. Четыре. Три. Две... — Старт! — кричу я, просыпаясь. — Старт! — Ничего похожего.

«— Еще не время! — отвечивал Вседержитель, восседая на пурпуровом Троне. И, не повернув головы, оборотился к Иоанну. Дескать, а ты, Иоанн, как и что — на сей счет? Тот заквакал с Тарелки:

— Так им и надо! Туда и дорога! Закоснели во грехе. Табак пьют. Зелье курят. Иные бесстыдники уже бороды сбривать помышляют—до голой рожи, по-заграничному, на дамский образ. Не ведают, супостаты, что до петровской-то реформы и столетия не прошло, ехать и ехать... Третьеводни, Господь, возьми на заметку, опять невинного младенца задрали. Может, царского сына,—нет еще точных сведений—может, праведного своего и законного государя? Опять пустили историю самотеком под колеса. Крести их, казни, Спаситель, мечом и огнем! Они равно как тараканы...

Но покосился—снизу, одним глазом—на Богоматерь и смягчился Предтеча. Поковырял истощенным пальцем свою усекновенную голову.

— Впрочем,—добавляет,—я не против. По мне хоть и помиловать...»

Я не знаю. Если наша история не сплошной свальный грех, как было бы это в действительности, забудь Бог человека наедине с другими людьми, если это не свалка людей, но художественное в своем роде изделие, столь же хитроумно и затейливо устроенное, как естественная природа, то, вероятно, и к нему, к нашему земному развитию, приложил и прикладывает время от времени ладонь сам Господь. Как это делается, куда прикладывает?—мы не знаем и не надо знать. А то, что-то «поняв», мы опять все потеряем...

История, я убежден, действует не сама по себе. Не по каким-то своим независимым законам и каналам. Но под присмотром—увы, не всегда доброжелательным. И сверху, с неба, и снизу, из-под сцены, отовсюду, со всех сторон, бьют прожектора, сходясь и перекрещиваясь в заживо светящейся, сгорающей точке: «се—человек!» Один смотрит с любовью, другой со злорадством, третий—от людей (посредственность)—просто констатация факта: «се—человек». Не скрывается. Злишься. Чего уставились на меня, маски? Спросите аиста, обезьяну, слона. Выставили на позорище: «Человек!», «человек!» Эка невидаль. Надосло. Да я и не хочу, не могу быть человеком. Не-ет, смеются: «се—человек!..» Посреди растений, камней: се—человек. Не ангел и не зверь, не птица и не рыба. Куда ни кинься—смешной, жалкий, грешный, последний—человек. Плач и хохот. До смерти доберешься. Восстанешь: «Верю в Бога Единого! Чаю воскрешения мертвых!» Исчерпано: «се—человек». Не понять хочу. Но вырваться из погибели. Но как, скажите, совоккупить и перенести этот крест на спине: «Се—человек»?..

«...Мыслилось, при словах Иоанна — подымется с кивота Господь и возгласит: — Довольно! Терпению Моему конец! Чего они дразнятся, проказничают? Сотрем — и создадим новый. Весь мир насилья мы разрушим. Ох, и болят Мои пробитые в четырех местах Ручки и Ножки! Видать к непогоде.

Но склонила Заступница свою покорную голову и оросила мир слезами с голубиное яйцо. Пролился майский ливень над городом Путивлем, над городом Москвой и над городом Калугой. Выпал снег в Архангельске. Град ударил по Новгороду. Даже в городе Лондоне пал о ту пору туман. И только в Южной Америке светило южноамериканское солнце. Не стерпела Царица Небесная — ясно так произнесла: — Смилуйся, Господине! Приставь Руку Свою матери убиенного отрока. Бьется она, Мария, о сыру землю в Угличе. Зовет Тебя в судьи, Меня во свидетели. Верит, как Я верила: жив сын и не умер Бог! Верни ей, неприкаянной, хотя на время, царевича. Пусть возрадуется. Покажи маловерам силу материнской слезы...

Плянул на Нее умильно Господь наш Иисус Христос. — Успокойтесь, — сказал, и Сам чуть не заплакал. — Успокойтесь, Пречистая Наша Родительница и вечная Подательница человеческому роду. Сделаю — как Ты просишь. Да что толку?.. Воскреснет ее недостойный сын и замутит Россию. Многие, ох, и многие крови прольются из-за той дитяти... Видать, к непогоде.

Они — умолкли: Иисус Христос на кипарисовом сидении и, стоящие по обе руки от Него, Богородица с Иоанном Предтечей. Замерли на многие годы, если не на века. И даже глаз в тарелке, которую не выпускал из цепких пальцев обезглавленный Иоанн, подернулся мутной пленкой, будто у засыпающей ящерицы...»

## *Глава пятая*

### ВО ЧРЕВЕ КИТОВОМ

---

На выщербленных плитах Ассирии львы рычали, издавая, с достоверностью человеческой речи. А люди, будто куклы, с непроницаемостью таранов, в профиль, нога в ногу, напряженными шарнирами мышц, под грохот барабанов,

дивизиями, шли и шли, решительно не сдвигаясь с камня. Возможно, то не люди, а боги, я засомневался,— настолько они были возведены в сан, абстрагированы в ритуале от нашего естества и сознания,— когда бы снизу, вторым ярусом, в каменных выкрутасах реки, по Евфрату, не плыли, перекувыркиваясь, раскромсанные мясниками тела и прожорливые рыбы не клевали бы торопливо отрубленные ноги и головы тех, что шли верхом, а теперь, посреди камней, тонули, начиная с потопа, включая нас с вами, по течению барельефов, лучников, царей, богов и танцовщиц. Дело было смерти подытожить прохождение сонмов, от Ноя до посрамленного в последнем остервенении льва. И львиный рык нависал стеной, венцом истории, оглашая зрелище планомерно торжествующей смерти, в разных позах, со знанием дела, переживаемой натурально агонии, доставлявшей, очевидно, охотникам высочайшее наслаждение. Следом и мы, на привязи, в сухом рисунке конвульсий, вплетаемся в чужую среду неподкупных стражей и стрелочников, в нацию профессиональных карателей — да сгинет, да истребится вовек неистовое семя! — когда бы вниз по реке мы сами уже не плыли обезображенными телами и не шли стенкой на стенку в церемонии царедворцев, когда бы не эти огнедышащие львы, издыхавшие как мы и у нас перед глазами. Здесь, над этой ареной, допустимо заподозрить, что только на смертном одре человек поймет человека, и льва, и всякую тварь в нетях, поскольку движение времени нелицеприятно, безжалостно, охватывая мимоходом и вас, и тех, кто сошел со сцены пять тысячелетий назад, и этого оставленного нам в назидание медленно околеть зверя, извергающего проклятья каменному потоку истории...

Единственное сочувствие в ассирийских рельефах возбуждали у меня умирающие львы с парализованными предательским ударом копья когтями, закрепленными на камне раз и навсегда. Особенно — одна львица. Сраженная стрелами в спину, с перебитым у крестца позвоночником, она, исходя кровью, изрыгала богохульства на все это победное шествие бородатых прохиндеев. Смерть вы лицезреете здесь. Смерть это и есть реализм, без покровов и балдахин, под которыми возносят на небо непробиваемых царей, пока те сами не сверзятся, по образу льва, в преисподнюю, с отнявшимися задними лапами, с негодующим, кровавым пламенем изо рта — по всем этажам немилосердной вселенной. Исчадь. Проклятье. О, потоп Истории, пускающий нас водопадом по камням Месопотамии! Бренность времен и вечность камней...



Позднее, в Британском Музее, узнал я и возрадовался: наши скрижали! Словно родных встретил. С детства. По снимкам, конечно. По следам. И город Лондон отныне не называю без титула — *город*. Будь благословен, город Лондон! Ты укрыл эти полчища в своих вместительных недрах! Подумать только: где Ашшурбанипал? Хаммурапи? В Англии? В британском заглавнике? «— Да, это мог бы понять один С.! Один С.!» — бормочу я горестно, будто о какой-то утрате, хотя не мне, вероятно, оплакивать друга юности, не мне возлагать цветы на его раннюю могилу. Но связь его с Ассирией для меня бесспорна, как, впрочем, и с временем, о котором речь, с искусством и спиритизмом. С вызыванием тей на очную ставку. С тюрьмой.

Кого ни коснусь, среди друзей и знакомых, разнообразно одаренных, он один встает передо мной воистину природным художником. Художником жизни, быть может, к моему ужасу. Но — художником. Что называется, «*ab incunabulis*», «*ab initio*», «*ab ovo*» (с колыбели, с начала, с самого начала, с яйца). Мы с ним учились в одном классе «А», со 2-го по 8-ой, и много спорили в отрочестве, откуда берутся на свете способности и таланты. От рождения, как требовал он, не колеблясь, дерзновенно утверждая себя? Или, как мнилось мне, жизненным нелегким путем, равно открытым для всех трудящихся, с помощью упорной работы? И он оказался прав. Вопреки моей критике, основанной на Писареве, которым я упивался в 5-ом классе, на чистейших социологических выкладках, сколько я ни работал над собой, первенцем от рождения был он, Сережа.

В школьной, веснушчатой россыпи он выглядел сердоликом, не нуждающимся в шлифовке и ждавшим лишь с годами подобающей оправы. Лишен был начисто вульгарного чувства товарищества. Учился независимо, в отличие от меня. И на уроках рисовал в тетрадках рыцарей на конях и в доспехах, по романам «Айвенго» и «Квентин Дорвард» Вальтер-Скотта. Манера Густава Доре ему хорошо давалась. Писал превосходные, с одиннадцатилетнего возраста, изысканные стихи. Эти опыты и теперь можно было бы обнародовать, в принципе, отдельным, ароматным изданием, подобно «Жемчугам» Гумилева, в тисненном переплете, которые, перемежая Багрицким, он с толком смаковал.

На полярных морях и на южных  
Шелестят паруса кораблей...

И сам изображал грудастые фрегаты, со знанием штриха... Но, главное, он унаследовал, как родовое поместье, новую европейскую живопись с еще не выветрившимися

в Москве по тем временам импрессионистами, Сезанном, Гогеном, к чему и меня, неофита, из бурлацких передвижников, торжественно приобщил, заставил вдохнуть и прыгнуть, отбросив стыд, топорищившееся разозленным ежом, не похожее ни на что полотно, которое поистине ближе к солнечному источнику, к воздуху, к пахучему мазку, чем старые клячи и дроги нашей черной Третьяковки. Да и как было, скажите, не поддаться соблазну еще не приконченного ударом правительства Щукинского собрания, где в пустых, гостеприимных залах, на Пречистенке, можно было часами бродить вокруг да около загадочного, полузапретного творчества, повторяя, как заповедь, как заклинание от чорта, пронзительные строки храброго моего наставника?

Клод Монэ и Дегас,  
Вы живете во мне, не старея.  
Эту песню для вас  
Написал я в тиши галереи.  
Вы смотрели со стен  
Удивительно *та-та* и сухо,  
Таитянин Гоген  
И безумец, отрезавший ухо...

Потрясающе! Безумец, отрезавший ухо, вдруг оказывался Ван-Гогом. И это сочинял, уверяю вас, подросток, пятиклассник, служивший мне Вергилием по галереям, научивший распознавать, что зеленые полосы на небе, вдоль холста, импровизируют дождь по Ван-Гогю, а жгучее, полдневное солнце, непосильное нашему зрению, допустимо припечатать запекшимся кружком. Мы шли к Матиссу... Но этого мало. Он провел меня по Египту, сквозь Ассирию и Вавилон, впервые указав на камне издыхающего льва, отчего и сегодня, над этой знойной плитой, я поминаю его с благодарным содроганием...

Тоньше, чем С., никто не цепил в ту пору и никто так глубоко не носил в груди эти редкие изделия. Я спешил к ним. Смазливый, акмеистического типа мальчик, немного чопорный, конечно, из достаточной еврейской семьи, он был бы, возможно, моим кумиром, если б я осмелился когда-либо полностью ему доверять. Невольно он приковывал к себе капризной эрудицией, оригинальностью взгляда, безупречностью вкуса,—но и только. Другого ему от природы не было дано. Он мыслил ювелиром.

— Ты — посмотри! — ткнул он меня носом в какую-то музейную ложечку, действительно приятную, адекватную по

форме. Мне послышалось, он говорит с несвойственной ему обычно горячностью. Даже нечто пифическое мелькнуло в озаренном лице.— Да смотри же ты!.. Видишь? Видишь?.. Ничего не хочу от жизни, ничего другого. Создать вот такую ложку...— В уголках губ у него пузырилась волшебная пена, брызгая цитатой на коралловые острова: «Так что сыплетесь золото с кружев, с розоватых брабантских манжет...»— Одну чайную ложечку! Но так, чтоб она — осталась...

Я не понял. Одну ложечку? За всю жизнь?! Подонок-вундеркинд, он бредил совершенством. Погодок, он был старше меня на три тысячелетия. Ну и сидел бы со своей золотой ложкой! Эстет... Постойте. Почему я ругаюсь? Дайте разобраться. Где пролегла граница? На чем мы не поладили?..

Наверстывая упущенное, я перешагивал моря. Так случается в молодости, когда мы растем и не хотим остановиться. Что там импрессионизм, Египет! Против его Гумилева, к войне, я имел в кармане Владимира Маяковского с начатками футуризма и Хлебникова, перед которыми вожатый явно пасовал. Ему претила грубость в искусстве. Ломанный стих. Продранный холст. Правда, позднее, студентом, он увлекся ранним Сельвинским. Но тогда уже вместо Гогена мне голову кружил Пикассо...

Это было, я бы сказал, состязание в авангарде— нет, в запрытывании под партой двух смысленных школяров, посреди надвигавшегося армадой, бравшего реванш назидательного дерьма. Мы бежали, кто быстрее, от невыносимой похвальбы и скучищи приказчичьего консервативного стиля. С. помог мне избавиться от реализма, от Писарева, от пользы, от высокой идейности и дидактики в эстетике. Я ему обязан. Дальше, однако, наши взгляды расходились, сойдясь на самодостаточной форме, как точке отсчета. Но не здесь же, не в ренуарах вкусовых извращений, не в акмеизме-футуризме, тлела трещина? И не в политике, не в социальном различии? Все это менялось, выцветало с возрастом, отступая на задний план. Но мы дружили с поскрипываньем...

В детстве ко мне, плебею, он благоволил с иронией ушедшего вперед в умственном развитии сноба, прилежащего силой рождения к промышленно-интеллектуальной элите, которую, впрочем, и в грош не ставил. Родителей своих, казалось, демонстративно не любил. Сословные привилегии его не обременяли, он рос обособленно, самоуглубленно, свободный от кастовых и национальных предрассудков, что не мешало ему при случае от всей души потешаться над моим русским вихром и залатанными штанами. Просто это

было смешно. Я не обижался. Насмешки высокородных, богатых нас не роняют, покуда мы не держим на сердце собственной ущербности. Мы сами с усами! К тому же после войны, не успев опериться, С. потерял отца с матерью и как-то разом обнищал, задолжал и жил тяжело, наравне со всеми, не по классовому ленд-лизу. Евреев прижимали. Сталин достиг зенита. Помаргивали слепые зарницы дела врачей-убийц. Тогда-то его наблюдательность и врожденное острословие над двусмысленностью вещей нашли выход. Об этом сказано у него, как всегда прекрасно, стихами.

Мудрецы-гинекологи, розовый свет потушив,  
Ловят «Голос Америки» в жаркие сети пижам...

И дальше, дальше по строчкам, с ассирийскими полками, с генералами — на свалку!

Ты дошел до черты.  
Оглянись на вечернем снегу:  
Тяжек хлопьев полет на бетонные струны  
трибун...

Ах, если бы все это оставалось на бумаге! Нас губит не искусство, но связь искусства с действительностью. Высокое созерцание собственной низости. Со стороны. Объективно. Что значит: «до черты»? Я-то знаю. В черте у него крылось предательство. Святотатство. Черная магия. А всем нравится: как написано! Как это мужественно, категорично звучит — дойти до черты!..

Он умудрялся и стихи писать так, как если бы, раздваиваясь на своего однофамильца, совершал геройские подвиги с артистической решительностью. И, право, ему вы не отказали бы в артистизме. Нельзя отказать. Совершал-таки там, где была щель. Хоть малейшая зацепка. Золотил пилюлю. Переводил эстетику в практику, и дело клеилось. Или обратно. Какая разница? Стихи-то самоценны. Едини с личностью. Проглатывали близкие. Мне повезло выплюнуть стрелу. Но к тому часу я знал его наизусть, как облупленного. Другие попадались, напрашивались. Еще бы! Аллитерация!..

Нанеся удар, обтирая шпагу, он оценивал положение трезво. Весело. Любовался. Взывал к жалости в себе, к состраданию, и, не слыша отзыва, не нашарив изъяна, ликовал. По ту, мол, сторону добра и зла, приятель. Божественно. Поверх барьеров. По мелочам, о которых дальше (в них-то

весь цимес),—вершил. Красиво, с амбицией труса, переступившего черту. Заратустра. Законопатил, по всем сыскным правилам, двух друзей, двух доверчивых оленей из родного говенного кодла, заготовленного на убой,—все равно им не вернуться назад, будь спокоен,—и очнулся, подхваченный восторгом какого-то потустороннего опыта.

Ночь, бормочет, на всем протяжении истории—ночь. Никто не узнает, не углядит за снегом. Ты совершил тягчайший грех, только что, а некому поведать. Жаль. Душа, как блядь, холодна. И ты один. Оглянись: «Тяжек хлопьев полет на бетонные струны трибун...» Какая огласовка! Небось, влюбились в талант, сверкавший— всегда сверкавший—на грани дозволенного, в провалах земли и неба, немеркнувший, недоступный. Как это, в прожекторах, над Верховным Домом Советов, над куполом, на чугунном ветру, комариное знамя, налившееся красным. И не знали? Натe! Получайте, недоумки, лелеянный с детства, от рождения, сердолик. Сколько им врежут? Десять? Пятнадцать? Вдруг выберутся из пекла?.. «—Как ты мог, Сережа?!—причитала другия через много лет.—Нет, как ты мог?» Заламывала руки. Раньше-то всегда выгораживала. А тут—какое столетье на дворе?—спохватилась зайчиха. Да и П-ские, и Ц-маны, и Л-зоны отрицали. «—Когда б Сережка работал осведомителем, он бы меня давно продал. Что ему стоило! Я ему такое, такое городил!..» Он все поборол. Подбородок. Волево, копьем, лицом, от Гумилева. Истинный ассириец. Бронзовый, немного у коршуна, нос. Багрицкий. Очки. Глазницы. Круглые бедра. Объемистый таз. Коротенькие ножки. Миниатюрные ступни (детский размер ботинка). Все, что требуется от мужчины, от женщины,—он все совмещал. Андрогин. Но зачем же, спросим себя, каждого закладывать? Пускай живут, размножаются. Не подшиты еще к делу. Не пришлось еще ко двору. А мог бы, между прочим. Его побаивался кое-кто. Осторожничал. Свобода выбора. Владеть сердцами друзей и ничего не делать, созерцать, пока не scomандуют, сознавая, что захотел бы, так и стер любого с лица, но ты не хочешь, лишь, благородно даришь себя и даже ценишь вассалов, дорожащих твоим талантом и не знающих, какие мечи и крылья сошлись уже над ними. Какие ангелы над нами!..

«—Как ты мог, Сережа?!» А что такого? Вы не могли, а вот он—посмел. Переступи, говорил, запрет, шагни и ты увидишь. Ему и ветер в зад. Самурай. Читайте. В стихах дрожащий нищееанец переживал катарсис. Спускал в труссы со страха и любопытствовал, изучал окружающее. Всю нашу

подколенную и извительную жизнь. Покойник. Не подозревая о том. Выбалтывал. Подбадривал себя. Обнажившись, анализировал, выискивал душу, а где она, кто скажет? — душа просвистывалась, — и, не находя, входхновлялся: «Ты дошел до черты. Оглянись...» И действительно — картина...

Из себя, говорят, не выпрыгнешь. Точно так же не выпрыгнуть нам из стилия, из действительности, из отмеренного отрезка пути, куда нас приколола, как бабочку под стекло, история. От себя не убежать, говорят. Но можно отстраниться, опомниться, взглянув другим, удивленным взглядом на то, куда ты приколот — не местом только и временем рождения, но сердцем, до конца дней. Мою эпоху я вижу в образах густой-густой августовской ночи. Она опустилась на голову нам не сегодня и не вчера, а еще где-то в неолите — звездным, метеоритным дождем на кремнистую, кремлевскую землю. И каждый падающий, играющий в горнем небе кристалл о себе говорил: «сталин», «киров», «гитлер», «жданов»...

Я не доберусь до главного, до начатка рассказа, но стараюсь, карабкаюсь, задерживаясь по дороге, на отрогах Пиренеев. Да, здесь, во Франции, представилась и разверзлась перед нами пещера, дай вам Бог какая — каменного века. «Пещера покалеченных» или, как еще их называют иногда, — «Пещера отрубленных рук». Ничего не понял. Грот — как самая обыкновенная тропочка со ступеньками на склоне. А потом — вниз. У предков, у предела Пиренеев сподобил Господь в конце — у начала, ну конечно, я подозревал, найдется она когда-нибудь, так что не одолеешь, не надейся, не пользуйся — не изобразить, но все же не думал, долбил лбом, но не был и не видел. Но. И мы вошли.

К вечеру уже мы проникли в скудоумный тайник, неважно, что ползком, в подкоп, с общей толпой, с гидом, без которого не пройти по лабиринтам, один за другим, ощупью, по звонку, мы вошли и вышли, — неважно. Заранее боясь и приготавливаясь к тому, что нас ожидает, я все же недоучел и ужаснулся обозначенному въяве, и обомлел: — Какая! До потолка! Недоставало одного — увидеть. Но требовалось дальше, увидев, связать с чем-то, сравнить, чтобы понять, но выскальзывало, не удавалось, и я, освирепев, вместе со всеми полез под землю, в пропасть, до скончания веков. Ну, думаю, ты у меня увидишь! Но увидел не я, а она... Но.

Стоя твердо, на двух ногах, как человек, — я вошел, как полагается. Я вошел, а она обрадовалась и пошла, и повела, взяв за руку. Раздалась, и тронулась, и потекла, и потянулась, пещера, вся из камня, как вода, свободно развалась, что

бы там ни было до и после, птицы или рыбы, не задумываясь о людях, о будущем.

— Над нами,— сказал проводник,— толщина в 170 метров, до поверхности!

Ничего себе! Страшно представить: над нами, надо мной — 170 метров камня! А все как в жизни. А она, между тем, великанша, опускалась глубже и вширь и мерила себя, в отсутствии всего, миллионами лет, медленно, образовывая пустоты величиною с Европу, с ее разветвлениями, по которым уже никто не ходит, и, не уместаясь, наступала на ноги и шла дальше, к выходу, к воздуху где-нибудь, сделавшемуся входом, независимо от нее,— и мы вошли, троглодиты, трясясь, обрастая шерстью от холода, в храм, впервые в жизни. Что же мы узрели тогда?.. Водопады камня, водопады камня, каменные водопады — а вы и не знали? Вавилонские улитки, вкрученные вверх, до неба, двести метров, до каменного неба — каменными вавилонами. Говорят, все это сделала вода. Но спросим воду — зачем она это сделала? Спросим землю. Спросим Бога. Нет просвета. Девочка всплакнула на французском языке: — Мама, это — из снега? Так нет, какое там, не из снега, из камня выкованы эти залы, и церкви, и проспекты, не имеющие продолжения, эти карцеры и камеры, уже переставшие течь и сами перед собой застывшие, остановившиеся в испуге, в изумлении, что из камня, а все еще текут. Завинченные сталактиты, за столько лет до тебя, вопиют к небу — раздвинься, скрытому под камнем, под тяжелым потолком, который вот-вот низойдет, раздавит, выплеснувшись павильонами, башнями, по которым мы ходим, глядим, ютясь под ледниками, как бы не обвалилось, покуда не вспомним, что вот этот, именно этот потолок, опускаясь на череп, делает из обезьяны квадрат, с которым мы и ходим, на голове у человека.

Как молот каплет вода. Дно перетасовано следами бронтозавров. В мозг. Куда? Все испорчено. С основания начиная. «— Спи, мой мальчик, и не думай...» Так уже и мамонта нет. А мы все еще ползаем. Того и гляди — осядет. Под каменным небом молимся. Как живоприимна, однако, эта найденная вода. В зайчике-фонарике замечаем отпечатки. У меня срывает: нет фотоаппарата. Да и снимать уже нельзя. Красные, белые, черные отпечатки, с обрубленными наполовину фалангами пальцев, растут и растут на стенах по мере того, как мы начинаем осваиваться. Здесь бы и остаться. Похоронить себя. Спасти... Так нет — лезешь наверх.

Первобытным человеком вылезаю из укрытия и, на честных четвереньках, смотрю в изумлении в небо. Бомбит.

Ну и бомбит! Понимаю: пугают. Есть и другая жизнь на планетах. Но вся она — сквозь сетку каменного дождя, в клеточку: «сталин», «ленин», «гитлер», «жданов»... Эх, как загорелась, было, над нами звезда «Мао Цзе-дун»! Какой кометой пронесся по небосводу «Фидель Кастро»!.. И нет уже. А те — за старое. Сколько можно под дождем? Привыкаешь. Успокаиваешь себя. Это у них, у богов, работа такая: бомбить, бомбардировать. Они без этого не могут. А ты живи под ними. Спросишь, бывало, жену из магазина: ну как там — бомбит? Только рукой махнет: лезь назад, старик, под крышу, под землю! ох, нонче и фугасят! эзлик перед грибами...

— Под каким Зодиаком вы родились? — вопрошаем друг у друга участливо у камелька в землянке. — Под Стрельцом аль под Весами? Какова у вас астрология, синьора? Или опять, как всегда, мне ответите непреклонно: — Скорпион?!.

Не говорю за других, но собственному гороскопу я не перестаю радоваться. Я родился под созвездием: «Сталин — Киров — Жданов — Гитлер — Сталин». И ничего другого. Никаких там больших и малых медведей. Само тысячелетнее солнце — «Ленин», усохнув, сделалось едва заметной, беззлойной звездочкой октябренка. «Сталин», в соцветии («молотов», «каганович»), сиял во весь горизонт и загадочно усмехался. И с ним, как огненный обруч, тайна, усатая Тайна, простиралась над нами в ту романтическую ночь. Мы пережили великое, незабываемое искушение — чудом. Лишь один Антихрист впереди сулит нам что-то в этом роде, еще более занимательное. Что власть без тайны, без чуда? — Механическая сила, и не более того... И в том прощивании каменного неба шелковым, звездным узором, в сотворении потустороннего сумрака истории — Госбезопасность (всегда на страже), уверяю вас, играла не последнюю роль...

Сейчас нелепо предъявлять претензии энтузиастам и романтикам политического доноса. Массам. Народу. Павлику Морозову. Верили. Рыдали, но верили. Рубили, но верили. «Тогда, плача и плача, он отрубил ему голову», — вытаскивал С., похохатывая, японский средневековый роман о каком-то самурае. (И правда: как сказано!) Мы знавали идеалистов чистой воды, высокой пробы, и добрых от природы людей, которые гордились бекорыстным доношением. Все шло в одном строю с обороной, с трудовым подвигом. БГТО. Здесь были, по зову партии, долга и совести, свои бесстрашные Чкаловы, перелетавшие Северный полюс ради восстановления истины, челюскинцы, папанинцы, бравшие Зимний дворец, сомнамбулы, вслепую идущие на таран, и твердые



Александры Матросовы, заткнувшие грудью вражескую амбразуру. (По счастью, мой герой не из их числа...)

Блаженный Павлик Морозов ходил среди нас живцом, подобно бесплотному отроку с юродской картины Нестерова. Не его ли, несчастного брата, всплывающего ночами с дна лесного, светозарного озера, поджидала безутешно Аленушка на даче у Васнецова? Головка долу у заколотого цыпленка, а сам, как туман, прозрачен, водянист, иконописен, scarлатина. Блудливая улыбочка святости плачет, ская, на страдальческих устах. Шейкис кажет кровожданое ожерелье, источает по капле, как из пипетки, чудотворный гной, ядовитую сукровицу невинности. Медицина. Пахнет поликлиникой. Хлоркой. Ладаном. Фиалками. Формалином. Слышать, замачивают трупё перед пасхой. Агнец. Ходит по полю стройной березкой и косыми не глядит: умертвили. Годочков-то сколько божьему угоднику? А уже донес и воскрес! Вдумчивый историк с удивлением обнаружит всенародный героизм и отзывчивость в негленном тельце маленького стахановца, замороженного, как Ленин в гробу, для вечной жизни. Всем пионерам пример и взрослым — Павлик Морозов!

Мы, дети, тянемся за ним, за призраком, не цепью стукачей, но в поисках приключений, с честной готовностью к жертвам разведчика в завтрашней войне. Рассматриваем на просвет бравые пионерские галстуки с вытканной где-то, по слухам, тайной свастикой, если растведать вредительские нити. Не видим. Старшие, из 7-го «Б», три свастики, говорят, обнаружили и вовремя предупредили измену, а нашему 5-му «А» с диверсантами не везет. Обычный, пресный кумач...

Одной только Людочке Щ. что-то померещилось. «— Вон! вон! — шепчет. — В середине! — визжит. — Фашистский знак! Вижу! Настоящий фашистский знак!» И как зарезанная: «— У-у-у, изверги!..»

Где? Бросаемся. Рвем из рук. Никаких стигматов. Расходятся нити, как пионеры, правильными отрядами, с фабрики, не складываясь ни в какой подобающий задаче сигнал. Ну ромб еще, в крайнем случае, можно рассмотреть. Равнобедренную трапецию. Пролетарский параллелограмм... Правда, если восстановить под прямым углом ту мыслимую линию, либо сбоку подвести к ней воображаемый короткий отрезок, то и вычертится, быть может, в рядах ткани тоненький, затерянный в собственной паутине зигзаг. Анаграмма. Тригонометрию, конечно, мы еще не проходили, а Людку уже трясет. В приступе гадливости едва не стошило вредительницу. Вшивый номер, уныло резюмируют ребята. Мираж. В райком не доложишь. Не говоря об энкавэдэ. Никто

не поверит. Все равно, спорит, не могу терпеть. Уйду с урока. У меня температура, аллергия. Смотрите — съшь... И впрямь, представим, кому понравится носить на шее, вместо пионерского галстука, невидимую тифозную вошь? Ох бы — в комсомол!..

Назавтра еще новость. Будто бы на обложку ученических тетрадок в этом году, в графическое изображение Ленина вкрался вражеский лозунг, шпионский пароль. Стоит повернуть рисунок, и в неистощимой бородке на щеке вам откроется внедренная кудрявым почерком надпись: «Ленин — друг Троцкого». Откуда это взялось в голове? как связалось? — «Ленин» и «друг Троцкого»? Экая ахинея! Как мы ни мудрили, ни вертели на уроках злополучную голову, с какой стороны ни прикладывались к ней, в зашифрованных морщинках, волосиках, в сетчатой клетчатке ничего антинародного так и не нашлось. А другие пионеры, из 6-го «Б», уловили в лупу две бисерные буквицы — то ли «н», то ли «д». Техника! Но чтобы дальше прочитать? Хоть вяжите под микроскопом. Попрягались биксы. Естественно: на дворе зима 38-го года...

Лишь много позже я начал догадываться, что в ленинской шпионской штриховке с прищуркой, действительно, таилось что-то подозрительное. Что-то, может быть, даже остро-троцкистское для жизни. Просто все эти кишевшие бактерии по сусекам в панике разбежались, переползая с одного на другое в поисках укрытия, и в итоге порою оказывались в самых неподходящих местах. Не зря светские дамы свою нижнюю растительность фамильярно, не без кокетства и греховодных аналогий, называли тогда «бородкой Троцкого». Но это уже потом растолковала мне по знакомству одна не старая еще генеральша. Сколько стоило труда! Дескать, не все так эстетично в жизни, миленький, как вам хотелось бы, и всюду вмешивается политика. Но если, спросим себя, враг отыскался где-то совсем поблизости, то почему его не было там, на бедной школьной скамье?..

Однако и в эту пору С. выделялся из всего класса какими-то замысловатыми поворотами ума. Был аполитичен и, думаю, холоден к режиму. Презирал толпу. Не верил ни в чох, ни в сон. Я даже не помню точно, был ли он когда-нибудь пионером, как все дети, — настолько обычные формы казались ниже его достоинства. Как если бы с пеленок, вне развития, он все постиг и носил при себе до срока, озадачивая меня решимостью иных побуждений.

Той же зимой мне посчастливилось впервые залучить в гости после школы моего бархатного мальчишка и, подталкивая сзади, с осторожностью провести по нашему

зловонному и скандальному коридору. Вы не забыли, разумеется, что значит для нас первый собственный гость в доме, начитанный и красивый принц из другого мира, в двенадцатилетнем возрасте? Мы важно рассуждали о превосходстве Ренуара над Шишкиным и Стендаля над Вальтер-Скоттом, выказывая каждый свои незаурядные познания, мама вышла на кухню подогреть нам вчерашний суп, когда С., как-то воровато оглядевшись, сделал стойку...

Прежде чем, однако, воспроизвести в натуре его нечестивый жест, давайте глазами прищельца я обеда нашу старую, коммунальную жилплощадь на Хлебном с ее казенной нищетой и закоренелой посредственностью,— все эти кастрюли, сковородки, пузырьки на подоконнике, фанерный гробик с посудой, руину гардероба, перестроенную под книги, с неструганными досками вместо полок, обернутыми бумагой, чтобы случаем не занозиться, квадратный обеденный стол под мыльной клеенкой, глупую, свисающую лампу с потолка, без абажура, сундук... В простенке, между окон, висел у нас, маминым старанием, Карл Маркс, в застекленной овальной раме, как подобает профессорам ушедшего столетия. Пониже Ленин, без стекла, выцветшей семейной реликвией, тянет с удовольствием бревно на трудовом субботнике. А сбоку, на голой стене, с недавних пор поселился Иосиф Виссарионович плакатного формата, с подогнутыми краями, приколотый кнопками к обоям, прямо так, на живую, приветливым невозмутимым лицом.

Раньше там висела у нас «Золотая осень» Левитана, которую мама разжаловала, сменив свежим портретом из своей библиотеки, а «Золотую осень» свернула в трубку и унесла в отцовский подвал. С какой стати обнова? То ли в ответ на шпионские проiski, участвовавшие в печати? В защиту от набегов соседей? В охрану и поддержание домашнего очага, такого непрочного, что вот-вот обвалится? Или, как старый политпросветчик, не хотела отрываться с отцом-эсером от стремительного движения масс? Скорее, все вместе. Но не в том соль.

Едва с моим юным другом мы остались одни в комнате, он взвесил обстановку, мгновенно освоился и, не находя препятствий, поднял руку на Сталина. Да, буквально, вытянул указательный палец, в виде револьвера, медленно прицелился и вылепил мягкое «пу» губами, как производят малые дети в обозначение выстрела. И с торжеством, оценивающе, покосился на меня: дескать, что скажешь? какова ситуация?!. Я молчал, подавленный неумным кощунством. Тогда он вторично пнул из пальца в безобидный плакат, наслажда-

ясь моим замешательством. «— Перестань дурачиться»,— уныло протестовал я, не зная, по существу, что возразить на его шутовство и почему, собственно, оно меня так коробит?

Сталин, пользуясь уважением, не был иконой в нашем доме. Как, впрочем, и другие вожди, включая Маркса. Я воспитывался, хочу напомнить, в более ранней, утопической традиции, от отца, сколько мама ни пыталась связать прошлый годний снег с текущим моментом. Мне больше нравились Гарибальди, Джордано Бруно, Софья Перовская... Встававший в ту пору над горизонтом улыбающийся кавказец, сквозь сеть моего детства, расплывался желтоватым общепринятым пятном, не возбуждая личных эмоций. Кривил, негласно проскальзывало, дутым честолюбием, недостойным революции, но делал полезное дело по развитию страны и промышленности. Пусть себе висит... И все-таки этот глянцеви́тый лист на бесприютной стене втайне меня раздражал и бередил рану, как, случается, смущает нас жизнерадостная маска на лице неизлечимо больного,— подчеркивая убожество и разящее безобразие комнаты в глазах моего гостя. Ее жалкая нагота впервые представилась мне с какой-то иной, постыдной стороны...

Понятно, невинный выстрел в бумажное наше прикрытие передразнивал диверсии, которыми пестрели газеты. Кто-то, казалось, стреляет из-за угла пальцем, а пойманных после расстреливают уже по-настоящему. Однако ни замысла, ни дерзкого покушения, пускай воображаемого, на вождя я в жесте. С. не нашел. А так, пустая игра с глазу на глаз, без риска, с тем, во что не играют,— эстетика провокации, как я бы теперь обозначил этот предательский шаг, чувствуя в ту минуту лишь его недопустимость. «Убийца» — пронеслось в голове, хотя я видел, что все это не более, чем ребяческая забава. «Трусливый убийца...» Слова «провокатор» я тогда еще не знал...

С. раскраснелся. Скинул сюртучок и посыпал заряды, наводя свой пистолет уже и на дрожащий шкафчик, и на тощую, усыхавшую на тумбочке, тропическую пальму в углу — подарок мамы на мой день рождения. Им владело, я полагаю, сознание безнаказанности в пальбе по открывшемуся вдруг незащищенному пространству, по мерзости запустения в доме, о чем свидетельствовал лучше всего, наглядной агитацией, Сталин в качестве транспаранта, который легко простреливался. Он бил в чужую, широковещательную приниженность и бесталанность. Он метил в меня. Просто учуял, по-видимому, болевую точку и не мог остановиться...

Между тем С. не был шалуном, как другие мальчики в его переходном возрасте — изобретатели злостных подвохов и бесчисленных жестоких разыгрываний, цинических выходов, граничащих с пороховым взрывом, чем так нестерпима подчас детская слепая среда. Подобные кривляки и гангстеры, из самых, в том числе, добропорядочных семейств, водились и в нашем питомнике, предназначенном в основном, старанием дирекции, тогдашним столичным сливкам. Неугомонный фокусник и весельчак, Юра Красный умудрялся чернилами вымазать язык и, сплошь фиолетовый, высовывал педагогу, коль скоро тот заходил над кляксами пачкуна. Жевали на уроках бумагу братья-близнецы Гоберманы и шваркали с камчатки в отличников. Грозный Боба Вольф, тяжелый второгодник, похожий на раскормленного, породистого бычка, с целью исправления посаженный рядом со мной, за первую парту, изводил добрейшую Лидию Германовну, сдобненькую, сладенькую немку, плохо знавшую по-русски. На все ее инфинитивы Боба исподлобья, угрюмо твердил одно: «бляйбен буду, хир-хер, Лидия Германовна!» Та не понимала, что он хочет этим сказать.

— Bist du hier!

— Хир? — Хер!

Помнится, я упрекнул Бобу (он жаловал меня за то, что я давал ему списывать): зачем же при девочках так неаккуратно выражаться? — что они могут подумать? Встал, громадина, в замшевой куртке на молниях, какие в Москве тогда еще не носили, единственный у нас в классе обладатель ручки «Паркер» с автоматическим пером, разбрызгивающим по толстым, кожаным блокнотам исключительно чертежи лишь одних локомотивов, свирепые экспрессы разных формаций, обвел присутствие мутным взглядом и так, чтобы все слышали: «Разве это *девочки*? — вопросил. — Это же коровы, а не *девочки!*» И сел на место. Но по тому, как он уважительно, с мужской хрипотцой, произнес «девочки», мы, притихнув, смекнули, что у Бобы за плечами, быть может, что-то посерьезнее вечной неуспеваемости и всей нашей высокопоставленной, образцовой школы. «Золотая молодежь»...

Нет, мой избранник был не из таких — оторви да брось — наглецов. Никогда не хулиганил, не баловался. Все эти юные гнусности к нему не прилипали. Корректный, сдержанный, с высокими запросами, в подогнутом у портного, интеллигентном костюмчике, он рисуется мне готовым эталоном, как это бывает у художественных натур, которые не ищут себя, а находят в оригинале, вместе со своими твореньями. Маленький по виду, но зрелый не по

годам и респектабельный уже господин. В общих играх и драках участия не принимал, обходя стороной, из чувства брезгливости или эстетичности, очевидно, что было развито в нем невероятно, до крайности, до отвращения ко всему некрасивому, жалкому и смешному в нашей жизни. Быть может, именно этим объясняется один казус, который нас обескуражил и выставил вдруг С. в каком-то возмутительном духе.

Мы учились, если не ошибаюсь, уже в шестом, когда ни с того, ни с сего ему вздумалось мучить, доводя до слез, несчастного третьеклашку М., страдавшего заиканием. Поймает на перемене, соберет народ из дураков и давай имитировать — мычать, бляеть, гримасничать, как перед зеркалом, пока у бедняги не начнется настоящий припадок и тот не кинется с громким ревом на своего преследователя. Но что он мог, козьяк, поделаться с великодержавным тираном, который крупнее его и старше в два раза, тем более, что С. избегал открытых схваток и, оттолкнув малыша, с озобоченным лицом шествовал себе дальше. Товарищи М. по классу жаловались нам через своего посла, и мы, всем коллективом, уговаривали собрата уняться, напирая на неэтичность и беспринципность его зарвавшегося азарта. Чудовишно: взрослый, образованный человек, благовоспитанный, тонкий, с печатью необычного, великого, может быть, предназначения в жизни, находил удовольствие в том, чтобы, словно какой-нибудь жлоб, дразнить исподтишка безответного больного ребенка! Глумиться над калекой?! Нет, это не по-честному, не по-комсомольски. Где твой, вообще, пионерский галстук? Почему не носишь?.. «— Да что вы, ребята, серьезно? — он слабо сопротивлялся. — Я просто пошутил один раз. Что вы — дружеских шуток не понимаете? Элементарное чувство юмора? Ну ладно, больше не буду. Если вас так волнует. Клянусь...»

Но стоило ему повстречаться с неисправимым заикой где-нибудь на лестнице или на школьном дворе, как все снова начиналось. Пока Валя Качанов из параллельного класса, боксер, не объявил, что разобьет ему морду, если он не перестанет... И все кануло в Лету. Травой поросло. Дурная вспышка мальчишеского, невразумительного садизма угасла, как и возникла в кой-то веки, внезапно, случайно, и, мне казалось, без последствий.

Но я ошибся. При всех достоинствах С. был феноменально труслив. Впрочем, это, с другой стороны, входило в его достоинства и ставило палки в колеса там, где игра таланта не ведала преград. Многого себе он просто не мог позволить. Берегся. С сильными мира сего задираться избегал. Для

комедии, на потеху выставлял слабых. Запасливая оглядка, боюсь, его и подвела. Подчас, говорят, к предательству влекутся трусые. Реже, но тоже случается, им сопутствует поэзия. Но совсем уже в редкость, в невидаль: гений и злодейство. «Вещи несовместные». Так ли, однако? Никто не проверял.

С ним нужно было всегда держать ухо остро и требовалась твердость. Деланная, пускай показная способность к обороне. Тогда он отступал. Не дай Бог открыться перед ним в какой-нибудь червоточине, в сердечной ране, в крушении. Он впивался рефлекторно, порою во вред себе и своей увядающей с возрастом в приятельских кругах репутации. Что спросите с художника? Пожмет плечами. Не мог удержаться. Призвание.

Я ему прямо сказал, когда запахло скипидаром: «— Если меня посадишь — мы сядем вместе. Учти!» «— Ну что ты, — поспешил он заверить, — какой разговор?! И потом, ты же знаешь, мы на одной веревочке...» И ведь не обиделся, не возмутился, бестия. Сильным быть ему льстило. Знал бы, что нету веревочки, — не преминул бы сквитаться, и не из мести, не из корысти, ручаюсь. Не из какой-нибудь высокой, слава Господу, революционной идеи, которую уже ничем не остановишь. По ощущению уязвимости в ближнем. Физиологически. Сюда и вонзить! Просто выпустил бы жало, не рассуждая. Как тарантул. Талантлив был. Гениален, вражина.

Шантаж, вы скажете? Согласен. Каюсь. Но чем еще, посоветуйте, оградиться от убийцы? Одно спасение — трус!.. Спустия пятнадцать лет и по другому уже поводу, Марья посулила: «— Помни, Сереженька, если с Синявским что-нибудь случится, — я тебя убью!» Буквально, молотком пристукнет паразита. Ножницами заперет, — пусть откроет только рот! Затрясло... Навряд ли ему что-нибудь угрожало, если рассуждать. Я, например, сомневаюсь. И в молотке, и в ножницах. Говорю себе спокойно: убийство — призвание трусов. Но С. поверил! Думал, поди, глотку перегрызет. В его воображении, в художественном мозгу, она все могла, фурия! И так уже распечатала на каждом перекрестке: доносчик. В какой дом ни войдешь... Он жил, как прокаженный. Слава предателя к нему наконец пришла. «— Клянусь!» — побелел. Что толку в его клятвах? Оттянуть — задача. Отвадить. До весны. До осени. До следующего года...

Не потому ли за две недели до нашего с Даниэлем ареста он скрылся из Москвы? Отвалил, как говорится, в глубинку. «— Какого человека затравили!» — шипел следователь. Я выказал удивление: «— Какого человека? Кто затравил?..»

«—Молчите! Нам все известно!..» Ничего им неизвестно. Но если по-честному: не затравили—обезвредили. И то, по-видимому, частично. Временно. С опозданием. Серьезных секретов, конечно, ему и раньше не открывали. Не тот мальчик. Но кое-какие улики вертелись и зудели у него на языке. Успел ли он ужалить напоследок?— не знаю. Я досе в руках не держал. Оперативные материалы не показывают арестанту. К тому же, заметно по всему, его берегли после старого провала. Старались обелить. Сбагрить с глаз подальше. Исчез. Одно известно: исчез. Чем все это еще кончится?..

Ведут на допрос— молишься Богородице... Потом я много раз испытывал, перебивая себя: отчего же— Богородице? Не Богу и даже не Христу, а Матери Небесной? Ответа не нашел, и не надо нам ответов. Не должен человек понимать, куда и почему влечет его мольбой, так или по-другому. Доверься. Уймись. Насколько наша душа умнее и бесконечнее нас... Смотри по сторонам. Насколько Лефортово страннее Лубянки. Как все здесь огромно и благоустроено в утробе. Объем. Выведут из камеры, голова кругом идет: этажи! этажи! Лабиринт. Внутри Вавилона многострунная, этажами завинченная, турникетами,— карусель. Инструмент. С колоссальным проемом, пролетом, колодцем— в переборках. Для обзора, что ли? Сквозь ребра. Костел, да и только. Перестроенный в Колизей. И сети повсюду, сети, вместо земли и неба. Как ангелы мы. Как в цирке. Ради страховки? Чтобы голову не разбил, если разбежаться и прыгнуть. Кто-то мне объяснял. Для гарантии, после Савинкова-де повесили. Не захотел сидеть, по суду, отмеренные десять лет и полетел. Поди проверь Икара. Может, крылья-то подрезали. Касаткой. Из окна. А сети всегда, испокон века, висели и висят, чтобы не ушел от судьбы, не выскочил из тела раньше времени, пока всего не размотали...

Со мною, кажется, все ясно. И с Даниэлем— ясно. Как легко, как спокойно за одного себя отвечать. В крайнем случае за двоих. Ну а как дальше пойдут, вразнос, кувыряться, налезая? Хорошо, между собою не связаны. Один про другого не знает. Для каждого, отдельно, я— «паровоз», на юридическом жаргоне. Возил, до станции, по одному вагону. Но, в общем-то,— поезд, цепочка. И если загремит паровоз, идет на свалку, вагон за вагоном,— состав. В крушение, под откос, никто не выпрыгнет. И как нам, падая, отцепить вагон от паровоза? Где тормоз?.. Допрос!.. Тормоз?.. Допрос!.. Плохо, тяжело быть «паровозом», Богородица...

Между тем, я не солгал, что не вмешиваюсь в политику. Литературы, искусства с меня хватало. У всякого своя



специальность. За год до ареста, примерно, появился к нам, на Хлебный, коллега. Молодой тогда, модный марксист-ревизионист и ныне тоже видный русит, и говорит: «— Давай, говорит, создадим свою «платформу» на марксистской базе. Соберемся. Составим список...» За мною уже вились по пятам терцовские и другие истории, и я честно сказал, что марксизмом не занимаюсь, политикой не интересуюсь... Что тут началось! «— Мы,— кричит,— пойдем по лагерям! А ты, ты, Андрей, будешь отсиживаться в башне из слоновой кости?!.»

Частенько я вспоминаю теперь преуспевающего коллегу. Вот она — Башня. Слоновая кость. От допроса к допросу. Оставь. Не думай. Забудь. Насколько она пустынна, больница. Будто никто здесь и не сидит, и не сидел никогда. Неужто на нас двоих, на Даниэля и на меня, рассчитана эта громоздкая, сотканная из железа постройка, похожая на город в воздухе, на подвесные дома-города в будущем всемирном хозяйстве, как их рисовали в утопиях когда-то, в заманчивых инженерных проектах, по образу планет в солнечной системе, где на штырях, в октаэдрах, вращалась бы, в эндшпиле, интегрированная вселенная?.. Одна электроэнергия чего стоит! А персонал? На каждом зеке, почитай, десять тысяч аппаратчиков кормится. Лестницы, лестницы. И всем дай квартиру, детей определи и снова пристрой к месту! А где взять на всех? Незадача. И государство — разорвется. Если бы зеков хватало на душу населения, спасли бы страну от нищеты. А так, на всю паутину, две запутанные мухи. Им нужен враг, им необходимы враги — прокормиться. Без врагов они не могут. Кто будет, в противном случае, накачивать мышцы атланту, вздымающему на вытянутых руках к небесам весь этот улей, всю гибельную конструкцию, повисшую паутиной мостов, снастей, отсеков, как Чертово колесо в парке культуры и отдыха, как в Австрии, на Пратере, сады Семирамиды?..

Не подумайте, однако, что я худо отношусь к паукам. Сравнивают иногда государство с пауком, и напрасно. Ничего общего. Увидеть паука — сердечная примета: к письму. Ни писем, ни пауков вы не увидите в Лефортово. Все выметено, вычищено. И потом ведь не просто так, только чтобы полакомиться, он тянет бережно сеть где-нибудь под лестницей, в чулане, за печкой, в углу, куда и попадаются дуры-мухи. Да ведь не всякая и попадет. Мухи-дуры и не летают там, где орудует паук. Мухи летают, подобно истребителю МИГ, и не думают о заткавшемся от них подальше, в дохлую полутьму, созерцателе. Что им паутина? Пробьют. Что он —

ловит момент, растягивая наудачу, где потемнее, поскромнее, свои трепетные сети? Не поверю. Всегда благоговейно: как он еще терпит? чем питается, отшельник? В пяти углах. В захолустье...

Боюсь, паук — скорее — поэт, музыкант. Неважно, что тишина: может быть, мы не слышим? Нити его похожи на струны арфы (ах, как все подобно всему). На нитях своих, на паутине он играет. Может, порою внушает какой-нибудь мошке: пойди — отдохни! Мне всегда было жаль сметать паутину в комнатах. Такая архитектоника! Притом с литературным рассудком. Насекомые — поют, жужжат. А паук говорит: посиди на этих струнах. Забудься. Есть какая-то связь у паука с его постройкой и звуком. И то и другое воздушно. Вниз головой. Под углом. Траектория!.. Я никогда не убивал пауков.

Здесь тоже тишина. Ни голоса, ни стона. Может, мы просто не слышим. За полгода, почитай, ни единой души не встретил, какую бы вели, как меня, на допрос или с допроса. Может, здесь и нет никого. Недаром — Изолятор. Во избежание встреч, нечаянных пересечений с таким же, как ты, засаженым в пенал обитателем, ради неразглашения тайны и поддержания молчания, надзиратели между собой переговариваются руками, рисуя в воздухе свастики. Либо, на перекрестках, когда ведут, цоканьем, чмоканьем, кваканьем, змеиным шипом, птичьим щебетанием, стуками ключа, в крайнем случае, по чугунным перилам, негромко, мелодично, отчего, кажется, общий баланс тишины лишь увеличивается и пространство вырастает, раскачивается... На железных мостках — ковровые дорожки: шаги бесшумны. Чу! Позади, впереди: «— Цы-цы-цы!.. Фью-пью!.. Хрм! — ххх-рр-мм!.. С-с-с-с!...» Странно первое время. Дико. Почему бы, спрашиваешь, им по-людски не объясняться со своими? Дескать, встречный, обожди, дай дорогу, пока мы пройдем! Объясняются же они со мной минимальными словами: «не оборачиваться», «руки назад» — всегда, правда, напряженным, злоеющим, до свистящего бешенства, шепотом. Чтобы, видимо, отрезать от жизни, ввергнуть в предвечные, загробные законы безмолвия, в согласии с чертежом неистовых перекрытий, сетей, лестниц, располагающим, в лучшем случае, к чревоущанию или, редко-редко, клетку и руладам вашего провожатого в нежилых железных лесах.

Но и здесь побеждает прекрасная иерархия здания. Черви не поют. Рыбы не слышат. Звук и слух — дары воздушной стихии. Уже у лягушек: отделились от земли. А любое насекомое, ничтожное, по сравнению с нами, но летающее, уже

музыкально. Какой-нибудь комар, стрекоза. Жуки и шмели, тяжелые, как бомбовозы. Птицы. Такие маленькие. А как поют! А как поют — так и летают. Природа воздуха, природа воздуха берет свое! Как все соотносится здесь: и язык, и композиция...

Возьмите натюрморт. Полотна под этим титулом у старых мастеров — не мертвы. Рядом, по прихоти автора, капризно разместились (попарно): очки и часы, лимон и стакан, подвешенная вниз головой, только что с охоты, подстреленная хозяином утка (или заяц) и лютня, законная обитательница семейного дола, стола. Вещи корреспондируют почти как силлогизмы в развитии стройного длинного формального доказательства. От птицы, еще теплой, с озера, вниз головой, к лютне (или мандолине) протягивается путеводная нить. Причем тут лютня? Как будто чуждый, сторонний подвешенной утке предмет. Какое отношение к жизни имеет смерть, к образам природы — искусство? Но посмотрите: птица убита, а пустой инструмент, в соседстве с ней, зазвучал. Речь идет о будущем, о сближении вещей, о встрече параллельных, несогласованных потоков. От мертвой утки к живой лютне.

Нет, не для двух арестантов (не на пустом месте) построена эта лечебница. И не ради оправдания преизбыточного штата охранников (включая густые правительственные верхи). Но в образ прозы, какой являет Лефортово. Огромная (раздутая) грудная клетка страны, ее каркас и корабль (в палубах, мачтах, снастях), она умудряется снаружи сохранять порядочность скромной жилищной (или строительной) конторы, прикрытая панелями следственного отдела, вспомогательными казармами, службами (графологи, фотографы, дешифровщики, эксперты по отпечаткам шрифта на пишущей машинке [буква «е» западает], звукооператоры), гаражами, складами, так что сторонний наблюдатель и стен ее не приметит, не то что засовы, решетки, намордники (не пропускающие ни грана в застроенное окно [видна иногда только полоска неба <если падает снег>, и то с дистанции, встав на пыпочки <к толчку, глазку>]), созданными, как нарочно, чтобы мы оказались в самой глубине разграфленного на бесчисленные каверны ангара, в толщине ячеек, в конечном интерьере, в сечении, в кирпиче, в вобранном и разомкнутом в новом измерении образе пространства, не менее вместительном, однако, чем все потерянные нами, окружавшие, если вспомнить, образы природы и общества. Извне, я уверен, никто не оценит резервы сооружения. Никто не догадается, как велика его, скрытая от зрителя, клеть.

Разве такое возможно, вы спросите, чтобы то, что внутри, было неизмеримо обширнее того, что обозреваешь снаружи? В Лефортово я убедился: возможно.

Обведи вокруг боковым зрением, пока ведут на допрос, и ты увидишь: вокруг сюда не относится, не подходит: она вся внутри: улитка. Вся навыворот, наоборот. Недаром именуется: Внутренняя. Не навыворот: опять неправильно: развитие внутри: в сердцевине: в микроскопическом, клеточном строении материи. Как объяснить? О если бы я был композитором!..

Говорят, отображение жизни. Сомневаюсь. Образ прозы соотносится с Лефортовским замком в виде паутины. Расставить сети. Перекинуть мосты-гамаки. Застроить кое-как и, застройкой, создать пространство на бумаге. Достаточно. Чего еще ждать от прозаика? Он тшится перекрыть действительность путем отступления от нее в сторону... Чего? Не известно... Не прямо же, простите за наглость, ее изображать? Упустишь. Не получится. Когда пишешь, то волей-неволей включаешься в иную, пишущуюся уже действительность, идущую параллельно, либо под углом, по касательной, от жизненного потока. Не то чтобы обман или выдумка. Храни Бог от эстетизма. Художник не может, не должен быть снобом. Вечный труженик, паук. Просто законы другие. Ты действуешь в ином измерении. И все, что с тобой происходит, и сон, и явь, и борьба не на жизнь, а на смерть, остаются, сколько ни прыгай, на уровне страницы.

Старинный свиток, папирус, вероятно, более отвечал назначению письменной речи, нежели наша бумага, разрезанная не к месту на отрывистые листы. В свитке была непрерывность и протяженность развития, исподволь походящие на течение реки. Но мы не в свитке, увы. Мы — в книге. Пора перелистнуть, разделить...

Но кем же все-таки был С.—в ночь моей молодости?.. Впоследствии, наши общие с ним друзья-приятели когда-то, расплевавшись с бедным покойником, наседали на меня: «—Ты что, белены объелся?! Да какой он гений?! Всего навсего — талант. Вдобавок — небольшой. Рано созревший и рано увядший — по собственной дорожке к доносам. Такое не проходит. Ты «Моцарта и Сальери» читал? «Гений и злодейство — две вещи несовместные». Утешься! Твой «гений» еще не одного простака спровадит в капкан, мерзавец!..»

Не согласен. В моих детских снах он царствует, как Моцарт. Откуда же в нем эти черты, нарушающие гармонию образа тайным и явным предательством? Не от рождения ли, спросим? Не из его ли, как раз, блистательной одаренности,

склонной и все вокруг обращать, подстать себе, в поэтическую мастерскую? В экспериментальную, что ли, эстетику, пуская второго сорта? Но тогда, значит, и «злодейства» его не противоречат «гению», а вытекают из последнего и с ним же неудержимо сливаются в экстазе, как дело вполне совместное? Что-то напутал Пушкин...

Погодите, братцы. Дайте сообразить. Что вы мне голову морочите? Ведь он, боюсь, никогда и не был злодеем. Ни на одну минуту — вот в чем загвоздка. Вообще, если в него всмотреться, вдуматья получше, как это мне довелось, по нужде, унося ноги, — ничего злого, темного, коварного, демонического он в себе не носил. Как, впрочем, и никакого добра, совести там или чести. Все эти понятия ваши к нему просто не относятся. Словно с детства они были вырезаны у него за ненадобностью. Как аппендикс. Мертвец, если хотите. Гость с того света. Но гений, тем не менее. Безгрешный гений!..

— Ну ты скажешь...

— И скажу! скажу!..

Есть среди нас, говорят специалисты, гинекологи оккультных наук, особые существа — с другим индексом. Именуются в науке «скорлупами», если мне память не изменяет. От слова «скорлупа»: пустая скорлупа в образе человека. Такими уж родились — с отсутствием души, и в том неповинны. Что там у них вместо этого, газ какой-нибудь, или пар, или, может быть, эфир высшей кондиции, по сравнению с нами, — я не в курсе. Все прочее, весь аппарат, однако, по форме, налицо и, бывает, — в превосходной степени, с успехом и развитием в разных областях. Ученые, художники, полководцы и дипломаты. Встречаются даже, мне говорили, среди самих же оккультистов «скорлупы», которые, смею один, эту проблему во всех аспектах обсасывают, рассматривают, утверждают, отрицают, не догадываясь о своей трансцендентной принадлежности.

Да и кто из нас, в подобной постановке вопроса, может за себя поручиться, что он не «скорлупа»? Единственная надежда: в нашем общежитии это исключительный случай, один на десять тысяч, на сто, вроде гениев или талантов, не будем придирается к словам, хотя, при всех злодеяниях, те — люди, а *эти*, в растерянности разводишь руками, — подобия что ли, талантливые оболочки людей? Как, спросим, убедиться заранее, пока не умер, что ты — человек, человек взаправду, с собственной незаменимой душой и самобытным телом? Хватаюсь за ноги! Не из этих ли, не из таких ли, прости Господи, фальшивок, доведенных до совер-

шенного сходства, прекрасных, разумных, сознающих тоже себя не какой-нибудь пустышкой, набитой всякой дрянью, но человеком не хуже других, даже лучше, одухотвореннее, ярче, что, впрочем, тоже еще не окончательный признак и, может быть, вам просто повезло не войти в ту разновидность?.. Нет критериев. Они заманчивее нас, говорят. Привлекательнее. Умнее. Или глупее среднего. Зато свободнее и способнее. Хотя не всегда. Подлее. Благороднее. Всякое бывает. Не важно. Ничем, ну абсолютно ничем вы их не отличите от полноценных, стандартных, как мы с вами, созданий. Разве что... Но это опасно!

Или вы сами, ребята, не рассказывали мне, как С. укусил Ирину на студенческой вечеринке, в узком дружеском кругу вчерашних десятиклассников? Меня не было в Москве, и, помнится, я страшно завидовал вам, узнав *post scriptum*, что вот мои одноклассники собрались, как родная семья, в окончании войны, в преддверии рая, а мне еще трубить и трубить... И не я, вы были оскорблены, да и сама И., несколько лет спустя, не могла изгладить из памяти тот неприятный осадок, который меня, напротив, как-то заинтриговал.

А именно, в расцвет вечера, когда вы делились наперебой успехами и перспективами в такой завлекательной для вас поначалу вузовской куролесице, у каждого своей, С. объявил публично, что намерен тут же, при всех, поцеловать Ирину. После военной грозы, всех раскидавшей, они двумя словами не успели перемолвиться. С. не ухаживал за Ирочкой, не крутил ей мозги, не подбивал бабки и вообще не помышлял ни о чем дальнейшем. Также не было в его экспромте никакой кобелиной прыти или просто завирального, милого, лихого порыва, на какой охотно идут, мы знаем, подвыпившие студенты. Прямо скажем, по этой части он был не ходок, спокоен, трезв, рассудителен обычно и не делал, мне представлялось, из любовных затей отдельного блюда, как это с нами случается. Им руководили, по-видимому, какие-то иные мотивы. И тут ему что-то приспичило или его заело: «поцелую да поцелую! вот увидите!..»

Пустая эта фраза у всех пролетела мимо ушей. Скромная девушка, как полагается, весело от него отмахнулась: «— Да иди ты — знаешь куда? Не приставай, дурак!» Однако прошло, наверное, минут сорок, когда, выждав момент, он бросился на И. сзади, как леопард, что было несколько нелепо при его телосложении, завалил, опрокинул со спинкой стула навзничь и не поцеловал, а вцепился и прокусил зубами насквозь, до крови, ее нижнюю губу. И победно, таким шагом, осмотрел сцену: эффект!

К его удивлению, никто не засмеялся и не воскликнул «браво». Поверженная девушка тихо стонала от боли, беспомощности и какого-то, как потом суеверно поведала мне, подземного, нечеловеческого унижения, которое она испытала, прикрыв носовым платком рассеченный рот и теплую струйку крови. Тут же встала и ушла. Вечер был испорчен. За нею и остальные, не глядя друг на друга, потянулись к выходу. Никто, разумеется, не догадался съездить по роже выигравшему приз победителю или хоть слово сказать. Какая-то хмара на всех нашла, какое-то недоумение, тяжелое обалдение. Но удрученнее прочих казался сам виновник происшествия. «— Что вы, ребята, шуток не понимаете?» — бормотал он просительно в спину удалявшимся интеллектуалам. И только уже на лестничной клетке не выдержал и выкрикнул вдогонку, в ярости, со слезами: «— Кретины! У вас отсутствует элементарное чувство юмора!..» Ответа не последовало.

Что теперь скажете, эрудиты? Придурь капризного, избалованного мальчишки? Как бы не так! Если путь его, горький жизненный путь, усеянный кристаллами высокой, самоценной поэзии, стелется одновременно за нами цепью таких же укусов, более или менее страшных, редких сравнительно, однако производимых с точностью и необходимостью периодической таблицы. Психопатия? Патология? Да он в своем нервномозговом устройстве здоровее нас всех. Без комплексов. Никаких отклонений. Это я хорошо знаю. Доподлинно. Будь у него хоть что-нибудь в этом плане, интересное, непотребное, — радостно не утерпел бы похвастаться. Все-таки я долгое время служил ему как будто экраном. Так вот: ничего *такого* в нем не содержалось. Нормальный, как автомат. Даже, на мой вкус, чересчур нормальный. И не вешайте, пожалуйста, ему на шею жерновами — «жестокость», «бессердечие», «порочные наклонности», которые ничего не говорят, коль скоро вы имеете дело с исключением из нравственности, из психики, из биологии возможно. Людские толки не для него!

Зачем в разгар спектакля вы не обратили взор, господа, на дышащее отвагой, сияющее восторгом лицо героя, благодарно обращенное к зрителям? Ах, вам сделалось не по себе? Вы застыдились дурного поступка? Потупились? Ну вот и упустили момент. Не поняли, не оценили артиста, который всегда доверчив, в отличие от злодея, чистосердечен, открыт, импульсивен и непрактичен. Какой, скажите, злодей, если на то пошло, способен так простодушно, без задней мысли, без выгоды, выставлять себя напоказ? Вы что считаете, ему

нужно было действительно эту куклу поцеловать? Да нет, он перед вами, глупцы, старался, разыгрывая, если хотите, ослепительный водевиль, веселую арлекинаду на тему превращения будничной прозы в поэзию, тривиального поцелуя в остроумный трюк. Помните, у Мейерхольда стирание границы между сценой и зрительным залом? Да и сколько поколений художников, писателей, музыкантов грезило и стремилось преобразить мир волшебной силой игры. Что за беда, если один из них своего достиг? И не в бескровных стихах, которые никто не читает, а, допустим, на людной площади, в гостях, за чайным столом ведет себя бесподобно, непредсказуемо, с необузданностью натуры, воплотившись перед вами, внезапно, из страждущего в небытии эфирного колыхания во что-то, наконец, вполне конкретное, телесное и вместе с тем — достойное изумления. Быть может, за ним, по его почину, и вся наша пошлая, низменная жизнь станет когда-нибудь праздником одолевшего земные законы, свободного, искрометного творчества?.. Ну, подумаешь, повредил немного губу хорошенькой статистке. Поплачет и перестанет. Выйдет замуж. Наплодит детей. Но кто утолит извечную тоску о прекрасном поэте и режиссере, только что, у вас на глазах, дерзко переступившего рампу, во славе и в горении самоотверженного подвига, и вместо аплодисментов очнувшегося вдруг в одиночестве — во мраке покинутого публикой зала, на открытом всем ветрам пустыре вселенной?..

— Какого человека затравили! — сокрушался, качая красивой серебряной головой, следователь Даниэля Кантов. — Какого человека!..

Меня всегда поражала в нем наивная, по-детски непосредственная потребность в аудитории, в отзывчивом и снисходительном зрителе подобных манифестаций, которые отнюдь не шли ему на пользу, возбуждая у читателей досадное чувство неловкости за него и томительного стыда. В кругу же непосвященных это давало повод держать его в отдалении, на примете, как заправского подлеца. Случалось, он удивлялся, почему его где-то не жалуют, а кое-кто пытается уже обойти за три версты, что не мешало ему при новом удобном стечении обстоятельств, с самозабвенной простотой выкидывать очередную бестактность, если вы, конечно, не подыщите ей более мягкого и оправдательного заглавия.

Мне доступны эти муки. Какой автор не мечтает услышать доброжелательный отклик на свои эскизы, пускай слепая толпа бранится и шумит?.. Признаюсь, и у меня не было многие годы интереснее, увлекательнее и благосклоннее собеседника, а потом,



отчасти, и читателя моих первых поползновений в стихах и в прозе, так что под конец это стало просто рискованным — предаваться взаимным дружеским излияниям с тем, кто тебя, единственно, ценит и понимает. Короче, меня с ним мирила и связывала до поры, не переставая отвращать, настораживать, его незаменимая и прямо-таки уникальная роль в моей довольно уже беспомощной, скользкой и сползающей ему в пасть биографии. Как во сне, следует остановиться, проснуться, порвать знакомство, выпрыгнуть из окна. Но не тут-то было.

Это теперь, через тридцать лет, все стали такими умными, что читают «Египетскую марку» Мандельштама, наслаждаются Кандинским, Стравинским и запросто, будто всю жизнь этим занимались, ругают советскую власть. А тогда... Где было в ждановской прожарке на вшивость найти родственную душу? С кем шуткой перекинуться? Кому анекдот рассказать? Повздыхать совместно, хотя бы, о незабвенной, утраченной «Девочке на шаре» — да так, чтобы тебя тут же не уличили в буржуазном разложении?.. Да и как воспарял умом в изобретении острых сюжетов (Даниэль ему обязан сюжетом Дня открытых убийств — «Говорит Москва»). Неожиданных коллизий. Историсофских аналогий. Орфей! Как тут не поддаться?.. Но положиться на него?.. Невозможно.

Однако, как всякий гений, повторяю, в своих убийственных выдумках, в шедеврах легкого промысла, он был ребенком. Бесхитроsten. Незлобив. Необидчив. Зато и разыграть этого игрока, обвести вокруг пальца, пустить по ложному следу, когда подошел срок, не стоило мне большого труда... Я его использовал. Да, использовал — в качестве доносчика, и это, как вы дальше прочтете, меня спасло. Свой доносчик, в поле обзора, под контролем, это, в некоторых оборотах, — находка. И хоть дружба пошла на убыль, мы продолжали встречаться, и, кажется, он мне по сердечной простоте доверял, а я, как дьявол, начал его обманывать...

Правда, по временам с ним бывало жутковато. Возвращаемся как-то от Юрки Красного, со Скатертного, где мы втроем, подряд, травили анекдоты. Наверное, это был уже 49-ый год, а, может, 50-ый, поскольку вся атмосфера, помнится, была уже достаточно темной и страна, рисовалось, вот-вот отделится от земли и взлетит. И скоро мы начнем, развивал он свою идею, самым натуральным образом, как в Средние Века, подсчитывать число чертей на кончике иголки. И это будет объявлено новым этапом в марксистско-ленинской философии... Но не закончил парадокс, а, словно осененный свыше, задышал мне в лицо влажным шепотом и слабым, сладковатым ароматом сигареты:

— Слушай! Давай вдвоем, с двух сторон, будто не сговариваясь,—заявим на Юрку Красного... Ну чего ты испугался? Материал готовый. Только оформить. Он же весь вечер, не закрывая рта, рассказывал нам антисоветские анекдоты. И потом еще проехался — о преследовании евреев...

— А мы с тобой не рассказывали? Не проезжались?..

— Да. Но это можно уладить... Объяснить... И поверят нам, двоим, а не ему, дураку! В этих вещах два свидетеля — все решают!..

Все-таки я не думал, что он зашел так далеко. Подлюга! Бежать бы от него и бежать — на край вселенной. Но я стою, рядом с ним, в темноте, добросовестно изображая сексота, такого же, как он, на улице Воровского, и спокойно втолковываю, что если он донесет, я не стану утаивать, кто первый из нас троих завел анекдоты, потому что с *ними* двойную игру играть нельзя, ты же сам знаешь, и тогда тебя, милый дуг, по головке не погладят, и в результате мы троим загремим в лагерь. А Юрку Красного кто же воспринимает всерьез, веселый трепач, любит посмеяться, и, вообще, на подобную мелочь, на анекдоты, обращать внимание, в нашем положении, просто смешно... Нет, я его не уговариваю, не прошу пожалеть Юрку и не спрашиваю, зачем это ему понадобилось, и не изучаю больше загадку его неповторимой личности. На Юрке почему-то он как-то для меня окончательно сломался, оборвался, превратившись в механизм, в инструмент, вроде фюгата или кларнета, на котором, как это ни печально, еще надобно играть, нажимая на ту или иную изученную педаль, вроде страха или смеха, и холодно наблюдая, как он моментально срабатывает, пока, вырвавшись из рук, не выплеснется, наподобие Арбата, лежащего под нами, в огнях, куда я его провожаю в эту пляшущую ночь, до метро.

— Да брось ты,—говорит, подумав.—Я просто пошутил...

В огне сигареты, смотрю, его толстые, сардонические губы складываются в иронию — над собой, надо мной, над звездами, под которыми мы висим. И уже тянется ко мне испеленными устами:

— Ты этого не понимаешь. Я — боюсь. Мне — страшно...

— Тебе?.. Ты-то чего боишься?..

— Ты этого не понимаешь... Придут американцы — и меня повесят...

— Какие американцы? За что?..

— Ну, будет война с Америкой. И меня повесят... На мне, пойми ты, уже два трупа висят. Два трупа! Я — убийца...

— Подумаешь! Я — тоже убийца! — храбро отвечаю. — И на мне — один труп. Да еще иностранный... Ты же сам знаешь... Сам помогал... Элен...

Стоим, два убийцы, на черной улице, фонари не горят, а только там, у Арбата, плещется море огня, и все друг про друга знаем. Точнее сказать, делаем вид, что знаем. Но что-то не нравится мне подобный диапазон колебаний: то Юрка Красный, то американцы... Стервец! Пора от него постепенно отдаляться. Мне — назад. Ему — на метро. Нельзя отпускать. Он прав: в этих вещах два свидетеля все решают. Подлаживаюсь. Вжимаюсь в него. Стена. Слиться с тьмой. Чужая душа потемки. Войди, и ты увидишь...

— Не бойся. Я — тоже убийца...

А он уже брезгливо, рассудительно, словно презирая меня, за неудачу:

— Во-первых, ты только пытался, и у тебя сорвалось...

— Попытка — тоже убийство. Еще хуже. Я все делал... Грех на моей душе...

Главное — внушить, что я подобен ему, чтобы он — доложил! Чтобы не заподозрил... А он уже смеется. Доволен, что у меня сорвалось, а грех все же на мне: испачкан. Это уже хорошо. Впрочем, он всегда смеялся каким-то неприятным способом — без улыбки, отчетливо и раздельно выдыхая слова изо рта:

— Ха. Ха. Ха. Ха. Одна иностранка, и ту не сумел... Она мне сама рассказывала... Как советский гражданин, ты просто обязан был ее уделать... А я — сам! А я друзей! Брейгеля<sup>1</sup> и Кабо! Своими руками! Понимаешь?!

Кажется, он уже бахвалился, и у меня отлегло от сердца.

— Да брось ты про все это думать! Завяжи! Я тоже убийца. Ну, убили один раз. И хватит! Хорошенького понемножку. На тебе — два трупа. На мне — один труп. Какая разница? Хватит с нас! До Страшного Суда! До завтра!..

Прошло пять лет. Или шесть. Старые товарищи С., те, двое, ни за копейку пропавшие без вести, вернулись-таки живыми, откуда не ждали, не солоно хлебавши... Попутно всплывали со дна и кое-какие останки подводных съемок, охот, глубоководных изысканий, — подобно засекреченной карте местности, где некогда проходили бои и каждый куст пристрелян, каждый бугорок щедро полит кровью, а нынче кто раскопает эти ветхие траншеи? (Кабо и Брейгель...) Лишь

---

<sup>1</sup> Имя историка-востоковеда Юрия Брегеля произносится в романе «Брейгель», — как привыкли его тогда называть не знакомые с ним близко люди.

уцелевший инвалид, случится, ткнет крючковатым ногтем в известный ему одному зодиак-меридиан. «— В этой ничтожной точке, скажет, мы отбили три атаки противника. А в этом пятнышке у вас, в леске, за двести километров от первой, мне оторвало минометом ногу...» Так и в нашей топографии. Все засыпано, позабыто. Но кто-то помнит и ждет отметить черным ногтем на выгоревшей, бесцветной планшетке... (Кабо и Брейгель...)

Здесь, в этом пункте, пока радушный профессор для родного ученика ставил чайник, С. ринулся к полкам, с обычной своей поэтической непрактичностью, выписывать в кармашек одиозные издания и был настигнут на операции шквальным огнем неприятеля, контратаковавшего врасплох, с чайником в руках, но вышел сухим из воды, сославшись хитроумно на давнюю, с детства, страсть с библиографии. Как — для чего записывал книги? Да только чтобы потом удобнее рассортировать в уме на полках и взять с собой почитать, если позволите, ту или иную диковину. Время-то какое! Всюду цензура! Хороший хозяин собаку не выгонит со двора... Хозяин, однако, не будь дураком, списочек изымает, рвет в мелкие клочья, книголюба-библиографа выставляет под видом головной боли, дверь на запор и впредь, сволоочь, на заискивающие звонки с треском вешает трубку... Ну дождется обыска!..

Куда теперь! На Восток! В служебную командировку. На отдых. Никаких заданий. Сам себе, с позволения сказать, экскурсант... Там, в другой отдаленной точке земного шара, на границе с Азией, он поселится проездом, на несколько дней, в уютной провинциальной квартирке, с геранями, — у сестры закадычного своего и запроданного чорту, московского знаконца, сгоревшего полгода назад, всего ничего, как спичка, на остром слове. Оно и дешевле, и комфортабельнее, чем снимать койку с клопами в битком набитой гостинице, и притягательнее как-то, лиричнее, ближе к подлиннику. О как это много! Приблизиться к язве, занесенной в чужую семью, коснуться пальцем-присоской: ты же источник язвы. Заглянешь в себя — в лазурный колодезь, — как бы не упасть?! А принимают за ангела. Посланец брата! Последний, кто с ним встречался в ночь перед тюрьмой. Доверенное лицо. И сам под угрозой, того и гляди, даешь понять, крутишь носом, — возьмут! Играешь конспиратором. «— Я — Сережа из Москвы...»

Вздрагивает естра. Плачет. Подносит к правому глазу батистовое кружево. Сморкается: «— Хоть бы вас не арестовали!» — «— Все может быть, — говоришь ты загадочно,

с озабоченным лицом.— После этой несчастной истории...» Займешь денег под арест. Расположишься королем в доме, выпьешь со значением, съешь что-нибудь такое, какое-нибудь интересное, специально для тебя, фрикассе, закуришь, задумаешься вкусно и глубоко вздохнешь. Хорошо!..

Нет, в самом деле, к чему вражда? Мы расстанемся друзьями. И вам он брат, и мне он тоже был ... вместо брата. «— Юра Брейгель! настоящий товарищ! — размышляешь вслух, тяжело и великодушно прихлебывая сухое вино.— Никого не заложил, хотя я, лично, был с ним предельно откровенен. Предельно...» Путаешься немного, и вдруг — нашел образ. Выскакивает — как по заказу. «— Мне чудится, в эту минуту он сидит рядом с нами, за этим столом, и пронизательно смотрит на всех нас, в очках. Я вижу его — как живого. Простите, мадам, нельзя ли еще?.. Нет, спасибо, водки я не пью. Подвиньтесь. За его здоровье! Каково ему в узах, сейчас?!. Мы тут выпиваем, закусываем, а — он?!..» Чуть не плачешь. Без обману. У Евреинова читали — «Театр для себя»? «— Евреи, ша! Я соболезную — сестре! На вас, на всех нас надвигается что-то вроде Варфоломеевской ночи!.. Ты прав, Арончик!.. Мы останемся, однако, людьми. И мой приезд к вам, в этот трагический час, лишь моральная поддержка. Я не бросаю в беде! Не то, что некоторые... Пусть не думает там, в тюрьме, что у его друга нет сердца...»

И все — искренне. С перехлестом. Пышно. В нюансировке. Веселье в соединении с грустью. С прозрачными воспоминаниями. Как это молодое, задорное и кислое немного вино...

Ребята, не придирайтесь! Он сам не понимает, как это у него получается. Словно медиум какой-то. Сам себя намагнитил и — чист перед людьми. От его неуязвимости всякое зло просто-напросто отскакивает. Да и в вашу голову. Вот и сейчас он обращается к вам, с того света, с горьким упреком и детским недоумением, почему вы так жестоки к нему. Нет, он уже больше не клянется, что вы его оклеветали, как настаивал упрямо, вопреки очевидности, лет, наверное, пятнадцать после памятного скандала с ожившими досрочно свидетелями его веселых проделок. Зато он теперь нашел виновников своего несчастья. И это те, не удивляйтесь, на кого он донес, кого закопал, утопил. Напрасно, говорит он, ребята, вы мне биографию запакостили, репутацию испортили. А еще друзья называются! Ну, подумаешь, отсидели пять лет всего из своих десяти. Тоже мне потеря — пять лет! А у меня из-за вас вся жизнь пошла

насмарку. Карьера не склеилась. На люди, в приличное общество, показаться нельзя. Шепчутся. Жмутся. Избегают откровенных разговоров, признаний. Сравните: кому хуже — вам или мне? Где справедливость в мире?..

Ну что ж. Тут есть резон. Никакой человек не уложится в отведенную ему категорию. Да и где лимиты? Вчерашний предатель завтра — кто знает? — примет крест на баррикадах. А послезавтра, глядишь, буддийским монахом заделается или еще что-нибудь отчудит непредвиденное и — вне определений. Писать после этого характеры, рисовать портреты? Что я, с ума сошел? Всякий характер колеблется в страшных диапазонах и вот-вот улетит. Счастливого пути! И если я задержался на моем юном друге, то к нему у меня был, простите, не художественный, а прагматический интерес. Жизнь от него зависела, да и многое другое... Что же до художеств, то, честно сказать, не люди меня занимают последнее время, а скорее — энергии. Состояния. Магнитные поля. Завихрения. От людей что остается? — одна шелуха. Обозначаешь на всякий случай, чтобы не запутаться, именем или одной буквой. Ну деталь какую-нибудь подsunешь в виде ориентира: стóбит. Но заранее знаешь печально: сколько его ни очерчивай, ни рисуй, любой, самый пропавший персонаж уйдет из гипотезы о нем, из правдивого описания, да что там — из своей фотокарточки. Как дым из трубы. Как брошенная там, на ветру, недокуренная сигарета...

Костром потягивает. Дымком. Каштаны. Декарги жгут листву. Я свободен от ностальгии. Осень у них во Франции. Понимаете, так же как в России у нас, у них — осень. И жгутся листья, готовятся к зиме. Разве что вздохнешь глубоко, и приятно задышать. Сентябрь. Серебряный век. Эмиграция. Если б и впустили обратно, с гарантией, что не убьют (я иногда воображаю), и пиши, что хочешь, я бы, наверное, все равно не вернулся. Я бы лучше в Исландию съездил. В Грецию... С того, ночного, вдавленного сапогом в подвале окна — отрезало. Но душа еще не знает. Пристала, как банный лист. Я — не сдвинулся. Если очень хочется, слетай во сне, прохладись. Потом расскажешь, поправишь меня, если что не так... Не отсюда ли у нас — от невозможности вернуться — появляются мемуары?..

К нам, на третий курс филфака, в 47-ом году пришла французенка. Первая живая французенка и, вообще, единственная по Советскому Союзу в те далекие времена иностранка, зачисленная в Высшее Учебное Заведение. Говорили, ее отцу, военно-морскому атташе, стоило немалых усилий

пробить, через Мининдел, дойдя до самого Молотова, чтобы дочери предоставили исключительное право учиться наравне со всеми, посещать лекции, сдавать экзамены, в развитие тоже высшего уже у нее, славянского образования, полученного, как это ни забавно, в Париже, в Институте, под двучленной эгидой, восточных языков. Себя к Востоку мы не относили и видели в подобной трактовке даже легкую дискриминацию со стороны буржуазного Запада. Что они нас за турок принимают, за китайцев? Мы все, выходит, для них на одно лицо? Ну так пусть ближе познакомятся с нами. Ближе, ближе!.. Холодный циклон, из Сибири, еще не дул в полную силу в сторону пригожей Европы. Или этого мы еще не замечали. После войны, мечталось нам, весь мир открыт. Контактам с уникальной иностранкой, спустившейся с неба на землю на дипломатическом парашюте, мы были рады. А Элен, будто так и полагается, без страха, словно какая-нибудь Сандрильона, вошла в наш заколдованный дом...

Удивительная вещь, как я вспоминаю, никто из нашей среды не относился к ней подозрительно или враждебно. И никакой отчужденности. Все были, казалось, в нее неуловимо влюблены. Она возбуждала у каждого почтительное любопытство и сдержанное восхищение. Вдобавок, ее облик и манеры начисто отрицали все наши социально-политические пережитки: в ней не было ничего буржуазного. Она скромно одевалась, и, я полагаю, много скромнее своих возможностей. Словно и не была дочерью дипломата. Она выступала перед нами всегда в каком-то бедном изяществе. И все-таки за нею тянулся по МГУ, по улицам какой-то невидимый шлейф. Это можно, в принципе, изобразить графически: ФРАНЦУЖЕНКА, и все дальше и дальше, убегая, в кружевах, маленькими буквами, *французженка, французженка...* Я и сейчас вижу ее в этих убегающих звуках...

Существуют натуры, или это мне рисовалось тогда по контрасту с нами и по единственности ее воздушного пребывания в нашей плотной среде, что как бы призваны, негласно и независимо от себя, нести черты своей страны или нации. Сама индивидуальность лица и характера становится в этом случае знаком или, лучше сказать, изъяснением духовной близости человека к его географической родине, небесным символом исходного места на земле. Так или иначе, Элен была, да и теперь остается в моем сознании, выразительницей чего-то более пространственного, нежели ее собственная душа, — феей, голубоватым дымком, световым излучением природной своей принадлежности Франции...

Сам я с ней познакомился на занятиях, как это ни странно, по марксизму-ленинизму, что как-то ее особенно

выделяло и подчеркивало в наших глазах. Поди ж ты, из заграницы, а вникает со вниманием в науку, порядком нам, в глубине души, уже поднадоевшую, но продолжающую играть обязательную роль какой-то привилегированной собственности, какого-то доступного одним нам и стройного, как нас обучали, последовательного мировоззрения. В дальнейшем Э. чуть не прикончила нашего бедного марксиста, сдав прекрасно предмет, ответив на все заковыристые вопросы и скромно открывшись в конце экзамена, что она, тем не менее, лично придерживается идеалистических взглядов. Как?! постигнув досконально марксизм, остаться идеалисткой?!. Кажется, он за это ей снизил один балл.

Признаться, и я вначале был немного ошарашен ее рекомендацией: «я — католичка». Не то чтобы я сомневался в ее праве на свою, французскую идеологию, на веру там отцов или дедов. Просто слово «католичка» было для меня таким же отдаленным, как — «катакомбы». Ну там где-то в истории были — монастыри, иезуиты, инквизиция... И потом как совместить титул «католичка» с живым лицом этой девушки, с ее добротой и юмором, с ее бесспорным интересом и симпатией к современной России? Возможно, столько же далекой и неправдоподобной тогда ей представлялась моя физиономия убежденного «комсомольца», трудно совместимая с моими литературными вкусами, с обожанием Пикассо и Ван-Гюга, что с годами уже заметно перевешивало в моем багаже. Да, разрыв ценностей проходил и по мне тоже, пока все это не кончилось идеологическим обвалом под ударами наступавшего Жданова. Но до поры все это как-то уживалось под общей крышей с моей комсомольской совестью, с понятиями самой возвышенной революционной нравственности, готовой, если потребуется, временно принести человека в жертву ради его грядущего, всемирного воскресения.

Сдружившись с Элен, мы все это с нею откровенно и горячо обсуждали, не пытаясь, по счастью, перетянуть один другого в собственную веру. Да и вряд ли такое возможно. Мы меняем взгляды, точнее сказать, мы меняем направления мыслей и потоки ощутительных чувств, не под чим-либо дурным или благим влиянием, а лишь больно ушибившись о какой-нибудь неожиданный угол на жизненном крутом вираже. И сколько бы она ни открывала мне истины Св. Писания, я не мог постичь ее неведомого Бога, так же как ей, вероятно, была не вполне доступна нравственная чистота революции, сколько на эту тему я ни распинаялся... Иное дело для нашего брата культура или дух страны,



который тебя сам по себе притягивает. Франция из ее пересказов всплывала, как я убедился, в тех самых очертаниях, которые впоследствии лишь проявились в увиденном. Стоило уехать, чтобы это подтвердить...

Мы ехали с Элен и Марией, за красно-кирпичной Тулузой, летними полями, сбегавшими по холмам. Все было преувеличенно мягко и плавно для глаза. И влажность округлых линий, и замкнутость пространства в пределах, я бы сказал, глазного яблока, рождали редкое, удовлетворенное собою, осознание ландшафта, какое мы и находим во Франции. Горизонт, по сравнению с нашей российской равниной, здесь тоже довольно широк, но более оформлен, сферичен, закончен и узаконен. Пространство уложено, подобно уснувшей Венере работы Джорджоне, а флора напоминает дыхание ее долгого сна...

Растарашив глаза, как варвар, я пожирал эти контуры — ухоженные, расчесанные твердым гребнем, как темя женщины, поля и виноградники. Тело земледелия, овладеваемое сном под солнцем, давало себя знать. Чувствуешь тяжесть век и смертность, заключенную в теле. Очнувшись, однако, замечаешь за собой, что ты не просто глядишь направо и налево, но впитываешь, усваиваешь ландшафт и делаешься постепенно другим от сих видений. Ты не тот, что вчера, потому что — посмотрел. Да и ландшафт, возможно, совсем не то, что нас окружает, не антураж, но сок, что входит непроизвольно в состав племен, издревле здесь обитавших, наследников и потомков земли, которая их выкормила как собственное свое продолжение. Как странно тебя узнавать в чужих лицах и нравах, произведенных на свет одной спящей матерью! И сколько сил у земли, если ее поверхность становится нашей кожей и кровью... Мы укоренились в увиденном. Мы растаем в ландшафт. И мы уже не мы, но камни и деревья, стоит только посмотреть. И мертвых, что еще веют над нами, мы вводим за собою, во сне, в ее мягкие очертания. Смотрите же! запоминайте!.. Чтобы и всем нам улечься рано или поздно в эти контуры холмов...

Вероятно, родство Элен с ее солнечным краем укрепилось в моем восприятии тогда книгами по искусству, которые она для меня привозила из Парижа. Ничего прекраснее в жизни я не встречал.

Щукинское собрание после войны прикрыли, по решению, шептали, Клима Ворошилова, посетившего опальный музей в сопровождении Александра Герасимова. Самые невинные, ранние импрессионисты почитались уже вылазкой оголтелой международной реакции... И вдруг — на тебе: в руках у меня — Сезанн! Да какой Сезанн! Даже С., большой знаток, при виде этой ослепительной книги, терял ум от восторга: «— Ну

и счастье тебе привалило, Андрей!..» Между тем, Элен, познакомившись, от своих щедрот и ему преподнесла том Ван-Гюга, и это тоже было совершенно бесподобный Ван-Гог, сплошь составленный из красоты и боли. Куда деваться от страшной голубизны его небес и цветов в горшке? От всюду всажённых в холст, под видом мазков, будто занозы, глаз? Репродукции, мнилось, были усеяны истерзанными глазами, где колкий зрачок тонул в радужной оболочке художника. Неужто, я думал, и там, во Франции, может сосредоточиться в почве, в воздухе такая невыносимая боль?..

Сейчас, проходя лениво по книжным лоткам в Париже, я равнодушно озираю океаны фолиантов, выброшенных на распродажу второсортным, удешевленным изданием того сказочного богатства, каким в Москве, в молодые годы, владел я один. Должно быть, пока я до них добирался, этих книг развелось видимо-невидимо. А искусство существует, повсюду, в единственном числе...

С моей стороны, я желал одарить Элен лучшим, что было у нас из реликвий Советской России, и затащил ее в спецсеминар Дувакина, изучавший Маяковского. Сам хозяин семинара, доцент Виктор Дмитриевич Дувакин, с бульдожьими челюстями боксера, с головой, похожей на разъяренного ежа, и добрейшей души человек, был великим маяковистом и таким энтузиастом на тернистой педагогической ниве, подобных которому я уже никогда не встречал. С гордостью до сих пор говорю по поводу моих филологических запросов: — Я ученик Дувакина!.. Другими аспектами, однако, не стану его касаться, чтобы не навредить старику, как это уже случилось однажды в злополучном зале суда, где Дувакин, презрев опасность, кинулся на мою защиту и тяжело поплатился. Его навсегда отставили от преподавания...

В мои годы его семинар на филфаке служил воистину последним убежищем поэзии XX века, все более подлежащей погромам и запретам. Впрочем, спасти останки стиха Дувакину всюду помогал его высокий патрон, чья безусловная пальма первенства немного предохраняла от засухи наш оазис. Под сенью Маяковского худо ли бедно копошилось его окружение и почивала мертвым сном плеяда сильномогучих богатей, каждый из которых мог бы поспорить с последним из могикан революции, — стоило только тишком, для знакомства с материалом, пошарить в сырой листве, по кустам. Чего там не было!.. Смотри, Малевич, Татлин!.. Какой ужас!.. Не ужас, милочка, а контр-рельеф!.. О чудо, о небо: заумь!.. Знаешь, Луначарский сравнивал «Мистерию-Буфф» с немецким экспрессионизмом?.. И все ты врешь... А ты спроси

у Дувакина, если мне не веришь, — спроси!.. Уитмен-Верхарн-Рембо... Да ты читал, Петя, или не читал «Полутороглазый стрелец» Бенедикта Лившица?.. Но это же, кажется, враг народа?.. Но друг Маяковского!.. Ты еще Мейерхольда вспомни... И вспомню — друг Маяковского... Но враг народа?.. Но друг Маяковского!.. Я не хочу об этом ничего знать! Слышишь? Не желаю!.. Но кто-то желал и, забравшись в дебри, дразнился, шелкал по-хлебниковски: — Пцирѐб! Пцирѐб!..

В поэзию Маяковского, уже и после меня, иные любители уходили, как ходят по грибы: за Пастернаком, за Цветаевой, по Анну Ахматову... Ведь даже для Блока, для Сергея Есенина у нас не было своего семинара! Все ютились под Маяковским. И хоть в легендарном прошлом не давал им спуску дубина, ныне он возвышался над нами их единственным на выжженной земле делегатом и даже, казалось, слегка оберегал. Спасибо тебе, дядя Володя!

Меня самого однажды он прикрыл широкой ладонью, когда, за общение с Хлебниковым, в общефакультетской, во всю стоеurosовую стену, газете «Комсомолия» появился громадный подвал: «На кого работает Андрей Синявский?!» Автор, начинающий босс, всполошился, что в курсовом докладе позапрошлого года о Хлебникове я работал, тихой сапой, на англо-американский империализм... Тогда уже шла в полную мощь холодная война с Западом, и наш активист, очевидно, решил меня ликвидировать как возможного конкурента на пути в аспирантуру. Да не рассчитал удара, затронув честь Маяковского, а вскоре, свыше, его самого прокатали в космополиты, хотя он был неповинен, — исключительно из-за еврейской фамилии...

Однако и меня не минула стрела рока, ибо даром нам ничто не проходит, и знаки, расставленные над нами чуть ли не со младенчества, тяготеют время от времени загораться пунцовым огнем, подобно сигнальным лампам в рудниках, предупреждающим окружающих о заключенной в человеке опасности. ?! — сначала знак вопроса, с наклоненной, будто удивленная девочка, змеевидной головкой, а следом — восклицательное, прямое попадание в точку. И начиная с того момента, с той памятной и самой первой обо мне заметки в стенгазете, угрожающий заголовок: «На кого работает?!» вспыхивает надо мной с бдительной периодичностью в ревнивой русскоязычной печати — будь то «Известия», «Литературная газета», журналы «Октябрь», «Огонек», «Противоздушная оборона» или «Континент», «Новый журнал», «Наша страна», «Часовой»... Все стоят на посту. Стерегут границы. И хоть тридцать лет с гаком пройдет с тех пор,

заметка из «Комсомолии» меня настигнет, наконец, в спину, словно неутоленная молния. А где теперь найдешь громоотвод? Маяковский остался в Москве, в разогнанном семинаре Дувакина...

Сейчас, из такого далека, уже трудно представить, чем был для нас Маяковский на заре нашей юности. В нем одном, самоубийце, тлея неукротимый и праведный уголь революции ее начальной стадии, вносящий, отголоском, что-то истовое и возвышенное в нашу кондовую, комсомольскую доблесть. Агитации и пропаганды мы у него не занимали. Все это подразумевалось, как бы само собой, и выносилось за скобки, перебиваемое фактом его еретической личности, колебавшей пьедесталы и памятники. Не знаю, что думал Сталин, назначив смутьяна на пост «лучшего и талантливейшего поэта нашей советской эпохи». Эпоха-то давным-давно была не с Маяковским. Маяковский не господствовал. Маяковский бунтовал среди нас. Для многих и многих «все начиналось» с Маяковского.

Поминая главаря и горлопана Революции, наш семинар по временам, сверх докладов, собирался за бутылкой. Трезвость, поскольку пить, как водится, мы еще не научились, длилась до рассвета. Стихи, кто во что горазд, воспроизводились по кругу, всю ночь, и это было ритуалом. Это было, как я сейчас определяю, радением, призванным гальванизировать поэзию, синевшую за окнами. Мы не читали стихи, мы жили ими — изо всех сил. На каждого поочередно накатывало то Блоком, то Гумилевым. Водка оканчивалась на первой рюмке, а мы шаманили и шаманили...

Наша неопитка робко, иногда, тоже входила в круг и читала «Хорошее отношение к лошадям». В слове «лошадь» твердое вступление ей не вполне давалось, и она произносила «лѣшадь», что звучало еще более трогательно. «Лѣшадь не надо, лѣшадь, слышайте... деточка, все мы немного лѣшади...» После чего я как-то ей посоветовал заменить мягкое, безвольное «эль» на более основательное, губное «вз»: «вошадь». Следовало бы, вообще, обрубить первую букву: «Ошадь!» Но я не догадался... «Ошадь!..» Мне казалось, это она обращается ко мне...

Тем временем со мною начало твориться неладное. Сны какие-то пошли, не такие как обычно, и густым косяком, что твой облака, хотя и сейчас, пройдя все это, я не очень-то доверяю снам, а тогда и подавно... Снятся, например, будто я стою на поляне, как стройный тополь, вопреки тому, что стройностью я, прямо скажем, никогда не отличался, а подо мною, у меня в ногах, на траве, играют и веселятся котята.

Котят этих я люблю во сне, и они мне ужасно милы. Недаром, замечу всколзь, выходя из сна, моя будущая жена полюбила меня за то, что, поджидая ее по утрам, под окнами, чтобы проводить на работу, я от нечего делать играл с дворовым котенком. Но тут, во сне, за десять лет до этого, точно такой же, обыкновенный сорванец, играючись, полез на меня, все вверх и вверх. Я смеюсь, глажу, а он ползет под рукой, жалостно мяукая, по моим зеленым, брезентовым сапогам, по суконной гимнастерке, которую я носил после войны за неимением костюма,—вдавливая уже ощутительно маленькие коготки в мою белую грудь, и, вдруг, рывком, к горлу,—перекусить. Раздосадованный, я хватаю его небольшо за шкуру — все-таки котенок,—отдираю с трудом и отшвыриваю от себя подальше. А они уже, гроздьями, один за одним, висят у кадыка. Не успеваешь отцепить одного, другой целится. У самого лица пищит, отравя, а коготки уже в крови. Отрываю и отбрасываю, отрываю и отбра..., отры... и отбра... тры... бра... тры-бра...

Так всю долгую ночь я с ними провозвал. Потом уже читал в сонниках, да и бывалые люди растолковали маловверу, что кошки снятся не к добру, а собаки — к друзьям. Я и теперь, во Франции, как увижу во сне собаку, так и радуюсь: к друзьям! Прямо во сне радуюсь. Проснувшись, к сожалению, я друзей не нахожу...

Большая часть подобных сновидений строится на довольно простой, народной этимологии. Кошки — коварство, обман. Может быть, — ковы. Вино — к вине, к обвинению. Вино это, вообще, еще хуже, чем кошки... Нами управляют, как выясняется, не сами сны, а слова... Позвольте, в этой связи, я расскажу еще один сон, и тоже в руку, но из другой же оперы, немного забегая вперед.

В ночь накануне ареста прихожу это я к себе домой, во сне, с лекции, и полно чужого народа, а наш обеденный стол раздвинут во всю длину и буквально заставлен бокалами и стаканами с красным и почему-то на вид очень терпким вином. Даже не красным, а каким-то бордовым. Под стаканами те же, как это бывает с перепою под глазами, багровые круги, будто бы, не считаясь с затратами, через край переливали на скатерть. И — Сталин сидит, извольте радоваться, посередине. Словно меня поджидает. Суров, недоволен вождь. И — не смотрит. Молча, но аж почернел. Это ведь было уже много после его смерти. Никто не пьет, а слуги все разливают и разливают вино по столам. И я думаю сквозь сон: Боже, ведь я уже и не хозяин у себя, а он теперь что угодно может сделать с нами, с Егором, с моею женой, которая бледнеет у двери... Они все могут...

Но вернемся к действительности. У нас на курсе учился один инвалид. И не один, а несколько инвалидов, как это подобало послевоенной обстановке. Здоровых мужчин кот наплакал. Да и кто в ту голодную пору думал о филологии? Одни девочки. Ну и группа инвалидов, от сохи, которым деваться некуда, державшихся особняком, кое-как, на своих железных доспехах. Пока мы баловались поэзией, они, иной раз едва ковляя и с трудом, как собственные протезы, передвигая экзамены, образовали небольшое сообщество — на незаживающих ранах, на черном хлебе, на крепком, если повезет, выпивоне. Нас — цвет Филфака, Комсомол, старательных девушек — маменькиных дочек, вьющихся преимущественно вокруг Пушкина, да и весь этот, в общем-то, мраморный Университет с бронзовым Ломоносовым — они, мне кажется, немного презирали, вычисляли, как прокормиться на копейки и выбиться в люди в недалеком будущем, невзирая на свою первобытность. Им просто было не до того... Однако среди них выделялся один инвалид, подававший большие надежды, высокого роста и с привлекательным лицом, если бы не шрам. Он писал, и что-то интересное, о Салтыковс-Щедрине, у Эльсберга, вопреки ранению. Часть черепной коробки у него была как будто начисто снесена осколком, так что, разговаривая с ним, вы невольно созерцали все время эту довольно-таки толстую, сморщенную, но все-таки прозрачную кожу, минутами словно пульсирующую розоватым блеском, взамен бокового куска лобной кости. Сколь бы вы ни старались миновать взглядом, вы не могли оторваться от этого сигнального рубца, поставленного на человеке, точно какое-то предупреждение. И правда: вскоре моего инвалида зарубила топором ревнивая любовница, из буфетчиц, у которой он поселился, и, говорят, красивая баба. Но мало того, что она прикончила своего сожителя ни за что ни про что. В довершение нашего ужаса, она раскромсала его на мелкие куски, сложила в рюкзак, вывезла на электричке и бросила в подмосковном леске...

В последний раз, за несколько недель до события, я увидел его во сне на какой-то безлюдной, ночной площади, или, возможно, мы с ним как-то пересеклись в параллельных сновидениях. Инвалид, немного подвыпивший по-видимому, говорил мне, мерцая шрамом: «— А я тебя, последнее время, Андрей, часто встречаю во сне, и все в одном обществе. Все ты ходишь по Москве ночами с девушкой в голубом платье. И другие ребята из нашей инвалидной команды тоже тебя видели с ней: на Софийской набережной, или у Кремля, на Каменном мосту... В первом, а то и во втором часу ночи. Поздненько вы с ней раз-

гуливаете...» Я понимаю во сне, на кого он намекает, но это же сущий вздор, поскольку ни с этой девушкой, ни с какими другими по ночам я тогда не гулял, а если случалось бродить по ночному городу, то делал это обычно, сочиняя стихи, один. И все это им, инвалидам, наверное, померещилось, либо они меня с кем-то перепутали. Однако он продолжает настаивать, просто ради констатации факта, называет место, где они меня засекли, и, действительно, на какой-то миг, я вижу себя со стороны, на Софийской набережной, а потом на мосту, как будто это было вчера и как бы его глазами, объективно, в содружестве с голубым, фосфоресцирующим и молодым, безусловно, созданием. Но кто это, в точности разобрать не в состоянии. Потому что сам я, как таковой, в ту минуту, на мосту, рядом с собою никого не замечаю. Они ее видят, мою голубую подругу, а я не вижу. Иду себе преспокойно один и бормочу стихи.

Я мало сделал:  
Все ночи пьянствовал,  
Дни проскандалил  
И не сберег.  
Вот так же стены  
Дробят пространство  
Горизонталям  
Поперек.

В домах мужчины  
С улыбкой Авеля,  
Немые камни  
На рубежах,  
И все так чинно  
И все так правильно,  
И никуда мне  
Не убежать...

И еще другие, но тоже в имажинистическом уже ключе.

Буду сидеть. Курить папиросы.  
Все, что можно, отдам и продам.  
А если захочется — в звезды, в космос,  
Предпочитаю пойти в бардак.

Да. Никогда не поверю в искренность,  
Вашу искренность средних цен,  
Лучше ходить под дождем, как под выстрелами,  
Гордую голову взяв на прицел,

Лучше любить оголенные площади,  
Зелень заборов, шнурки от штиблет...  
Вот она вся этих дней беспризорщина —  
Третий десяток голодных лет...

Далее выяснялось, что где-то за стенкой, за стенкой  
моей души (?!), очевидно, давно уже поселился двойник,  
который все это мое идейное разложение заносит в свой  
неуклонный протокол.

Он констатировал чет и вычет.  
Рождаемость, смертность. Приход и расход.  
Он понимал, что я просто вычитан  
В книжке стихов за тринадцатый год.

Он понимал, что я эпилептик,  
Чьих-то глубин какой-то след...  
И вот присуждает сегодня к смерти  
За недостатком гуманных средств.

Встречу спокойно свое наказание:  
Красную строчку к новой главе!..  
Но что ж ты не весел — так называемый  
Жизнерадостный человек?..

Стихи эти были интересны единственно тем, что никак  
не отвечали, пожалуй, моей особе. Я не пьянствовал и не  
ходил по бардакам, которых, по моим тогдашним представ-  
лениям, вообще не существовало в России. Правда, всюю  
курил. Это факт. Строчку насчет следов я позаимствовал  
у Блока: «Мы — забытые следы чьей-то глубины», тонко  
намекая, что милая поэзия серебряного века от нас навсегда  
отрезана. Эпилептиком я вроде тоже еще не был... Но  
юность, знаете, любит все приукрашивать. О как часто мы  
умираем и воскресаем в юности! В старости это, увы, нам  
уже редко удается... Короче, я декангентствовал несколько,  
а «жизнерадостный человек» меня за это осуждал и был,  
насколько я понимаю, положительным тогда героем совет-  
ской литературы, которого, за твердокаменный его опти-  
мизм, я начинал тихо ненавидеть, еще не вполне, по всей  
вероятности, отделяя от себя...

Но Бог с ним, с психоанализом! Важнее другое. Погру-  
женный в слова, шагая по Москве, я не замечал, оказалось,  
кто ходит со мною бок о бок. А инвалид читал, что я носил  
в голове. Светофор у него на лбу мигнул, как заговорщик.



«—Смотри!—говорит.—Догуляешься ты со своей иностранкой. Это же смерть твоя разгуливает с тобой под ручку. Я решил предупредить... Берегись!» А сам пьяный-пьяный...

Наутро я долго раздумывал, что бы все это могло обозначать, как если бы взаправду меня сопровождала незримо какая-то обаятельная голубая дама, и кто бы это, в самом деле, мог быть. С Элен мы и впрямь не расхаживали по городу ночью, а только днем иногда. Да я бы во сне узнал—Элен. Но какая же еще иностранка? Смерть? Пора сворачиваться?.. Почему нет? И почему обязательно смерть должна рисоваться нам в облике традиционной старухи? Смерть, быть может, это девушка, это юная наша подруга, что всю жизнь ходит под руку, рядом с нами, мягко предупреждая, настраивая: не оступись! погоди! еще не пора!..

Однако судьба-злодейка подстергала не меня, а несчастного того инвалида, о чем я уже рассказывал. Со мною же наяву ничего не произошло. Только вызывают однажды повесткой в Райвоенкомат, а там уже, в отдельном отсеке, дожидается меня штатский товарищ, мрачноватого, таинственного, но всем понятного назначения. Впрочем, для ясности, в общих чертах, суммарно, воспроизведу три наших с ним диалога, растянувшихся, конечно, во времени: год без малого протек между этими разговорами.

*Диалог первый.*—Так, так. Контакт с иностранкой?.. Нет, отчего же?—мы не против... Только... Зачем прекращать?! Напротив... Вы что —не сознаете?.. О что вы, что вы! У вас прекрасная комсомольская репутация... Вы советский человек или не советский человек? вы советский человек или не советский человек? вы советский человек или не со... А вот этого я не советую... Да с вас ничего и не требую... Перестаньте, мы все про вас... Вы что —боитесь?.. Объясните! Значит, ваши контакты уже такого рода, что вам есть что скры...? Но вам же нечего опасаться!.. Посмотрим с другой стороны... Вы же сами говорите: она положительно относится к Советской России?.. А как к американцам?.. Отрицательно?.. А-а, вы об этом не разгова... Вам было не до этого?.. Да бросьте, это нас не интересу... С чего вы взяли?.. Просто... дружески... Профилактика... Какой шпионаж?.. Мы сами видим... Посмотрите на себя в зеркало... Но вот дружеские отношения... чисто дружеские... уже придется продолжить... Вы советский человек или не советский че...? Чего?! Вы что нас — за людей не считаете?.. Но вот подписку о неразглашении вам все же... Не беспокойтесь, мы вас найдем!..

*Второй диалог.*—Давненько, давненько... Ну и далеко ли продвинулась ваша нежная дружба?.. Ха-ха, семинар!.. Слу-

шайте, мы сами знаем... Белоэмигранты, между прочим, тоже любят Россию. Какую Россию? — различие... Ах, она вне политики?!.. Не заливайте мозги... Совет... или не совет... На кого она работает?.. Что значит — ни на кого?.. Атташе!.. Как? вы не понима... кто такой атта?.. Ше!.. Да ведь это развед... По рангу, по должности... Военн... А мы — контрразвед... В финскую, на линии Маннергейма, уверяю... Активируйте отношения... Ну, переведите в инти... То есть как это — не можете?.. Подумаешь, невеста!.. У меня, например, жена и двое детей... Но если Родина прикажет... Но вы можете за нею немного уха...? Да я не наста... Знаем мы, знаем этих католичек... Кажется, она уже познакомилась с С. — вашим старым приятелем?.. Что ж, добро, добро... Пускай!.. Но у меня другой вопрос. Сугубо частный. Вот вы Маяковским занимаетесь... Правда, что будто бы Маяковский в своих стихах употребляет нецензурное слово «блядь»?.. Что вы говорите — три раза?.. Позвольте записать... Значит, так: «я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду...» Какая бродячая собака?.. Это уже мелочи... Второй эпизод?.. Повторите, повторите... «Поэт, как блядь рублевая, живет с словцом любым...» Ну это он уже слишком... Чересчур... А еще лучший-талантливейший!.. И третий случай? Неужто о пятилетке? А-а! «Где блядь с хулиганом да сифилис...» Вот спасибо, спасибо... Все-таки это большая редкость... А вы не помните, случайно, у Есенина?..

*Третий диалог.* — Итак, завтра, у вас в парке «Сокольники» — свидание. И завтра же вы сделаете решительное предложение... Нет... Нам не этого надо... Вы просто, как в старомодные времена, попросите у нее руку и сердце... Чего улыбаетесь? Девушке это всегда приятно... Католичка! вы же сами говорили... Остальное вас не касается... Предоставьте нам... В лучшем случае вы женитесь на ней — чисто номинально, конечно. В худшем... Причем тут ваша невеста? Да никто же не узнает... Андрей! Если Родина-мать требует... Ну, обмоешься, в конце концов... Это не ваша забота, что с нею станет, когда... Мы сами понимаем: какой из вас любо... Но вы пользуетесь пока что симпатией... Почему-то С. у нее не... Короче, завтра... Пеняйте на себя... Каждое ваше слово... Что?! Вот новости! Считайте себя мобилизованным... Если Родина в опасности... Какое вам дело до ее будущего? Да ее после этого не будет больше! Понимаете — не будет!..

Назавтра, скрепя сердце, я поехал в Сокольники. Меня поразил замусоренный и какой-то потасканный вид прославленного пустыря. Хотя шальная жара 48-го года едва опустилась на землю, повсюду уже бросались в глаза разбитые

бутылки, смятая бумага, яичная шелуха... Возможно, то была абберрация. Со мною случалось подобное искажение правды. В комнате у нас я недавно заметил за собою белесоватые следы, как будто от известки. Вот, подумал, будь я проклят, опять вляпался! Наследил как последний маляр! Подметки сапог, однако, смотрю, у меня в порядке. Но веник — не берет. И щетка на них не действует. С мокрой тряпкой, в ведре, с водой, — принимаюсь оттирать. Куда там! Прямо беда! Белила, видимо! Масляная краска! Вернется мама с работы и давай опять, с усталости, мыть полы... Внезапно отпечатки, у меня под натиском, пропали, сошли на нет. Отошел, люблюсь удачей, а они, черти, спустя мгновение, снова и ярче еще в два раза проступают на влажном паркете. Неужели, думаю, у меня уже от всех переживаний — белая горячка?.. Догадался глянуть в окно и возликовал: — Солнце!.. Да ведь это же просто солнышко наше лежит на полу ровными полосками и правильными облатками. Каким-то отраженным углом. Облака же, пробегая по стеклам, то затирают полотером следы, то признательно восстанавливают. Приятно, знаете, убедиться иногда, что это не твой грех, и не грязь, не известка, а солнце виновато... Но тут, в Сокольниках, все было наоборот. И самый свет, представлялось, покоился на траве, на кустах слоем белесой наносной пыли. Даже не известковой — свинцовой. А небо, мечущее жар, без единого облачка, мутно и тлетворно, словно списано с меня. Отдыхающие, которых почему-то в это раннее лето было здесь чересчур много, расположившиеся загорать или, подремывая, ловить сетку тени в газетке, рисовались безжизненными, резиновыми червями. К тому же они время от времени, по ходу солнца, переползали, продолжая хранить невозмутимость неодоушевленных червей, чем лишь увеличивали мое ко всему тяжелейшее отвращение. Душа в этот день была у одной Элен...

Есть пословица: чужая душа потемки. Неправда. Чужая душа, если она, конечно, существует, — за редким исключением, чиста, как стеклышко. Не о личности речь — о душе, которая, может быть, к человеку и не причастна. Он убивает, обманывает, а душа его чиста. И живет себе независимо до поры до срока. Ну разве что воодушевит иногда на что-нибудь хорошее. Молился, я где-то читал, святой подвижник, в пещере, за убийцу, который пришел и объявил, что пришел его убивать. И ведь, действительно, убил, переждав молитву. Но тот молился, очевидно, не за себя, где-то читал, и не за этого, наверное, мертвого уже разбойника, разведенного грехом и пороком, словно червивый лист. Он молился за спасе-

ние, вот странные слова, спотыкаюсь, души убийцы, видимой ему, по всей вероятности, как ясный день. Не пропадать же душе-бедняжке, если проштрафился владелец? Да он и не молился, он ее омывал. Он делал для нее все, что мог при последнем приговорении. И поцеловал в уста: убивай!..

И тут, мне почудилось, я впервые ее увидел, душу. Она вырисовывалась у Элен, наподобие овального тельца или маленького облака, похожая на белого, спеленутого до срока младенца, расположенного, однако, в отличие от ребенка в утробе, пряменько, вверх головкой и не в животе, а в груди, посередине, доставая до лица. Душа из нее просвечивала... В себе вы этого не разглядите. Нет. Ты весь темный. Но там, в глубине материи... Тот образок... Та, останняя, зажженная перед Господом Богом, свеча...

Не знаю, откуда берутся такие мысли. Из какого резервуара? Ведь я не веровал в Бога. Совсем не веровал. И никакой там особенной души за человеком не признавал. К религии не испытывал никаких приливов, весьма смутно ее представляя, как, впрочем, не испытывал и обычной для русских атеистов, яростной, религиозной вражды... Просто нашлись, по-видимому, для меня неодолимые границы. Увлечь? предать? и убить? Пускай не своими руками. Но убить? Нет, это свыше наших сил и дается далеко не каждому...

И я начал торопливо все ей объяснять. Все подряд. «— Сейчас я открою тебе, Леночка, одну страшную тайну...» Исповедуясь перед ней, я все ждал, когда она вскочит и с воплем бросится прочь от меня. Ну а дальше известно: арест, расстрел... Все в голове у меня уже было разработано. И в первый момент, казалось, она не понимает. Ни в какой стране она находится. Ни кто, в бреду, восседает перед ней, как заяц на грязной травке. Ни какую спасительную роль во всей этой истории должен сыграть наш общий друг Сережа. И потому, наверное, от непонимания, она дважды улыбнулась при моих инвективах о вымороченной любви по заданию госбезопасности и о браке по приказу Родины-матери, после чего иностранка автоматически попадала в объятия нашего грозного подданства, и ее бы запытали, ей-Богу, ее бы запытали... Может быть, это звучало, действительно, комично. Претенциозно. Объясняется человек в лучших чувствах, а сам приговаривает: мы расстанемся,— чтобы тебя не убили. Убили? Поллюбить?.. Но мне было не до смеха...

Она забеспокоилась: «— Уйдем отсюда, Андрюшка...» И, в самом деле, к нам уже подползал за кустами мужик с газетой. Он полз на спине, вверх брюхом, будто бы продолжая одновременно загорать и читать, невзирая на все неудобства,

какую-нибудь «Культуру и жизнь» с новым постановлением о порочных композиторах, засоряющих русскую музыку... Мы переместились. И пока тот, с газетой, разворачивался, а другой еще не подполз, мы, кажется, поцеловались. И тут я заметил, что она все еще сидит, и стоит, и идет рядом со мной по дорожкам в парке «Сокольники», которому одно название, что парк и что «Сокольники», а так — отхожие кусты и общипанные деревья, которые сами не знают, зачем они здесь растут, когда их всякий, кому не лень, обдирает, — вместо того чтобы бежать от меня в суеверном ужасе знатной иностранки, кинуться к отцу с матерью, поклониться послу: «— Спасите меня! Спасите от этой мерзости, которой нет предела, если мой лучший русский друг и тот агент, приставленный меня погубить, как сам он только что мне признался!..» Но она все шла и шла со мной, как будто уже и лья, и любя на расстоянии, после мнимого разрыва, за то ужасное, что я вылил на ее голову. И мы, извините, второй раз поцеловались...

Ох, Ленка! Когда я сейчас вспоминаю обо всем об этом, я думаю, меня в ту минуту только чудо спасло, чудо твоего доверия ко мне и к тому, что я говорил, снова, и снова кидаясь к тебе объяснять все с самого начала. И ты не права, что спорила со мною всегда, будто, по христианским понятиям, каждый человек выбирает и потому свободен. В решительные минуты душа не выбирает, как мы не выбираем себе детей и родителей. И я действовал не свободной волей, когда открылся тебе в подготовленном на тебя покушении, хотя, быть может, это и было самым серьезным переломом в моей жизни, после которого, внутренне, возвращаться в ряды морально-политического единства советского народа и общества, уповая на изначальную чистоту революции, было уже немислимо. Сама посуди. Тебе, предположим, из очень-очень высоких нравственных идеалов, велят резать ребенка? Ты станешь выбирать: резать или не резать? И не покажутся ли тебе после этого сами идеалы слегка, мягко выражаясь, подмоченными кровью — не собственной, не нашей кровью пролетарьята, а чужой, невинных младенцев, которую, Ленка, чем дальше и внимательнее ты смотришь, тем все больше и больше различаешь на доблестном, уже упившемся, красном стяге. Ах, эти песни: «Над миром наше знамя реет...», «Мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы к голодному люду пойдем...», «На бой кровавый, святой и правый...» Ты знаешь, даже сейчас, когда я заканчиваю этот роман и начинаю по временам, чисто физически, выдыхаться, я подбадриваю себя, мысленно, этими песнями. «Марш, марш вперед, рабочий народ!...» Прекрасные были марши!..

Да, тяжела свобода — не выбора (выбора нет) — свобода одиночества в мире, где ты вынужден жить (да я бы и не выбрал другого), который ты все-таки любишь, в котором прижился. Хоть и говорят, что я обозвал Россию сукой, но она же мне мать родная, Ленка, и так была хороша и правильна в моих глазах, когда я начинал жить... И когда мы расстались с тобой в Сокольниках, помнишь, и, как думали, навсегда, навеки (ты — во Франции, я — в России), обо всем договорившись, и я пошел своей дорогой, пешком, через весь город, мне все мерещилось, что прохожие смотрят на меня с осуждением и показывают пальцами: враг народа, вон — смотрите — враг народа идет... И до сих пор это длится, словно я все еще возвращаюсь домой из Сокольников, пешком, через весь город. Нет, не угрызения совести, но чувство какой-то последней оторванности от людей, от общества, состояние страстной отверженности, как это бывает у законченных преступников, мной владело, хотя все мое тогдашнее преступление заключалось в том, что я не мог заставить себя стать соучастником в убийстве. Какая-то половинка сознания меня спрашивала настоятельно: но ты же советский человек? А другая огрызалась: оставьте меня в покое, я просто человек, или никто, или враг народа...

Много лет пройдет, и где-то под Суздалем я случайно забреду в случайно уцелевшую, но все еще действующую церквушку, и старенький, пушистый попик спросит меня, да так властно, смерив с головы до пят:

— Откуда прибыл, раб Божий?

— Из Москвы,— отвечаю машинально, а сам не могу вспомнить. Так значит — и я? и я? Как все люди? Как прочие?.. Раб Божий, и больше ничего за спиной. И не надо нам никаких иных должностей. Как зов свободы: раб Божий... Ибо нет лучше титула, точнее обозначения... Наконец-то. Ничей раб. Только Божий...

Но это будет потом, а там, в Сокольниках, я все боялся, что она еще что-то недопоняла. Все висит, мне казалось, на ниточке ее понимания, и только поэтому мы еще держимся. Не предаст, конечно, как я ее не предам. И любовь, еще не родившуюся, не осуществимую, — как пепел, как могильный прах в сердце — унесет без надежды встретиться. Не мне ее, католичку, этим тонкостям обучать... Как, однако, нам вести себя на сцене, публично, имитируя фатальный разрыв? У нее был один органический недостаток: она не умела обманывать.

Да, мы с тобой разработали ложную версию объяснения в парке «Сокольники». Слово за словом. Шаг за шагом.

Встречную, так сказать, легенду. Впрочем, не такую уж ложную, если присмотреться. Наша нежная дружба распалась под ударами грубой действительности. По моей вине, но, запомни, Лена, запомни, по твоей инициативе. Мой вульгарный нажим, моя непонятная попытка чуть ли не насильно женить тебя на себе и тем обратиться, каким-то обманным образом, в советское подданство — показали тебе настолько чудовищными, настолько даже нечистоплотными в моральном смысле, что ты вынуждена была, вознегодовав, порвать со мной отношения... Тут она вступилась за меня: не надо, Андрюшка, насчет нечистоплотности. В моральном смысле... Все-таки это неправда... О, Господи! Она еще искала правды. Луч света в темном царстве! А я-то обучал ее обману, одному обману. Надо! надо! Ленка! Пускай они знают, суки, патриоты своей Родины, что это непристойно. Что ты, в результате, уже начинаешь подозревать меня, своего лучшего русского друга, из-за них, в самых черных делах... Смешно сказать: я еще спорил с ними на тему патриотизма, я, враг народа. Какой они малюют Советскую Россию перед всем миром! Стыдно. Пускай прекратят свое блядство!..

— А что такое «блядство»? — спросила она, заинтересованная новым русским словом. Я кое-как объяснил, и она покраснела. Хотя, мне кажется, по-французски нет адекватных формул. По-французски, мне кажется, два человека вообще не могут по-настоящему поругаться: настолько эстетичный язык. Мне еще хотелось, чтобы при этом разговоре, как разгневанная Диана, она дала бы, якобы, мне пощечину. Но на это она не пошла, и, может быть, была права. Слишком это не вязалось с ее психологическим обликом. Нельзя переигрывать...

Ну, хорошо. Сценарий заготовлен. Роли — распределены. Кто же теперь все это правдоподобно исполнит? Изложит? Подтвердит? Где гарантия, что мы не обманули органы, обо всем — вась-вась, между собой — договорившись? Вот тут совершенно необходимо вступление третьего лица. Тут нужен — доносчик...

Сережу, она, к сожалению, не любила, сама не зная почему. Хотя и была мила, как подобает иностранкам. Но я уже наблюдал, что некоторые женщины его, безо всяких причин, не переносят. И приятен, и красив, и талантлив, и образован, и умен... А вот поди ж ты, словно нашла коса на камень, ничего не выходит. Шарахаются, как чорт от ладана. Моя мама, например, его не переваривала. «— Да брось ты его, брось!» Еще в детстве. Мне казалось сначала, что это просто ее материнский страх перед мифическим моим «декадентством», в которое, дескать, я невольно впа-

даю под чужим воздействием. Вечно им кажется, что ее хороший ребенок под чьим-то плохим влиянием попадет в дурное общество. А, может, сам ребенок — отброс?.. Но потом, когда... Но я все забегая вперед...

Я сидел на проводе, возле черного телефона, и каждые полминуты, не реже, отрывистый голос, наподобие секундомера, отсчитывал, где теперь, на каком скрещении, обретается искомая точка — Э. Экрана не было. Но, как старый пеленгаторщик, сигналы я воспринимал наглядно, в виде расчерченного по линейке, черного пространства, по которому пунктиром двигалась бледная капсула — Э. Мне доводилось разбирать кардиограммы кораблей, самолетов, но чтобы среди бела дня, в центре города, не мог затеряться, спрятаться за домами одиночный человек? — такой пеленг я наблюдал впервые. За ней следили, разумеется, но — как? Мне и не снилось, что Москва так простреливается. Что все эти каменные блоки, барьеры, ребра видны насквозь, под рентгеном, с единственной каверной в камне — человеческим телом. Уйти от них или промахнуться не было ни малейшего шанса: она вышла на Якиманку.

— Внимание! Она вышла на Якиманку! — скомандовал телефонный голос. — Сценарий вам известен: примирение. Без претензий на руку и сердце. Это пока оставим. Восстановление дружеских чувств. Ясенько? Случайная встреча... Внимание! Яуза! Кино «Ударник»!..

И — замерло. Я тоже остановился и как будто прослушивал сквозь напряженную тишину телефонов, у контрольного пульта, должно быть: «я — чайка!», «я — орел!», «я — сокол!..»

— Порядочек! Приготовьтесь! Переходит Каменный мост!..

Я этот мост вижу — преогромный мост и весь из камня, если глядеть сверху. И по нему, медленно-медленно, переползает маленькая человеческая бактерия. А что ей делать, подскажите, если каждый шаг ее, заранее, уже изучен и освещен?.. По телефону я вижу, как Элен, ни о чем не ведая, поправила сумочку на кожаном ремешке, перебросила небрежно бедный плащик с локтя на локоток и пошла, и пошла дальше, через Каменный мост, по направлению ко мне. Дай-то Бог, сверкнуло, ей вовремя догадаться шмыгнуть по набережной, на Москва-реку, и мы бы не встретились, не сошлись...

— Внимание! Курс — на улицу Фрунзе! Немедленно! Выходите на явку! Пересечетесь как бы случайно. Никаких обид. Сценарий — известен? Идите на сближение. Повторяю



координаты: с Арбата — на улицу Фрунзе. Ясенько? Полный вперед! Желаю успеха!..

Последовал короткий щелчок. Телефон отключили... Покачиваясь, я вышел на улицу и понял, что ни делай человек, он просматривается насквозь — и сверху, и сбоку, и в спину. Им орудуют, им управляют по радио. Меня вычихнули с парашютом, как случается, выбрасывают ударом в задницу десантника. Война? У них всегда война. Без войны они не могут. И я поплыл, я полетел над Москвой, срочно соображая, где мне приземлиться в жизни и как нам еще раз вывернуться из беды...

И тем не менее я не думал тогда, что мир, где мы родились, зол и безумен, да и теперь так не считаю. Я вижу рай на земле под покровом зла. Ведь каждый, буквально каждый из нас, является на свет с желанием — осчастливить. Не мстителем, не убийцей, но посланцемрая... Сам Каин... Благими, засмеетесь, намерениями, хе-хе... Ах, знаю-знаю, но — благими! Откуда им взяться, если зло необратимо? Вы думаете, идеал где-то там? Нет, он здесь, под нами. Мы его топчем. Откуда все эти порывы выбраться из времени — в небо, из общества — в золотой век, как вы его ни называйте? И это естественно для нас — в смутное и тревожное предубеждение о прекрасном. Зачем, в противном случае, нам было бы над этим задумываться?.. Признакирая на земле — цветы и птицы. Слоны. Всевозможные животные. Почему все так интересно вокруг, что и не надо умирать?.. Признакирая — дети. Посмотрите, какие чистые у них лица. Дети — невинны. И мы, всякий раз, надеемся на детей: осчастливят! действительно! невинные! и восстановят рай на земле!.. Или хотя бы память о рае?..

Мы едва не столкнулись в устье Фрунзе, когда она, как столбик, появилась из-под земли, а я по заданному маршруту, на высоком скаку вылетел из-за угла — Элен?! Неужели?! Какая встреча!.. — Я почти вопил, размахивая руками, будто меня дергало током, в знак изумления и радостной растерянности («— Не вздумай улыбаться! Не радуйся! Все подстроено! И — за нами следят...».) — Какая радость, Элен! Бежал, понимаешь, в Ленинскую библиотеку... И вдруг!.. («— Ты успела сказать С. то, о чем мы с тобой договорились? Ты — сумела?..») Мне удалось, надеюсь, придать интонации и жестам ту развязную искусственность, ту разящую в глаза, глупую подстроенность тона, которые прямо говорят, что мы ломаем комедию, если постановщик требует от нас мелодрамы. Пусть видят, если хотят, какой из меня актер. (Да и то нужно было просуфлировать под топот

копыт, под литавры восклицаний: «— Не бойся, деточка! Не бойся!..»)

А она и не боялась нисколько, стоя столбиком передо мной, вся в голубом, сияя, как майский полдень. Ангел — что еще скажешь? Наряд ее, как всегда крайне скромный — крылья стрекозы, — разделял мои представления о небе, а личико озарялось улыбкой сверх всякой договоренности. Напрасно я цедил сквозь зубы, что это моя задача искательно улыбаться, ее же дело теперь, как было обусловлено, хмуриться и дуться и, отшатнувшись, пойти прочь от меня, пока я, рассыпаясь мелким бесом, буду ее умасливать. Мы помиримся, но не сразу, не раньше, чем я откажусь от своих гнусных поползновений. Никакого впечатления. Не умея притворяться, она все еще улыбалась.

— Фу, чорт! — подумал я вслух. — Связался чорт с младенцем.

— А кто чорт? — спросила она серьезно.

— Я, конечно. Ты же у нас младенец. Ангелом работаешь...

Тогда она заплакала. Ну это уже, думаю, лучше. Это уже может сойти за слезы разгневанной души, оскорбленной в своем доверии женщины. И, взяв робко под локоток, как бы уговаривая не сердиться и не ссориться больше, повел долой с площади.

Улица Фрунзе, по-военному подтянутая, казалась почти пустынной. И слежки за нами я не замечал. Неужели вон тот художественный берет с тросточкой это «орел» или «чайка»? Сомневаюсь. Обыкновенный человек. Топтунам берет не положен. На военных я вообще не смотрел. Они — при деле... Ага, вот наконец-то и наш: узнаешь за версту. Шляпа — корове седло, — посаженная как-то слишком прямо. Не шляпа, а бастион, мавзолей на голове. Стоит, с газетой в руках, как чугунная тумба, посреди пустого, чисто выбритого асфальта и внимательно читает. Заинтересовался, дескать, внезапно культурной передовицей, как громом пораженный, ну и пусть интересуется. Газета, мне сдается, служит ему не щитом, не формой маскировки, но внутренним необходимым пособием уйти в небытие и слиться с чистым асфальтом. Он не скрывается от нас, он отвлекает себя от собственного образа. Он глубоко погружен как будто в свое отсутствие на улице. И хорошо: при виде сыщика я разом успокаиваюсь. В мире вне измерений он высится передо мной маяком.

— Так ты была у Сережи? Рассказала, что мы поссорились? Что ни о каком браке не может быть и речи?..

Мы прохаживаемся взад-вперед, мимо нашего согляда-тая, не приближаясь к нему чересчур, но и не удаляясь настолько, чтобы ориентир скрылся из глаз, смененный каким-нибудь новым, незаметным перехватчиком. Противника всего лучше держать в поле обзора...

Ну, конечно, они виделись. В тот же день, к вечеру, она была у него дома и, вся в слезах, понаговорила с три короба — все, что требовалось по рецепту. Она так негодовала, так сетовала! И что же? — верный наперсник умолял не волноваться. Без аргументов. Вопреки очевидности. Ну мало ли! Какие размолвки? Помиритесь! Помиритесь! Я не так выразился, она не то поняла. Он с таким пылом настаивал на возобновлении наших контактов, что она была совсем не удивлена, столкнувшись со мной только что, носом к носу, на площади...

Ах, это милое, заграничное прилежание к славянизмам: «носом к носу», «с три короба», ради правильного орнамента туземной натушливой мовы («совсем не удивлена была»), на которых, слушая эти вокабулы, я как-то настораживаюсь. Да понимают ли они, иноземцы, даже овладев моим родным языком с отважной чистотой и неопытностью, что значит слежка, доносы, тюрьмы, — что видят они в России сквозь свое калькированное и стилизованное стекло?..

— Не торопись мириться со мной. Не торопись мириться! Чтобы не попасть нам в еще какую-нибудь ловушку... И ты думаешь, он поверил тебе? Он клюнул на эту удочку? От него, от ориентира в нашей жизни, столько зависит...

— Ну конечно же, Андрюшка! Я так плакала! Я так ругала тебя!

И она расхохоталась. Нет, вы представляете, она расхохоталась надо всем, что было и не было над нами, по всей Москве. Но сознает ли, о чем речь, если еще может смеяться?..

— Ключнул, Андрюшка! Ключнул! — вскричала вдруг француженка с яростью русской бабы. — И я сама убедилась — провокатор!.. Уйдем отсюда куда-нибудь, — потянула она меня за рукав. В Музей, если хочешь. Или в Зоологический сад... И смотри: где же твой, как ты его называл, — топтун?..

Она вылепила губами трудное слово «топтун», даже как-то нежно его причмокнув. Я огляделся. В самом деле, пока мы с ней выясняли отношения, филер успел раствориться. Значит, следит какой-то уже другой «орел» или «сокол». Только я не могу обнаружить его в пространстве. Дурной признак. Действительно, пора уходить...

Что добавить вместо Эпилога? Когда мы с нею встречались — в разные времена и в разных, бывало даже, странах и городах, — она часто вспоминала эту пустую фразу: «— Уйдем отсюда, Андрюшка!», как будто мы и вправду могли уйти. Только смерть вождя позволила нам выскочить из заколдованного круга. Но, стоя в том кругу, я уже принял решение, что, вопреки очевидности, уйду в писатели, а что, как и куда писать — подсказал сам этот круг. Она согласилась при случае переправить вещи на Запад. И сделала это спустя несколько лет. Тут закончился мой долгий путь из Сокольников. — Уйдем отсюда! Уйдем отсюда, Андрюшка...

Теперь мне остается рассказать о Вене. Что тогда, в 52-ом, я вывез полезного и запомнил, доставленный в Австрию, на три дня, на военном самолете? Почти ничего. Отель «Бристоль» — резиденция. Мраморный Иоганн Штраус, в натуральном фраке, выпиливает на мраморный скрипке: «Поп ёп татарина, а татарин ёп попа». А вокруг ныряют полуголые наяды из мрамора: «ёп-попа, ёп-попа»... Прямо у памятника, на тротуаре, мне покупают зеленые очки от солнца, для пушей, видать, засекреченности, словно я заморский турист, и все становится полностью уже неправдоподобным и подводным. «— Та-та-рина!» — наяривает Штраус. «Попá, попá!» — вторят ему наяды.

Мы фланируем по Вене, в зоне оккупации, — я и два приставленных ко мне, насупленных супермена, в ожидании Элен. В письме она собиралась навестить нейтральную Австрию, и я отписал под диктовку, что тоже, как диссертант, командирован в Прагу визировать русский архив и попутно, по удобному поводу, надеюсь, заверну в Вену. В последний момент, однако, мне удалось от себя, как было предусмотрено с Э. на крайний, пожарный случай, вставить в телеграмму невинное слово «обязательно» (обязательно, дескать, приезжай, такого-то буду числа), что следовало читать от обратного.

Чего я боялся! — Я не знал, что они с нею сделают. В тайны операции меня не посвящали. Червяк. Приманка. Лаковый поплавок, заброшенный с дальней дистанции в подведомственные нашей армаде, глубокие экстерриториальные воды. Не человек, а ветхое чучело человека, мешок с трухой, в костюмчике, вчера из Мосторга, с иголки, в двадцать четыре часа, без паспорта, без проездного билета, без визы, из пушки на Луну, продрогший, в пустом бомбардировщике, с двумя сопровождающими на железных, это вам не кресла, скрипялах по нагому фюзеляжу, с поправкой на десант, на транспорт, — похитить? выкрасть? завербовать путем шантажа? — зачем я здесь? для чего? прнеси, Господи...

Над Карпатами потряхивало. Впервые в воздухе, я полагал, не веря чудесам пилотажа, облака, по которым мы ехали, недостаточно мягкие и сплошь в ухабах, в колдобинах, откуда, в дымящихся кратерах, нам сумрачно зияла земля. И, мнилось, мы не парим в небесах, но с треском и порохом проваливаемся под землю...

Спутники мои молчаливы и деловиты. В холе гостиницы, бронированной под советский жилой корпус и братские демократии, поставив меня в сторону, как вешалку, о чем-то переговариваются озабоченным полусшепотом с такими же безликими, но более вертлявыми штатскими. Наших тут пруд пруди. На улице пока что ни на шаг не отпускают. Мы много ходим, будто военный патруль, вторым, прочесывая город. У старшего — расчет. Первое: рекогноспировка, тщательное изучение сцены. Второе: парижанка каким-нибудь окольным путем, возможно, перемахнула австрийской столице. Тут, на панели, мы ее и накроем. В оба! Мы в боевых условиях!.. Но, рассудку вопреки, липнут к витринам. Стоят, руки в брюки, и шарики катают в задумчивости. Не сдвинешь. За стеклом дамские цапки. Мотоцикл, похожий на раскормленного муравья. Тонкострунные велосипеды в подусниках. Чемоданы из гиппопотамовой кожи. Ридикюли — пятнистой змеи. Бюстгальтеры — каркасы грудей, на все вкусы фасонов. Мужской манекен с волевым подбородком викинга... Перешептываются, как заговорщики, почти беззвучно. Я скорее угадываю.

— Шевиот! — Чесуча!

Тяну в картинную галерею. Все-таки, говорю, Вена! Единственный раз в истории! А чего мы там потеряли? — отвечают. — Впрочем, обмозговав: не там ли ваша приятельница?..

Народу — никого. С туризмом, очевидно, не густо. Да и в полотнах недобор. Раз, два и обчелся. Слепые квадраты вместо изъятых рам. То ли схоронили от греха подальше. То ли уже реквизованы. Но кое-какой Босх все-таки. Брейгель. Гобелены...

Лес хорошо кудрявился наверху горы, а рыцари под горой хорошо стояли. Я одного не понимаю: как это старые мастера, путем шитья-витья, умели переключать свою дурную эпоху, тоже, вероятно, жестокою и, может быть, довольно приниженную, в величественное превосходство искусства? Откуда им было даровано это ощущение фрески на ковре, которая по мановению ока переносит нас из искусства в жизнь и обратно? Ведь что такое, спросим себя, гобелены?

Не волшебная ли сила, перешедшая в игривую вышивку? Туда и обратно снует веселый челнок. И вот уже страсти Христовы становятся такими художественными и отличными от действительной казни, что мы любуемся праздником взамен того, чтобы испытывать стыд или боль от сотворяемого на наших глазах ужасающего злодеяния. Не потому ли, что мастера гобелена за стенами мучений и смерти помнили о чем-то другом, что последует затем? Не подмешивается ли в искусство, исподволь, о чем бы оно ни рассказывало, надежда на воскресение? Или его зарок? Обещание? И не этим ли, главным образом, оно побеждает действительность? Оно крепче и долговечнее, и, если угодно, оно жизненнее разрушительной жизни. Оттого оно и целительно, и нравственно всегда, независимо от глупой морали... Искусства нет без любви. Любовь — в основах искусства. Потому оно и тянется ввысь. А смерть, что же, смерть только условие творчества. Без нее не обойдешься. Но как великолепен в итоге сотканный, под ношей, Христос и здесь же, на гобелене, воскресший в свое предсмертное шествие...

Тут мои конвоиры засуетились: «— Что вы торчите полчаса перед какой-то грязной тряпкой? Вы что — нарочно время тянете? Вперед! На выход!..» И — назад к витринам шевелить устами: «шевиот — шерсть — кашемир — штапель...» Никто, смотрю, столько не простаивает у напрасных затрат кургуазной цивилизации. Жители спешат мимо по своим домашним делам. В гетрах, в шортах, в тирольской шапочке с насмешливым, вольнолюбивым пером. Мне как-то неловко за русских, за Советский Союз... У нас на спинах написано, откуда и кто мы такие. Австрийцы, чудится, нас презирают, старательно не глядят, огибают, делая вид, будто мы не существуем. Но служат, повсюду служат!.. Раззятая союзными войсками, нафаршированная разведкой, страна поставляла, к моему кошмару, аккуратную информацию обо всех прибывающих и отбывающих иностранцах. Пофамильно, круглосуточно, с вокзалов, по расписанию, с отелей и пансионатов, — какой же надобен штат! — включая, кажется, таможенню, главный почтамт, телеграф, безвредное полицейское ведомство и вражескую американскую зону. Наша беглянка покуда в этих списках не значилась.

Господи, я зывал, пронеси чашу сияю. Не делай меня ловцом и загонщиком в адской охоте. Смешно, некрещенный, беспочвенный, и вдруг взмолился. Помилуй...

Правда, лет пяти-шести я взял одно время нелепую привычку в кровати, соорудив над головой из одеяла подобие укромного домика, чтобы никто не видел, креститься

перед сном. Не зная в подробностях, как это исполняют по правилам, я исхитрялся воспроизводить магические знаки вслепую, согласно теории вероятности, то с левого плеча начиная, от живота, со лба, сема и овами, с расчетом, что хоть один вариант проскочит. Даже мать, при всем моем беспределном доверии к ней, не имела понятия об этой самостоятельной и невежественной церкви. Помимо других причин, я скрывал от нее уголок первобытных моих амбиций, стыдясь и не умея объяснить словами, что Бог у меня в ту пору каким-то непостижимым путем сливался с образом той же мамы и таял в ее очертаниях. Я твердо помнил, что Бога, к сожалению, нет. Но мама была при мне, и эту версию уже никто не опровергнет. Лучше ее любви на свете ничего не предвиделось. И я, еретик, за неимением Бога, молился собственной матери. Впрочем, ни о чем не просил, довольствуясь младенческим счастьем пребывания где-то рядом, и, воровато крестясь, как бы вступал мысленно перед сном под ее благословенную тень, падавшую на меня почему-то уже с неба...

Теперь, направляясь в Вену по тайному спецзаданию, я грубо обманывал мать, будто по комсомольской путевке исчезну на несколько дней в ближайший Харьков. Что-то вроде летней конференции, не помню уже, на какую тему. Не хотелось обременять сердце. Хватит с нее в декабре арестованного отца с неизвестным, тяготевшим к осени исходом. Небось, эти двое считают его заложником, чтобы я, чего доброго, не сбежал на Запад. Но я бы и так не сбежал. Будь один, как перст, и свободен, как ветер,— все равно бы не сбежал. Во мне бродили иные планы и фабулы...

Однако с моими рьяными опекунами о тюремной судьбе отца я не заговариваю. Бесплезное это дело соболезновать с железом. Отрезало. Непроханжé! И тот, кто в венской вылазке держал бразды кондотьера, показал мне жалкость попыток заглянуть в преисподние области. Не знаю его чинов и весьма туманно восстанавливаю сейчас его непроницаемый облик (помню только маленький, жестокий рот), но был он, должно быть, не последней птицей в оркестре, если его помощник, работавший на подхвате, рекомендовался майором. Ни того, ни другого, впрочем, я не видел в регалиях. На зыбкой земной поверхности они действовали, как силуэты до времени сокровенных и где-то там, в глубине, под глыбами, запроектированных стенобитных машин. Люди большие, в годах, к пятидесяти (или так мне рисовалось по молодости). Один, атлетического типа, с фаянсовыми, будто инкрустированными, глазами статуи, уже абсолютно лысый.

Лишь белесоватый ковыль реял на эбонитовом темени, усиливая точеную мощь прекрасного смуглого лба... Так вот, его начальник, у которого маленький рот (или будем называть его — Главный), за месяц до Вены уведомил меня, что близко ознакомился с отцовским делом и должен объявить со всей авторитетностью, что отец мой опасный политический преступник, изменник Родины, даю вам честное слово...

Из Австрии, путая карты, мы рвали когти уже не самолетом, а поездом, якобы по направлению к Праге, но в действительности на Чоп. То была, как легко догадаться, очередная уловка в соперничестве с американской разведкой, когда бы та, в довершение безумных затрат, по сговору с французской, союзнической комендатурой, вздумала проследить мой баснословный маршрут, имея в распоряжении те же каналы связи, что и наша сторона,— в гостинице, в полиции, на таможне и на вокзале. Затея, на мой взгляд, пустая, как и весь этот самонадеянный, запредельный рейд. И мы сделали до поезда запасной виток по шоссе в открытой автомашине, будто в обход предполагаемых заслонов и домыслов, мимо какого-то модного, судя по всему, курорта, с бассейнами, наполненными небывалого, темно-зеленого цвета водой под бледно-голубым небом, у которой возлежали совсем почти обнаженные, золотистые одалиски заезжих миллионеров.— Разлеглись — словно у себя дома,— промямлил Главный с непонятной неприязнью, не глядя. Но Лысый, привстав с сиденья, доброжелательно скалился на редкостное по широте обозрения лежбище женщин.— Эх, нет у нас полевого бинокля с собой — на этих европейек!..

Поезд, однако, мне показался уже совершенно советским, набитый демобилизованным и едущим в отпуск военным людом. Все было навеселе, и, едва мы набрали кое-какую скорость, послышался звон разбиваемого стекла. Это в окна вагонов швыряли пустые бутылки, метя по придорожным столбам. Население вдоль полотна как вымерло,— знать, попрятались кто куда от нашего боевого состава,— и несколько часов кряду, представлялось, мы ехали по безлюдной стране, под неусыпные взрывы и дребезги затянувшегося салюта. Я с грустью думал о заключенной в человеке неистовой силе разрушительного инстинкта, с которым доселе не сталкивался, если не считать раскатов и отголосков грозного военного эха. Зачем было, спрашивается, ударному батальону, с налету прорвавшему фронт в районе женского лагеря, тут же, перебив охрану, валить и насиловать рукоплещущих, спасенных от смерти пленниц — русских, украинок, полячек



и хорваток? Те бы сами охотно угостили освободителей, и всем хватило бы,—стыдливо нам признавался участник операции, мирный, застенчивый парень из патриархального села. Так нет! Всех до одной, без разбора, они публично опозорили. Сами не желая того. По какому-то взятому раньше, бешеному разбегу и натиску. Ибо не женской ласки искала душа бойца, но продолжения атаки. И горькое лоно раскинулось полем боя. Слишком велик и стремителен, по-видимому, был двигавший ими заряд!.. И что-то похожее слышалось мне сейчас, семь лет спустя после конца баталий, в сокрушительной и разноречивой, если погрузиться в нее, симфонии разбиваемых о камень бутылок, сквозь которую, опасливо вздрагивая на стыках рельс, пробирался осторожный эшелон. Чудилось, колеса поскальзываются и буксуют в треске и в скрежете перемальываемого стекла. Мы шли под сплошной осколочный дождь, под зауспокойный звон по чужой, немилосердной земле, по русской оккупации Австрии...

Но я, как водится, многое упустил из вида в моих поспешных диагнозах, а то и вообще исказил картину под влиянием грустной минуты, и, хотя почти всю дорогу рта не раскрывал, четвертый в нашем купе, случайный, в почтенной седине, полковник авиации, меня поправил и дополнил. Не надо беспокоиться, друзья, по поводу битой посуды из-под винного эликсира. Посуду тут не сдают. Веселятся на всю катушку. Отмечают счастливый исход, законный отдых и служебное продвижение в армии, состязаясь в меткости глаза и точности удара по наземным целям (хе-хе). Это уж такая традиция, с войны. Так всегда здесь бывает, куда мы подалее не отъедем. Что поделаешь? Соскучился, истосковался народ по России, по свободе. Заграничная служба русским людям не сахар. Однако пьяных скандалов, за редким исключением, на данном участке пути вы можете не опасаться. Да и в нашем вагоне едут в основном офицеры. Народ дисциплинированный, инициативный, воспитанный, хорошо подкованный... И он принялся нам изъяснять гарнизонную систему, с ее подтянутой изоляцией, в стороне от густонаселенных скоплений, как бы скрытую от глаз, а вместе с тем на виду у прижимистой Европы, и местные порядки и нравы, которые нашему брату просто-напросто претят. Не хватает им изюминки в жизни. И веселья подлинного вы тоже у них не найдете. Невесело они живут. И не известно — зачем? для чего? на кой шут, извините за выражение?! Только время проводят. В идейном отношении, в духовных запросах... такое, знаете, убожество... Ох, и тошно становится, когда тут с мое поживешь!..

И как будто в подтверждение его справедливых слов, до меня, в антракты между редевшими уже, холостыми бутылочными выстрелами и разговорчивым хохотком полковника, докатывались по вагону разрозненные возгласы, которые здесь, ради быстроты изложения, я механически подверстываю:

— Водка — при всей ее вредности — укрепляет человека. А западное пойло — безградусная кислятина — расслабляет цивилизацию...

— Морально! морально!..

— Мороз, в 42-ом, наших солдат закалял!..

— А зима гнилая в этой Австрии!..

— Эх, у нас на Волге, бывало!..

— Лег я в ванную, а вода в ей тьеплая, тьеплая!..

— Жаль, Венский лес в руках американцев. Так и не повидал...

— Глядим: старуха на велосипеде! Мы чуть не попадали...

— И весь климат не тот! Никакой природы!..

— А люди тут скаредные. Спрашиваю в аптеке: «— Хабен зи...»

— Деревня — называется. А дома — из камня. И вместо крыши — кирпич!

— Нет, Дунай красивая река, ничего не скажешь...

— Ну и, конечно, у них ширпотреб на высоте...

— Не скажите! Не преувеличивайте, младший лейтенант! Наши фотоаппараты — последнего, я имею, выпуска, — не уступают цейсовским...

— А часы! часы!..

Невольно я покосился на каменных моих провожатых. И не улыбнулись. Или уболтал их наш веселый полковник авиации, числившийся, объяснил он, по интендантскому ведомству, начав с демонтажа немецкой техники в самом конце войны?..

— Вежливость у них на первом месте, а поговорить не с кем!..

Мне вспомнился по аналогии суровый пес Рекс, вывезенный из трофейной Германии в большую московскую, уже хорошо меблированную квартиру, который едва не подох, не забеги на огонек и не заговори с ним по-немецки знакомый переводчик. Громадная овчарка бывшего гестаповца, пощечьячи скуля, поползла к ногам избавителя и растянулась перед ним на ковре, кверху голым, беззащитным брюхом. Пришлось ценную тварь за сущую ерунду уступить тому переводчику. Тяжелое это дело собаке потерять внезапно контакт с путеводительной человеческой речью...

— Да, я не летчик! Я инженер авиации! А нынче скромный интендат-хозяйственник,— ораторствовал полковник и вдруг поинтересовался: — А вы кто будете, товарищи, по своей специальности?..

Видать, почувал, что мы втроем, новички в заграничной экспедиции, составляем все же особую, сплоченную, хотя и молчаливую, командировочную ячейку. Что на это ему ответят мои невозмутимые рыцари? И впрямь, кто мы? каков наш официальный статус? Инженеры? строители? снабженцы? дипломаты? — перебирал я поспешно в уме всевозможные профессии. Или мы, быть может, оперативная группа спецкорреспондентов, писателей, выезжавшая для укрепления связей советской литературы с действительностью? Последнее более всего походило бы на правду... Но Главный, сумрачно усмехнувшись, с легкой иронией в голосе, наставительно произнес: «— Мы — универсалы...» Так вот как *это* у них называется! — пронеслось у меня, с удивлением, в голове. Вот каких, оказалось, они степеней и масштабов, мнений о себе, полномочий в нашем слепом и подведомственном существовании! Универсалы!.. «— Универсалы?!» — переспросил недоверчиво полковник, но больше вопросов нам не задавал. Его словоохотливость как-то разом упала...

— А не поднять ли и нам чуток боевое настроение? — воспользовался неловкой паузой Лысый и посмотрел на Главного. Тот лишь утвердительно опустил глаза. Полковник возбужденно потер пересохшие ладони: «Что ж! За мной не пропадет! В таком приятном обществе!..» — Мигом засверкала на столике скатерть-самобранка. Это Лысый выпростал походную кладовую, интендант-полковник тоже не остался в долгу, и мы, не мешкая и без лишних слов, последовали примеру ушедшей далеко вперед, по ходу поезда, жизни.

Мне, как самому младшему в компании, налили стакан коньяку под интендантскую прибаутку: «— Молодым везде у нас дорога...» — «— Старикам везде у нас почет», — подхватил Лысый, наполняя стакан полковника ровень со мною. Не многовато ли? — прикинул я обстановку и собственные небольшие возможности, но вежливо промолчал. Внимания ко мне, слава Богу, не проявляли. Я шел в общей упряжке и после вчерашнего дня почитал за благо сидеть себе незаметно в тени, собираясь с мыслями, в успокоительном полусне поезда дальнего следования. Я люблю поезд. Куда бы вы ни ехали, какие бы волнения за вашей спиной ни кипели, в его мягком покачивании, в скольжении глазами по линиям окрестных абстракций вы обретаєте чувство отрешенности от себя, от минувших и поджидающих впереди

картин и событий, и живете уже частично вне времени и пространства, вне строгого чередования суток, или, может быть, параллельно себе, в неведомых направлениях. Нет, конечно, все ваше достояние, все беды и надежды, сохраняются при вас, как бы теряя, однако, на время проезда свою материальную тяжесть и будто издалека прощаясь с вами, наподобие неопознанной повести, чей след уходит в песок и, если вернется когда-нибудь, то в образах исчезающей памяти. Не жить мне хотелось в те усыпительные часы возвращения в Россию из кругосветного путешествия, а только писать и писать, пока от меня не останутся одни пальцы. Жизнь это, вообще, ожидание написанного... А Элен пообещала... Вчера пообещала, прощаясь, вечером, в Вене, по дороге к поезду, когда я ее провожал, а за нами, великосветской аллеей, за двести шагов, в темноте деревьев следовал мой лысый компаньон, с портативным, небось, револьвером в кармане пиджака, чтобы меня страховать, как он предупредил, от иностранных провокаций. Но я-то знал, чего они опасались. И Элен была обо всем извещена, о каждом их, насколько я мог предугадать, шаге, о напрасной телеграмме с забытым ею словом «обязательно приезжай», об арестованном зимою отце и о дальних моих, таких неосязаемых замыслах... Не за этим ли мы ездили? Не за новой ли словесностью, ввергающей нас в приключения, которых мы не хотим, не ищем, но сами они накидываются, вместо судьбы, и гнут наотмашь, по-своему, куда поведет, нашу многоветвистую жизнь?..

Лишь на третьем-четвертом коньячном витке, немного поперхнувшись с избытка и нетерпеливо закурив, я поймал на себе внимательный глаз предводителя отряда, который, казалось, впервые изучает черты моего лица, покуривая, с прищуром, «Казбек». Поизучав с минуту, он конфиденциально пожевал губами папиросу, словно перешептываясь сам с собою, и, наклонившись ко мне, неодобрительно сообщил:

— А вы — нежный.

— С чего это вы взяли, что я нежный? — угораздило меня вступить за свое мужское достоинство с некоторой дозой нервозности.

— Одна деталь. Как вы бросаете сигарету в пепельницу? Вы ее не бросаете. Вы ее кладете. Не докурив до конца. Не погасив искру. Вы ее жалуете, да?.. Значит, вы — нежный... А вот я — жестокий! Я вот что, вот что с ней делаю!..

И, выхватив дымящийся «Казбек» изо рта, он растоптал его пальцами, он буквально свернул шею несчастному окурку, несколько раз круто повернув... Я так и не понял значения

его пьяной выходки. Что поделаешь? В их вычислениях я многое не понимал, и до сих пор для меня остается неясной конечная цель этой вздорной и никчемной, как мне рисуется, авантюры. Та, за которой они охотились с таким предварительным пылом и массой выкрутасов, ушла от них без ущерба, спокойная за свою репутацию и собственную совесть. Нигде не солгав, не испугавшись. Из смертной, казалось, захлестнувшей петли — ушла. Благодарение Господу Богу — живая...

Ну, предположим, она узнала от меня, с кем имеет дело и чем эта встреча грозит. Да и Главный не очень скрывал свою таинственную принадлежность к каким-то невероятно влиятельным кругам (боюсь, его ликвидировали после падения Берии или вывели на пенсию, по лагерям я его потом не встречал). Не афишировал, конечно, и держался rispetтабельно, в рамках; однако и ребенку доступно, помимо комментатора, кто ее вместе со мной пригласил на Пратер покататься на знаменитом, говорилось, по всей Европе Чортовом колесе или на лодке, втроем (без Лысого), по голубому Дунаю. Кто в ресторане отеля заказывал сухое вино, и реплики за обедом, с обеих сторон, звучали до смешного прозрачно:

— Абстрактные идеи человечество не спасают...

— Я с этим не согласна...

Высокий, узконосый вермут на столе, как модель торпеды. Минеральная вода падает в хрустальный бокал с покающим журчанием, какое можно услышать, вероятно, в горах Кавказа, когда кавалькада галопирует по каменистой тропинке. И вновь — лениво, без нажима:

— Абстрактные идеи человечество не спасают...

— Я с этим не согласна...

Навряд ли он пытался ее уговорить. Не такие они наивные. Скорее, он имитировал рассеянную и великодушную близость щирого вельможи, пока, в коронованном блеске из серебра и хрусталя, нашу эффектную группу фотофиксировал невидимо Лысый, живший в эти часы за кулисами событий. С дальним прицелом, возможно, когда-нибудь предьявить Э. или ее отцу ультиматум, по советской логической схеме из детективного кинофильма: раз пойманы, рядом, на фотку, да еще в ресторанном дыму, — значит, соучастники! Ультиматума, однако, с годами не последовало, кинофильм не удался и ковы распались. Ох, уж эти романтики шпионского, разбойного промысла! Боюсь, его все-таки сняли с ответственного поста...

Между тем завечерело. Дорожные мои собутыльники, насытятся, придумали сразиться в картишки; я же, как человек

индифферентный и не державший еще в руках предательские карты, отполз на боковое свободное сиденье, в уютную мглу вагона, со своим граненым стаканом и посасывал коньяк. В те времена по части крепких напитков я был не мастер, и, помнится, меня приятно удивила возникающая, одним толчком, вокруг головы прозрачная и глухая стена. Сквозь это стекло все хорошо доносится, даже, быть может, тоньше и отчетливее, нежели по обыкновению, но сам ты как будто находишься под надежным колпаком. Я понял этимологию народной идиомы: «быть под банкой». Не потому ли пьяные, случается, шумят, кидаются доказывать одно и то же и допускают резкие жесты по отношению к соседу? Им кажется из-под банки с обостренной внутренней чуткостью, их встречные речи не достигают окружающего сознания и надобно добиваться, чтобы тебя воспринимали. В отличие от обыкновенных людей, в подобном состоянии, правда, я никогда не хулиганю, не ищу общения с ближними, но спешу объединиться в создавшейся вокруг, остекленной ситуации, с целью созерцания. Тому научил меня тот окаянный состав...

Какие добрые и кроткие, гляжу, у них лица, мирных пассажиров, коротающих вечер, как дети, без большого, впрочем, азарта, мягко шлепая валетами и королями в подкидного дурака. Чего же я так волновался, упреждал неизвестно что? Зачем умолял Элен зарегистрировать свое пребывание во французской комендатуре? Зарегистрированному человеку меньше процентов исчезнуть. То-то они чертыхались! И торопил с отъездом, как только с ней мы остались наедине. Дико вообразить, едва пересеклись и спешим уже расстаться. Однако и уехать мгновенно ей тоже было заказано: подозрение напрямую выпадало бы на меня...

О, как они смеялись вчерашней ночью, когда, проводив ее к поезду, я вернулся понуро в гостиницу и с убитым видом поведал, что, по-моему, она обо всем догадалась и распознала особую должность Главного в пасьянсе, отчего и поторопилась проститься. Тут мне стало действительно страшно — на сей раз уже за себя. Они смеялись так, как если бы насквозь проносились мои попытки спасти ее и, опередив, подстерegli с поличным. Слишком долго и громко клокотал надо мной тот бессловесный хохот, чтобы принять его за натуральный смех. Казалось, отхохотав дуэтом заученную партию, они возьмутся за меня по-другому. Смутное мое самочувствие в ту минуту точнее всего можно выразить цитатой из романа, написанного, ни много, ни мало через двадцать лет моим семилетним сыном. В раннем возрасте он сочинял романы, избыточные превосходными фразами

и острыми поворотами, и лучше Егора мне все равно не выдумать: «И, приставив ему ко лбу три пистолета, они повели его в тюрьму». Вот что мне померещилось тогда за их картинным весельем... Но, оборвав смеяться, как начали, по команде, Главный, не улыбаясь, сказал:

— Почему вы решили, что вам она излагала — правду? А может, она в сговоре с нами? За вашей спиной...

И длинным, загадочным взглядом он посмотрел на меня. Я только пожал плечами. Ноша упала. Номер не прошел. Это была такая же ясная липа, что и преступные деяния моего старика-отца, сидевшего у них под замком. Сеять взаимные подозрения это у них в обычае. И смеялись они, должно быть, тоже по специальности. На всякий случай, работая впрок, на будущее, с тем чтобы навсегда запугать. Смеяться тут было не над чем. Разве что над моей растерянной физиономией...

Сейчас, по пути в Россию, я уже не думал, что меня, по возвращении, немедленно заберут. Расплата придет когда-нибудь, можете спать спокойно, но не так скоро. Не стали бы они дурачиться в карты, как самые нормальные люди. Не тратили бы на меня дорогой коньяк. Не бросили бы одного, без призора, в чудесной полутьме вагона, где не то, что выражения глаз — лица не видать, в счастливом успокоении сердца, с несмелыми словами аллилуйи на губах... Как все-таки несправедливо и неправильно мы устроены, если в смертной беде молим о пощаде, а минует стезя, и мы уже благоденствуем и живем, будто так и надо, в ожидании дальнейших сокровищ. И просим, просим!.. Тем временем все, абсолютно все, — и воздух, и вода, и земля, и ночное небо, — нам предоставленно авансом, который, в общем-то, мы забываем обрабатывать и не испытываем признательности к близлежащим вещам.

— Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! — шептал я и тут же осаживал себя: не поминай всуе, молись, не поминая...

Мыслилось, у меня пламя исходит изо рта, дьявольское пламя. По всей вероятности, эти вспыхивал с непривычки и самовозгорался коньяк. И ночь властно влетала в полуоткрытое окно с волною темного воздуха, чуточку прогорклого от угольной, железнодорожной гари, благодаря которой он становился чище. Неистойвой, неистощимой чистоты воздух! И встречный, уводящий в сторону, в ночь, паровозный гудок...

Смотрю, мои добрые попутчики, упившись и наигравшись, уже храпят по своим полкам. Когда они успели растасоваться, я и не видал. Пора и мне на боковую, однако я, наслажаясь, дню и дню одиночество, доставшееся в подарок,

параллельно всепожирающей и уже не существующей жизни... Удивительно, как сон уравнивает всех, без различия исторических величин и назначений, чинов и званий. Ни на чем мы так не сходимся, как на этом поголовном склонении ко сну. Ты готов, спрашиваешь себя, быть как все люди? Конечно, отвечаю, и звери, и деревья, а у самого уже вежды смыкаются. Прощаюсь, уезжаю неведомо куда, под толчею колес кто разберет?.. А ночь не спит, ночь охраняет сон и творит, ночь извлекает свет и огонь из сгустившейся тьмы и воздух из растений, отравленный испарением дня. Не было бы ночи, и мы бы не знали ни звездного небосвода, ни огней за рекой, ни поезда, ни воздуха. И этот протяжный, тоскливый, в прошлом, в молодости, гудок... Вот с чем будет жаль больше всего расставаться—с воздухом ночью и с этим паровозным гудком, мелькает у меня в голове ни к селу, ни к городу. Но самое превосходное, что я выбираю из пройденного, это спать на свежем воздухе. Еще в детстве, на сене, на раменской терраске, куда я еду, или, совсем блаженство, с отцом, с матерью, с женой и сыном—под открытым небосводом. Вдохнешь глубоко и со вздохом улетаешь, и дышишь, и дышишь во сне ароматом трав, шелестом листвы и ночным, пронзительным холодом, изпод родимого тулупа. Приподымешь один глаз, а звезды так и сияют, так и катятся на тебя. Ты чист перед людьми, спящий на вольном воздухе, ты слышишь, как далеко за древним лесом проходит поезд, как гудит пароход у пристани Батраки, за Сызранью. И говоришь «спасибо», спасибо всему, не считаясь с дневными бреднями. И не спишь почти, а только дышишь чистотою ночи, что сама вливается в грудь, и освобождает, и думает за тебя, и собою замещает. Ничего не помню. Один воздух. Да тот напутствующий в ночи, далекий паровозный гудок...

*1983, Париж*



---

Крошка

---

Цорес

---

Эрнста

Теодора

Амадея

Гофмана

— светлой памяти.

# 1

Я родился и воспитался вполне нормальным ребенком. Правда, мать, укачивая меня в невероятно скрипучей кровати, говаривала не однажды: «спи, спи, горе мое!..» И старалась заглушить скрипом стоны полусумасшедшей старухи-алкоголички Полины Михайловны Глинки, долго и тяжело умиравшей за нашей коммунальной стеной. У Полины Михайловны уже были пролежни, и братья Кузнецовы, зарясь на отдельную комнату, в роли опекунов переворачивали ее по вечерам с боку на бок, отчего она страшно кричала, восстанавливая дом. В результате, к четырем годам, я начал заикаться и ничем уже не мог побороть эти спазмы в головных связках. Я говорил примерно так:

— М-м-м-мама, д-д-д-дай м-м-м-молочка!..

И я взмолился. К пяти годам я взмолился. Я возопил мысленно к Господу, потому что, совсем разуверившись, научился говорить. И я сказал — если воспроизвести мои слова печатно и удобочитаемо:

— Мама! — сказал я. — Пошли мне с неба добрую фею, исполняющую желания. Прошу изо всех сил. Фею! Фею мне — и немедленно!..

Как будто знал наперед, что наши просьбы, если очень попросишь, — рано или поздно сбываются. Мама и ума не могла приложить, почему я капризничаю.

Пришла врач-педиатр Дора Александровна.

— Чего ты плачешь, мальчик? — спросила она весело, похлопав меня по животику и осмотрев горло с помощью лампы на лбу и холодной мельхиоровой ложки, от которой меня выворачивало. Помню, ее дамская сумочка, поставленная у изголовья, отдавала духами.

— Фе-фе-фея! — едва вымолвил я.

Она засмеялась. Мне не было еще и пяти, когда она засмеялась над неумелым обращением. И придвинула сумку, пахнувшую духами, к себе. Раскрыв, оттуда виднелись разноцветные билетки и толстые пачки денег. В ту минуту, казалось, она предлагала всё. Богатство. Власть. Славу. А если пожелаешь, — то и Дору Александровну, вместе с ее симпатичной сумочкой, которую на всякий случай она экономно захлопнула.

— Что ты хочешь, мальчик?

По болезни и малолетству я заклинился на поэзии. Ни о чем другом не мечтаю, как только чтобы речь у меня звучала бы и текла беспрепятственно, излетая изо рта правильными октавами. Жизнь, по тогдашним моим, отсталым представлениям, гнездилась исключительно в недостижимой свободе и ловкости произносить обо всем подобающие тирады. Скажешь так, скажешь этак, и — «всё в порядке, всё в порядке, Ворошилов на лошадке». Ворошилов, говорили, один, без охраны, каждый вечер выезжает проветриться на коне из своего особняка в приарбатские переулки для ночного моциона. И всё было в порядке. Цокали копыта. Москва спокойно спала. Но складно повторить достопамятный стишок я был не в силах. О, если бы мне даровали слог и талант оратора, писателя, баснописца, я бы и не то рассказал!..

— Бу-бу-будь по-твоему, маль-ч-ч-чик.

Дора Александровна была разочарована. По побледневшим ее губам скользила улыбка.

— Че-чем зы-зы-заплатишь?

— Чем хотите, Фея!

— Лю-лю-лю...

— Любовью? Охотно!

Не зная, что такое любовь, я ею пожертвовал. Отказался от добра, от славы, от богатства. От всего прекрасного на свете. Так я продал себя, не подозревая, что делаю, дьяволу. Но взамен того я заговорил. Язык мой развязался. С той поры, как ушла Дора Александровна, пропало мое заикание.

## 2

Закончил школу, благодаря языку, с отличием. Мои сочинения: «Образ русской женщины в поэме Некрасова „Мороз красный нос“» и «За что мы любим Илью Исаков-

ского», — гремели, удостоенные премии в Доме пионеров. За Стаймыла Студенбекова — грамота от райкома комсомола. Надо ли говорить, что Стаймылом Студенбековым я вообще зачитывался?..

Другие мои черты, однако, не возбуждали симпатии. Товарищи меня чурались. Учителя тиранили за нечищенные ботинки, волосы и ногти. Но я-то уже сознавал, что загадка не в ногтях. В нашем классе не было меня аккуратнее. Просто им почему-то пришлось не по вкусу мой скромный образ. Кривоногий, низкорослый, с вечной думой на челе, я всем рисовался каким-то Демоном Лермонтова. Стихи мне в жизни многое открыли. Например: «Итак, она звалась Татьяной...» Прекрасно сказано! И чуть раскрою рот, если спросят на уроке, так все дивятся. Настолько параллельно и плавно двигался язык.

В общем-то я больше меланхолик. Но стоит заговорить, написать — и завтра же нам покорятся все моря и океаны. Я мог бы построить новый город в два абзаца. Эх, фея-ведьма, не зря ты мне наставила рога! Переселюсь, думаю, в рукопись на крайний случай. На бумаге я куда привлекательнее. Уж там-то меня ни в чем не заподозрят. Там, на бумаге, я чист перед людьми. Что ж, превратимся в отшельника. Будем вести молчаливые речи с книжными корешками в шкапу. Днем — жить, ночью — писать. Все настоящие вещи писались и пишутся ночью. Пускай в окне, на дворе белый-белый день...

Вечерами, бывало, поминаю Дору Александровну: «где ты, пупсик? иди ко мне!..» Не верилось, что, пока я подрост, она состарилась. Она — не из таких...

Однажды замечаю за собой, что вода из крана течет витиевато, винтом, так же как, врезаясь в сознание, торчит медный кран над раковиной, а лапидарная труба, изъеденная коррозией, дает всему происшедшему суровый сток и оттенок. Пока я умывался, столько воды утекло! А раковина все такая же — как оборванная бравада недогадливого абстрактника...

Не эстетика ли это? — спрашиваю себя в некотором смятении. — Не забвение ли объективной действительности? — И сам же отвечаю: нет, не эстетика! Вода на самом деле бежит витиевато, и с этим надо считаться. Не с поверхностью, а с жаром и планом обуреваемых вещей и явлений. Художественно не только цветут, но и сохнут и загнивают цветы, зеленеет, плесневеет, раковина, дышит калорифер. Ничего нехудожественного, грубо говоря, вообще не существует.

Под этим свежим впечатлением спешу на факультет. Я тогда уже в Московском Государственном Университете учился (по-научному — в МГУ). Заскакиваю на плац у Ком-аудитории, и — картина. Стоят ребята с нашего отделения и о чем-то совещаются. Независимо проталкиваюся. «— Здорово, — говорю, — хлопцы!» На меня ноль внимания. Я привык уже к общему холоду, но старался не вдаваться. Все равно пером ли, словом ли — со мною не поспорят. Я книг подначитался к этому моменту. Язык подвешен. Парю и парирую на любом уровне.

— А это ты, Крошка Цорес? — отзывается Алик Цвибак, тоже немного хроменький, но со мою ладил. Подкованный. Блока и Гумилева драконил — цитатами — вдоль и поперек. «Рождая орган из шестого чувства», — как сейчас помню.

Необходимо объяснить, что я — карлик. Не в полном смысле, а говоря иносказательно — невысокого роста, ниже среднего. И мне бывает нестерпимо протиснуться в середину толпы. Спасибо Цвибаку — подвинулся.

И что же я слышу? Венера Милосская! — разговаривают о собаках! То есть самая разлюбезная сердцу вьется беседа между студентами. Иду на вы. Кто хвалит немецкую овчарку, несмотря на победу над Германией, кто ставит на фокстерьера, а кто, закусив удила, выше всего превозносит уже доberman-пинчера... Свобода слова — как в Гайд-парке. И никаких космополитов. Стоим, все свои, и, как в старой Англии, рассуждаем о собаках...

— А я, — врываюсь, — товарищи, обращаю ваше внимание на уважаемую таксу, которая среди вас почему-то не присутствует. Золотая собака! Или вы забыли? не видели? Тогда поверьте мне — я знаю таксу. Художественное животное. На кривых лапках. Низенькая. Но существует объективно, и с этим надо считаться. Изящная, как ящерица. Вкрадчивая, как змея, но добрая и безоблачная. Как бы ее вам нарисовать? Вы помните, может быть, столик в стиле рококо, Людовика Шестнадцатого, на изогнутых ножках?..

Зачем это дернуло меня — встречать в чужой разговор? — я сам удивляюсь. Полгода как почти ни с кем не общался. И здасьте — такса! Наступило глубокое и неловкое молчание. Все не смотрели в мою сторону, словно я что-то сморозил. Но разве сказал я что-нибудь отрицательное? — посудите сами. И разве нельзя, хотя бы о собаках, разговаривать на равных, по-братски, без камня за пазухой? Как если бы даже слова, дарованные Богом, были прокляты от века в моих красноречивых устах...

Дора (ее тоже звали — Дора) опустила голову. Ее личико омрачилось. Должно быть, от волнения боролась с легким, скромным дефектом речи, совершенно несерьезным, уверяю вас, который ее только украшал в результате, словно родинка на щеке, куда мне так хотелось ее поцеловать. У женщин иногда слышится милость в самой постановке голоса, и это нас обманывает... Пианино, арфа... И Дора произнесла, растягивая музыкальную фразу, как что-то невероятно высокое:

— Всегда у тебя, Синявский, на уме какая-нибудь гадость! Вечно ты что-то выделываешь и выкручиваешь из себя! И собаку ты выбрал нарочно — извращенную. Декадентскую! Уродливую! На коротеньких ножках!..

Она чуть не плакала.

— Да сам он — такса! — гаркнул Михайлов, гигант, приударявший за Дорой и, оказалось, не напрасно. Увалень обычный. Медведь. Отвесит пиздюлей кому надо и не надо — и доволен. Он слыл на потоке первым красавцем, но по части ума был не Ломоносов. Я, например, валил его и брал запросто. Тут, однако, Михайлов взял реванш:

— Да сам он — такса!

И все зашумели, заблеяли с каким-то отмщением в сердце. «— Смерть Синявскому!» — выкрикнул, пискнув, Алик Цвибак. А Дора, сверкая ресницами, послала своему избраннику многообещающий взгляд. Компания распалась. Будто я где-то всем круто насолил. И даже Алик, делавший мне исключение, высказался, уходя и не глядя:

— Хотя ты и прав, Синявский, в принципе, — со своей таксой, но ты хватил через край, и я не могу больше с тобой здороваться, пока ты перед всеми публично не извинишься...

Все куда-то рассосались, оставив меня одного с моими думами о Доре...

Нельзя сказать, чтобы у нас ничего не было. Она явно понимала, что нравится мне, и пользовалась моими услугами для курсовых работ, если никто не смотрит. А на меня, в один семестр, напала струя писать стихи, которые я прятал. Вот напечатаюсь в конце пути — тогда прочтут:

...Тебя любил я всей душою,  
Держа не раз в своих руках!

Образы получались немного преувеличенными. Но это — как температура тела: от нас не зависит. И потом, какое сравнение у литературы с действительностью? — всё наоборот. Маешься, крутясь, как подонок, над какой-то одной невылизанной мыслью. Перекатываешь в голове

шарики, пока они сами не встанут. Но, помни, каждое слово твое должно быть гвоздем, бьющим насквозь!..

А жизнь тем временем текла бесцветно. У всех людей что-то есть. Только я, как страшный «Анчар» у Пушкина, — один в пустыне. Раз я не выдержал и спросил:

— Что у тебя общего, Дора, с этим болваном Михайловым?

Впрочем, начал я, кажется, не с того, но с чего начал — сейчас не так уж важно.

— Отстань, Синявский, — она отвечает, улыбаясь, как если бы давно ждала моего предложения. — Что общего? Ничего общего. Ну переспала с ним три раза, если хочешь знать. Кто считает?..

— Что? Что ты сказала?! «Переспала»? Как это пошло, Дора! Как унижительно!..

Нечаянно я схватил ее за руку.

— Ой, Синявский! Будь другом, не притрагивайся ко мне! Пальцы у тебя, будто у лягушки. Липкие какие-то, противные. Подумаешь, Михайлов! Ну переспала с ним один раз — успокойся!..

Но я не успокаивался. Я-то уже знал, что таков мой жалкий жребий. Женщина, как собака, чувствует мертвеца и льнет к удачникам. Не висеть же у нее на ногах — балластом? Избегал встречаться, следил издали глазами, мечтал...

Я обожаю тебя:  
Ты мой кумир.  
Ты не замечаешь мое «я»,  
Тяжел мне мир...

Пока эта история с такой меня не доконала...

Вскоре Дора ушла с нашего факультета и, по слухам, расписалась с Михайловым. Говорили, была несчастлива замужем — я свечку не держал, не знаю. Одно точно: на его бы месте я сделал бы ее, мою Дору, королевой...

Как-то (я уже заканчивал вуз) мы столкнулись в гастрономе в очереди за молоком. Она была, наверное, уже на восьмом месяце, и я поинтересовался:

— Как поживаешь, Дора? Тебя можно поздравить?..

У беременных женщин, я заметил, красота лица и осмысленность линий перемещаются к центру, в то, что у них сидит внутри, и растет, и зреет для будущего. Это как большие ученые, погруженные в гипотезу о себе самом, откуда выудить их к жизни совершенно невозможно. Все они глубоко сосредоточены где-то у себя в животе. И вдруг, к моему удивлению, ее пепельные щеки зарделись, погасшие глаза метнули факел:

— Ах ты, горе мое! Крошка Цорес! — вырвалось у нее с тем оттенком презрения, который нас особенно задевает, поскольку относится к давно прошедшему времени и ошибка непоправима. — Все ты проспал! Проворонил! Какая девушка к тебе лезла! А теперь — изволь...

Она злобно покосилась на свой высокий живот, словно это я виновник.

— Когда — лезла, — Дора?! Где?!

— А помнишь, когда разговаривали о собаках? Я так на тебя надеялась! И ты не догадался? Ах, Синявский, Синявский...

— Но ты же сама намекала, Дора, что у тебя с Михайловым уже что-то есть...

— И ты поверил? Обрадовался? А я просто немного поддразнивала. Кокетничала. Ревность подогреть, соперничество... Может, думала, станет умнее... Да что сейчас вспоминать? Два литра!

Она звонко припечатала о мраморную стойку бидон. Покуда мы вполголоса препирались, наша очередь подвинулась. Я стоял ошеломленный, позабыв о молоке, и смотрел на Дору. Сердце перевернулось во мне, как младенец в утробе матери. Никогда не думай, что тебе хуже других. Всегда кто-нибудь найдется, — кому еще хуже. Все мы бьем хвостом, более или менее, как рыба об лед...

— Проснитесь, гражданин! — окрысилась продавщица, вырывая прямо из рук мою стеклянную банку. Я взял один литр. А Дора уже удалялась с готовым бидоном, не дожидаясь, пока мне нальют, распугивая толпу негодующим своим животом. Бежать следом с объяснениями было бесполезно. Да и мог ли я за нею угнаться с полной до краев банкой?..

### 3

Что я причина чужих несчастий, — выяснилось не сразу. Но стоит начертить диаграмму обстоятельств, в которые, точно по нотам, попадали из-за меня, подряд, мои старшие братья, — и вы поймете. Печально, как говорится, но факт.

У мамы от первого брака было пять сыновей, один другого удачливее. А я, шестой и последний, отца своего не знал и жил на отшибе, с мамой, не ведая семейных волнений. Братья, молодец к молодцу, разлетелись по стране, я видел их редко, наездами, и судил об их успехах по красочным рассказам матери, с годами все более отдалявшейся от меня.



Начнем с младшего, Николая, который, впрочем, уже окончил мореходку и был определен капитаном сейнера, едва мне исполнилось семь лет. К его производству, весной, мы загорали в Сочи, и брат свое назначение разгулялся отпраздновать на вверенном ему корабле, куда затянул и меня с мамой. Не стану описывать красоты Черного моря, но у причала мы подобрали щенка, к которому я привязался и, покада взрослые пили шампанское, под звуки вальса играл с ним на палубе. Назавтра брат отплывал и, выйдя прохладиться, вскинулся произвести в моряки бедного моего Бульку, как я после, от всех тайком, окрестил моего пёсика, бросив в Сочи на произвол судьбы. Раскачав, словно зайца, за ноги, он швырнул его за борт и, видимо, был упоен своей заветной звездой. «Я,—говорит,—из него сделаю морского волка!» Булька, взвизгнув, скрылся в пучине, а когда вынырнул, нахлебавшись, я не стал дожидаться, скоро ли он потонет, и прыгнул на помощь товарищу, как меня учили, солдатиком. Я неплохо плаваю, и все бы обошлось, если бы девушка, чье имя выпало у меня из памяти, невеста капитана и отличная пловчиха, с криком: «Спасите! Спасите!»—не ринулась в море за нами, в чем была. Наш Николай совсем потерял голову, должно быть уже читая свой позор в глазах девушки-невесты. Скидывает китель, хорошенько разбегается и—бултых ласточкой следом, в высшей степени пилотажно, как потом все уверяли.

В итоге Бульку выловили, я тоже отделался легким шоком, невеста, хохоча и торжествуя, вылезла на палубу и в промокшем платье была похожа на русалку. Не выплыл, единственно, мой брат-капитан. Нырнув чересчур глубоко, прыгая, он раскроил себе череп о якорь. Тогда мать, ломая руки, впервые произнесла:

— Ты—во всем виноват! Ты—убил брата!

Правда, так буквально она потом не повторяла. Но слово было сказано и осталось на мне—клеймом...

С той поры, что ни сделаю—все плохо. Во всем, в последнем счете, окажешься виноват. Ох, Крошка Цорес! Крошка Цорес! Как я оплакиваю тебя! А ведь и ты, наверное, как все, хотел приносить одно добро и пользу. Что же ты наделал? Зачем с тобою пришло столько горя?..

Или где-то—очень, очень давно—мы бесстыдно согрешили? И сами не понимаем, насколько виновны. Были бы не злы, не виновны, не выплыл бы из нас на поверхность—ни Гитлер, ни Сталин. Не было бы смерти. «Оглянись во гневе!»—сказал безымянный автор. И я за ним повторю:—Оглянись во гневе, и ты оглянешься на себя!..

Второго брата мы потеряли внезапно немного по-иному, через два года, но тоже при моем косвенном и невольном пособничестве. Он работал агрономом в передовом колхозе «Рассвет» и пригласил маму провести месяц в деревне. Меня, девятилетнего, безмозглого поросенка, он всюду таскал за собой — по полям и огородам. Водили на птицеферму, где стоял у него настоящий инкубатор, вылупляющий цыплят. Шел 38-ой год, и страна, в том числе участием брата, цвела. Желая сказать приятное, я подивился на пасеке, где только что дядя Костя, хромоногий пчеловод, угощал меня сотовым медом:

— Да тут у вас уголок будущего! Утопия Томаса Мора, да и только! Вот узнает Сталин — и тебе орден на грудь! Орден Боевого Красного Знамени, — Павел!..

Он выругался вдруг незнакомым языком, от которого меня затошнило:

— Эх, горе луковое! Что ты понимаешь? На трудодень-то сколько? Хрен целых, ноль десятых!..

Я не стал спорить, запнувшись на трудоднях. Однако колхозный воздух, мнилось, был напоен спокойствием и довольством. Пахло медом. Свежим сеном. Реяли стрекозы. Вспархивали с треском кузнечики, перебирая, упав, лошадиными ногами в траве. Палило солнце. О, лето! О, детство! О, тихие радости в себе самом!

По утрам в наш палисадник заныривала птичка и давай выводить незабываемую руладу: «Вью-повью! Вью-повью!» Чище и блаженнее звука я не встречал. Века жизни прошли с той малой птички. Но я верю: в райском заказнике она все еще поет!..

Мы бы и не вспомнили о злосчастном эпизоде на пчельнике, когда бы в начале августа брата не забрали по доносу дяди Кости, который в своем шалаше отлично все слышал. Возили и меня на милицейском мотоцикле. Пичкали печеньем, сулили часы в придачу, вечную авторучку с нержавеющей пером, докапываясь, о чем персонально мы сговаривались с Павлом на Сталина и как, в деталях, делились вредить хозяйству. Я плакал, я давал клятву и даже на очной ставке с хромоногим дядей Костей отвергал ругательства, которые, якобы, сгоряча не сдержал Павел. Напрасно!

— Был бы ты, Синяевский, на четыре годика старше, — сказал в наущение следователь, — пошел бы махать кайлом вместе с братом. Яблочко от яблони недалеко падает. Катись-ка вы отсюда, с твоей матерью, подальше!..

И мы укатили. Мать причитала, что неуместной болтовней я навел Павла на кулацкую агитацию. Мне же и не

снилось: кому я навредил, не питая в душе ни яда, ни кинжала? Беспомощный и затертый, как мизинец на ноге, что я смыслил в политике? Но с глаз моих спадала пелена. И высокое право, завоеванное кровью, разглагольствовать обо всем, что подвернется в голову, обнаружилось, тоже несет что-то коварное и обратное. Уж лучше по такому поводу заведу-ка я себе на утеху клеенчатую тетрадь, куда и буду заносить достойные внимания факты. Быть может, над тетрадью когда-нибудь я воспряну и приду в себя...

Так Павел и сошел со сцены, и двадцать лет спустя, в реабилитацию, его не доискались. Сгинул где-то на Воркуте от аритмии сердца...

..Холодно, чорт возьми! Зажечь бы электричество. При свете теплее. Но я лежу и прислушиваюсь к пронсящимся автомашинам. Ты тут, собака? Это хорошо, что ты — тут. Свернулась в темноте, под креслом, или ковриком у порога, и что-то себе жует... Уснула... И снова жует — во сне. Как все-таки украшает существование собака! Встанешь, и замащет хвостом. Пойдет плясать, кувыряться. Подаст, без дураков, затерянный с вечера туфель. Оброненный за батарею носок...

Опять проехала с грохотом пятитонка. Я послал ей мысленное благословение вслед, слыша, что она удаляется и сюда уже не вернется. Какую все же обузу я доставляю другим! Даже этой тяжелой, предрассветной пятитонке...

Нет, слава Богу — еще ночь. Но как ее одолеть, переваливая на другую страницу, на следующий день, о котором и помнить не хочется: опять сначала? Вам-то что — читаете! А мне отвечать, переваливая на завтра. Ночь, остановись, погоди: уже утро! Ночь, уже утро...

Погрузиться бы в сон, чтобы не испытывать лишнего. Заснешь, не успев согреться, и все еще поминаешь во сне: пальцы на ногах так и не оттаяли... Если бы можно какой-нибудь обезболивающий укол!

Ложусь с одним чувством — скорей бы провалиться в постель. Но кажется, что тьма в комнате это тени умерших, которые от меня излучаются. Слепое солнце, отбрасывающее негреющие, ночные лучи. Сколько умерло за нами! А мы всё тянем, стараемся, неся невидимый груз ушедших, но сваленных в память, продолжающих излучаться созданий. Легко сказать!

В комнате пахнет собакой, несет, что называется, псиной и успокаивает: свои. Нет ничего приятнее, признаться, сыро-

го запаха псины. Сырого — после дождя, мелкого осеннего дождичка, когда темно, промозгло кругом, а запах согревает, дурманит, усиливаясь до почти осязаемой галлюцинации. Вопрос: откуда такое находит на меня? Весть об отце, о младенчестве? И где собака?

После кончины мамы я навел справки у наших бывших соседей по квартире. Расспрашивал во дворе, в жакте. У старых, с до революции еще, рассыпающихся песков. Но кем был отец и что с ним случилось, так и не узнал. Еще бы — возраст. Одно известно: к нему накануне — то ли он умер, то ли уехал вдруг — месяц ровно не подходила собака. А раньше предана, как был никто, не могла расстаться. Но сколько он ласково ее ни подзывал, виляет хвостом на голос и смотрит в сторону. Пряталась под стол, под кровать, забивалась в угол и жалась к ногам хозяйки, хотя та по природе была равнодушна к животным, а эту держала в доме скрепя сердце, в виде уступки отцу. Словом, она испытывала странную к нему неприязнь. Либо, почуяв недоброе, стоявшее у того за спиной, избегала и боялась. Впрочем, кажется, без него она скоро околела. Ни отца, ни собаки я уже не застал. Да, возможно, меня еще и не было на свете, когда они оба исчезли...

Каждый раз на отца я как-то спотыкаюсь. Иду, иду и — запнусь. Мне было бы легче, имей об отце я хоть малейшее представление. Пусть, думаю, он был бы страшным развратником, пропойцей, разбойником, врагом народа. Да хоть самым дьяволом. По крайней мере было бы ясно: где корень. Но дьявола нет, а есть — я. Случаются, наверное, дети, рожденные для греха, специально, от кого исходит неведомое зло по земле, внушая всем ответное отвращение. Я — из тех. Не то, чтобы плохой человек, а — нехристь, нечисть... Но, может, и мне с годами отпустится щепотка грехов за то, что, ничего не утаивая, я все пытаюсь записать? За какую-нибудь фразу, прекрасно сказанную, за одну заблудшую ненароком строку...

Наконец-то ноги согрелись и я уснул, сознавая, что на завтра от меня останется на кровати много-много беспомощных, ни к чему не ведущих листочков... Очки влипали в лоб, но я себя не помнил и заносил вслепую, во сне, что скоро утро и ночь уходит, уходит из-под ног. Меня терзают и сковывают оставшиеся минуты свободы, после которых, едва рассветет, я не смогу, не имею права, ни слова сказать больше, наподобие привидения, что с пением петуха внезапно смолкает и проваливается под камень. Но я еще живой и пишу...

О чем? О том, что деревья во дворе, наверное, уже потемнели на фоне побледневших небес, по которым в одном направлении мчатся неслышно чернильные облака-дирижабли. Труба на краю стены стоит, как самоубийца, готовый кинуться вниз,— высокая и стройная. Еще минута, секунда — и зачирикают птицы. Кажется, сквозь сон я различаю уже первые, пробные трели. Вью-повью! Значит, им — за работу, мне — на погост. Смена пришла! Смена! Утлые туфли на полу вырисовываются отрешенно, будто темные ступни моих отрубленных ног. Рубаха свисает с кресла безвольным, обезглавленным телом. А кресло свернулось в позе уснувшего калачиком, сидя в кресле, человека. Собаки нет. Не успею. Асфальт. Беги. Светает, и в случае чего не докличешься, не дозвонишься. Пустая, белая улица, и сам я застываю в какую-то абстрактную, на углу, скульптуру...

## 4

После ареста Павла закрепиться в жизни помогло нам покровительство третьего брата, Василия. Перевесили чин и должность начальника погранзаставы. А вскоре, к нашему счастью, разразилась Великая Отечественная война, на которой Василий еще более прославился. И думал ли я когда-нибудь, что приложу руку к его беспричинной гибели?! Нет, не думал. А было так...

Брат возвращался на фронт с Урала, из спецкомандировки по формированию запаса, кроме законного отпуска имея резерв времени, и по дороге завернул к нам с мамой, в эвакуацию. Стояла январская ночь, когда он ввалился, полковник, с двумя чемоданами, с ординарцем в сенях, отряхивая снег с папахи, громко топая, никого не страшась, и мы повскакали с лавок.

— А тебя еще не пришибли, заморыш?! — кричал Василий, подбрасывая меня к потолку, несмотря на мои четырнадцать. — Ешь больше — вырастешь! Хочешь я тебе Москву покажу?..

От него по избе, как от медведя в можжевельнике, шел огненный дух на всех нас, на него глазевших. Как он ухал утром и кричал над рукомойником, охлопывая себя по бокам и по лопаткам! И занял собою всю нашу половину избы, так что евреи из Гомеля, другие эвакуированные, полгода после боялись из и робели воровать наши с мамой, из общего сарая, дрова.

А пробыл-то всего ничего, неполные трое суток, в шипре, в португее, с пистолетом в кобуре, к которому строго-настрого заказал мне пристраиваться. Не считая ординарца, спавшего на печи и бегавшего по девкам,—весь в ваксе, в водке, смеясь до изнеможения. Мы наслаждались обществом брата, но — недолго.

Мама ушла на учительское собрание,— она вела родной язык на селе, а я, старшекласник, как водится, торчал одиноко в городе, сбегая с уроков, к ней под крыло, под любым предлогом,—когда на третий день, к вечеру, на одичалом скакуне настиг меня и поймал за шапку рассыльный из сельсовета, и, свешиваясь, всучил телеграмму.

— Кому?! — догадался я крикнуть в нежное бушевание.

— Полковнику! — донеслось из ночи.— Самому! Срочно! Из города!..

— Тебе телефонограмма, Василий,— объявил я, не глядя, переступая порог.

Брат брился и, закончив бритье, прыскал на себя шипром.

— Читай!

На голубом квиточке, дырявым, по-деревенски, пером, было нацарапано четыре слова, которые я и прочел:

— *«Срочно явиться в часть».*

— Подпись?! — грозно спросил Василий.

— Никакой подписи,— прочитал я.

И тут он начал собираться по команде, надел пистолет, папаху, кликнул парня, спавшего на печи после вчерашних похожений, чмокнул в щеку.

— Передай матери — вызывают. Пока! Не поминайте лихом...

Человек рассеивается, как пар, как запах папиросы в какой-нибудь привокзальной уборной. Зайдешь и — кто-то был только что и весь вышел, недосягаемый уже, эфемерный... В пустой избе я сижу один и вдыхаю при керосиновой лампе все, что после нас остается от человека,— запах ваксы, водки, одеколona, чистого, зимнего полковничьего белья... Верчу бланк в руке. На обороте — выведено вверх ногами, каракулями: *«Синявскому.— Завуч средней школы»*... Сам завуч?! Что за притча?..

Мне еще никто и никогда не присылал телеграммы. Ни писем, ни почтовых открыток. И, наверное, прости-тельно, что я рассмеялся: *«Синявскому»*?! Словно я какой-нибудь Лев Толстой или Панферов... Ага, догадываюсь, завуч, инвалид войны, мнит себя комиссаром. Вызывает — «в часть», не иначе... Что они — чокнулись, что ли? Правда,

я пропускаю школу, засидевшись у мамы в селе. Брат приехал. Полковник. С фронта. Успеваемость у меня все равно на Доске почета. А Вася?.. Тоже — вызывают? Срочно явиться!.. Причем тут Вася? Вася, слава Богу, — не мальчик. Какой ему к чорту — завуч? У него и фамилия-то не моя. По первому отцу: *Лихошерст!* Все братья у меня — Лихошерсты. И мама...

Все это медленно-медленно добирается до сознания, застывая в жилах: телеграмма — Сиявскому. Мне... Да, я — Сиявский! Я — Сиявский! Но мчится-то на фронт, на смерть — Вася Лихошерст!..

С ним, с Василием, впервые в жизни, мы с мамой жили при здоровом мужике. Храпел по ночам на пару с ординарцем. Гаркал, брился, вонял, шутил — на всю половину избы. И все было приятно. Потому что — брат, полковник! Тогда я понял впервые, что значит овдоветь и почему воют бабы по пропавшим мужикам, получив из военкомата повестку, делая эпос из личной лирики. По деревням тогда стон стоял, а мы пировали три дня, у Христа за пазухой, и не уберегли Васю...

Дико воя, проваливаясь по пояс в сугроб, я выкатился из избы. Да где ж мне было нагнать его, по росчерку пера умчавшегося на лошадях Лихошерста! Я бежал до станции двенадцать километров, в надежде дождаться поезда, а потом еще двадцать четыре — до нового аэродрома. А снег-от выпал в ту зиму — ни пройти ни проехать, до неба — вона какой! Да сдуру я сбился с пути, попав в буран, и припелся наугад, полем, в полдень к самолету, который улетел в полночь.

Так я еще никогда не задыхался. Круги вокруг меня сужались и сужались. А самолет все лез и лез тем временем, карабкаясь по небесным ступенькам, и ужасно, безнадежно жужжал. По пояс в снегу, я видел на экране, как брат мой, пока я чухаюсь, пересаживается с веселых, навозных розвальней на полуголый грузовик, с грузовика — на бомбардировщик и летит на передовую позицию, раньше чем я, проваливаясь, доползаю до вокзала. И в первый же день, прилетев, берет на себя ответственность, с пистолетом в руке подымает, по сугробам, в атаку свой раскромсанный батальон и падает смертью храбрых, в первый же день, под Минском, под Гомелем, под Нарвой, все дальше и дальше на запад, но он падает и падает в снег, что я ему и подстроил, по пояс, не поспевая к самолету.

А мог бы, кажется, замедлив отъезд, пофорсить еще неделю-другую тыловых-отпускных, когда бы не моя телег-

рамма. И жил бы сейчас с нами, всем на радость, Васька Лихошерст. Если бы не я, не Синявский!

Из всех преступлений, из всех убийств, которые мне приписывают, эту смерть я беру на себя. Да, действительно, я подставил брата под пулю. А все торопишься, торопишься...

...Мы дошли до черты, до четвертого брата, и я отступаю в смятении. Неужели и четвертого мне суждено погубить? Нет, после всех передраг я старался с ним не встречаться, дал зарок, завязал черным узлом. Совершеннолетний тем более, да и что я у него потерял? Звали его Яков, но хотелось громче, по отчеству, или совсем уже триумфально, как все величали Якова в глаза и за глаза: Доктор Лихошерст! С виду неказистый — одни нервы. Расплывшиеся белки с мелкой червоточинкой в центре, под невозможно толстыми стеклами в американской оправе. На тонких губах вечно сардоническая улыбочка, «Редьярд Киплинг», «Оскар Уайльд», «Верлэн», «Верлибр»: любил греметь заграничной валлотой...

Мне лично Яков не нравился: «я», «я», и все знает, везде превзошел. К тридцати успел облысеть и женился трижды, не считая медсестер, ассистенток, которых у него под рукой было, как в Бахчисарайском фонтане. А что вы хотите? — Главный хирург больницы имени Боткина!.. Но вот что интересно: ко мне, бастарду, каким я выросал, вероятно, в его очкастых глазах, он испытывал тайную слабость или скрытое любопытство и всегда старался ввязать в щекотливый разговор о каких-нибудь изысканных книгах, по тем временам криминальных, про которые от него мне и слышать не хотелось, чтобы не навлечь по оплошности какое-нибудь новое зло. Попадешься ему на удочку, и выйдет у нас опять совершенно не тот «Мой-до-дыр». Меня связывало с ним единственно, что в среднем раз в месяц я бегал к нему в Боткинскую за рецептами валидола, когда у мамы повторялись сердечные кризы и приступы. О маме, однако, он почему-то не справлялся. Морщился небрежно: пройдет! Не исключено, у них были какие-то свои счеты. Мое дело сторона. И, не впутываясь в беду, я положил за правило в краткие наши свидания употреблять максимум два слова: «да» или «нет». Эдак оно спокойнее — не затягивает в беседу. Взял рецепт и долой. Он так и прозвал меня, передразнивая: «Да-или-Нет»...

— Добро пожаловать, Да-или-Нет! — кричал он еще с лестницы, в белом халате, ощерившись, словно метил меня и вытаскивал, как занозу, своим провокационным



пинцетом.— Сестра, пропустите молодого человека. Не здесь же, не в этом Бедламе дискуссировать нам, о чем говорил Заратустра и что думал о природе души Григорий Скворода? Да-или-нет! Быстро: да или нет?..

— Да,— я отвечал, но не шел дальше приемной. Меня волновала его манера беседовать со мною на «вы», в соединении с сарказмами. Возможно, и он где-то меня побаивался и поэтому паясничал. А может, просто хотел разобраться, что я за зверь, и выщупывал и зондировал с присущим хирургу искусством.

— Что! Снова за валидолом?

— Да.

— А в гости ко мне не зайдете? У меня окно в консилиуме...

— Нет.

— Все некогда? Понимаю. Экзамены. Семинары. Курсовые работы... О чем у вас курсовая?

— Стаймыл Студенбеков,— произносил я как можно тверже пересохшими губами, стараясь не упасть.

— Стаймыл? Студенбеков? Это еще что за пугало? Да вы бы лучше... Рекомендую...

И он начинал перечислять писателей, от чьих незнакомых имен у меня дух захватывало и бежали по коже мурашки. О, нет, не за себя — за него я дрожал... А Яков, искушая, заманивал на операцию какой-нибудь сверхъестественной опухоли мозга или удивительной кисты, под видом студента-медика, что было, конечно, нарушением закона и плохо бы для него кончилось. Или, подмигивая, зывал одним взглядом пройти в анатомичку... Его глаза под стеклами, казалось, сами плавают в каком-то хлороформе. Тогда, во избежание риска, я коротко объявлял, что мне пора...

Но видно, его фатум был написан у меня на лбу. И я лежал без сознания с острой формой перитонита, когда он, поставив на ноги всю профессию, сам, как лучший хирург, взял скальпель. Плачущие сестры на другой день поведали мне под секретом, что у Доктора Лихошерста впервые тряслись руки, пока он оперировал. Боялся, видать, зарезать прямо на столе. У меня же, как выяснилось при вскрытии, не было ничего острого, и Яков перебрал по очкам. Выйдя из операционной, шваркнул, говорят, о кафельный пол перчатки. Потребовал сигарету и стакан чистого спирта, хотя прежде не курил и не притрагивался к спиртному. «Да или нет», «да или нет», — шептали его уста, и все думали, что это он продолжает сомневаться в диагнозе. Но я-то знаю, с кем он тогда спорил, кого вызывал, так и не поговорив по-настоящему ни разу. Здесь же, при всей медицине,

позабывшей ему дать валидол, Яков грузно сел в кресло и скончался от инфаркта. Наверное, ему померещилось, что по его врачебной вине меня уже не стало. Я его понимаю.

## 5

Мне нужно передохнуть, чтобы, собравшись с мыслями по выходе из больницы, перейти к пятому брату. В тот год у меня с мамой произошел раскол. Прямо она не сказала, но читалось в глазах, что ей физически тяжело находиться со мною рядом. К тому же я готовил диплом и, просиживая штаны в публичной библиотеке, старался как можно реже показываться дома, чтобы собственным видом дополнительно ее не травмировать. И само собой повелось, что в наших невозвратных утратах ее все больше и больше отвлекали от меня новые заботы — бабушки, появившиеся в семье старшего сына — Владимира. У того подрастали замечательные двойняшки, мальчик и девочка. Короче, она объявила, что переезжает к нему ходить за внуками. Я не оспаривал ее права нянчиться с внучатами и облизывать счастливого первенца, но меня грубо кольнуло, когда мама неожиданно обратилась ко мне по фамилии, притом с какой-то враждебной и предвзятой нотой в голосе, словно я — чужой:

— Ты, Синявский, уже не маленький. Имей совесть. Учись — один. И тебе, и мне будет лучше...

Первый раз она заговорила со мной так официально, как если бы навсегда отсекала от себя. И тут я не выдержал и тоже напрямую спросил, кто мой отец. Раньше, догадываясь, что это ей неприятно, я вежливо обходил скользкий вопрос молчанием. Но тут заело. По паспорту, среди Лихошерстов, один я — Синявский! Откуда? Почему? Обреченный на одиночество в доме, я хотел для компенсации иметь, наконец, ясность.

— Не твое дело! О таких вещах не спрашивают! Пишешь свои дневники-черновики? — ну и пиши-помалкивай. А ко мне не прикасайся! Хватит с меня!..

Я настаивал. Мне казалось, источник наших с мамой несчастий и разногласий скрывается где-то во тьме моего происхождения.

— Буду умирать — скажу! Потерпи: уже скоро!

Как если бы я хотел ее смерти. Я вспылил. Было видно по всему, что она меня уже нисколько не любит. В итоге,

поспорив, мы расстались взаимно обиженными. Мама наотрез отказалась, чтобы я провожал ее по семейному каналу. За нею, в мое отсутствие, заехал налегке персональный шофер Лихошерстов, и, вернувшись из читалки, я уже никого не застал. На обеденном столе, как водится,— записка. Просит с материнской настойчивостью не беспокоить по телефону Володю, не отрывать понапрасну человека государственной важности. Сама заглянет, как будет случай. Деньги за свет-газ, жировку, ужин оставляет на столе. И подписано: *Мама*,— нормальными, круглыми буквами. Последний с мамой ужин...

Снова и снова я продолжаю с ней мысленный мой диалог. Сдался мне дядя Володя! — как без надобности, себе в утешение, называл я старшего брата. Настолько он был далек от моих внутренних интересов и помыслов и абсолютно недоступен. Я даже толком не помнил, какой у него пост. Знаю, что государственный, а вся его биография мне, как, извините, пятая нога. Подкидывает матери к пенсии копейку, и то крендель. Холодильник ей выкатил на какие-то именины — от собственного достоинства. Выбрасывал на свалку, невооруженному глазу понятно, трофейное барахло после наезда в Африку, для подъема экономики, себе же в обновление мебели...— да мне какая забота? подавился он своим холодильником! Автомобилист!.. Вообще, я думаю, в нынешнем упадке искусства виноваты автомашины. Разве, сидя за рулем, почувствуешь душу ближнего? Внимание отдано скорости, выражаю, карбюратору. Пожиранию пространства. Никакой прокурор его не остановит... Но холодильники, отдадим справедливость, в тот период были у нас в новинку. Музейная редкость. Реликвия...

Словом, дядю Володю я воспринимал в основном по любительским фотоснимкам и газетным выкройкам, хранившимся у матери в ящике, как национальное достояние. Лица его так и не разобрал. Обыкновенный богдыхан. Скулы сапогами и нос луковицей, тугой воротничок, из которого он выдавливался, по заданию партии, как зубная паста, с насупленным всегда, недоступным, без тени понимания взглядом из-под обязательного лба. Такие лица рисуют, вместо меморандума, на правительственных картинах: ни грана мысли!..

Он тоже видел меня, в общей сложности, раз или два, в вечной спешке,— на маминых именинах однажды и на поминках по Якову, куда нагрянул, по личной инициативе, почтить брата вставанием. Ясно, он и думать позабыл о существовании такого таракана, как я. А мог бы, между прочим, когда-нибудь и пригласить на пирог в свои хоромы. С него бы не убыло. Вот уж кому-кому, а нашему князю Владимиру, при всем желании, я нигде не угрожал.

Чем далее, однако, затягивалось мое заточение, тем глубже сосала мысль о моей неисповедимой судьбе. Я старался лишний раз не высовываться из дому, не пересекаться, сколько возможно, с себе подобными. Проехать на трамвае уже было для меня большой роскошью. Законно: кому я принес хоть какое-нибудь добро? Никогда и никому. И мир без меня улучшился бы — не будь моего вмешательства, не будь моего тайного к нему участия и сострадания, работающих как жало. Профилактика? Прививка вины человечеству, которое только и знает, что оправдывает себя? Чем хотите, но каждый из нас мечтает оправдаться — трудами, детьми, книгами. А как посмотришь на человека в итоге — перед смертью он остается ни с чем. С одним только страхом в душе и с единственной надеждой — на милость: согрешил...

Оправдываемся, стараемся, а зло, сотворенное нами, все растет и растет. Не лучше ли покаяться с самого начала? Сказать честно, глядя правде в глаза: хуже себя я людей не встречал. Не появится ли тогда, как маяк, искомый «грех во спасение», над которым столько смеялись? Не начнется ли восхождение к свету? Ну бросьте, говорю, в меня первого камень: переделку общества надо начинать с себя. И я стану переделываться, подавая всему человечеству заразительный пример. С самим собой легче иметь отношения. Приятнее. Безопаснее. Знаешь, по крайней мере, кто ты и почему... Откуда? — вопрошаю. — Кто? В чем я виновен? Да, может, я не хуже, а лучше других? И думаю, себя понося: а все-таки я страшно добрый и жутко умный... Как еще Господь меня на земле терпит? И если я всем не нравлюсь, то, может быть, зато я угоден одному Богу? Нет, таких, как я, надо давить автомобилем...

Как видите, угрызения совести меня мало терзали. Наверное, это уж такое свойство у совести. Она тоже приспосабливается к нашему самочувствию и печальному положению в обществе. Из всего на свете мы умеем извлекать капитал...

Терзало другое — безвыходность моей ситуации. Уж ладно, Бог с ними, с моими братьями, которым я, как черная кошка, перебежал дорогу. Я же этого не хотел! Содеянное нами откатывается назад и, вылившись в грозную исповедь, сулит успокоение, что прошлое не вернется. В противном обороте мы просто не вынесли бы накопленных по мелочам беззаконий. Мы бы обуглились при жизни. Но что мне делать, скажите, если не в прошлом, а наперед известно: все, что я совершу, сочиню, подумаю — все будет неправильно и не так, как надо. И меня уличат, обвинят! Пойдет ли это на пользу писательству вроде моего, поперек

развитию? Возможно, только поэтому я и пишу — в расчете, что еще и еще кому-то перейду дорогу. Хорошо. А жить как прикажете, когда я сам понимаю, что с подобным существом лучше не встречаться? И маму понимаю: она не виновата, что я у нее не тот.

Помню, в раннем детстве, в пионерском лагере, только один сверстник потянулся подружиться со мной, и мы с Вадимом как-то быстренько сошлись и обрели общий язык. Читали вместе, играли в мяч. Это был стройнобедрый подросток и прекрасный пионер, каких уже сейчас не бывает, чем-то навсегда опечаленный. И я был на небе, когда в конце, расставаясь, он протянул мне телефон и домашний адрес в Москве для продолжения знакомства. Трубил горнист, созывали костер на спортплощадке, бузили, орали, цапали девчонок постарше за нескромные места, а мы с Вадимом, в стороне от суеты, стояли под одинокими звездами, осененные ночной красотой, и радостно держались за руки. Тут-то он возьмись и повинись, на прощание, в немощной тоске, которая его снедала, отчего он, должно быть, и влекся ко мне бессознательно, как к товарищу по несчастью. Прошлой зимой, играя дома в духовое ружье, он нечаянно застрелил четырехлетнюю сестренку. «— Но ты же нечаянно, нечаянно?!» — бормотал я в полной растерянности, не зная, как справиться с внезапным опустошением в сердце, и чувствуя, что все потеряно и никакой дружбы больше между нами не будет. А он уже убежал, громко плача, и расплывался пятнами, по кустам, светло-желтой своей футболкой, выдернув кисть руки из моих отсыревших пальцев — они разжались. «— Я звякну тебе немедленно, как приеду, Вадим!» — пообещал я клятвенно в воздух, прекрасно уже сознавая, что ни за что и никогда я ему не позвоню.

А ведь на мне самом к этому моменту, вы помните, уже висели две жертвы — Николай и Павел. И все же, при всей широте и собственной отверженности, я не мог переступить черты, отделившей меня от единственного Вадима, — через застреленную им, по нелепости, четырехлетнюю сестренку. Я предал его трусливо, гадливо. Что же спрашивать с других?..

В моем архиве накопилось этих самых эпизодов, бессмысленных и безвыходных, — хоть устраивай демонстрацию протеста перед Страшным Судом. Когда-нибудь я все это опишу более подробно. А сейчас предам гласности два факта, не имеющие пока что ко мне прямого отношения.

Первый эпизод — сельский. Ребенок, лет пяти, каких много, лুকнул камушком в петуха, зашедшего на огород от

соседки, и угодил в маковку, намертво. Бабка, хозяйка петуха, думая застрашать сорванца, ни больше ни меньше, сунула его в хлев, к своей свинье. Возвращается отец. Бабка ему докладывает. Отпирают хлевушок — наказать, а того уже чушка докусывает. Отец побежал, разыскал топор и зарубил старуху.

Другого мальчонку, в городе, мать послала в продмаг с десяткой. Семья была бедная, и десять рублей большие деньги. Является ни с чем — потерял. Та гладила белье и, не глядя, в сердцах, швырнула щеткой. Захныкал, заблажил, ушел в боковушку и под дверью затаился. Она гладит. Возвращается отец. Где Вовка? Да он, такой сякой... Смотрят — Вовка мертвый. В висок. Отец говорит: пойду в милицию, надо составить протокол. Приходит с милицией — она висит.

Я бьюсь об стены, слыша подобные речи, и не нахожу ответа. Во все, абсолютно во все замешана мелочь, глупость, какая-то ошибка природы, незримая крошка-цорес. Щетка. Камушек. Замкнутый круг. Но там хотя бы злые силы руководили движением сердца. В моем же случае — одно добро. Стыдно сказать, но я желаю одного добра людям. Лезу вон из кожи. Но всё напротив!

Я понимаю: то, что я пишу и говорю, — безумие. Но какая-то ненормальность вкралась в действительность. Вывихнутость какая-то. Живешь и всего боишься. Сидеть бы мне, думаю, тихим сумасшедшим на своей сумасшедшей койке и беззвучно смеяться...

Ведь бывают же совпадения! Хочу помочь слепому старику перейти улицу, беру под руку с осторожностью, а он, как нарочно, падает и ломает палку, либо разбивает очки, и сам же первый на меня с претензией. Зачем связался? Не лучше ли обойти слепого стороной, пока не поздно?.. Милостыню подашь нищенке, и немедленно твоя доброта переполняет чашу терпения скучающего на углу постового, и тот волочет бродяжку на изъятие денежных ценностей, по указу о борьбе с попрошайничеством и тунеядством.

Бывало, отчаявшись, я пробовал для проверки совершать дурные поступки. Как-то, помню, мимоходом пнул ногой валявшегося на тротуаре пьяницу. И вы знаете — ничего, пронесло. Встал, качаясь, и уплыл восвояси, будто так и надо, даже не заругавшись. И кто-то из народа одобрил и поддержал смелое начинание. Давно пора! Пускай не засирают столицу на глазах у дипломатов. А потом, товарищ, ты избавил бедолагу от верного ограбления при спанье на мостовой. И, может быть, от воспаления почек...

Меня все эти доводы слабо утешали. Ведь еще не известно, куда пойдет и чем кончит поднятый твоим пинком человек. Да и зло в чистом виде нас не интересует, не радует. Зло лишь побочный продукт чаемого нами добра...

С перетыку я начал курить. И курил так много, что мои легкие под рентгеном, наверно, скоро сделались похожими на мое черное пальто. С другой стороны, по традиции, решил завести собаку. Просто взять и приютить какую-нибудь заблудшую к нам на помойку овцу. Бывают же экземпляры! Мне верилось, она скрасит мои воспоминания...

Собака, по-моему, ближе к людям, сравнительно с другими животными. Уже по одному тому, что чувствует юмор. Ни кошки, ни лошади на такое не способны. Одна собака, если ее рассмотреть, обмахивается хвостом, ровно опухалом. Сквозь слезы, но смеется. Видите — на боку, на полу: вильнула! Значит, ей привиделось, пригрезилось. Значит, она сочинительница, она писательница, собачка, как все, как мы с вами. Повизгивает во сне. Всклипывает. Всем тяжело — и мне, и зверю. «Зверь» — для нее, применительно к собаке, — женского рода. При ней, при звере, я как-то встряхиваюсь и приподнимаюсь на ноги, — с такими большими и торчащими врозь ушами. Большими и подвижными, как крылья бабочки.

А если, зададимся вопросом, она досталась от отца? Сама нашла? По запаху? И приперлась на помойку. По наследству. Не стареет. Собака Врага Народа обязана, в конце концов, дожидаться хозяина... И я уже предвкушал, как опустошенным стариком, лет за шестьдесят, свистну ее пройти поздно ночью, перед сном, размышляя про себя, что в общем-то все кончено, подведено и одно остается — это вывести собаку и пройти немного по охладевшим переулкам. Замерла и смотрит, на четырех ногах, как я на своих на двоих еле-еле плетусь. Сверкнула зрачками, ждет. Благодарна, что, сняв шинель с вешалки, я вышел с ней и пошел. Маленькая, а все понимает... Ветер. Освобождение. Дождик капает. Лужи под ногами, булыжник. А мы идем и идем — я и собака: пейзаж...

Или, представляю, — весна, и собака забрюхатит. Неопытная, молодая еще, и ползет на руки от страха, на разобранную постель. И мне самому боязно: никогда не принимал. Но она дрожит, прижимается с доверием, просит, а щенята как поползут, как поползут из брюха, один за другим. Я ее глажу, уговариваю: «не бойся! давай-давай, работай! ты со мною!..» А они все вываливаются и вываливаются, как из мешка, привязанные на какой-то веровочке,

мокренькие, голые, и я с трудом припоминаю: «пуповина», «ножницы». Нашариваю, начинаю перерезать, и она мне помогает зубами, скуля, опоражниваясь пятым, то ли шестым и окончательным кульком. И я думаю, принимая щенят у моей собаки: точно так же, вы увидите, мы будем умирать, выбрасываясь из себя, дрожа и обмирая от страха. И сам Господь Бог в то мгновение, когда мы станем карабкаться, приютит нас на кровати. Скажет: «давай-давай! не бойся! ничего не бойся!..» И погладит — на кровати...

Я пишу о собаке вместо того, чтобы писать о самом себе. Но так — невиннее. Собака, восклицаю, ты отныне отвечаешь за меня! Ты одна, собака! И я был псом при моих братьях. Служил, прятался, лгал — ничего не помогло...

Собака — разговаривала. Я дал ей кусочек сахара. Взяла. Схрумкала, облизнулась. Хотел погладить, потрепать по ушам в рассуждении, какую достойную кличку ей сочинить, и вдруг она — впилась... Не то чтобы очень больно, но с нескрываемой яростью, что было вдвойне обиднее. Тем более, что я не боюсь и не презираю собак. Если бы я отдернулся, испугался. Так нет — протянул руку... Дура!

— Ладно, — сказал я, перевязывая палец. — Дали сахар, а ты — кусаться? Живи, как хочешь, на кухне. Тебе же хуже. Можешь ко мне теперь и близко не подходить!

В ответ она показала зубы. Мелкие, как показывает покойник в гробу. А что если, пронеслось в голове, проклятая собака что-то знает? Что если она чует, с кем имеет дело? Распознала? Воспользовалась? Не суйся, повторяю себе, с добрыми намерениями. Живи один, как учила мама. Когда ты только-только к кому-нибудь приближаешься, исполненный признательности и всего самого хорошего и светлого, что в тебе еще остается, то помни, что ты несешь. Мы отделены стеклянной стенкой от смерти. Спросите закоренелых убийц, если мне не верите. И большая часть преступлений, вам скажут, совершается не со зла, вне замысла, но так уж получилось по стечению обстоятельств. Нежелательно. Без усилий. Так тонок череп встречного человека. Еще прозрачнее висок. Ударь, и ты узнаешь. Это станет проклятием для тебя. Ты спохватишься: «не хотел» А! ты не хотел? тогда зачем приблизился, зачем прикоснулся к стеклу, отделяющему нас от действительности? Авель, Авель! где брат твой, Каин?..

Поставьте человеку преграду, и он ее перейдет. Что за блажь, какого рожна в день маминых именин я отправился без звонка в резиденцию дяди Володи? Думал поздравить с Ангелом, искупить вину. А ее драгоценного сына могу и не



беспокоить. Мне было главное с мамой повидаться. Извиниться за дерзости, перемолвиться, в конце концов, словом...

Тот возле кино, в Доме Правительства, занимал пятый этаж. Министр, а то и выше берите. Сатрап! Но, бьюсь об заклад, в душе он питал себя простым и демократичным, как все громкие птицы его ранга... В роскошном холле, естественно, в меня вцепилась дежурная, чистый богатырь. Пилотка, полувоенный жакет, без погон однако, в лодочках, в чулках на высокую ногу, как если бы ничего особенного. «— Вам куда? По какому адресу?...» И смотрит — насквозь!..

Я ей доходил до солнечного сплетения, до пуговицы на жакете, и то — встав на носки. Но это меня не смутило. Когда нам весело, а я был в бодром, приподнятом настроении от близкой встречи с мамой, с братом, мы делаемся беспечными.

— К Лихошерсту! Пятый этаж!

— А кто вы ему будете?

Форменный допрос.

— Родственник я. Понимаете?— брат! Мама тут у меня бабушкой работает, няней при ихней двойне. Может, видали?..

Паспорт затребовать она все же постеснялась. А то вышел бы диссонанс. Иди объясняй: почему я Синявский?.. Взлетаю в лифте. Звоню. За панелью, вместо звонка, раздастся приятная музыка, как при входе в эрмитаж. Там ждут вас пальмы и ласки пэри. Большая площадка на этаже, смотрю, вся в шашечку, — на одного съемщика. Цветок в горшочке на витом железном подсвечнике. Недостает водоема с павлином. Впрочем, и водоем, и павлин, вполне правдоподобно, скрывались внутри замка. Еще раз, бестрепетно, нажимаю кнопку: поет...

Открывает мама, в стареньком нашем китайском халатике со львами, и не успел я ее поздравить с днем Ангела, идет ко мне по площадке, тихонько притворив за собою высокую дубовую дверь. Без улыбки и без кровинки в лице, мама шла на меня, то ли желая обнять, то ли предупредить о чем-то срочном втайне от хозяев. В ее глазах стоял ужас, будто она видит призрак.

— Уходи! уходи! Сейчас же, не теряя минуты времени! — шептала она, растопырив крылья японского своего кимоно, подобно клушке, идущей на ястреба, защищающей цыплят. — Зачем пришел? Пожалей... Прикончил четырех? Хватит с тебя. Не тронь пятого. Последнего! Не губи малютку!..

Мама надвигалась, а я отступал, медленно, со ступеньки на ступеньку, приникнув ребром к перилам, пока, под палящим ее взглядом, не сверзился вниз, в бездну, полпролета за прыжок, и не очнулся через час уже у себя дома...

Собака при моем появлении и не подумала шевельнуться. Знает кошка, чье сало съела. Ну иди сюда, предательница! — другого тебе названия нет. Изменница! Приживалка! Позорное животное, отталкивающее клыками дружественную руку...

Никакого отклика. Сидит себе в темноте, в углу на кухне, и прислушивается ко мне, ко всякому моему движению и дыханию.

А я-то перед ней распинался! Собаки, восклицал, честнее людей и ничего не таят за спиной, не в силах таить. Они даны не в службу и не в дружбу людям, а в знак назидания. Собака нравственный образец и положительный герой, которого я опознал и привлек в литературу — единственный раз за всю мою недобрую жизнь. Бери, говорил, пример с собаки...

И не почесалась. Молчит, как сыч, у себя под столом, и чего-то ждет. Где-то она мне явно не доверяла. Или унюхала смерть, ходившую за мной по пятам? Читала в душе? Предчувствовала будущее?..

— Уймись! Не преувеличивай собаку! — сказал я себе в ободрение. — Не уподобляйся. Это плохо кончится — ты же знаешь...

Здесь же, не включая огня, ощупью, открыл черный ход — во двор, на помойку, откуда она приволоклась однажды. Сама, никто не звал. Взревел не своим голосом:

— Пошла прочь, bestия! Путь открыт! Ищи себе другое пристанище. Беги от греха, пока не поздно. Уйди от беды, собака...

Нет, я ее не выгонял. Я выпустил подлую тварь на волю: пускай живет...

С черного хода дохнуло свежим воздухом. Холодом. Осенью. Талым снегом. Так я ни разу с ней не погулял... Исчезла она или нет, — во тьме не разглядеть. Скорее всего, исчезла, испарилась, как тать в ночи, неслышно и бесследно, поджав хвост, не оглядываясь, — в ночь, откуда пришла, в дождь, к чорту, лишь бы от меня подальше...

Я скинул ботинки каким-то брезгливым движением ноги и только потом пальто. Потряс башкой, выбивая одурь, так что застучали зубы. Прокрался бочком в уборную и осторожно помочился в знакомом направлении. Выпил воды. Любый завиток в нашем доме я помнил и определял наугад. Ноги промокли, а лоб и щеки горели, и я не мог согласовать

поначалу — тепло мне или холодно. Казалось, пот закипает в корнях волос. И, не сговариваясь,— озноб...

Не сбежала бы собака, потянулась бы уютно, зевнула, ткнулась бы спящей пастью, мокрым носом в распростертую ладонь, и я бы улегся, без разговоров, около нее, требухой. Кости просились. Спина постанывала улечься тут же, рядом с собакой, на кухонном полу, не откладывая в долгий ящик. Прижаться бы лбом к пластиковой поверхности: ты тоже — мать-материя, неотделимая от сына, пускай и химикат!.. И та же собака положит голову на твою плоскую ногу...

Хорошо лежать на полу и ни о чем не думать. А то, бывало, пристроишь локоток поудобнее, приладишь к подбородку немного под углом, свободно расправишь конечности, обопрешься о тот локоток, так уже и барин. И снова ночь будет полна бумаги и огня. Рассеянных по полу, до потолка, исчерна-белых листков...

В ушах — колокола. Но это гудел холодильник, подаренный дядей Володей. Работает, как нанятый. Никто его не просит, никто о нем не заботится, а он все равно работает, с четкостью краснофлотца, изо всех сил. Я вдруг почувствовал жалость и уважение к холодильнику. Вот с кого берите положительный пример — с холодильника! Уж он-то не подведет, не обманет...

Электричества, однако, я так и не включал — по причине тараканов. С маминого отъезда их расплодилось у плиты... Боже ты мой! Какая все-таки жизнь кипит рядом с нами. Невидимая, безобидная жизнь, собачья и тараканья, тем более удивительная, что она от нас не зависит и как бы удалена в пространстве, хотя и связана вместе. Куда бы они делись без нас?! Мы их, конечно, периодически казим, но тем не менее поддерживаем сам факт существования таракана. Невольно кормим, обогреваем. Выйдешь ночью поставить чайник, а их высыпало передовыми отрядами, сверкая латами, касками... Зачем они собрались? На митинг? На диспут? И ретируются беззвучно при лампочке куда-то по углам, будто и нет их, едва ты ступишь на кухню...

Или тараканы чувствуют на себе пристальный взгляд писателя — при одном инстинктивном движении смахнуть со стены и прихлопнуть? При одной лишь мысли — прыгают и разбегаются! Но тогда — обоюдный страх и двойное опасение. Либо мозг у него так тонко организован, что одна случайная мысль уже сходит за убийство, настолько она отвратительна и груба для таракана? Либо, во-вторых, она пронизать пути истории на долю раньше и читая в людских сердцах, как по книге, они берут уже власть над нами?..

Вот почему на сей раз я огня не зажег и обошелся без света: вернее. Не бойтесь, тараканы,—меня нет! В самом деле успокаивает, как вспомнишь, что лет через сто, в крайнем случае через двести, тебя не будет. И все будем порастет. Забудется. Изгладится из памяти. Покроется туманом. Ищи-свищи тогда, мама, свою Крошку Цорес!..

Задумался и прожег дырку на брюках в темноте от сигареты. А брюки-то у меня одни. Одни на всю жизнь. Так бывает: за два часа прошло, может быть, пять минут или того меньше. Считанное время. Помолиться не успеешь. И пальцы уже не складываются в неверное троеперстие...

Тихо разоблачился и лег. Нет, не лег, а бросился в постель, в бельё, как бросаются в холодную воду. Но это правильно: сразу и с концами. А кроме того, стоит спокойно прилечь, как меня сверху бьет кашель. На этот раз обошлось. Запрятался под одеяло. Согрелся. Закрыл глаза, как будто сплю. Помогло на первой ступени. Но видения с лестничной клеткой настигали и здесь. Мама шла на меня, расставив крылья и бессмысленно шепча:

— Уйди! Пощади! Оставь пятого! Пожалей щенят!..

Словно у нее за спиной, за крепкой, дубовой дверью, скрывался не всемогущий вельможа, а маленький, как я, мальчик... Она шла, а я отступал со ступеньки на ступеньку, пока, не выдержав ее палящего взгляда, не сверзился в пролет, с лестницы, и не очнулся в тепле, у себя под одеялом.

Ой, наконец-то сон! Меня трясло...

Во сне собака царапалась и скреблась с черного хода — обратно. «— Это ты, Дора?» — спросил я во сне. «— Сейчас встану». — Царапается. «— Это ты, мама?» — спросил я вторично, хотя уже сознавал, что это не Дора и не мама скребется, а собака, которую я прогнал, просится назад, в дом, с черного хода. «— Сейчас открою!..» Но почему-то не вставал, а все надеялся и жаждал ее возвращения, и сам же себя одергивал: ну ладно — нервы! Сколько можно все время, передаваемо, дрожать?.. Заснул бы с удовольствием, да ногу сводит...

А между тем я не знаю другого определения прозы, кроме как дрожание какого-то колокольчика в небе, не говоря уже о стихах. Знаете, как бывает, все кончено, но дрожит колокольчик, и это необъяснимо, но доносится издалека, с того конца света... С тех пор, когда мне теперь присылают рассказ на рецензию, либо стихотворение, я спрашиваю себя, прочитав, прежде чем дать отзыв: слышен ли колокольчик? дрожит ли струна в синеве? или это просто так, от ума, от нечего делать, от эмоций?.. И — точка в точку...

— Чорт! чорт! чорт! чорт! — кричала она в лицо, наступая на меня, и корчила рожи, чтобы напугать, примечая, должно быть, во мне что-то черное и другое, чем был я и что я есть на самом деле. И я недоумевал, я обижался на маму и снова и снова кидался ей под ноги с мольбой внимательнее, еще раз, присмотреться ко мне, разве похож я на то, за кого она меня принимает. И в то же время, по какому-то наущению, не мог сдвинуться с места, разделяя ее горькое право бросать мне в лицо ругательство.

— Чорт! чорт! чорт! — выкрикивала она, ревнуя и беснуясь, каждым новым словом вколачивая меня назад, в черноту, откуда я вышел и которой бежал и страшился, зная за собой эту черту и незадачу досаждать и мучить одним своим присутствием. — Уходи, уходи! сию же секунду!..

Господь спас: проснулся.

Лишь под утро меня посетила картина, похожая на что-то реальное и сулившая, быть может, спасение от ночного хоровода. Я немного задремал и увидел подобие веселой лесной лужайки, по которой прогуливалась то ли стройная девушка, то ли, как это ни странно, собака высокой породы и вместе с тем красавица, каких мало. В длинном мохнатом платье, в ошейнике и на цепочке, она медленно брела впереди сказочного мужика в шубе, бородатого, с толстым лицом, при виде которого вы сразу вспоминаете, что есть еще злодеи на свете, готовые помыкать единственным по благородству и грациозности созданием. Он грубо прикрикнул на нее, дернул за цепочку и замахнулся кнутовищем за какую-то, должно быть, перед ним провинность, и та заметалась, и вдруг сорвалась с поводка, и ринулась по дереву вверх, как это делают горностаи, уносясь от погони охотника. Но что еще непостижимее, взбегая по веткам, словно по лестнице, она скидывала вихрем крутившееся на ней платье и, блеснув отчаянной, солнечной наготой, миг достигла вершины, откуда и взлетела, махнув крыльями, птицей. Это длилось всего несколько мгновений, и птица, ускользнувшая в небо, была естественным продолжением вихря, с каким беглянка выкручивалась из облетающих с ее тела одежд, а также — увенчанием дерева, высоченного, островерхого и как будто предназначенного служить взлетной дорожкой. Мужик с бранью кинулся было за девушкой и ловко пополз по стволу, тоже сбрасывая попутно стеснительный кафтан, но неувереннее и тяжелее в движениях, и на полдороге застрял — как птица снялась с ветки...

Как я был за нее рад! Вот, подумал утром, и мы, даст Бог, избавимся от рабства, от цепей зла, которое причиняем по кругу, сами не желая того, — и я, и мама, и Володя, и собака...

К чему эти личные счеты, поиски виновного? Каждый достоин, чтобы его отвергли. И каждый — чтобы обнять... Как мало нам нужно. Бывает, действительно, приснится что-нибудь светлое, пускай непонятно что, и ты уже кум королю, поешь и строишь прогнозы, и думаешь: улечу! улечу! и бедам конец!

Но сон, увы, был не в руку — во всяком случае на данном повороте истории. И мама, сколько тогда ни отгоняла меня от дверей, так и не укрыла питомца от черного моего пришествия. Бывший персональный шофер Лихошерстов, по старой памяти, заехал ко мне через месяц за маминим останним тряпьем. От шофера-то и дошло в подробностях, как было дело.

Едва мама, спровадив меня с площадки, вернулась к столу, в обитель дяди Володи, тот с вопросами: кто приходил, да почему, да как? Напрасно она заплеталась — дескать, ошиблись этажами. Подозревая неладное, телефнул дежурной внизу.

— Что?! Крошка Цорес? И ты его не пустила? Выгнала? Моего брата? Своего сына? От именинного пирога? Да я его приглашаю! Требую! За стол!

Словом, Содом и Гоморра в доме. Мама в эту минуту и сама была не рада обману. Властный человек общесоюзного значения, как был, без пиджака и шляпы, кинулся меня воротить. Не ведаю зачем, — прихоть самодура, голос ли крови, чувство ли какой-то проснувшейся вины передо мной, или он кому-то доказывал, что, невзирая на высоту и почет, он остался в доску своим парнем, простым и отзывчивым, как все люди его поля, — но, забыв о предрассудках, Владимир трубил на весь подъезд:

— Крошка Цорес! Куда ты пропал? Прошу к столу!..

Меня же и след простыл. И этим, не входя к нему и не видя, я вынес брату заочно смертный приговор. Как бык, он пересек вестибюль, выскочил на улицу, туда-сюда, что-то ему, по-видимому, стрельнуло в голову, и, минуя светофоры, он бросился за кем-то бегом, наперерез движению. Здесь-то его и сшибло мчавшимся по кольцу самосвалом...

— А парня теперь засудят, — сказал меланхолично шофер, укладывая манатки.

— Какого парня? — не понял я.

— Да водителя машины. Еще бы — угробить такую фигуру! Как простого работягу. Могут, если захотят, и политику намотать. А вот вы сами, гражданин, хоть вам лично, может быть, неприятно за брата, признайтесь по-честному: чем виноват водитель? На такой скорости тормозить? Вы думаете, там один самосвал? Да в него бы задние врезались. На зеленый свет!..

...С мамой, в итоге, мы больше не встречались. И я не пошел проводить ее на кладбище, когда, год спустя, она тихо опочила. Прямо скажу, я боялся контакта с ее внучатами, с невесткой. Не было силы характера им противостоять. Да и хотел все-таки, чтобы они остались в живых... Шенята эти мне в некотором роде племянники.

## 7

Однажды иду по Новому Арбату и вижу Дору. Не вторую Дору, в которую по глупости, по молодости лет был когда-то влюблен, а первую — добрую фею, Дору Александровну. На сей раз она возвышалась в бакалейном отделе громадного, на всю Москву, продуктового универсама и взвешивала кому-то конфеты своей фарфоровой ручкой, а кому-то муку. Она ни капли не изменилась. Даже, помоему, еще больше помолодела рядом с моими о ней ранними воспоминаниями, или, быть может, сам я к тому моменту уже сильно постарел. Но внутренний голос подсказывал, что это она, она самая — Дора, в прошлом врач-педиатр, а ныне разбитная, изящная продавщица в магазине.

Сначала я изучал ее с проспекта, на расстоянии, сквозь толстую витрину, с каждым ее бесподобным жестом убеждаясь в истинности своего открытия, а затем, набравшись храбрости, незаметно вошел... Чего там только не было! Золотые мандарины. Шпроты. Колбасы навалом. Охотничьи сосиски. Вина всех стран и всех сортов, в разнокалиберных бутылках, в специальной для такой тары оборудованной под дуб секции — визави, между прочим, заветного отделения, где кружилась на подмостках, над мылом и солью, прекрасная моя искусительница...

Не знаю, улыбалось ли вам счастье, господа, видеть подобные горы съестного и спиртного в свободное время дня, когда народу не так уж много, чтобы помешать вам рассмотреть все собранное здесь с толком и с расстановкой. Но даже если вы смотрите на эту панораму каждый Божий день, вы не поймете и не оцените, о чем я толкую, и сказочные богатства, разложенные под стеклом и выстроенные вдоль стен, до неба, в форме колонн, мавзолеев, восточных гротов, портиков, дворцов и карфагенов, сложенных из плиток сливочного масла, банок с вареньем, ванильных сухарей, корицы, яиц и прочих пряностей, рисуются вам чем-то ба-

нальным и заурядным, а может быть, и незavidным по сравнению с тем, что вам случалось иногда разглядывать за границей или вкушать до революции. Другое дело, конечно, если вы приехали из деревни или заштатного городка, куда из центра доходят разве что газеты и радио и откуда большие столичные гастрономы, набитые до отказа продуктами — хоть сто лет покупай, не укупите, — притягивают волны мечтательных провинциалов. Тогда вам будут даны глаза, язык и руки, чтобы это изобразить более достойно и выпукло, чтобы видеть и осязать, запихивая в мешки, рассыпывая по сумкам, драть горло, грозить членовредительством за лишний килограмм ветчины, снова и снова разменивая зашитые в трусы, запрятанные под подкладку и в бюстгальтеры червонцы, — на потеху толсторожим московским живоглотам и на радость крылатым карманникам.

Но представьте себе человека иного полета, у которого за душой ни отца, ни матери, ни города, ни деревни, который как будто и не пробовал вовек всех этих деликатесов, а только читал о них раньше в каких-нибудь старинных романах. Голод его утолила бы обыкновенная булка, из тех, что в былые времена назывались «французскими», а по-новому — «городские». Но он о той и не помнит. Он ходит от прилавка к прилавку, сытый, мнится, одними ядовитыми запахами сыров, тошнотворной вонью мясного и рыбного ряда, глубоким, до обморока, ароматом молотого кофе, нежной, горьковатой пылью расфасованного сахара. Вы скажете, что сахар не пахнет? А вы примухайтесь, примухайтесь!..

Не подумайте, однако, что, увлекшись роскошной едой, я позабыл о цели моего захода, о Доре. Нет, она и была царицей бала и гением этих мест, служивших ей великолепным обрамлением. Краем глаза я не устоял следить за ее голубым фартуком и кружевной наколкой, которая порхала над сценой, как белый мотылек. Очереди к ней в бакалею не было, и, потоптавшись вокруг да около, я решился приблизиться. И то сперва, для приличия, не подымая глаз, рассматривал этикетки и марки чая, выставленного в нижнем отсеке в радужных обложках. «Грузинский — Экстра», «Краснодарский — Второй сорт», «Китайский», «Индийский» и даже «Цейлонский»?.. Хорошо живем!

Никто не расхватывал и не толкался. Коробочки с чаем стояли, как школьницы на выпускном экзамене, нарядные, розовощекие и ждавшие, единственно, какую отметку им выведут по алгебре и по географии... Чай благоуханный, целебный, запретный, спасающий от цыгги, от туберкулеза, вяжущий десны, обладающий душу горячим,



красным наваром, заставляющий сердце работать бесперебойно, как часы, чай, отмеряемый по крупинкам и возведенный до крепости рома, до густейшего желе, которое лучше всего заедать, я вам открою, кусочком соленой селедочки, чай равный валенкам, ватным брюкам, сапогам, свитерам, пущенным в кружку с той же непринужденностью, с какою мудрец Аденауэр променял экипировку на пять пачек чая, чай, сколачивающий капиталы, делающий карьеру, а кое-кому стоивший головы,—здесь отпускаясь в одни руки без ограничений, по баснословно низкой цене...

— Что вы хотите, папаша? — послышался мелодический голос, который когда-то давно спросил меня: «Что ты хочешь, мальчик? Чего ты плачешь?» От сладостных пачек чая, игравших роль увертюры к этому высокому голосу, я оторвался и встретился глазами, лицом к лицу, с бакалейщицей, парившей надо мной, подобно птице, которая улетела во сне, а теперь нисходила на землю в облике чудесной блондинки. Ей было, казалось, лет семнадцать, не старше. И глядеть в упор на нее, на эти вечно цветущие, сияющие лучами черты, было так же нестерпимо, как мы не можем смотреть на солнце, хотя только и тянемся к нему, и грезим, и горим этим светом. Так бывает, я помню, в юности, когда боишься оскорбить возлюбленную взглядом, признанием, и каждый твой шаг или слово по направлению к ней кажется нескромным, порочным, так что, в результате, она и уплывает от вас с каким-нибудь настойчивым и внушительным проходимцем. И пускай с тех пор, за годы испытаний, я подвинулся в жизненном опыте, поумнел, задубел и развился, я вновь был способен провалиться под землю перед этой девочкой, вытеснявшей меня из воздуха одним своим невинным видом и царственным нажатием вопрошающего лица. Сознавала ли она, что со мною происходит, что я съезживаюсь в комок, растворяюсь, девальвируюсь, превращаясь в больного, беспомощного ребенка, каким лежал перед нею, сорок с лишним лет назад, голышом, в моей скрипучей кровати? О, она делала вид, будто не понимает и меня не узнает, и порхала по плантации, вращая туда и сюда, в разные стороны, своей фаянсовой ручкой, похожей на дудочку чайника, изогнутую в готовности излить для вас восхитительный напиток... И ни следа заикания с нашей последней и первой встречи.

— Что вы хотите, папаша? — повторила она музыкально и повела перламутровым пальчиком по всему саду — на сахар и на чай в заморских этикетках, на перец и на вермишель. Жест ее был исполнен, если хотите, грации Венеры Медицейской или кого-нибудь еще в том же роде.

— Да вот чаёк, дочка, смотрю какой выбрать — позава-  
ристее,— отвечал я, почему-то по-стариковски прищепе-  
тывая, на манер простака-крестьянина из глубокой Чух-  
ломы.

— Советую «Цейлонский», папаша!

— Спасибо, дочка! «Цейлонский» — это нам подходя-  
ще... А вы сами случайно не с Цейлона будете? Али откуда-  
нибудь подальше?..

И, собравшись с духом,— смотрю. Ну просто режу  
взглядом: неужто не она?!. Она! В ее громадных глазах  
плескались две, нет, целых три золотых рыбки... Вы, быть  
может, удивитесь: почему — три, а не две? Ах, наивные люди!  
Да потому, что у нее, у Доры, были такие глаза, такие глаза,  
что порою они выплескивались на все лицо и там играли, как  
три золотые рыбки...

— Ну, Крошка Цорес,— сказала она, отсмеявшись,—  
что еще сочинишь? И чего тебе надобно, старче? Давно от  
хозяина? Вчистую?

— Вчистую,— говорю.— Прямо с вокзала. Ни кола, ни  
двора. А надо мне, Дора Александровна, от вас одну вещь.  
Кто мой отец? И откуда мои злодеяния, за которые я и сам  
частично поплатился? Почему,— спрашиваю,— желая добра,  
я всем приношу горе? И нельзя ли к свеженазванному воп-  
росу добавить одну просьбу и вернуть, если надо, назад мое  
старое заикание, мою детскую немоту и бессилие, только  
чтобы я жил не тужил, как все нормальные люди, никому не  
причиняя сугубых неприятностей?..

— Ой! — восклицает Дора,— сколько вопросов! Прямо  
целая книга жалоб и предложений, которая хранится у нас  
в кассе! Раньше, однако, ты был мальчик поскромнее.  
А с возрастом... Подожди,— говорит,— сначала отпущу по-  
купателя. Вишь, их, собак, набралось, словно три дня не  
жрамши... Вам что, гражданочка, полкило макарон?..

И снова залетала, как молния, взад-вперед по прилавку.  
Я отошел и люблюсь, как ловко она справляется со своей  
одинокой ролью. Это был просто какой-то испанский танец  
продавщицы, обслуживающей нетерпеливую публику. Все  
тянут к ней чеки, корзины, бутылки из-под масла. «— Мину-  
точку, товарищи! Не все сразу!» — огрызается она. Но чем  
внимательнее следил я за линиями ее воздушных фигур,  
связанных одновременно с россыпью по воздуху редких ба-  
калейных изделий, тем очевиднее становилось, что, танцую  
и торгуя, Дора не перестает разговаривать со мною по-  
свойски, наподобие небожителей, путем кивков и намеков,  
пространных иносказаний и символов, в точности которых

невозможно сомневаться. То соль кому-то преподнесет на ладошке, с едва заметной усмешкой, то, воздев сосуд над головой, протягивает зрителям оливковое масло, а то, сделав курбет, держит уже папиросы в пальцах, класса люкс, с таинственной транскрипцией: «Герцеговина Флор»! Это надо понимать!..

Но, странное дело, я усекаю, что скандальная толпа покупателей ничуть не протестует, когда волшебница раздвигала снадобья, не считаясь с заявкой, по собственному почину и выбору, в гармонии с немymi сигналами, обращенными не к ним, а ко мне. И каждый с благодарностью уволокивал то, что ему досталось, прижимая к сердцу. Или она управляла с помощью телодвижений и завораживала толпу? Или они, как мелкая советская челядь, работали у нее на подхвате, в качестве статистов, содействуя языку пантомимы, каким эта женщина-фея мгновенно объяснялась со мной, бедным своим клиентом?..

Во всяком случае, смотрю: экая проекция! что за оказия такая? — накладывает какой-то старушке полную авоську дрожжей и делает ей подбородком поворот: мотай, мол, отсюда, старая, пока не отобрали. Но ведь это же, господа, означает поставленный мне ультиматум или, мягко говоря, историческую альтернативу, приняв которую, я смею на что-то надеяться, в том смысле, что Дора ответит, быть может, на мой вопрос. Вы только вдумайтесь: дрожжи! дрожжи! как условие разгадки... Дрожжи, всем известно, еще в древней Греции предполагали пироги с начинкой, пир горой, свадьбу, хмель, алкогольный аппарат в собственном доме... И в том, как она, снопом, положила эти дрожжи, было что-то угрожающее и вместе с тем зовущее радостно под ее белую руку. Как если бы Дора сказала: «Берегись! Осчастливил! Женись на мне, тогда узнаешь. И свадьбу сыграем сегодня же ночью! Решай!..»

Я просто рот раскрыл от удивления и глазам не верю. То есть как это, думаю, понимать прикажете, Дора Александровна? Не в виде ли какого-нибудь мимолетного намека на брак? Не в плане ли вашей насмешки судьбы и воли, извините, выйти за меня замуж? За меня? А она отвечает «да», делая па ножкой в знак согласия, чтобы я лучше почувствовал. И тут же, рассердясь, сыплет какие-то специи в конверт очередному постояльцу. Дескать: много будешь рассуждать, прикидывать, я тебе и не такого еще в пирог подсыплю. И впрямь, если женщина предлагает вас осчастливить, грех в этом сомневаться и опасно не доверять... Ну, говорю себе, Крошка Цорес, ты попал в цейтнот!..

Жениться я был не против, но давно уже об этом не думал. Девицы с детства бегали от меня, как от чумы. За Дору же Александровну мог быть спокоен. Такая дама! Какое особое зло я сумел бы ей причинить? Да она любого чорта, кого хотите, за пояс заткнет. Конечно, я староват для нее. И лицом не вышел. Осанкой. Обтрепался. И для семейной жизни нет сейчас у меня необходимой перспективы: ни постоянной зарплаты, ни жилища, ни прописки... Где и на какие шиши, спрашивается, свадьбу играть?..

И в ту же секунду, представьте, она снова поводит по сторонам своей чарующей ручкой, как заправская балерина, будто отмахивается от мухи, и показывает на залу, полную несметных сокровищ. Эге-ге, смекаю, да у нее, небось, вся милиция на корню куплена. Горсовет. Прокуратура. Сахара, крупы, муки — куры не клюют... А стоило мне взгрустнуть, откуда мы гостей позовем на вечернее пирование? — ведь ни единой живой души в Москве у меня не осталось, как Дора Александровна выкладывает кому-то в газетку пять брусков мыла. Примечай, Синявский: мыло это или чего-нибудь еще? Но что оно собою обозначает, это мыло, я так и не распознал...

Однако повеселел, как и подобает жениху, и начал даже пританцовывать одной ножкой. Знай наших! Ведь если я на Доре женюсь, и стол и дом у меня в ажуре. Скажу утром: Дорочка, приготовь мне на завтрак, пожалуйста, свиную-отбивную. Нет, закажи бычки в маринаде. Нет, всего лучше смастери-ка мне яичницу-глазунью — из двух яиц с гренками... Или прилетит к вечеру на крыльях любви из своей бакалеи, с полной кошелкой, и все мои злые мысли, скорби и недуги улетят, как мотыльки.

Вижу, и весь гастроном как-то оживился. Люстру зажгли. Народу прибавилось. Не то, чтобы танцуют, а появилось что-то ритмическое, вразумительное в лицах. Играют плечами, притоптывают, подмигивают. Кто-то негромко запел под аккордеон: «Имел бы я золотые горы и реки полные вина...» То ли моя богиня их окончательно околдовала своими свадебными пассажами? То ли голова у меня немного кружилась от голода? От счастья? От блаженного сознания, что спадает, спадает заклятие, лежавшее так долго на мне, словно какое-то ярмо?

Да, я подумал, в пляске, в песне всякий человек очищается, избавляясь от себя, выходя из тела, из тлена куда-то выше, как это делали в древности. Очистительное значение ритма известно Доре, которая, распределяя ходкий товар по Москве, помнит о поэзии и в точном соединении с ней плавными движениями снимает чары и страхи. Чары —

смерти, страхи — перед жизнью, перед собственным моим, нестерпимым, первородным лицом... Люди-братья, мысленно говорю, расставив руки, а что если на всех континентах, чтобы нам заплатили или подали копейку, мы стоим, как христы, все вровень, и никого не пропускаем? А может быть, венчальный обряд сейчас-то и совершается? Может быть, мы не в магазине стоим, а в церкви на самом деле? В церкви, в древнем соборе, где фея своими руками врачует и венчает на царство обнищавшего жениха...

Словом, я настолько вознесся и обнаглел в своих глазах, что, кинув наблюдательный пост, подошел к бакалее без очереди и:

— Хозяйка! — обратился. — Умоляю вас, не забудьте подбросить, лично для меня, прихожанам к празднику — лаврового листа...

— Ишь ты чего захотел! — погрозила она пальцем. — Лавровый лист, гражданин, давно кончился. Не хотите ли — перец? Или тмин?..

И три золотые рыбки сверкнули и уплыли. Дора Александровна посмотрела на меня со значением и как-то печально но улыбнулась...

...Но вернемся к дальнейшему. А дальше пошли чудеса на колесах, форменные чудеса на колесах. Прикатываем к ней, к жене то есть, прямо в хату. Ничего себе, жить можно: однокомнатная квартира с совмещенным санузлом. Все просто и даже скромно. Никакой роскоши. Никаких этих зеркальных трюмо, финтифлюшек, подушечек. На мужскую ногу. Только, вижу, шкафчик стоит! Я как его заприметил, так сразу и влюбился. Невообразимый шкафчик! Он теперь у меня до сих пор находится, хотя с того момента я двадцать раз успел переехать и много чего было потом в моей жизни. Но шкафчик этот — при мне.

Давайте для начала, для ясности, я его опишу словами, чтобы он существовал. Представьте: книжный шкаф, орехового дерева, на четырех ножках. Но как все это вместе изобретено и устроено! Прижатый к стене, плашмя, высокой и тонкой спиной, где искрились застекленные книги в золоченных переплетах. А ниже, ниже пояса, выдающееся на полметра вперед, кособокое бюро с крышкой — на два горизонтальных, под орехом, отделения. Для бумаг или, если хотите, рукописей, черновики-беловики, это шкафиково брюшко необыкновенно удобно. А еще ниже — и это самое важное в нем — витые ножки, довольно длинные и необычные для шкафа, но и поэтому довольно коротенькие по сравнению с туловищем. В целом же он походил на суслика

в степи, присевшего на задние лапы, задрав передние, чтобы лучше обозреть все, что творится впереди, за песками. Однако, в этом сравнении, у суслика должно быть не четыре ножки, а все шесть. Оттого что этот шкафик присел и приподнялся на четырех конечностях, а две верхние как будто отсутствуют...

— Так ведь это же,—говорю,—Дорочка, серебряная моя фея, ведь это, может быть, сам Эрнест-Теодор-Амадей Гофман, на четырех ножках, у нас в гостях! И в особенности—Амадей! Нет, скажи, ты сознаешь, ты понимаешь, что значит этот шкафик в моей жизни?!

— Понимаю,—отвечает.— Так уж и быть. Это тебе мое приданое, Крошка Цорес. Смотри, не вздумай кому-нибудь продать... Но отвлекись от шкафика и погляди вокруг...

Оглядываюсь. Ничего особенного. Однокомнатная квартира с совмещенным санузлом. Ах, да,—вспоминаю: весьма возможно, Дора Александровна имеет в виду себя—вокруг. Каждая женщина создана, чтобы на нее реагировали. Естественно, к ней. Обнимаю за талию и стремлюсь поцеловать. Жена она мне, в конце-то концов, или нет?..— Дора!— говорю с ударением и нащупываю пуговку, как меня научили, еще в школе, хулиганы. Что поделаешь? Фривольность с моей стороны, конечно...

— Ты что? Обалдел?—вырывается она и отбрасывает мою руку, будто какую-нибудь игрушку.— Муж—объелся груш! Нельзя же так буквально! Не лапай...

И ставит меня этими словами на место. Продавщица в магазине: что с нее взять? С кем связался?.. Видать, сказки рассказывают: женщины, мол, отнекиваются, для того чтобы их лучше просили. Как артисты. «Ах, ах, я сегодня не в го-лосе!..»

Делаю вид, что я обескуражен. А в голове параллельно развивается интересный сюжет. Мне-то что? Даже лучше. Не надо—так не надо. Тоже мне—Лиля Брик! И назад—к шкафiku. Вот он-то меня поймет. Гофмановские ножки. Крышка—сникший попугай, в резном переплете. Книги, которые никогда не открывал. И в том, что не открывал,—вся прелесть. Всё впереди еще. Витое дерево. И смотрит по-ореховому. Стоит, как вкопанный, и смотрит. Идол!—как вы его назовете по-другому? Родной идол в доме!

И слышу, сзади, чайник запекает уже свою вечернюю песню. Высвистывает носиком. Книги в шкафике, с позолоченными корешками, и чайник. Чего еще?..

Не успел я мечту развернуть, мысль кончить, а Дора тут как тут. Как вдарит по клавишам:

— Ладно,—говорит.— Горбатого не испортишь. Откровенно, Цорес: тебе кто дороже—я или чайник? Я—или книги? Только—откровенно...

Падаю перед ней мысленно на колени. Целую подол платья (тоже мысленно):

— Ну, разумеется, вы, Дора Александровна! Другой коленкор! Вы, вы— и никто больше. А книги— тьфу! Ну их, книги! Обойдусь! Бывали в истории казусы, когда никаких книг не читали и не писали. Вот таким макаром... Вторых...

А что во-первых?—я уже забыл.

— Во-вторых, у вас (показываю пальцем) там, быть может, «Робинзон Крузо» скрывается. «Остров сокровищ». А здесь (тоже показываю): «Тысяча и одна ночь». Но как все это написать и прочитать? Времени не хватит. Ведь над одной книгой, бывало, сидишь, перелистывая, всю жизнь. И если я в день чего-нибудь не сочиню, так я уже больной, Дора. Физически ощущаю эту недостачу и пробел в истории. А напишешь фразу—так все уже облегло, успокоилось и так легко, легко...

Она слушала меня, подперев щечку рукой, пригорюнившись, как русская баба. Вздыхала. Не за себя, за меня. Чем она могла мне помочь? Устроила покой и комфорт. Удостоила обстановки... А на кухне чайник все запекает и запекает. И шкафик стоит и не двигается, поблескивая стеклами. Наденем халат для теплоты жизни и начнем читать...

— Ты вылитый отец,—говорит.— Тоже всю жизнь, без пользы, на бумагу променял. Маму довел до точки. До того, что тебя родила...

— Отец?!—я встрепенулся.—Где?! Кто?!. Вы же обещали!..

Ткнула в бок локотком. Пчела. Настоящая пчела. Которая излечивает своими укусами. Дескать, не будь рохлей и возьми глаза в руки. Да не там, а здесь... Тепло, холодно, холодно, тепло, еще теплее... Жарко! Шкафик, позади меня, тоже привстал на задние лапки и смотрит с удивлением. Я взгляделся.

Посреди комнаты длинный стол накрыт на пять, нет, считая по пальцам, на семь персон. Пустые стулья. Ну всякая там водка-закуска в центре. Цветы. Графинчик с чем-то красным. Вилки. Тарелки. Ноздри щекочет запах чего-то мясного...

— Садись и перекуси с дороги. Вторые сутки, поди, не ел... Ну тряхнем стариной!

И наливает вино в прозрачную, как вода, рюмку.

Существуют же на земле такие старинные вина с легким оттенком. Выпьешь одну, другую, а голова — светлая. Третью, четвертую. Все равно светло в голове. Пятую. Шестую. Всканиваем на коня, и поскакали, поскакали. Доброе вино!

Однако скакать нам некуда. И никакие гости не едут. Кроме наших с Дорой двух генеральных стульев, пять оставались не занятыми. Томительно это пить и есть перед пустыми стульями...

— Да ты лучше взглядишь, — накачивает она. А сама так и впилась очами. Как будто что-то, действительно, видит перед собой или строит из воздуха образы... И, в самом деле, — сначала не в фокусе, а после немного яснее — вырисовываются тела и какие-то лица за столом. Но контуры теряются, тонут, жухнут, ползут, и необходимо усилие, чтобы зрительно закрепить.

— Только прошу тебя, не шуми, если кого-нибудь узнаешь, — предупреждает она. — И не вскакивай с места. Не бросайся. Все равно они тебя не услышат и не увидят... Смотри! тебе говорят — смотри!

Смотрю. На пяти стульях сидят пять моих братьев и между собою выпивают. Качают головами, как китайские болванчики. И вот уже расплылось. А у меня язык прилип к задней гортани.

— Так что они — живы? — шепчу. — Живы и не убиты? И, значит, я не виноват?..

— Какое это имеет значение? — отвечает. — Виноват, не виноват? Все в чем-то виновны...

— А мама и папа где? Где-то здесь, между нами?!

Дора Александровна прикладывает палец к устам. Слов не произносит, но до меня доносится: отец и мать ушли далеко от нас, слишком далеко, и уже не придут. Одна — путем страданий. Другой...

— Да ты не волнуйся! — себя же перебивает она. — Братья — тут и никуда не денутся. Можешь спокойно доесть свой пирог. Бери, наливай, что хочешь. Никто и не заметит!

Но доедать я уже не стал. Выпил залпом 200 грамм, чтобы соответствовать действительности, и устался на стулья. В глазах прояснилось и выкристаллизовалось. Пять братьев, точная копия, — Николай, Павел, Василий, Яков и Владимир — восседали, рукой подать, за столом и говорили обо мне. Слова их до меня доходили, правда, с большим опозданием, с трудом, сквозь плотную переборку, то громче, а то ничего не слышно. Дора, рядом со мной, как жених с невестой, иногда подсказывала мне и суфлировала.

Открывает рот брат Николай:



—...Из-за меня. Утонул по пьянке. Кинулся в море с корабля за своим пуделем. Так и не нашли. Я нырял, нырял...

— Ты ошибаешься, Коля!—резонно возражает Павел.— Наш братишка сгнил на Колыме. И все еще надеялся, бедный, что собака его дождется...

— Вот вы сидите здесь и ничего не знаете,— вмешался Яков.— Я его изучал. В нем, я вам скажу, был комплекс неполноценности, что и кончилось ранним инфарктом. На семейной почве. Крошка Цорес не дорос до человека. И наша мать...

— Отец его всему причиной! Отец! — бухнул Владимир, так что посуда пошатнулась.— Если бы не отец, не попал бы он под автобус, как обыкновенный ротозей...

Я—замер. Но дальше они зашевелили, зашевелили губами, делая как рыбы в воде, а слов не разобрать. Повернулся к Доре— пусть усилит громкость говорителя нашим гостям. А она:

— Ты думаешь, они на свадьбу пожаловали? Еще чего! Они пришли справить по тебе поминки. И не делай большие глаза. Пусти!..

И стряхивает салфеткой какие-то крошки с моего стула. Стул-то, смотрю, уже пустой...

— Ты умер. Ты давным-давно умер. И тебя—нет,— понимаешь? Раньше, чем родился...

Я ничего не понимал. Из этих речей до меня долетали одни обрывки. Таким образом, в полной форме я не берусь воспроизвести. Мы находились, как бы вам сказать, на грани двух противоположных миров. Я и Дора — с одной стороны пропасти. Пять братьев — с другой.

— Этого отца,— продолжал дядя Володя,— я бы придумал собственными руками. И не дрогнуло бы. Он...

— Причем здесь он? — заступился Яков.— Я знаю, мама ему...

— Да чего там! Декадент. Неженка. В наше время писатель должен быть... *(Василий)*.

— Сгнил на Колыме! Повторяю,— на Колыме *(Павел)*.

— Нет, нет и нет! *(Николай)*. Как муж, он не мог ей уже соответствовать...

— И не соответствовал стране! *(Владимир)*.

— Истории!.. Эпохе!.. Такой же точно цорес!.. *(Неясно кто: вразнойбой)*.

Тут как загрохотали!..

Внезапно все померкло, побледнело у меня перед глазами и поехало вверх. Так бывает короткое время, когда выпьешь с непривычки. Стены, стаканы, братья на своих стульях

неудержимо возносились, продолжая сидеть и беседовать в осуждение меня и отца,— на манер гобелена с ткаными гостями, музыкантами и танцовщиками. Сам же ты обратным поездом медленно сползаешь под пол, находясь, тем не менее, все еще на этом свете, на месте. Постараюсь описать.

Сойдя с автобуса, я брел по обыкновению вверх по Хлебному, к дому № 9, откуда меня изъяли однажды, пятьдесят лет назад, и где, по бывшей прописке, проживали собака и мальчик, едва родившийся у вдовы, с которой мы развелись. То было очередное паломничество на родимое пепелище. Последняя попытка связать концы с концами... Стояла поздняя осень. Падал мокрый снег с дождем и таял, не достигая паперти. Точнее говоря — крупа. Снежинки, по-видимому, не успевали опереться в прозрачные звездные хлопья. Белое крошево мельтешило в воздухе и гасло без пользы. Казалось, снег не падает, а взвивается в вечернее небо, сворачиваясь, как занавес, на фоне темных домов, которые между тем нескончаемо оседали на землю. Воспаленная мостовая горела нефтью, разливаясь в черное море от Арбатских до Никитских ворот, и ровный оползень зданий, сквозь кисейную занавеску, терялся под ногами, в асфальте, обращаясь в яркую грязь.

Вам случалось наблюдать, вероятно, подобную аберрацию где-нибудь в Америке. Дубовая стойка с барменом, белые чашечки кофе цвета негра, красивые аперитивы на стенде, свисающие вниз крантиком, в виде попугая в клетке, делающего себе из гостей интересное зрелище,— взмывают до потолка. Мы же, ночные птицы, периодически опускаемся. Нижняя половина сознания лифтом скользит ввысь, тогда как вторая, верхняя половина, смежным лифтом,— проваливается. Лишь вакханка на эстраде, острым треугольником бедер, с назидательной галочкой в скобках, своевременно поставленной (как рисуют педантичные учительницы в тетрадках), держит вас на прицеле, по центру, не давая ни воспарить, ни упасть. И вы — сидите...

— Писатель! Уборных стен маратель! — доносилось из-за стола.

Плевать на личные выпады. Мне было дороже не упустить братьев из виду, воссевших судебно где-то на потолке, куда они живы, в принципе, и сосчитываются в убийстве. Чтот касается кабре в Америке, снегопада на Хлебном, с еле просвечивающим, изумленным отцом в конце сравнения, то представьте себе для ясности эскалатор в московском глубоководном метро. Сегодня, по приезде, я воспользовался удобствами и, помнится, не без робости отвыкшего от

Москвы старожилка, ступил на неровную, гофрированную дорожку. Меня потащило вниз...

Навстречу бескровной партией экспонатов подавали по конвейеру, с того света, гостей, в то время как мы погружались в шахту, не вправе размежеваться, ни слиться с параллельным течением, машинально перебирая воздвигавшуюся из недр иерархию высоколобых истуканов с устремленным вперед, настороженно приподнятым профилем, словно только бы не пересечься, не встретиться случайно с нашим темным потоком, медленно и неуклонно препровождаемым под землю. На следующем витке — кто знает? — мы бы могли сквитаться в положении на ленте, но это как-то не входило в понятия. Каждый держался своей ступеньки, сторонясь противоположной реки. Обмениваться глазами, жестом приветствия казалось невероятным.

Исключение составляла, возбуждая интерес, какая-то, должно быть, независимая студентка, почти гимназистка, милостивая, мучительно похожая на ту, которую я потерял когда-то из-за красного словца. Но ту и эту Дору нам уже не замкнуть в один круг. Я обознался. Она плыла вверх по конвейеру, к солнцу, на вольный воздух, что не мешало ей поспешно и страстно отдаваться взглядом каждому встречному, сползающему пассивно вниз по трапу, как в объятия, пассажиру, никого не пропуская и отбрасывая прочь, овладев, ради другого, на скорую руку, знакомства, застрахованная на подъеме от сцен ревности, от сплетни, от клеветы, недоступная, торжествующая, возносящаяся в небо без риска, с лицом, процеженным реками смертных, которые с нею уже нигде не сойдутся... Когда бы кто из нас, поверив обольщению, ринулся за минутной возлюбленной бегом по эскалатору, тому все равно не успеть пробиться в плотине толпы и наверстать упущенное. Да и пробейся — изменница егò бы не признала. Меня-то она вообще, смерив, зачеркнула, как пустое место, коротким, оценивающим движением подбородка. И вдруг — кивнула, улыбнулась, призывно зазвенела девичьим запястьем в браслетках какому-то, очевидно, едущему следом за мной, превосходному кавалеру. Кто же этот счастливец? — подумал я и невольно покосился. Позади, на самокатной дорожке, никого не было. А она, перевесившись, кивала сверху, смеялась и махала сумкой моему незримому спутнику. И даже крикнула, что-то вроде: «— Скорее подымайся!.. Встретимся у входа в метро!..» И никто не отозвался...

Я пришел в разум. Все в новобрачной комнате стояло по местам. И шкаф, и потолок, и широкое застолье. В уши

тотчас ударили голоса братьев, как включают передачу. С некоторыми помехами. Опять про меня? про отца? Напрягся. Они скандировали:

— ...Такое же дерьмо.... Слабак..... От него все неприятности..... Искусство, видите ли... Художник, от слова «худож»..... Сапожник..... Бежбожник..... Сгнил..... Покончил с собой..... Маниакальный случай..... В желтом доме.... Собака..... Врага народа..... Ждет-пождет..... И правильно его удавили, и правильно..... Иуда..... Утонул..... Какое утонул?.. Самосвалом..... Инфаркт. Чистой воды инфаркт, ручаюсь.....

— Прервись на одну секунду! — сказала Дора и наклонилась ко мне, в новом элегантном пальто и с какой-то миниатюрной сумочкой в перчатках.— Прощай, Крошка Цорес! Я уйду и не вернусь. Делá. Береги шкафик. Дослушай эти последние известия. И не ищи меня в бакалее. Я там не работаю...

Ее холодный поцелуй на лбу, как целуют покойника, я пропустил мимо. Был весь внимание:

— .....В тюрьму его..... Ну умер, так и умер..... Одно беспокой..... Выродок..... Нет, вы знаете, в нем что-то бы.... Нам-то ку..... За мир во всем ми..... Да здра..... До сле..... Как прия..... Ну бросила и бро..... Так быва..... Кто бы мо..... Вы ду..... Пи..... Рэ..... Ля..... Си..... До.....

Вставал рассвет. Никаких гостей, никакой жены за столом. Дора убежала так же бесповоротно, как — нашлась. Один шкафик торчал в углу, приподнявшись на задние ножки. Да валялся пустой стакан. Вилка из-под рыбы. Окно. Скатерть. Я был сокрушенным, разбитым, заикающимся стариком — в меру злым и в меру добрым. Ни отца, ни матери, которую, по-видимому, я свел-таки в могилу. Ни собаки. И только пять братьев, как пять пальцев, темнели на руке, когда я прикрыл стопу написанных за ночь страничек...

*1979, Париж*

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>В ТЕНИ ГОГОЛЯ</b> .....	3
Глава первая. Эпилог .....	5
Глава вторая. Два поворота серебряного ключа в «Ревизоре» .....	63
Глава третья. Мертвые душат. Рельеф портрета .....	112
Глава четвертая. География прозы .....	195
Глава пятая. Мертвые воскресают. Вперед—к исто- кам! .....	291
<b>СПОКОЙНОЙ НОЧИ</b> .....	337
Глава первая. Перевертыш .....	339
Глава вторая. Дом свиданий .....	401
Глава третья. Отец .....	456
Глава четвертая. Опасные связи .....	498
Глава пятая. Во чреве китовом .....	544
<b>КРОШКА ЦОРЕС</b> .....	611

**АБРАМ ТЕРЦ**  
(Андрей Донатович Синявский)

Собрание сочинений  
в двух томах

Том II

Редактор Н.С. Кочарова  
Художественный редактор И.В. Хачатурова  
Технический редактор В.А. Барышников  
Корректор Г.С. Бережнова

Сдано в набор 28.06.92 г. Подписано в печать 28.08.92 г.  
Формат 84 × 108/32. Гарнитура “Таймс”. Бумага офсетная  
Усл. печ. л. 34,44. Уч.-изд. л. 41,32. Тираж 50 000 экз.  
Заказ № 423. Цена С (№ 12)

СПТО “Старт”, 123242, Москва, Дружинниковская, 15  
Издание подготовлено к печати КТПО “Экран”

Отпечатано в МПО “Первая Образцовая типография”  
113054, Москва, ул. Валовая, 28